

13 | *Двѣноб АСТАФЪЕВ*

13 | *Двѣноб АСТАФЪЕВ*

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1998

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

•

**Том
тринадцатый**

•

ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ

Повесть

ВАРИАНТЫ

ОТРЫВКИ

ПЬЕСЫ

КИНОСЦЕНАРИИ

ИЗ ТИХОГО СВЕТА

Попытка исповеди

КРАСНОЯРСК

«ОФСЕТ»

1998

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

Астафьев В. П.

А91 Собрание сочинений: в 15 т. Т. 13. Веселый солдат. Варианты. Отрывки. Пьесы. Киносценарии. Из тихого света. Красноярск: ПИК «Офсет», 1998 — с. 736

В тринадцатый том Собрания сочинений В. П. Астафьева вошли написанные им в 1987—1997 гг. повесть о тяжелой послевоенной жизни — «Веселый солдат», полностью восстановленный автором текст рассказа «Ловля пескарей в Грузии» с послесловием, вариант повести «Стародуб» (1958—1959 гг.), а также не включенные в издания отрывки из написанных в разное время повестей «Кража», «Звездопад», «Веселый солдат», романа «Прокляты и убиты» и рассказов. В том включены также пьесы В. П. Астафьева — «Черемуха» и «Прости меня», шедшие на российских сценах, и два литературных сценария к кинофильмам — «Не убий» и «Трещина» (первый написан в соавторстве с Е. Федоровским). Завершает том лирическое сочинение «Из тихого света» — попытка исповеди.

© В. Астафьев, 1998

© А. Озеревская, А. Яковлев

Оформление, 1998

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1998

ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ



Повесть



***Светлой и горькой памяти дочерей моих
Лидии и Ирины***

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Боже правый!
Пусто и страшно становится в Твоем мире.

Н. В. Гоголь

СОЛДАТ ЛЕЧИТСЯ

Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне.

Случилось это на восточном склоне Дуклиньского перевала, в Польше. Наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона, во взводе управления которого я, сменив по ранениям несколько военных профессий, воевал связистом переднего края, располагался на опушке довольно-таки дремучего и дикого для Европы соснового леса, стекавшего с большой горы к плешинкам малоуродных полей, на которых оставалась неубранной только картошка, свекла, и, растрепанная ветром, тряпично болтала жухлыми лохмотьями кукуруза с уже обломанными початками, местами черно и плешисто выгоревшая от зажигательных бомб и снарядов.

Гора, подле которой мы стали, была так высока и крутоподъемна, что лес редел к вершине ее, под самым небом вершина была и вовсе голая, скалы напоминали нам, поскольку попали мы в древнюю страну, развалины старинного замка, к вымоинам и щелям которого там и сям прицепились корнями деревца и боязно, скрытно росли в тени и заветрии, заморенные, кривые, вроде бы всего — ветра, бурь и даже самих себя боящиеся.

Склон горы, спускаясь от гольцов, раскатившийся понизу громадными замшелыми камнями, как бы сдавил оподолье горы, и по этому оподолью, цепляясь за камни и коренья, путаясь в глушине смородины, лещины и всякой

древесной и травяной дури, выключувшись из камней ключом, бежала в овраг речка, и чем дальше она бежала, тем резвей, полноводней и говорливей становилась.

За речкой, на ближнем поле, половина которого уже освобожденно и зелено светилась отавой, покрошенной повсюду капельками шишечек белого и розового клевера, в самой середине был сметан осевший и тронутый чернью на прогибе стог, из которого торчали две остро обрубленные жерди. Вторая половина поля была вся в почти уже пониклой картофельной ботве, где подсолнушком, где ястребинкой взбодренная и по меже густо сорящими лохмами осота.

Сделав крутой разворот к оврагу, расположенному недалеко от наблюдательного пункта, речка рушилась в глубину, в гущу дурмана, разросшегося и непролазно сплетенного в теснотище оврага. Словно угорелая, речка с шумом вылетала из тьмы к полям, угодливо виляла меж холмов и устремлялась к деревне, которая таилась за полем со стогом и холмом.

Деревушку за холмом нам было видно плохо, лишь несколько крыш, несколько деревьев, востренький шпиль костела, кладбище на дальнем конце селенья, да все ту же речку, сделавшую еще одно колено и побужавшую, можно сказать, назад, к какому-то хмурому, по-сибирски темному хутору, тесом крытому, из толстых бревен рубленному, пристройками, амбарами и банями по задам и огородам обсыпанному. Там уже много чего сгорело и еще что-то вяло и сонно дымилось, наносило оттуда гарью и смолевым чадом.

В хутор ночью вошла наша пехота, но сельцо впереди нас надо было еще отбивать, сколько там противника, чего он думает — воевать дальше или отходить подобру-поздорову — никто пока не знал.

Наши части окапывались под горой, по опушке леса, за речкой, метрах от нас в двухстах шевелилась на поле пехота и делала вид, что тоже окапывается, на самом же деле пехотинцы ходили в лес за сухими сучьями и варили на пылких костерках да жарили от пуза картошку. В деревянном хуторе еще утром, в два голоса, до самого неба оглашая лес, взревели и с мучительным стоном умолкли свиньи. Пехотинцы выслали туда дозор и поживились свежатиной. Наши тоже хотели было отрядить на подмогу пехоте двух-трех человек, был тут у нас один с житомир-

щины и говорил, что лучше его никто на свете соломой не осмолит хрюшку, только спортит. Но не выгорело.

Обстановка была неясная. После того как по нашему наблюдательному пункту из села, из-за холма, довольно-таки густо и пристрелянно понужнули разика два минометами и потом начали поливать из пулеметов, а когда пули, да еще разрывные, идут по лесу, ударяются в стволы, то это уже сдается за сплошной огонь и кошмар, — то обстановка сделалась не просто сложной, но и тревожной. У нас все сразу заработали дружнее, пошли в глубь земли быстрее, к пехоте побежал по склону поля офицер с пистолетом в руке и все костры с картошкой распинал, разок-другой привесил сапогом кому-то из подчиненных, заставляя заливать огни. До нас доносило: «Раздолбаи! Размундяи! Раз...», ну и тому подобное, привычное нашему брату, если он давно пребывает на поле брани.

Мы подзакопались, подали конец связи пехоте, послали туда связиста с аппаратом. Он сообщил, что сплошь тут дядьки, стало быть, по западноукраинским селам подметенные вояки, что они, нажравшись картошек, спят кто где и командир роты весь испсиховался, зная, какое ненадежное у него войско, — так мы чтоб были настороже и в боевой готовности.

Крестик на костеле игрушечно мерцал, возникая из осеннего марева, сельцо обозначилось верхушками явственней, донесло от него петушинные крики, вышло в поле пестренькое стадо коров и смешанный, букашками по холмам рассыпавшийся табунчик овец и коз. За селом холмы, переходящие в горки, затем и в горы, далее грузно залегший на земле и синей горбиной упершийся в размытое осенней жижей поднебесье, — тот самый перевал, который перевалить стремились русские войска еще в прошлую, в империалистическую войну, целясь побыстрее попасть в Словакию, зайти противнику в бок и в тыл, и с помощью ловкого маневра добыть поскорей, по возможности бескровную победу. Но, положив на этих склонах, где мы сидели сейчас, около ста тысяч жизней, российский войска пошли искать удачи в другом месте.

Стратегические соблазны, видимо, так живучи, военная мысль так косна и так неповоротлива, что вот и в эту, в «нашу» уже, войну новые наши генералы, но с теми же лампасами, что и у «старых» генералов, снова толклись возле Дуклинского перевала, стремясь перевалить его, попасть в Словакию и таким вот ловким, бескровным ма-

невром отрезать гитлеровские войска от Балкан, вывести из войны Чехословакию и все балканские страны да и завершить поскорее всех изнурившую войну.

Но немцы тоже имели свою задачу, и она с нашей не сходилась, она была обратного порядка — они не пускали нас на перевал, сопротивлялись умело и стойко. Вечером из сельца, лежащего за холмом, нас пугнули минометами. Мины рвались в деревьях, поскольку ровики, щели и ходы сообщений не были перекрыты, сверху осыпало нас осколками — на нашем и других наблюдательных пунктах артиллеристы понесли потери, и немалые по такому жиденькому, но, как оказалось, губительному огню. Ночью щели и ровики были подрывы в укос, в случае чего от осколков закатишься под укос и сам тебе черт не брат, блиндажи перекрыты бревнами и землей, наблюдательные ячейки замаскированы. Припекло!

Ночью впереди нас затеплились несколько костерков, пришла сменная рота пехоты и занялась своим основным делом — варить картошку, но окопаться как следует рота не успела, и утром, как только от сельца застреляли, затрещали, на холм с гомоном взбежали россыпью немцы, пехоту нашу будто корова языком слизнула. Обожравшаяся картошкой пехота, побрякивая котелками, мешковато трусила в овраг, не раздражая врага ответным огнем. Какой-то кривоногий командиришко орал, палил из пистолета вверх и по драпающим пальнул несколько раз, потом догнал одного, другого бойца, хватал их за ворот шинели, то по одному, то двоих сразу валил наземь, пинал. Но, полежав немного, дождавшись, когда неистовый командир отвалит в сторону, солдаты бегли дальше или неумело, да шустро ползли в кусты, в овраг.

Боевые эти вояки звались «западниками» — это по селам Западной Украины заскребли их, забрили, немножко подучили и пихнули на фронт.

Изъезженная вдоль и поперек войнами, истерзанная нашествиями и разрухами, здешняя земля давно уже перестала рожать людей определенного пола, бабы здешние были храбрее и щедрее мужиков, характером они, скорее, пошибали на бойцов, мужики же были «ни тэ, ни сэ», то есть та самая нейтральная полоска, что так опасно и ненадежно разделяет два женских хода: когда очумелый от страсти жених или просто хахаль, не нацелясь как следует, угодит в тайное место, то так это и называется — попасть впросак. Словом, была и осталась часть мужская

этой нации полумужиками, полуукраинцами, полуполяками, полумадярами, полубессарабами, полусловаками, и еще, и еще кем-то. Но кем бы они ни были, воевать они в открытую отвыкли, «всех врагов» боялись, могли «бытысь» только из-за угла, что вскорости успешно и доказали, после войны вырезая и выбивая друг дружку, истребляя наше оставшееся войско и власти битьем в затылок.

В общем, западники драпанули в овраг и снова, как ни в чем не бывало, начали там варить и печь картошку, тем более что выгонять их из оврага было некому: кривоногого лейтенанта, командира роты, как скоро выяснилось, меткий немецкий пулеметчик снисходительной, короткой очередью уложил в картошку на вечный покой, взводных в роте ни одного не осталось.

* * *

Пока мы, взвод артиллерийского дивизиона, умаянные ночной работой, просыпались, очухивались, немцы холмик перевалили, оказались у самого нашего носа и окапывались уже по краю клеверного и картофельного поля, ожидая, вероятно, подкрепления. Но тут со сна, с переполоху открылся такой огонь, такой треск поднялся, что немцы сперва и окапываться перестали, потом, видя, что мы палим в белый свет, как в копеечку, снова заработали лопатками. Кто-то из наших командиров уже бежал вдоль опушки и кричал, и стонал: «Прицелы! Прицелы, растуды вашу туды!» Я глянул на прицел карабина и тоже изругался: прицел стоял на «постоянном» — в кого тут попадешь?! Сдвинул скобу на цифру «пятьсот» и вложил новую обойму.

Немцы перебежками пошли вперед, приближаясь к лесу. Мне, да и всем, наверное, казалось, что расстояние между нами и ними сокращалось уж как-то слишком быстро, но слева от дороги, где был наблюдательный пункт штаба бригады, заработали два станковых и несколько ручных пулеметов. Немцы залегли, начали продвигаться вперед по-пластунски, еще бросок — и тут, в лесу, мы или тоже драпанем, или уж зубы в зубы, у нас такое уже бывало. На Днепре, брошенные пехотой, мы уже схватывались с немцами на наблюдательном лоб в лоб, зубы в зубы — мне та драчка снится до сих пор.

Я начал переводить планку на двести пятьдесят метров и услышал команды, доносившиеся из блиндажа ко-

мандира дивизиона: «Залечь! Всем залечь!» — разнеслось по опушке. Прекратив огонь, мы попадали на дно ячеек, щелей, ходов сообщений. Немцы подумали, что мы тоже драпанули, как наша доблестная пехота, поднялись, радостно загомонили, затрещали автоматами — и тут их накрыло залпом гаубиц нашего и соседнего дивизионов. Не знали немцы, что за птицы на опушке-то расположились, что не раз уж этим артиллеристам приходилось быть открываемыми пехотой и отбиваться самим, и никогда так метко, так слаженно не работали наши расчеты — ведь малейший недоворот, недочет — и мы поймаем свои снаряды. Но там же «наших бьют», а многие «наши» шли вместе от реки Оки и до этой вот польской бедной землицы, знали друг друга не только в лицо, но и как брата знали, брата по тяжелым боям, по непосильной работе, по краюшке хлеба, по клочку бинта, по затяжке от сигарки.

Нас было уже голой рукой не взять, мы многому научились, и, как только наладили прицельный огонь из личного оружия, немцу пришлось залезать обратно в картошку, в низко отрытые нашей пехотой окопчики и оттуда уж мстительно щелкать по сосняку разрывными пулями. Снова начали работать из сельца минометы, и снова у нас сразу же закричали там и сям раненые, сообщили, что два линейных связиста убиты. Огонь наших батарей перенесли за холм, на сельцо. Донесся слух, что сам комбриг велел накрыть минометы хорошим залпом. Залп дали, но минометы не подавили. Комбриг заорал: «Это не залп, а дрисня!» Тут же вызвал на провод нашего командира дивизиона: «Бахтин, а Бахтин, — сдерживаясь изо всех сил, глухо и грустно заговорил комбриг. — Если мы будем так воевать и дальше, к вечеру у нас не останется бойцов и нам с тобой да с моими доблестными помощниками самим придется отбиваться от этих вшивиков... — и, подышав, добавил: — Учти, ты — крайний справа, у самого оврага, заберутся немцы в овраг — не сдобровать тебе первому...»

Пошла совсем другая война, организованная. Но, как говорится, на орудия и на командира надейся, да сам не плошай. Орудия молотили, молотили по сельцу и зажгли там чего-то. Потом корректировщик забрался на сосну, и, пока немцы в картошке заметили его, минометная батарея уже заткнулась, трубы ее лежали на боку, обслуга кверху жопой. Я же лично долго вел войну вслепую, тужась поразить как можно больше врагов, и тыкал караби-

ном то туда, то сюда, уже по щиколотку стоял в своей щели в пустых горячих гильзах, руки жгло карабином, масло в замке горело, а уверенности, что я ухрюпал или зацепил хоть одного немца, не было.

Наконец, уяснив, что всех врагов мне одному не перебить, я уцепил на прицел определенного немца. Судьба его была решена. Перебрав и перепробовав за время пребывания на передовой всякое оружие, как наше так и трофейное, я остановился на отечественном карабине, как самом ловком, легком и очень прицельном стрелковом оружии. Стрелял я из него давно и метко. Днями, желая прочистить заросшую дыру в карабине, я заметил заливающегося на вершине ели молодого беззаботного зяблика, прицелился и разбил его пулей в разноцветные клочья. Разбил птичку — и зареготал от удовольствия. Кто-то из старых вояк сказал: «Болван, эт-твою мать!» — я еще громче зареготал и похлопал по заеложенной об мой зад ложе: «Во, братишка, лупит!»

Немец, мною намеченный, чаще других поднимался из картошки и бросками, то падая, то ложась, бежал за скирду клевера. По отаве яркой, как бы осыпанной комочками манной кашицы, новоцветом, он полз, и довольно быстро, потом вскакивал и опрометью бросался в укрытие, за скирду. На спине его, прицепленный к ранцу, взблескивал котелок. Я поставил планку на триста пятьдесят метров и несколько раз выстрелил по этому котелку, когда немец лежал в картошке. Попадало, должно быть, близко, но не в солдата, видать, малоопытного, иначе давно бы он снял ранец с котелком — мишень на спине опытный солдат никогда себе навесить не позволит.

Скорее всего немец этот был связным. Там, за скирдой, сидел командир роты или взвода и посредством связного отдавал распоряжения в цепи. Залегшие и уже хорошо окопавшиеся в картошке, все более и более растягивающиеся левым крылом роты к оврагу наши связные уже сбегали по оврагу и речке к хутору, расположенному справа, сообщили обстановку, и оттуда отсекающим от леса огнем били пулеметы и, как было сообщено, налаживается атака силами батальона, да еще выловленных в оврагах «западников» и двух или четырех танков.

Ну, «силами батальона» звучит громко, в батальоне том если осталось человек восемьдесят, так и то хорошо, а «западники» — они пройдут до поля и залягут, ведя истребительный огонь. Вот если танки, пусть и два будут,

да наши, ахнут из гаубиц, тогда, пожалуй, противнику не сдобровать. Но пока он, немец с котелком, залег в картошке, припал за бугорком, ровно бы кротом нарытым, и не шевелится, убил я его уже? Или еще нет? На всякий случай держу на мушке. И вот он, голубчик, выдал себя, вскочил, побежал согнувшись, готовый снова ткнуться за бугорочек. Но я поймал на мушку котелок, опор ложей сделал к плечу вплотную, мушку довел до среза и плавно нажал на спуск.

Немец не дотянул до следующего бугорка два-три метра и, раскинув руки, словно неумелый, напуганный пловец, упал в смятую, уже перерытую картошку. Я передернул затвор, вогнал новый патрон в патронник и неумолимо навис над целью дулом карабина. Но немец не шевелился и более по полю не бежал и не ползал. Я еще и еще палил до обеда и после обеда. Часа в четыре из хутора вышли два танка, за ними засуетились расковыранным муравейником пехотинцы, ударили наши орудия, жажнули мы из всего и чем могли, и немцы, минуя село, из которого утром пошли в атаку, потому что там тоже какая-то стрельба поднялась, не перебежками — россыпью рассеянной, молчаливой толпой бросились бежать за холм и дальше, тут и скирда сырого клевера, которую весь день зажигали пулями и не могли зажечь, густо задымила, бело и сыро, потом нехотя занялась.

Я нашел «своего» немца и обрадовался своей меткостью. Багровое пятно, похожее на разрезанную, долго лежавшую в подвале свеколку, темнело на сереньком пыльном мундире, над самым котелком. По еще не засохшей, но уже вязко слипшейся в отверстиях крови неземным, металлически отблескивающим цветком сидели синие и черные толстые мухи, и жуки с зеленой броней на спине почти залезли в рану, присосались к ней, выставив неуклюжие круглые зады, под которыми жадно скреблись, царапались черные, грязные, резиновой перепонкой обтянутые лапки с красно измазанными, острыми коготками. Я перевернул уже одеревенелое тело немца. После удара пули он еще с полминуты, может, и более жил, еще царапал землю, стремясь уползти за бугорок, но ему досталась убойная пуля. В обойме русской винтовки пять пуль (карабин — это укороченная, модернизированная винтовка), четыре из пяти пуль с окрашенными головками, черная — бронебойная, зеленая — трассирующая, красная — зажигательная, белая — не помню, от чего и

зачем. Должно быть, разрывная. Пятый патрон — обыкновенный, ничем не окрашенный, на человека снаряженный. В бою мне было не до того, чтобы смотреть, какой патрон и на кого в патронник вгоняю. Выход на груди немца был тоже аккуратен — неразрывной, обыкновенной, смертельной пулей сокрушил я врага. Но все же крови на мундире и под мундиром на груди было больше, чем на спине, вырван наружу клочок мундира, выдрана с мясом оловянная пуговица на клапане мундира, вся измазанная загустелой кровью и болтавшаяся вроде раздавленной вишенки с косточкой внутри.

Немец был пожилой, с морщинистым худым лицом, обметанным реденькой, уже седеющей щетиной; глаза его, неплотно закрытые, застыло смотрели мимо меня, в какую-то недостижимую высь, и весь он был уже там где-то, в недоступных мне даях, всем чужой, здесь ненужный, от всего свободный. Ни зла, ни ненависти, ни презрения, ни жалости во мне не было к поверженному врагу, сколько я ни старался в себе их возбудить. И лишь: «Это я убил его! — остро протыкало усталое, равнодушное, привычное к мертвецам и смертям сознание: — Я убил фашиста. Убил врага. Он уже никого не убьет. Я убил. Я!..»

Но ночью, после дежурства на телефоне, я вдруг заблажил, чего-то страшное увидев во сне, вскочил, ударился башкой о низкий настил — перекрытие из сосновых сучков на своей щели. Попив из фляги воды, долго лежал в холодной осенней земле и не мог уснуть, телом ощущая, как неглубоко мною зарытый в покинутом окопчике обустройства навечно в земле, чтобы со временем стать землею, убитый мною человек. Еще течет меж пальцев рук, в полураскрытые глаза и в рот мертвеца прах скудного, рыхлого прикарпатского крестьянского поля, осыпается комочками за голову, за шею, гасит последний свет в полусмеженных глазах, темно-синих от мгновенной сердечной боли, забивает в последнем крике разжатый рот, в котором не хватало многих зубов, и ни золотые, ни железные не были вставлены взамен утраченных.

Бедный, видать, человек был, может, крестьянин из дальних, неродовитых земель, может, рабочий с морского порта. Мне почему-то все немецкие рабочие представлялись из портов и горячих железодельных заводов.

Тянет, обнимает земля человека, в муках и для мук рожденного, мимоходом с земли смахнутого, человеком же убитого, истребленного. Толстозадые жуки с зелены-

ми броневыми нездешними спинами роют землю, точат камень, лезут в его глубь, скорей, скорей к крови, к мясу. Потом крестьяне запашут всех, кто пал на этом поле, заборонят и снова посадят картошку и клевер. Картошку ту будут варить и есть с солью, запивать ее сладким, густым от вкусного клевера молоком; под плуг попадут гнезда тех земляных жуков, и захрустят их броневые, фосфорической зеленью сверкающие крылья под копытами коня, под сапогами пана-крестьянина.

Нечего сказать, мудро устроена жизнь на нашей прекрасной планете и, кажется, «мудрость» эта необратима, неотмолима и неизменна: кто-то кого-то все время убивает, ест, топчет, и самое главное — вырастил и утвердил человек убеждение: только так, убивая, поедая, топча друг друга, могут сосуществовать индивидуумы земли на земле.

Немец, убитый мною, походил на кого-то из моих близких, и я долго не мог вспомнить — на кого, убедил себя в том, что был он обыкновенный, и ни видом своим, ни умом, наверно, не выдававшийся, и похож на всех обыкновенных людей.

Через несколько дней с почти оторванной рукой выводил меня мой близкий друг с расхлестанной прикарпатской высоты, и, когда на моих глазах в клочья разнесло целую партию раненых, собравшихся на дороге для отправки в медсанбат, окопный дружок, провожавший меня, успел столкнуть меня в придорожную щель и сверху рухнуть на меня, я подумал: «Нет, «мой» немец оказался не самым мстительным...»

Дальше, вплоть до станции Хасюринской, все помнится пунктирно, будто ночная пулеметная очередь — полет все тех же четырех бесцветных пуль — пятая трассирующая, пронзающая тьму и дальнюю память тревожным смертельным светом.

Безобразно доставляли раненых с передовой в тыл. Выбыл из строя — никому не нужен, езжай, лечись, спасайся как можешь. Но это не раз уже описано в нашей литературе, и мною в том числе. Перелистну я эту горькую страницу.

Надеялись: на железной дороге будет лучше. Наш железнодорожный транспорт даже в дни развалов и разрух, борьбы с «врагами народа», всяческих прогрессивных нововведений, перемен вождей, наркомов и министров

упорно сохранял твердое, уважительное отношение к человеку, особенно к человеку военному, раненому, нуждающемуся в помощи. Но тут была польская железная дорога, расхлябанная, раздрызганная, растасканная, как и само государство, попеременноке драное то тем, то другим соседом, и по этой причине вконец исторговавшиеся: «Придут немцы, — говорилось в услышанной здесь притче, — будут грабить и устанавливать демократию; придут москаля — будут пить и ... ть беспощадно. Так я советую паньству, — наставлял свой приход опытный пастырь, — не отказывать москалям, иначе спалят, но делать это с гонором — через жопу».

Так они и поступают до сих пор — все у них идет через... зато с гонором.

Паровозишко тащил какой-то сброд слегка починенных, хромых вагонов. Раненые падали с нар, и по той причине все лежали на грязном, щелястом полу. Брал с места паровозишко, дернув состав раз по пяти, суп из котелков выплескивался на колени, опшаренные орали благим матом, наконец, наиболее боеспособные взяли костыли и пошли бить машиниста.

Но он уж, как выяснилось, бит, и не раз, всевозможными оккупантами. Быстро задвинув дверь паровоза на крепкий засов, опытный машинист высунулся в окно и траванул пламенную речь, мешая польские, украинские и русские слова, в том смысле, что ни в чем он не виноват, что понимает все, но и его должны понять: из этого государства, пся его крэв, которое в первый же день нападения немцев бросил глава его, самонаградной маршал Рыдз-Смигла, изображавший себя на картинах и в кино с обнаженной боевой саблей, начищенным сапогом попирающий вражеское знамя, смылся в Румынию вместе с капиталами и придворными блядьми, бросив на произвол судьбы ограбленный народ. Какой в таком государстве, еще раз пся его крэв, может быть транспорт, какой, сакраментска потвора, порядок? Если москаля хотят побить его костылями, то пусть бьют правительства, их сейчас в Польше до хуя — он так и произнес нетленное слово, четко, по-русски, только ударение сделал не на «я», как мы, а на «у». О-о, он же политически подкован, бит немецкими прикладами, обманут советскими жидами, заморочен политиками и до того освобожден, что порой не знает — в какую сторону ехать, кого и куда везти, к кому привыкать, — все, курва-блядь, командуют, грозятся, но поить и

кормить никто не хочет. Вот уголь и паек дали на этот раз «радецкие»* — он и поехал в сторону «радецких», раньше давали все это немцы — он и ехал в сторону немецкую.

До Львова и путь недолог, но многие бойцы успели бойко поторговать, продали и трофеишки, и с себя все что можно. Со станции Львов в сортировочный госпиталь брела и ехала, осыпаемая первой осенней крупкой, почти сплошь босая, до пояса, где и выше раздетая толпа, скорее похожая на сборище паломников иль пленных, нежели на бойцов, только что пребывавших в регулярном сражающемся войске.

У меня был тяжелый выход с передовой, из полуокружения, еще тяжелее езда в машинах по разбитой танками дороге, короткая передышка на походных санитарных эвакуационных пунктах почти не давала успокоения и отдыха, ехал я по Польше в жару, торгом заняться не мог. У меня было две полевых сумки: в одну ребята натолкали бумаги, карандашей, чтоб писал им, позолоченные зажигалки, часы, еще что-то, чтоб продал и жил безбедно. Эту сумку у меня украли на первом же санпункте, где спал я полубеспамятым сном. В другой сумке были мои «личные» вещишки — мародеры из спекулянтов или легко раненные порылись, выбрали, что «поценней» и бросили мне ее в морду; пробовали в потемках стянуть сапоги, но я проснулся и засипел сожженной глоткой, что застрелю любого, кто еще дотронется до сапог. Это были мои первые, добротные и не без некоторого даже форса шитые сапоги.

В бою под Христиновкой наши войска набили табун танков. Я, как связист, был в пехоте с командиром-огневи́ком, на корректировке огня. Когда бой прекратился и малость стемнело, одним из первых ворвался в «ряды противника» и в трех несгоревших немецких танках вырезал кожаные сиденья. Кожу с сидений я отдал одному нашему огневику, тайно занимавшемуся в походных условиях сапожным ремеслом и зарабатывавшему право не копать, не палить, орудие не чистить, только обшивать и наряжать артиллеристов. Бойцы нашей бригады в немалом числе уже щеголяли в добротных сапогах, а я все шлепал вперед на запад в ботинках-сороходах. Какая война в ботинках с обмотками, особенно осенью? Кто воевал, тот знает. Кожи из танков хватило бы на четверо сапог, а

* Советские.

наш сапожник, производивший тройной, если не четверной, обмен кож — на гвозди, подковы, шпильки, стельки и, главное, подметки — и все это на ходу, в движении, в битве! — стачал мне такие сапоги, что весь наш взвод ахнул. Первый раз в моей жизни новая обувь нигде не давила, не терзала мои костлявые ноги, все-то было в пору да так красиво, главное, подметки были из толстой, красной, лаково блестящей кожи!

Какой-то чешский эскадрон имел неосторожность расположиться неподалеку от наших батарей, и, пока чехпоручик на расстеленной салфетке пил кофе, наши доблестные огневики сняли с его коня новенькое седло, изготовленное на Советском Кавказе. Поручик долго не мог понять: куда исчезло седло и что это за такое незнакомое русское слово — «украли». И тогда кто-то, опять же из огневиков, обнадеживающе похлопал чеха по плечу: «Ничего, ничего. Придем к вам, объясним и научим!»

Вот какие у меня были сапоги! Я под тем же Львовом драпал с одной высоты. На рассвете это было, в августе месяце. Я спал крепким сном, в два часа ночи сменившись с поста. Но спать в обуви я не мог, и, когда началась паника и все побежали и забыли про имущество, даже стереотрубу забыли, позорники, — меня, спящего в щели на краю пшеничного поля, забыли. Один мой дружок, ныне уже покойный, все же вернулся, растолкал меня, и я начал драпать с сапогами в одной руке, с карабином в другой. Танки уже по пшенице колесили, немцы строчили из хлебов, но я сапоги не бросил и карабин не бросил.

Но как я поступил во львовский распределительный госпиталь, сердце мое оборвалось: тут не до сапог, тут дай Бог жизни не потерять.

Распределитель размещался в какой-то ратуше, думе, собрании или ином каком внушительном здании. Многоэтажный дом был серого цвета, по стенам охваченный древней прозеленью. Комнаты в нем были огромны, каменные залы гулки, с росписями по потолку и по стенам. Я угодил в залу, где на трехэтажных деревянных топчанах, сооруженных и расставленных здесь еще немцами, располагалось до двухсот раненых, и, если в углу, возле окон, на крайних топчанах заканчивался завтрак, у дверей уже начинали раздавать обед, и нередко, приоткрыв на нарах одеялишком прикрытого солдата, санитары, разносившие еду, тихо роняли: «Этому уже ничего не надо» и по кем-то установленному закону или правилу делили меж ранеными пайку угасшего бедолаги — на помин души.

Отсюда раненых распределяли в санпоезда и отправляли на Восток — вечный шум, гам, воровство, грязь, пьянство, драки, спекуляция.

У санпоездников правило: не принимать тех бойцов на эвакуацию, у которых чего-либо не хватает из имущества, даже если нет одной ноги — ботинки должны быть парой — такова инструкция санупра. Кое-что выдавалось здесь, со складов ахового распредгоспиталя, и склады те напоминали широкую городскую барахолку. На них артелями, точнее сказать, бандами, орудовали объевшиеся, злые, всегда полупьяные мужики, без наград и отметок о ранениях на гимнастерках. Они не столь выдавали, сколь меняли барахлишко на золото в первую голову, на дорогие безделушки, даже на награды и оружие. Думаю, не один пистолет, не одна награда через те склады, через тех тыловиков-грабителей попали в руки бендеровцев. Здесь можно было месяцами гнить и догнивать из-за какой-нибудь недостающей пилотки, ботинка или подштанников. Ранбольные бушевали, требовали начальство для объяснений.

Являлась дамочка; золотом объятая, с тугими икрами, вздыбленной грудью, кудрявой прической, блудно и весело светящимися глазами — во всем ее облике, прежде всего в том, как она стояла, наступательно выставив ножку в блестящем сапоге, явно сквозило: «Ну я — блядь! Руководящая блядь! И горжусь этим! И презираю вас, вшивоту серую...»

— Спа-акойно! Спа-акойно, товарищи! Всех эвакуируем. Всех! — напевая, увещевала начальница и, как-то свойски, понимающе сощуриив блудный глаз, не то фамильярно подмигивая, не то пронзая им, добавляла: — Мы-то тут при чем? Госпиталь-то наш при чем? Вы сами распродали в пути и пропили свое имущество. Ка-азенное! Ба-а-айевое! А я санпоездами, извините, не командую. Я бы рада сегодня, сейчас всех вас, голубчиков, эвакуи-и-ировать, определить лечить, но... — тут она разводила руками и улыбалась нам, обнажая золотые зубы, чарующей улыбкой, дескать, не все в моей власти и вы сами во всем виноваты.

Да это у нас и по сей день так: где бы ты ни воевал, ни работал, где бы ни служил, ни ехал, ни плыл, в очереди в травмпункте иль на больничную койку ни стоял — всегда ты в чем-то виноват, всегда чего-то должен опасаться и думать, как бы еще более виноватым не сделаться, посему

должен выслуживаться, тянуться, на всякий случай прятать глаза, опускать долу повинную голову — человек не без греха, сам в себе, тем более в нем начальство всегда может найти причину для обвинения. Взглядом, словом, на всякий случай, на сберкнижку, что ли, держать его, сукиного сына, советского человека, в вечном ожидании беды, в страхе разоблачения, устыжения, суда, если не небесного, то общественного.

В конце беседы обворожительная дама обязательно поправляла заботливо на ком-нибудь из раненых одеяльце, подтыкала подушку, и непременно находился доверчивый бедолага с дальних таежных деревень родом, всегда и до конца верящий молитве Божьей и слову «полномочных» людей:

— Меня, родная дамочка, меня-то эвакуируйте ради Бога. Обоих ног нету, а с меня ботинки требуют. Помру ведь я тут без молитвы и причастия...

— Ф-фу, какой паникер! Да еще и в Бога верующий!.. Поможем вам, поможем... Наша обязанность, как и у богов, х-хы, шучу, помогать страждущим и только страждущим!.. — А сама под одеяло зырк, за руку человека цап, пульс сосчитает, за лоб его пощупает, глядишь, и поплыл, крестясь, с молитвою на устах суеверный таежник на носилках. На груди у него ботинки курочками сидят, неважно какие, какого износа и размера, неважно, что на одну они ногу, лишь бы для отчета годились. Прижимая ко груди драгоценную обувь, сипит благодарствия дрожащим голосом человек. Сбыла его дамочка в санпоезд, а там — спасут так спасут. Но может путь его обрваться, и сдадут бедолагу где-нибудь ночью на большой станции похоронной спецкоманде, и будет он зарыт в неизвестном месте, неизвестными людьми, на неизвестном кладбище... И тут же всеми забыт, кроме обездоленной русской семьи, потерявшей кормильца, который с носилок еще рукой пытается помахать и плачет:

— До свиданья... товаришшы. Желаю и вам поскорейча... Гражданочке-то той благодарствие передавайте... мол, Пров Пивоваров, сапер, на mine подорвавшийся... с Ангары родом... Не забудьте, товаришшы... Простите, если што не так, что поперед вас выпросился... Невмочь мне. С Богом!..

— С Богом! — прервут винящегося перед всеми на смертном одре совестьящегося человека сострадательные бойцы и, чтоб не ушибли, не уронили с носилок бедолагу,

помогут его спустить по лестнице донизу, этого вот и до вагона помогли донести.

В три-четыре дня ребята, что побоевей, объединялись в артель или в боевое отделение, соединялись койками и сиденьями. У кого нож, у кого пистолет, у кого и кулак еще в силе — только так, только боевой, организованной силой можно было противостоять здешней злой силе, вероятно, спаявшейся и снюхавшейся с бандами бендеровцев и польских националистов. Наша артель пробилась на перевязки, достала кое-что из амуниции, вина не пила, в карты не играла, бодрствовала попеременно. Однажды возле меня закрутился, завертелся цивильный полячок в грязном халате, выносивший судна, утки, подтирающий мокрой шваброй полы. Все время он чего-то менял, приносил, уносил. Я понял, что ему приглянулись мои сапоги. Бойцы нашего, вновь сформированного, стихийного соединения с надеждой глядели на меня, да и знал я, что вот-вот лишусь сапог, уже орали тут какие-то ухари: «Всем, кто не имеет офицерского звания, форму и погоны офицеров сдать, получить на складе вместо сапог ботинки и обмотки. За утаивание!..»

— Сколько? — спросил я полячка. И он показал мне два пальца. Боевое соединение начало торговаться и вызудило с полячка еще пятьсот рублей.

Сапоги мои драгоценные, в сраженьях добытые и сработанные, ушли от меня навечно. С выручки уплыло «на дозаправку» полтыщи, зато через сутки, полностью укомплектованные, перевязанные, чуть выпившие на дорожку, раненые бойцы нового боевого отряда из восьми человек были погружены в санпоезд и отправлены не куда-нибудь в занюханый и дымный городишко, в далекий Казахстан, в город Джамбул направились они. Поднатужившись, я вспомнил слова из песни великого акына, которые он якобы пропел богатому и наглому баю, у коего околела любимая собака, а он велел бедному акыну петь над ее прахом, тот прямо в глаза баю: «...И я не желаю тебе ничего, кроме блох. Жить бы собаке, а ты бы подох!..»

Вот в какой славный город, в какую теплую страну должны были привезти меня и моих новых верных товарищей мои сапоги.

Но все в жизни переменчиво. Говорят, те слова Джамбул никогда не пел. И сочинил их якобы еврей-переводчик по фамилии Голубев, и неграмотный акын поставил под ними одобрительную подпись — крестик. И вообще

поезд шел не в ту сторону. Шел он на Кубань, мчался на всех парах к неведомой казачьей станице, где нас должны встречать, приветствовать, обласкать, на коечки положить и, наконец-то, начать лечить. Но далеко еще было до той станицы, ничего мы еще не знали: сколько еще будем ехать? Где и когда выгрузимся? Что не в Джамбул едем — это мы уже поняли по названиям станций и по землям, расстилавшимся за окнами вагонов.

И в станице с названием Хасюринская нас никто не ждал и не встречал. Санпоезд долго стоял на первом пути станции, потом на запасном и, наконец, его загнали в тупик, что означало, по заключению знатоков — будет разгрузка. Скоро.

Завтраком нас накормили в санпоезде, обедом, сказали, будут кормить уже в госпитале, и к обеду тех раненых, кто мог двигаться самостоятельно, из вагонов выдворили в прилегающий к тушику, с той и с другой стороны, казалась, бесконечный, подзапущенный за войну абрикосовый и яблоневый сад. Над рекой, взблескивающей вдаль, горбатился мост, невзорванный. Мы решили, что это Кубань, потому как по Кубани может течь только Кубань, с подрытыми берегами, украшенными кустарником и кое-где деревьями, до неба взнявшимися, еще взлохмаченными, но уже начавшими желтеть и осыпать лист.

Сад, возле которого стоял санпоезд, был сиротливо пуст, но девушки нашего вагона — сестра Клава и санитарка Аня — были здешние, кубанского рода, и знали, что до самой зимы, до секучих зимних ветров, на какой-нибудь ветке или дереве непременно задержится один-другой фрукт, да и падалица бывает. Они пошли в глубь сада и скоро вернулись оттуда, неся в карманах и полах белых халатиков чуть порченные, сбоку в плесневелых лишаях абрикосы, подопрелые яблоки, и сказали, что наберут груш. У кого-то сыскался рюкзак, кто-то изъявил желание пойти с девчатами в сад — и скоро мы сидели вокруг вещмешка и выбирали из него кто чего хотел: крепенькую, на зубах редиской хрустящую, зеленую грушудичку, либо подквашенный абрикос, либо переспелое, уже и плододоржкой покинутое, сморщенное яблоко.

Девочки наши переживали, что мы едим немые фрукты, но, уже как бы неотчетственные за нас, за наше здоровье, переживали, скорее, по привычке. Мы уже были не «ихние», но еще и «ничьи». Девочки могли и должны

были покинуть нас, им надо было прибираться в вагоне, сдавать белье, посуду, инструменты. Тех раненых, что не были выгружены (слух пошел), повезут дальше и их, «внеплановых», станут мелкими партиями раздавать по другим госпиталям. Раненых переместили, сбили в другие вагоны, чтоб легче было обслуживать и не канителиться, бегая по всему составу. Наш вагон был пуст. Обжитый за десять дней пути из Львова уже привычный дом на колесах отчужденно и грустно смотрел на нас открытыми окнами и зияющей квадратной дырой тамбура.

Но роднее вагона сделались нам «наши» девочки. Их уже гукали, строгим голосом призывали к труду, но они сидели среди своих ребят, на откосе тупика, покрытого выгоревшей травой, грустно на нас поглядывали, через силу улыбались, потому что ребята, как в дороге было, развлекали их байками, всякими посказульками.

На девочку походила и была незамужняя лишь Анечка, тоненькая в талии, но с крепко налитой кубанской грудью и круглыми икрами, черноволосая, с крыла кавказского на равнины кубанские слетевшее перышко. Была Анна доверчива и смешлива. Мужики подшучивали над нею, даже пощипывали, прижав ее в узком месте, но она только посмеивалась иль пищала: «Ой! Ой, Божечки мой! Больно же!..» Клава тоже была чернява, но нравом утрюма, взглядом строга, и прическа у нее была строгая, короткая, без затей, хотя волосы были густы, отливали шелковисто, и отпусти она их до пояса или до плеч, как нынешние стилижки, — так за одни только эти волосы мужики ее любили бы, сватали, она бы еще в школе замуж вышла, ее раз пять бы отбили друг у дружки мужики и, может, даже и на БАМ увезли бы, на молодежную передовую стройку, где красавицы были в большой цене и в особом почете.

У Клавы и в характере, и в действиях все было подчинено и приспособлено к делу.

Меня определили на второй боковой полке, против крайнего купе — «купе» девочек, отгороженного от посторонних глаз простынею. Но чаще всего простыня та была откинута, и я видел, как работала Клава. Паек она делила справедливо, никого не выделяя, никому не потрафляя; точным шлепком бросала в миски кашу, точным взмахом зачерпывала из бачка суп, точно, всегда почти без довесков, резала хлеб и кубики масла, точно рассыпала сахар миниатюрным, игрушечным черпачком; одним ударом,

скорее даже молниеносным броском, иглу до шприца всаживала в подставленный зад или в руку, спину ли — и все это молча, со спокойной строгостью, порой казалось, даже злостью, и, если больной вздрагивал или дергался от укола, она увесисто роняла: «Ну, чего тебя кособочит? Сломаешь иглу», — и когда подбинтовывала, и когда успокаивала больных иль усыпляла, Клава тоже лишних слов не тратила. Ее побаивались не только больные, но и Анечка. Чуть, бывало, ранбольные завольничают, Анечка сразу: «Я вот Клаву позову, так узнаете!..»

Суток двое в пути я спал напропалую после львовской распределовки и проснулся однажды ночью от какого-то подозрительного шороха. Мы где-то стояли. Я высунулся в окно. На улице, с фонарем, у открытого тамбура, в железнодорожной шинелке, из-под которой белела полоска халата, ежилась Анечка. Простыня на служебном купе колыхалась, за нею слышался шепот, чмоканье, потом и срывистое, загнанное дыхание и, как всегда, строго-деловой, спокойный голос Клавы: «Не торопись, не торопись, не на пожаре...» Из-под простыни выпростались наружу две ноги, ищущие опору и не находящие ее на желдорполке. Ноги в носках, значит, офицер откуда-то явился — у нас в вагоне сплошь были рядовые и сержанты, носков нам не выдавали.

Но Клава и тут никого не хотела выделять, обслуживала ранбольных беспристрастно, не глядя на чины и заслуги. Не успел выметнуться из купе офицер, как туда начал крадучись пробираться старший сержант, всю дорогу чем-то торговавший, все время чуть хмельной, веселый и, как Стенька Разин, удалой. Но когда после старшего сержанта, к моему ужасу и к трусливой зависти моей, в «купе» прокрался еще кто-то, Клава выдворила его вон, опять же строгим голосом заявив: «Довольно! Я устала. Мне тоже поспать надо. А то руки дрожать будут и пропорю вам все вены...»

Поезд тронулся. Прибежала Анечка, загасила фонарь, стуча зубами, сбросила шинеленку и со словами: «Ох, продрогла!» нырнула к Клаве под одеяло — полка у них была одна на двоих, с откидной доской, кто-то из двоих должен был ночью дежурить и караулить больных, имущество — да где же девчонкам сутками выдержать дорожную работу, вот по их просьбе и приделали «клапан» к вагонному сиденью. Накрепко закрыв тамбура с обеих сторон, они спали себе, и никто ни нас, ни имущество не уносил.

— Ну, как было? Как? — приставала с расспросами к подруге Анечка.

— Было и было, — сонно отозвалась та. — Хорошо было, — и уже расслабленным голосом из утомленного тела испустила истомый вздох: — Хорошо-о-о-о.

Анечка не отставала, тормошила напарницу, и слышно было, как грузно отвернулась от нее Клава:

— Да ну тебя! Пристала! Говорю тебе — попробуй сама! Больно только сперва. Потом... завсегда... сла-а-адко...

— Ладно уж, ладно, — как дитя, хныкала Анечка, — тебе хорошо, а я бою-уся... — и тоже сонно вздохнула, всхлипнула и смолкла. Устала, намерзлась, набегалась девчонка, и всеуспокаивающий сон сморил, успокоил ее тело, томящееся ожиданием греха и страха перед ним. А я из-за них не спал до утра. И вспомнилась мне давняя частушка, еще золотого, деревенского детства: «Тягька с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я, бедный, за трубой загинаю х... дугой».

А утром у меня температура подпрыгнула, пусть и немного, и Клава ставила мне укол в задницу. Проникающим в душу спокойным взором она в упор глядела на меня и говорила, выдавливая жидкость из шприца, санитарке, порхающей по вагону:

— Своди малого в туалет. Умой. Он в саже весь. В окно много глядит. А моет только чушку. Одной рукой обихаживать себя еще не умеет. Вот и умой его. Как следует умой. Охлади!

И не когда-нибудь, поздней ночью Анечка перла меня в туалет, открыла кран и под журчанье воды начала рассказывать свою биографию, прыгая с пятого на десятое. Биография у нее оказалась короткой. Очень. Родилась на Кубани, в станице Усть-Лабе. Успела окончить только семь классов, потом в колхозе работала, потом курсы кончила, медсестер, полгода уж санитаркой в санпоезде ездит, потому что места медсестер заняты....

— Во-от! — напряженно добавила она и смолкла, вдруг нервно рассмеялась. — Война кончится, так и буду судна да утки подавать... медсестрой не успею...

— Успеешь! — поспешно заверил я. — На гражданке больных на твою долю хватит... Н-налечишь еще, — и я начал заикаться и опрометчиво добавил: — Ты доб-брая...

— Правда? — подняла голову Анечка, глаза ее черные загорелись на бледном лице заметным ярким огнем, мо-

жет, и пламенем. — Правда?! — повторила она и сделала вроде бы шаг ко мне. Но я, дрожащий, как щенок, от внутреннего напряжения, все понимал, да не знал, что и как делать? — здесь, в туалете, с перебитой рукой, в жалком, просторном бельишке, перебирая босыми ногами по мокрому полу, будто жгло мне подошвы, пытался к двери, от лампочки подальше, чтоб не видно было оттопырившиеся, чиненные ниже прорехи кальсонки, и судорожно схлебывал: — Пра... Правда!.. Пра... Правда!.. — надо было как-то спастись от себя и от позора, надо было что-то делать. И я тоже торопливо, с перебойми начал рассказывать свою биографию, которая оказалась гораздо длиннее, чем у Анечки, и дала нам возможность маленько успокоиться.

— Ой! Вода ж на плите! — всполошилась Анечка и с облегченным смехом торопливо говоря: — Кипит уж. Ключом. — Вылила горячую воду в заткнутую пробкой раковину, сноровисто и умело принялась мыть мне голову, лицо, шею, здоровую руку и уж освобожденно, с чуть заметным напряжением и виноватостью в голосе тараторила о том, о сем. Когда вымыла меня, гордо сказала, показывая на зеркало:

— Погляди, какой ты красивый у меня стал!

Опасливо, боясь розыгрыша, я глянул в зеркало, и оттуда на меня, тоже опасливо, с недоверчивостью уставился молодой, исхудалый парень с запавшими глазами, с обострившимися скулами. Анечка же, привалившись своей теплой грудью ко мне, будто протаранить меня собиралась, ощущаемая всей моей охолодевшей до озноба спиной, причесывала мои мокрые, совсем еще короткие волосы и ворковала:

— Во-от, во-от, чистэнький, ладнюсэнький... — а грудь все глубже впивалась в спину, буровила ее, раздвигала кости, касаясь неотвратимым острием сердца, раскаляла в нем клапана, до кипения доводила кровь — сердце вот-вот зайдет. — Ты чего дрожишь-то, миленький?

— Н-ничего... х-холодно! — нашелся я и стреканул из туалета к своему спасительному вагонному месту, где Анечка уже успела перестелить постель, взбила подушку, уголком откинула одеяло с чистой простынкой. Но сам, с одной рукой, я на вторую полку влезть не умел еще и покорно ждал Анечку, крепко держась за вагонную стойку здоровой рукой — никто не оторвет.

Появилась Анечка, тоже умытая, прибранная, делови-

то подсадила меня на полку, дала тряпку — вытереть ноги, укрыла одеялом и, мимоходом коснувшись холодной ладошкой моей щеки, коротко и отчужденно уронила:

— Спи.

Я не сразу уснул. Слышал, как теперь уже Клава принимала расспросами Анечку.

— Вот еще! Больно надо! — сердито роняла санитарка. — Умыла и умыла... — но в голосе ее все отчетливей проступал звон, и его, этот звон, задавливало, потопляло поднимающимся издали, из нутра обидными и стыдливymi слезами, голос расплющился, размок, и мокрой, стонущей гортанью она пыталась выкрикнуть: — Да мне... Да если захочу... Да у меня жених в Усть-Лабе! Юрка. Я лучше Юрке.... сохранию... сохраниюсь...

— Лан, лан, не плачь, — зевнула длинно, с подвывом Клава. — Салага он. Не умеет еще. Хочешь, я тебе подкину старшого, ну, Стеньку-то Разина! Тот не только в туалете, тот на луне отделает!..

— Отстань со своим Разиным! Никого мне не надо!

— Ну, ну, не надо так и не надо! Кто бы спорил, а я не стану, — гудела успокоительно Клава и похлопывала юную подружку по одеялу, — догадывался я, — гладила по голове, понимая неизбежность страдания на пути к утехам, пагубную глубь бабьей доли-гибели. Успокоив Анечку, Клава и сама скоро успокоилась, пустив пробный, пока еще короткий, всхрап носом, потом заработала приглушенным, деловитым хурканьем человека, честно добывающего свой хлеб и с достоинством выполняющего свой долг перед народом и родиной. Однако ж в пути, догадался я, Клава спала не до самого глубокого конца, и храпела не во всю мощь, оттого что и во сне не забывала про больных, безропотно, неторопливо поднималась на первый зов раненых или на стук в вагон снаружи.

Легкая, смешливая Анечка спала себе и спала, беззаботно и безмятежно, лишь тайные страсти, это «демонское стреляние», как хорошо называл сии чувства Мельников-Печерский, так рано пробуждающиеся в людях южных кровей, точили, тревожили, томили ее в темных, скрытых от чужого глаза недрах, но еще не доводили до бессонницы, не ввергали в окончательное умопомешательство. Еще разок-другой за десятидневный путь покушалась Анечка на мою честь, манила меня за занавесочку или в туалет, но я делал вид, что «тонких» намеков не понимаю, и с полки своей не слезал до победного конца пути.

К Анечке, должно быть, по наущению Клавы, клеился старший сержант — Стенька Разин. Презирая себя, я ревниво следил сверху за надвигающимися событиями. Анечка сопротивлялась изо всех сил — Стенька Разин был ей совсем не по душе, стар, как ей казалось, и она боялась его напористых домоганий. Однако будь наш путь подлиннее, допустим, до того же Джамбула, Анечка, наверно, рухнула бы, пала бы, как слабенькая, из глины сбитая крепостишка.

И вот конец нашего пути! «Наши» девочки, стыдливо натянув на колени юбочки, сидят с нами на траве и печально смотрят на нас. Сколько они уж проводили таких вот, как мы, подбитых орлов на излечение и на небеса, и еще проводят, а вот по притчеватости и доброте русского бабьего характера привязываются к «своим мальчишкам», присыхают, будто к родным.

О-о война, о-о бесконечные тяготы и бедствия российские! Только они объединяют наш народ, только они выявляют истинную глубину его характера, и плывем мы устало от беды до беды, объединенные жаждой добра.

Анечка сперва ненароком, потом и в открытую жалась ко мне, выбирала для меня спелее и меньше испорченную фруктину, потом и вовсе легла головой мне на колени, грустно смотрела засветленными слезой черными глазами, взаправду страдающими. Грустила она еще легко, красиво, словно ее родное и в осени голубое кубанское небо, раззолоченное из края в край исходным сиянием бабьего лета. Я перебирал пальцами здоровой руки волосы Анечки, гладил их на теплой ложбинке шеи, и сладость первой, тоже легкой, грусти от первой разлуки, ни на что не похожая, мягко сжимающая сердце, мохнатым абрикосом каталась по рассолодевшему нутру, томила меня никогда еще не испытанной и потому ни с чем еще не сравнимой нежностью, сожалением и уходящей вдаль, в будущие года невозвратной печалью.

Ребята давно уже обменялись адресами с «нашими» девчонками, давно сказали все, что могли сказать друг другу. У меня адреса не было, и Анечка сказала, что будет мне писать сюда, в госпиталь, а я ее извещать о всяческих событиях в моей жизни и перемещениях. Мне казалось, Анечка была рада тому, что мы не осквернились в вагонном туалете, что не пала она на моих глазах под натиском вагонного атамана Стеньки Разина, что судьба оставила нам надежду на встречу и сожаление о том, что мы не

могли принадлежать друг другу. Сила, нам неведомая, именно нас выбрала из огромной толпы людей, понуждала к интимной близости, не случайной, кем-то и где-то нам предназначенной, предначертанной, пышно говоря, и она же, эта сила, охранила наши души от осквернения.

Как прекрасно, что в жизни человека так много еще непредугаданного, запредельного, его сознанию неподчиненного. Даровано судьбой и той самой силой, наверно небесной, прикоснуться человеку к своей единственной «тайне», хранить ее в душе, нести ее по жизни, как награду, и, пройдя сквозь все скверны бытия, побывав в толпах юродивых и прокаженных, не оскверниться паршой цинизма, похабщины и срама, сохранить до исходного света, до последнего дня то, что там, в глубине души, на самом ее доньшке, хранится и тебе, только одному тебе принадлежит...

Наше сидение на железнодорожном откосе продолжалось почти до вечера — санпоезд хотел освободиться от «груза», хасюринский госпиталь этот груз не брал. Он, как выяснилось, подлежал ликвидации, расформированию и помещения двух хасюринских школ — средней и начальной — должен был освободить для учащихся еще к началу сентября, но надвигался уже октябрь, а госпиталь никак не расформировывался.

После звонков в Краснодар, в краевое или военное сануправление, решено было тех бойцов, что выгружены из санпоезда, временно оставить в станции Хасюринской, остальных везти дальше, вплоть до Армавира.

Наше сиденье на откосе, возле пустынного сада, было прервано появлением человека, у которого все, что выше колен — брюхо: явился замполит госпиталя по фамилии Владыко. Обвел нас заплывшим, сонным, но неприязненным взглядом. Сразу заметив среди раненых двух девочек, он покривил вишневою спелостью налитые губы, слетая с которых, как мы тут же убедились, всякий срам как бы удесятерился в срамности.

— А-а, новые триперники прибыли! — и, радуясь своей остроте, довольнехонько засопел, захрюкал, вытирая платком шею и под фуражкой.

Ребята оглядывались по сторонам, ища взглядом тех, к кому эти слова относились. Но вперед уже выступил Стенька Разин — старший сержант Сысоев и фамильярно заговорил с замполитом на тему трипера — много ли его в

Хасюринской, как с ним борются, сделал мужественное заявление, что «трипер нам не страшен», лишь бы на «генерала с красной головкой» не нарваться. Замполит свойски гоготал, говорил толпящимся вокруг Сысоева раненым, что добра такого в Хасюринске в избытке, еще от немцев в качестве трофеев оно осталось. А как с ним бороться, узнаете, когда на конец наматаете!.. — и все это с «го-го-го» да с «га-га-га».

Девчонки наши начали со всеми торопливо прощаться: сперва всех по порядку, по-бабьи истово перецеловали, желая, чтобы мы скорее выздоравливали и отправлялись бы по домам. Потом все разом целовали Анечку, кто куда изловчится, чаще в гладенькие ее щеки, простроченные полосками светлых слез. Дело дошло до меня, и я расхрабрился, припал на мгновение губами к губам няньки. Как бы признав за мной это особое право, Анечка от себя поцеловала меня в губы. Ничего не скажешь — целовалась она умело и крепко, даже губу мне прокусила, должно быть, еще в школе выучку прошла.

Прискребся в тупик парящий всем, что может парить, маневровый паровозишко, бахнул буферами в буфера вагона и потащил обжитый нами поезд на станцию. «Наши» девочки долго нам махали в окошко, Анечка утирала слезы оконной занавеской, и, когда санпоезда не стало, так сиротливо, так одиноко нам сделалось, что и словами выразить невозможно.

Часу уже в седьмом вечера раненых, наконец-то, определили по местам: кого увели, кого увезли, кого и унесли на окраину станции Хасюринской, во второе отделение госпиталя, располагающегося в начальной школе. Раненые попадали на жесткие крапивные мешки, набитые соломой, разбросанные на полу, прикрытые желтыми простынями и выношенными одеялами, предполагая, что это — карантинное отделение, и потому здесь нет коек, и вообще все убого и не очень чисто. Впрочем, предполагать было особенно некогда — все устали, истомились.

В хасюринских школах во дни оккупации был фашистский госпиталь для рядового и унтер-офицерского состава. Аккуратные немцы увезли и эвакуировали все, что имело хоть какую-то ценность, бросили лишь рогожные мешки, кой-какую инвентарную рухлядишку, оставив в целостности и сохранности помещения школ, станицу и станцию, — и приходится верить рассказам жителей станицы

и фельдмаршалу Манштейну, что с Кубани и Кавказа немецкие соединения отступали планомерно, сохранили полную боеспособность, но по нашим сводкам и свидетельству летописцев разных званий и рангов выходило, что немцы с Кавказа и Кубани бежали в панике, бросали не то что имущество и барахло, но и раненых, и боевую технику...

А они вон даже кровати, постельное белье, медоборудование и ценный инвентарь, гады ползучие, увезли!

В санупре обрадовались, конечно, госпиталю, брошенному немецкими оккупантами, значит, заботы с плеч долой, навалили раненого народа на пол в бывшие школьные классы, повесили, как и повсюду, не только в госпиталях грозные приказы, подписанные разным начальством и почему-то непременно маршалом Жуковым. А он приказы издавал и подписывал, исполненные особого тона, словно писаны они для вражески ко всем и ко всему настроенных людей. Двинув — для затравки — абзац о Родине, о Сталине, о том, что победа благодаря титаническим усилиям героического советского народа неизбежна и близится, дальше начинали страшать и пугать нашего брата пунктами, и все, как удары кнута, со свистом, с отяжкой, чтоб рвало не только мясо, но и душу: «Усилить!», «Навести порядок!», «Беспощадный контроль!», «Личная ответственность каждого бойца, где бы он ни находился», «Строго наказывать за невыполнение, нарушение, порчу казенного имущества, симуляцию, саботаж, нанесение членовредительства, затягивание лечения, нежелание подчиняться правилам...» и т. д. и т. п... И в конце буквально каждого пункта и подпункта: «Беспощадно бороться!», «Трибунал и штрафная», «Штрафная и трибунал», «Суровое наказание и расстрел», «Расстрел и суровое наказание»...

Когда много лет спустя после войны я открыл роскошно изданную книгу воспоминаний маршала Жукова с посвящением советскому солдату, чуть со стула не упал: воистину свет не видел более циничного и бесстыдного лицемерия, потому как никто и никогда так не сорил русскими солдатами, как он, маршал Жуков! И если многих великих полководцев, теперь уже оправданных историей, можно и нужно поименовать человеческими браконьерами, маршал Жуков по достоинству займет среди них одно из первых мест, первое место, самое первое, неоспоримо принадлежит его отцу и учителю, самовскормленному ге-

нералиссимусу, достойным выкормышем которого и был «народный маршал». Лишь на старости лет потянуло его «помолиться» за души погубленных им солдат, подсластить пилюлю для живых и убиенных, подзолотить сентиментальной слезой казенные, заброшенные обелиски и заросшие бурьяном холмики на братских могилах, в придорожных канавах.

Однако ж русский народ и его «младшие братья» привыкли к советскому климату, так научились жить и безобразничать под сенью всяких бумаг, в том числе и смиренных, с завязанными рукавами рубахах, что чаще всего именно под запретительными, с приставкой «не»: «не разрешается», «нельзя», «не ходить», «не лазить», «не курить», «не распивать», «не расстегиваться», — более всего пакостей, надругательств, нарушений обычно и создается.

Хасюринский госпиталь жил и существовал по совершенно никем не установленным и не предусмотренным правилам — он жил по обстоятельствам, ему представившимся. А обстоятельства были таковы: в средней школе, где было правление госпиталя, санпропускник с баней, рентгены, процедурные, операционные, существовал койка-какой порядок. «Филиал» же был предоставлен самому себе. Здесь имелись: перевязочная, железный умывальник на двадцать пять сосцов, установленный во дворе, на окраине все того же сада, что начинался где-то у железной дороги и рос во все концы Кубани, вроде ему и делов не было.

Еду, воду для умывания и питья в наш «филиал» привозили из центрального госпиталя.

Проспав ночь на туго набитых мешках, скатываясь с них на голый пол, мы уяснили, отчего в других палатках мешки сдвинуты вместе, расплющены и воедино покрыты простынями — народ здесь жил, пил и гнил союзно.

Огромное количество клопов, подозрительно белых, малоподвижных вшей, но кусучестью оголтелых, ненасытных. Сквозь ленивую, дебелую вошь, через спину и отвислое брюхо краснела солдатская многострадальная кровь. Эти вши не походили на окопную, юркую, ухватками напоминающую советских зэков, — эти не ели раненых, они их заживо сжевывали, и поэтому наиболее боеспособные ранбольные уходили из госпиталя ночевать к шмарам.

Главным лечением здесь был гипс. Его накладывали

на суставы и раны по прибытии раненого в госпиталь и, как бы заключив человека в боевые латы, оставляли в покое. Иные солдаты прокантовались в этом «филиале» по годичку и больше, гипс на них замарался, искрошился в сгибах, на грудях — жестяно-черный, рыцарски посеребренный — сверкал он неустрашимой и грозной броней.

Под гипсами, в пролежнях, проложенных куделей, гнездились вши и клопы — застенная зараза приспособилась жить в укрытии и плодиться. Живность из-под ухоронки выгоняли прутиками, сломленными в саду, и гипсы, как стены переселенческих бараков, щелястых, плохо беленных, были изукрашены кровавыми мазками давленных клопов и убитых на твердом трофейных вшей, которые так ловко давились ногтем, так покорно хрустели, что вызывали мстительные чувства в душах победителей.

И нас, новичков, почти всех заключали в гипсы, размотав наросты ссохшихся за долгий путь бинтов, где часто не перевязывали, лишь подбинтовывали раненых, обещая, что «на месте», в стационаре, всех приведут в порядок, сделают, кому надо, настоящие перевязки, кому и операции. Раны наши отмочили, обработали йодом — спиртику почти не водилось, его выпивали еще на дальних подступах к госпиталю.

Человек пять из «наших» увезли на машине в центральное отделение госпиталя, и вскоре оттуда в наш изолятор вернули Стеньку Разина — старшего сержанта Сысоева. Допился он и догулялся до крайности. Раненый в локоть, он боль от раны и всяческую боль, видать, привык подавлять вином, да еще и по девкам лазил, — и руку ему отняли, даже не отняли, выщелочили и вылущили, как там, по-медицински, из самого плеча. Но гангрена уже прошла плечевой сустав, она уже проникла вовнутрь человека — и здоровенный мужик, работавший на сибирском золотом руднике штрейкбрехером, маркшейдером ли — черт их там разберет, этих рудокопов под землей, из сострадания напоенный старожилками самогонкой, лупил уцелевшим кулачищем в стену и орал одно и то же хриплым голосом, перекаленным в жарком пламени температуры: «Калина-малина, толстый х... у Сталина, толще, чем у Рыкова и у Петра Великого!»

Госпиталь не спал. Раненые толпились у изолятора, похихикивали, близко подходить к койке побаивались, хотя Сысоев был привязан к койке по ногам и по брюху, все долбил и долбил кулаком в стену, будто шахтер обушком —

на стене обнажились лучинки, точно портупейки на спине форсистого офицера, из-под лучинок на постель сыпались штукатурка и клопы.

Приходил Владыко, отечески вытирал с пылающего лица Сысоева пыль штукатурки своим потом пропитанным платочком. Уяснив, что догорающий ранбольной от него уже очень далеко, не видит никого яростно и восторженно сверкающими глазами, назидательно молвил замполит, подняв тоже толстенный, на суточный грибочек подосиновик похожий, палец:

— Во боец! И в беспамятстве патриотического настроения не утрачивает! А вы регочете! Чего регочете? Над кем регочете? А ну марш по палаткам, рванокальсонники! И-ия-а вот вам! — и потопал на нас, как на малых ребятишек, хромовыми сапогами, распертыми в голенищах бабьими икрами до того, что лопнули казенные слабые нитки и кто-то широкими стежками, домодельной драгвой схватил их по шву сзади, чтоб они вовсе не разъехались.

Вновь увезли Сысоева в центральное отделение, на следующую, как сообщил Владыко, операцию. Но ничто не могло помочь патриотическому сибиряку. Измаявшись в подвальном помещении госпиталя сам и измаяв криком медперсонал и раненых, он трудно и медленно расставался с жизнью. И когда смолк — все облегченно вздохнули, словно бы свалили неудобную, надоевшую поклажу с плеч.

Владыко приходил в «филиал» играть в шашки. Эту игру он обожал. Радостно хлюпая губами, словно вкусные оладушки смакуя, хватал он с доски шашки «за фук», а если удавалось загнать противника в сортир и хватануть дамку да если две пешки запереть в углу — он цапал за подол рубахи, за кальсонные ошкуры проходящих военных, пучками подтягивал их к себе, не в силах от восторга чувств вымолвить внятное слово, выкашливал мокро:

— Ты погляди, погляди, блябма, сор... сор... тир ка-а-ако-ой кра...си-венький, ка-ако-ой сла-авненький!

За игрою в шашки Владыко выводывал настроения ранбольных: кто куда ходит, кто с кем спит, кто чего украл или украсть собирается... Больные поражались, как этот зараза может все и про всех знать. Пресекая бунтарские настроения, Владыко волочил раненых в изолятор и,

грозя им пальцем, выкладывал малую часть «добытого материала», добавлял намеками, что знает про него «усе»!

— Мот-три у меня, енать, допрыгаешься!

Кто похитрее из ранбольных, поддавались Владыке в игре, и он им покровительствовал. Но вместе со мною приехал Борька Репяхин, родом из города Бердянска, бывший студент юридического факультета Ростовского университета. Я его выручил деньгами от сапог и пилоткой, двигаясь к вагону санпоезда, пройдя через учет имущества, я незаметно сунул пилотку назад, Борьке Репяхину, что и сдружило нас. Борька еще во Львове драл напрапую блатных, хоть в карты, хоть в шахматы, про шашки и говорить нечего. В санпоезде поиграл, поиграл в азартные игры и бросил, неинтересно, говорит, денег ни у кого почти нету, да если бы и были — не хочет он обдирать больных людей. Мне он сказал, что с детства мечтал стать юристом, чтоб расчищать «от грязи нашу жизнь», с детства готовился в юристы, досконально изучил не только законы, но и все азартные игры, феню тюремную, подтасовки, мухлевань, «натирку», «подтырку» и все такое прочее.

Борька Репяхин, не садясь на табуретку, стоя, со снисходительной улыбкой на бледных устах, в три минуты обчистил Владыку. Тот покрывлся потом, запыхтел и настоял на повторении состязания. Во время второго «сиянца» Борька поставил замполиту в двух углах по «сортину», при этом объяснил заранее, паразит, где их поставит, как именно поставит и через сколько минут.

Большая это была неосторожность со стороны ранбольного Борьки Репяхина. Сокрушенный Владыко ходил туча тучей, орал на всех: «Понаехали тут юристы усякие! И-эх, батьки мать!» — и совсем зажал было госпиталь в кулак, но мы коллективно насели на Борьку, и он, брезгливо кривя губы, многозначительно хмыкая, заводя глаза под потолок, произнося сатирические стишки типа: «Коль музыкантом быть, так надобно уменье, и ум, и голову поразвитей...» — поддался Владыке и проиграл ему три партии подряд.

— Исключительно ради нашей дружбы! — тыкал он мне пальцем в грудь. Владыко тут же подписал телеграмму в Бердянск на вызов Борькиных родителей. Скоро приехала еще молодая, красивая мать Борьки и привезла всякой рыбы, соленой, копченой, да еще и полный жбан самогонки, да вишневого варенья и торбу груш. Дед Борьки

был бакенщиком на Дону, бабка, естественно, бакенщицей — и они уж постарались, собирая посылку внуку.

Мать Борькина, человек конторской работы, так была рада встрече с сыном, которого и потеряла уж, потому что все они были «под немцем» в Бердянске, а он на фронте, что тоже крепко выпила с нами и, сидя на краешках матрацев, пела, обнявшись с нами: «Что ты, Вася, приуныл, голову повесил? Черны брови опустил, хмуришься — не весел?..» Вася-саратовский, прозванный так оттого, что из города Саратова родом, один из «наших», еще «львовских» бойцов, действительно приуныл. Под гипсом у него завелись черви, как у многих ранбольных. «И это хорошо, — заверяли нас медики, — черви очищают рану...» Очищать-то они, конечно, очищают, но, когда им не хватает выделений — они ж плодятся без устали, — черви начинают точить рану, въедаться в живую ткань.

Вася-саратовский с повреждением плечевого сустава, заключенный в огромный, неуклюжий гипс, метался со взятой впереди себя рукой, будто загоразиваясь ею от всех или, наоборот, наступая, прислонялся лбом к холодному стеклу, пил воду, пробовал даже самогонку и все равно уснуть не мог. Черви вылезали из-под гипса, ползали по его исхудалой шее с напрягшимися от боли жилами. Утром, давленных и извивающихся, мутно-белых этих червей с черными точками головок мы сметали с постели, обирали с гипса и выбрасывали в окно, где уже стаями дежурили приученные к лакомству воробьи.

Напоили мы Васю допьяна, он забылся и уснул. Мать ночью уехала, наказывая Боре, чтоб он не проявлял излишнюю строптивость, и сказала, что в следующий раз приедет отец, что дедушка до зимы не сможет: он привязан к бакенам.

На утре мы все были разбужены воплями Васи-саратовского. Долго он крепился, терпел, пьяного, неподвижного, его начали есть черви, как трухлое дерево.

— Братцы! Братцы! — по древнему солдатскому обычаю взывал современный молоденький солдат. — Сымите гипс с меня! Сымите! Доедают... Слышу — доедают! Братцы! Мне страшно! Я не хочу умирать. Я в пехоте был... выжил... Братцы! Спасите!

Сунулись мы искать дежурную сестру — нигде нету, врачи сюда находами бывали, санитарка, дежурившая у дверей, отрезала с ненавистью:

— И знаю я, где эта блядина, но искать не пойду. Мне хоть все вы сегодня же передохните!..

Черевченко Семен, бывший какого-то сырмаслосепараторного цеха или фабрики руководитель «хвилиала» от «солдатских масс», отнюдь не революционного настроения, пришел на крик, посмотрел на Васю-саратовского и сказал, что в самом деле надо снимать гипс, иначе парень, если не умрет, то к утру от боли с ума сойдет, «бо черви начали есть живое мясо». Сам он, Черевченко Семен, к больному не притронется, «ему ще здесь не надоело...»

С гневом и неистовством пластали мы складниками, вилами, железками на Васе-саратовском гипс, и, когда распластали, придавив Васю к полу, с хрустом разломали пластины гипса, нам открылась страшная картина: в гипсе, по щелям его, углам и множеству закоулков клубками копошились черви, куделя шевелились от вшей. Освещенные клопы — ночная тварь, бегали, суетились по гипсу. В ране горящим цветком, похожим на дикий, мохнатый пион, точно яркое семя в цветке, тычинки ли, шевелимые ветром, копошились, лезли друг на друга, оттесняли, сминая тех, кто слабее, черненькими, будто у карандаша, заточенными рыльцами устремлялись туда, в глубь раны, за жратвой, клубки червей. Воронка раны сочилась сукровицей, в глуби — кровью, валяясь в ней, купаясь в красном, рану осушали черви.

Парень, из бывших мастеровых или воров-домушников, открыл гвоздем замок на двери перевязочной, мы достали марганцовку, развели ее в тазу, промыли рану, перебинтовали Васю новым бинтом, высыпали в охотно подставленный рот два порошка люминала — и он уснул воистину мертвым сном. Не стонал, дышал ровно и не слышал, какой визг подняла дежурная сестра, утром явившаяся с поблядок.

Припыхтел в «филиал» Владыко. На машине. На трофейной, до блеска вылизанной, прибыла начальница госпиталя, подполковник медицинской службы Чернявская. Тень в тень вылитая начальница из львовского распределителя, разве что телом еще пышнее и взглядом наглее. Брезгливо ступив в нашу палату, отпнув от дверей веник, которым мы ночью сметали с матрацев червей, клопов и вшей, натрясенных из Васиного гипса, она рыкнула на санитарку. Издали, от дверей же, мельком глянула на младенчески-тихо спящего Васю, обвела нас непримиримым, закоренелой ненавистью утомленным взором давно, тревожно и несправедливо живущего человека.

— Та-ак! — криво усмехнулось медицинское светило.

— Вы бы хоть поздоровались! — подал голос кто-то из раненых. — Первый раз видимся...

— Та-ак! — повторила начальница многозначительно, не удостоив ответом ранбольного. — Самолечением занимаемся?! Двери взламываем! Похищаем ценные препараты! Угрожаем медперсоналу! — Она, все так же держа руки в боки, мужицкие, хваткие руки бывшего хирурга с маникюром на ногтях и золотыми кольцами на пальцах, еще раз прошлась взглядом, затем и сапожками по палате перед опешившим народом. — Вы что, может, приказов не читали? Может, вам их почитать? Почитать, спрашиваю?

— Да что же, почитайте, — подал голос боец из «львовской артели», Анкудин Анкудинов — друг Стеньки Разина — Сысоева, не единожды раненный и битый. — Мы послушаем. Все одно делать нечего.

— Кто сказал? Кто?

— Да я сказал! — выступил вперед в мужицкие зрелые лета вошедший, крупный, костлявый боец Анкудин Анкудинов. — Ну чё уставилась-то?! Да я немца с автоматом видел! В упор! Поняла? И я его убил, а не он меня. Поняла?!

— Поняла!.. Поняла!.. — запритопывала в бешенстве начищенным до блеска сапогом подполковница Чернявская и закусил губу.

Вышла осечка. Она уже, видать, не раз и не два ходила в атаку на ранбольных, сминала их и рассеивала, и затем расправлялась с ними поодиночке предоставленными ей отовсюду и всякими средствами и способами — и все «на законном основании». — Поняла! — повторила она, обретая спокойную власть. — Тебе, соколик, захотелось в штрафную?

— А ты слышала поговорку: «Не стращай девку мудями, она весь видала!» Грубовато, конечно, но ты, сучка, иного и не стоишь вместе со своими закаблучником-замполитом и ворьем, тебя облепившим. Госпиталь этот фашистский мы те припомним! Сколько ты тут народу угробила? Сколько на тот свет свела? Где Петя Сысоев? Где? — Я тя спрашиваю.

— Какой Петя? Какой Петя?

— Такой Петя! Друг мой и разведчик, каких на фронте мало.

— Мы тысячи! Тысячи! Слышишь ты, выродок — ты

сячи в строй вернули! А ты тут с Петей своим! Такой же, как ты, бандит!

— Бандит с тремя орденами Славы?! Со звездой Красной, добытой еще на финской?! С благодарностями Иосифа Виссарионовича Сталина?! Бандит, четырежды раненый!.. Бандит, звезданувший немецкого полковника из штаба, с документами!.. Это ты хочешь сказать?! Это?!

— Не имеет значения! Мы еще разберемся, что ты за птица!

— Не зря, видно, говорится в народе: «Жизнь дает только Бог, а отнимает всякая гадина», — поддержал Анкудина пожилой сапер, встрял в разговор и Борька Репяхин:

— Разбирайтесь! Мы тоже тут в кое-чем разберемся! Узнаем, кем вы на эту должность приставлены? Может, Геббельсом?..

— Заговор, да? Коллективка, да? Н-ну, я вам покажу!.. Я вам... — Начальница госпиталя круто повернулась и ушла, хлопнув дверью. Владыко, топтавшийся сзади нее, облитый потоками пота, повторявший одно и то же: «Товаришшы! Товаришшы! Что такое? Что?» — остался в палате, потоптался и сокрушенно сказал:

— Ну, товаришшы...

— А ты, лепеха коровьего говна, вон отсюда! — рывкнул Анкудинов, — пока мы тебя не взяли в костыли!..

Владыко будто ветром смело. Анкудин Анкудинов метался по палате, сжимая кулаки, выкрикивая ругательства. Остановился, спросил у Борьки Репяхина, не осталось ли выпить? Прямо из горла вылил в себя полбутылки самогона, отплюнулся, закурил.

— А, с-сука! А-а, тварь! Наворовалась за войну, на..блась досыта! Крови солдатской напилась и права качает! А-а-а... — обвел взглядом всех нас: — Не робей, братва! Хуже того, что есть, не будет. Оне молодцы супротив овцы!.. — с этими словами Анкудин Анкудинов упал на матрац, уснул безмятежно и проспал до самого обеда.

Глядя на Анкудинова, мы тоже позапозлали на постеленки, чуть отодвинувшись от Васи-саратовского, чтобы не задеть его, тоже устало позасыпали и тоже проснулись в обед. Васю добудиться не могли. Суп его и кашу поделили. Пайки хлеба, уже четыре, и пакетик с сахаром положили над его изголовьем, на подоконник.

И ничего не было. Наоборот! Стало легче. Сестра, что дежурила в ту ночь, была уволена из госпиталя «за халат-

ное отношение к своим обязанностям», как гласил приказ, подписанный подполковником медицинской службы Чернявской, замполитом Владыко и еще кем-то. Чаще нас стали осматривать и выслушивать. Ночью теперь должен был неусыпно бдить в «филиале» дежурный врач, свежих бинтов подбросили, кормить лучше стали.

Но госпиталь в станице был тоже до того болен, запущен, ограблен и «самостиен», что сделать с ним что-то, поставить его на ноги было невозможно. Под видом того, что «советским детям нужна школа», госпиталь решено было все-таки расформировать, о чем ходили все более упорные слухи, и, наверно, подполковник Чернявская переведена была бы в другой госпиталь, получила звание полковника, может, и генерала. После войны где-нибудь в «генеральском районе» — под Симферополем, на берегу водохранилища выстроила бы двухэтажную дачу, вырастила и вскормила одного или двух деток. Отойдя от военных дел, ездила бы как ветеран на встречи с другими ветеранами войны из санупра, увешанными орденами, целовалась бы с ними, плакала, пела песенки «тех незабвенных лет», но...

До столкновения с высокопоставленной медицинской дамой жизнь наша развивалась так.

Как только нас помыли, или «побанили», как тут эта процедура называлась, в полутемной, сырой комнате, едва «живой» водой — «дров нэма, дрова уворованы, для самогонки» — пояснила нам словоохотливая истопница, и заковали нас в «латы», то есть в гипсы, определили, кому в какой палате лежать, то тут же и оставили в покое, тут же мы поступили в распоряжение Семена Черевченко, который кем-то и когда-то был выбран старшим, скорей всего, и не был выбран, скорей всего, сам пробился на должность, потому как без должности никакой хохол жить не может, и попади он, к примеру, под оккупацию, то уж непременно хоть старшиной хутора, хоть бригадным полцаем, но был бы.

Еще молодой, выгулявшийся мужик, неизвестно когда и куда раненный, со сросшимися по-кавказски на переносье бровями, вроде бы никогда никуда не спешащий и все же везде поспевающий, все и про всех знающий, не помощник — просто клад тихоходному и тугодумному Владыко был этот нештатный руководитель. За полтора

года своей деятельности он достиг того, что в «хвилиале» в основном остались на долговременное лечение одни только «братья» — шестерки, наушники и подхалимы.

Собравши всех нас, новичков, в одну большую палату и рассадив подле стен, Черевченко сделал короткую, зато очень внушительную информацию:

— Госпиталь действительно был «хвашистский». Несколько человек после ухода немцев и отъезда ихнего медначальства из госпиталя были удалены, судимы — для примера расстреляны. Младший же персонал как работал и где работал, так и остался, «бо дэ узясти других? Рентгенолога, например, лаборантку, або аппаратчицу, або повара? Уборщицу в станице знайдэш, санитарку знайдэш, даже кочегара знайдэш — специалиста дэ узясти?..»

Население Хасюринской с немцами жило дружно, боялось фашистов, потому и почитало, радяньских же червоноармейцев воно презирае за бедность и слабохарактерность — при случае досаждает, даже мстыть, чаще усе-го трыпэром, по выбору портя бойцов, совращая молодэньких, ще не знающих, куда вона комлем ляжить...

Было несколько самоубийств, три хлопца утопылыся в реке, одын на гори, на чердаке, значит, бинтом задушывсь. Другий — молодой охвицер з центрального территория, спиймав того трыпэру, из утаенного пистолету забыв трема пулями заразну блядь, сам пийшов до саду и тэж пус-тыв соби пулю у рот...

— Такэ молодюсэнкэ, такэ нижнэ ж хлопчишко було. Романы читав та стишки в самодеятельности дэкламировав, — вздохнул кто-то из помощников Черевченко. — Колы ховалы того охвицэра-хлопца, уси плакали.

Черевченко скорбно подождал, не перебивая помощника, и продолжал в том духе, что «сыфилису» в станице, слава Богу, нет, и колы хто завиз его из Львива, або з закордону, вид тых блядей-паненок, хай сразу сознається и лечиться, бо приговор один: того «генерала з красной головкой» раптом сказныть, и йэго блядь сыфилисную спалить у хати и вместе з хатой, шоб пид корэнь, шоб никакой заразы нэ було, шоб нэ косила вона людэй, нужных фронту...

Далее Черевченко рассказал, как и какими методами здесь вид трипэру лечатся, бо его так много оставили хвашисты, шо трэба беспощадна, бэскомпромысна борба. Значит, постановлено так: если у якой бабы або дивчыны хлопэць с госпиталю побував и добыв ту заразу, то до той

хаты, до той бабы, або дивчыны идэ брыгада хлопців и трэбуе контрыбуцыю! Нэма грошей — конфіскуе імушчэства, або жывносьць якую прадае насэлэнію и на выручэнныя грошы покупае сульхвідын и стрэптоцід у тых же працovníков мэдыцыны, бо они ще при немцах, да поки наши нэ прыйшлы, усь мэдпрэпараты порас... дылы».

Нікакой партызаншчыны, нікакой самостыйносьці болей не допускатся — самоубійства прекратілісь, и парядок в станице наведэн. Во всяком случае, когда к трыпэрной бабе или дивчыне приходэ брыгада хлопців, вона голосыть, алэ грошы, колы нэма грошів, імушчэства віддае бэз супротывлэня, почти добровольно.

— Что бывает с теми, кто нарушает законы коллектива и действует по-партизански, самостоятельно? — примерно так, с четкостью законника сформулировал вопрос будущий юрист Борька Репяхин.

Черевченко поглядел в его сторону, выдержал значительную паузу, как и полагается на широком общественном собрании:

— Работало в «хвилиале» такэ молодэсэнкэ, такэ румьянэнкэ, такэ жопастанкэ сушчэства пид названіем Воктябрыночка. Воно помогало санитарке — мамі Хвюдосьі, шо до сих пир сыдыть ночью пид двэрью и голосыть, шоб усь мы подохлы. Почему Хведосья так голосыть? Пэчкайтэ. Воно, то румьянэнкэ, то жопастанкэ вэртыться по госпіталю, кашу раздае та кружки, та тарелки с ложками по палатам носэ — до судна и до утків мама Воктябрыночку нэ допускае, чисту ей работу шукае. Воно, тое Воктябрыночку, ше при нимцах мамі бэсплатно спомогало, зарплату и паек вже наши ей далы и у штат зачислылы. Нимці Воктябрыночку в Эмму переіменовалы, бо им трудно, а може и не хотілось выговаривать революціоннэ імья. Нимці ж ту Эммочку за колечки та за шоколадки, та за тряпки и усякіе бэздэлушки дралы у сараи, за сараем и дэ тики можно. А мама усе порхае, як курочка квохче: «Моя доня! Моя крапонька! Моя мыла дытыночку! Мой билый мотылечечку...»

Нимці втыкы. Той мотылечечку запархав пэрэд чэрвоною арміею, но нікому ж, курва, нэ дае, хронту нэ спомогае. У хлопців від мотылечечку кальсоны рвуться, воны плохо сплять, бэз аппэтыту кушають. Шо такэ? Шо за крипость така, шо нэ здається? Мабуть, ей грошы, колечко золотое, бусы, ауторучку? А у кого они е? Кто мав, ще дорогой рэалізував. Да нычого нэ берэ мотылечечку, ни-

кому нэ дае! Во блядь так блядь! Но дэ есть та сыла, шоб пэрэд червоною арміею устояла? У Европи такой сылы нэмае! Мабуть, у Амэрыкы, або у Японии? Прийдэ срок, провирымо. Ею, той крэпостью овладив сыбирак по хвамилии Бэзматэрных. Такой сэрьезный хлопэц, молчаливый, танком пид Курском на таран ходыв. «Тыгру» пидмяв. Та нэ просту «тыгру», а якусь особого, невиданно-страшенного панцыря — усего чотырэ таких було пид Курском! Так шо ему та Воктябрыночка?! Протаранив! И мовчыть. Дэнь мовчыть. Два мовчыть. Нэдилю мовчыть и усе до сортиру сигае. Потим спать сыбиряк перестав, потим матэрицься начав, скризь зубы: «Ну ж я им устрою Курску дугу! Таку мисть знайду — уся Кубань содрогнэться!».

Сыбиряк слов на витэр нэ бросае! Ат, бачытэ, крык, содом! Бушуе Хвеодосья, мама Воктябрыночки. Трэбуе Безматэрных на суд. Вин и ухом нэ вэдэ, лэжыть, кныжку читае пид названием «Как закалялась сталь». А Хвеодосья шумыть: «Зараза кругом! Мэнэ тым трэпаком знаградыв той герой — сибирака, шоб ему грэць! Я баба честна! Первый раз за войну дала и зараз лезуртат маю».

Поднявсь той сыбиряк Бэзматэрных з матрасу, потянувсь, зэвнув, у бой собрався... Во, выдэржка! Во стойкость! Выходэ у коридор да як рывкнэ на Хвеодосью: «Нэ гомони!» — вона и заткнулась! А вин так з расстановкой, як у суду, говорыть: «Пиды до своей дочки, до мотылька того и поблагодары ии за награду: вона — мэни, я — тоби, у нас же ж государство братское, усе пополам...»

Ну, такого гэроя быстро у строй вэрнулы, нэдавно у газэти було, що вин ще когось протаранив, ему «Золоту Звезду» дали!.. Ему б ей раньше дали, та вин начальства нэ слухае, пье, собака. Устав нэ почи́тае...

На этом: информация и собрание закончились — начался обед. Но после обеда, когда Черевченко отлучился из госпиталя по делам, его помощники сообщили много любопытных вещей и про него, и про дела, им творимые. Та же бригада, что наказывает грешниц-баб, состоящая из отлынивающих от фронта бойцов, начала ходить в поля и из бункеров комбайнов или прямо из куч уносить, а то и с помощью станичников «исполну» увозить зерно, забрасывая его в известные им хаты. Заквашивается самогонка, и ночью же где-нибудь ломается забор, тын, сваливаются старые телеграфные столбы на дрова, «бо з дровами тут цила проблэма», и начинается производство самогонки. Потом, опять же в определенных хатах, собираются

бабы, ранбольные на бал, начинаются песни, танцы и все что дальше, после гулянки, полагается.

Новички чему-то верили, чему-то нет — уж больно райское житье было обрисовано. Но явился Черевченко, поставил средь пола кухонный немецкий термос, полный свежайшего, еще с теплинкой самогона, дал всем попробовать и оценить качество, после чего началась «художественная часть», главную роль снова на себя взял Черевченко. Он поставил стул, на стул — кружку с самогоном, взялся за спинку стула, откинул длинно отросшие черные волосы пятерней назад. Старики-хохлы ерзали от нетерпения и, заранее радуясь потехе, голосили: «Що щас будэ! Ой, хлопцы, шо щас будэ!»

— Вэлыкый вкраиньский поэт Котлярировский! Эпохальна и бэссмертна поэма «Вэ-с-сна!», — объявил Черевченко и смолк, пережидая треск аплодисментов, которыми его наградили старожилы, уже не раз и не два слушавшие «бессмертное произведение». — Эпиграф! — продолжал Черевченко. — «Усякэ дыхання любыть попыхання», — и снова вежливо переждал аплодисменты уже наэлектризованной публики:

Весна прыйшла, вороны крячуть,
Що насэяли тыхый гай.
Вид того кругом усе стогнэть, скачэть,
И увязь рвэ в хлеву бутай...

На этом вступительном четверостишье все «приличное» в «Весне» кончалось, далее шла поэма на тему, примерно означенную в озорной и короткой русской поговорке — «весною щепка на щепку лезет». У «вэлыкого вкраиньского поэта Котлярировского «это звучит почти так же: «И тризка лизэ на сучок».

Будучи молодым и востроухим, я ту довольно длинную поэму запомнил наизусть, немало потешил ею в свое время разный служивый народ, но, занятый послевоенной битвой за жизнь, за давностью лет, также в отсутствие практики почти забыл «бессмертно-эпохальное произведение», поэтическое детище солдатских казарм, тюремных камер и разных тесных мест, где «массовая культура» так любит процветать.

И хотя погода по-прежнему стояла золотая, все умеющие ходить и ползать ранбольные дни напролет проводили во дворе, в саду, кто и подле речки — все равно время

тянулось нудно и по-прежнему почти никакого лечения не велось. Ропот, конечно, ругань, нежелательные разговорчики. Заводил их обычно Черевченко или его подручные, напирая на то, что как раз немецкий порядок нам не нравится и мы его не только не приняли, но и порушили, гоним немца в хвост и в гриву, «до дому, до хаты», значит, нам ничего другого не останется, как жить при советском бардаке, терпеть его и умело им пользоваться. Как бы между прочим, штатные госпитальные «братья» и кубанцы-молодцы со смешками и ужимками поведали, какой в хасюринской станице был молодой, однако мозговитый немецкий комендант. Прибегла к нему девка, бух в ноги, жалуется: местный удалец обрюхатил ее, но жениться не хочет. Комендант вызвал прелюбодея, поставил на колени подле комендатуры и порол его плетью до тех пор, пока тот не дал добровольное согласие жениться на любимой невесте. А то еще было: за Кубанью есть широченная, необъятная бахча, и кто только не пользовался ею при советах, кто только с нее не тащил и не вез?! Немецкий комендант, содержащий при себе небольшой штат из местных казаков — он-де не может отрывать солдат фюрера, нужных фронту, это большевики могут себе позволить иметь в тылу тучи бездельников и воров, у них в стране население сто восемьдесят миллионов против восьмидесяти германских! Так вот, немецкий комендант велел по всем четырем углам бахчевого поля поставить по виселице и заявил, что каждого, кто украдет арбуз, он самолично вздернет на виселицу!

И ни одного плода не пропало. К полю-то близко подходить боялись громадяне, не только что красть. Ценный опыт того смышленного коменданта был распространен по всем бывшим социалистическим полям, о чем я уже сообщал в одной из своих повестей.

«И правильно! Пусть ордунг этот будет, мать его так, вещь у нас необходимая. А то вон пшеницу гребут с полей, кукурузу пообломали еще неспелую, сады обтрясли, помидоры на кустах обобрали, картошку в поле, которую вырыли, на которую чушек напустили. Все пьют, блядуют, госпиталь этот расхристанный какой пример подает?!» — роптали и ругались станичники.

Развлекали ранбольные друг дружку как могли. Один гренадер с насквозь пробитыми легкими курил, и дым валил у него со спины из-под гипса — это ли не потеха! Кто ушами шевелил, кто выпердывал целый куплет здеш-

ней любимой песни «Распрягайте, хлопцы, коней...», но рекордсменом потех был редкостный человек и неслышанный боец, умеющий носить полный котелок воды на совершенно озверевшем, огнедышащем члене. — толпы собирал этот фокусник, по национальности грек, заверявший, что для греков этакая штука рядовое явление.

Но все же основные развлечения среди горемык, изнывающих от безделья, были разговоры про фронт, про баб, особенным успехом пользовались анекдоты и рассказы женатиков про женитьбу и про то, как немилосердно, наповал сражали «ихого брата» смелые, находчивые и хитрые истребители женского пола.

Большинство тех баек окажется пустой болтовней, брехологией, сочинениями людей не особо гордых на выдумку, но кто не хочет — не слушай, другим слушать не мешай. И не мешали, слушали, давили горе и боль изгальным смехом, потехами и юмором, нисколько, впрочем, по качеству не уступающим тем развлечениям, что показывают ныне трудящимся по телевизору во всем мире и у нас в России тоже никому в потехе тюремного и казенного свойства не уступят.

Ох уж эти потешки солдатские!

Не то молодой, не то старый танкист с одной бровью, с одним ухом, с одним глазом и с половиной носа — вторая половина лица залеплена лоскутьями чьей-то кожи, оголенный глаз, без ресниц, жил, смотрел как бы совсем отдельно от другой половины лица, словно бы сляпанной из розового пластилина. Был на восстановленной половине лица кусочек кожи, на котором резво кучерявились черные волосы. Орлы боевые, веселясь, внушали танкисту, что заплатка, мол, прилеплена с причинного бабьего места и как только в бане мужик путевый к танкисту приблизится — щека у него начинает дергаться, волосы на заплате потекут. Танкист этот, страдающий еще и припадками, не только потешал хлопцев смешной щекой, он еще, заикаясь, высказывался: в этом госпитале, дескать, жить еще можно, тепло здесь пока, жратвы досыта, воля вольная, вон они, танкисты с третьей гвардейской танковой армии, жженые, битые, мотались-мотались в санколоне, их нигде не берут — госпиталя переполнены, но санколоне-то надо быть в определенный час на определенном месте, иначе начальника колонны на передовой застре-

лят — там свой суд и порядки свои! Он придумал «ход», не раз, видать, испытанный: взял и возле одного госпиталя во дворе выгрузил раненых, аж сто пятьдесят штук, подорожные под них подсунув.

Все раненые мужики, горелые, разбитые дальней дорогой, как колонна машин смоталась, в голос плакали. В госпитале жались над ними, растолкали по коридорам, перевязочным, санпропускникам, изоляторам. И, конечно, пока дополнительно выхлопотали под новых раненых паек, медикаменты, имущество, сто пятьдесят тех штук существовали за счет других раненых, при том же медперсонале, при тех же объемах помещения и средств оплаты труда. Кому такое понравится? Ругали, крыли, долго «чужими» считали танкистов и обращались с подкинутыми соответственно.

За танкистом сапер в разговор вступил, сперва долго мосты и переправы материл, затем тех, кто его в саперы определил. Обезножил он еще на Днестре, бродя осенью в холодной воде дни и ночи, кормят же при такой тяжелой работе, по скудной норме жиров и мяса дают, как тыловикам. «Все вон, послушаешь, бабушкиным аттестатом удачно пользовались, и мы пользовались, когда время поспособствует, да какое у сапера время! На одной картошке поработай, потаскай бревна, железо и всякие тяжести... Поносом замаялись саперы. Все эти хваленые переправы задристаны, заблеваны саперами да ихой кровью залиты. Хваленая водка не греет — ее, милую, пока до сапера довезут, поразбавляют в бочонках так, что она керосином, ссакой, чем угодно пахнет, но градусов в ей уже нету...»

— Вон то ли дело летчики! Им и чеколады, и водка, и мясо — все!

Нашелся человек из авиации. Не завидуйте, сказал, нашей жизни. У всех у вас есть главное — земля под ногами. А там? Там бывали такие моменты, что согласился бы все бревна перетаскать, середь льдин плавать и бродить, одной картошкой питаться, только чтоб она, земля родимая, под ногами была, но не гибельная пустота...

Привыкшие на передовой, в своих частях, при своей братве к свободе слова, калякали бывшие вояки о том да о сем, и начинали их в центральное помещение «на процедуры» вызывать.

К начальнику особого отдела, который «на свет» не показывался, жил в Краснодаре и в Хасюринскую наез-

жал раз в неделю — для «профилактической работы». Видимо, танкист, которому уже нечего было терять, куда да он уже не годился, надерзил надзорному начальнику и в несколько дней был комиссован домой, в Пензенскую область. Остальные говоруны попримолкли, косились на Черевченко, на его сподручных, сулились, как поправятся и сил накопят, выковырять ему вилкой глаз или язык выдернуть. Он удивленно, панибратски лип ко всем: «Та шо вы, хлопцы?! Та я... Та тому начальнику!»

Анкудина Анкудинова никуда не вызывали и вообще больше ничем не тревожили. Зато он вызвал Черевченко за сарай и зачем-то прихватил меня. Там, за сараем, он вынул из-за пазухи финку с фасонной наборной ручкой, просквоженной двумя позолоченными полосками и позолотой на торце лезвия. Финку эту на виду у всех Анкудин точил об кирпич несколько дней и, когда вынул, предложил Черевченко попробовать острее.

— Нет, не пальцем! — сказал он Черевченко, охотно дернувшемуся рукой к ножу. — Языком! — и повторил с обыденной интонацией: — Длинен он у тебя больно, другой раз ополовиню.

После того как мы узнали, что Анкудин с Петей Сысоевым дюзганули немецкого полковника, пристали с расспросами, как да что было. И Анкудин сперва неохотно, затем разойдясь, рассказал, что на фронт ушел добровольцем в сорок еще первом, с горноалтайских серебряных разработок, где трудился после окончания техникума мастером. Там и свела судьба их с Петей Сысоевым. Вместе они в военкомат ходили, вместе на десантников учились, вместе и в тыл врага были брошены, вместе из окружения уходили, какое-то время партизанили. Потом их на этого несчастного полковника охотиться заставили, и неделю они его, суку, взять не могли, целым разведотрядом ползали на брюхе — не подступиться было. Командованию же нашему надо было знать точно о начале контрнаступления противника на Вяземском направлении. И вот дождались того, что из немецкого штаба группы армий поступили бумаги и планы. Полковник тот, мать бы его растуды, выехал на передовые позиции, причем не в село либо в город, неподалеку от фронта которые, прямоком в окопы, чтобы из рук в руки передать схемы дислокации и приказы полевым командирам.

Вот тут-то, выполнив задание, проведя оперативное

совещание с командирами передовых подразделений, полковник позволил себе расслабиться, выпил, ему поиграли на мандолине, он попел и остался спать в одном из блиндажей штаба полка. Двое часовых у входа в блиндаж. Наверху патруль, в траншеях сторожевые, за траншеями, ближе к нейтральной полосе, боевые охранения ракетами пуляют — не очень-то разгуляешься.

Но зима, холод — союзник разведчика! Заполночь вывездило, звонко стало от мороза, задымили все блиндажи, землянки и траншеи у немцев на передовой.

Вот и удача: побег один часовой за дровами, начал в минометном «дворике» ящики ломать, винтовку, конечно, в сторону отложил. Тут его и пристукнули, тут с него каску сняли, шинеленку и все это на Анкудина напялили. Набрал он беремя дров, спешит дорогого полковника-тыловика обогреть. Второй часовой и охнуть не успел, как ему пасть заткнули и прикололи его, чтоб не дрыгался. С полковником тоже все обошлось. Спал он уже крепко на топчане, укрывшись одеялом. Петя Сысоев разбудил его и говорит: «Гутен морген!» и к горлу ему финку, теперь уже по-русски: «Только пикни, сволота!» — и вот ведь что делает власть над человеком, кураж этот проклятый, вяжут они полковника, снаряжают в путь-дорогу и того не видят, что в темном углу блиндажа, зажавшись в землю, затаился немчик-холуй с ножом своего господина, имеющим фамильный знак. Он лучинки щепал и в печурку подкладывал, чтоб господину хорошо в тепле спалось. А тут эти тени вместо болвана-часового, которому он, холуй, приказал принести дров и тот еще ворчал что-то, не хотел идти. Но холуй пообещал ему дать возможность погреться в штабном блиндаже, возле печурки, часовой и пошел за дровами...

Холуй не то чтобы очухался в углу, за печуркой, холую просто страшно за своего господина, которого валяли, давили на топчане жуткие привидения, господин хрипел, выкашливал что-то. Тонко взвизгнув, почти не глядя, холуй сунул обеими руками нож в мелькавшее перед ним привидение, бросился из блиндажа, но уже в проходе был уронен ребятами из группы захвата, тут же и придушен. Широка спина у Анкудина Анкудинова — не промажешь, нож торчал под лопаткой. Пока разведчики смывались с фашисткой передовой, пока миновали боевые охранения, потом и зону заграждения, у Анкудина натекли полные

валенки крови, замокрело и клеилось в штанах, он упал на снег: «Не могу! Братва-а-а... не могу...»

Полковника волокли на саперных салазках, грубо сколоченных из неструганых досок. На салазках немцы подвозили мотки колючей проволоки и кольца. Петя Сысоев сдернул полковника с салазок, бросил на них свою шинель, опрокинул на салазки друга Анкудина Анкудинова, сверху на него навалил полковника, прихватив раненого чьей-то обмоткой и ремнем, прошипел полковнику: «Грей, сука!» — и разведчики снова рванули к своим траншеям, подальше от света ракет, от густеющего немецкого огня, от слабеющего треска ручного пулемета и автоматов группы прикрытия.

Петя Сысоев не велел вынимать из спины Анкудина нож, так поступают охотники, и наваленный на него сверху полковник своей тяжестью пропорол русского разведчика насквозь. Анкудин Анкудинов уже не помнил, когда оказался в траншее, затем в медсанбате.

Анкудину Анкудинову и Пете Сысоеву сулили звание Героя Советского Союза за того полковника, но взяли его все же поздновато — за оставшиеся до наступления часы командование фронта успело подбросить на передовую лишь кое-что и малость укрепиться, немцы скоро прорвали оборону первой линии, на второй противник нарвался на более или менее организованную оборону, упорное сопротивление — контрудар, так секретно готовившийся немцами, был сорван, и за это дали звание Героя начальнику разведотдела дивизии, замполиту пехотного полка, который будто бы самыми умными советами обеспечил выход разведчиков с «языком».

Само собою, ни того, ни другого героя разведчики в глаза не видели и узнали о их подвигах из газет. Оставшихся в живых разведчиков наградили орденами и медалями, наиболее же отличившихся — Петю Сысоева и Анкудина Анкудинова — вторыми орденами «Славы», затем и третьими, однако ж и еще одну награду получил Анкудин — эмфизему левого легкого и время от времени открывающееся внутреннее кровотечение. Таежное поверье, усвоенное Петей Сысоевым от алтайских охотников, что не надо вынимать нож из свежей раны, коли вынул, рану чем-нибудь затыкай и перевязывай, иначе кровь через нее утечет, — поверье это дорого стоило Анкудину Анкудинову: он послабел силой, кашлял кровью, «маялся нутром», но был еще нестигаем духом.

Он заставил лизнуть лезвие ножа госпитального сексота, ножа, как я догадался, вынутого из тела своего, с тем самым старинным фамильным германским знаком какого-то знатного, древнего рода вестфальцев или прусаков, на продолжении всего своего воинственного пути украшающих себя, дворцы свои и древние замки оружием и от веку бряцающих оружием перед ошарашенно-трусливой Европой.

Рот Черевченко наполнился кровью, поглядев на желтоватое, скуластое лицо Анкудина, брезгливо вытирающего лезвие ножа листом подорожника, он сплюнул кровь, зажал рот левой рукой, правую поднял до «горы», что означало: «Я все понял!».

— Иди! — сказал Анкудин Акудинов тихо, увесисто. — И засыпь свою поганую пасть стрептоцидом!.. Иль попроси парней насрать в нее — моча всякую заразу обезвреживает.

Дня через три мужики пили «отвальную». Анкудина Анкудинова направляли в Москву, в какой-то специальный, пульмонологический госпиталь. Ребята подумали, что под таким мудреным названием скрывается тюрьма или лагерь какой, но Анкудин успокоил ранбольных, сказав, что это в самом деле госпиталь и госпиталь непременно хороший, в плохой его более не пошлют...

И все же печален был Анкудин Анкудинов, печален и трезв. Выпивка не брала его, да и почти не пил он, только прикладывался к стопке. Гуляли мужики в избе госпитальной лаборантки. Анкудин Анкудинов ходил сдавать ей кровь на анализ и «разговорился». Лаборантка Лиза уже входила в серьезное, кубанское тело, но еще вовсе не растолстела, еще швы не расходились на ее платье, белые волосы, закрученные в валы на шее и подле висков, придавали ей моложавости, она казалась чуть перезрелой, но все еще легкомысленной аппетитной пышечкой, хотя и проскальзывало в ней порою отчуждение, взгляд делался холодновато-тоскливым, сдавалось тогда, что смешливая бабенка эта — себе на уме.

Лиза мимоходом, будто вскользь, взглядывала на Анкудина Анкудинова, подкладывала ему в тарелку что повкуснее и подливала в рюмашку. Бывший разведчик вел степенный разговор, но успевал поблагодарить подругу за внимание. Еще в вагоне я заметил, что пил он мало и

аккуратно. Но как-то уж так получалось, что он вроде бы все время активно участвовал в застолье, был его центром и главой. Уж не старообрядка ли Фекла научила его этому ненавязчивому, исподволь происходящему чувству собственного достоинства. О Фекле своей Анкудин Анкудинов рассказывал охотней, чем о подвигах на войне. Немало мы посмеялись, слушая о том, как еще будучи студентом-дипломником на практике где-то на границе Алтая с Монголией, он откопал утаенное старообрядческое село и увел из него синеглазую белолицую девку, крестившуюся двуперстием, знавшую грамоту по раскольничьим книгам.

Принесла она с собой в дом Анкудиновых медный складень, прибила его над кроватью, молилась по три раза на дню, пока дети не пошли. Норму моления она сбавляла по ребятам: родился первенец — по два раза молиться стала; родился второй — по утрам или вечером, да еще по святым праздникам.

Анкудиновы старшие, державшие портрет Сталина на стене, Ленина и Карла Маркса, терпеливо и настойчиво перевоспитывали невестку, но успеха не имели. Более того, начали задумываться над передовыми теориями, и вышло, что как Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, как и старообрядка-невестка — стоят за честную, справедливую и чистую жизнь, без воровства, прелюбодеяния и всякой наглости, только по передовой теории — властвовать и царить могла лишь диктатура пролетариата, и эта диктатура должна вырубить под корень, «до основания», всех, кто с нею не согласен, потом уж: «Мы наш, мы новый мир построим...» Стало быть, здание нового мира, как и тысячу лет назад, счастье народное опять-таки, как ни крути, создавалось с помощью насилия. А вот невестка в молитвах призывала к терпению, покорности судьбе, согласию людей во всем, кроме «чистой» веры. Да кабы только призывала?! Призывать-то и сами Анкудиновы горазды были, подрали в молодости глотки, чаще всего орали неизвестно зачем и призывали, не понимая к чему.

Невестка делала добро и работу не торопясь, без крика, и все же везде поспевая, и постепенно овладела домом Анкудиновых, стала его главой и предводителем. Бывшие горлопаны-партизаны и партийцы — старшие Анкудиновы — охотно свалили на Феклу все хозяйство, сами подались было в общественники, чтобы выступать на собраниях и во время выборов не только с пламенным словом,

но и с концертами. Дед Анкудинов рокотал непримири-мо: «Под тяжким разрывом гремучих гранат отряд коммунаров сражался!..» И когда наступал черед хору сомкнуть рты и только однотонно мычать, в действие вступала бабка Анкудиниха: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» — верещала она, и аж горло у людей стискивало — вот как здорово у них получалось!

Но как война началась, стало не до хора и не до декламаций. Отец снова спустился в рудник, чтобы золотом крепить оборону страны. Анкудиниха, маявшаяся грудью, засела дома, с ребятами. Невестка же ломилась на социалистических полях колхоза «Марат», вышла в бригадиры, мать жаловалась в письме: научила всю бригаду не только честно и ударно работать, но и молиться за упокой убитых на войне, за здоровье живых, ее, Анкудиниху, тоже допекла, понуждает кланяться, каяться в грехах, окрестила ребятшек — недопустимый срам! — заставляет носить на шее крестики и в вере своей как была негибаема, такой и осталась, пожалуй, что даже и неистовей с годами сделалась, и она, Анкудиниха, уж думает иногда, что некоторым коммунистам, окопавшимся по тыловым колхозам, приискам и лесам, не мешало бы у невестки Феклы кой-чего и в пример взять.

Лиза нависла на плечо Анкудина. Он ее не сгонял, но, усмехаясь, говорил:

— Ох, будет мне от моей Феклы баня. Будет!.. — сморщился: — Покаяться ведь заставит!.. Да не хмурьтесь вы, хлопцы, не переживайте за меня. Было б за чё ухватиться, они б меня тут же схарчили! И вы живите так, чтоб не за что ухватиться, не потому что извилисты, скользки, а потому что прямые. Надо жить так, чтобы спалось всегда спокойно. Это главное. Но мандавошка та, с белыми непорочными погонами, все ж кой-какую разруху произвела в моей душе. Да и не она одна... Тысячи вернула в строй!.. — Анкудин Анкудинов вдруг взвился, брякнул кулаком по столу: — «Жизнь наша не краденая, а богоданная», баёт моя Фекла. Они, эти курвы, после войны хвастаться будут. Но это мы. Мы сами, сами возвращались в строй, рвались на передовую, со свищами, с дырявыми легкими, в гною, припадочные, малокровные — потому что без нас войско не то. Потому что без нас ему не добыть победу. Но вот после четвертого ранения я начал задумываться: а может, лучше домой? Меня один раз комиссовали — я не поехал. Я под Курск рванул — как же

там без меня?.. Я заработал право ехать домой. Отпустят. У меня легкое не скоро заживет... Это я, сын отца, строившего Сталинск. Сын матери — сплошной комсомолки — начал думать: где мне лучше, а?! Это ж так пойдет — честные люди кусочниками сделаются, у корыт с кормом хрюкать будут... А что с державой будет? Холуй державу удоржит?

— Да успокойся ты, успокойся, миленький! — трясла Лиза за гимнастерку Анкудина Анкудинова. — Я про нее, про эту полковницу знаю такое, шо мы, гуляющие бабенки, по сравнению с нею ангелами глядимся!..

— Стоп, Лизавета! Державе нашей много веков уже! И совести нашей срок немалый... А они — косоглазых, глухих, хромых, с гнилыми брюхами на передовую, чтобы себя и своих холуев да деток, около себя...

— Говоришь же: сами, сами, а ей, Чернявской, только того и надо. Немцы говорили, сын Сталина, Яков, поднял руки до горы. Сталин за это не себя в тюрьму, родителей жены Якова... — сощурилась Лиза на Анкудина Анкудинова. — Ловко, правда?

Анкудин нахмурился, потер рукою лоб, окрапленный мелкими каплями:

— Постой, Лизавета! Ты к чему про Сталина-то?

— Да просто так, к слову пришлось. Уж больно ты правильный, и Сталин твой правильный, а немцу пол-России отдал, немец Кубань ржой поразил, до Кавказа добрался, народу тьма погибла, да еще спогибнет сколько! Друг друга со свету сживаете. Подполковница Чернявская, стерва отпетая и воровка, тебя готова сырым слопать, а ты за спину своей Феклы спрячешься, в святом углу. Совесть Феклы на всех хватит, ее совести тыща лет. Спасе-о-о-отесь!

— Ты чё, Лизавета, на скандал прешь? Так не ко времени и не к месту. Хлопцы вон молодехонькие, рты пооткрывали. Корму ждем или страшно слушать, хлопцы?

— Ко-орму!

— А-а, роднюшеньки мои, хлопчики! А-а, воробьишки с тонкими шейками! У пуху!.. Не слушайте вы нас, старых дураков! Пейте! Кушайте! Я вас в обиду не дам, не да-а-ам... Анкудин, я знаю, зачем ты их целый табор... Зна-а-аю...

— А знаешь, так побереги!

— Поберегу-ууу... поберегу-у-у...

Поздней ночью, с поездом «Краснодар—Москва» мы

проводили Анкудина Анкудинова в Москву. Лиза все время крепилась, шутила, совала кошелку с харчами и бутылку Анкудину Анкудинову, что-то и проводнице сунула, чтоб та хорошо устроила пассажира.

Но как поезд ушел, навалилась Лизавета на мой гипс, растрескавшийся на плече, горько, без голоса, расплакалась. И у провожающих солдат замekli глаза. Я гладил Лизу по волосам, говорил: «Не плачь... не плачь...» А сам мучался, что не спросил у Анкудина Анкудинова про Коломну — не бывал ли он в ней весной сорок третьего года, не ел ли с доходным молоденьким солдатом из одного котелка суп с макаронами, точнее, с единственной, зато уваристой, длинной американской макарониной...

На перекрестках военных дорог, в маленьком городке, в каком-то очередном учебно-распределительном, точнее сказать, военной бюрократией созданном подразделении, в туче народа, сортируемого по частям, готовящемся к отправке на фронт, кормили военных людей обедом и завтраком спаренно. Выданы были котелки, похожие на автомобильные цилиндры, уемистые, ухлебистые, словом — вместительные, и бойцы временного пестрого военного соединения таили в своей смекалистой мужицкой душе догадку: такая посуда дадена не зря, мало в нее не нальют, будет видно дно, и голая пустота котелка устыдит тыловые службы снабжения.

Но были люди повыше нас и посообразительней — котелок выдавался на двоих и в паре выбору не полагалось: кто рядом с правой руки в строю, с тем и получай хлебово на колесной кухне и, держась с двух сторон за дужку посудыны, отходи в сторону, располагайся на земле и питайся.

В пару на котелок со мной угодил пожилой боец во всем сером. Конечно, и пилютка, и гимнастерка, и штаны, и обмотки когда-то были полевого, защитного цвета, но зампомнился мне напарник по котелку серым, и только. Бывает такое.

Котелок от кухни в сторону нес я, и напарник мой за дужку не держался, как другие напарники, боявшиеся, что связчик рванет с хлебовом куда-нибудь и выпьет через край долгожданную двойную порцию супа.

Суп был сварен с макаронами, в мутной глубине котелка невнятно что-то белело.

Шел май сорок третьего года. Вокруг зеленела трава, зацветали сады. Без конца и края золотились, желто горе-

ли радостные одувачики, возле речки старательно паслись коровы, кто-то стирал в речке белье, и еще недоразрушенные церкви и соборы поблескивали в голубом небесном пространстве остатками стекол, недосгоревшей позолотой куполов.

Но нам было не до весенних пейзажей, не до красот древнего города. Мы готовились похлебать горячей еды, которую по пути из Сибири получали редко, затем, в переломках, сортировках, построениях, маршах и вообще обходились где сухарями, где концентратом, грызя его, соленый и каменно спрессованный, зубами, у кого были зубы.

Мой серый напарник вынул из тощего и тоже серого вещмешка ложку. Сразу я упал духом: такую ложку мог иметь только опытный и активный едок. Деревянная, разрисованная когда-то лаковыми цветочками не только по черенку и прихвату, но и в глубине своей, старая, заслуженная ложка была уже выедена по краю, даже трещинками ее начало прошибать по губастым закручениям, обнажая какое-то стойкое, красноватое дерево, должно быть корень березы. Весной резана ложка, и весенний березовый сок остановился и застыл сахаристой плотью в недрах ложки.

У меня ложка была обыкновенная, алюминиевая, на ходу, на скаку приобретенная где-то в военной сутолоке или вроде бы еще из ФЗО. Как и всякий современный человек, за которого думает дядя и заботится о нем постоянно государство, я не заглядывал в тревожное будущее, и не раз, и не два был уже объедан на боевых военных путях, потому что кроме всего прочего не научился хватать еще с пылу, с жару. Тепленькое мне подавай!.. Вот сейчас возьмется этот серый метать своей боевой ложкой, которая мне уж объемнее половника начинала представляться, — и до теплого дело не дойдет, горяченькие две порции красноармейского супа окажутся в брюхе. В чужом!

Мы начали.

Суп был уже невпрогоряч, и я засуетился было, затаскал свою узкорылую ложку туда да обратно, как вдруг заметил, что напарник мой не спешит и заслуженной своей ложкой не злоупотребляет. Зачерпывать-то он зачерпывал во весь мах, во всю глубину ложки, но потом, как бы ненароком, вроде от неловкости задевал за котелок, из ложки выплескивалась половина обратно, и оставалось

в ней столько же мутной жижицы, сколько и в моей ложке, может, даже и поменьше.

В котелке оказалась одна макаронина. Одна на двоих! Длинная, правда, дебелая, из довоенного теста, может, и из самой Америки, со «второго фронта», — точно живое создание, она перекатывалась по котелку от одного бока к другому, потому что, когда дело подошло к концу и ложки начали скрести дно, мы наклоняли котелок: напарник мне — я черпну, наклон к напарнику — он черпнет.

И вот насуху осталась только макаронина, мутную жижицу мы перелили ложками в себя, она не утолила, а лишь сильнее возбудила голод. Ах, как хотелось мне сплести ту макаронину, не ложкой, нет — с ложки она соскользнет обратно, шлепнется в котелок, в клочки разорвется ее слабое белое тело, нет, рукою мне хотелось ее сплести — и в рот, в рот!

Если бы до войны жизнь не научила меня сдерживать свои порывы и вождения, я бы, может, так и сделал — схватил, заглотил, и чего ты со мной сделаешь? Ну, завезешь по лбу ложкой, ну, может, пнешь и скажешь: «Шакал!» Эка невидаль! И пинали меня; и обзывали, еще и похлестче.

Я отвернулся и застланными великим напряжением глазами смотрел на окраины древнего городка, на тихие российские пейзажи, ничего, впрочем, перед собой не видя. В моих глазах жило одно лишь трагическое видение — белая макаронина с прорванным, как у беспризорной, может, и позорно брошенной пушки-сорокапятки, жерлом.

Раздался тихий звук. Я вздрогнул и обернулся, уверенный, что макароны давно уж нет на свете, что унес ее, нежную, сладкую, этот серый, молчаливый, нет, не человек, а волк или еще кто-то хищный, мне на доньшке котелка снисходительно оставив дохлебывать ложечку самого жоркого, самого солоного и вкусного варева. Да что оно, варево, по сравнению с макарониной?!

Но... Но макаронина покоилась на месте. В тонком, беловатом облачке жижицы, высоченной из себя, лежала она, разваренная, загнутая вопросительным знаком, и, казалось мне, сделалась еще дородней и привлекательней своим царственным телом.

Мой напарник первый раз пристально глянул на меня — и в глубине его усталых глаз, на которые из-под век, вместе с глицеринно светящейся пленкой наплывали крас-

ненькие потеки — я заметил не улыбку, нет, а какое-то всепонимание и усталую мудрость, что готова и к всепрощению, и к снисходительности. Он молча же, своей заслуженной ложкой раздвоил макаронину, но не на равные части — и... и молодехонький салага, превращенный в запасном полку в мелкотравчатого кусочника, я затрясся внутри от бессилия и гнева: ясное дело — конец макаронины, который подлиньше, он загребет себе.

Но деревянная ложка коротким толчком, почти сердито подсунула к моему краю именно ту часть макаронины, которая была длинше.

Напарник мой безо всякого интереса, почти небрежно забросил в обросший седоватый рот беленькую ленточку макаронины, облизал ложку, сунул ее в вещмешок, поднялся и, бросив на ходу первые и последние слова: «Котелок сдашь!» — ушел куда-то, и в спине его, серой, в давно небритой, дегтярно чернеющей шее, в кругло и серо обозначенном стриженем затылке, до которого не доставала малая, сморщенная и тоже серая пилотка, чудилось мне всеокрушающее презрение.

Я тихо вздохнул, зачерпнул завиток макаронины ложкой, допил через край круто соленую жижицу и поспешил сдавать на склад котелок, за который взята была у меня красноармейская книжка.

До отправки во фронтовую часть я все время не то чтобы боялся, а вот не хотел и все встречаться со своим серым напарником по котелку.

И никогда, нигде его более не встретил, потому что всюду тучею клубился военный люд, а в туче поди-ка отыщи, по-современному говоря, человеко-единицу.

Анкудин Анкудинов так много видел людей на войне и подле войны, со многими едал из одного котелка, спал в одном окопе — где ему всех нас упомянуть?!

Но я помнил и помню его всегда, и, когда мне стало плохо, одиноко на Урале, по пути в Красноярск, проезжая по Алтайскому краю в сорок шестом году, подумал: «Может, сойти с поезда, поискать Анкудина Анкудинова — он покажет, он утешит и ободрит...», да не решился я тогда сойти с поезда и, поди-ко, понапрасну не решился.

Но был случай, мне показалось, что в одном алтайском мужике я узнал Анкудина Анкудинова. Мы были на «чтениях Шукшина», проще, без выпендрежа сказать — на поминках по Шукшину. Из Сросток бригадою приехали в зверсовхоз, где смотрели мы на зверьков, беспокой-

но мечущихся по вонючим клеткам и вольерам, рассказывали «о своем творческом пути» звероводам, восславляли словами Родину, партию, их замечательного земляка, писателя, артиста, режиссера, которого здесь, на родине, при жизни земляки срамили и поедом ели, ждали автобус в центре поселка, подле магазина, запертого на обеденный перерыв.

Перед открытием возле дверей магазина скопилась кучка народу, что-то должны были «выкинуть» из продуктов, не то постное масло, не то морского мороженого окуня. Появился возле магазина мужик, костлявый и до того исхудалый, что пиджак прошлого покроя морщился на нем и был вроде как с чужого плеча. Лицо мужика было желтоватого цвета, если уж совсем точно — назёмного, лицо доглевающего человека. По глазам разлилась желтизна, и красные прожилки чуть светились волосками, вроде бы в слабого накала лампочке, но были ко всему устало-внимательны. На пиджаке незнакомца в шесть рядов пестрели самодельные колодки и впереди всех и выше — уже выцветшие, желто-черные колодки трех орденов Славы, тогда как в остальных рядках колодочек было по четыре. Он поздоровался, проходя мимо нас, устало развалившись на скамье, у которой в середине было выдрано с корнем два бруска подгулявшими удалыми молодцами. Остановившись чуть поодаль от людей и от гостей, незнакомец внимательно нас оглядывал, словно бы изучал.

— Не уберегли Шукшина-то! — вдруг резко сказал он всем нам разом, и мы, подобравшись, как-то настоорожились. — Теперь оплакиваем, хвалим, в товаришши набиваемся? — И опять, подождав чего-то и не дождавшись, вздохнул: — Эх-эх-хо-хо! Вымирают лучшие... вымирают... А может, их выбивают, а? Худшие лучших, а? Чего ж с державой-то будет?..

Какой-то наш распорядитель от общественности совхоза подхватил мужика под руку, отвел его к стеной стоящей подле магазина крапиве, забросанной стеклом, поврежденными бутылками, окурками, банками и все-таки напористо, даже с озорством растущей. Общественник, рубя одной рукой воздух, что-то говорил раздосадованному мужчине, в чем-то его убеждал. Тот ему не возражал, под конец индивидуальной беседы кивнул головою и более к нам не приставал.

Живые всегда виноваты перед мертвыми, и равенства

меж ними не было и во веки веков не будет. Так заказано на сознательном человеческом роду, а роду тому пока что нет перевода. Мужик с колодками, несмотря на худобу и болезненность, все же очень походил на Анкудина Анкудинова, но я не решился к нему подойти, снова не решился...

После того как Черевченко прочел нам бессмертную поэму «Весна» и изрядно подпоил львовский «отряд» самогонкой — он произвел над новичками свой любимый эксперимент, даже два, сказав, что кто чисто по-украински выговорит: «Я нэ хочу сала исты», тому будет отпущена «добавка». И нашелся хлопец юный, доверчивый и сказал выжидательно замершим хохлам: «Я нэ хочу сала исты», те вперебой радостно рывкнули: «Ишь гивно!» — и повалились на фрицевские колючие мешки, расплющенные телами и украшенные кровавыми пятнами раздавленных клопов. Они дрыгали ногами, стонали, утирали слезы, пытались что-то сказать, показывая на сплеховавшего хлопца, готового вот-вот заплакать. Черевченко налил ему и, когда юноша выпил и утер губы, молвил будто бы ему одному, но чтоб слышали все, сказал со вкрадчивой доверительностью:

— Нычого, нычого! Я тэж на цю гарну шутку купывсь когда-то. А скики хлопщив купылось? Го-о-о... А вот знаешь ли ты, хлопец... як тебэ? А вот знаешь ли ты, хлопец Степа, шо у тых людын, шо займаються онанызмом, на ладони волосы растут?..

Хохлы чуть не полчаса замертво валялись по матрадам! Они уж ни хохотать, ни стонать не могли, они только всклипывали, ойкали, держались за швы на ранах, у кого раны были и еще не заросли, потому что «хлопец» тут же поглядел на свою почти еще детскую узенькую ладонь. Да кабы он один?! Новички, почти все молодые новички, даже Борька Репяхин — знаток законов, борец за справедливость и за чистую совесть народа, не избежал подвоха. «Детдомовская школа» спасла меня от «эксперимента» Черевченко, но я знал кое-что и позанимательней таких «ловких» загадок и дал себе обещание: как маленько оклемаюсь и температура спадет — ткнуть Черевченко носом в такую пакость, что «гивно» его сладким повидлом ему покажется.

Анкудин Анкудинов в те же первые дни нашего пре-

бывания в Хасюринском «хвилиале» вместе со своим другом Петей Сысоевым лечился в центральном здании и заступиться за хлопцев было некому. Но Черевченко был бес и виртуоз в понимании психологии людей, везде знал «край», точнее, чуял предел и свел все дело с рукоблудием к тому, что никакого позора и греха он в этом не видит, отклонения, нарушения нравственных норм тоже — синица в руке все-таки лучше, чем журавль в небе, что человечество подвержено этой вынужденной, но вполне исправимой порче от роду своего, что половина его, человечества, как раз и погибла, не родившись, именно оттого, что законы всякие навывдумывало, нету у него свободы действий, чтоб кто когда кого захотел, тот того и сгрел, а уж бедным солдатам, тем и вовсе никакого выхода нету, и со временем, когда образовалась армия и казарма — столько выброшено попусту здорового, молодого матерьяла, что если б его собрать в одно место — море бы получилось, ну, море не море — озеро Балхаш или Байкал наверняка!..

— И самое главное, хлопцы, вот что запомните, — заканчивая свою наставительную речь, сказал Черевченко: — в Хасюринской все готово к тому, чтобы вас принять. Конечно, воны и нимцам давали активно, но будем считать, шо воны изматывали протывника, вели з им беспощадную вийну. Тут е дывчына, шо усе била сэбэ по брюху, дэ був спрятан на память фриц, и кричала: «Смерть немецким оккупантам!», а когда дытына родылась, хотыла вморить его голодом. Но мы само гуманно в мири вийско, заставили кормить ребенка и такэ славнэнько, такэ гарнэнько птэнчику растэ! Скоро вже матэриться будэ и самогонку пыть. Но, хлопцы, нияк нэ избегайтэ нашего руководству. Усих хасюринских баб мы наскризь знаемо, и заразных до вас не допустымо... так купимо бугая?!

— А на х..? — дружно отклинулось собрание.

— А хто коров будэ? Я? Го-го-гооос!

«А-а, вышьем за тых, хто командовал р-ротами, хто умира-ал на снегу-у-у...» — рывкнул Черевченко, и спешившие с ним «братья» подхватили так, что звякнули стекла в старой, безгрешной начальной школе, посыпались клопы со стен и потолков, бойцы начали плакать и обниматься. Дежурная по корпусу пыталась унять военную стихию, остановить плач и песню — да куда там?! Братство госпитальное крепло и набирало силу.

Новички отоспались маленько, отъелись, уехал бунтарь-одиночка Анкудин Анкудинов, и Черевченко занялся нами вплотную. Дня три по Хасюринской возбужденно шныряли «братья», что-то добывали, таскали, ругались матерно, за головы хватались, собирали с «боеспособных» ранбольных по червонцу. Нам передалось возбуждение, непонимание и страх перед надвигающимся событием — скоро мы пойдем в гости и там «будэ усе». Многие из нас, как показали дальнейшие события, «перекипели», еще не вступив в схватку.

У этой хаты, у этого подворья был хозяин. Настоящий! Да и не один, в нескольких поколениях. Хата охранялась от небесных сил двумя над нею нависшими дубами, к которым со всех сторон робко липли и никли кленочки, ясени, каштанчик, как бы ненароком затесавшийся в такую компанию, уже густо тронутые желтизной и яркой ржавой осыпью боярышник и сиротливо здесь глядящая рябинка. Все это, смешанное меж собою, семейно обнявшееся шумное братство, обрамлялось с трех сторон ошетиненной стеной акации, давно не стриженной. И хотя тесно было деревцам и деревьям подле хаты, не смели они переступить за охранительную стену, где располагались обширный, наполовину уже убранный огород и фруктовый сад с породистыми, однако шибко запущенными яблонями, грушами, вишенником и гордо, как-то обособленно, на обочине, в ряд стоящими ореховыми деревьями.

От штaketной калитки с шибко возле скобы вышарканной краской двумя, тоже давно не стриженными рядами, вела к крыльцу аллея из кустов с седым листом и черными ягодами, похожими на сибирский волчатник. По ту и другую сторону крашеного крыльца кругло росли кусты карликовой сирени и желтые да красные цветы, уже домучивающие последние побеги с перекаленными, полузасохшими бутончиками и звездочками. Вокруг дома была сделана канавка из дикого, но ровно и хорошо подобранного камешника. Под застрехой этаким сплошным деревянным кружевом лепились изящно сделанные из железа сточные желобки, и концы их, нависшие над канавкой, открыты были пастями игрушечных драконов.

На крыльце и на открытой верандочке, вдоль которой в ящиках росла и тоже домучивала последний пз т усталая от лета и обилия стручков фасоль, толпились женщи-

ны, все в ярком, все красивые, приветливо-улыбчивые, кокетливые.

— Ласкаво просымо! Ласкаво просымо! — запели они, расступаясь перед нами. — Мы уж заждались! Ох, заждались!..

На крыльцо неуверенной походкой вздымались кавалеры в нижнем белье, с гипсами, у многих — точно названными — «самолетами», в тапочках или трофейных ботинках, которые и вовсе босые. Но кубанских этих дам ничем уж видно было не удивить, они очень быстро с нами управились, приговаривая не без томности и скрытой необидной насмешки:

— О то герои! О то ж гарнэсэнъки хлопци! Проходьте! Проходьте! Будь ласка...

«Браты» по старому и узаконенному уже праву целовались с «дивчатками», иных звонко, с оттяжкой хлопали по заду, и те, взягивая от боли и страсти, орали «скажывсь!» или, почесывая ушибленное место: «Аж, аж! Сняк же ж будэ, дурак!..». Российский говор тоже просекался: «Сперва ручку позолоти, потом хлопай!» И в ответ: «Похлопал бы, да денег нету!»

Черевченко вел себя в этом доме по-хозяйски: целовал и щупал всех «дивчаток» подряд, и они тому были безмерно рады. Шла словесная разминка, которой надлежало снять напряжение и неловкость первых минут. Я, как всегда в минуты крайних волнений, вспотел и боялся утереться рукавом. Пот катился под гипс, щипал пролежни и разъеденную клопами подмышку. Я жался в тень, прятался за спины бойцов и хотел только одного — незаметно смыться «домой».

Но не у одного меня такое желание гнездилось. Чуткий бес Черевченко, опытнейший педагог и психолог, не дал углубиться нашему душевному кризису, как-то ловко и умело водворил всех в хату и сразу за стол. Гости, опять же «незаметно», оказались рядом со своей «дивчиной» и почти все поразились тому, что «дивчина» ему в пару попалась именно та, которая соответствует его душевным наклонностям и вкусу.

Я пока боялся взглянуть налево, где плотно и молча сидела и уже грела меня упругим бедром моя «симпатия». Черевченко вызывал во мне все больший восторженный ужас: он учел даже то, что правым глазом я не вижу и стесняюсь изуродованной еще прошлым ранением половины лица. Он все и всех учел: кто не может из-за гипса

сидеть у стены и ему нужен простор — того на внешний обвод, кому может плохо сделаться — тех ближе к двери и веранде, кто уже сгорал от нестерпимой страсти — того к распахнутым низким окнам, к густеющим ласковым купцам, потому как тесно сидевшим у стены парам можно было выбраться к двери, лишь потревожив и согнав с места целый ряд гостей.

Всем уже было налито в рюмочки, стаканы и кружки. На тарелках багровою горою с искрами и кольцами белого лука и гороха высился винегрет, соленые огурцы, красные помидоры, красиво разваленные арбузы, даже студень был и отварная курица, фрукты навалом краснели, желтели, маслянились от сока на столе.

В торце стола сидели двое, он и она, хозяйка и ее «друг» — Тимоша, который всем упорно представлялся мужем и хозяином этого дома. Марина — хозяйка — не возражала ему, но и не поддерживала особо насчет мужа и хозяина, хотя, заметно было, Тимоше очень этого хотелось.

Оба они достойны подробного и неплоского описания и характеристик. Но время стерло «случайные черты», и осталось в памяти лишь самое неизгладимое, самое стойкое: хозяйка была красива, и красота ее не отделялась от распространенной красоты кубанских девиц и дивчин, у которых все на виду: и яркие очи, и румяное лицо, и брови дугой, и алые губы, и косы до пояса, и звонкий смех, и вздорный характер, и легкая, так идущая им глупость, которая годам к тридцати, когда дивчина обратится в жопастую, одышливую «титку» — вызреет или взреет в тупость, грубую неприязнь ко всем, прежде всего к своему мужу.

Хозяйка Марина, одетая в однотонное платье салатного цвета, с открытым воротником и прикрепленным к нему спереди сереньким, искристым кружевцем, свисающим от горла смятой, инеем убитой бабочкой, была в расцвете лет и женских прелестей, не всякому глазу доступных. «Браты», например, говорили: «И шо вин, той Тимоха, у ей, у той Марины, знайшов?» Тимоха ничего и не нашел, ему и искать не надо было. Его самого нашли и подобрали.

Желтого цвета волосы мягко и плавно спускались на левую грудь Марины и были там и сям прихвачены белыми скрепками, над виском воткнут в волосы цветочек бархатисто-красной настурции с желтой радугой в сере-

дине — шла вот по веранде женщина, мимоходом сорвала цветочек, небрежно сунула его в волосы, а он и придиись к месту! У нее были зеленые глаза, но когда она становилась чем-то недовольна и сжимала тонкие, пушком обметанные сверху губы, глаза ее сразу темнели, погружаясь в невидимую людям совсем не мелкую глубину. Вытянутое лицо и тоже тонкий, вытянутый нос, меньше чуть заметным движением брови, скуповатой улыбкой заменять слова — выдавали в ней повадки и красоту пани, еще той пани, что рисованы на древних, щелястых портретах, которые «вживе» я только раз и встречал, когда с боевым походом шлепал по Польше.

Давним током крови, эхом ли древнего рода, молчаливой ли зарницей достало, высветило эту женщину и оставило посреди земли. Все, что было вокруг, пыталось опаскудить, замарать это диво, но не смогло выполнить своей задачи. Поучительный опыт женского рода заставил бороться за себя, и, отодвинувшись в тень, смешавшись с человеческой чашей, она оставалась самой собой, давши засть в чашу, но не погаснуть тому отблеску зарницы, что озарил ее в этой страшной и беспощадной жизни. Женщины таких дам не любят, инстинктом самки чувствуя превосходство над ними.

В станице говорили, что на постое у Марины был немецкий майор, затем квартировал комиссар Владыко, и она им будто бы ни в чем не отказывала. Но и они, постояльцы, якобы ей тоже ни в чем не отказывали. Она не копала землю, не собирала плодов, не мыла в избе, не белила хату и даже не стирала — все это делали попеременно то немецкие, то советские холоуи. «Браты», зловья, толковали, что и немцев, и русских она подбирала «под патехвон» — стало быть, танцевала с кавалером под музыку и по силе трения, по могучести упора выбирала партнера, но, может быть, сожители подбирались ею по соображениям защитительным, хозяйственным.

Тимоша уж точно был допущен в этот дом не за свои мужские достоинства, но за хозяйские наклонности, за старание в работе и безвредный нрав. О «мирах», литературе и музыке пани Марина могла наговориться вдосталь и с лейтенантами, и с майорами в станичной библиотеке, которую она сохранила и при немцах, и при наших, и при любой власти сохранит и сама сохранится.

Из мужниного гардероба Марина выдала Тимоше полусуконные штаны, рубаху в полоску, хромовые сапоги и соломенную шляпу с малинового цвета лентой.

И вот в этом наряде, не снимая шляпы, за столом сидел гордый Тимоша рядом с женщиной и своим топорным лицом, огромными, трудовыми, устало выкинутыми на стол руками, этой дурацкой шляпой, громким босяцким смехом еще более оттенял ее утонченность, умение молчать и молча повелевать.

Такие, как Тимоша, были в ту пору еще добрыми малышами, еще умели и любили подчиняться высшей силе, быть послушными рабами этой силы, благоговели перед чудом красоты, перед тайнами ее и загадочной властью.

Пройдет всего лишь несколько десятков лет, и, истощенный братоубийством, надсаженный «волевыми решениями» и кроволитной войной, потерявший духовную опору и перспективу, превратится он из послушного работника в кусочника, в мелкого вора, стяжателя, пьяницу, дети, а затем и внуки Тимоши будут с топорами и ножами бегать по улицам сел и городов за женщинами, хватать их, насиловать, убивать, потому что один только инстинкт закрепится в них — немедленное утоление звериного желания, после и он погаснет, от вина, и пойдет по земле с открытым мокрым ртом, мутным, бессмысленным взглядом, под именем, происходящим от увесистого предмета, от глухого, но точного слова — било-дебил. Пьяный еще в животе матери, пьяным отцом зачатый, выжмется из склизкого чрева склизкое одноклеточное существо без мыслей, без желаний, без устремлений, без памяти, без тоски о прошлом, способное только пожирать и убивать, признающее только власть кулака, только приказующую и наказующую команду.

Быть может, это и будет тот идеальный человек под именем «подчиненный», к которому так стремились и стремятся правители всех времен и народов. Но когда это еще будет?! А пока! По праву хозяина Тимоша широким жестом обвел застолье и, зажав в жмене налитый до ободка стакан так, что стакан помутнел от боли и неги, прокашлялся:

— Товаришши! Мы собрались вместях, штабы отметить прибытие новых наших товаришшев. Дак, стало быть, за дружбу и штабы война скорей закончилась...

— За дружбу! За дружбу! — заверещало застолье женскими голосами.

— И за любовь! — ввернул Черевченко.

— И за любовь! 3-за любовь!

Выпили дружно, почти все до дна. Напарницы подно-

сили на вилке винегрет кавалерам, соря им на гипс и беле, отчего на штанах оставались красноватые маслянистые пятна, и это обращено было в шутку, мол, дома по гипсу узнают, где боец был и чем занимался.

Хозяйка самогон не пила, лишь пригубила красненького фабричного вина, но и с него порозовела, оживилась. Она чувствовала, что кто-то за ней внимательно наблюдает. Так как я сидел далеко от торца стола и на меня падала полутень из сада, долго мучилась, отыскивая и тревожась от чьего-то взгляда. И когда наконец нашла меня, то не замечалась глазами, как это делают малоприметные люди, отведенные косиной моего взгляда на кого-то и ища по взгляду этого кого-то.

Она мгновенно угадала во мне расположение к ней, улыбнулась мне проясненно, чуть заметно кивнула головой. Я отвел глаза и наткнулся на мою соседку слева и почувствовал, как жгет от ее сдобного бока. Никогда, ни до этого застолья, ни в последующей жизни, не встречалось мне ухажерки зычнее, румяней и белей, лишь в кино однажды увижу я колдунью, бегущую по лесу так, что лес трещал и качался, да и озарюсь воспоминанием, вздохну — было о чем вздыхать. Перед моею ухажеркой стоял совершенно нетронутый стакан с самогонкой, руки ее покоились на коленях, она обиженно смотрела вдаль.

— Ой, простите! — встрепенулся я и стукнулся своим стаканом о стакан соседки: — За ваше здоровье, э-э-э...

— Аня.

— Э-э, Аня, и за знакомство.

— Будем здоровы! — увесисто, отчетливо сказала она и неторопливо, крупными глотками осушила стакан. Я, было, сунулся с винегретом, но она придержала мою руку своей крупной, жесткой от земляной работы и тоже горячей рукой: — Я винегрет нэ им. Брюхо з его пучить. — Выбрала грушу покислей и хрустнула ею так, будто через колено переломила пучок лучины. — А вы шо ж нэ пьэтэ и не кушаэтэ? Пийтэ, веселее будет и... — она покрутила кулаком вокруг головы: — ото расслабится.

Я сказал Ане, мол, пока не могу, и она с пониманием отнеслась к этому, себе тоже не позволила вторично налить полную посудину, половину стакана отмерила пальцем и снова выпила, не морщась, обстоятельно.

Мне сделалось страшновато, но метавшееся в моей башке беспокойство внезапно разрешилось теплотой, разлившейся по моему сердцу, — Аня! Нянечка из санитар-

ного вагона воскресилась в обрадованной памяти — вот бы ее, славненькую, ласковую, да за этот бы стол, да рядышком бы. Выпивка никогда не была моей всепоглощающей страстью, однако заразной болезнью моей родни и народа моего я, конечно же, вовсе не избежал. Другая страсть — тяга к книгам — еще с детства спасла меня от этой всесвальной русской беды.

Первый раз я до беспамятства напился в тринадцать лет, в детдоме. В ту довоенную пору магазинов и складов в городишке Игарке было мало, больше ларьки, но товаров в них велось много. Это в расцвет социализма магазины, рынки, базы были — хоть на мотоцикле катайся, ныне и на личной машине, потому что просторные заведения эти опустели. В довоенную пору разгруженные с заморских кораблей, завезенные на долгую зиму с магистрали в Игарку товары из-за тесноты часто в ящиках выставляли в сенцах-тамбурах у задних дверей, во дворах. Ныркая детдомовская братва, не найдя чего поценнее упереть, озорства ради унесла от ближнего ларька ящик шампанского. Сперва мы учились его открывать — нам нравилось, как пукают пробки, как ударяются они в потолок, как шурует пена из бутылки. Братва пообливала тумбочки, кровати, и сами орлы мокры были от бушующего вина. Кто-то из ребят попробовал шампанского, ахнул от дух захватившей влаги, мы тоже решили попробовать — и нам понравилось. Как этим самым шампанским перехватывало дыхание, как колко простреливало грудь и холодило нутро!

С нами отваживались. Облеваные, растерзанные, мылись парни в санпропускнике, клацая зубами, натягивали на себя сухие штаны и рубахи, затем прятались под одеялами. Из-за головной боли, из-за всеобщего угнетения два дня весельчаки не ходили в школу. Всех нас позорили в строю и на собраниях, продернули в стенгазетах, школьной и детдомовской.

Хватило надолго! Аж до Польши! Свои «боевые» сто грамм, разведенные в пути до последнего градуса, я, как правило, отдавал «дядькам» и только в лютые холода, в крайнем уж случае выпивал — для согрева. Один раз, под Христиновкой, в Винницкой области, в метель, когда и палку-то в костер негде было найти, орлы-огневики раздобыли где-то ящик с флаконами тройного одеколона. Я так продрог и устал, что мне было все равно, что пить, чем греться — и выпил из кружки беловатой жидкости —

на всю жизнь отбило меня от редкостного в ту пору напитка и по сей день отрыгается одеколоном и от горшка ароматно пахнет, я боюсь в парикмахерских облеваться, когда меня освежают.

Ну, а в Польшу пришел уже двадцатилетним, шибко боевым, и на радостях, по ошибке, я напился так, что и до се содрогаюсь от отвращения и позора.

В городе Жешуве, который мы заняли с ходу, орлы-артиллеристы разнюхали склады с водкой. Я как сейчас помню, что бутылки были почти литровые, с красивой наклейкой, на которой какой-то архангел в красной накидке поражал копьём дракона. Архангела и дракона мы увидели, полюбовались картинкой, но вот то, что в бутылке дракон шестидесяти градусов таился — этого никто не углядел — думали, что на всем свете варится только сорокапятиградусная водка и вообще предполагали, что везде и все — как у нас.

И вот расположились мы на окраине Жешува, связь в батарее выкинули, хату заняли очень красивую, под железной крышей, с объемистым двором, садом и огородом. Господа офицеры, конечно, в хате, солдаты, конечно, во дворе — готовимся потрапезничать.

По двору ходит поляк в подтяжках и шляпе, следит, чтоб мы лишка чего не вытоптали, не сожгли, не срубили. Колодец прямо во дворе. Умылись, утерлись, кто на кухню с котелками побежал, кто «на стол» накрывает — на расстеленные в огороде плащ-палатки. Вместе с вином раздобыли наши ребята сухого яичного порошка и сухого же сыра. Поляк учил нас сыр смешивать с водой, из порошка приготовил на сковородке омлет-яичницу — женское население не удостоило нас вниманием, оно с панями офицерами компанию водило.

Перед ужином командир отделения связи велел мне на всякий случай пробежаться по батареям, проверить, как там и что со связью. А там почти у всех из дивизиона отосланных связистов бутылки, все веселы и каждый мне, проверяющему, сует выпить. Ну я и выпил на голодный-то желудок, и прибыл в наш двор на качающихся ногах. Командир отделения глаза вытаращил: «Ты что, зараза, сдурел?! А ну, ешь!» Я потаскал ложкой омлета со сковородки, чувствуя, что ложка делается все тяжелее и тяжелее, самого меня все выше и выше поднимало на воздухе и качало там в тошнотной, провальной пустоте. «Не хочу я этой фрицевской херни!» — вдруг капризно заявил я и

с яростью хватил ложкой оземь. «А чё хочешь? По шее?» — «Огурца хочу!» — «Дак ты же, морда твоя пьяная, на огуречной гряде сидишь!» Я огляделся и обнаружил: правда, сижу я на высокой огуречной гряде и огурцов на ней, что в речке гольцов. Да все на бутылки похожие! Все катаются, все хохочут человеческими голосами. Я потянулся за огурцом... И... проснулся в пятом часу утра, на полосатом матраце, проснулся первым, поскольку и отключился первым. Был я весь облеван, и все вокруг было облевано, мокро — меня отливали холодной водой из колодца. Я пополз, потянулся к ведру с водой и пил, пил из ведра по-коровьи, захлебываясь, гася отравное пламя внутри себя. Огляделся. Кто где, кто как лежали по двору мои боевые товарищи, и все почти сплошь заблеванные, все в мучительных позах, с припадочно скособоченными ртами. А на высоком голубом крыльце стоял старый пан в накинутой на плечи куртке и родительски-укоряюще качал головой. «Да, Господи! — простонал я. — Да чтобы еще хоть раз...» Вот какой крюк я сделал из хасюринского застолья! В угарный, в интригующий момент сделал я поучение себе и потомкам. А на поучения в наше время ни бумаги, ни слов не жалеется.

Пока я мысленно летал в Польшу, в просторном доме пани Марины начинались танцы. Играл патефон, хрипел патефон и из-под тупой иглы с шипеньем катились «Амурские волны». Народ танцевал старательно и серьезно. Особенно старателен был Тимоша, видать, совсем недавно и с трудом выучившийся держать в полуобъятиях даму и, шаркая сапогами, кружить ее в вальсе.

Эти танцы описывать невозможно, их надо было снять на пленку и показывать всему миру, тогда, я думаю, понятней бы стало, что такое война, и люди бы меньше тырились друг на друга. Страшновато мне было, страшновато и когда пластинка кончилась, а бледные от напряжения и боли партнеры, задевая друг друга гипсами, принялись снова рассаживаться за стол. Я с ужасом думал: по каким-то неведомым правилам на обратной стороне пластинки после вальса непременно должен быть фокстрот, и что если захмелевших бойцов подхватит вихрь фокстрота?!.. Но моя соседка Аня вдруг сразу, будто с горы булыжину скатив, рывкнула:

Копав, копав криниченькү,
у-у-у зэзэно-ом у са-аду...

И обрадованно, с облегчением и дружеством ринулась компания навстречу Ане:

Гоп, гоп, моя малина,
Чернобровая дивчина,
В са-а-аду ягоду брала...

Пели долго и хорошо. Кто-то из хлопчиков плакал, кого-то уводили на веранду — облегчаться. Но фокстрот все-таки наступил. Аня моя крутила и вертела одного молоденького кавалера так, что у него началось кровотечение из раны. Быстро восстановили бойца. После танцев компания заметно поредела. Оставались только шибко захмелелые да робкие кавалеры вроде меня.

Я помогал убирать со стола. Тимоша, подпевая себе «гоп-гоп, моя малина...» мыл посуду, сгребая остатки закуси в корыто для поросенка. Аня протирала посуду, Марина убирала, ставила ее в буфет.

— Ну, как вам у нас? Понравилось? — спросила меня как бы между прочим Марина. Я сказал, что очень понравилось, она сказала, чтоб я приходил еще. И пошел у нас разговор о том, о сем, больше о книгах. Я, как бы между прочим, ввернул, что ранило меня в Польше, под городом Дуклой — там родилась известная историческая личность — Марина Мнишек.

— Да что вы говорите?! — показалось мне, нарочито громко удивилась Марина. — А вы-то откуда узнали об этом?

Я сказал, что солдату положено все знать, и она согласилась — конечно, конечно, иначе, мол, солдату — пропадай! Тимоша перестал петь. Аня насторожилась — они почувствовали какую-то нашу солидарность, мы выключили их не только из разговора, но и из окружения своего, они как бы наедине каждый очутились. Марина почувствовала, что нас «рассекречивают», и со вздохом сказала:

— Ну что ж, милые мои гости! Спасибо, что посетили нас, развеяли. Ты, Анечка, не обижай юношу, — уже на веранде добавила она и нежно поцеловала меня почти что в самый глаз, в раненый, и прикоснулась ладошкой к щеке. И губы ее, и ладошка показались мне бархатистыми. Мне вдруг захотелось упасть перед хозяйкой на колени, обцеловать ее руки, плакать и кричать: «Прости! Прости!...»

Марина повернулась и поспешно ушла в дом, скры-

лась. Тимоша проводил нас до калитки, запер ее на засов, бросив почти сердито на прощанье:

— До побаченья!

Мы долго ходили с Аней по станице, постояли над Кубанью, посмотрели на ночные дали. Где-то за рекою реденько теплились тусклые огоньки, но и они скоро погасли. В улицах станицы раздавались шум, хохот, звучали гармошка, песни, затем в станице все смолкло. Аня сидела на круче, спустив ноги с обрывистого берега и что-то тихонько напевала. Сняла с себя косынку, заботливо растелила ее рядом, хлопнула по ней ладонью:

— Сидай!

Я послушно сел, но к Ане не прислонялся. А она, я чувствовал, того ждала. Ощущение размягченности, доброты и грусти жило во мне. Из всего вечера, из всех его многообразных событий осталось во мне лишь прикосновение бархатистой ладони к раненому месту и взгляд, погруженный в себя, чуть лишь прояснившийся в те минуты, когда мы на кухне мыли посуду и разговаривали с Мариной.

— Про какую это польскую шляху ты говорил с Мариной? — неожиданно спросила Аня. Я сказал про какую и, поскольку не о чем более сделалось говорить, попросил Аню спеть. И она послушно, и опять во весь могучий голос, огласила окрестности своим грудным, глубоким голосом:

Ой, нэ свиты, мисячэнько-о,
Нэ свиты — а нікому.
Тільки свиты милэнькому,
Як идэ-э-э-э до до-о-о-ому-у...

— Нет, шось не поется, — буркнула Аня и со смачным звуком зевнула во весь рот. — Спать пора. Завтра на работу.

И опять мы долго шлялись по станице. Аня отчужденно молчала. Надо было взять ее под руку, но я уже упустил для этого момент. Надо было, наверное, потискать ее и поцеловать. Я видел, как за столом, напившись и потеряв стыдливость, орлы боевые начали нетерпеливо лапать и челомкать своих партнерш, как жадно смотрела на них Аня, каким бойцовским-беспощадным огнем светился ее взор.

Аня вела меня к госпиталю тенистыми, путаными тропами, часто останавливалась поправить косынку, волосы,

один раз даже ногу заголила: «Резынка риже, спасу нет...» Я всю эту дипломатию понимал, откликнулся бы на тонкие намеки, может, и оскоромился бы в ту ночь, но что-то кроме робости, неловкости и неумения удерживало меня, и я сам для себя тихо запел:

На Кубани есть одна станица,
В той станице гибкая лоза,
В той станице есть одна девица,
У девицы черные глаза!..

— О-о! — насмешливо сказала Аня, — оказывается, ты кое-что вмиешь! — и скоро вывела меня к госпиталю, со стороны сарая и умывальника. Здесь, под абрикосами, за сараем, мы еще постояли, потоптались.

— До свидания, Анечка! — подал я ухажерке руку. — Спасибо за вечер и за ночь.

— За яку ночь?

— Вот за эту! — показал я на темное, усыпанное осенними, зрелыми звездами небо и поцеловал ей руку, жесткую даже с тыльной стороны от воды, от земляной работы, пахнущую грушей и сухой травой.

— И это усе? — разочарованно произнесла Аня.

— Все, Анечка! Все!.. До свиданья! — бросил я уже на ходу, поспешая к черному ходу госпиталя, который по приказу Черевченко держался в ту историческую ночь до утра отворенным.

Ах, какие воспоминания были назавтра! Тысяча и одна ночь! Великая Шахерезада! Декамерон! И все мировые шедевры померкли б по сравнению с теми воспоминаниями, если б было кому их записать на бумагу. Борька Репяхин убито спал поперек матраца и не слышал, как его грызут клопы. Я читал книжку «Десять тысяч лье под водой», но читал невнимательно, слушал, завидовал хлопцам и презирал себя за малодушие. Ведь «на нос», как говорится, вешали. «Э-э-эх!..»

Вечером поздно явился один из «братьев» и, тыча в меня пальцем, захлебываясь смехом, сообщил публике:

— Он! ...он ...он руку Аньке цюлував!..

Сначала качнулась и грохнула наша палата, потом перекатилось по всему госпиталю: «Го-о-о-о, го-о-о-о-го-го-о-о!», «Ой, ой, мамочка ридна!», «Ой, нэ можу!», «Та я ж ей пид ярм поставив, та як глянув, та, мамочка моя, там же ж обоим госпыталям хватать!.. Щэ й военкомату останэться! А вин ей руку!» Даже Борька Репяхин смеялся

надо мной. Мне ничего не оставалось, как закрыться книгой «Десять тысяч лье под водой» и лежать придавленным позором и тяжестью литературы, не поднимаясь ни на ужин, ни на завтрак. Даже в места необходимые я ходил поздней ночью и на цыпочках.

Целых двое суток народ ходил на меня дывыгться, как на редкостного ископаемого, как на заморскую тропическую диковину. И тогда Черевченко, а это он, сволочь, в отместку за Анкудина подсунул мне Аню, ободрил меня, сказав, чтобы я «нэ журылся», что дело поправимо. И я с визгом, с бешеной слюной, срывающейся с губ, бросился на него, успел поцарапать ему щеку, но меня схватили, повалили. Я еще сутки пролежал на матраце, у клоповной стены, накрывшись одеялом. Борька Репяхин приносил мне пайку, пытался утешать меня. Я же упорно обдумывал вопрос о том, как ловчее оборвать эту позорную жизнь, как вдруг приходит Борька Репяхин, теребит на мне одеяло и говорит, что меня ждут в саду, на скамье.

— Кто? — испугался я.

— Да не бойся, не бойся, не Анька, а Лиза.

— Какая Лиза? — одичало глядел я на Борьку Репяхина. И вдруг вспомнил, вскочил, бросился бежать, запутался в одеяле, чуть не упал.

Лиза утешала меня, будто мать родная, гладила по голове, если приближались госпитальные кальсонники, зыкала на них вроде бы со злом, но вроде как бы не совсем серьезным злом:

— Гэтъ, падлюги! Вам бы только поизмываться над мальчиком!

Лиза рассказала, что было письмо от Анкудина, что с ним все хорошо, скоро его домой отпустят, что привет он мне передает, интересуется, как я тут.

— Правда? — смаргивая с глаза мокро, возвращаясь на свет белый, преодолевая предел никчемности своей, переспрашивал я. — Правда?

— Правда, правда. Вот придешь ко мне и сам прочитаешь. Что ж ты, к Марине так бегом, а мой дом стороной обходишь?! Марина, парень, ягодка с косточкой, об нее зубы сломаешь!..

И я привязался к Лизе, как к старшей сестре, к ее дому, и скоро тут, в доме Лизы, свершилось мое боевое крещение. На этот раз обласкала меня Ольга, уборщица из госпиталя, помощница Лизы по лаборатории, услужливая, легкая на ногу, но тугая на слово женщина, потерявшая мужа на войне, воспитывающая ребенка.

Очень она была бледная, с ранними морщинками на лице, со старушечьими складками у малоулыбчивого рта. Беленькие тонкие волосы коротко стрижены, еще гибкое, но ничем не примечательное тело — все-все было в ней определено на одну судьбу, на одного мужа, на одно дитя. А вот мужа у нее отняли, убили, и она, награжденная природой единственной наградой — глазами, бархатисто мягкими, как бы из старины, с чужого лица иль даже с портрета взятыми, и потому-то она их прятала все время, прикрывала тоже картинными, бархатистыми ресницами иль глядела в пол, говорила тихо.

Мне казалось, что я не смогу приставать к этакому комнатному существу, еще больше обижу домоганием своим и унижу женщину, что создана она для уединенного, тихого существования. «У нее ребенок, не блажененькая она, книжки, все это книжки!» — укорила меня Лиза, и чтобы доказать «братам» и прежде всего Борьке Репяхину, что я тоже не лыком шит, да и Лизины надежды, выступающей в роли сводни, надо было оправдывать, да и хотелось мне приставать-то, тайные страсти угнетали меня. Невыносимо! Болела голова, расстроился сон, плоть требовала уголения, пригинала человека к земле, катила в геенну огненную. Если вспомнить, что папа мой был неукротим в делах любовных, женился в первый раз на восемнадцатом году, а мне уже шел двадцать первый, то все эти страстные томления легко объяснимы.

Я решил для храбрости напиться и напился у Лизы, пьяный, увел свою ухажерку в кукурузу, свалил ее, не очень-то упорно упирающуюся, детдомовской подножкой, ползал по ней, отыскивая что где, дурно мне сделалось, и, прежде чем поиметь удовольствие, партнерша омывала меня и себя из таза.

И снова обдумывать бы мне и решать вопрос жизни и смерти, да партнерша на этот раз попалась очень уж понятливая. Обмывши меня, она тихо миновала комнату со свекровью и ребенком, провела меня в пристенок, уложила на кровать, дала поспать и сама осторожно, приподняв одеяло, легла под него. Я дрожащим телом почувствовал, что она в одной рубашке, более на ней ничего нет, и подумал, что так ведь поступают женщины, по рассказам бывалых мужиков, определяясь в супружескую постель. Деваться было некуда. Оля же еще и обняла меня и зашептала на ухо какие-то нежности, какие — не помню.

Все совершилось быстро и как-то само собой. Ухажерка моя гладила меня по потной спине:

— Бедненький! Бедненький!.. А убили бы?.. Так бы и не познал главной радости... Бедненький... бедненький... Ты меня не бойся — я не гулящая. Я тоже первый раз после мужа... дай я на тебя подую. Весь ты вспотел. Не волнуйся... не волнуйся... и не торопись. Торопиться не надо... не на-а-адо...

Но я и волновался, и торопился, да убегал среди ночи «домой». Как, значит, дрогнусь, будь хоть два, хоть три часа ночи — штаны надерну и дуй не стой восвояси.

Кончилось это тем, что Ольга укорила меня:

— Ты — себялюб! — и на этом наши с нею отношения почти кончились.

Приклеился к Ольге один мужичок из выздоравливающей команды, умеющий помочь по дому и по хозяйству, он мне казался стареньким, хотя было ему всего лишь тридцать пять лет. И дела у Ольги с этим мужиком пошли несомненно лучше. Что ей от меня, бестолкового «ветродуя»? Я не ревновал Ольгу к новому кавалеру и даже испытывал внутреннее освобождение от связи, гнетущей меня, почитывал книжонки, да гнил потихоньку под гипсом, и для любовных утех, в общем-то, мало годился по этой немаловажной причине.

Ольга оживилась, улыбчивой сделалась. Лиза сообщила мне, что новоявленный кавалер, мужичок госпитальный, пообещал остаться с нею и даже расписаться. И совсем хорошо мне стало, хоть одна судьба устроилась, хоть одной доброй женщине повезло. Прежний муж, тот, что погиб на войне, рассказывала Ольга, куражлив был и поколачивал ее. Я внимательно присмотрелся к моему сменщику и решил, что этот драться не будет — мастеровой потому что, баб же, да еще смиренных, бьют гуляки и бездельники, вроде моего папы.

В хасюринский госпиталь зачастили комиссии. С нами-то, ранеными, они не больно общались, ходили вокруг старой начальной школы да о чем-то друг с другом беседовали, записывали в бумаги, покуривая и наслаждаясь последним осенним солнышком, валялись в саду. И хотя раненые сидели на дровах, на скамьях и на земле вокруг школы, их словно бы не замечали и лишь коротко бросали утром: «Здрасьте!», а вечером «До свиданья!» — это по

части просвещения, дошло до нас, соображают, как вернуть школу на прежнюю линию и сколько денег надо на ремонт. Подписывают, думают, планируют — на этом деле у нас малого начальства, что вшей на гаснике, говаривала моя далекая бабушка.

Но вот наехал чин так чин, аж в генеральских погонах с малиновой окантовкой, следом за ним частила чищеными сапожонками Чернявская, пыхтел Владыко, скромно прятался за их спины главный врач, мужчина еще молодой, румяный, но весь уже лысый, должно быть, от ответственности. Этого главного врача никто из нас еще в глаза не видел. Порхала впереди представителей «сверху» заведующая нашим отделением, и хмурились станичные начальники. Что-то беспрестанно чирикала, показывала, объясняла Чернявская. Перед приездом важного генерала госпиталь наш скребли, белили, даже стены освежили, где от давленных клопов было сплошное абстрактное искусство, сменили белье в палатках и снова нас «побанили». Заведение наше, должно быть, не очень-то радовало глаз важного гостя и на ответные согласные кивки его не воодушевляло. Он все больше и больше хмурил, что-то резкое сказал заведующей «хвилиала», и она, подавившись словом, всхлинула и отвалила в хвост процессии.

Ранбольных по одному вызывали в ординаторскую, где госпитальные медицинские светила обрядились в халаты, генерал, больной с лица, лишь снял фуражку и сидел отчужденно за столом дежурного врача, как бы подчеркивая всем своим видом, что к подсудимым, то есть к этой челяди в халатах, расположившейся кто на чем, он никакого отношения не имел и иметь не собирается.

Я попал на допрос одним из первых, поскольку досталась мне от родителей фамилия на букву «а», и много я из-за этого уже имел неприятностей, особенно в школе. То ли дело фамилия на букву «ч» или «щ», а еще лучше на «я» — пока до нее доберутся, уже и урок кончится, если комиссия какая, суд, пусть даже и общественный, — ему спать захочется от усталости.

На коленях заведующей отделением лежали стопки историй болезней. Когда я вошел и поздоровался, мне предложено было сесть на стул, стоящий посредине ординаторской, прямо против генерала. Заведующая листала мою тощенькую историю болезни, сверху которой была пришта ниткой фронтальная карточка с нарисованным на ней в углу человеком в анатомическом разрезе и черны-

ми указками, уткнутыми в него или в наиболее уязвимые места в теле или на теле, где перевязывать. Карточка вся была в отметках, скобках, крестиках, номерах, росписях и в пятнах крови, уже почерневшей, выглядевших отцветающими ученическими кляксами. Большой, извилистый путь прошла эта карточка от Карпат, от Дуклинского перевала и до Кубани, куда я попал на лечение и считал, что здесь все мои муки и потрясения кончатся.

— Инфлюэнция, загноение раны, отмирание нижней части руки, не исключена ампутация.

— Ага! — разом взорвался я. — На передовой, в палатке, под обстрелом начальник нашего медсанбата не стал отрезать руку, пожалел меня, парнишку...

— А этот парнишка, между прочим, шляется по бабам, пьянствует, — вставила Чернявская.

— Это правда? — спросил генерал.

— В Гамбурге все пьяные!

— При чем тут Гамбург? Фашистский город! С вами серьезно... — побагровела Чернявская.

История про Гамбург проста; это когда русского купца, путешествующего по Европе, спросили в России — какие у него заграничные впечатления? Он сказал, что в Гамбурге все пьяные! — глупый, в общем-то, но очень живучий анекдот. Генерал его, конечно же, знал, но Чернявская из-за огромной занятости не успела выучить.

Генерал усмехнулся, как бы давая мне понять — ничего, дескать, ты их! Продолжай в том же духе.

— Ну, как вас лечат, снабжают?

— А кто вам сказал, товарищ генерал, что нас здесь лечат? — я кивнул головой направо, где сидела и нервно курила Чернявская, за нее пытался и не мог спрятаться обливающийся потом Владыко, стиснувший в жмене комочек мокрого носового платка. — Они?

— Ну, а все-таки? Все-таки? — встряла в разговор заведующая отделением. — Мы же не баклуши здесь обиваем.

«Груши», — подхватил я про себя, а вслух спросил:

— Что же, товарищу генералу не видно разве, как нас здесь лечат? В каких условиях мы находимся? Может, достать из-под гипса и показать горсть червей или вшей?..

— Ну, знаете! — вскочила с места Чернявская и заметалась по ординаторской.

— Не нервничай, солдат. Не нервничай! — остановил меня генерал и скомандовал вжавшейся в угол и умираю-

щей там от страха медсестре. — Дайте раненому воды, порошок какой, что ли, успокоительный. Есть у вас порошки-то хоть какие-нибудь или все продали и пропили? А вы сядьте! — указал он Чернявской на деревянный диван. — Привыкайте сидеть, — мрачно добавил он.

Порошок и воду я отстранил и, собравшись с силами, рассказал подробно, как раненым тяжело после передовой, как одно доброе и святое уж теперь, по воспоминаниям, место было на моем пути — санпоезд, люди в нем по-настоящему милосердные, сестрам же Клаве и Анечке надо по ордену дать за их трудовой подвиг.

— Они в пути нас сохранили, сберегли, а эти Петю Сысоева угробили, богатыря, Стеньку Разина.

— Вы подбирайте выражения! Ну, книгочей! Нн-ну, книгочей!..

— Любишь читать, солдат?

— Читал и читаю всюду, чтоб спрятаться...

— Язык у тебя, однако... — буркнул генерал. — Иди давай! Пошли следующего.

Через несколько дней после той исторической беседы я уже был в усть-лабинском госпитале вместе с большой партией «хасюринцев» — началась полная ликвидация паскудного, страшного заведения, грязного гнезда, свитого под благородной вывеской «Госпиталь».

В Усть-Лабе госпиталь был большой, тоже бедный, тесный. Но порядок царил строгий, койки стояли сплоченно, с матами, витыми из ивы вместо досок, с набитыми соломой матрацами. Кормили здесь бедно, но опрятно. В Хасюринской мы привыкли жрать супу и каши кто сколько хочет, оттого что многие раненые столовались у своих шмар или кто подрабатывать мог в колхозной столовке, которые и вовсе не питались, жили где-то, воровали, пили.

В Усть-Лабе я пробыл декаду. Хасюринцев все валили и валили сюда — благо близко и почти всем был вынесен приговор от осматривающих врачей: «Рана запущенная — ампутация», «Рана запущенная — операция», «Рана запущенная — срочно в госпиталь такой-то»...

Борьке Репяхину отхватили выше колена ногу, и он узнал, что если бы еще маленько погулял по Хасюринской да покругил дальше свою испепеляющую любовь — то мог бы вообще более ни разу не успеть влюбиться.

Борька Репяхин лежал бледный от потери крови, пы-

тался бодриться, мол, хрен с ней, с ногой — еще отрастет, какие его годы, зато уж дал жизни, повеселился. А на ухо мне шепнул: «Говорят, хасюринские начальники скрывали смертность или переталкивали в другие госпиталя обреченных людей...»

— Не-ет. Я буду учиться на юриста! Буду! Чтоб давить таких, таких сволочей!..

Сырым и холодным днем я вместе с двадцатью ранеными прибыл на поезде в Краснодар. Со станции не пешком, в санитарной крытой машине был доставлен на улицу Чкалова, в маленький госпиталек с длинным и витиеватым названием, где лежало много контуженых, память и прошлое свое утративших, где четыре раза ложился я под наркоз на чистку кости и остался хоть со слабою, но своею рукой, где я пережил свою первую светлую любовь, где, пробыв до марта, увидел я много страданий и сам страдал, где бедность, убожество, недостатки возмещались стараниями, заботами и добротой обслуги госпиталя да нашим солдатским, неунывным нравом.

Из краснодарского госпиталя я был отправлен в запасной полк, располагавшийся на окраине героического, в прах разбитого города Сталинграда.

К моему удивлению, город был уже немного восстановлен и пробовал жить, во всяком разе, по всем развалинам копошились люди, и дым шел из куч кирпичей, хоть и не очень густой, но все же живой.

На каком-то холмистом пустыре, со всех сторон обрешанном оврагами, уже собрано было и слеплено несколько казарм. В одну из них, еще строящуюся с другого конца, забранную посередке досками, поселили нас, сброд из госпиталей, пересылок, разного рода людом, прибитым военными волнами к трагическому берегу, к разрушенному историческим землетрясением, городу Лиссабону. Впрочем, думаю, что Лиссабон после землетрясения выглядел получше, там хоть деревья, какая-то трава, кустарники, случайное строение уцелело, здесь же было все выжжено, свалено в кучу, редкие скелеты зданий в центральной части города зияли пустыми черными зеницами, ночью в них мелькала, ныряла, будто в ледяную прорубь, горя не ведающая луна.

Все в бывшем городе, все пропахло гарью, пеплом, кирпичной пресной пылью, убитых собрали и захорони-

ли лишь в самом городе, но в развалинах, по глухим оврагам, под осыпным берегом все обнаруживались и обнаруживались полуистлевшие трупы.

Здесь, под городом этим, сложил свою голову мой дядюшка, Иван Павлович Астафьев, четырнадцати лет как подкулачник, стало быть, непримиримейший враг родного народа и власти, высланный в Игарку с мачехой, большим дедушкой и пестрым семейством. Отца его и моего деда вместе с другим дядей — Василием, на всякий случай припрятали в тюрьму, сделали им выдержку, чтоб поняли они, что советская власть шуток шутить с разным «элементом» не собирается.

Ваня сразу же определился на работу, ворочал на бирже древесины для заграницы, бил «лучшим в мире стандартом» по голове мировому капитализму и империализму. Был Ваня певун, книгочей, спортсмен, когда-то свел меня за руку в городскую библиотеку и некоторое время следил за тем, чтоб я не придуривался, не шелестел страницами, а читал. В тысяча девятьсот сороковом году, уже после начала учебного года, в Ачинске открылся сельхозтехникум, в котором был большой недобор и в «порядке исключения» разрешено было поступать туда, значит, выехать из Заполярья, детям спецпереселенцев. Обрадованной толпой ринулись молодые куркули в науку, но через год так же дружно встали на защиту Родины — никто уже не брезговал ими, не считал их недостойными держать «святое» советское оружие в руках.

А держать его парни — спецпереселенцы — умели! У Вани оборонными значками была увешана вся вельветовая куртка, с винтовкой он выделял такие кренделя, что любого врага мог на штык посадить или прикладом забить. Да вот не знаю, пришлось ли ему штыком-то? Здесь, в Сталинграде, танками да минометами давили и глушили. Могила братская, в которой покоится Иван Павлович, находится в пригороде Волгограда, в деревне Селиванихе. Стала ли моему дяде пухом эта жесткая, малородная, кровью пропитанная земля?

Сброду солдатскому в Сталинграде жилось глухо. Резервный полк ел клейкую пайку хлеба с вареной капустой, иногда каши половник перепадал. Заставляли работать. Но какова кормежка, такова и работа. До обеда доходяги приносили из развалин на стройку два кирпича, которые добывали и очищали там наши же резервники, после обеда приносили уже по одному кирпичу, итого три

кирпича в день. Тут же их, эти кирпичи, бригада каменщиков «сажала на раствор», продолжая казарму вдоль и вдоль. По мере сотворения сырого пегого солдатского прибежища передвигалась внутренняя перегородка, и тут же пространство заполнялось вновь прибывшим контингентом. Сперва солдаты лежали на полу, застеленном польню и колючкой, растущей по оврагам, потом откуда-то брались доски и возникали нары.

Прошла неделя, другая, третья. Резервники начали жаловаться на головокружение, обмундирование, уже и до того не раз бывшее в употреблении, от кирпича, пыли и лазанья по развалинам обрело единый цвет и вид. Вечером его хлопали о стены, починивали, латали, но тлея материя расплзлась по швам.

Назначенный старшим десятка, как-то под вечер неспешно вел я свою команду, вооруженную кирпичом, и сам нес его под мышкой, озирая окрестности и редкую, уныло бредущую, даже ползующую по ним толпу бесцветных, вялых людей. Взял да и запел: «Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж отдают?..»

Послышались смешки, в массах работяг возникло некоторое оживление. Тут, в Сталинграде, слыл я уже «веселым солдатом», но я не был веселым, взвинченным был, тяжело перенося разлуку с первой моей любовью, отчего-то презирал себя с этими кирпичами, в этой драной одежде, в сырой полутемной казарме, ворочался ночами на смятых колючках и упорно сопротивлялся, чтобы не написать «ей» письмо. И чем больше я опускался, превращаясь в доходягу, тем сильнее сопротивлялся; чем дольше не писал, тем красивей, дороже становилась мне моя возлюбленная, но какое-то мелкое, мстительное отчуждение или даже закоренелое чисто российское зло: «Мне худо, и ей пусть будет худо. Пусть! Пусть!..» — тешило меня и что-то во мне разжигало или, наоборот, спало.

«Пой еще, солдат. Пой!» — попросили меня доходяги из моей команды. Я окинул взглядом лежащий внизу город, уныло одноцветный от пепла и пыли, неподвижный, вроде бы запланетный; светящуюся вдали лунным серпом широкую реку под названием Волга, никого и ничего в себе не отражающую, пустынную. Над рекой медленно и безразлично садилось усталое солнце, разливая вокруг себя лампадный свет. От солнца этого уже сейчас, ранней весной, веяло сохлостью, но не теплом, трава, едва пробудив-

шаяся по взлобкам, утайкой пробующая зеленеть, редкие кусты над оврагами и по вымоинам, не скрашивали, не заполняли, не пробуждали пережженной, оглохшей, мертвой земли, мертвого города. По оврагам давно иссохли, только зародившись, может, и не зарождались вовсе, весенние потоки, сорила липким семенем прошлогодняя полынь, колючка, костистый низкий татарник, что так вот, после потопа, сухие, бескровные вроде бы и родились сто, а может, и тысячу лет назад, сорили семя на горячую золу извергшихся вулканов, на вывернутую, съезжившуюся от страха землю...

«Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль...» — сразу звонко и высоко взвился мой голос. Доходяги моего десятка, затем и разбродно бредущая по неровной, полынной дороге толпа, давно уж разучившаяся петь и говорить нормально, сперва разрозненно, но все ладней, все пронзительней повела: «Идут они с бритыми лбами, шагают вперед тяжело-о-о...»

Сзади скрипнули тормоза, и облаком овеявшаяся автомашина с откинутым верхом остановилась подле меня:

— Эй ты, соловей! А ну, поди сюда! — махнул рукой поднявшийся с сиденья полковник. Я подошел с кирпичом под мышкой и не доложил ни о чем. Мимо автомобиля брели солдаты и сами уже продолжали песню: «Уж видно, такая невзгода написана нам на роду-у-у...»

— Поешь, значит? — нагоняя на себя суровость, поинтересовался полковник. Я покивал ему головою. — А что поешь-то, понимаешь?

— Песню русского классика Алексея Константиновича Толстого.

Полковник еще пристальней меня оглядел и скривился:

— Гр-рамотей! Ты понимаешь, что это значит? Тут, в городе, названном именем великого вождя, где кругом героические могилы...

Я улыбнулся, мне думалось, презрительно или надменно, но вышло, поди-ка, просто печально.

— Ты понимаешь?

— Понимаю, понимаю! — начал звереть я, и спутники большого начальника, молодящаяся дамочка и хлыщеватый лейтенантик встревожились. — Тут полагается петь только бравые песни и плясать гопака...

— Ты у меня с-смотри!..

— Смотрю. Одним уже глазом...

— Ишь, распустились! Под трибунал бы тебя, за вредную пропаганду!..

— А тебя за тупоумие и жирную харю — в генералы!

— Ч-что?! Что ты сказал?! Да я!..

— Не якай, тыловая крыса, а то как хуякнем по кирпичу — и отъякаешься сразу! Эй, ребята! Приготовили кирпичики! — скомандовал я, видя, как экипаж машины боевой утянулся, вжался в сидения и, несмотря на пыль, сделалось видно, как бледнеют brave командиры. Доходяги мои, хорошо понимая, чем это может кончиться, все же перехватили кирпичи из-под мышек в руки. Шофер, наверное, вспомнил сразу про четвертую скорость, полковника, онемело махающего руками, бросило боком на сиденье, машина юркнула за поворот и скрылась, оставив после себя труху медленно оседающей пыли.

Мы покурили, передавая друг другу сигарку.

— Ну какая только тварь не командует и не распоряжается в тылу, — заговорил пожилой солдат с завязанным ухом: — А на передовой один главнокомандующий — Ванька взводный! Раз-звелось этих комчиков, чисто вшей на святом гаснике...

— Затаскают тебя теперь, парень, — пообещал другой солдат.

— Дальше фронта не пошлют, больше смерти не присудят.

— Это так... Пошли давай. Ужин скоро. А то вынут наш капустный лист из хлеба.

В недостроенной казарме, за досками начиналось шевеление, звяк котелков слышался, звучные команды, начало до потемок бегать и даже петь строевые песни какое-то войско. Приходили из-за стенки офицеры в новом обмундировании, выстраивали нас, оглядывали, несколько человек, не совсем еще разбитых, увели с собой — формировалась команда для пополнения стрелковой дивизии. Я уж из кожи лез, чтобы выглядеть braveм, щурил кривой глаз, чтобы сойти за огнеубойного стрелка, говорил даже одному офицеру, что провоевал почти год с ним, с кривым-то глазом, и стрелял отменно, из карабина утरोхал немца — не помогло, не брали меня за заборку.

Но в заборке были уже проделаны ножами дыры и дырки, две доски были отняты от бруса — мы вплотную

начали общаться с маршевой командой, искали и находили земляков, вели мелкий торг и обмен и — о радость! о счастье! — нашелся боец из нашей дивизии. Мы с ним договорились вместе добираться до фронта, там отрываться от пехотной команды и начинать поиски родных артиллеристов. У меня уже такой опыт был, я искал после госпиталя родную часть и нашел! Боец был ободрен, говорил, что надеется на меня, а я на него, и, когда началось переобмундирование маршевиков, мой новый кореш приделался в помощники пэфээховцам, увел у них комплект обмундирования и, переодевшись, я забрался рядом с ним на вагонные нары спать. Утром уже гремел под нами колесами вагон, от всей души я отрывал то, что непременно понравилось бы полковнику, так истово отстаивающему идейность за десять тысяч километров от фронта: «В бой за Родину, в бой за Сталина, боевая честь нам дорога...»

На станции Волочисск, на старой нашей границе встречал эшелоны военный кордон, настырный, пронизательный народ служил на том кордоне.

Оказалось, что не один я был такой находчивый и ловкий! Много желающих было увильнуть с фронта, но и не меньше желающих устремлялось на фронт или просто с разными неотложными делами поощиваться за кордоном: беглые из тюрем, любители приключений, жаждущие поднажиться, скрывающиеся от властей, кто и от семей. Жизнь многообразна.

Отсеяли меня из эшелона, под конвоем увели в комендатуру — довоевался! Допрыгался! Долго проверяли собранную в комендатуре толпу и которых вояк оставили для «дальнейшего прохождения», нас же, нестроевиков, жаждущих попасть в Германию, «к своим» — насрамили накормили, сказали, чтоб мы «не дурели», что без нас уже «большевики обойдутся», и загнали в Ровно, в конвойный полк, дослуживать «на легкой службе» остатные воинские сроки — Победа уже близилась, уже ее дальние вспышки опаляли «логово», и грома сотрясали и рассыпали ненавистный город — Берлин.

Этот сбродный полк и «легкая» в нем служба сидит у меня в печенках до сих пор.

Казармы полка располагались еще в старых, не то польских, не то наших еще царских времен строениях. Скорее всего, строили их и гноили в них молодой люд и те, и

другие, да еще, наверное, и третьи — немцы, которые не могут пройти равнодушно мимо любой казармы, чтобы не помаршировать вокруг нее, не полежать на ее нарах, не порадоваться спертому, затхлому казарменному духу, нанюхавшись которого, можно и нужно одурело и угорело переть в поход, тыриться на что и на кого угодно.

Казармы располагались на самой окраине Ровно, кажется, на западной, и наша глубокомысленная советская система, не терпящая никаких вольностей и излишеств, внесла некоторую привычную прямолинейность в образ и архитектуру старорежимных помещений: были убраны перегородки и вместо трехъярусных топчанов сколочены сплошные низкие нары. Тюремное, привычное удобство, и, главное, есть возможность наблюдать дневному и одновременно всякой казарменной твари за всей казармой, теплее спать, способней вше плодиться. А что будут хромоногие, больные, припадочные, гнилобрюхие и гнилодыхие недобитые солдаты «дослуживать» и теснотиться — об этом как-то никто не подумал, стандарт хоть из устава, хоть из башки — он человеческих отклонений не признает и с индивидуальными запросами да хворьями подчиненных не может считаться.

Сырые, мрачные, бесконечно длинные и глубокие, как братская могила, склепы поглотили нестройной, пестрый люд, которому посулили в мае переобмундирование, но так на посуле и остановились — вот-вот должна была наступить долгожданная Победа, до тряпок ли тут? Надо фанфары готовить, медные трубы и тарелки чистить, речи писать, плакаты малевать, флаги шить.

Из Ровно ощущение весны и Победы как-то вроде бы отдалилось на неопределенное расстояние и сроки. Конвойный полк не только конвоировал арестованных в ссылки, он охранял тюрьмы, эшелоны, нес патрульную службу, помогал комендатуре, добывал по селам харчи и часто при этом «вступал в боевые контакты» с бандеровцами.

Час от часу не легче! Мне для разнообразия жизни только этих «контактов» и недоставало на разнообразном моем пути.

Что за «контакты» происходят на ровенских землях, мы узнали очень скоро: по тревоге были подняты все, кто был вооружен и мог двигаться; под утро в машине в глухо закрытом брезентами кузове привезли четыре горелых трупа. Куда, зачем наши вояки ездили, я не сразу узнаю, но солдаты-знатоки уверяли, что сожгли их живыми.

Были похороны. На машинах везли заколоченные гробы. Оркестр играл марш Шопена. Жители города Ровно за процессией не шли, двигались одни лишь военные из конвойного полка и от комендатуры. Военный эскорт с заряженным оружием сопровождал процессию, идя спереди, сзади и по бокам ее. «Могут гранатой лупануть», — разъяснили старожилы полка.

Я смотрел на лица западных украинцев, в тридцать девятом году поговору с Германией освобожденных из-под чьего-то ига, правда, непонятно, из-под чьего. По выражению глаз и по стиснутым губам украинцев было видно: они тоже не поняли и, главное, понимать не желали. Большая часть гражданских шла себе по своим делам, не обращая никакого внимания на похоронную процессию, молодые, показалось мне, нарочито громко разговаривали, смеялись. Были люди, что скорбно прикладывали платки к глазам, крестясь стояли обочь дороги, но то были все больше старые люди или переселенцы из России.

На ровненском кладбище большая территория была заселена свежими могилами. Пирамидки в отдалении уже смыкались в этакий голый, срубленный лесок, на пеньки которого воткнуты стандартные железные звездочки. «Это ж по всем западным селам и городам такие украшения?! Да тут идет война!» — ахнул я и скоро убедился: да, война! И очень непонятная, но жестокая, и в ней больше всего достается мирному, ни в чем неповинному люду да недобитым на фронте солдатам.

Четырех женщин привели из ровненской тюрьмы под конвоем — стирать солдатское белье. Мне и припадочному Женьке-морячку выдали по автомату, велели зорко стеречь этих женщин в прачечной, не вступать с ними ни в какие разговоры, тем паче в «отношения», «сделки» или «половые контакты» — всякое нарушение сих правил рассматривается как «враждебная вылазка», несоблюдение устава и карается...».

Ну, этим нашего брата не возьмешь! Мы и посерьезней кой-что читали, привыкли к писаному настолько, что буквы на нас, как звуки на глухонемых, не производили никакого впечатления, если и производили, то следовало обратное действие — тихое им сопротивление.

Скинув с себя верхнее, оставшись в том, в чем купаются деревенские женщины, прачки круто взялись за дело: одна обдавала белье кипятком из крана и оставляла его

париться в деревянных чанах, другая ворочала толстым стягом это кисельное варево из белья и на стяге же разносила его по корытам, третья молотила его, громыхала по стиральной доске, будто лущевала из малокалиберной зенитной пушки по вражеским самолетам, четвертая была беременная, звали ее Юлия — отжимала и развешивала белье. С самого начала, как пришли жинки, все они говорили разом, кроме Юлии, та, что громыхала стиральной доской, попросила закурить, Женька ей дал закурить, огоньку поднес да еще и на ухо ей что-то шепнул. Она захохотала, прикрывшись тыльной стороной руки, поводила черными очами по помещению и сказала: «Гэтэ, москаль!» Эту звали Тамарой.

Целую неделю шла стирка, и неделю мы с Женькой стояли на посту в прачечной. За это время было перестирано не только наше, но и офицерское белье, в том числе и постельное. Чего-то ценное принесли жинки из тюрьмы, где народу было видимо-невидимо и порядки были не очень железные. Это ценное — золотые сережки (узнал я после) — Женька сбыл на рынке, накупил выпивки, еды. Прикончив дневную стирку, закрыв вход простынями и выдворив меня в тамбур, на пост, как малоценный кадр, заключенные и постовой загуляли, предварительно вынеся мне на газете еды и яблочного забродившего сиропа в бутылки.

Разика два Женька уединился с Тамарой в карантинном домике, находившемся через двор от прачечной. Там, в углу территории полка, зябко и стеснительно кособочился с буквой «ж», написанной «вуглем». На сооружении были сорваны с одной петли дверцы, и с боков он был источен и издолблен ножиками, чтобы, если какая «ж» решится посетить нужное позарез заведение, можно было подсмотреть, что оно и как там. Никто из офицерских жен в нужник тот не ходил, если и посещался он, то глухой ночью. Жинкам-прачкам куда было деваться? Бывший матрос Женька стоял на расстоянии, доходяг, желающих смотреть «кино», оттонял прочь заряженным автоматом.

Проныра Женька изловчился добыть ключ от карантинного домика и обходным манером вводил в него «на осмотр» смуглую, затаенно-жгучую Тамару. За это за все — за организацию пьянки, за наслаждения — Женька мог получить десять лет штрафной, я как пособник — пять или тоже десять. И когда он предложил мне «прогулять-

ся» с одной жинкой, подавляя в себе низменные страсти, я честно признался, что боюсь за себя и за него, вообще за все боюсь, ведь Победа, жизнь — вот они, рядом, мы погубим себя ни за понюх табаку. С облегчением я вздохнул, когда стирка закончилась, мы отвели жинку к воротам тюрьмы и сдали их тамошней охране. На прощанье советский боевой моряк взасос, если не в заглот, целовался со смертельно с ним сцепившейся смуглой украинкой, и едва их, этих полубовников из разных вражеских лагерей, мы расцепили, только моя бывшая специальность сцепщика, громко именуемая «составителем поездов», небось, и спасла положение.

Пока жинки стирали да тараторили, узнал я, но не до конца понял, что творится в Западной Украине — кто тут кого бьет, кто за кого и за что борется.

Со времен «освобождения» западных областей, в глухих лесах и Ковельских болотах завелось и не утихало партизанское движение — недобитые поляки, сидевшие по норам города Львова, переименованного немцами в Лемберг, и вокруг него, по лесным ямам, истребляли и немецких, и советских, и украинских людей, разумеется, из-за угла, они называли себя повстанцами, немцы, затем и наши наименовали их бандитами.

Украинцы сперва били друг дружку, затем попробовали пощекотать пулями из леса немцев, но рейхкомиссар Кох так неласково обходился со всеми, кто обижал оккупантов, что потом украинские самостийщики лишь отбирали у немцев оружие и имущество, самих же оккупантов отправляли с Богом на все четыре стороны. Сельские украинцы выбивали городских, те и другие презирали и выбивали поляков, поляки поляков тоже били, утверждая лучшую в мире демократию, и одни защищали правительство, сидевшее в Лондоне, другие боролись за боевой дух маршала Смиглы, ведущего разгульный образ жизни в Европах, третьи с оружием в руках защищали только свой дом, свою худобу и семью, потому что все от них требовали, отнимали, что можно было сожрать, выпить, продать, обменять. Были еще и четвертые, и пятые — всеми брошенные, всеми преданные, одичавшие, усталые до смерти, доведенные до отчаяния.

Но вот появилась сила, которая все эти разложенные банды, ячейки, отряды, села, хутора объединила в борьбе против себя — это наши доблестные партизаны, все сметающие в рейдах по Западной Украине. Огромный, со-

крушающий удар нанесли немецким тылам, много немецких войск сковали и заставили держать большие гарнизоны возле железных дорог, мостов, в городах и на станциях. Мне довелось видеть Ковельскую железную дорогу, буквально засыпанную вагонами по ту и другую стороны паровозами, боевой техникой — важная эта артерия по существу была под контролем партизан, да и шоссейные дороги свободой передвижения не могли похвастаться.

Но целым соединениям партизан надо было чем-то кормиться, чем-то отапливаться, согреваться, обстирывать и обмываться, стрелять и вооружаться, лечиться, бинтоваться. И черной грозовой тучей, всепожирающей саранчей плыло по Западной Украине партизанское войско, в котором, конечно же, было всякого «элемента» хоть пруд пруди. Не очень-то наши партизаны разбирались, где «свои», где «чужие», где «наши» — мародерство, грабеж, насилие переполнили чашу терпения крестьян-западников, они примкнули к разрозненному еще движению «самостийщиков», взяли за оружие, тут и «вожди» сразу же нашлись, и «отцы», и борцы, и братья-идеологи, и всевозможные направители, и миссионеры, и спасатели, и миротворцы. И вот фронт давно перевалил западные области, войско достигло Германии, «герои-ковпаковцы» и прочие «герои», кто влился в войско, по привычке мародерствовал, насиловал и грабил уже в «логове», кто дома горилку пил и по своему усмотрению правил в деревнях, чинил суд и расправу вокруг Лемберга, снова сделавшегося Львовом, вокруг Ровно, Ковно, Станислава, Ужгорода, по всем западным областям. «Выплескиваясь» и через «старую границу», в радяньскую Украину, шла скрытая подлая война и пока что конца ей не было видно.

Я никогда не видел вживе «батьку Ковпака», но одного его сподвижника, Героя Советского Союза Умова, мне лицезреть довелось. В Доме творчества, в Ялте. Он сам ко мне подошел, представился, при этом раньше, чем Герой и генерал, произнес с очень важной интонацией: «Член Союза писателей». Был он суетлив, малограмотен и жаден до беспредельности. Жадность-то и жажда самовозвеличивания и бросили его на стезю творчества. Как и всякий обыватель, да еще из военной среды, он был уверен, что писатели и артисты деньгу гребут лопатой, да все «задаром», и деньга та им «не к руке» — пропивают они все, а вот бы ему...

Генерал Умов имел в Киеве одну из лучших квартир,

на Крещатике, в правительственном доме, бесплатную дачу под Киевом, бесплатный проезд, пролет и проход, снабжался из «отдельных фондов», где за продукты платил ровно столько, чтобы была видимость платы, получал огромную пенсию, имел машину, шофера, потихоньку реализовал урожай фруктов и ягод с казенного участка, но «оптом же, оптом приходится сдавать — мне ж самому неудобно торговать на рынке, а оптом какая плата? Грабеж!». И в литературе грабеж. Сам-то он писать не может, учиться уже поздно, выходец же из бедноты, какая грамота? А материала у него в памяти, материала! И карты есть, и дневники, и бесценные документы, и редкие книги, и партизанские записные книжки, и немецкие, и бандеровские письма, и фотоматериалов куча — он же ж знал, что все это пригодится потом, старательно готовился к мирным трудовым будням.

Но талантливые писатели сами пишут, на уговоры и посулы не поддаются, приходится нанимать поденщиков, чаще всего пропойц, или несостоявшихся писателей, или, еще хуже, тех, кто писал когда-то здорово, да загудел и живет шабашками. Живут на даче, жрут, пьют, дебоширят, дело идет с пятого на десятое. Две книжечки, правда, вышло, сдана третья, но ведь и в издательстве тоже надо подмаслить: рецензентам дать, редактору дать, директора свозить на дачу, поугощать да еще править, редактировать рукопись, без этого у них уж никак! А правщику опять плати, корми его и пои. Вот найти бы ему хорошего, постоянного писателя, ну пусть бы он днем свое писал, вечером бы его, генеральские записи, о рейдах, походах и партизанском героизме до ума доводил. Он бы тогда уж ни за чем не постоял — пятьдесят процентов гонорара, само собой, дача, питание, фрукты, купание — все-все пожалуйста, даже с семьей можно...

Я спросил генерала, почему он адресует ко мне с этими делами, ведь я никогда литобработчиком не был, ни с кем вдвоем не работал, да и материала своего у меня столько, что дай Бог его хоть частично реализовать за свою жизнь, да и голова моя больна после контузии, глаз видит только один, хватает меня лишь до обеда.

— Вы знаете, — зарделся старческим румянцем седой генерал, отпустивший по моде, как «у писателя», длинные волосы. — Вижу, люди русские приехали, скромно одетые, скромно себя ведут. Спрашиваю ребят — кто такие? Они мне сказали. Я, конечно, ничего, к сожалению, ваше-

го не читал — некогда читать-то, да и тихо читаю, говорю, грамота мала. Вот взял в библиотеке вашу книжку, прочитал кое-что. Тала-а-антли-иво-о-о! Ничего не скажешь, та-ала-антливо! И смело! Молодец! Вот я и подумал, что вам совсем нетрудно... А у вас дети... всякая копейка не лишняя... Может, бы вы...

Разумеется, я решительно отказался от творческого содружества с генералом, но он надежды не терял, все приставал ко мне с предложением подумать, и однажды я не вытерпел, дерзко спросил его: куда ему столько денег? Ведь они и только они да жажда славы влекли его в литературу.

— А внуки?! — как мальчику-несмышленишу ответил он. — Что ж им, моим внукам, ни с чем оставаться на этом свете...

Думаю, что ни внуки, ни правнуки этого Героя и члена Союза писателей ни с чем не оставались и не останутся, будут довольствованы по первой номенклатурной категории.

Женя-матрос все-таки влип в историю. У него, видать, что-то осталось от продажи сережек, и он, вырвавшись в город, напился, напившись, явился в нашу нестроевую утрюмую казарму и нарушил ее покой морской песней: «З-закурим матросские трубки и выйдем из темных кают, пу-усть во-волны да-аходят до рубки, но с ног они нас не собьют...» На голос певца из каютки выполз ротный старшина Гайворенко или Пивоваренко — не помню, и рявкнул:

— Пр-рэк-ратыть безобразе!

— А пошел бы ты... — последовал незамедлительный ответ.

— Шо? Шо? Та я тя!.. Та я тоби!.. У штрахной миста хватэ!

— Что ты сказал, гнида? — взяв за воротник ротного старшину и завернув на нем гимнастерку так, что заскрежетали и начали отскакивать железные пуговицы, хрустнула материя, поинтересовался боевой моряк.

— Та я ничего! — задергал усами, засипел старшина, который был, между прочим, и здоровее, и старше Женьки.

Матрос благородно отбросил его прочь и брезгливо вытер о штаны руки. Он бы еще пошел, поколобродил, но явился вооруженный наряд из пяти человек, сзади кото-

рого скулил старшина и хмурился пожилой капитан — дежурный по части.

Женька не давался патрулю, пытался вырвать оружие, крыл безбожными словами всех и вся, вдруг вскрикнув: «А-а-ах!» — высоко подпрыгнул и свалился на пол, забился затылком о каменный сырой пол. Все в ужасе смолкли и расступились. Пролежавши в госпитале, где эпилептиков было считай что половина среди больных, я бросился сверху, сел на грудь моряка, пытался разжать его стиснутые руки. Сил моих не хватало. Женька тупо колотился о каменный пол. «Ну, чё стоите?! — рывкнул я на патрульных. — Голову!» — И они прижали голову Женьки к полу.

Через какие-то минуты у Женьки выступила на губах пена, он глухо простонал, сморился и впал в беспамятный сон. Патрули помогли поднять Женьку на носы, затоптались возле них.

— Напывсь. Прыдуривается... — начал было старшина. Я сказал тоскливо стоящему в стороне капитану с орденскими колодками и тремя ленточками за ранения, показывая на старшину:

— Товарищ капитан, уберите это барахло. И сами уходите. Тут бы врача...

Старшина Гайворенко или Пивоваренко был настоящий дремучий хохол, и обид, ему нанесенных, никому не прощал. Он преследовал нас с Женькой денно и ночью, напускал на нас тайных своих фискалов и сам не стеснялся подслушивать и подсматривать за нами. Он же спровадил нас с Женькой в поездку за картошкой в такое место, о котором услышав, старожилы полка заявили, что едва ли мы оттуда вернемся.

Конвойный полк, как и всякий другой полк, хотел жрать не один раз в сутки и жрать хотел получше, чем какая-то там пехота или артиллерия в боевых порядках фронта. Овощи, мясо, фрукты конвойный полк добывал себе сам с помощью давно проверенной и надежной системы обложения. Там и сям по украинским селам местные власти, еще не дорезанные националистами, обязаны были в счет налогов и сельхозпоставок подготовить столько-то и столько-то тонн съестного, а уж грузить и вывозить приходилось самим военным.

Под команду капитана Ермолаева, того самого, что возглавлял патруль, зауральского уроженца и бывшего

пехотного командира роты, батальона и снова роты, но уже состоящей из доходяг и приспособленцев, кроме меня и Женьки, угодило три молчаливых хлопца, крепко побитых, но оружие держать еще способных, хотя ладом стрелять никто из нас уже не мог и оружие было «не свое», где каждый стрелок знал каждую гайку, шурупину и «ндрав» его. Оружие было выдано с полкового склада по случаю поездки за картошкой.

Вез почти незнакомую дружину шофер по фамилии Груздев, грудь которого украшала узенькая желтая ленточка за якобы тяжелое ранение и два военных значка, свидетельствующих о том, что он служил в кадровой армии. Вояк, выдавших виды и познавших людей, одно это уже настораживало — как мог умудриться кадровик уцелеть до сих пор, не продвинувшись ни в гренадеры, ни в офицеры. Что же касается ленточки за ранение — тут нас тоже не объедешь — почти весь доблестный конвойный полк украшен был всевозможными лентами и ленточками, значками и значечками.

Еще когда мы снаряжались в поход за картошкой, шофер Груздев, осмотрев нас внимательно, сказал, что лучше бы не ездили никуда. Мы, естественно, поинтересовались — почему и как это мы можем не ехать, коль приказано.

— Мне ль вас, бывших вояк, учить придуриваться? — криво усмехнулся Груздев. — Да вы самого сатану обьегорите и до припадку доведете.

Мы между собой решили, что, призывая нас придуриваться и не ехать, шофер Груздев тем самым хочет избавиться от поездки сам, но с нашей помощью. Дорогой мы придумали самую близлежащую версию о том, как Груздев избежал передовой, но все же угодил в полк, где и убить могли: возил на машине крупного военачальника, воровал и развращался, помаленьку наглел до поры до времени в меру, но потом зарвался, воровать стал больше, и ему мало сделалось штабных секретуток, и он зашурупил жену своего любимого командира — и за это все поехал бить врага беспощадно, однако по пути в Берлин зацепился за эту вот боевую конвойную единицу — и еще недоволен, харя!.. Однако ж шофер Груздев водил машину и в самом деле классно, чем еще больше утвердил наше мнение о нем, как о воре и соблазнителе.

А кругом и обочь дороги, утонувшей в желть х, уже умиротворенно и сухо колыхающихся хлебах лежала хол-

мистая, пространная земля в разложьях, высохших за лето и выкошенных, усыпанная стожками, цветом и формой похожими на успокоенные на зиму запечатанные муравейники. Там и сям по зеленой отаве ложков из желтых хлебов молчаливо наступали лохматым войском кустарники, вдали прошивающие желтые нивы крупными и темными солдатскими стежками, в дальней дали и по горизонту суслоны на фоне кустов, как бы на всплеске, замерли темными разрывами. Кое-где горизонт протыкал острой иглой темный костел либо упрямо белела и золотилась крестиком подбористая церковка. Чем далее к горизонту, тем более сгущались и смешивались меж собой выводки деревьев, под которыми ютились хутора, деревеньки и хуторки, почти растворенные в исходном ослепительном солнце, под которым синим дымком низко стелились глухие ковельские леса.

Никакой враждебности и настороженности вокруг не ощущалось. Наоборот, все напоминало что-то далекое, полузабытое, из детства. Тянуло молчать и вспоминать лучшие, отдаленные дни и потосковать о них да еще о чем-то, уже отдающем грустным ликом осени — усталостью ли от войны, неуютом полуубранных полей, пустых иль спаленных хуторов. Но земля, ее с детства привычный облик и величаво темнеющие леса навевали в сердце успокоение, и вот это земное, человеческое прибежище под осенним утомленным солнцем как бы давало твердое и молчаливое право дышать, зреть, рожать во имя и для вечной жизни.

Село, куда мы приехали, тоже было пустынно, и в нем, разморенная предверьем, простиралась ни с чем несравнимая тишина, которая бывает в сельской местности только после уборки урожая. Угрюмый, в кирзачи обутый председатель сельского совета встретил нас и проводил к кагатам — траншеям за селом, засыпанным картофелем, откуда мы быстренько и загрузили кузов машины, собрались уж было уезжать, но председатель молча указал нам на обширный, запущенный сад, меж деревьев которого слоями желтели гниющие яблоки, чернела сгнившая черешня, вишня и еще не полностью опавшая переспелая слива отяжеляла прогнутые ветви. Мы набрали полные рюкзаки фруктов, собрались умыться у колодца, здесь нас переняла учительница, молодая, кругленькая, говорливая, пригласила к себе пообедать.

В доме, просторном и пустом, нас встретил учитель,

синюшно-тощий, степенный, за которого говорила почти все слова учительница. Они быстро собрали на стол, выставили две бутылки фруктовой настойки. Мы с радостью выпили и поели. В полку нашем отчего-то не принято было давать паек в дорогу, надеялись, видимо, опять на ту самую «находчивость», которая чаще всего проявлялась в том, что солдаты ломали ветки в саду или чью-нибудь старую ограду, пекли картошки и ели их от пуза.

Учитель и учительница были ярославские родом, присланные сюда по распределению учить детей, и учили как могли. Бандеровцы? А где они, кто их узнает? Они кругом и нигде их нету. Просто ночью они, учителя, стараются никуда не выходить, днем селяне с ними приветливы, помогают им чем могут, детей в школу отдают охотно, хотя есть семьи, из которых детей в школу не отпускают и дружелюбия никакого не проявляют ни к властям, ни к приезжим. Первоначальная тревога в страх еще не переросла, хотя они и наслышаны о зверствах националистов, конечно же, могут прикончить и их. Ну так что ж — ведь «коль придется в землю лечь, так это только раз!..» Председатель сельсовета? Он тоже приезжий, угрюмый же и молчаливый от того, что изранен, семью потерял на Смоленщине. Но у него, да и у них, учителей, все чаще мелькает мысль, что они здесь заложники, присланные для того, чтобы «ограждать» чьи-то интересы, в случае чего их, если схватят, может, обменяют на какого-нибудь отъявленного бандита или повесят. В последнее время зачастили в волость военные чины из Ровно, спрашивают, дознаются насчет бандеровцев. А что они знают? Да если и знают — не скажут, потому что военные те покрутятся, покрутятся и уедут, а они вот тут, как на куче горячих углей...

— Неправильно ты говоришь, Ляля, неправильно! — поправил свою спутницу учитель, куривший сигарку за сигаркой. — Нужно добросовестно, честно исполнять свои обязанности, не чваниться, не чиниться, не хвалиться — и народ в конце концов поймет, кто ему хочет зла, а кто добра... — Он закашлялся, растер сигарку в консервной банке. — Кроме того... — сходил, сплюнул за веник, в угол. — Кроме того, мы как-то мимо уха, не вслушиваясь, пропускаем гениальные слова Пушкина: «И милость к падшим призывал...» Милость! А не зло за зло, не презрение, не месть.

— Ой, Гена! — спохватилась учительница. — Милость

милостью, а мы хлопцев задержали. Наговорились хоть. Я вас провожу до околицы.

Учительница долго стояла у околицы, под старым дубом и махала нам рукой. За селом, от дальнего леса наплывали сумерки, и темной сделалась крона дуба и сама одинокая фигурка женщины, которую отчего-то было жалко и не хотелось оставлять одну — мне показалось, перестав нам махать, она сжала руки на груди и сама сжалась в узкую, незащитно-одинокую, бесплотную былинку.

Вот на этой мирной и тревожной картинке я и останюлю рассказ о службе в армии и о войне. Уж очень хочется поскорее поведать о главном событии в моей жизни, о женитьбе, а то казармы да казармы, будни да будни серые, военные. Должен же у человека быть какой-то если не праздник, то хотя бы роздых, ну не роздых, так хоть перемена, ну не перемена, так пусть крутой поворот к лучшим дням, надеждам, потому как все мы живем под одним красным солнышком, на Божьей росе, говаривала моя бабушка, и должны же у каждого из нас быть исполнены Создателем нам предназначенные дела земные и мечты пресветлые.

...Но что бы ни свершалось со мной, с людьми, с миром, тот убитый и похороненный мной на картофельном поле человек неотступно будет следовать за мной, за судьбой моей, за всем отвоевавшимся нашим народом, да и за немецким народом тоже, — мы все несем в себе и за собой нашу память.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СОЛДАТ ЖЕНИТСЯ

Служил солдат четыре года и холостым побыл четыре дни. Такая вот баллада на старинный жалостный лад слагалась в моей башке под стук вагонных колес и под шум встречного ветра. Путь с войны я довольно подробно описал в одной из повестей и повторяться не стану — противно все это не только вновь переживать, но даже и на бумаге описывать. Катил я с незнакомой почти женщиной на ее любимую родину, на Урал, в ее любимый город Чусовой. Катил и все время ощущал томливое сосание под ложечкой. Куда меня черт несет? Зачем?

Но в той нестройной части, куда я с отрядом искалеченных фронтовиков, у которых открылись раны, угодил после конвойного полка и госпиталя, была туча девок-перестарок, и взялись они за нас решительно, по ими же установленному, суровому закону: попробовал — женись! Были, конечно, среди нас архаровцы с опытом, уклонялись от оков, выскользали из цепких рук, что налимы. Конечно, и девки среди девок были, которым все равно как давать, по правилу или без правил.

Я же сам добровольно отдался Провидению — ехать-то не к кому, вот и пристроился, вот и двигался вперед на Восток, намереваясь в пути узнать характер своей супруги. Наивняк! Проживши бок о бок с нею полсотни с лишним лет, я и сейчас не убежден, что постиг женский характер до конца. Знаю лишь доподлинно и твердо одно: баба есть бездна.

В пути, в народной стихии, баба моя присмирела, ужа-

лась, в тень отодвинулась, и волей-неволей пришлось мне брать руководство семейной ячейкой на себя. Хватили мы под моим, опыта не имеющим, предводительством столько мук, страхов и горя — в мой солдатский рюкзак не вошло бы. А рюкзак был уемистый, цвета неопределенного, сине-серого, безо всяких излишеств и затей, полубрезентовый мешок с крепкой удавкой — ни карманов, ни клапанов, ни внутренних перегородок.

Я назвал это сооружение сталинским подарком солдату-победителю. С тем рюкзаком моим и с чемоданчиком, вдетым в кокетливый чехол, застегнутый на пуговицы, да еще с узелком, в котором были женские нехитрые пожитки, добрались мы до станции — столицы нашей великой Родины, только-только спасенной от фашизма. Как поется в пионерской патриотической песне, в столице я «ни разу не бывал», супружница ж моя посетила ее два раза: по дороге на фронт и когда-то ее отпускали в отпуск в связи с бедой, постигшей семью: украли корову, смыло огород вместе с урожаем.

По пути на Урал супруга моя останавливалась у тетушки — проводницы спецвагонов, квартировавшей в городе Загорске. И вот к этой самой тетушке наладилась супружеская пара, чтобы немного передохнуть, набраться сил для дальнейшего продвижения в глубь нашей необъятной страны.

Жена моя, попав в столицу, воспрянула духом, расправила крылья, взнялась во весь свой исполинский рост, ленинский — метр пятьдесят два сантиметра. Мощь эта, группа крови и прочие подробности были означены в красноармейской книжке. Она сразу дала понять, что столица имеет дело с бойцами, повалившими матерый фашизм, что человек она только с виду незатейливый, на самом же деле о-го-го какой разворотливый, прыткий и бедовый.

Для начала баба моя пихнула плечиком под задницу какого-то неповоротливого москвича, тот пошатнулся, но не упал, однако за очки схватился, отыскивая обидчика, уперся в меня взглядом и завел: «Поз-во-о-ольте!»

Супругу мою, подлинную обидчицу, он и не заметил. Она ж, никого и ничего не признавая, никого и ничего не страшась, рвалась сквозь толпу, вонзалась в нее, будто остро откованный гвоздик в трухлую древесину. Но, на мгновенье опаматовавшись — не одна ж она движется с фронта, семейной ячейкой движется, — хватанула меня

за полу шинели и поперла вперед и дальше, вместе с чемоданчиком, с узелком, с полным брюхом отходов, так как мы оба давно уж не ходили до ветру, и я опасался, кабы из меня прямо в метро чего не выдавилось.

Так вот, где несомые толпой, где самостоятельно рублились мы в метро, проявляя истинный, неплакатный героизм, жена моя таранила всякие на пути преграды. И я еще успел мельком подумать, что с такой бабой не пропаду и всего, чего надо в жизни, достигну.

В неловкий час, в неловком месте пришло ко мне это умозаключение. В неловкий час, в неловком месте возникла наша семейная ячейка, и много ей всяких испытаний и приключений еще предстояло изведать.

Одно из них уже подстерегало нас тут, в метро, через какие-то минуты. Потом уж, на индустриальном Урале, услышал я индустриальную поговорку: рад бы вперед бегти, да зад в депо.

Но существу женского рода плевать на то, что сзади, ее занимало только то, что спереди. Кроме всего прочего, коммунистка она у меня и, значит, ей должно быть присуще стремление только вперед, только в борьбу, только к победам. Народ в метро тогда, в сорок пятом, если садился, то выйти никто не успевал, и наоборот, если выходил, то войти времени не хватало.

Пропустивши несколько поездов, жена моя с моим полупустым рюкзаком, достававшим ей почти до пят, хотя я и убавил лямки в два раза против нормы, уцелилась для броска в вагон. А я стою с чемоданчиком и узелком жены, уныло глазею на приближающийся поезд, в котором притиснуты, расплющены о светлые стекольные стены люди, и думаю: уж лучше бы нам пешком идти в Загорск, скорее доберемся до тети...

А поезд шик-шик — и двери в обе стороны, рокоча, отворяются. Жена дерг меня за рукав и поперлась прокладывать дорогу, где-то, кому-то под мешок поднырнула, меж двумя толстыми бабами протиснулась, обернув их, будто матрешек, бордовыми лицами назад узлами к поезду. Я меж этих толстых баб застрял, в привязанных за их спинами узлах запутался и потерял жену.

Показалось мне, видел, как она, наклонившись, юркнула меж ног какого-то гиганта, несущего на груди своей кучу народа. Он и жену мою внес в вагон. Я же принялся в панике толкать плечом и грудью человеческие спины, сдвинувшиеся одной непреступной стеной, не

пал вроде никого. Двери в вагон вот они, рядом, но в воздушном пространстве раздался спокойный голос: «Осторожно! Двери закрываются!», где-то шикнуло-шикнуло, и сомкнувшимися дверьми отсекло меня от народа, едущего вперед и дальше, отсекло и от моей законной жены, которую я под Жмеринкой «раздобув».

Как же так, товарищи?! Катастрофа семейной жизни. Мы ж можем потерять друг дружку навеки! В последней надежде бегу следом за набирающим скорость вагоном, бью напропалую и беспощадно народ оставшимся от жены чемоданом и чувствую крах всех планов и надежд, а бегу, бегу, и с каждой секундой все трагичней ощущаю бесполезность своих усилий — жена, вот она, рядом, за стеклышком, но вроде как ее уже и нету, вроде как она мне приснилась. Но нет, вон она, все еще живая, притиснутая к стеклу, что-то мне кричит, пальцем на стекле чертит...

Ушел поезд, огоньки хвостовые в тоннеле погасли, в голове моей, в душе ли, с детства песенной, вертится и вертится: «Вот умчался поезд, рельсы отзвенели. Милый мой уехал, быть может, навсегда. И с тоской немой вслед ему глядели...» — модная эта песенка в ту пору была, сочинил ее еще юный и тогда нетолстый Коля Доризо. Ну, это про Колю-то и про то, что он сочинил и сочиняет, — я узнал после. А тогда, в победном сорок пятом году, стоял середь люду, темной грозовой тучей кружащегося. В дыры, в двери, в преисподнюю, на эскалаторе уплывало человеческое месиво, в котором я невдруг различил лица и не сразу вспомнил, что называется оно — народ. Но народ сам по себе, а я, бабой покинутый, сам по себе. Стою, значит, с чемоданчиком, с узелком, мешаю этому народу, очень мешаю ему течь, куда ему хочется, и вдруг в моей голове сверкнула мысль — употреблю заезженное выражение — что сабля вострая, просекла она мою башку до самого отупелого мозгу: «А что, если жена моя подумает, что я на ней подженился и нарочно отстал от поезда с ее манатками?»

В долгом пути мы таких случаев навидались и еще больше наслушались. По теперешнему разумению мысль нелепая, глупая и даже абсурдная. Но войдите в мое положение, вспомните, сколько мне было годов, какое шаткое время стояло на дворе, где чего урвет, тут же и пропьет. Главное дело: не только манатки, но и все документы ее при мне, жены, шмыргалки этой, которую на ту минуту — спереду я любил бы, а сзади убил бы! Вот они, документы,

на груди моей горячей, под сердцем, застегнутые булавкой с исподу к гимнастерке, в мешочке — кармане — у нас уж, в семье нашей новоявленной, так уж повелось по Божьему завету, за главного выступал я, и при многочисленных дорожных проверках документы предъявлял я надзорным и всяким прочим властям, потому как я мужчина, руковожу, стало быть, семьей, распрямить ее, перемать, осуществляю правопорядки и направление держу.

«Э-эх ты! Ах ты, в кожу, в рожу, в кровь, в печёнки и в селезенки, если они во мне еще не сторели. Женился, будто в говно рожей вlepился! Зачем? Зачем?»

И вдруг завело, запело во мне, с детства порченном, по утверждению бабушки: «Ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, н-не страдала душа». Ночь! Она, она, курва, во всем виновата. Тогда ведь не то что нынче — провел ночь-то, джинсы в беремя и ходу. Нет, тогда, коли поблаженствовал, понаслаждался — неси ответ, не отлынивай. Ан и тогда не все же так безответственно собой распорядились, как я, рассолодел, растворился, мечтою вдаль простерся, о семейном уюте и счастье... Вот и блаженствуй, вот и наслаждайся — книжков начитался, по книжкам и живи сам, один, но не смущай людей и судьбы их не запутывай, девок в ночь не уводи...

«Чё же делать-то, а?» «Ах, зачем эта ночь...» — привязалась песня, звучит и звучит, курва, в башке.

Подниматься, пожалуй что, надо наверх, искать в Киевском вокзале комендантуру — поди-ка не один я тут такой удалой, мечтой о счастье ушибленный, и не одна такая на свете удалая баба?! Сдам ее документы и вещички в какой-нибудь отдел потерь и находок, пускай они ее ищут или она их, я же поеду дальше, в Сибирь, к бабушке, к теткам, к родне. Эх они мне, голому и голодному, сами голые и голодные, обрадуются! Рюкзак! Хер с ним, с рюкзаком! Увезла и увезла стрикулистка эта шалавая. Там и добра-то: пара белья, портянки да в узелок завязанные альбомчик солдатский да письма друзей и любимой медсестры.

Гром бы всех этих баб порасшиб! Ходят в беретах, в нарядах, да как их много-то, гораздо больше, чем мужиков! Вон без них, без баб, как хорошо жить было...»

«Постой-постой! А что она, супруга моя, мне кричала через стекло и пальцем на стекле чертила? Буквы какие-то? По пальцу, по движению его, буквы знакомые. Стоп! Ведь она чертила в воздухе и на стекле вроде как давно

знакомое слово... Уж не Ленин ли?.. Вроде бы как вождь мирового пролетариата, Владимир Ильич? К чему это она покойника беспокоит? Партийная она — понятно, в пионерах еще Ленина полюбила, после Ленина еще кого-то, потом еще кого-то. Напоследок вот меня, беспартийного, из пионеров на третий день за недисциплинированность исключенного».

Я выбрал из толпы наинтеллигентнейшего вида человека, в очках, конечно, в шляпе, конечно, учтиво поклонился ему и спросил: нет ли в метро станции с названием Ленин?

— Как нет? Ленин везде есть, он, всюду любимый, с нами, — охотно, как бы даже озоруя, отозвался московский интеллигент. — Библиотека Ленина. Следующая остановка.

— Ой, спасибо! Вот спасибо! — вскричал я, пятясь от московского интеллигента, лицо которого вдруг разгладилось. Шутил насчет Ленина, опасно прикалывался. Ну и народ эти москвичи! Да нет, улыбку, веселую, скорее, изгальную, вызвал у него не Ленин, а я, такой, должно быть, блаженненький вид у меня сделался.

Вдали загудел поезд, публика придвинулась к краю перрона и сомкнула ряды.

«Ну, блядь, теперь уж я не уступаю, теперь уж я поведу себя как в бою, чтоб бабу не потерять совсем», — готовясь к штурму, взбадривал я себя и со второго ряда как двинул в вагон, прорвал на пути цепи, кого-то ушиб чемоданом, кого-то вроде бы уронил, меня ругательски ругали, даже в загрибок долбанули чем-то жестким, кулаком скорее всего. Но я жену богоданную, в красноармейскую книжку записанную, ищу. Тут уж не до этикету. Бой есть бой. Тут уж кто кого. Знали бы они, пассажиры, что я за спасение семьи борюсь, по трупам пойду, пол-Москвы вытопчу! У-ух, какой я отчаянный боец!

Вот и покатило вагон! Вот и повезло меня вперед и дальше, к остановке «Библиотека Ленина». Там уж быть или не быть, но в голове-то звучит и звучит под стук колес: «А-ах, зачем эта н-но-очь так была хороша, та-та-та, та-та-та, та-а-а-ата-ата, та-а-ата-та-а-а...»

Ехать бы и ехать, долго ехать и звучать внутренне, потом задремать. Но вот она — «Библиотека Ленина». Народу на ней побольше, чем на «Киевской», да и сама остановка пошире, поразветвленней: туда и сюда ехал на

эскалаторах, бежал, мчался, толкая друг дружку, народ. Меня притиснули к стене.

Я устало приопустился на выступ какого-то памятника или мраморного украшения и решил, что буду сидеть, пока метро не закроют, только вот попить бы где раздобыть... И еще я думал, что если баба моя раздолбанная найдется, я ей ка-ак дам! Ты, скажу, чё, совсем ополоумела?! Ты, скажу, чё прыгаешь, как цыганская блоха по хохлацкой жопе! Ты, скажу, об чём своей башкой думала, когда такой номер выкидывала?! Ну и так далее, тому подобное.

Словом, только бы нашлась, тогда бы я сумел всю душу излить.

Но моя жена, баба по-нашему, по-сибирски, не находилась. И один, и второй поезд, и десятый прошел, и «полночь близится, а Германа все нет! Все нет...» — нервно пело радио над моей головой. Я уж задремывать начал, как слышу — кто-то дергает меня за рукав и восклицает ликующе!

— Вот ты где!

Все заготовленные речи мои как-то остыли, угасли в моей истерзанной душе, я лишь отрешенно сказал, не открывая зрячего глаза:

— Ты вот что!.. Ты теперь завсегда будешь ходить только сзади меня и за мной. Иначе я тебя пришибу! — и решительно шагнул вперед, к желтому вагону. — Поняла? — обернулся я.

Баба моя семенила за мной и согласно кивала: «Поняла, поняла...» — и мой знатный, выданный эркака рюкзак подпрыгивал, бил ее по заднице так, что в рюкзаке звучало боевым маршем — ложка билась о ложку, и еще кружка звякала.

Мы ехали в Загорск, к тетке моей жены, и попали в сей блаженный город уже с последней электричкой, во втором часу ночи.

Вы думаете, тут, в Загорске, наконец-то все и кончилось, сейчас вот молодожены попадут к тете, помоются, поедят и замертво упадут в супружескую постель? Глубокое это заблуждение. Наша семейка возникла из военных событий и с событиями вступала в мирную жизнь. В пьесе одной герой, глядя на возлюбленную, восклицает: «Эта женщина создана для наслаждений!» А моя баба была

создана для приключений! Приключения ждали нас почти на каждом шагу.

Тут, в Загорске, среди темной ночи, по причине позднего часа в совсем обезлюдевшем городишке приключения развернулись очень скоро. В городишке том не звонили колокола. во всяком разе тогда, ночной порой, я не слышал их, ничего нигде не светилось, не горело, не сверкало, никаких куполов в поднебесье не виделось, даже собаки не брехали, ни пьяных, ни трезвых, ни богомольцев, ни юродивых, которые ныне там толпами шляются, форсят золотыми крестами на молодецких грудях, потряхивают кудрями на пустых головах, предаваясь ленивой вере в Бога. Мода на Бога пошла!

Бодро перемахнули мы с супругой через виадук, разъезженной улицей спустились под гору, мимо мрачных соборных стен, в витые и широкие щели которых сочился слабый небесный свет, слышался звяк оторванного железа, скрежет кровли вверху, в решетках церковных куполов пропечатались темные крестики, один вроде бы даже и блеснул испуганно в прорванной глубине ночного осеннего неба, брюхато провисшего над спящим благодатным обиталищем душ живых, как выяснилось скоро, барышних, любящих драть с мирян, особливо с военных, копейку на привокзальном торжке. Пыльной путаной российской историей напичканный городишко, по тогдашним его достижениям и заслугам, справедливо переименован был в честь бандита-большевика.

Впереди нас блеснула вода. Скоро мы поднялись на земляную плотину, довольно высокую и, судя по сваям, торчавшим из земли вкривь и вкось древнюю, густо заросшую крапивой, бузиной и прочей сорной благодатью, в которой глубоко внизу поуркивала, пошумливала живая вода, падающая на всякое бросовое железо, тележные колеса, обломки рельсов, бочонков, проволок и цепей.

Я это все угадал или разглядел потому, что супруга моя по мере удаления от станции все замедляла, замедляла и без того не сажанный шаг свой. Предложила передохнуть, посмотреть вниз, побросала туда камешки, чтоб видно было, как они падают в воду, подымая брызги, и звякают об сплюснутые ведра или прогорелые и выброшенные по причине технической непригодности железные печки.

Во мне ворохнулось нездоровое подозрение, но камешки я люблю бросать с детства, в Енисей их перепуляла ва-

гон, не меньше, и хотя сейчас мне не хотелось бросать камешки, в тепло скорее хотелось, лечь, вытянуться, уснуть, я однако тоже начал бросать камешки — «если женщина просит...», как поется в современной песне, то отчего же и не уважить ее просьбу, не побросать камешки.

Побросал я, побросал камешки вниз без всякого азарта и интереса.

— Ну, пора уж и к тете, — говорю.

Жена моя пошмыгала, пошмыгала носом, и опять поговорка во мне возникла: «тому виднее, у кого нос длиннее», а н поговорка та тут же и скисла, протухла. Не отрывая глаз от бездны, где пожуркивала вода, падая из запруды, качая сломанный бурьян и позвякивая железом, жена молвила, что она не знает, где живет тетя.

Я ей в ответ: ха-ха-ха-ха — через силу выдираю из себя хохот. Не зря, говорю, считался ж веселым солдатом, сам, говорю, люблю и ценю шутку, но уж больно не ко времени, не к месту подобные шуточки!..

А она, баба-то моя, супруга богоданная, в ответ, чуть не плача, мол, не шучу, я раз только была у тети, проездом, забыла место и дом, где она живет. А письма. Все! В том числе и тетины, чтоб они сохранились для памяти, связала в пакетик и домой отослала, так что даже и записанного адреса тети тоже нету. Днем-то, говорит, да не такая усталая, я, может, и нашла бы дом тети Любы, хозяйки, у которой наша тетя квартирует, но ночью плохо ориентируюсь хоть в лесу, хоть в городе.

— И что же нам теперь делать?

— Не знаю.

— Не знаешь?!

— Не знаю.

— Хорошо! — произнес я и херакнул какой-то булыжник вниз, в воду, так что плеснулось там и брызнуло, и вдруг запел голосом Буратино из одноименной оперы: «Хорошо, хорошо, эт-то очень хорошо!.. Эт-то очень хорошо, за-а-амеча-ательно-о-о!»

Пластинка у нас в детдоме была, вот я и запомнил с пластинки эти слова. «Да т-твою мать! — стукнул я себя кулаком по лбу. Далее пошло, поперло: — Да где же мои глаза, глаз то ись, где он, зараза, глаз тот был, когда я высматривал во многочисленном коллективе себе невесту?! Да вон их сколько, девок крутом: хоть на зуб, хоть на цвет, хоть на калибр любой подходящих, хоть соли их, хоть мочи, хоть на приправку, хоть на прикорм, на мясо,

хоть на уху, хоть на ферму в колхоз, на почту, на икону, на фабрику, даже в артистки, даже в зверинец годных!» Говоря театральным языком, жена моя сполна получила весь деревенско-детдомовский репертуар, на этот и на все последующие сезоны. Все, что за дорогу с войны скопилось в моей негодующей груди, всю тяжесть необузданного чалдонского гнева, все бешенство человека, измотанного войной, неурядицами жизни, — все это обрушилось на маленького человечка женского пола.

Я ожидал, она хоть заплачет или отбежит на безопасное расстояние, но она стояла, отвернувшись от меня, и рюкзак этот, сталинский подарок, чтоб ему в лоскутья изорваться, висел на ней до самой земли. От ругани моей, должно быть, содрогнулось, сотрясилось само небо, отхлынули хляби небесные, появилась, пусть и ущербная, луна. Мне сделалось видно согбенную, пустым мешком-котомкою придавленную к самой земле мою бабу, природой самой и жизнью приуточенную в стратотерпицы российские.

И мне ее жалко стало.

Все еще клопоча и негодуя, я грубо попросил, чтоб она вспомнила хоть какую-то приметку, местность, ориентир. Я — беспризорщина, бывший таежник, бывший артрязведчик, связист и вообще на войне во всяких переделках побывавший, уж как-нибудь соображу, уж не сплочую, уж разнюхаю, уж...

— Дом на берегу пруда.

— Охо! Это уже кое-что!

— Но на каком берегу — не помню. Берега-то два.

Да, как это я не сообразил сразу, что у всякого водоема бывает два берега, только у обители небесной нет никаких берегов, и у моря, говорят, их не видать, но на морях я не бывал. У нас же в России, куда не хвати: где вода, там тебе и два берега. Правда, озера круглые бывают, но в данный момент нас никакие озера не интересовали. Мы находились на плотине пруда, перед нами два берега и на одном из них живет тетя моей жены. Живи она не у пруда — вовсе не за что было бы ищущему зацепиться. Узнать бы еще, на каком именно берегу живет тетя, на правом иль на левом?

Жена моя, стоя лицом к свинцово под луною светящемуся пруду, переменчиво покрываемому тенями, реденько встроеными в него отголосками чьих-то огней, тыкала рукой то влево, то вправо. Тут я с изумлением вспом-

нил: да она же левша! Ей же трудно ориентироваться вообще на свете, тем более у водоема. Взял и повернул ее на ход воды, спиной к пруду, лицом к пустыне ночи: вот теперь давай действуй смело и наверняка: с правой руки у тебя — правый берег, с левой, значит, левый.

Она постояла, постояла и, поскольку была левшой, подняла левую руку:

— Однако, здесь.

— Х-хэ! — взбодрился я. — Конечно же на левом, мирном, сельском берегу живет наша тетья. Чё она охерела снимать квартиру на правом берегу, в дыме, в копоты, на самом бую, в густолюдье, на грязном, разьеженном месте! Она — проводник вагона, ей люди да дороги надо-ели.

Хозяйка ее, по рассказам жены, занималась садом-огородом, драла с народишка копейку за овощь и фрукты. Самое тете тут место, здесь, где гуси живут, ласточки вьются в небе, голуби под застрехой воркуют, скворцы веснами свистят, сама же говорила, что тетья — человек неунывный, очень трудолюбивый, из вятской деревни. А они, вятские, хоть мужики, хоть бабы — ох какие хваткие!

Я вилял хвостом, льстил, ободряя супругу, делал вид, что вовсе никого не материл, не бросал камнями в крошечную тьму и чего-то оптимистическое беспрестанно болгал. Привел жену на левый берег пруда — он и в самом деле оказался ликом деревенский. Строения вдоль него все одноэтажные, заплотами один к одному сплетенные, индивидуальные, свои ряды сомкнувшие, до конца не покоренные все сметающей силой большевизма.

— Теперь бы мне хоть какую-то примету дома, двора, палисадника, ворот?..

— А-а! — пикнула моя жена. — В палисаднике тети Любы растут рябина и черемуха! Может, две черемухи и рябина или одна черемуха и две рябины, да еще, кажется береза.

Если б был день, а не ночь, пусть и с огрызком луны, уже норовившей укрыться в мохнатую постельку облаков, спутница военных дорог прочитала бы на моем лице укоризну: ну в каком русском палисаднике, тем более пригородном, где живет и плодится межклассовая прослойка, не то рабочие, не то крестьяне, по-бабушкиному просто — «межедомки и пролетарьи», по-дедушкиному — «советские придурки», в каком палисаднике этих меже-

домков не растет черемуха и рябина?! Они ж, эти межедомки, из села нарезали, но в город не вошли, прилепились к нему, потеснили его. Они ж впросак попали, а что это такое, я уж объяснял. И здесь они тоскуют по отеческому уголку и тоску выражают посредством русских печек, бань во дворах, черемух, рябин в палисаднике, березок у ворот, свиньями, курами и коровами во дворе, гусями в пруду. Дети этих умеющих еще трудиться и плодиться межедомков со временем сведут подчистую скотину, сделают в избах паровое отопление, поставят чешский или румынский гарнитуры, заведут магнитофоны и запрыгают вокруг них. А дети этих деток уже наденут брезентовые или вельветовые штаны с иностранными напешками на зад и станут, тоскуя о чем-то, петь под собственный аккомпанемент песни на собственные слова, в которых мелодия и голос совсем необязательны. А дети этих уже детей...

Но полно, полно — в другое время, в другом месте об этом.

Я показал жене на несколько палисадников. Она, обреченно вздохнув, предложила посидеть на ближней скамье у ворот и успокоиться. Мы присели на холодную, росой иль инеем увлажненную скамью и молча смотрели на воду пруда сквозь тополя, до того пообрезанные, пообстриженные, что только прутья и росли на обезглавленных пнях, не отражаясь в воде. И вообще в пруду уж ничего не отражалось — слабый свет все дальше и выше уходящей, даже вроде поспешно и радостно улетающей луны в варево туч и облаков, в небесные бездны, едва уже достигал поверхности пруда со все более и более густеющей водой. Смола уж прямо, не вода, даже сгусток огней какой-то артели или фабрички на противоположной стороне пруда, ввинчиваясь штопором, не оживлял эту черную, густую жижу, все в ней увязло.

Бледный свет в вышине, в куполах соборов, звонниц был потаен, высок, смешивался с отблесками небесных светил.

В этот таинственный час ночи ничто земное, бренное — и наше с супругой горе — их не трогало и не волновало. Молебные, божеские места соборов и церквей, огрузших в ночи и соединившихся с тьмою, ничего мирского, нас и подавно, не касались. Бог давно уж отдалился от нас, а может, и забыл про всех, и про эту сиротскую пару — тоже: нас много по земле бродит после такой заварухи, Он же один — где за всеми уследишь.

Я тормозил супругу расспросами практического порядка, а она пыталась задремать на мокрой скамейке — валилась на мое плечо. Выяснилась еще одна подробность: ворота и заплот тети Любиного дома крашены желтой краской — и это тоже мало чем могло нам помочь: в России, на железной дороге с царских времен желтой краской крашено большинство построек, начиная от станционных сортиров и кончая бабушкиным коромыслом, не говоря уж о баржах, пароходах.

— Давно?

— Что давно?

— Давно крашены тети Любины ворота, забор и палисадник? Да не спи ты, не спи, т-твою... — начал я снова заводиться.

— Когда я в сорок втором заезжала, краска уже выгорела...

«Э-эх, любви военных дорог, кружения голов и кровей — совсем недавно, оказывается, в сорок втором была тут, мандаплясина, и все перезабыла!» — и я язвительно еще поинтересовался, хлопая себя по заду:

— И скамейка небось есть?

— Есть! Есть! — откликнулась жена, зевая, и, чтоб она не раскисла совсем, я ее взял за лямки рюкзака с отогретой скамейки — еще разоспится.

Мы побрели дальше. Редкие собачонки, с начала нашего пути подававшие голоса из-за ворот и дворов, вовсе унялись, видно, привыкли к нашим негромким шагам и вдвоенным запахам. Переворачивая слова жены протопопа на самого протопопа Аввакума, спросить бы мне: «Доколе сие будет, супружница моя?..» И она бы мне ответствовала: «До смерти, Петрович, до смерти...» И я бы вздохнул: «Ну, што? Ино поплелись...» Да ничего я тогда про протопопа слыхом не слыхал и не читал — запрещено было читать поповское.

Однако ж начал я ободряться вяло зашевелившейся в башке мыслью: загорские миряне покупали, но, скорей всего, воровали краску с той же самой фабрики, что светилась на другом берегу пруда, в основном зеленую и суриковую. Фабричонка работала на железную дорогу, когда-то успела сообщить мне супружница, и сообщение это не сразу, но все же пало на душу бывшего железнодорожника, родственно в памяти держащего все, что касается желдордел. Мысль моя заработала обрадованно, во всю мощь.

«Так-так-так!.. Та-ак-с!» — не давая радости разойтись, оглушить меня, разорвать грудь на части, я даже хихикнул и потер руки.

— Ты что? — испуганно спросила спутница, очнувшись.

— А ништо! Вот он, тети Любин дом! — остановившись перед воротами, осветив их зажигалкой и убедившись, что все тут крашено желтой краской, правда, оставшейся больше уж только по щелям и желобам, возвестил я.

— Как ты узнал? Откуда?

— Стучи! Стучи, говорю! — повелительно приказал я, упиваясь могуществом своего мужицкого поведения и железнодорожного наития. — Ты думаешь, я зря на родине колдуном зовусь? Ты думаешь, приобрела себе в мужья Ваньку с трудоднями? Эта голова, — приподняв пилотку, я звонко постучал по ней, — способна только военный убор носить?!

Супруга обшарила, ощупала ворота, потрогала щеколду, поднявшись на цыпочки, заглянула в палисадник, на закрытые ставнями окна, велела высветить зажигалкой номер и, упав на скамейку, суеверно обмерла:

— Ой! Я думала, ты дурачишься, когда говоришь о колдуне! Это и в самом деле тети Любин дом! — в полном уже потрясении заключила она.

— На загорские соборы перекрестись, хоть и коммунистка, и стучи давай, стучи — и убедишься, что есть еще люди, способные творить чудеса! Изредка, но попадают-ся... Вот и в мужья тебе угодил не человек, а клад... с назьмом...

Я и еще чего-то травил. Супруга моя сперва робко, затем сильнее, настойчивее стучала в ворота, и со двора не откликнулась собака, которая, ожидал я, поможет разбудить хозяев.

В кухонном окне, запертом ставнем, вспыхнул свет, выплеснулся сквозь щели ставни, вырвал кипу цветов иль бурьяна из темноты под окном. Спустя время прогремел запор, приоткрылась дверь, сонный женский голос спросил, кого это черт носит в такой уже совсем Божий час.

— Ой, правда тетя Люба! — прошептала моя спутница, все еще не до конца верившая в мое колдовство. — Тетя Люба! Тетя Люба! — звонко закричала она, чтоб только ее услышали, не ушли чтоб. — Тетя Люба! Это я, Миля. С фронта еду. Тетя Люба!..

«Какая еще Миля?!» — промелькнуло в моем перегру-

женном сознании, но удивляться было уже некогда. Сразу ударившись в голос, запричитала тетя Люба, хлопая галошами, прытко и грузно спешила к воротам:

— Милечка! Девочка ты моя! Да голубонька ты сизая! Да крошечка ты моя ненаглядная! — и, взясь с запорами, которых ох как много оказалось по ту сторону ворот, все причитала тетя Люба, между делом разика два матюкнулась, и я почувствовал, как в груди моей потеплело — родственная душа встречала нас. Уронив с белой рубашки шаленку, крупная женщина сгребла в беремя и куда-то дела мою жену. В грудях, в распущенных волосах, в рубаше иль юбке ее исчезла моя жена. Долго они целовались, плакали, наконец тетя Люба бережно выпустила гостью из объятий и спросила, указывая на меня:

— Это кто?

— Да муж! Муж мой! — отыскивая оброненную в потемках шапку, все еще шмыгая носом, обмоченным слезами, отозвалась жена.

— А-а, му-уж! Как зовут-то? Хорошо зовут. Ну, пойдете в избу, пойдете в дом. — И, приостановившись во дворе, в острой полосе света, приложила палец к губам. — Т-с-с! Токо тихо! Вася вернулся с войны, да таким барином, спаси Бог! Ну, потом, потом... А тети-то твоей ведь нету, — опять запричитала тетя Люба, но уже приглушенно и натужно.

— Она что, в поездке?

— Кабы в поездке! В больнице она, дура набитая! А я одна тут верчусь. Нogu ведь она поломала!

— Как?

— А вот так! — впуская нас в дом и еще раз приложив к губам палец, продолжала рассказывать тетя Люба. — Ей ведь не сидится, не лежится и сон ее не берет!.. Пошла мыть вагоны. Ну, свой бы вымыла и начхать, так нет ведь, она и на другие полезла, совещку железну дорогу из прорыва выручать!.. Ну и оскользнулась, брякнулась. Нога и хрясь... Чё нам, бабам старым? Ум короток, кость сахарна... О-ой, ребятушки! Ой-ой, мои миленьки-и-и-ы! А устали-то! Устали-то!.. А вид-то у вас... — и совсем шепотом. — Вот вы с войны, с битвы самой, с пекла, и вон какие страдальцы... А мой-то, мой-то! — кивнула она на плотно прикрытые двери в горницу, — с плену возвратился и барин барином! Сытый, важный, с пре-этэнзиями. Ну да завтра сами увидите. Есть-то будете? Нет. Да какая вам еда? Умойтесь да и туда, к тетке, в ее комнату.

Да простыню-то с постели сымите. Уж в бане помоеетесь, тогда... Тряпицу нате вот. Да знала бы она, да ведала, голубушка моя, кто к нам приехал, да на одной ноге, на одной бы ноженьке она прискакала — приползла... А вот дурой была, дурой и осталась! Все государство хочет обработать, всех обмыть, обшить, спасти и отмолить. Она ведь, что ты думаешь?! В больнице утомилась, думаешь? Лежит, думаешь? Как люди лежат, лечится?.. Как бы не так!

Супруга моя помаленьку, полегоньку оттерла меня плечиком в узенькую, всю цветами уставленную, половиками устеленную, чистенькую, уютненькую комнатку с небольшим иконостасом в переднем углу и синенькой горящей лампадкой под каким-то угодником. Сама, вся расслабившаяся, с отеком лицом, по-женски мудрым, спокойная, погладила меня по голове, поцеловала в лоб, как дитятю, и пошла к тете Любе, такой типичной подмосковной жительнице, телом дебелий, голосом крепкой, в себе уверенной, на базаре промашки и пощады не знающей. И в это же время тетя Люба жалостлива, на слезу и плач падкая. Бога, но больше молодых, красиво поющих богослужителей обожала, все про всех в Загорске, в особенности по левую сторону пруда живущих, знала, хозяйство крепкое вела напрямиком к коммунизму, от него и жила, немалую копейку, даже и золотишко какое-никакое подкопила.

Скоро узнаю я все это, а пока уяснил, что спутнице моей от тети Любы скоро не отделаться. Отодвинулся к стене, освобождая узенькое место на неширокой кровати вечной бобылки, и еще успел порадоваться, что вот и про бабу не забыл, женатиком начинаю себя чувствовать. А у женатиков как дело поставлено: все пополам, и прежде всего ложе. Супружеское.

Проснулся я ополудни. Жены моей рядом со мной уже не было. Но подушка вторая смята, значит, и ей удалось поспать сколько-то. Засылав, что я шевелюсь в комнатке, брэнчу пряжкой ремня, тетя Люба завела так, чтобы мне было слышно:

— Н-ну, Миленька, муженька-то ты оторвала-а-а! Во, ведьмедь так ведьмедь сибирский! Как зале-ог в берлогу-у...

— Доброе утро! — глупо и просветленно улыбаясь со сна, ступил я в столовую и поскорее в коридор, шинель на плечи и до ветру.

— Како тебе утро?! Како тебе утро?! — кричала вслед тетя Люба. Но я уже мчался по двору, затем огородом, не разбирая дороги, треща малинником, оминая бурьян, едва в благополучии достиг нужного места. Доспелся.

Бани у тети Любы не было — как и многие пригородные жильцы, она пользовалась общественными коммунальными услугами. Нагрев в баке воды, мы с женою вымыли головы и даже ополоснулись в стиральном корыте, переоделись в чистое белье. Так, видать, были мы увазеканы в дороге и грязны, что тетя Люба всплеснула руками:

— Ой, какие вы еще молодехонькие!..

Супруга моя постирала галифе и гимнастерку, отчистила шинель канадского происхождения. Мне при демобилизации выдали бушлат, ребятам — эти вот шинели из заморского сукна, серебристо-небесного цвета. Данила сказал, что ехать ему в деревню, на мороз и ветер, к скоту, к назьму, к дровам и печам — бушлат — одежина самая подходящая, повертев перед зеркалом нерубленую даже, чурбаком отпиленную от листовенного комля фигуру, бросил шинель мне. Может, я и в самом деле попаду на этот самый «лифтфакт» — так Данила выговаривал слово «литфак», и мне в такой форсистой шинели там самое место, не одной там студентке я в ней понравлюсь, глядишь, и нескольким.

К вечеру вся моя одежина подсохла. Супруга отутюжила ее, надраила пуговицы мелом, подшила подворотничок беленький-беленький, прицепила награды, выдала стиранные и даже глаженные носки — я и не знал, что носки гладят, меня это очень умилило. Я спросил — чьи они? И если бы жена сказала, что хозяйина — не надел бы, но она сказала, что они из тетиного добра, и я их надел. Ноги, привыкшие к грубым портянкам, вроде как обрадовались мягкой, облегающей нежности носков.

Когда я нарядился, подтянулся и, дурачась, повернулся перед супругой, она по-матерински ласково посмотрела на меня:

— Добрый ты молодец! Чернобровый солдатик! Никогда не смей унижать себя и уродом себя перед людьми показывать. Ты лучше всех! Красивей и смелей всех! — и улыбнулась. — Да еще колдун к тому же.

— Ну уж, скажешь уж... — начал я обороняться, но не скрою, слова жены киселем теплым окатили мою душу и приободрили меня, если не на всю дальнейшую жизнь, то уж на ближайшее время наверняка.

Супруга привела в порядок и свою одежду, приоделась, вечером, когда вернулся со службы хозяин по имени Василий Деомидович, состоялся ужин, вроде как праздничный. Тетя Люба, накрыв на стол, поставила перед хозяином тарелочку с салфетками, тарелочку под закуску, по левую руку две вилки, большую и маленькую, по правую руку два ножа, тоже большой и маленький.

«Зачем столько?» — удивился я. Передо мной с боку тарелки лежали одна вилка и один нож, я же и с ними-то не знал, что делать — ведь все уже порезано, крошено, намешано. Рюмок тоже было по две, да к ним еще и высокий стакан! — «А ну, как нечаянно, рукавом заденешь да разобьешь?!»

Василий Деомидович, переодетый из конторского костюма в какое-то долгополое одеяние — пижама не пижама, жакет не жакет, с клетчато простроченными бортами, да белый галстук к сорочке с почти стоячим воротничком придавали хозяину, и без того крупному, вальяжному, этакую полузабыгую уже на Руси, дворянскую осанку. Он и за столом вел себя будто дворянин из советского кино. Вживе-то я дворян видел всего несколько штук — ссыльных, но какие уж в ссылке дворяне, по баракам, по переселенческим, обретающиеся?

Засунув салфетку за воротник и закрыв ею галстук — «Зачем тогда и надевать было галстук-то?» — продолжал я недоумевать. Другую салфетку хозяин положил себе на колени. Серебряными вилками Василий Деомидович зацепил сочной капусты, поддерживая навильник малой вилкой, донес капусту до тарелки, ничего при этом не уронив ни на стол, ни на брюки. Затем он натаскал на тарелку всего помаленьку: и огурца, и помидор, и мяса, и яичка, и селедочки кусочек, все ладно и складно расположил на тарелке, веером, да так живописно, что в середине тарелки оказался красный маринованный помидор и три кружка луку. Натюрморт это в живописи называется.

Тетя Люба обвела нас победительным взглядом, мол, во как мы можем. Впрочем, в глубине тети Любиного взгляда угадывалась робкая озадаченность и песья прибитость. Она суетилась, забивала внутреннее замешательство излишней болтовней и заботливостью. А во мне поднималась пока еще неторопливая, но упрямая волна негодования, и сказал я себе: «Ну уж хера! Салфет на себя я натягивать не стану!» Супруга — чутлива, по морде моей или еще по чему угадав революционный мой порыв, нажала

под столом на ногу, не то ободряя, не то успокаивая. Когда хозяин взял за горлышко графинчик, спросил взглядом, чего мне — ее, злодейку или красненького из бутылки с длинным горлышком, я с вызовом заявил, что солдаты, которые сражались с врагом, привычны пить только водку, и только стаканами.

— Да уж, да уж! — заклохтала тетя Люба, смягчая обстановку. — Уж солдаты... уж оне, упаси Бог, как ее, злодейку, любят!.. Но вам жизнь начинать. Ты уж не злоупотребляй!..

Супруга опять давнула своей ногой мою ногу. Хозяин сделал вид, что не понял моего намека насчет сражавшихся солдат, сам он с сорок первого года и ровно по сорок пятый отсиделся в плену у какого-то богатого немецкого или австрийского бауэра, научился там манерам, обращению с ножами да с вилами, к столу выходил при параде, замучил тетю Любу придирками насчет ведения хозяйства, кухни и, в частности, относительно еды; обед и в особенности ужин — целое парадное представление в жизни культурных европейцев: при полном свете, в зале, свежая скатерть на столе, дорогие приборы...

А где что взять? Конечно, Василий Деомидович приехал при имуществе, не то что мы. Но этого трофейного барахла, всяких столовых и туалетных принадлежностей навалом на базаре, идут они за бесценок. С какой стороны обласкать, обнежить господина? Ведь он там с немочками и с француженками такую школу прошел, такому обучился, что ей, простой подмосковной бабе, науку эту не одолеть. Она уж и карточки неприличные напупала, глядя на них, действовать пробовала, да где там? Не те годы, не та статья...

«Да-а, не член, не табакерка, не граммофон, не херкерка, а бутылброд с горохом!» — любил повторять наш радист, родом из Каслей или Кунгура, ковыряясь в рации, не в силах ее, вечно капризничающую, настроить, все хрипела она, да улюлюкала, и ничего не передавала.

И ведь, судя по морде, хозяин сам сдался в плен, никто его туда не брал, не хватал, сам устроился там и с войны ехал, как пан, во всяком разе лучше, чем мы с супругой: А теперь вот вел беседы на тему, как праведно, чисто, обиходно, главное, без скандалов, поножовщины, воровства и свинства живут европейские народы, понимай — германские, как они хотя и жестоко порой обращались с пленными, а иначе нельзя, навыкли мы при советах ло-

дырничать, у немца ж не забалуешься, они, немцы, и детей воспитывают правильно — лупят их беспощадно и потому имеют послушание, не то что у нас лоботрясы никого не слушают. А на какой высоте у них искусство, особенно прикладное. Кладбища — не кладбища, музей-выставки под названием «Зодчество».

— А мы им тут кольяв осинового да березового навтыкали, с касками на торце — вместо произведений искусства! — начал кипеть и заводиться я, — чтоб не отдалялись больше от родного дома в поисках жизненного пространства...

Жена опять давнула мою ногу и к хозяину с вопросом насчет природы, похожа ли на нашу.

— И похожа, и непохожа, — промокая губы салфеткой, отозвался хозяин. — Деревья как будто те же, но все подстрижены, все ровненько, аккуратненько...

Хватанув, уже самостоятельно, без приглашения, высокий стакашек водки, я хотел было напрямки спросить, как жопу европейцы подтирают? Не сеном? Сеном так хорошо, мягко, запашисто, и целый день, иногда и неделю из заднего прохода трава растет. Косить можно. Беденькая тетя Люба позвала меня нести сковородку с жареной картошкой и на кухне прикинула к моему уху, задышала в него:

— Миленький мой мальчик, герой ты наш, фронтовик, наплой на него, прошу тебя. Он же меня съест... загрызет... Я все понимаю, все-все! Изменщик он родине и народу, изверг и подлец, да ведь мужик мой, куда денешься?.. Пойми ты, мне-то каково на старости лет? Я из честной трудовой семьи... Будь молодые годы да...

Жена моя бдила, не давала мне больше выпивать да и увела меня поскорее «к тете», где я заявил, что и дня больше не останусь под крышей этого разожравшегося на фашистских хлебах борова.

— Все, все! Все, мой хороший! Навестим вот тетю утром завтра в больнице и за билетами, за билетами — у меня же литерные талоны. Мы же с тобой дальше поедем в купе. В купе, в купе, голубчик. В купе, знаешь, как хорошо, удобно, спокойно?! Ездил когда-нибудь в купе? Не ездил, не успел, а то бы поездил, ты ж железнодорожник. Я тоже не ездила, но знаю, что купе бывает на четверых...

— Это и я знаю! — непреклонно заявил я. — Ты кого надуть пытаешься? Кому голову морочишь?

— Ну и что, что на четверых? — частила супруга. —

Может, остальные двое опоздают... Мы ж с тобой так вдвоем еще и не были, — прижалась она ко мне... — Посидеть можно, поговорить, даже если охота, полежать... — вздохнула она. — А этот... Он мне еще больше противен, чем тебе, но я же держусь. Можно же немножко потерпеть...

— Ты не была на Днепровском плацдарме!.. Ты не была на Корсуни... Ты не видала!..

— Не была. Не была... Я и войну видела издалека и ничего такого не испытала. Но тоже ведь досталось. Бомбежки... пожары... ужас... Не мытьем, так катаньем, война свое взяла у всех...

— Так уж и у всех?!

— Ну, не у всех, ну, оговорилась. Хотя почти у всех... А тетя-то. Ха-ха! Ну, она какой человек. Велела привезти в больницу ее швейную машинку.

— Зачем?

— А чинит больничное белье. Нога в гипсе подвешена, она машинку на живот себе — и пошла строчить!.. Она у нас очень-очень хорошая. Ты ее обязательно полюбишь! Обязательно!

— А она меня? — спросил я, мягчая и привлекая к себе свою заботливую супругу, всегда и всем пытающуюся угодить, все неудобства и уродства на земле исправить, всем обездоленным соломку подстелить, чтоб мягко было, удобно, если возможно, чтоб никто ни на кого не сердился, никто никого не обижал.

— Ну кто же такого грубияна и замечательного дурня не полюбит? — рассмеялась она, целуя меня, — такое невозможно — и сделала тонкий намек, сейчас, мол, разденется, сейчас-сейчас, минуточку еще терпения, всего одну минуточку...

Но тут в дверь деликатно постучала тетя Люба, спросила, можно ли к нам. Присев на кровать, стала плакать и жаловаться на Василия Деомидовича, который успел уже поинтересоваться — долго ли мы тут задержимся. Опять отчитал, что не берем с тети вашей плату. Ведь знает, хорошо знает, что уж столько лет ломит тетка твоя по хозяйству, весь дом, все дела на ней, сама хозяйка лишь торгует на рынке, копейку наживает. И еще плата какая-то? Фактически же тетя тут и хозяйка, и прислуга, и швец, и жнец...

— Ну такой злодей навязался, такой паразит явился — сил нет, всю меня, бедную, уж измучил... Шкуру-то собастью под навесом видели? Это он Бобку, Бобочку моего,

бедного, задавил. Лаает, спать не дает. Своими ру-учищами, фашист! Фашист, и нет ему пощады.

Но пощады не будет как раз ей, тете Любе, выжив с квартиры нашу тетю, Василий Деомидович вплотную займется тетей Любой, и несчастную женщину хватит удар, она наложится в грязной постели, только подруга, наша тетя, будет ее навещать, обирать от гнуса и грязи. Хозяин еще при живой хозяйке приведет в дом молодую бабенку и станет тешиться с ней на глазах у законной жены. Живи в другом месте, эти прелюбодеи, может, и прикончили бы тетю, но тут кругом соборы, кресты, попы и богомольцы. Бога боязно. Вдруг увидит?

— Он и до войны не больно покладист был, нудный, прижимистый, нелюдимый, да все же терпимый, но после плена просто невозможным сделался! Иногда забудется и брякнет: «А вот у нас, в Германии...» О Господи, Господи! Что только и будет? Что только и будет?

Когда тетя Люба на цыпочках удалилась на кухню и выключила свет в зале, нам уж ничего-ничего не хотелось, даже разговаривать не было охоты.

Утром, с десятичасовой электричкой, мы втроем выехали на станцию Язу, где в железнодорожной больнице лежала тетя, которую по рассказам я уж вроде знал вдоль и поперек, да и любил уже, как родную, горел нетерпением поскорее ее увидеть. Но прежде чем отправиться на электричку, все мы переждали, когда хозяин уйдет со двора. Василий Деомидович, поворочавшись в коридоре перед зеркалом, надел новое пальто, с заграничным портфелем и в кожаных перчатках проследовал мимо окон. Тетя Люба, смиренно и почтительно до ворот провожавшая супруга на службу, вернулась, плюнула, мы на радостях хватанули с нею по два стопаря водки, зарозовели, повеселели и начали друг дружке рассказывать анекдоты, смешные истории, громко хохотать, тетя Люба колотила меня по плечу, потом стала тыкаться в плечо носом.

Жена моя, пасшаяся в огороде, застала нас в резвости и веселье, принялась и поинтересовалась:

— Послушайте-ка, товарищи! Вы с чего это так разрезвились? А к тете кто поедет?

— Да ну тебя! Отстань! Надо же отвести душу добрым людям! Ушел деспот-то мой, мы с твоим благоверным и тягнули по маленькой! А чего тут такого особенного?

Анекдот какой классный солдатик рассказал!.. Смешной-смешной! Только я вот уж забыла его — памяти чисто не стало...

Оно бы и ничего, совсем ничего — ну выпили и выпили — да тетя Люба, систематически недосыпающая из-за напряженного хода жизни, захмелела крепко, в электричке громко разговаривала, выражалась, даже петь пробовала: «Шли по степи полки со славой громкой...», но вдруг разом огрузла и уснула. Проснувшись, запаниковала:

— Ой! Чуть ведь не проехали! Ой, пьяная дура!..

И высадила, точнее сказать, вытолкала нас из вагона на остановку раньше.

Меня, после дороги с фронта, удивить дорожными происшествиями было трудно, но тут на всех парах выскочила из кустов женщина с большой вязанкой березовых веток — на голики, промчалась по деревянному переходу на деревянный перрон и, загнанно дыша, но не снимая вязанки, поглядела туда, поглядела сюда и спрашивает у нас:

— А поезд где?

— Чего-о-о-о?

— Поезд, спрашиваю, где? Электричка?

Тетя Люба, ахая, проклиная и мужа своего — барина говенного, не дающего ей путем выспаться, и тетю нашу, и нас, стала объяснять женщине, что мы тоже вылезли вот раньше на остановку и не знаем, не то ждать следующую электричку, не то шагать по шпалам?.. Женщина опустила вязанку на перрон да и принялась честить тетю Любу матом — по ее выходило, что из-за нас — ротозеев, она не поспела на электричку, потом не успеет ко времени домой и на работу, не продаст голики, вообще большие неприятности в ее жизни будут — и все из-за нас!..

Тетя Люба уяснила из ее ругани лишь одно: электричка с остановкой на Яузе пойдет лишь в обед, смиренно перекрестилась, прикрикнула на женщину — и мы потопали по шпалам. Опоздавшая труженица поливала нас вослед, как ей только хотелось, не жалея того изысканного столичного мата, кой будет с годами еще более усовершенствован.

В больницу мы пришли изрядно уж утомленные, но развеселились, как попали в многолюдную палату, где женщина с простецки деревенским лицом, чуть тронутым оспой, с белесыми, отливающими желтизной волосами, с подвешенной за гирю ногой в гипсе, поудобней устроив

на животе, прикрытом старой простыней, швейную машинку, бойко и ловко что-то сшивала и еще бойчее что-то рассказывала, пересыпая быстротекучий вятский говор, будто камешки с ладони на ладонь.

— Вот! Полюбуйся! — стараясь удержаться в строгости, указала тетя Люба моей жене на эту женщину. — Полюбуйся на ненормальную свою тетку!..

— О-ой! Миля! — воскликнула женщина со сломанной ногой. И, когда моя жена бросилась к ней, неловко, через машинку стала доставать и целовать ее, тетя со слезами попросила:

— Бабы!.. Да уберите машинку-то! Чё она, как конь, на мне едет...

Я опять удивился, что жену мою зовут Милей. Какая разнообразная она у меня.

Тетушка, освобожденная от машинки, немножко успокоившись, спросила, поглядевши на меня — кто это, уж не муж ли? И жена моя, которая Миля, смущенно закивала, защебетала, что да, что муж.

Как она, тетушка наша, плакала потом, когда мы ушли из больницы — сама же нам и поведала о том, только много лет спустя. Жаль ей тогда было любимую племянницу: из такой большой семьи, трудолюбивой, бедной, и вот мужичонку себе сыскала израненного, профессию железнодорожную потерявшего, до сержанта даже не дослужившегося, значит, и пенсиону путного не будет...

— Ох, Господи, Господи! Один попался рядовой, да и тот кривой.

На бедность нашу и на начало обзаведения тетя наказала тете Любе достать из комода отрез шелка вишневого цвета, кое-что из ее бельишка, тетиного, да постельного, да покрывало белое, пикейное, да новые шелковые чулки.

Тетя Люба, вынимая добро из комода квартирантки, будто отрывала все от своего сердца, ворчала, что была и осталась дура душой, раздать все добро свое готова, чтоб самой голой остаться... Как только земля-матушка и терпит этаких простодырок?!

Мы очень скоро уехали из Москвы и уехали действительно в купейном вагоне! Это уж жена моя заслужила такое льготное место. Талон же, завоеванный мною в сражениях, годен был лишь для проезда в общем вагоне, по той поре место мое было на крыше. Но опять же «про-

шлюб» (свидетельство о браке, укр.) подействовал. Нам пришлось лишь доплатить какие-то пустяки — за «купейность», и прикатили мы глухой ночью в глухо гудящий, дымящий, одышливо дышащий город под названием Молотов, на большую станцию — Пермь Вторая.

Пересадка на соликамский поезд, который, постояв в раздумье, вдруг вернулся и стал уже набирать ход, как к нам в тамбур влетел молоденький, будто вешняя птичка, красивый, нарядный и радостный младший лейтенант, сверкающий белью зубов, пряжкой нового ремня, новой португеей, новыми хромовыми сапогами. Порадовавшись, что успел на поезд — тоже пересаживался, — спросил, куда мы едем, и, услышав, что в город Чусовой, сообщил, что он тоже туда, и представился распространенной на Урале фамилией — Радыгин.

Младший лейтенант весь кипел от какого-то нетерпения, нерастратенных сил и энтузиазма — он не успел повоевать, не успел отличиться, погеройствовать, сразиться с врагом — и вот уже домой...

Когда я сказал ему, чтоб он не жалел об этом, что ничего там, на войне, хорошего нет, он не захотел меня ни понять, ни поверить мне — его назначение, наивысший смысл жизни виделись ему в битвах, в удачах, в порывах, в прорывах!..

Ох-хо-хо! Каким я был стариком по сравнению с ним, с Радыгиным, хотя и старше его всего на два года. Какой груз я вез в своей душе, какую усталость, какое непреодолимое чувство тоски и печали, неизвестно когда и скопившихся. Как жить с этим грузом? Куда его девать? Кому передать, чтоб облегчиться. Не возьмет ведь никто — ненужный этот, обременительный груз. А больше у меня ничего нету, пара белья, портянки, даже шапки нету, а мороз нажимает, усиливается...

Когда наш поезд прибыл на станцию Чусовскую, уютившуюся под горой, с желтопокрашенным деревянным вокзалом, подвеселенным голубыми окнами и белыми наличниками, с деревянными перронными воротами, на которых узорчатым маком ател в комок смерзшийся флаг. Прямо по воротам нарисована белая стрела и крупные буквы звали — выход в город.

Пассажиры скоро рассосались. Поезд, крикнув стылым электровозным гудком, покатил дальше, в неведомый мне город Соликамск. Мы остались на нечистом, ребрис-

то обдолбленном перроне городка, о котором я никогда и слыхом не слышал, даже на карте его не видел...

Постояли, помолчали, я докурил вторую сигарку, и молодая моя супруга не то безразличным, но то совсем усталым голосом напомнила мне, что скоро утро и пора нам двигаться домой.

— Ну что ж, — сказал я, — пора так пора... Домой так домой. Я не очень воспринимал это слово, потому как с детства жил по казенным домам и общежитиям, внутренне уж совсем оробел и про себя еще раз покаялся, что не поехал на родину, в Сибирь, в края родные. Но виду не показывал, как жутко и одиноко мне в этом незнакомом городе, в чужом, шибко задымленном месте. Сохраняя наигранно-бодрый тон, двинулся я за женой своей и, выйдя на небольшую привокзальную площадь, увидел скульптуру Ленина в голом скверике, приваленную шапкой свежего, еще не закоптившегося снега, сказал, притронувшись к новой пилотке: «Здравствуй, Владимир Ильич, единственный мне здесь знакомый человек!»

Супруга посмеялась столь удачной и уместной в данный напряженный момент шутке — и молодая пара двинулась вдоль желтого забора, за которым крикали электровагоны и брякали буфера вагонов.

Станционные постройки, депо, магазины, клуб, дома, притиснутые горою к путям с одной стороны и к реке с другой, остались позади. Молодожены вступили в длинную гористую улицу и, почувствовав, что так вот, скоро, чего доброго, и «домой» придешь, я попинал ледышку на дороге. Супруга игру приняла. Гоня впереди себя ледяные и снежные комки, будто мячики, не очень решительно, но шли и шли мы к цели. И чем дальше шли, тем меньше оставалось у меня в словах бодрости, в действиях тоже, и смех вовсе иссяк. Только конский шевяк прыгал — кони еще в этом городе велись, и прыгал он от пинков, да громче хрустел снег под сапогами. Когда же супруга моя свернула с улицы на прогребенную тропинку в еще неглубоком снегу, ярко сверкающем искрами под луною, я сказал: «Передохнем!»

Между тем перевалило за полночь, хотя точного времени мы с супругой не знали — часов ни у того, ни у другого не было, когда с вокзала пошли, на часах привокзальных, черной ковригой висящих над перроном, стрелки показывали два часа ночи с чем-то. Ноябрьский морозец набирал в ночи силы и звонкости, ярче прорезались

звезды, прозрачная и круглая луна, что льдина, вытряхнутая из ведра, несколько раз объявлялась, но наплывающие дымы из близко ухающего, звякающего, мощно вздыхающего завода то и дело мутили высь, глушили всякий свет.

Вдруг небо начало подниматься и озаряться, будто от мощного взрыва. Но взрыва не последовало, лишь в полнеба разлилось яркое зарево и стало медленно угасать, оседая горячей пылью на землю.

— Что это?

— Шлак. Горячий шлак из домен на отвал вылили. Очень красиво, правда?

— Да, очень.

— Ты потом это все увидишь.

Говорить стало не о чем. Мороз, как говорится в знаменитой чеховской фразе, крепчал. Надо было идти под крышу, в тепло. Отступить некуда. Виновато примолкли оба, не играли в шевяки, не разговаривали. Супруга снова вырвалась вперед. Я тащился за нею.

— Папа тропинку прогреб! — со светло пробуждающей ласковостью сказала спутница.

— Как ты узнала?

— А он всегда с вечера, если ж ночью снегу наметет, раньше всех встанет и прогребет тропинки. Да и некому больше...

Мы приблизились к мирно в снегу спавшему деревянному полуторазтажному дому и оказались в нешироко сколоченном тесовом тамбуре, перед дверью в дом, с обшитой жостью замочной скважиной. Вдоль тамбура на чурбаках покоилась толстая доска.

— Ну вот... Теперь посидим, — дрогнувшим голосом сказала спутница, и мы затихли на холодной скамье. Я впервые почувствовал, что она, спутница моя, тоже волнуется после долгой разлуки с родным домом. Ей и радостно, и боязно сейчас. Ободрявшая меня всю дорогу словом и взглядом, она оробела у родимого крыльца и сама нуждалась в поддержке, чтоб разделить с нею ее долгожданное и тревожное волнение.

Я нашарил ее в темноте тамбура, пригреб к себе. Она благодарно ткнулась мне в шинель мокрым лицом и, содрогаясь от плача, целовала меня в шею, в щеки, норовила попасть в раненый глаз. Я гладил ее коротко, по-армейски стриженные волосы по-за шапкой, очерствелые от дорожной пыли и грязи...

— Ну вот, все! Приехали! — с облегчением, утирая лицо платочком, еще раз, уже летуче, чмокнула она меня в щеку и заторопилась: — Сейчас! Сейчас! — нетерпеливо шарилась она за надбровником дверей, обметанным куржаком. — Да где же он? Папа всегда его сюда клал... — И вдруг счастливо залилась. — Во-от! Во-о-от он! — прижала большой железный ключ ко груди, словно мадонна малюсенького младенца. — Во-о-от он, голубчик! Во-от! На, открывай! — сунула она мне ключ. И я догадался, что это имеет какое-то значение.

Долго я возился, но дверь не отпиралась. Нетерпеливо топтавшаяся сзади меня, жена моя давала советы, затем не выдержала, отстранила меня и сама принялась за дело.

В глуби дома почувствовалось движение, слышались приглушенные голоса, наконец, нерешительно вспыхнул свет, выделив в темноте два низко осевших в снег окна. Скоро проскрипела избяная дверь, мы почували, что в сенках кто-то есть, прислушивается к нам.

— Ой, да что же это такое?! Ну что же это такое? — вертела ключ туда-сюда новоприезжая, хрустя им в скважине, и повторяла уже сквозь слезы: — Ну что же это такое?! Всегда замок открывался нормально...

— Кто там? — раздался робкий и в то же время воскресающий голос человека, чего-то узнающего или почувствовавшего дальним уголком сердца, но еще не отошедшего от подступившего страха, не верящего в накатывающую радость.

— Дочь, Марея, это ты?

— Я, папа, я!

— Мати! Мати! — всплеснулось за дверью. — Дак это же она, Марея, с войны приехала!

— Миля, ты?!

— Я, мама, я!

— Ваня! Зоря! Тася! Вася! Миля приехала! Миля! — с облегчением, словно бы пережив панику, дрожал за дверью голос. Слышно было, как по избе бегали.

— Да пошто же ты не идешь-то? Чего там долго копешься?..

— Дверь открыть не можем!

— Дак ты не одна?

— С му-ужем я!

— С мужем?! Дак где-ка он-то?

— Да тут он, тут.

Кольнуло: коли муж, дак куда он денется?

— Замок-то у нас испортили варнаки какие-то. Да мы его переставили задом наперед, а ты по-ранешнему вертишь. Ты ключ-от глыбже засунь и к Комелину верти, к Комелину, а не к Куркову. К Комелину, говорю, к Комелину...

Супруга моя начала действовать ключом согласно инструкции — Комелины и Курковы, как выяснилось позднее — соседи. Вот к одному из них, левому соседу Комелину, и следовало поворачивать ключ. Я следил за действиями дорогой супруги смущенно — супругу тут звали разными именами, авантюристка она, не иначе! И матерая, видать! Доразмышлять на эту тему мне не дали — дверь наконец отворилась. В наспех накинутой лопотине шустро выскочила маленькая женщина, начала целовать мою тоже маленькую жену, обшаривать ее, гладить по лицу. Позади женщины, в глубине сенок, под тускло светящейся лампочкой, кто в чем толпился люд женского, но больше мужского рода. Высокий мужчина с круглой, будто у святого архангела, залысиной, обнажившей лоб, похожий на широкий двудушный солдатский котелок, — решительно сжимал в руке топор.

— Да в избу ступайте! В избу! — разнимал двух сцепившихся женщин довольно высокий пожилой человек с бородой. И хотя накинута на него была трофейная японская шуба с лисьим воротником, все равно угадывалась усталость в его большом и костистом теле. — Студено ведь в сенках! Говорю, в избу ступайте... И ты, солдатик, как ты звать-то? В пилотке ведь.

Мы оказались в низком кухонном полуэтаже с рылстой, внушительных размеров, русской печью. Толстые скамьи, углом приделанные к стенам, и углом вдвинутый в них, грубо сколоченный, семейный стол с «подтоварником» внизу. За печью был проем в виде двери, на нем раздернутая в спешке качалась тусклая занавеска. Было тепло и сонно в этом бедном просторном жилище, пахло умывальником, сохнувшими на печи мазутными валенками или другой какой обувью; из печи доносило преющим скотским сбоем, но запах варившихся почек и кишок крыло тонким слоем сохнувшей на шестке лучины, умело и тонко нащепанной, да беременем чистых лесных дров, аккуратно сложенных на полу, перед шестком.

Продолжались объятия, поцелуи, возгласы, слезы, миомолетные уже слезы, смех возник: «Папа-то, цапа перепугался! А Ваня-то, Ваня — за топор!» Я стоял, прислонив к

порогу чужого мне дома чемоданчик с совсем отощавшим за долгую и канительную дорогу, синим сидором за плечью и размышляла на привычную уже тему: «Зачем это меня сюда черти принесли? И вообще, зачем они всю жизнь меня куда-то заносят?..»

— Дак ты чё, парень, стоишь-то возле дверей? Раз приехал, дак проходи давай, проходи! — позвал меня возникший в моей жизни человек с непривычным наименованием — тесть. Но я все стоял, все стоял на месте, лишь переступил с ноги на ногу, давая знать, что внял проявленной чуткости...

— Господи! Про парня-то забыли! — всполошилась маленькая женщина с новым для меня наименованием — теща. — Раз ты теперь наш, проходи и не бойся народу. Народу у нас всегда много...

Тут супруга моя спохватилась. Успевшая когда-то сбросить с себя шинель и шапку, она, заметил я, и прежде сбрасывала их при первой возможности с облегчением.

— Знакомьтесь! Все знакомьтесь. Мой муж. Сибиряк!.. — На этом ее красноречие иссякло, и она, обведя всех вопрошающим взглядом, добавила: — Приехали вот!.. Привезла с собой... Прошу... Вот... Прошу любить, стало быть, своим считать... прошу любить и жаловать, как говорится.

Ох, как много было всякой всячины в этих словах и обидного для меня лишковато: «Привезла, видите ли! Теленка на веревке! Она! Привезла! Ха-ха!»

Но опять же и предупреждение: «Привезла в людный дом, но в обиду не дам, кривой на один глаз, зато человек хороший, может, и не очень хороший, зато добрый, боевой! Не на помойке найден. С фронта! Там худых держать не будут! Медаль худому не дадут! Тем более орден!..»

В общем и основном ее поняли, состояние ее почувствовали, начали со мной знакомиться ближе: Зоря, Вася — братья, Тася — сестра моей супруги, человек с залысынами архиерея — муж старшей сестры Клавы, живут они где-то за городом, на лесозаготовительном участке, в поселке с выразительным названием — Шайтан. Он вернулся с войны в конце сорок второго года, и, когда подал мне руку, вместо пальцев я сжал какие-то вислые, нетвердые остатки пальцев. Звали его Иван Абрамович! Тещу — Пелагия Андреевна, тестя — Семен Агафонович.

Зоря, Тася и Вася отправились по внутренней узень-

кой лестнице навверх досыпать — им утром на работу. Теща на ходу наказывала ребятам, кому и куда расположиться, рассредоточиться, чтобы высвободить кровать молодым, сама в это же время орудовала ухватом в печи и довольно ловко и споро для ее вовсе усохшего тельца выворотила из темного печного чрева здоровенный чугунок и сковороду такого объема, что ежели была она деревянная, в нее можно было бы садиться. Здесь, в этом доме, росло и выросло девять детей. Двое — Анатолий и Валерий — погибли на войне. Старший брат моей жены, Сергей, после госпиталя работал в лагерях для военнопленных. Еще одна сестра — Калерия — тоже где-то и как-то двигалась с фронта домой.

В объемистой сковороде оказалась вечёрошняя картошка, приправленная молочком и запекшаяся в загнете. В чугуне была похлебка из требухи.

Мы достали из моего рюкзака кусочек сала, яблок, луку и недоеденную в дороге краюшку хлеба. Хлеб наш был тут кстати. Теща, собирая на стол, все извинялась, что ни хлеба, ни выпивки нет. Тесть, глядевший на нее какое-то время с вожделием и надеждой, разочарованно буркнул: «Припасти бы...» Но он и сам понимал: припасать не из чего и не на что, закурил с удовольствием сигарку из мною предложенного табачку.

Мы с супругой в тепле быстро сомлели, чего-то сонно почерпали, в сковороду вилками потыкали. Теща с тестем разрезали и бережно съели по яблочку. Иван Абрамович пытливо разглядывал нас, покуривал, покашливал и, пока длилась трапеза, несколько раз выходил на улицу, вернувшись, сообщал, что все в порядке, что мороз кстати набирает силу.

Оказалось, что он привез из Шайтана на продажу тушу летошней телки. Тушу ту вывесили в сенках, и, когда мы принялись ломиться в дверь, обитатели дома подумали, что их выследили и лезут за мясом грабители. Оттого и поднялась паника. Похлебка сварена из требухи той убоины, которую привез Иван Абрамович. Она еще не успела упреть, свежо и резво отдавала наваром. Мы переключились на чаек. Чай морковный сна не лишал, но брюхо грел хорошо, и я скоро начал тыкаться носом в стол. Молодая моя супруга, по поводу и без повода раздумывающаяся, коей я чуть ли не на третьем свидании, всего их было семь, заявил, что ежели она еще раз накрадется, вытащу портянки из сапога и стеру. Супруга моя, сияя

румяным лицом, перескакивая с одного на другое, говорила и говорила. Тесть в разговоре почти не участвовал, но вслушивался в то, что говорили, и, не переставая дымить сигаркой, смотрел на дочь, приоткрыв успокоенно рот, ласково, дружелюбно и вроде как-то жалостливо, потеревливая реденькую, жиденькую бороду, помаргивая небольшими серыми глазами с короткими, выболевшими ресницами, и это его активное слушание было шибче разговору.

Лишь один раз он встрял в беседу и спросил: далеко ли будет та местность, где я воевал, от городу Витебску? Чуть заметно чему-то улыбнувшись, жена моя за меня ответила, как я уловил, потрафляя отцу, что недалеко, почти совсем рядом. Видя, что я хочу поправить ее, остановила меня предупредительно, погладив по рукаву, и я вяло подумал: да хрен их поймет, этих моих новых родственников, — плетут невесть что, впрочем, брехни почти нету — Украина, где я воевал, рядом с Белоруссией, и там этот самый Витебск вроде бы и находится.

Тесть, удовлетворенный ответом, пустил из бороды облако дыма, шмыгнул носом, про который говорится, что он на семерых рос да одному достался, отсюда вот и произошел и выдающийся нос моей супруги. И вообще она — вылитый папа.

Говор у меня отдалялся. Народ тоже уплывал в пространство — как-никак я руководил путем-дорогой, оберегал молодую жену от дорожных напастей, заботился о воде, о пропитании, нес путевую нагрузку, да какую! Поскольку до этого случая я никогда и никем не руководил, да мне и потом, кроме жены, никем руководить и командовать не доводилось, да и это оказалось глубоким заблуждением, которое рассеялось на исходе моего пятидесятилетия, когда, как мне думалось, я поумнел и кое-что на свете понимать начал.

Сбросив с себя всякую ответственность, потерял я бдительность всякую, расслабился, засыпать начал. Тесть, выполняя поручение женщин, повел меня наверх, давая в темноте направление руками, велел раздеваться, похлопал рукою по подушке, ласково обронил: «Вот здесь ложись и спи с Богом», — и деликатно удалился.

Когда пришла в постель жена, ложились ли спать взрослые — я не слышал. Эту ночь я спал так, как и должен спать демобилизовавшийся солдат; оставивший вдали войну

навсегда — без настороженности, без жутких сновидений, спал, доверяясь большому дому с такой мирной тишиной, устоявшейся в его недрах, с печным, из недр выходящим, теплом, со знакомыми с детства запахами коровьего поила, половиков, полосканных в мерзлой воде и сохнувших на морозе, с примолкшей на холодном окне, но все еще робко, последним бутонем цветущей геранью, чистой, хранящей снежную свежесть наволочкой под ухом, с осторожными, сонными вздохами в темноте, мирным говором и приглушенным смехом подо мною, внизу, на кухне.

Проснулся я поздно. Солнце крупной, беспокойной звездой лучилось в морозном окне, на котором стояла не одна герань, а целый их ряд в стареньких посудах, но цвела одна. В желобках рам накопилось мокро и по тряпочкам стекало в старые, недобитые кринки, подвешенные на веревочках к подушкам окон.

Рядом с моей головой, на крашеном, домашнего изготовления стуле, чтоб проснулся и сразу увидел, покоились мои, аккуратно сложенные брюки — галифе, гимнастерка с беленькой каемочкой подворотничка была подвешена на спинку стула так, чтоб кто ни войдет, сразу бы увидел на ней орден и медали. Так супруга моя — усек я, вставши спозаранку, может, и вовсе не спавшая, хотела подчеркнуть мои заслуги перед Отечеством и одновременно как-то выделить перед родней и людьми, вместе с тем и свое старание и заботу подчеркнуть. Не скрою, я был тронут, но когда она, уже в домашнем, стареньком халате, взбежала наверх, присела на край кровати и спросила: «Ну, как ты?» — я вальяжно, с подчеркнутым равнодушием и ленью ответил: «Да ничего, окопался».

Заметив, что пригасил в ней радость, потрепал ее по голове, и она, удержавшись на высоком взлете бодрости, сообщила:

— А папа уже баню истопил! — и запнулась, покраснела. — Вот! — и похлопала ладошкой об ладошку, держа руки ребром на коленях.

Понял я, понял — не чурка уж совсем-то, да и выспался, соображать начинаю: нам, молодоженам, по-старому российскому обычаю идти в баню вместе. Вдвоем. Родители ж не знают, что мы и ознакомиться друг с другом не успели, что мы еще никакие не муж, не жена и расписаны лишь в красноармейской книжке, мы и не женились по-человечески, мы сошлись, на ходу, на скаку, в военной

сутолоке. Было, конечно, кой-что, но тоже урывками, без толку и расстановки, все с опаской: вот войдут! Вот застанут! А теперь вон — в баню! Вдвоем! Но там же ж, в галифе, в гимнастерке с медалями не будешь. Там же ж раздеваться надо, донага! Обоим! Мыться надо и, как загадочно намекали сверхопытные вояки нашего взвода, «тереть спинку!».

А, батюшки-светы! Столь мало сроку прошло с рокового того дня, после похода в ЗАГС, за прошлюбом, а переживаний, переживаний!.. Баню, понимаешь ли, натопили! Это ж в баню сходишь — и все! Это уж значит — муж и жена! По-настоящему! Конечно, и жена моя новопеченная, тоже не святая. Я оскоромился в станице Хасюринской — приголубила меня там казачка удалая. Любовь госпитальную пережил, тоже с переживаниями!.. Но чтоб в баню, вместе! Это очень уж серьезно! Это уж как бы в атаку идти, в открытую — страх, дым, беспамятство...

— Робята! Дак вы чё в баню-то не идете? Выстынет ведь, — раздался с лесенки голос тестя.

И я докумекал: отступать некуда. Надо принимать вызов. Рывками оделся, натянул сапоги, громко, тоже с вызовом, притопнул и с вызовом же уставился на супругу, завязывавшую в узелок бельишко и отводившую от меня глаза да в забывчивости громко, обиженно пошмыгивающую папиным носом.

— Куда прикажете?

— Что?

— Следовать куда прикажете?!

Напрягшись лицом, она молча показала мне на дверь, ведущую с верхнего этажа на другую, холодную, лестницу и по ней, через сенки, во двор. Там — вот она эта и баня — рылом в рыло.

Вышел и уперся. Не на задах огородов баня, не в поле, не на просторе, как у нас в селе, вот она, с закоптелым передом, с удобствами, с угарным запашком в предбаннике.

Еще больше разозлившись от того, что нет к бане долгого и трудного пути, некогда обдумать свое поведение и собраться с духом, решительно распахнул я дверь в угольную, чистенькую баню с окаченным полком, с приготовленным на нем веником, с обмылком на широкой, замытой скамье — этакое, миротворно дышащее теплым полутемным уютom заведение с яростно накаленной ка-

менкой. В топке каменки все еще тлели угли, вздымаясь ярким светом в середке и медленно притухающие под серой пленкой вокруг кипящего кратера. Тесть еще не знал, что я после контузии не могу быть в жаркой бане и никогда более не смогу испытать российской улады — попариться. Но человек старался. Надо уважить человека. Я сорвал с себя верхнее, повесил грязное белье на жердь — для выжаривания, сложил в сухой угол верхнее, подумал-подумал и портянки повесил на жердь — более никакой работы, никакого заделья не было.

Супруги моей тоже не виднелось. В предбаннике, за дверьми, она не слышалась. Я взял сапоги за ушки и, чтоб они не скоробились от жары, решил их выставить в предбанник. Предупредительно кашлянув, захватив грешинку в горсть, распахнул я дверь бани, уверенный, что супруга там разделась и ждет моей команды на вход, на холоду ждет и получит от меня за это взбучку. А она опять мне в ответ чего-нибудь выдаст, и там уж в предбаннике все как-нибудь само собой наладится.

Но она, сжавшись в комочек, опустив голову, сидела на дощечке, приделанной вместо скамьи, и теребила ушки узелка с бельем...

И тут я сорвался! Тут я рывкнул:

— Чё сидишь?! Целку из себя корчишь... — и ринулся в баню, оставив распахнутой дверь, загремел тазом. — Семерых родила и все целкой была!.. — Солдатский фольклор, сдобренный оскорбительными присказками, хлестал из меня потоком. Увы, долго ему еще хлестать — исток-то уж очень бурноводный!..

Вконец перепуганная супруга моя тенью проскользнула в баню, принялась в уголке раздеваться. Я долбил себя каменным обмылком в голову, драл себя вехоткой так, будто врага уничтожал, казнил, снимал с него шкуру, продолжая, как ныне принято изъясняться, «возникать» до тех пор, пока мне в разверстую, срамное изрекающую пасть не попало вонючее мыло. Тогда я полез на полку и принялся хлестаться веником, в обжигающем поднебесье рыча на жену: «Сдавай! Еще!..»

Когда я перестал рычать, смолк на полке, выронил веник — какое-то время не могла бедная баба понять, что со мною случилось. Во мне весу тогда было немного, полку и пол были скользкими, бабенка, хоть и мала ростиком, но хватиста. Выперла меня волоком по мыльным половицам в предбанник, положила на что-то подостлан-

ное, прикрыла сверху своим халатиком. Я очнулся, повел глазом туда-сюда, узнал этот неприютный свет, попытался изобразить улыбку. Жена чуть заметно улыбнулась и с облегчением выдохнула:

— Ну, воин сталинского фронта! Ну, фрукт с сибирского огорода! Отбушевал! Отвоевался?

Я к чему так подробно про баню-то? Да потому, что потом очень уж много читал и слышал, что на фронте мы «огрубели», и грубость та чаще всего преподносилась в том смысле, что мы разучились целовать дамам ручки, пользоваться столовым прибором, танцевать чарльстон...

Дело обстояло гораздо сложнее да и гораздо тоньше.

Когда молодой, да и немолодой человек тоже, уходит из-под устоявшегося «духовного контроля», от наблюдений тяти-мамы, от постоянного нравственного «гнета», от школ, от учителей, от «хорошо» и «плохо», от надоедлых «можно — нельзя», от младших братишек и сестренки, которым надо подавать «пример», от бабушки с бабушкой, от их ворчанья и поучительного ремешка, от того, как есть-пить, сидеть и лежать, вести себя среди людей и в лесу, на пашне и в огороде, на деревенской вечёрке и в клубе, во Дворце культуры, на танцплощадках, а то и в церкви, окруженному со всех сторон то Богом, то Пушкиным и Лермонтовым, то Толстым и Некрасовым, то Суриковым и Нестеровым, то Петраркой и Дантом, то Сервантесом и Шекспиром, то Чайковским и Бахом, то Бетховеном и Мусоргским, то просто деревенским грамотеем и гармонистом, или уж на весь городской двор известным шахматистом, футболистом иль математиком, уходя или вовсе уйдя от всего этого, как бы растворенного в воздухе человека, постоянно дышащего спертым «кислородом», который в окопах выгорает, заменяется непродышливой заразной атмосферой, основная составная часть жизнедеятельности человека, стало быть кровь, постепенно начинает чернеть, густеть, закупоривать вены и извилины в башке. Вернуть изначальный состав крови, становится самим собой очень трудно — для немалого числа фронтовиков это дело оказалось непосильным. К зверю ближе, к человеку, веками трудно пестуемому, при его упорном сопротивлении, далеко и очень, вот часть фронтовиков и подались к зверям. Я тут не имею в виду тех, кто в собственном мнении, в глазах своих, выглядит, иль точнее, хотел бы выглядеть лучше, чем есть на самом деле.

Но я тоже не кадетский и не царский, и не «тюр-люм-тюм-тюм-тюм...», как виртуозно пел питерский бильярдист Дымба в не менее виртуозном исполнении любимого всеми артиста Жарова. Увы, я «насквозь» советский по рождению, по воспитанию и гонору. Привык вот, и быстро привык, есть лежа на боку или стоя на коленях из общей, зачастую плохо или вовсе немой посуды, привык от весны до осени не менять белье и прочую одежду, месяцами не мыться, иногда неделями и не умываться, привык обходиться без мыла, без зубной щетки, без постели, без книг и газет, без клубов и театров, без песен и танцев, даже без нормальных слов и складных выражений — все слова заменены отрывочными командами, необходимым минимумом междометий для объяснения между собой и командирами, необъятного моря матерщины, грубостей, скабрёзностей, военного жаргона, во многом заимствованного у подзаборников, урок и всякой тюремной нечисти — все это как раз и соответствовало тому образу существования — жизнью это назвать нельзя — преступно, постыдно, античеловечно называть это жизнью.

Придет время, я приобрету — для работы, книжечки фронтового немецкого жаргона и фольклора, по-ученому — сленга, и поражусь, что немцы, несмотря на разницу наций, чопорность и культуру европейскую, по поганству и срамоте капля в каплю совпадают с нашим «добром», накопленным на фронте. Разница лишь в том, что все у нас виртуозней, забористей, но по сраму, пакости прищельцы отгудова все же нас превосходили!

Чтобы не запятнать, точнее, не заляпать лик советского воина-победителя, ни окопный фольклор, ни жаргонные словари у нас долго не издавали. Несколько книжечек, писем с войны, фронтовых песенок, что просочились на свет сквозь нашу многоступенчатую цензуру и ханжество наше, не в счет — слишком частое сито, уж не мука — крупчатка осталась и попала на бумагу, но ангельски-чистый, почти серебриющийся, бус и небесная голубая пыль, которою осыпали во дни торжеств королей и королев, блистательных избранниц, сиятельных вождей.

И вот нас, солдат-вшивиков, такой же дезинфекции подвергли, вонь-то и срам постыдства войны укрыли советской, благостной иконкой, и на ней, на иконке той, этаким ли раскрасавец, этаким ли чопорный, в чистые, почти святые одеяния облаченный незнакомец, но велено

было верить — это я и есть, советский воин-победитель, которому чужды недостатки и слабости человеческие.

Моя мирная жизнь началась с нелегкого, но привычного уже с фронта труда — таскания бревен.

В тот же воскресный день, после обеда, когда Иван Абрамович быстро отторговался мясом, выставил он по этому случаю бутылку самогонки, отдающей ржавчиной, осушив которую, мы все почувствовали себя родней и ближе друг к другу, поговорили о том, о сем, больше о войне, о недавних делах и потерях, Иван Абрамович, с деньгами за голяшкой валенка, отправился в свой Шайтан засветло, чтоб капиталы в потемках не отняли. Отправился он по реке Чусовой, которая была в заберегах, вставала на зиму, сонно уже шурша, теснилась по стрежи взъерошенной шугой и вот-вот должна была застыть. Мы с братом жены, Азарием, подались в другой конец города, на другую реку, на Усьву, в которую чуть выше железнодорожного моста впадала еще одна красивая река — Вильва.

Все их мне предстояло увидеть, проплыть, познать и полюбить.

Выйдя на берег, я увидел мост. За железнодорожным мостом в один пролет заречные дали; меж ошметиненным льдом шевелящуюся черную воду рек Усьвы и Вильвы, на плесах уже схваченных гибкой перепонкой стеклянистого льда. Но меж гор, на перекатах, от дурости характера реки-сестры все еще брыкались и парили. Под горбатой Калаповой горой подле моста соединившиеся Усьва и Вильва впадали в реку Чусовую. Разбежавшийся по берегам трех рек, по логам карабкающийся в косогоры — городишко, в котором мне предстояло жить и прожить почти два десятка лет, был чем-то притягателен и даже родственен, несмотря на свой чумазый индустриальный облик. Много я тут горя переживу, много испытаю бед и несчастий, но место это уральское, городишко этот, открытый бесхитростным рабочим ликом всем непогодам и невздам, всем грозам, градам и ливням, прирастет к сердцу. Навечно. Здесь, именно здесь, завихряясь над ним, заканчивается течение Гольфстрим. Кроме погрома и несчастий, сия причуда природы ничего другому городу не принесет. Но что бы тут ни случилось, город моей жены займет особое место иль, скорее, сокровенный уголок в моем сердце, не чуждом добру и красоте.

Хитрую и причудливую географию уральского места, где родилась, выросла, вышла в огромный мир, навстречу мне моя жена — Миля, Маша-Мария, которая как в Сибирь попадет, то и четвертое приобретет имя — Маня — так ее наречет обожаемая ею Наталья Михайловна, жена моего старшего дяди, неутомнейшая тетья Таля, я, по велению Божию, еще открою и усвою.

Но уж раз унесло в сторону от повествования, сразу же поведаю о местных особенностях.

Дела с уральскими реками-сестрами обстоят так. Начавшись где-то аж за хребтом Рифеем, в Екатеринбургше, река Чусовая прорезала тот хребет, что черствую горбушку хлеба — единственная река, которой удалось одолеть такую крепкую преграду, — катила она свои бурные воды меж скал-бойцов, подле утесов, через пороги, шивера и перекаты и впадала в Каму, выше Перми, невдали, опять же, от красивой реки Сылвы, точнее сказать — Сылва впадает в Чусовую, та уж через несколько верст — в Каму.

Ныне Чусовая уже ничего и никого не катит. В ней летом и катить-то нечего — засорили ее лесозаготовители молевым сплавом так, что самая красивая река Европы почти умерла. Оживала в весеннее водополье, будто больной раком человек перед кончиной, на недельку-две — и все! Даже лесу плыть не по чему — не было воды в когда-то полноводной, буйной, дивной реке, где была и промышленность, в основном металлургическая и горнорудная. Но большей частью население хлебоборбничало, промышленяло рыбу, зверя, лес рубило и даже плавало его плотами.

На одном из красивейших отрогов Западного Урала — Бассегах, почти в одном месте, из талых снегов и голубых ключей, точнее, из замшелых камней, под корнями кедрочей, светлыми зарничками высекались разом три реки: Койва, Усьва и Вильва. Названия у них коми-пермяцкие, бесхитростные. «Ва» — значит «вода»; прибавления к этому «ва» совсем не выдуманые, глазом пойманные: «светлая», «голубая».

Какое-то время реки-сестры, еще пока сестренки, семейно, дружно, игриво катились с хребта вниз, переговариваясь в перекатах и шиверах, шумя и сердясь в порогах, но, взрослея, входя в невестин возраст, они и норовом, и характером становились строптивей и, где-то в лесах дремучих, в камнях угрюмых Койва, хлопнув подолом, мол, и без вас теперь проживу — отделилась от сес-

тер и заныривала в уремную, каменную даль. За норы и строптивость наказал ее Создатель дважды: дал ей путь трудный, криушастый, за что и осталась бобылкой, одиноко, почти грустно впала в Чусовую верстах в шестидесяти от сестер. На горе реки побаловал Койву Создатель украшениями: насыпал в светлое русло реки алмазов, позолотил ее донышко, будто конопатинками, желтым металлом, украсил платиной и цветными камнями берега...

Ох, Создатель, Создатель! Знал бы Он, как за эти дивные украшения измордуют люди отшельницу-сестру! Так и не усердствовал бы. Они, эти люди, хозяева земли, просто уничтожат реку, сперва сплавом, затем тракторами-трелевщиками, после драгами перероют, превратят в бесформенную груду камней и галечных бугров, меж которых мутные, юркие, впереверт, так и сяк будут вилять, суетиться сгустки безжизненной жижи, по старой привычке именуемой водой.

Усьва и Вильва текут вместе и лишь временами отдаваясь одна от другой, как бы на женский лад напевая известную довоенную песню: «Ты мне надоела!» — сказала одна, «И ты мне обрыдла!» — отвечала другая, взревев, утекала в сторону. На Вильве долго и населения никакого не было, там-сям кордон притаится, к травянистому берегу водомерный пост прильнет, охотничья избушка одним глазом из лесу выглянет — и все.

Усьва была тоже долгое время безлюдна, хотя и пересекала ее железная дорога горнозаводского направления, что проложена на Соликамск. Со временем на Усьве появится угольная шахта, затем другая, возникнет станция, городок невелик и неширок, ну и гораздые на пакость сплавные «гиганты» типа «Мыса», «Бобровки» с зэковским лагерьком-попутчиком «украсят» дивные берега таежной красавицы, оскорбят ее пустынные пространства трудовым, «ударным» матом.

Когда мне доводилось изображать бурную жизнь и боевую работу лесозаготовительных предприятий Урала, я в газете «Чусовской рабочий» называл все это индустриальным героическим гулом. За склонность изображать советскую действительность в «лирическом ключе» мне иногда платили повышенный гонорар в размере десятки, когда и двадцати рублей.

Реки-сестры, покапризничав, попетляв меж гор по уральской тайге, по болотам и падам, сближались нако-

нец, и младшая, более ласковая нравом, пройдя верст десять на виду и на слуху совсем уж в лад и в ногу с Усьвой, синеньким, пенящимся омутком припадала к сестре. Та сразу же притормаживала ход, смолкала, и через несколько верст, под Калаповой горой спокойно, доверительно летом и стремительно, шало веснами сливалась с уральской мамой — Чусовой, и какое-то время еще гнала, качала на радостях свою беззаботную волну вдаль, к старшей маме — Каме, ныне — в Камское водохранилище, по праву и нраву названное водогноищем.

Вот куда, в какую пейзажем богатую благодать привезла меня жена, аж на три реки сразу!

Совсем недавно я посетил те родными мне сделавшиеся места. Обрубленные, замученные, почти засохшие реки оживают — нечего по ним больше плавить, рыбалка оживает, лес подрастает, городские и заводские трубы почти не дымят — завод металлургический переведен на газ, и как-то разом, стихийно, по всем пустырям, логам, переулкам, на каждом клочке оглохшей земли взнялась какая-то совершенно дикая и стихийная растительность.

Была осень. Город выглядел пестро и лохмато, по косягам рядками поднимался рукотворный сосняк. На старом, до каменной плоти выветренном кладбище, уже среди города, тесно росли топольки, когда-то посаженные, во времена воскресников, трудящимися и долго-долго мучавшиеся тонкими прутиками на свистящем ветру.

Медленно, трудно, будто после продолжительной, с ног сваливающей болезни, воскресает Урал. Упрямая земля, стойкая природа. Едем в машине по самому хребту Урала, меж холмов которого не течет, а лежит в жухлой траве изнасилованная старушка Чусовая, и по всему хребту плотная, удушливая, грязно-серая пелена. Смог. Почти непроглядный — два указателя на дороге: с одной стороны дымит древний уже город Сургут, с другой — город помоложе, но не менее дымный и вредный Первоуральск.

Меж этих городов, под дымным покровом, который и небом-то не хочется назвать, — желтизна лесов. Еще живы! Еще вымучивают рубленные-перерубленные, сводимые и замученные леса листву, еще хранят частицу воздуха для людей, еще тихо надеются, что спасут Урал, спасут леса и землю, а значит, и себя бездумно живущие люди — не могут же они веки вечные заниматься самоистреблением!

На одной из трех рек, на Вильве, чуть пониже моста,

почти против галечной стрелки, вознесшей над собою несколько могучих, сребролистых осокорей, в лед впаянные, сиротливо желтели бревнами и белыми болячками срубленных сучков два плота, добротнo сколоченных из сушняка. На сплотке тесть мой плавил сено для коровы. Осенняя вода на Вильве прошедшей осенью выдалась малая, набродился тесть, бедняга, до обострения старого ревматизма, вовремя не выкатил бревна на берег, которые и были главным топливом во многолюдном доме. Зоре — Азарию, на заводе работающему, выходные не дали — и вот результат: топливо намокло, вмерзло в заберегу.

Мы с Азарием взялись за пешню и лом, бойко одолбили плоты, перерубили крепкие и ладно врезанные перепоны — майны, скрепляющие бревна меж собой, и начали выкатывать бревна на берег, чтоб сегодня же вечером, в крайности завтра днем вывезти их на машине и испилить на дрова. Тесть оживился, руководил нами уверенно, пытался где и помочь, подвалить, приподнять стяжком или подтолкнуть бревно, но под тяжесть не становился — крестец и ноги его хрустели, он часто присаживался на выкатанные бревна, сворачивал сигарку в тетрадный лист величиной, сыпал в нее пригоршни каких-то серо-зеленых крошек, отдаленно смахивающих на табак, и дымил, что пароход трубою, повествуя мне о том, как тяжела доставка сена на плотах в город. Дорог на Вильве нет. Зимой кто за двадцать шесть верст поедет, да и коней где допроситься? А он вот обезножел... то экзема, то ревматизм... Скоро, видно, придется попустить коровенкой. А как без нее, без коровы-то? Жизнь прожили при корове, ребят подняли считай что на своем молоке да огороде. С фронта вон дети начали ворочаться, глядишь, у них робятишки пойдут — им тоже без молока не обойтись. А на базаре что хлеб, что молоко, что овощи — ой как кусаются!..

Говорил тесть негромко, чуть виновато, каялся, что вот нам с Азарием не помогает... Видно было по всему, что главную работу по хозяйству он привык делать сам.

Чем поразил меня тесть в день нашего трудового знакомства, так это тем, что совершенно не выражался, ни матерно и никак, в случае неполадок он употреблял какие-то мне почти неведомые слова: «У-у, никошной!», «У-у, корино!», «У-у, варнаки!..» — и еще что-то детски-забавное, безобидное, никаких таких бурных чувств не выражающее.

Азарий, большеголовый, мягкогубый, улыбчивый парень, тихо посмеивался, слушая мои, как вдох и выдох, с губ моих слетающие, вольные выражения. Тесть сперва хмурился, потом, показалось мне, вовсе перестал меня слышать, может, и я, незаметно для себя, окоротился?

Работа шла у нас ладно. В тот день мы накрепко и, как оказалось, навсегда дружески сошлись с братом моей жены и ближе сдружились с тестем. Я даже назвал тестя разок другой папашей да так старика до конца его дней и называл.

Мы устали, намокли и намерзлились. От мирных осенних пейзажей, от грустной ли тишины предзимья и пустынно утихающих рек я совсем забыл про войну, про строительство землянок, блиндажей, ячеек и всяких там «точек», открыл рот и за потерю бдительности получил по носу вершиной бревна. Сперва мы с Азарием носили бревна, попеременно становясь под комель, заметив, что я припадаю на ломаную ногу, к вечеру под комель начал становиться только шурин, и, когда мы донесли последнее бревно до штабелька, он, видать, выдохся, а я зазевался. «Оп!» — крикнул Азарий и катнул бревно с плеча, я ж чуток припоздал. Бревно ударилось комлем в землю, вершина же припала мне по носу. Я как не был на ногах. Круги передо мной разноцветные закатились, в контуженной голове зазвенело еще веселей. Приоткрыл глаз, Азарий мне к носу снег прикладывает, тесть топчется вблизи: «Ну ладом же надо!..» — выговаривает.

Пока шли домой, нос мой съехал на бок, переносица посинела, и Азарий все спрашивал: «Ну как?». «Да ничего вроде, — бодрился я. — Бывало и хуже...»

Дома раздурмянившиеся, шустрые теща и жена моя собрали на стол, попотчевали свежей стряпней, в которой картошек было больше, чем теста, тудягам дали выпить мутной, еще не выбродившей браги. С мороза, с совместного труда чувствовал я себя за столом смелее и свойски. Азарий и Тася, пришедшая с работы, нет-нет да и прыскали, глядя на мой свороченный нос, жена меня жалела, хотя тоже через силу, чувствовал я, сдерживала смех. Теща всплескивала руками, поругивала сына, подкладывала мне еду и сулилась на ночь сделать примочку. Тесть перестал ворчать на Азария, поглаживал бороду, все пытался вклиниться в разговор — нет ли и в Сибири городу Витебску, в котором он когда-то служил солдатом. И когда узнал, что Витебск в Белоруссии, был под врагом и шибко раз-

рушен, тещь горестно покачал головой: «Гляди-ко, варнаки и дотудова добралися!..», после чего свернул сигарку, пустил бело-сизый дым и сказал:

— Ступайте, робята, наверх. Ступайте. Я тут уж накурил — надымил дак...

Так мирно и ладно завершился мой первый трудовой день на новой для меня и древней для всех уральской земле.

Примочку на ночь теща мне сделала, но когда и при каких обстоятельствах она спала с моего лица и оказалась подо мною, сказать не могу, так как был молод, совсем недавно женат да и бодрой браги с вечеру почти ковш выпил — мне, как ранетому, выпала добавка, отчего в голове забродило и внутренях получилось броженье.

Мирная жизнь не начиналась. Мирная жизнь брала за горло и заставляла действовать, иначе пропадешь с голodu. При демобилизации я получил сто восемьдесят четыре рубля деньгами, две пары белья, новую гимнастерку, галифе, пилотку, кирзовые сапоги, бушлат, который, как уже сообщалось, тут же обменял на форсистую шинель канадского сукна и цвета осеннего неба. Жена моя получила то же самое, только все в переводе на женский манер, и еще шапку, поскольку служила в войсках более ценных, чем какая-то артиллерия и связь, да и звание имела повыше — старший сержант, так денег ей дали восемьсот с чем-то рублей, да она еще с зарплаты маленько подкопила и получилось тысячи полторы у нас совместного капитала. Однако дальняя дорога и дороговизна на продукты до того истощили наши капиталы, что явились мы в отчий дом жены без копейки, что, конечно, не вызвало у родителей восторга. Пелагия Андреевна, вечная домохозяйка, не получала никакой пенсии. Семен Агафонович, как бывший железнодорожник и — о судьба-кудесница! — имевший ту же профессию, что и я до фронта — составителя поездов, попросту и без форсу говоря — сцешника, имел пенсию рублей, может, триста или около того. Денег тех хватало лишь на отоваривание продуктовых иждивенческих карточек да для уплаты за свет. Налоги же, займы и прочие свои и государственные расходы покрывались за счет Девки — так звали в этом уральском семействе корову. О корове той речь впереди, потому как

место она в жизни многолюдной семьи занимала большое, временами — главное.

Азарий работал на заводе, получал неплохие деньги, имел рабочую карточку да еще ночами прирабатывал: ремонтировал пишущие машинки, арифмометры и другие какие-то технические мудреные предметы, не гнушался и грязного труда. Работал много, спал мало, собирался жениться на какой-то Соне, подкапливал деньжонок, питался в энтээровской столовой, куда сдавал продуктовую и хлебную карточки, домой отдавал лишь дополнительную, льготную. Я помню, очень удивлялся, сколь за мое отсутствие было изобретено и выдуманно всякого льготного, отдельного, дополнительного, премиального, поощрительного — за тяжелое, горячее, вредное, за сверхурочное, за высокопроизводительное...

За высокоидейное тоже давали, но пока еще жидко, неуверенно — всему свой час — исправят и эту оплошность блюстители порядка, направители морали, главными они едоками сделаются и неутомимыми потребителями всяческих благ.

Тася училась на курсах счетных работников, получала маленькую стипендию и «служащую» карточку на шестьсот граммов хлеба. Вася заканчивал ФЗО в группе маляров-штукатуров, уже проходил практику на строительстве заводских общежитий, питался в училище и дома, ему, заморенному, с детства недоедающему, мать выделяла вареных картошек да молочка. Парень он был в отца, рослый, мослатый, молчаливо-застенчивый, читал много и без разбора. Мы его застали в тот момент, когда он ночи напролет читал толстый том Карла Маркса, ничего, как оказалось потом, в нем не понимая. Простудившись на строительных лесах, он переболел гриппом, затем тяжелейшим после него осложнением. Теперь это зовется менингитом, и страдал уже тяжким, неизлечимым недугом. Но про менингит нам никто не сказал и о надвигающейся в семье трагедии мы долго ничего не знали. Да и не до «мелочей» нам было в ту пору, не до чужих недугов...

Надев военную шапку жены и свою форсистую шинель, под нее папашину душегрейку, я снес на базар запасную пару белья и, потолкавшись среди военного в основном люда, роящегося на холодном пустыре, обнесенном черным от копоти, шатнувшимся в лог, местами уже

и упавшим забором, посреди которого стояли два дощаных торговых «павильона», по которым гулял ветер, потому как тес с них был сорван, столбы щетинились ржавыми гвоздями и под крышами «павильонов» утрюмо и пустынно гудело, я реализовал свой товар. На вырученные за белье деньги тут же, на базаре, в дощаной будке сфотографировался на паспорт, купил полбулки серого, смятого хлеба и стриганул домой, радуясь тому, что жене выдали шапку, что головы у нас одного размера, вот только характеры разные. Совсем разные. Разительно разные. Но Бог свел, соединил нас, и родители своей жизнью нам и всем доказали, что женитьба есть, а разженитьбы нет.

Через три дня я получил фотокарточки и отправился в райвоенкомат сдавать военные, и получать гражданские документы, и обретать уж полностью гражданскую свободу.

Военкомат от дома тестя был в полуквартале, располагался он тоже в полутораэтажном, характерном для уральцев доме — нижний этаж или полуэтаж, точнее, сложен из кирпича. Дом просторный, крепкий, в елочку обшитый по стенам, украшенный тяжелыми и широкими воротами, на которых, впрочем, были кем-то и когда-то сняты створы, вышиблены или сняты резные надбровники и прочие украшения, но сам массивный остов ворот упорно стоял, ветрам и времени не поддавался, так же и пиле, потому что виднелось по низу столбов несколько уже почерневших подрезов.

Я подумал, что дом этот купеческий. И не ошибся.

Как только ступил я в этот просторный дом, так сердце мое и упало, и вовсе бы на пол вывалилось, да крепко затянутый на тощем брюхе военный пояс, наподобие конской подпруги, с железной крепкой пряжкой — удержал его внутри. В доме было не просто тесно от людей. Дом не просто был заполнен народом, он был забит до потолка военным людом и табачным дымом. Гвалт тут был не менее, может, и более гулкий, разноголосый, чем тот, которым встречали царя Бориса на Преображенской площади, где чернь чуть не разорвала правителя на клочки.

Солдатня, сержанты, старшины и офицерики-окопники сидели на скамьях, на лестницах, на полу. Сидели пофронтовому, согласно месту: первый круг — спинами к стене, второй — спинами и боками к первому, и так вот, словно в вулканической воронке серо-пыльного цвета, в пыль обращенное, отвоевавшееся войско обретало гражд-

данство. В долгих путях, в грязных вагонах, в заплеванных вокзалах защитный цвет приморился, погас, и это человеческое месиво напоминало магму, обожженную, исторгнутую извержением из недр, нет не земли, а из грязных пучин огненной войны.

В эпицентре воронки, на малом пяточке затоптанного и заплеванного пола нижнего этажа стоял старый таз без дужек, полный окурков. На полу же цинковый бачок ведра на три с прикованной за дужку собачьей цепью поллитровой кружкой.

Наверху располагались отделы военкомата, и путь к ним преграждался на крашеной лестнице поперек откуда-то принесенным брусом, запиравшимся на щеколду, еще там двое постовых были, чтоб никто под брус не подныривал и щеколду не отдергивал.

Подполковник Ашуатов опытный был командир и бес по части знания психологии военных кадров. Бывший командир батальона и полка, он понимал, что сухопутный русский боец в наступлении иль в обороне ничего себе — работающ, боеспособен, порой горяч, хитер, но на ответственном посту нестойк, скучна ему стоячая служба, лежащая еще куда ни шло, но стоячая, постовая...

Может постовой уйти картошку варить, но скажет, что оправляться, либо с бабенкой какой прохожей разговорится и такие турысы разведет, такого ей арапа заправлять начнет о никудышной его холостяцкой жизни, и про службу забудет, бдительность утратит и запросто дивизию врагов в боевые порядки пропустит.

Ашуатов поставил у «шлагбаума» двух моряков. Те нагладились, надраились и стоят непреклонно, грудь колесом, вытаращив глаза, подражая, видать, любимому своему капитану. Ни с какого бока к этой паре не подступишься, ничем не проймешь. Они и словом-то не обмолвятся, только надменно кривят губы, словом удостаивают лишь старших по званию да девок из военкоматского персонала.

Стой бы пехотинец или артиллерист, либо танкист, даже легчик — тех воспоминаниями можно растрогать, до слез довести, выкурить вместе сигарку. «Как там?.. А! Э-эх!..» Пехотинца Ивана так и на пустычок можно прикнуть, на зажигалку с голой бабой, на алюминиевый портсигар с патриотической надписью: «За родину! За Сталина!», «Смерть не страшна!», «Пуцай погибну я в бою, но любовь наша бессмертна!». И поскольку его, Ивана, не

убили на войне, он от этого размягчен и еще более, чем на войне, храбр, сговорчив и думает, что так именно и было бы, как на портсигаре написано, он бы умер, а она, Нюрка, до скончания века страдала бы о нем. А уж насчет родины и Сталина — тут и толковать нечего, тут один резон: надо умереть, статься, надо, не рассусоливай — умирай! Но вернее всего опрокинуть Ивана можно на бульканье — булькнул в кармане — он тут же возмущенно заорет: «Чё же ты, змей, на двух протезах стоишь? Помрешь тут! Загнешься! А дети?!»

С хохлом и евреем — с теми и того проще. Если только хохла убедишь, что как получишь документы и станешь директором комбината или хлебозавода, то возьмешь его к себе, начальником военизированной охраны либо командиром пожарной команды — тут же куда хочешь тебя пропустит. Хоть в рай без контрамарки.

С евреем, с тем надо пото-о-оныше! С тем надо долго про миры говорить, про литературу, про женщин да намекнуть, что в родне, пусть и дальней, у тебя тоже евреи водились, ну если не в родне, так был на фронте друг из евреев, хра-а-абры-ый, падал, спасу нет, статься, и среди евреев хорошие люди попадаются...

Но моряк! Он же ж, гад, никакой нации не принадлежит, поскольку на воде все время, земные дела его не касаются, внесоциален он. Стоит в красивой своей форме, и морда у него от селедки блестит!.. А тут пехотня — вшивота, да «бог войны», испаривший штаны, изломавший кости в земляной работе, при перетаскивании орудий хребет надломивший, танкист пьяный горелой головешкой на полу валяется.

А он, подлюга, стоит в клешах и не колышится — бури кончились, волной его больше не качает!

Наверх вызывали или, по-тогдашнему сказать, выкликали попарно. Чусовской военкомат, как и большинство заведений в стране, рады были до беспамятства окончанию войны и Победе, но ко встрече и устройству победителей не подготовились как следует, несмотря на велеречивые приказы главного командования, потому что оно, главное командование, большое и малое, привыкло отдавать приказы, да никогда не спешило помогать, надеясь, как всегда, что на местах проявят инициативу, прибегнут к военной находчивости, нарушат, обойдут законы и приказы — и если эта самая находчивость сойдет — похва-

лят, может, орден дадут, пайку дополнительную. Не пройдет — не обессудьте! — отправят уголь добывать либо лес валить.

Я снова оказался в солдатском строю, засел в тесный угол и узнал, что иные из бывших вояк сидят тут и ждут чуть не по неделе. Конца сиденью пока не видно. Первую очередь военных, которым за пятьдесят, железнодорожников, строителей, нужных в мирной жизни специалистов — демобилизовали весной. И едва они схлынули, да и не схлынули еще полностью-то, уж наступила осень, и из армии покатила вторая волна демобилизованных: по трем ранениям, женщины, нестроевики и еще какие-то подходящие «категории» и «роды».

Начинала накатывать и прибываться к родному берегу и третья волна демобилизованных.

Табак у многих вояк давно кончился, продуктовые талоны и деньги — тоже, но пока еще жило, работало, дышало фронтовое братство: бездомных брали к себе ночевать вояки, имеющие жилье, ходили по кругу кисеты с заводской махоркой и самосадом, иной раз поллитровка возникала, кус хлеба, вареные или печеные картохи. Но кончалось курево, по кругу пошло «сорок», и «двадцать», и «десять», затем и одна затяжка. Солдаты начали рыться в тазу и выбирать окурки, таз тот поставил дальновидный, опытный вояка — Ваня Шаньгин.

Боевые воспоминания воинов начали сменяться ропотом и руганью.

И в это вот ненастное время возник в Чусовском военкомате военный в звании майора, с перетягами через оба плеча и двумя медалями на выпуклой груди: «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Были еще на нем во множестве значки, но мы в значках не разбирались и особого почтения к майору не проявили.

Обведя нас брезгливым взглядом, майор ринулся вверх по лестнице, наступил кому-то на ногу.

— Ты, харя — шире жопы! — взревел усатый сапер на лестнице, — гляди, курва, куда прешь!

— Встать! — рявкнул майор на весь этаж.

В зале с испугом подскочило несколько солдатиков. Но сапер на лестнице отрезал:

— Х... своему командуй встать, когда бабу поставишь. Раком! А мне вставать не на чё.

— Эй ты, громило! — закричали из залы, от тазу, сра-

зу несколько угодливых голосов. — Может, он из комиссии какой? Может, помогать пришел...

— Я е... всякую комиссию! — заявил буян с лестницы.

Каково же было наше всеобщее возмущение, когда майор с документами в руках спускался по лестнице, победительно на нас глядя. Да хоть бы молчал. А то ведь язвил направо и налево:

— Расселись тут, бездельники! — и поплатился за это. У выхода намертво обхватил его «в замок» ногами чувовлянин родом, с детства черномазый от металла и дыма, с широко рассеченной верхней губой, в треугольнике которой торчал звериный клык, — бывший разведчик Иван Шаньгин и стал глядеть на майора, пристально, молча. У Вани под шинелью два ордена Славы, «Красное Знамя», еще без ленточки, старое, полученное в сорок первом году, множество других орденов, медалей, даже орден английской королевы и Люксембургский знак. Ваня орденами дорожил — дорого они ему достались, а Люксембургский эмалевый знак с радужной ленточкой предлагал за поллитру, но никто на такую диковину не обзарился.

Ваня был демобилизован по трем ранениям, его били припадки. Уже здесь, в военкомате, я, имеющий опыт усмирения эпилептиков, приобретенный, как сообщал, еще в невропатологическом госпитале, несколько раз с ним отваживался. Ваня Шаньгин перетаскал на себе за войну не меньше роты немцев-языков, шуток никаких не любил, в солдатском трепе не участвовал по веской причине: он не просто заикался после контузии, он закатывался в клетоте, трудно выворачивая из себя слово. Опять же по опыту госпиталя я подсказал Ване говорить нараспев, и дело у него пошло бойчее. Мы, не сговариваясь, уступили Ване место в очереди наверх, матросов склонили пропустить его без очереди, Ваня нам пропел: «В-вы, чё-о, е-е-ё — мое?!»

Ну, поняли мы, поняли Ваню: вы, чё, славяне, как потом в глаза вам глядеть буду.

И вот этот Ваня Шаньгин известным ему разведческим приемом закапканил майора и смотрел на него. Сжав обросшие губы. Молча. А майор попался дурак дураком! Нет чтоб приглядеться к Ване, спросить, чего, мол, надо — «Как ты смеешь?!» — заорал. Ваня молчит. И весь военкомат молчит. Точнее, нижний этаж военкомата смолк. Наверху как трещали машинки, шуршали и скрипели половицы, гремели стулья и скамьи, так все и продол-

жалось — помощи оттуда ждать майору было бесполезно. Однако он не сдавался.

— Я тебя, болван, спрашиваю?!

Ваня Шаньгин вежливо запел:

— З-з-закку-у-урить дава-а-а-ай!

Тут только майор чего-то смекнул, вынул коробку «Казбека» и дерзко, с вызовом распахнул ее перед самым Ваниным носом:

— Пр-рошу! — и даже сапожками издевательски пристукнул.

Ваня, опять же вежливо, один по одному разжал пухленькие пальчики майора, вынул из них коробку «Казбека», всунул одну папиросу под жутко белеющий клык, протянул коробку соседу, тот пустил ее в народ. Ваня Шаньгин вынул немецкую зажигалку с голой, золотом покрытой бабой, чиркнул, неторопливо прикурил и только после этого удостоил опешившего майора несколькими напутственными словами:

— Г-где во-воеваааал, ко-оо-реш? Х-хотя по-по-по-по рылу видноооо, — и указал на дверь, выпуская майора из плена, иди, мол, и больше мне на глаза не попадайся.

Майор, как ныне говорится, тут же слинял. Из военкомата. Но не из города. Он сделается судьей в Чусовском железнодорожном отделении прокуратуры, много людей погубит, много судеб искалечит, но умрет в страшных муках, умрет от изгрызшей его болезни, как и положено умирать мерзавцам.

Ваня Шаньгин проживет всего несколько лет после демобилизации, будет торговать семечками и табаком на базаре, пить, куролесить, жениться по два раза в год, чаще и чаще падать в припадках в базарную, шелухой замусоренную пыль, в лужи, оранжевые от примесей химии с ферросплавного завода и однажды не очнется после припадка, захлебнется в луже.

Но когда это еще будет?.. Тогда же, в военкомате, Ваня был возвышен народом до настоящего героя. Да он, Ваня Шаньгин, и был истинным народным героем войны. Слово «герой» затаскали до того, что оно уже начало иметь обратное воздействие, отношение к нему сделалось презрительное, однако по отношению к Ване Шаньгину, кости которого давно изгнили в глине и камешнике Чусовского кладбища, я произношу это слово с тем изначальным, высоким, благоговейным смыслом, которое оно имело когда-то.

Возле входа в военкомат, по правую руку — при купце была отгорожена — для уличного люда, конюхов, дворников, нищих и богомольцев — комнатенка наподобие кладовой с узким окном в стене. Перегородку в ту «людскую» пролетарии сорвали, сожгли, железную печку, видать, сдали в утильсырьё, но все же вверху, брусьями, по бокам стояками, отделенное от «залы», помещение это все-таки отделялось. Деревянная, еще до революции крашенная, широкая скамья была там укреплена вдоль стены, и на ней поочередно «отдыхали» изнуренные вояки, совсем уж бездомные, бесприютные демобилизованные бедолаги дрыхли под скамьей.

Спиной к «зале» и народу дрых уже несколько суток сержант с эмалированными, синенькими треугольничками к багровым матерчатым угольникам пришитыми на отворотах шинели. У него была чудовищных размеров плоская фляга, обтянутая толстым сукном. Знатоки утверждали — «ветеринарная», и знатоки же объясняли, что во фляге той и зелье лекарственное для коней, коров и прочего скота, которое этот сержант приучился потреблять и не отравляться. И правда что-то было тут нечисто. Проснувшись, сержант тарашил безумно горящие глаза на народ, на помещение, потом отчего-то на карачках полз к баку с водой и, гулко гакая кадыком, выпивал две, иногда три кружки воды, после чего, сронив шинель, мчался на улку и долго оттуда не являлся.

На задах купеческого двора, в недавно замерзшем бурьяне, зевало двумя распахнутыми дверцами дощаное сооружение и два не успевающих замерзнуть желтых потока от него пересекали двор и уходили под дощатый тротуар, завихряясь в бульжнике, покрывавшем улицу Ленина, водопадом ниспадали через бетонный барьер, к кинотеатру «Луч», иногда даже захлестывали вход в кинотеатр, тогда подполковник Ашуатов призывал в наряд более или менее знающих еще дисциплину бойцов заняться «санитарией», пообещав им дополнительную карточку за работу и ускоренное продвижение с оформлением документов.

На ходу затягивая поясной ремень, шурша обросшим ртом, сержант спрашивал: «Кака очередь прошла?» «Пятьсот шешнадцать», — отвечали ему. «У меня, кажись, песот пята. Как сержанта Глушкова выкликать станут, разбудите, товаришшы», — и опять гукая по-конски кадыком иль селезенкой, отпивал из агромадной фляги нико-

му неизвестного зелья, вешал флягу через плечо на веревочку, поправлял шапку в головах и, укрывшись шинелью, разок или два передернув плечами и спиной, опадая в провальный сон.

Старожилы утверждали, что очередь сержанта давно прошла, но он номер ее твердо не запомнил и вот живет, значит, под скамейкой и с голоду не помирает, потому как есть подозрение: во фляге у него не просто питье, а питательная смесь, пуцай и скотская, но он навычен к ней.

Один день в военкомате особенно выдался веселый. Уныние и тоска развеялись явлением народу еще одного занятого персонажа.

В дверях возник и встал на пороге небольшого ростика, в фуражке, по случаю ветра на улице зацепленной узеньким ремешком за узенький же подбородок, человек со впалыми щеками, впалой грудью и вроде бы вовсе без тела, но с длинными руками и круглым ноздрястым носом. Поверх обмундирования на нем было одето демисезонное пальто, в кармане которого торчала бутылка, заткнутая бумажной пробкой. Он ее, бутылку, придерживал рукой, чтоб не вылилось. Пошатавшись возле дверей, пришелец вдруг пронзительно, каким-то, все еще находящимся в переходе, не переломившимся еще, парнишечьим голосом прокричал:

Висна пришла, победа наступила
И всем народам радость принесла.

Певец победоносно озрел публику, которая уж привыкла в военкоматном сидении, и на боевом пути к выступлениям разных певцов, рассказчиков, поэтов, фокусников, кликуш и всяких разных придурков. Особого восторга народ не выразил, но бутылкой кое-кто заинтересовался. Мужичок-парничок набрал в грудь воздуха и провозгласил истошным голосом:

— Здрассте, товаришшы победители ненавистного врага!

— Здорово ночевал! — вразброс откликнулись от порога и из «залы».

— Бодрости не слышу. Здрассте, товаришшы!

— Сбавь натуг, а то обсерешься, — посоветовали ему.

— А поди-ка ты отселе, командир! — заворчал Ваня

Шаньгин. — Двери притвори — не лето... холодом тапшы-ыт по ногам. Закурить давай!

— Есть притворить дверь! — мужичок потянул на себя дверь и пошел по спирали человеческого круга, толкая в народ сухонькую, но довольно крепкую и цепкую руку, церемонно представляясь:

— Спицын. Федя. Спицын. Федор. — И когда пожал те руки, какие мог достать, окинул залу взглядом: — Загорам?!

— Загорам, загорам. Ты закурить давай!

— Это можно. Это счас!

— И Ване Шаньгину выпить поднеси! Всем не хватит. Он тут оборону в одиночку доржит. Врага счас токо смял...

Ваня подвинулся. Федя сел подле него и протянул бутылку. Тот, вышатывая пробку клыком, не то спросил, не то утвердил:

— Пе-пехо-ота?

Федя охотно приложил к фуражке руку, снова звонко, будто пионер, выкрикнул:

— Старшина отдельного саперного батальона, Федор, Фе-фыч Спицын. Ха-ха!

— Бра-ата-ан! — раздалось встречно и с лестницы кубарем покатился усатый грубиян-сапер и чуть не свалил Ваню Шаньгина, страшно испугавшегося за бутылку, к груди, будто младенца святого, он ее придавил.

Сапер-грубиян отпил из бутылки первый и, передавая ее Ване Шаньгину, рывкнул на Федю:

— Чё ореш! Тут контора, военкомат, не саперна кухня!

Бутылка быстро опустела. Круглый, вместительный, на кастрюлю похожий предмет, сделанный из алюминиевого поршня, именуемого «палтсигаром», тоже мигом опорожнился. Федя влился в дружную, уже не военную, но, увы, еще и не гражданскую семью, объяснив, что домой ему итить нельзя, все, что было привезено с собой, большая семья Спицыных припила и приела. Ему, как и нам, пора «за ум браться», поступать на работу, добывать деньги и пропитанье. Обжившись на гражданке, сил, ума, самостоятельности накопивши, он женится, поскольку у него есть невеста, она дождалась его в полной сохранности, он ее уже попробовал и с точностью в этом удостоверился. Он-то, Федя-то, хотел с ходу, с лету и чтоб не жениться, но отец его, Спицын Феофан Парамонович, понимающий

жизнь по-старорежимному, поскольку всю ее, с малолетства, отбухал на доменной канаве, жениться заставляет, но сперва, говорит, определись в жизни, обоснуйся, штаны заведи и угол и тогда уж женись.

Федю заставили в подробностях обрисовать, как, когда, где и каким образом он проверял свою невесту и понравилось ли ему это дело.

— Лучше занятия, пожалуй што, на белом свете и нету. Оно не может не похвалиться, — утверждал Федя.

Народ дальше тему ведет, есть ли жилищные условия и возможности, чтоб заниматься дальше любимым делом?

— Да ить я гуляю-то с сентября, заделал уж ей, дуре, — Федя обвел «залу» горестным взглядом. — Расшепендрилась! Отец узнает, что девку раскурочил, голову мне оторвет, как колесо с лисапеда сымет...

Хотел было заплакать Федя, но уса́тый братан похлопал его по спине, притянул к себе, очень удобная оказалась подставка — плечо товарища на войне. Федя смирился, отквасил губу и доверчиво уснул.

— Во, уездился! — завистливо вздохнул уса́тый сапер. Ваня Шаньгин распорядился:

— Э-этого-ооо г-громилу-у-у-у-у б-без очереди-и-и-и... — Осо-осо-бые об... обстоятельства-а-аа.

Федя Спицын, к изумлению своему, в тот же день получил документы. Будучи человеком хоть еще и не проспавшимся, но совестливым, спускаясь по лестнице с зажатými в горсть бумагами, виновато твердил:

— Чё тако, не понимаю?! Почему мне льгота? Я, товаришшы, не виноват...

— Иди, давай, иди, пока бумаги не отняли! — посоветовал братан и хряпнул Федю по спине так, что тот зашатался.

— Н-на свадьбу с-с-со-зови, н-не свою, дак до-че-ри, — пропел Ваня Шаньгин.

— У меня парень будет! — увильнул Федя.

И ведь как в воду глядел! Не один парень, пятеро парней у Феде Спицына народится. И какую жизнь проживет Федя — не пересказать, но где-нибудь когда-нибудь, к месту, я к Феде еще вернусь. Полюбив его с военкомата, братва в городе помнила этого шабутного мужичонку.

Но на Феде Спицыне всякое веселье в военкомате и завершилось. Народу не убывало, народу прибывало. Зима входила в силу. У многих мужиков были семьи, голодуха

поджимала, ждать мы больше не могли, затребовали для объяснений начальника райвоенкомата.

На площадку лестницы вышел при орденах в два ряда, перетянутый ремнем в тонкой талии, с желтым от табаку и недосыпов лицом подполковник Ашуатов (все фамилии и имена я сохранию в доподлинности — уж понравится это кому иль не понравится, но иначе поступать не дает мне память), у подполковника, затем уже полковника Ашуатова на свете было семеро детей, сейчас, наверно, много внуков и правнуков у него. Сам он прожил тоже непростую послевоенную жизнь. Довольно еще нестарым мужчиной был демобилизован в звании полковника, работал партторгом кирпичного завода в поселке Ляды Пермской же области, там или в Саратовской области, куда переехала его семья, он и похоронен. Лядовское кладбище попало под затопление Камского водохранилища, прах полковника перенесен или нет — не знаю.

— Здравствуйте, товарищи! — устало сказал райвоенком сверху. — Я знаю обо всем и все понимаю. Принимаются меры, чтоб хоть временно, до получения документов, занять вас и обеспечить карточками.

Кто-то где-то там, наверху, в небесах, услышал слова подполковника Ашуатова, наши ли солдатские молитвы до Бога дошли — на Чусовской железнодорожный узел обрушились гибельные метели со снегом. Все мы, военкоматовские сидельцы, были мобилизованы на снегоборьбу. На станции нам ежедневно выдавали талоны на хлеб, еще по десятке денег, и тут же, в ларьке их отоваривали. Однажды даже выдали по куску мыла и по несколько метров синенькой дешевенькой материи, из которых жена моя тут же сшила себе первую гражданскую обновку — коротенький халатик, кокетливо отделала его по бортам бордовой тряпицей. Наверно, тряпица была из тех ворохов, которые собирали женщины и дети этой семьи, сшивали их вместе и стежили одеяла «из клинышков».

Ох уж эти лоскутные одеяла! Мы с женою еще вспомним о них и попробуем спастись ими.

Пока мы боролись со снегом и давали возможность работать перегруженному железнодорожному транспорту, нам и документы приготовили, и все утряслось и устоялось, все, что бродило и не знало куда приткнуться, более или менее успокоилось. Вчерашние вояки разбре-

лись по своим углам и производствам. Само собой, снегоборьба еще более объединила бывших вояк, и я, в общем-то, знал в лицо едва ли не все население шестидесятитысячного городка, да и служба моя первая, гражданская, шибко содействовала познанию населения и объединения с ним.

На снегоборьбе мы не только убирали и отвозили на платформах снег с путей, но попутно долбили и скребли перрон, закатывали в вагонное депо порожняк на ремонт, случалось, что-то и разгружали: железнодорожное начальство торопилось использовать момент, урвать от нас как можно больше пользы. Мы всякую работу делали в охоту, с азартом, хотя шибко стыли на ветру и некоторые даже поморозились в легком-то, «дембельном», как его сейчас зовут, обмундировании.

Однажды совместно с вокзальными бабенками тюкали мы на перроне до мраморной звонкости утрамбованный снег, сгребали его в кучи и на пакгаузной грузовой тележке свозили в ближний тупик, там сбрасывали на кособоко сникшую двухосную платформу. И прилепись же мне в пару говорливая бабенка. Я орудую кайлом, она лопатой и лопочет — измолчалась без мужика. За перроном возле будки техосмотра вагонов кучу мы разбивали, насквозь прошитую желтыми струями мочи не сыскавших уборную пассажиров. Ну и станционные мужики ту кучу не обходили, лили на нее все что не попадя. Крушил я ту кучу, крушил, выдохся. Бабенка взяла у меня кайло и давай, по-мужицки ахая, продолжать долбяную работу, она и в это время без умолку трещала. Я уже знал нехитрую историю ее семьи: мужик погиб, детей у нее двое, хлеба и дров не хватает — подалась на железную дорогу, перронным контролером и уборщицей одновременно, потому что здесь выписывают уголь, форму выдать сулят, и, когда водогрейка Каенова помрет или на отдых уйдет, она выпросится работать туда — там чисто, тепло и спокойно, на водогрейке той висит фанерка и на ней написано: «Вход посторонним воспрещен», — это чтоб враг-диверсант какой не проник, воду в кубе не отравил, пассажиров не стубил.

Повествует бабенка про свое житье-бытье, мечты свои высказывает да кайлом тюкает. Я подгребаю совковой лопатой комья. Жарко мне сделалось, шинель расстегнул, распахнулся, и бабенка острой-то кайлой ка-ак завезет, да не по мне — по мне бы, ладно, залечился бы, привычно —

она нанесла удар более страшный, она херакнула точнехонько по шинели моей.

И замерла, будто в параличе. И я замер. Гляжу, как ветер треплет аккуратным углом почти от пояса и до сапога сраженную мою шинель.

Жизнь действительно беспрестанное учение и опыт. Именно тогда, от знающих людей, известно мне станет, что настоящее сукно всегда рвется углом. Моя шинель была из сукна настоящего! Канадского — они не халтурили. Хорошие они, видать, люди, производство у них хорошо налажено.

Сколько мы с бабенкой стояли среди русской зимы, на Урале, зимой сорок шестого года, оправляясь от тяжелого удара, нанесенного в мирное время, с тыла, — я не знаю.

Мужественная, все беды пережившая русская женщина первая опамятовалась:

— Ах ты, туды твою мать! — сказала она. — Ну где тонко, там и рвется! — она ползала вокруг меня на коленях, скрепляла рану на шинели откуда-то из-под телогрейки добываемыми булавками и то материла себя, то стонала, один раз даже по башке своей долбанула, и еще бы долбанула, да я руку ее придержал.

Почти тридцать лет спустя сын мой, отслужив в армии, будет возвращаться из-за границы и весело расскажет, как, едучи по Польше, они все обмундирование, даже и шинели, повывбрасывали из вагона крестьянам — так они им, эти военные манатки, обрыдли за два года.

Тогда, в сорок шестом, израсходовав все булавки, проклятия и слова, забитая нуждой и горем, молодая еще, но уже выглядевшая лет на сорок, синегубая и синеглазая бабенка стала передо мной, руки по швам:

— Прости парень! Иль убей!

Я похлопал ее по плечу: «Ничего, — сказал, — ничего..о», — и мы стали продолжать совместную работу.

Вечером моя молодая жена аккуратно, частой строчкой зашила рану на шинели, угол которой был в метр, не менее, величиной, и, чтоб нитки не белели на шве, она их чем-то помазала, гребенкой расчесала ворс сукна, тогда еще не выношенного — шов сделался почти незаметным.

Семен Агафонович, помнится, все ворчал в бороду:

— Эко, декуются над парнем! Эко, пластают!.. Нет, штабы поглядеть?! Сам-то Корней Кривошпоков, экой же шелопут был! Анька эта, его дочь, видать, в него удалась!

За тем, бывало, не догляди, дак без ног ему под вагоном валяться...

На другое утро Анна, придерживая подол, отворачиваясь от ветра, прибегла с перрона на дальние пути, что над самой рекой Чусовой, где мы работали в тот день. Еще издали она увидела меня, замахала рукой, споткнулась, побежала и, еще не отпыхавшись, принялась оглядывать меня вблизи и сзади, задирала на мне шинель, будто юбку на девке, и восторженно трещала:

— Гли-ко! Гли-ко! Как новенькая! Ка-ак новенькая! Мастерница в жены тебе попалась, ма-астери-ица! Ну да оне, короеды известные! Что тебе в учебе! Что тебе в работе!.. Я со средней-то, с Калерией, в одном классе, в двадцать пятой школе училась! Куды-ы-ы там! Отличница! А твоя-то! Твоя-то! Ма-а-ахонькая! И как токо ты ее не задавишь?!

— Копна мышь не давит...

— Зато мышь все копну источит... — И, заметив, что я прекратил ударную работу, на нее вопросительно уставился, Анна затрещала о другом. — А я те работу нашла! Хорошую. В тепле. Дежурный по вокзалу требуется. А ты — железнодорожник, все правила знаешь, да и чё там знать-то? Впихивай пассажиров в вагоны, чтоб ехали — и вся недолга. Я уж и с начальницей вокзала насчет тебя разговаривала. Сука она, конечно, отпетая, но человек чуткий...

Так сделался я дежурным по вокзалу станции Чусовской. Но на службе той проработал недолго — очень дерганая работа оказалась, суетная, бестолковая.

Чусовской железнодорожный узел сложный сам по себе — он перекрестный. Одно направление от него идет в Пермь, другое — на Соликамск, третье — через Гору Благодать, на Нижний Тагил Свердловской дороги, четвертое — Бакальское — в Татарию, да еще «присосков» и ответвлений допозна — к рудникам, в шахты, к леспрохозам с их лагерными поселками. Сама станция притиснута горами к реке Чусовой, три депо на ее территории: вагонное, паровозное и знаменитое — электровозное, одно из первых в эсэсэре. Здесь первым в стране начал водить двумя электровозами — «сплотком» железнодорожные составы с версту длиной Игнатий Лукич Чури́н, вятский когда-то крестьянин и, как оказалось, мой дальний родственник. Сделался Игнатий Лукич депутатом Верховного Совета, Героем Социалистического Труда, членом Комитета защиты мира, членом бюро горкома и еще многим

членом. Он, в конце концов, только уж тем и занимался, что заседал, в президиумах красовался, по странам разным ездил, интервью давал, составы уже редко водил, в основном «показательные». Работать ему сделалось некогда.

Станция была, или мне казалось, ямой, в которую не раз валились составы, горящие электровозы, парящие и караул кричащие паровозы. Мне-то они были, как ныне говорят, до лампочки. Но в яму ту сваливалась такая масса разноликого, туда и сюда едущего народу, что совладать с ним, управлять им, или, как принято выражаться, «обслуживать» его было невозможно: давки, драки у касс; сиденье и спанье по неделям на полу, на скамьях, под скамьями детей, стариков, инвалидов, цыган; сраженья при посадке, срыванье стоп-кранов при отправлении поездов, как правило, с задержками, ругань на планерках, проработки по селектору из управления дороги, остервенение фронтовиков, не раз бравших меня за грудки, замахивавшихся костылями и всем, что в руках окажется. Только то, что на работу я ходил в гимнастерке и нарочно цеплял солдатскую медаль да еще подбитый мой глаз, — спасало меня от побоев иль от растерзанья озверелой толпой.

Но были и счастливые, памятные мне до сих пор часы ночных дежурств, когда отправятся вечерние поезда пассажирские, до утренних еще далеко, пассажиры, точнее сказать, воины боевого войска, словно после Куликовской битвы, пав на поле брани кто как, кто где, храпели, стонали и бредили, набираясь сил к предстоящим на рассвете сражениям, я отправлялся к Анне в водогрейку. Старушку-водогрейку Анна таки выжила каким-то ей лишь известным маневром и царила в водогрейке, выскоблив до желтизны защитные щиты над трубами и вентилями, похожие на нары, надраила, начистила все медное, куб водогрейки отскребла от ржавчины и покрыла выпрошенной в техосмотре какой-то блескучей защитной смесью, у порога положила голик, сама же и вывеску подновила «Посторонним вход воспрещен», где-то добыла здоровенный дверной крючок и пускала к себе только тех из обслуги вокзала, от кого могла чем-нибудь покорыститься, кого уважала, или боялась, иль перед кем, как передо мною, к примеру, виновата была неискушимой виною.

Сняв шинель, я забирался на чисто мытый щит, похожий на банный полук, клал лопотину в голова и под сип бака, под шипенье труб и патрубков задремывал. Анна

выполняла свою работу, шикала на тех, кто приходил за кипятком и не мог управиться с уличным вентиляем, либо лишку проливал воды в колоду и под ноги. Отшивала тех, кто искал дежурного по вокзалу.

— Ослеп? Вывеску не видишь?! — и рукой мне показывала на крепко закрюченную дверь. За дверью какое-то время молчали, читали вывеску и, уходя, грозились: «Ну-ну, я его, гада, найду и так измудохаю, что мама родная не узнает!», или обреченно роняли: «Ну нигде, нигде правды не найдешь!..», или просто пинали в дверь, матерились и удалялись.

На рассвете Анна трясла меня за ногу:

— Пиисят второй объявили. Вставай!

Пятьдесят второй — «Москва — Нижний Тагил» — был самый наш ранний поезд.

Зевая, потягиваясь, хрустя костями, я одевался, благодарно хлопал Анну по заднице, осевшей и увядшей от надсады.

— Кнопка-то твоя, небось, ревновитая? — как-то заинтересовалась она и, покусав губу, с горьким вздохом заключила: — Кто на меня и обзарится?

Между тем дела в моем новом доме не стояли на месте. Они тоже двигались, но отчего-то не в мирную сторону, а в еще более бурные, чем война, стихии несло их, хотя и на мирной почве, но страстями своими они превзошли военные-то.

Когда я еще боролся с уральскими снегами и спал от трудов и морозов под боком молодой жены не просто крепким, провальным сном, сотрясаемым лишь привычными уже снами «про войну», меня вдруг разбудили крики, плачь, ругань.

Я пощупал постель — жены рядом не было, и понял, что с войны явилась Калерия, тоскливо ужался в себе, притих нутром, войной кованным, сиротством каленным, предчувствуя, что ждут нас всех впереди перемены, и перемены не к хорошему, может, и беды — пружина, сжатая во мне натуго довоенным житьем, военными испытаниями, госпиталями, дорожными мытарствами, пружина, которую я носил все время в себе, с которой жил в доме жены, хотя и поразжалась малость при виде тестя и от приветливости тещи, да и всех близких моей сучьуги, не напрасно все ж до конца не отпускала, что-то все-таки

тревожило, не давало довериться до конца домашней мирной благодати.

Калерия была старше двумя годами моей жены. Самая красивая и строптивая. Она еще в детстве уразумела, что в такой семье, если не урвешь, не выплачешь — в тряпье находишься, да и хлебать всегда только под своим краем будешь, с краю же, известное дело, пожиже, чем в середине. Еще школьницей она одевалась, обувалась лучше других братьев и сестер, хотя и спала под общим большим одеялом вместе с братьями и сестрами, на полу, хлебала из общей чашки...

Жена моя до сих пор хорошо вспоминает, что если хлебали молоко с крошками из общей чашки, то от нее, как лучики от солнца, к каждому едоку тянулись белые дорожки. А ведь стояли времена, когда изба еще не построена была, семья еще жила в старой избушке, называемой теперь флигелем, задумчиво упершимся покривившимися окнами в сугроб, в нем обретались не только дети, отец и мать, но жили какое-то время и дедушка, тетушка-бобылка, то грамотей и красавец богатырь дядя Филипп, после раскулачивания приехавший к старшей сестре из родной вятской деревни, обучавшийся на шофера...

«Лучей» тех от общей чашки и в самом деле было что от настоящего солнца.

Но жили, росли, учились, работали на огороде, на покосе дружно, умели не только стежить одеяла, но и вязать чулки, носки, варежки, шить, починяться, пилить, колоть дрова, доить и обихаживать корову, жилище, стайку, двор. Отец после работы засиживался на сапожной седухе, упочивая соседскую старую обувь, подшивал валенки — чего придется, — всей ближней округе, всем соседям по улице Железнодорожной обслуживал сапожный спец. Родители придумывали всякие выдумки, уловки ли, чтоб дети не отлынивали от труда, прилежно бы им занимались. Пелагия Андреевна самопрядную шерсть наматывала непременно на спичечный коробок, в который прятала что-нибудь, чего бы шеборшало или перекатывалось, позвякивало ли — вот ребята и стараются ударно вязать, чтоб поскорее довязать клубок, открыть коробок и радостно обнаружить в нем то конфетки-горошинки, то три копейки — как раз на карандаш хватит, или щепотку орешков, и пойдут разговоры-расспросы: «А чего у тебя?!», «А у тебя?», «У-ух ты-ы!»...

Калерия в этих трудах вроде бы и не участвовала, все

как-то сбоку, все, чтоб себе получше да полегче. Вязала она хорошо, петелька к петельке, но вязанье оставляла непременно на виду, чтоб мама или тятя при случае повязали бы. Обновки ей покупали чаще, чем другим, и мать это объясняла, мол, вынудила, пристала как банный лист, то вырвет, то больной прикинется — и ее пожалеют. Она и на танцы ходила чаще и нарядней сестер, иногда, как бы из милости, брала с собою и мою будущую жену, которая первую обновку — новые галоши — получила в пятом классе.

Вторым по вредности и причудам в семье был Азарий. Но этот страдал всерьез и по совсем иным причинам. У него была огромная башка. Когда я с ним познакомился, она достигала шестьдесят второго размера! И вот из-за такой, видать, башки, которая его все время «передоляла», он часто падал, ушибался. Ища развлечений в своей небогатой забавами и не очень разнообразной жизни, ребята за какую-нибудь безделушку или на спор просили или принуждали братана открыть башкой разбухшую, тугую и тяжелую дверь в сенки. И он с разбегу открывал головой дверь настежь, после чесал покрасневший лоб, но терпел за вознаграждение или за победу в споре. Чаще ему же и попадало: Пелагия Андреевна ругалась — избу выстудил!

Разумеется, каждый парень или девка в этой семье имели не только свои, лишь в чем-то схожие характеры, лица, росточки, но и причуды свои. Но не время рассказывать о них. Надо вернуться к той зимней ночи, к возвращению Калерии с фронта.

Еще с детства Калерия и Азарий — два самых плаксивых и вредных, я уже говорил, существа в этой большой семье — не то чтоб невзлюбили, но неприязненно друг к другу относились, с возрастом и нетерпимо.

Вот они-то, Азарий и Калерия, с ходу, с лету, несмотря на ночной час и долгую разлуку, схватились ругаться — отчего и почему, я не знаю. Думаю, ниотчего и нипочему, просто давно друг друга не видели и не ругались. Ругань длилась до рассвета. Никакие уговоры — стюванья матери, Пелагии Андреевны, не помогали, не помогали и очуранья отца. В доме этом, как я уже говорил, не принято было материться. Я представил себе свою родимую деревню, как дядья, да затем и братцы, и сестры быстро разогрели бы себя матюками, давно бы пластали рубахи друг на друге, но к утру помирились бы.

Тут дело закончилось визгливым рыданием Калерии: «Нечего сказать! встретили!.. Уеду! Сегодня же уеду!»

Что-то умиротворительное бубнил Семен Агафонович; часто и мелко звякала пузырьком о край кружки Пелагия Андреевна, наливая «сердечное» — капли датского короля. Несколько раз встрял в свару чей-то незнакомый мужской голос. Тася и Вася спали или делали вид, что спят в боковушке, за печкой-голландкой. Азарий упорствовал, нудил чего-то, собираясь на работу. «Ты уйдешь седня?» — возвысила голос Пелагия Андреевна. Тут и Семен Агафонович привычно поддакнул жене: «Айда-ко, ай-да-ко!.. Ступай...»

Дверь бухнула. Мимо окон к штакетной калитке, все еще высказываясь, прошел Азарий, хряпнул калиткой и удалился с родного подворья, пропал во все еще сонном, но уже начинающем дымить печными трубами городишке.

По лестнице вверх провели икающую Калерию и осторожно определили на вторую кровать, стоявшую в дальнем углу той же комнаты, где и мы с супругой обрелись. Пелагия Андреевна виновато и тихо сказала: «Спите с Богом», направилась к лесенке вниз и, проходя мимо нашей кровати, со вздохом обронила: «Парня-то, поди-ко, разбудили? А ему на работу, на ветер, на мороз...» Ложись и ты, Миля. Чё сделаешь? Господь батюшка, прости нас, грешных!.. Ох-хо-хо...»

Жена моя осторожно, но легла, прокралась под одеяло, вытянулась, затихла.

Возле другой кровати, скрипя ремнями и повторяя, как бы для себя: «Черт знает что такое? Уму непостижимо! Сестра... Дочь с фронта, беременная, — и уже другим тоном. — Ты успокойся, успокойся...» — раздевался военный, долго выпутываясь из ремней и пряжек, затем так же долго стягивал узкие сапоги — офицер! — усек я. На аккуратно развешенном обмундировании на спинке стула блеснули в полутьме награды, свет в комнате сквозь задернутые подшторники проникал слабый, и я не мог разобрать: какие награды, какого звания офицер.

Мне было неловко и жалко жену. Я ее нащупал с краю и без того узенькой, на одну душу рассчитанной, кровати, придвинул к себе, подоткнул под нее одеяло — это все, что я мог для нее сделать и давал понять, что я-то не такой, как Ванька за рекой, в случае чего...

— Спи! — благодарно прижимаясь ко мне, прошепта-

ла жена. — Тебе уж скоро подыматься... и, чувствуя, что я не сплю и спать не собираюсь, из солидарности с нею, хотя и очень хочется додуть предрассветный сон, добрать такие нужные моему усталому телу, в особенности ногам, которые начинали, — со страхом слышал я, от расколелости ли от мирной жизни, иль от снегоборьбы, мозжить, напоминая мне о недавнем ревматизме. Жена внятно, на всю комнату уронила:

— До войны наша семья была не такой.

Но никто не откликнулся, никто на ее слова не среагировал. Было видно сквозь щели пола, который служил и потолком, на нижнем этаже погасили свет, старики укладывались, думая свои невеселые думы, потянуло снизу нашатырным спиртом и еще чем-то, все запахи перешибающим втираньем, которым пользовался Семен Агафонович, наживший болезнь, но не столько от железной дороги, сколько на реке Вильве, в которой он бродил каждую осень, сплавляя сено.

Скоро в боковушке зашуршал, верхними сенями спустился и ушел к себе, в ФЗО, на раннее построение, Вася. В комнате сделалось серо, затем почти светло. Надо было подниматься и мне, разминать кости, готовясь к борьбе за жизнь родного железнодорожного транспорта. И каково же было мое удивление, когда я увидел на соседней кровати, в шелковом кружевном белье, мирно, сладко и глубоко спит молодая женщина; уткнувшись ей в шею, не менее мирно и сладко спит не очень молодой, судя по седине на виске, мужчина, звание которого я разглядел на погонах, капитан. Погоны не полевые, новенькие, празднично сияющие — словно содрали золотую фольгу со святых икон и прилепили ее ровненькими пластушинками к гимнастерке меж окантовкой, про которую однажды при мне много раз стриженный по тюрьмам человек, будучи в нетрезвом состоянии, сказал: «Не х.., не морковка, а красная окантовка!» — сказал и боязливо оглянулся.

Жена моя поступила работать в промартель «Трудовик» Чусовского горпромсоюза. По образованию-то она химик, окончила техникум химический. Кроме того, окончила курсы медсестер; кроме того, научилась разгадывать «государственные тайны», то есть работала в цензуре. Да вот пренебрегла приобретенными профессиями, где ей,

наверно, больше бы платили и сытнее кормили, подалась в бедную артель инвалидов, плановиком.

Я не расспрашивал ее — отчего и почему. Я уже немного познал ее сильную, упрямую натуру, кроме того, из рассказов ее запомнил, что после страшной, довоенной еще аварии на домне, где она работала хим. лаборантом, она попросту завода боится; слабые навыки медсестры она за давностью времени и малого опыта утратила, цензуру и все, что с нею связано, ненавидела.

По моему бойкому, почти бездумному совету она не встала на военный учет, наслушавшись о военкоматской толкотне. И о ней забыли, об этом комсомольце-добровольце не вспомнили! Армии она более не надобна и все тут. Вплоть до вручений медали Жукова, стало быть до старости, никто и не знал, что она была на войне. Я не хотел получать медаль имени браконьера русского народа, но, как всегда, подавая мне положительный пример, жена моя получила ее. Приехавшие с бутылкой на квартиру чины не знали, что они вручают награду злостному дезертиру, с сорок пятого года уклоняющемуся от военных обязанностей.

На работу жена моя ходила к девяти, как человек интеллигентного труда. Погладив меня ладонью по щеке, шепотом напутствовала:

— Умывайся тихонько. Папа и мама недавно легли. Кружка молока с чаем и кусочек хлеба тебе на припечке. Рублевка на обед в кармане гимнастерки. Да не обмороживайся больше...

И отвернулась. Хотя был утренний зимний полумрак, я различил, что она заплакана. Догадываться я начал, что всякому горю она научена и умеет переживать «про себя», не то что я — чуть чего — и запылil: мать-перемать! Всех раш-шибу!

— Ну чего так-то уж переживать? Ну поскандалили... Ну бывает...

— Иди, иди!

Увы, жена моя была не только образованней, но и опытней меня во всех делах земных, житейских, служебных и всяких прочих; очень много всякого разного успела изведать как в личной жизни, так и в общественной, работая в «особых» войсках, даже под расстрел чуть не угодила.

А что я, год назад начавший бриться солдатик, от ранения потерявший зрение правого глаза и по этой причи-

не единственную свою профессию — составителя поездов, еще совсем недавно — рядовая, окопная землеройка с шестилетним образованием, мог знать? Я даже род войск капитана не различил по погонам.

Зато жена моя хорошо ведала, какого рода войск погоны прикреплены к гимнастерке новоявленного нашего родственника.

Ну вот, память моя, что кочегар на старом пароходе, шурует и шурует уголь в топку, а куда, зачем и как идет пароход — нижней команде не видно, ей лишь бы в топке горело да лишь бы пароход шел.

Так ведь бывало во всех поворотах моей жизни: занесет меня черте куда и зачем, как и вылазить из препятствия, как очередную препону на пути преодолевать — сообщай, умом напрягайся, либо пускай все по течению — авось вынесет.

Я и не спорю. Дурак я, что ли, спорить-то? Во-он сколько всякого народу до меня смело, и весь этот народ пытался оспорить судьбу, подправить веселком течение жизни — ан выносило и дураков, и чудаков, и гениев все к тому же месту, где всякое сопротивление бесполезно да и смешно. «У-ух, и разумен же я!»

Погоны у капитана оказались энкэвэдэшные, он ненавязчиво объявил, что работал в смерше. Я слышал о такой организации, но где она и чем занимается — ни сном ни духом не ведал, знал только те слова, которые знали все солдаты, даже национального происхождения, кроме «бельме», ничего по-русски не говорившие — «смерть шпионам!».

Наш капитан шпионов не ловил, состоял при каком-то хитром отделе какой-то армии и словил на боевых путях лишь сестру моей жены да накачал ей брюхо. Калерия доживала последние сроки и приехала домой рожать. Кроме Калерии капитан приволок из Германии множество всяких чемоданов, узлов, мешков. Тесть, служивший когда-то, вернее, проходивший воинскую службу под городом Витебском, глядел на новоприбывших гостей исподлобья, почти не разговаривал с ними, даже про город Витебск не спрашивал, решив, что там, где город Витебск, такие не служат. Сам он с действительной службы вернулся в родную вятскую деревню с сундучком, в котором хранились нехитрые солдатские пожитки, в гимнастерке,

украшенной бантом — за прилежную службу. Ребятишки-варнаки все цепляли ту «отличку» на свои рубахи, да и затащили куда-то, потеряли.

Зато теща, униженная бедностью, убитая горем: пятерых проводила на войну, и двое уж убиты, один сильно изувечен. Азария после многих комиссий вернули домой из-за зрения, и он вот бушует. У младшего что-то неладно с головой... Теща, Пелагия Андреевна, когда-то полная телом и сильная характером, умевшая править многоголовой семьей, вдруг залебезила перед капитаном с Калерией, отделила их с едой под предлогом, что дочь в тягости да и устали они от войны, поспать-отдохнуть им охота...

Кровать наша железная, до нас еще расшатанная и проволокой перепеленанная скоро оказалась за печкой. Семен Агафонович с привычной, теплой территории переместился на печь. Сама теща занимала место с боку печи, около перегородки возле низкого окна, на некорыстной деревянной кровати, на бедной постеленке — набитой соломой матрасовке, закинутой старыми пальтишками.

На печи пыльно и душно, за печью темно и жарко. Я после контузии плохо переношу жару, вижу кошмарные сны. Но самое главное — я лишился самой большой отрады из всей моей пестрой жизни — возможности читать.

«Но надо было жить и исполнять свои обязанности», — как без обиняков и претензий на тонкости стиля сказал товарищ Фадеев, а вот сам-то всю жизнь исполнял не свои обязанности.

Оба мы работали, рედенько, украдкой, в час неурочный иль в воскресный день исполняли супружеские обязанности и, выдам лучшую тайну, не без удовольствия, и вообще не унывали. С молоком нас урезали, когда корова Девка дохаживала — молока вовсе не стало, и у соседей Комелиных стали занимать по банке — для Калерии, под будущие удои. Голодновато, бедновато жили, однако ж бодро.

Я уж забыл, но жена запомнила и, веселясь до сих пор, рассказывает: капитан вывел Калерию на прогулку, она взялась мыть полы, я ж, надев ее военную юбку и цивильную шляпу с пером, сидел на лавке и развлекал ее матерщинными частушками. Шибко я ее порадовал, не частушками, конечно, а тем, что при такой жизни, после такой войныщи сохранил в себе юмор и не терял присут-

ствия духа, живя за печкой в доме, где напряжение все нарастало и нарастало.

Она, моя женушка, еще не знала, когда из помещения игарского детдома ребят перебросили в дырявый каркасный барак, отдав наш дом под военкомат, так мы весельем да юмором только и спаслись от лютых заполярных морозов и клопов — как раз тогда вышла на экраны всех ошеломившая бесшабашной удалью картина «Остров сокровищ». Мы из нее разыгрывали целые сцены. Я изображал пирата Джона Сильвера и, когда вынимал изо рта у кого-то тиснутую где-то трубку с кривым, длинным чубуком и тыкал ею в Петьку Заболотного, тупого и здорового дьду, изображавшего такого же, тупого и громадного, гренадера с «Эспаньолы», и говорил покровительственно: «Дик! Говори ты!..» — он громовым голосом произносил знаменитое: «Когда я служил под знаменами герцога Кумберленского!..» и, оборванный недовольным предводителем заговора, тут же брякался на пол. Я, Джон Сильвер, щупал его затылок и, не найдя шишку, снова заставлял его падать — чтоб «по правде было», чтоб хряпался исполнитель роли об пол без халтуры. Ему приходилось повторять эту сцену до тех пор, пока не появлялась шишка с мячик величиной на затылке...

Азарий приходил домой редко, обретался у Софьи и, отыскивая какие-то напильники, резцы и прочий инструмент, вел себя вызывающе.

— Выжили людей! — орал он. — За печку загнали! — и рыпался на нас: — А вы-то что? Зачем ушли? Пускай бы они жили за печкой! А то привыкли! На немецких пуховиках! А ты землю носом рыл!.. А они трофеями наживались! И тут им самое лучшее место! — Он приносил мне книги из заводской библиотеки и, сунув том, ронял: — На! Читай! Может, когда и поумнеешь!..

Наверху дребезжал голос капитана: «Не связывайся ты с ним! Пр-ро-шу тебя! Пр-рошу-у!.. Ребенок... нервы...»

Азарий, бухнув дверью, уходил. Мать крестила его вслед: «Прости его, неразумного, Мать, Пресвятая Богородица! Не от ума, ото зла это, зло пройдет, схлынет...» — И какое-то время стояла потерянно среди кухни, забывшаяся, сама себя потерявшая. Потом спохватится и, приподнявшись на несколько ступенек внутренней лестницы, напомнит дочери:

— Каля! Я тебе молоко подогрела. Попила бы. Да и капель бы, успокоительных... расстроил тебя опять, большеголовый...

Папаша и жена моя, капля в каплю похожие друг на друга, отводили в сторону глаза. Семен Агафонович, хотя ему и запрещено было курить в избе, вертел сигарку, задымлял и приглушенно говорил:

— Робята! Ступайте наверх, в боковушку, почитайте там, полежите или чё... К тем ведь не обязательно заходить... Ну их...

В ту пору мы с супругой часто ходили в кино — искусство это было нам не только по финансам, но и по расстоянию доступно: кинотеатр «Луч» был почти рядом, через дорогу.

В кинотеатре показывали сплошь трофейные фильмы, в большинстве которых неземным, небесным голосом пел толстенький человек про любовь, пел, катаясь на красивых яхтах с красотками, Бенъямино Джильи — соловей вселенский. А перед сеансом, в холодном фойе, в полудекорированном черном платье, продрогшая и рано увядающая голосом и лицом местная солистка по фамилии Виноградова пела «Пусть солдаты немножко поспят» — и мне всякий раз сладкой горечью сдавливало горло, я заставлял себя думать — не от песен военной поры, а оттого, что мне ее, Виноградову, жалко. На улице мороз, дверь в фойе распаивается и распаивается, несет холодом на низкую эстраду, на ноги, на голые плечи певицы. Иногда выступал чечеточник, он же куплетист, пел сочинения на слова писателей, попавших в Пермь в эвакуацию и дружной артелью поддерживавших боевой дух фронта.

На культурные мероприятия, как и на работу, я ходил в обмундировании. Приходя с работы, я набрасывал на себя японскую шубу, раздобытую старшим сыном, Сергеем, видимо, в лагерях военнопленных и подаренную отцу. Жена моя тем временем приводила в порядок и праздничный вид гимнастерку, брюки, если требовалось, стирала этот единственный комплект одежды, сушила его утюгом, подшивала подворотничок, меловым порошком подновляла пуговицы, наряжала меня, оглядывала со всех сторон, по лицу ее я читал: она довольна мною. У меня сохранилась карточка с первого моего бессрочного паспорта — в той самой гимнастерке, только без погон — на карточке незнакомый, далекий уже мне, чернобровый, довольно симпатичный парень, успокоенно, с каким-то взрослым достоинством и заметной печалью глядящий на этот бурный свет.

Зеркало изверху было одно — большое, старинное зеркало в массивной, черной, резной раме. Низ зеркала и бока его уже обработало время, места эти напоминали лягушечью икру, перемешанную со свежей, мелко рубленной капустой, переплетенную серебряными нитями. Но середка зеркала была чиста, и, когда утрами делали в комнате уборку или поливали цветы, на зеркале появлялась испарина, ее протирали досуха, и тогда оно, зеркало, опять начинало отражать в себе то свет зимнего солнца, явившегося в заоконье, то пятнышко лампочки, упрятанной в старомодный абажур. И всегда в этом древнем зеркале свет то отражался, то ломался, крошился в стеклянки, искорки или вдруг вытягивался живым лучом по всему пространству зеркала от угла до угла.

У меня уже заметно отросли волосы, я уже один раз сходил в парикмахерскую и, поскольку никаких названий причесок не знал, хотел было назвать, как мой папа — «польку-бокс», да в преискуранте, висевшем на стене, «полька» и «бокс» обозначались отдельно, к тому же «полька» была наполовину дешевле «бокса», и я назвал эту прическу, да так и не меняю ее до сих пор, лишь иногда, когда контуженая голова совсем уж начинала разламываться от боли, я стригся машинкой под «нуль», надеясь, что без волос голове будет легче.

Я любил постоять перед тем старым зеркалом, много лиц повидавшим, зачесывая волосы то набок, то кверху — «политикой», то еще как-нибудь. Однажды Калерия, утопивши живот меж колен, что-то сноровисто шила у окна и сказала мне:

— Тебе идет прическа чуть набок и вверх. Ты тогда как петушок... и изуродованный глаз меньше заметно.

— С-спасибо! — сквозь стиснутые зубы процедил я, уже и подзабывший про уродство глаза. Жена моя и такого меня любила, ну а если не любила, то привечала и необходимо, по-русски жалела.

В комнате, где обосновались высокие квартиранты, сделалось будто на выставке, скорей, как на барахолке. Всюду: на стульях, на спинке кровати — горой лежало, висело разнообразное заграничное барахло. Капитан расхаживал в галифе, в шелковой, голубого цвета, нижней рубашке и пощелкивал цветастыми подтяжками или валялся на кровати, почитывая книгу. Черти его сунули в начавшийся разговор.

— Калерия! А что если мы выдадим один из костюм-

чиков этому боевому солдатику, да еще рубашку, может, и сапожки — не парень, загляденье будет!..

Я не думаю, что он подал эту «идею», чтоб поизмываться надо мной. Он, наверно, и в самом деле хотел облагодетельствовать меня трофейным добром. Калерия, прервав работу, посмотрела на мужа — шутит он или всерьез говорит. Она, Калерия, испытывала передо мной чувство неловкости за так неладно — с нашего «переселения» — начавшееся возвращение их к мирной жизни, иногда заговаривала со мной о том, что как родит, то они с мужем получают квартиру — у него на это большие возможности, чем у меня, — они это понимают. Переедут, обставятся, тогда мы с Милей снова вернемся в комнату, навверх. А сейчас как быть? В положении и ей, и нам неловко, да и тесно...

«Да-да, — кивал я головой. — Конечно-конечно. Не беспокойтесь, нам и за печкой ничего, — и для убедительности добавлял, — с милой рай и в шалаше...»

Тяжело донашивающая ребенка, Калерия морщила губы в улыбке, кивала мне и долго потом следила за моим взглядом — правда ли, что я не ношу камня за пазухой, не обиделся на нее. Бедная женщина. Она была в том уже состоянии, когда все земное докучает, мешают, боль и тревога сосредоточены на том, что внутри, а не снаружи, что ее мучает, но и дарит светлую радость небывалого, ни на что не похожего состояния и жуткой тайны ожидания того, что за этим последует, муки ее завершатся новой жизнью, подуматъ только, зачатой на войне.

Ребенка мира! Первенца! Ее первенца! Ради которого она и сама родилась, росла. Не для войны же, не для работы, пусть и в отдаленности от фронта, рождалась она!

Калерия заметно помягчала нравом, сделалась уступчивей, заискивала перед сестрой, как я заметил, самой тут непреклонной; не вступала в стычки с Азарием, даже подарила ему что-то заграничное, вроде ручку — многоцветку. Правда, он ее забыл в желобке окна. Отцу с матерью тоже что-то подарила. Тасе — платье да пальто. Васе — ботинки, хотя и поношенные, но совсем еще крепкие. А вот у жены моей подарков от Калерии и ее капитана не было, видать, они понимали: никаких подарков она не примет, да еще такой отлуп даст трофейщикам, что зубы заночуют.

В общем и целом отношения в доме более или менее утряслись. Калерия капризничала, или, как тут говори-

ли — «дековалась», только над матерью, да и то нечасто. Мать терпела и всех терпеть просила. «Господь простит», — говорила.

Но жизнь под одной крышей — тесная жизнь, тут друг от друга не спрячешься. Мой свояк, Иван Абрамович, с семьей переехал из Шайтана в Архиповку, поближе к городу, всего она в шести верстах от города, та Архиповка. Он часто привозил на салазках мороженое молоко на продажу, из овощей кое-что — он сбивался на дом. И пока жена его торговала на базаре, Иван Абрамович вел с нами разговоры, да все больше на политические темы иль нравственно-социальные.

Видом он был благообразен. Высоко обнажившийся массивный лоб обрамлен нимбом волос, голубоглаз, длиннолиц, длиннорук, походил он на какого-то философа из учебника пятого класса. Иван Абрамович читал газеты, книги, вступил на войне в партию, хотя на Урал угодил спецпереселенцем и по этой причине ретиво отстаивал ее идеи, негодовал по поводу безобразий, творившихся в лесной промышленности, заверял, что все это вместе с последствиями войны будет со временем партией ликвидировано. На лесозаготовках Иван Абрамович очутился не по своей воле, на фронте метил попасть в политруки, но дальше агитатора продвинуться не успел, однако патриотический порыв не утрачивал до тех пор, пока жизнь да болезни совсем не замяли его и не растолкли в порошок. Я беззлобно его подзуживал:

— Ты такой вот сознательный, почем же сейчас молочко на базаре продает твоя баба? Почем?

— Дурень ты! — беззлобно и снисходительно гудел Иван Абрамович и отворачивался от меня, как от осы, докучливо зудящей над его мудрой головой. — Погоди, погоди, поживешь вот мирной жизнью, покатает она тебя по бревнам, синяков на бока наставит — поумнеешь.

С товарищем капитаном разговоры у нас не клеились. Он про «свою войну» помалкивал, я трезвонил шпорой, в кучу собирал все, что слышал, видел на пересылках, в госпитальях, в запасных полках. Свой боевой путь был мне настолько неинтересен, что и его почти не касался, вспомню иногда: где чё сперли, какие шуточки вытворяли по молодости лет, после того как отдохнем и отоспимся, от глупости и прыти, связанной с возрастом и постоянной взвинченностью, неизбежной у молодых ребят на войне.

Иван Абрамович, рядовой стрелок на войне, пехоти-

нец, вышедший в сержанты, отлично понимал, где я говорю серьезно, где придуриваюсь, хохотал, отмахивался от меня, утирал калеченой рукой, похожей на пучок сосисок, глаза. Папаша смеялся приглушенно и только по глазам его, серым, голубеющим в минуты радости, да и по мелко вздрагивающей бороде было заметно, что он тоже смеется.

— Тихо вы! Каля там, забыли! — шикала на нас Пелагия Андреевна, но шикала беззлобно — тоже нажилась в почти безгласном доме за войну. — Согрешенье с вами... — и удалялась к соседям — отдохнуть, может, переждать: Калерия рассердится — ее тут не было и она знать ничего не знает.

— Вот с такими вояками и отдали пол-России, провалили четыре года, — не выдержал как-то капитан, послушавший мои байки. Я знал, что он не выдержит, потому что он, когда я, махая руками и ногами, «травил про войну», фыркал, соваля с замечаниями. Я ждал, когда он сорвется, даже предполагал, чего он скажет, тут же вмазал ему в ответ:

— А с такими, как ты, просрали бы целиком дорогую Родину за три месяца! Осенью немцы были бы здесь, — топтал я по полу. — На Урале! А японцы там! — показал я за окно, на улицу, в восточную сторону.

Повисла неожиданная, напряженная тишина. Но капитан был не лыком шит, немало, видать, поработал с такими «мятежниками», как я. Он побледнел, но, сдерживая себя, выдал презрительно:

— Шутник! — и быстро удалился наверх. Папаша снова, несмотря на запрет, свертывал сигарку. Иван Абрамович угрюмо молвил:

— Зря ты. От говна подальше...

Папаша, с которым мы уже испилили и искололи все дрова в мои выходные дни, очистили снег и стайки, слушал меня то в пол-уха, то и вовсе не слушал, но все равно мне одобрительно кивал.

— И правда што, не связывался бы ты с им. Правильно Иван Абрамович толкует: от говна подальше — не воляет.

Теща явилась и с порога навалилась на «самово»:

— Опять смолишь! Скоко говорено. — И, когда, накинув японскую шубу и бубня что-то себе под нос, папаша удалился на улицу, я стал собираться следом за ним, она сказала Ивану Абрамовичу так, будто меня уже не было в избе, — ну нискоко не уступит старшим! И трешшшт, и

трешпыт!.. Да хохочет — аж лампы гаснут! Вот как ему весело! С чего? Зарабатывает меньше уборщицы, но туда же, с гонором...

Папаша сидел под навесом тамбура. Цигарка его, как флейта, с дырами по бокам, дымила вызывающе. Удивительный был он курец, папаша! Курил он всю жизнь не в затяжку, но без курева жить не мог. Сейчас у него в цигарке-флейте были крупно рубленные табачные крошки — корни вперемешку с крапивой, но он смолил себе и смолил — аж глаза ело. Протянул было мне кисет, но моя голова его курева не переносила, угорала — в ней, в контуженной-то моей башке, усиливался звон. Папаша убрал кисет в карман. Я достал за услугу на вокзале заработанные папироски и, когда докурил «Прибоину» до мундштука, притоптал ее, сказал папаше:

— А давай-ка, Семен Агафонович, сортир чистить. Народу много, все серут... уже подпирает...

— Пожалуй што айда. Нам така работа самый раз. Капитанам срать, нам, солдатам — чистить! — Такие сердитые слова, так сердито и грубо произнесенные, я услышал от папаши впервые и озадачился, начиная понимать, что с виду-то у папаши лишь борода, да нос, да трудовые корявые руки, испутанные толстыми жилами, но внутри, в середине-то, где глазу не видно, не все так уж просто да топорно.

Папаша надел «спецовку»: старый дождевик, латаные-перелатаные валенки, для чистки изготовленные рукавицы, и заделался черпалой. Меня от долбежной работы освободил, так как одежда у меня одна: и рабочая, и выходная. Пахнуть стану, а работаю на людях, и он, папаша, преотлично это знает, так как на том же Чусовском вокзале, после того как ему повредило руку при сцепке вагонов, какое-то время он состоял швейцаром при ресторане. Работа легкая, в тепле, да старуха его оттудова отстранила, так как он там, при ресторане-то, кхе-кхе...

В старом железном корыте я отвозил добро за железнодорожную линию, опрокидывал его в овраг — весною ручей все зимние накопления снесет в реку Чусовую. Пока папаша нагружал транспортную емкость, я любопытствовал, что означает это самое «кхе-кхе». Отвернувшись от сортирного жерла, Семен Агафонович досадливо обронил:

— Не знаешь, што ли? Мужик ведь!.. — и, тяжело вздохнув, признался: — Виньдом я стал баловаться... А семья!.. С такой оравой не забалуешься, — и, опершись

на лопату, устремив голубеющий взор в какие-то, ему лишь известные дали, исторгнул: — Было делов! — но тут же опамятовался, прикрикнул на меня, что полное уж корыто, а ты стоишь и стоишь, ртом ворон ловишь. Когда я вернулся во двор и развернул под нагрузку транспорт, папаша, заглаживая нечаянную грубость, пообещал мне: — Я ишшо тебе как-нибудь расскажу про службу в городе Витебску. Во-от, парень, город дак город!

Для папаша это был самолучший город на свете! Так как других он почти не видел, не задерживался в них, городишко же Чусовой по естеству жизни плавно перетек в деревенский лик — сельская жизнь тут не могла сравниться ни с какой стороны с городом Витебском. Воспоминания о городе Витебске папаша мог поведать только в самые благодные минуты, будучи «под мухой», и только самым близким людям. Вот и я удостоился услышать от него те редкостные, захватывающие воспоминания, и за это мне хотелось обнять и притиснуть к себе папашу, да весь он был в мерзлом крошечке — от него пахло. Когда мы углубились на уровень лома в нужниковую яму, выломали, выковыряли и отвезли отходы человеческие за линию, папаша восстановил деревянный мерзлый трон и, как в прежние годы, после приведения «общественного места» в порядок, затопил баню.

В этот раз мы мылись с ним вместе, чего удостаивались тоже далеко не все, даже и сыновья. Ивана Абрамовича старик стеснялся. Я сдавал на каменку. Семен Агафонович, ахая, хлестался веником, сочувствовал, что я не могу париться. «Вот чево война делат с человеком...»

Когда, уже изможденный, обессиленный, сел папаша на приступок полка, прикрыв исклепанным веником причинное место — в этих делах, как и в словесном сраме, тесь мой был целомудрен, многому меня, не поучая, научил, — пытался он продолжить беседу про войну, но сил его даже на разговоры не хватило — ослаб могучий мужик за войну, на иждивенческих карточках, — попросил окатить его теплой водицей, загородив накрест ладонями свои мужские достоинства. Родив девятерых детей, последнего — сорока пяти лет! — они, родители, не дали детям никакого повода знать ребятам — откуда они взялись, тем более, каким манером их мастерили.

Привыкший к массовому бесстыдству, богохульству и хамству на войне, да и до войны кое-что повидавший по

советским баракам, наслушавшийся всякой срамотищи и запомнивший бездну мерзостей, декламировавший целые поэмы, подобные «Весне» Котляревского, невольно я подбирался, укорачивал язык, смягчал солдатские манеры поведения и придерживался насчет окопного фольклора. Многим современным, интеллигентно себя понимающим людям стоило бы поучиться у бывших вятских крестьян чисто человеческим отношениям меж собой, в семье, на людях. Узнав, что у капитана в городе Ростове есть брошенная жена с двумя детьми, Семен Агафонович не мог понять, как это возможно — бросить свою жену, тем более робятишек, оттого сразу невзлюбил блудню-зятя, да и дочь осуждал за невероятный в этой семье поступок. Позднее он мне признался, что сразу решил: «Путней семьи у их не получится, ничего доброго не будет — на чужом горе счастья не строят — эдаким маневром, — все же он был и остался маневровым работником — составителем поездов, — варначат людишки, жить-то по-людски не живут. Дитям судьбы калечат».

Калерия, удостоверившись, что муж ее не шутит — всерьез хочет обрядить меня в парадный костюм, — поддержала супруга:

— Что ж, по-родственному полагается всем делиться...

А я ж, «язва болотная» — по выражению бабушки, сроду и болот-то не выдавший — горы у нас да скалы кругом, на родине-то; я ж страшно раним, потому как в деревенском сиротстве хлебом корен, в детдоме беспрестанно попрекаем за то, что государство меня поит, кормит, одевает, день и ночь думает обо мне, в окопах и госпиталях изношен до того, что нервы наголо и начитан некстати, изображаю прическу на непутевой голове перед зеркалом, — и внятно так, отдельно произношу:

— Я до войны вором был — беспризорничество вынуждало воровать... И потому ныне ворованным не пользуюсь.

Капитана будто ветром смахнуло с кровати, он закружил по комнате, закачал половицы — они же потолок.

— Ты что?! — негодовал капитан и назидал в том духе, что все манатки — немецкие — есть трофейное имущество, которое брошенное, которое купленное, которое просто победителям отданное!..

Из вороха тряпок, лежавших на столе перед зеркалом, я брезгливо, двумя пальцам поднял миленькие детские

трусики с кружевцами и, кривя глаз и рот, начал измы-
ваться над соквартирантами:

— Да-да!.. Прибежала немецкая девочка лет трех от
роду, а то и годовалая, сделала книксен: «Герр советский
капитан! Я так вас люблю, что готова отдать вам все!» —
и великодушно сняла вот эти милые трусики...

Капитан ушибленно дернулся, его скособочило, сло-
мавшись в шее и пояснице одновременно, он рухнул за-
дом на кровать, какое-то время глядел на опущенную го-
лову Калерии. Она ни глядеть на него, ни шить не могла.

— В-во мерзавец! Во-о сволота!..

— Иди-ка сюда, капитан, — поманил я пальцем своя-
ка. Он отчего-то заворожено пошел на мой голос — кол-
дун же я, колдун! Распахнув дверь в верхние, холодные
сени, я показал ему на воткнутый в стену, бритвенно-
остро наточенный столярный топорик и медленно, сквозь
зубы проговорил со всей ненавистью, какую нажил на
войне, с бешенством, на какое был способен с детства. —
Еще одно невежливое слово, я изрублю тебя на куски и
собакам выброшу... — Осторожно, будто в больничной
палате, я закрыл дверь и, обмерив взглядом оглушенного
капитана — все это комфортное жилище, добавил: — Хотя
такую падаль здешние собаки жрать не станут, разве что
ростовские, под оккупацией человечину потреблявшие...

Выступление мое разбросало всех обитателей дома по
углам и запечьям. С Калерией и с капитаном simultанно
началась истерика. Капитан превзошел свою жену в
визге, стенаниях, угрозах и жалобах, все он напирал на
то, что ни быть, ни жить ему здесь невозможно, чтоб все
слышали и знали, как он страдает от поношений, как много
терпит неудобств и несправедливостей.

Вылазка капитана не удалась — ему в Ростов хоте-
лось, к деткам, к женошке богоданной, не с пэпэжэ же
ему в самом деле вековать. Согрешил, накрошил да не
выхлебал товарищ капитан. Вспомнил, видать, что семей-
ная каша погуще кипит. Бо-ольшим политиком за войну
сделался капитан, со временем в генералы выйдет и его
непрременно, как патриота, в селезневскую Думу выберут —
там ему подобных уже с десятков воняет, дергается, пасть
дерет, Россию спасает от врагов. А ее надо было нам спа-
сать от таких вот капитанов и его покровителей. Тогда бы
уж не очутились мы на гибельном краю...

Ну да ладно, чего уж там...

Папаша залег на печи, мамаша пила за занавеской капли датского короля. Тася и Вася привыкли уже тишком-молчком проскальзывать в свою квадратную комнатушку-боковушку, с двумя топчанами. От средней комнаты эту боковушку отличал цветок — ванька-мокрый, на окне, да самошивный коврик из лоскутков на стене.

Азарий дневал и ночевал на заводе да у своей Софьи. Жена моя — на работе, как раз приспел квартальный отчет, и она подолгу засиживалась в старом, хорошо натопленном доме, где располагалась контора инвалидной артели «Трудовик». На выручку мужу, которому из-за занавески было предложено «искать квартиру», не поспешала.

Поскольку «квартира» я никогда не имел, опыту их искать — тоже, жильем меня всегда кто-то обеспечивал: сперва родители, потом бабушка, потом все государство обо мне пеклось: детдом, общежитие ФЗО, вагончик на желдорстанции, солдатская казарма, индивидуальная фронтная ячейка бойца, по-тамошнему — ровик, привычнее — щель в земле, изредка — отбитый у врага блиндаж с накатом, госпитальная палата с индивидуальной койкой, вагоны, вокзалы.

И вот прибыл, стало быть, на место, окопался!

Начал восстановление народного хозяйства, удивляя себя и мир трудовыми подвигами. И чего я этого капитанишку топором не раскряжевал? Но это уж больно кровавадно даже для такого громилы, как я... ну хотя бы обухом по его толоконному лбу...

Было бы у меня опять жилье. Казенное. С индивидуальным местом на нарах, с номером. Из рассказов бывалых людей, а их у нас уже в ту пору тучи велось, я с точностью представлял то казенное помещение. По комфорту, обстановке и нравам, царящим там, не уступало оно бердской казарме, где мы топали и дружно пели боевые песни; а сталинградская пересылка, а винницкая, а львовский и хасюринский госпитали; а дорога с фронта, а конвойный полк — это ж «этапы большого пути», — как поется опять же в патриотической песне: «Ту-упой фашистской нечисти... отродью человечества заго-оним пулю в лоб!..»

Прикончили. Загнали ему пулю в лоб и в жопу. Кого закопали. Кого рассеяли. Сами тоже рассеялись. Пора

браться за ум. Пора учиться жить. Биться в одиночку. За существование! Слово-то какое! Выстраданное, родное, распрекрасное — новорожденное, истинно наше, советское. На полкиловой пайке его и не выговоришь. А что пиздастрадателя этого не изрубил, Бог, значит, отвел. Хватит мне и немца, мною закопанного в картошке. Каждую почти ночь снится.

Сложив в нагрудный карман документы, в том числе так и не обменный проездной талон на железнодорожный билет, выписанный мною при демобилизации до Красноярска, хлебную карточку, поместив в синий мешок, в неизносимый подарок Сталина, тетрадку в ледериновой корочке, с песнями, стихами, фотографиями фронтовых и госпитальных друзей да совсем недавно пламенно любимой медсестры, запасные портянки, ложку и кружку, я потоптался у порога, подождал, когда прервется крик Калерии наверху.

— До свиданья!

Никто мне ни с печи, ни из-за печи не откликнулся. Уходить, будто вору, хотя и привычно, да неловко все же, да и горько, да и обидно, на сердце вой, в три звона сотрясает, разворачивает больную голову, поташнивает. Как всегда после сильного потрясения, хочется плакать.

— Прощайте! — повторил я и по-крестьянски, церемонно вымучил: — Простите, если...

Семен Агафонович отодвинул блеклую занавеску, решительно и шумно откинул ворох лучины в сторону, свесил бороду на мою сторону:

— Поезжай! Поезжай с Богом... от греха... — и, опуская бороду еще ниже, добавил: — Чё сделаешь?.. И тоже прости нас, прости.

— С Богом, — выстонала из-за занавески благословение теща.

Вечером я заступил на дежурство, ночью написал заявление о расчете, и утром начальница, гулевая красивая баба, обремененная ребятами, за что ее замуж не брали, с сожалением подписала мою бумажку и каким-то образом обменяла мой просроченный талон на железнодорожный билет до Красноярска.

— Хоть теперь по-человечески поедешь! — В ней и в самом деле сочеталось совместимое лишь в нашей женщине: бурность, книжно говоря, темперамента и чуткость слезливой русской бабы.

Днем появилась на вокзале и отыскала меня жена. Я после дежурства спал в комнате начальницы вокзала, на диване. Сама начальница уехала куда-то в командировку, скорее всего, загуляла в отделении дороги. По случаю очередной победы в соцсоревновании по перевозке грузов кутили там который день.

Посидев в тяжелом молчании, в непривычной отчужденности в руководящем кабинете, мы занялись кто чем. Жена смотрела в окно. Я вынул запасную чистую портянку, сходил к Анне, рывкнул, чтобы дала воды, да постудеее. Она в ответ жажнула такой струей, что и умыться не надо — всего меня окатила. «Ведьма!» — сказал я, утерся портянкой и вернулся в вокзал.

Жена моя играла в ладушки. Сидя на лавке, сдвинув колени под диагоналевой юбкой, валеночки не по ноге, много раз чиненные кожей и войлоком, составила пятки вместе, носки врозь. Прихлопывала ладошками и что-то едва слышно — она не песельница по призванию, напевала. Я попытался уловить и уловил: «А мы — ребята, ухари, по ресторанам жизнь ведем...» — ее, эту песню, из богатого детдомовского фольклора я пел ей не раз, и она вот уловила мелодию, но всех слов не запомнила — хотя и способная баба, но к ней как-то не липли и в слух ее не проникали подобного рода творения, зато я их имал с ходу, с маху, с лету. Однако, песня сослужила нам неоценимую службу: мы оказались в вокзальном ресторане. Знакомая официантка подала нам по коммерческому бутерброду из черного хлеба, два звеньышка селедки да по стакану квасного киселя:

— А вина нам не дадут? — вдруг спросила жена. — Я премию получила, — и чтобы я не засомневался, тут же полезла в сумочку, подаренную ей еще до войны крестной, имя которой она произносила с благоговением. Семен Агафонович и Пелагия Андреевна — с неподдельным трепетом. — Вот! За квартальный отчет. Мы его досрочно сдали, нам выдали маленько денежек, выписали всем конторским кожи на обувь.

— Хорошо живете! — холодно заметил я и объяснил, что насчет вина ничего не знаю, хоть и работаю на вокзале, в ресторане бываю только в случае необходимости, чтоб вывести кого, усмирить, если милиционера поблизости нету. Обедать в ресторане мне не по карману — я ведь и в самом деле получаю чуть больше уборщицы.

— Попроси, а! Попроси! — настаивала жена и в голо-

се ее, в глазах была незнакомая мне забубенность напополам с душой рвущим отчаянием человека, покидаемого на необитаемом острове.

К моему удивлению, официантка не удивилась, даже обрадовалась:

— Х-хо! А мы думали, ты непьющий! И до девок не охоч... — прищурилась на дальний угловой столик. — Твоя? Ничего. Только малокалиберная... У нас девки поядреней... — И скоро принесла бутылку портвейна под сургучом, три ломтика веером раскинутого, скрюченного сыра, винегрет и сколько-то шоколадных конфеток из кармана фартука вытащила. — Конфетки спрячьте. Не-кон-ди-цион! Ну, со стороны добытые, — пояснила она. — По фондам с голоду сдохнешь!..

Портвейн мы выпили. Весь. Я сперва ни крепости его, ни вкуса не чувствовал, потом меня развезло, супружницу мою тоже. Где-то за пакгаузом, за технической будкой, почти по-за станцией, мы сидели на запасных, рядом сложенных рельсах и, целуясь, плакали. Она все пыталась говорить, вернее, выговорить: «Вот и свадьба!.. Прости! Вот и свадьба!.. Прости!» — с разрывами, сквозь слезы, несвязно лепетала. Но я все, до основания, понимал, гладил ее по голове, целовал в холодный, слезами заполненный рот.

Потом, продрогшие до последних ниточек, мы неторопливо шли той же дорогой, которой двигались не так давно, но отчего-то казалось, что было это вечность назад. Я провожал жену домой. Она говорила, что вчера была крестная — приезжала специально из города Лысьвы, посмотреть на «Милюного мужа». Ей сказали, что муж на дежурстве. Тогда крестная поинтересовалась: как и где живут молодые. И когда ей указали на запечье, напрямки спросила: «Калерия, конечно, наверху?! Я так и знала! Вечно Милечка у вас в батрачках! Вечно вы ее, безответную, в углы заталкиваете да работу погрязней да потяжелей суετε!»

Решительная эта женщина-то, крестная-то. Дала она всем прикурить. Велела властью своей освободить от квартирантов флигель, переселить туда Милечку с мужем. Какой бы он молодой и разбойный ни был — им жить, им и разбираться друг в друге. Когда отелится корова, нужно помогать им молоком, и вообще хватит делить детей на любимчиков и нелюбимчиков. Левочка, муж крестной,

говорит, что у нас социализм и все должно быть по справедливости!

О, грехи наши тяжкие, смехи наши вольные! Тут, на вокзале, я узнал наконец о том, как моя жена раздобыла столько имен.

Крестная росла без отца — мать ее рано овдовела — и была приглашена работать экономкой в дом к протоиерею, служившему в кафедральном соборе. Дело она знала, была исполнительна, безупречна в части морали и всего прочего, пользовалась у хозяев полным доверием. Будущая крестная, когда наступила пора посещать гимназию, училась вместе с дочерью высокого духовного лица и рано начала болтать по-французски.

Гражданская война разметала семью священника. Мать крестной, привыкшая управлять и властвовать, стала выводить дочь «в люди». И вывела! Крестная, хоть и в небольшом чине, но работала в техническом отделе на железной дороге. Вечерами, иногда и ночи напролет, шила вместе с матерью, вышивала, вязала, плела. Даже от табачной фабрики брали женщины работу: набивали табаком папиросные гильзы. Зато и одевалась девица всегда по моде, выглядела культурно, читала книги. Прехорошенькое, щебетливое существо, вышколенное матерью, вольности на знало, мать иногда даже поколачивала ее, вплоть до замужества.

Муж крестной прожил тяжкое, голодное детство в многодетной семье, был подпаском, затем пастушком, благодаря уму, стараниям и добрейшему характеру покорял высоты наук по пути в инженеры, покорила еще и сердце разборчивой девицы, давшей отлуп уже не одному «видному» жениху.

Из рассказов об обожествленной крестной мне в ту пору запомнился один. Это когда она, крестная, еще девицей гуляла с Левочкой, одетым в красивую форму строительного инженера, вдруг с ужасом почувствовала, что лопнула тесемка у нижней, накрахмаленной юбки! И случилось это не где-нибудь, но посреди конно-пешеходного моста через реку Усьву, длиной не меньше километра! Нечистая сила, не иначе, решила подшутить над девицей, подвергнуть ее моральному испытанию. Да не на таковскую «нарвалась»! Девица как шла, так и «вышагнула» из накрахмаленной юбки, сопнула ее с моста.

Кавалер, державший свою любимую под руку, так ничего и не заметил, так и держал как держал. Кто-то из

публики, гуляющей по мосту, воскликнул: «Э-эй! Кто белье утопил?!» — Девушка пожала плечиками: «Какая-то растяпа полоскала белье и упустила юбку по течению». И лишь много лет спустя, будучи на курорте, в аналогичной же ситуации, Левочка со смехом напомнил: «Какая-то растяпа юбку утопила!» — «Умный Левочка! Ох, умный! А воспитанный!»

Так вот, эта самая решительная еще в девицах особа и ее строгая мамаша рабочую семью Семена Агафоновича жаловали. И когда у Пелагии Андреевны родилась девочка — пятый в семье ребенок, строгая и почтительная Ульяна Клементьевна выговорила доброй знакомой: мол, если деньжонок подзанять, иголку для машинки, кожу на заплатки, лоскутья для одеяла — всегда пожалуйста! Но вот пятого ребенка родила, а чтоб ее дочь в крестные взять — не подумала! Наделив роженицу подарком, строгая женщина добавила: «Ныне быть крестной ее дочери — она не хуже людей! И чтоб новорожденную назвали ладом — Людмилой.»

Послала Пелагия Андреевна своего Семена Агафоновича метрику выписывать на новорожденную. И он пошел, перед этим в честь прибавления в семье немного выпил. Когда зашел в ЗАГС, за метрикой, и когда, регистрируя младенца, заполняя эту самую метрику, его спросили, как ребенка назвали, он запомнил мудреное имя и сказал — Марией.

Рассердилась крестная, что не по ее просьбе назвали девочку, и сказала, чтоб хоть Милей тогда ее называли. Ее убеждали, что Мария — имя тоже хорошее, в святцах означает — Святая!.. А я вот у Даля потом прочел: «Не у всякого жена — Марья, а кому Бог даст».

С тех пор в семье жены произошло по отношению к ней раздвоение. Почти все в семье называли ее Милей, отец же, Семен Агафонович — Мареей, будь хоть выпивший, хоть усталый, хоть здоровый, хоть больной — Марья и все тут! И так до конца его дней — вот они какие, вятские-то! — не больно хватские, зато упрямые!

Веселый рассказ кончился и дорога — тоже. Надо прощаться. И мы распрощались, но, увы, не в последний раз.

После встречи на вокзале на душе у меня сделалось легче, а после загадочных слов жены:

— Приезжай!.. Я без тебя переберусь во флигель. Когда вернешься — скажу тебе важное... Приезжай! — и ос-

талась на перроне одна-одинешенька среди толпы, в чиненых валеночках, в мамином стареньком пальтишке, в теплом берете, натянутом на уши, — военная шапка на мне. Я попытался вернуть шапку, она удержала мою руку, вежливо и настойчиво:

— В Сибири уши отморозишь...

В Сибири никто меня, кроме бабушки, конечно, не ждал, но вся многочисленная родня, погулять гораздая, нарядилась, собралась, запела, заплясала. В какой-то день привели скромно потупившуюся девку, которую тетки мои предназначали мне в невесты. Один раз она написала мне на фронт, я не ответил, и теперь, узнавши, что я женат, облегченно сообщила: «Я тоже замуж собралась... — кротко вздохнула, — за сторожа-пожарника. Инвалид он, войны».

Чужой, совсем незнакомый человек, а вот там, на Урале... там мне важное хотят сообщить, об чем, — я почти догадываюсь...

Но первое сообщение с Урала было ошеломляющее — умирала Калерия. На кровати иль, точнее, на топчане матери, за занавеской, лежала, догоревшая до черной головешки, старая женщина с плавающим взглядом, в которой я уже не узнавал красивую Калерию. Я опустился на колени перед скомканной постелью, пощупал раскаленный лоб больной. Взгляд ее пробудился, она не произнесла мое имя, а зашептала, зашептала, схлебывая слова:

— Вернулся?! Ха-а-апо, ха-а-апо!.. А я вот, видишь, вот видишь... — она боялась еще произнести слово «умираю».

Я понял, все понял по ее лепету: не надо бросать жен, не надо сиротить детей, не надо войны, ссор, зла, смерти.

— Я счас, счас, счас сбегаю...

Калерия поймалась за мою руку:

— Не уходи-ы. Ты... ты... мне нужен, твое прощение мне нужно, — собравши силы, едва уже слышно прошептала умирающая.

— Я счас, счас, помогу тебе, помогу.

В дорогу из Сибири меня снабдили харчишками. Бабушка из какой-то заначки вынула туесок моченой брусники.

Я кормил Калерию прямо из туеска брусничкой, стараясь зачерпывать ложкой ягоды вместе с соком, и видел, как больной легчает, как жаром сожженное нутро ее пронзает освежающая влажная кислота.

— Мне легче стало, — внятно сказала Калерия. Она была завязана по-старушечьи. Я концом ситцевого платка вытер ей губы и сказал:

— Теперь ты поправишься — брусника не таких оживляла...

— Па-си-бо! — по-детски раздельно выдохнула Калерия и, склонив голову набок, уснула.

Этой же ночью Калерия умерла, оставив новорожденного сына. Прослышав, что в роддоме худые условия, плохо с роженицами обращаются, что дома эти переполнены, что детей часто путают и не кормят, мать решила принимать роды дома, хотя сама она, деревенская когда-то баба, всех своих детей принесла в городском роддоме.

О, эта слепая родительская любовь и рабское прислуживание! Они порой страшнее предательства... Отчего-то рожать Калерию переместили на материнскую постель, в духоту, в пыльное место. Может, не хотели беспокоить капитана и в полутьме обрезали пуповину старыми портновскими ножницами. Ножницы валялись на издолбанном, гвоздями пробитом подоконнике, перед которым сапожничал папаша, на них еще рыжела засохшая кровь.

Вдвоем, Азарий и я, долбили землю на уральской горе, на новом кладбище, которая называлась Красный поселок — не за революционную идею так гора называлась, а оттого, что на ней красная глина. С перебитой рукой из меня какой долбежник? Я подбирал лопатой крошево глины с камешником, Азарий бил земную твердь с остервенением и раскаянием.

Капитан во время прощания с покойной женой бился головой о стену и на кладбище, ползая вокруг могилы, все норовил в нее упасть.

— Тиятр! — сказал я твердо, и жена моя, съезжившаяся, сделавшаяся совсем махонькой, уцепив мать под мышки — не держали ноги старую женщину, посмотрела на меня долгим, горестью и болью сжатым взглядом. После скромных поминок сделала она заявление:

— Совсем ты на войне очерствел, — помолчала и добавила, — может, и озверел...

На что я ей дал отпор:

— Мужик должен быть мужиком. Засранец капитаниска этот, а какой засранец — вы еще узнаете.

Узнали. Очень скоро. Через совсем короткое время,

сороковины не справив, товарищ капитан, сделав разведбросок в город Ростов, вернулся за манатками, забрал все, не оставив даже лоскутка на пеленки сыну. Но всем нам было уже не до капитана и не до трофейных манаток. Мы с Азарием снова долбили землю на Красном поселке. Достали, достали аж на Урале бедного фэзэошника, свернули ему голову трудами мудреными Карла Маркса и его партнера по сексу Фридриха Энгельса.

Когда-то падавший со строительных лесов и ушибившийся головой младший брат жены — Вася — дочитался до точки, взял и повесился в сарае.

Пока я катался в Сибирь и обратно, жена моя перетаскилась во флигель. Он состоял из двух половин, этот, давно списанный из оборота, почти залегший окошками в огород и не упавший только потому, что снаружи его подпирали четыре крепких, с сенокоса приплавленных, бревна. Внутри подпорок было шесть, при мне появились еще две. Печь развалилась. Папаша принес из бани железную печку, выдолбил дыру в старой трубе, засунул туда железное колено. Еще он приволок старую железную кровать из сарая и, чтоб она не падала, прикрепил ее к стене, закрутил на гвоздях проволокой; еще он принес вышедший из строя курятник, выскреб из него плесневелый помет, покрыл фанерой верх — получилась столешница. Задвинул изделие в угол, прикрепив опять же его гвоздями к стенам.

Жена моя побелила стены, потолок и печь, намыла полы, отскоблила курятник ножом, повесила шторы на окна и занавесила проем — ход из кухни в комнату, на заборку прибила две репродукции из журнала. Перегородка из кухни была фанерная и ее вспучило осевшим потолком. Но уют все же был, и какой уют! Разве сравнишь с окопом или блиндажом, даже штабным.

Главный тон и вид придавала штора. Еще когда я боролся со снегом на станции Чусовской, прибегла как-то ко мне погубительница шинели Анна и сунула мне сырой и грязный комок материи: «На! Твоя кнопка занавески сделает». — На станцию прибыл какой-то груз из Канады или Америки, завернутый в плотную марлю, прошитую разноцветными нитями: красной, голубой и желтой. Нарядную эту упаковку узрели вокзальные бабы и давай ее драть, к делу употребляют. Мужики в пакгаузе и на товар-

ном дворе были всегда пьяные и за то, что бабы давали им себя пощупать, разрешили сдирать упаковку, на их взгляд, совершенно лишнюю.

Жена моя тот лоскут от упаковки мыла-мыла, стира-ла-стирала — и сотворена была штора — радуга, сиянье, красота. И жилье наше инвалидное изнутри сделалось куда с добром! В нем было всегда чисто, светло от белой печки и шторок на окне, сшитых из старых наволочек. На углах тех шторок-задержушек жена вышила синие васильки с зелеными лепестками. Так ли мило получилось.

Отдельное жилище, уют, созданный своими руками, — это ли не счастье! Это ли не достижение для воинов, вступивших в мирную жизнь. Правда, половицы на торцах подгнили, и западня начала проваливаться в неглубокий подпол. Ну да я-то на что, мужик-то в доме зачем?

Грубо, неумело, нестругаными обрезками я починил пол, подшил и укрепил западню, на свалке подобрал полуведерную кастрюлю — парнишки-ученики из артели «Металлист» обрезали проносившийся низ кастрюли, припаяли новое дно, и мы варили в той кастрюле картошку и уплетали ее за милую душу. Иногда удавалось купить на базаре кусочек сала, мы эти грамм сто сала делили на два-три раза, сдабривали варево луком — и очень-очень аппетитное варево получалось.

Картофель мы сперва покупали на базаре иль его выписывали в артели «Трудовик». Луку и чесноку как-то привез нам Иван Абрамович, чтоб мы не жили без витаминов, пообещал весною выделить нам сколько-то земли возле своего огорода и семенного картофеля на посадку.

Здесь, в этом райском жилище, разрешился и «секрет» жены: появилась у нас дочка, которую я в честь своей мамы назвал Лидией. И если прежде мы топили печь два-три раза за ночь, теперь ее приходилось жарить беспрестанно. Надо было добывать дрова. Я пошел в горсобес и нарвался на начальника, который еще в сорок втором году убыл с фронта по ранению, занял теплое местечко, среди баб царил, как бухарский падишах. «Откуда, откуда ты будешь-то? Ах, из Сибири! Ну так и поезжай в Сибирь за дровами. Ха-ха-ха!..» — порадовался он своему остроумию. Я знал в этом богоспасенном городе пока одного лишь заступника за народ. — военкома Ашуатова.

Пошел к нему. Он в телефон наорал на горсобес, и нам подвезли кузов дров. Осиновых. Сырых.

Семен Агафонович сказал: «Ат, варнаки! Ат, шаромыжники!» — и посоветовал сходить в вагонное депо, попробовать по линии дорпрофсожа выписать отходов, среди которых, — объяснил он, — попадается много старых вагонных досок, «с имя осина сторит за милую душу», — заверил тесть.

Я не только выписал отходы на дрова, но и нашел работу в вагонном депо, в горячем цехе, где отливали тормозные колодки и башмаки для них. Цех пыльный. Все работы, в том числе и загруз вагранки, велись вручную, кувалда — главный был инструмент вспомогательного рабочего. Но здесь, в горячем цехе, были самые высокие заработки в депо. И я вкалывал возле вагранки, да еще и в железнодорожную школу рабочей молодежи записался, и был самым старшим в классе, и учился подходяще — хотелось, очень хотелось закрепиться в жизни, обрести устойчивое в ней место, попасть на чистую конторскую работу.

Ранней осенью мы потеряли нашу девочку. Да и мудрено было ее не потерять в нашей халупе. Зимой жена застудила груди, и мы кормили девочку коровьим молоком, добавляя в него по случаю купленный сахар.

Но прежде чем покинуть нас, то милое, улыбочливое существо сотворило свой жизненный подвиг, ради которого, видимо, посылал ее Бог на землю: она спасла жизнь матери и отцу. Отчаявшись натопить нашу избушку, где ребенок все время сопливел, кашлял и чихал, моя разворотливая жена, у которой ноги и руки часто опережали разум — очистила старую печку от сора и золы, поправила и замазала щели, вставила в дыры кирпичи и жарко протопила парящее сооружение. Я после смены и школьных занятий так уставал, что часто не хватало моих сил осмотреться в хозяйстве, упредить намерения жены, проконтролировать ее прыткие домашние действия. Она тоже смертельно уставала, а тут еще за печника, за штукатура и за истопника поработала. Выкупала в железном корыте ребенка, которое, опять же, изготовили в артели «Металлист» инвалиды-жестянщики из кровельного железа.

Глухой ночью что-то грузно упало на меня — я трудно проснулся. В неуклюжей деревянной качалке, сработан-

ной папашей, Семеном Агафоновичем, еще своим детям, тепло укутанная, чихала и плакала девочка. Поперек кровати, на мне, без памяти, лежала моя жена. Сверх усилим — мать же! — не давая окончательно померкнуть сознанию, она едва шевелила губами, еле слышно повторяя: «Угар... угар...»

Я отбросил ее, резко вскочил и тут же возле кровати упал на пол. Девочка все плакала и чихала. Я потом узнаю, что дети малые устойчивей взрослых к угару. Я на карачках выполз на кухню и, хватаясь за все еще горячую плиту, чтобы открыть вьюшку, но не открыл — старая вьюшка заклинилась в щели, я обрушился на плиту, разбил лицо, рассек губу и, увидев кровь, заливающую мою грудь, пополз к корыту, в котором мокли детские пеленки, видимо, чтоб умыться. По пути к корыту я напоз на старую западню, на которую мы старались не наступать обеими ногами, если возможно было, обходил ее. Западня провалилась, вместе с нею в подполье свалился и я. Подполье было старое, обвалившееся, до пояса мне. В добротном подполье я бы погиб, следом погибли бы жена и дочка. Но из этого подполья я как-то выбрался и снова полез к корыту, упал в него лицом, замочился весь, когда-то стянул с себя мокрое солдатское еще белье и сообразил, что надо открыть дверь на улицу. Но дверь была в наклон флигелю, разбухшая, снаружи обшитая старьем. Я забавлялся тем, что, неся беремья дров, приостанавливался на пороге, дверь, кряхтя, подшибала меня, аж до самой печи. И сейчас, распахнувшись, выпустив меня, успевшего натянуть шинель на голое тело, дверь медленно притворилась — запечатала жену и дочку.

В эту ночь — сказали мне потом, на дворе было за тридцать градусов мороза. Нагой, мокрый, на мерзлом полу сенок я скоро очухался настолько, что прямо босиком, по тропе, ринулся в родительский дом, застучал, забренчал. Узнав мой голос, Семен Агафонович открыл дверь и отшатнулся — перед ним, в распахнутой шинели, с залитым кровью лицом, грудью и животом, шатаясь и в горсть воя, стоял, как потом окажется, любимый зять. Короткий переполох, беготня, крики:

— Робята! Робят наших во флигеле вырезали!.. Робята!..

И вот уж Пелагия Андреевна несет, прикрывая шалью, ребенка. Семен Агафонович волоком тащит по двору родную дочь.

Не стало нашей спасительницы, нашего первенца, нашего ангелочка, якоря, державшего нас возле берега жизни, помогавшего двигаться против течения нашему шаткому, дырявому кораблю.

Голодом уморили ребенка в больнице. Жена с распластанной грудью лежала в палате, где было несколько кормящих матерей, и, поскольку врачи не разрешали кормить ребенка, заболевшего диспепсией, ничем, кроме грудного молока, она просила, умоляла женщин хоть разок покормить девочку. Никто из женщин не откликнулся на ее мольбу. Робко, со слезами просила жена врачей привезти молока из родильного дома — некоторые женщины сцеживают лишнее молоко. «Вот еще!» — было ей ответом. — «Ну хоть с детской кухни бутылочку принесите!»

Девочка хотела жить, тащила больничную пеленку в рот и сосала ее, жамкала деснами. Когда умерла девочка, жена долго выковыривала из ее рта, зававшего, будто у старушки, обрывки ниток трухлой ткани.

Пройдет сколько-то лет, и нашего первого, конечно же, обожаемого внука, достигнет та же, что и Лидочку, болезнь. Вместе с матерью его завалят в инфекционную больницу, где он сразу же наматает клубок переходчивых болезней. И, как в давние послевоенные годы, станут лечить ребенка прежним, нестареющим методом — голодом. Парень уродился крупный, жоркий, голод переносил совсем тяжело. Но у него было уже два зуба и мужицкий характер. Однажды он схватил кусок черного хлеба и, давясь, принялся рвать его и жевать, а ночью, когда мать задремала, просунул руку сквозь решетку кровати, спер с тумбочки соленый огурец и иссосал его до кожуры — мужик, боец не сдавался, боролся за свою жизнь.

Утром его, завернутого в пуховую шаль, вынесли «подышать», и, увидев меня, он протянул руки, и, когда я его принял, упал мне на плечо лицом, и горько-горько, повзрослому, разрыдался. Мужик жаловался мужику; мужик у мужика искал защиту. И я сказал дочери, высказавшей намерение выкрасть ребенка ночной порой из больницы: «Действуй!» — думая, что если ребенок и померет, то хоть не в казенном месте, а дома.

И дочь ушла с ребенком из пощады не знающего в борьбе за жизнь медицинского заведения.

Было это уже в другом городе, не до конца утратившем отцовские заветы, чувства братства и сострадания.

Знакомый врач осмотрел, ощупал ребенка и громко,

по-деревенски грубо изругался: «Дуболомы! Так их мать! Они ж заморили парня. Он же с голоду умирает!» — и тут же велел дать ребенку ложечку сладкой воды и ложечку же рисового отвара.

Вырос высокий, красивый, с виду совершенно здоровый парень, но... чуть чего — схватится за живот. Все свое детство любивший пожрать, он глотал таблетки без сопротивления, и с лекарств, не иначе, мучается аллергией, часто носом идет кровь, и порою вызывает все это психоз, да какой!..

Вот и перед ним у бабки с дедкой вина постоянная. Всевечная вина перед его рано угасшей матерью и давняя вина перед первенцем, ныне ей, Лидочке, было бы уже за пятьдесят...

Я сам сделал из поперечинки и ножек выброшенного в сарай стола крестик. Жена сшила «красивый наряд» покойнице, из марли, собранной бориками, сшили капорочек. Домовинку грубо вытесал папаша, узлом завязывали на мне полотенце, взял я под мышку почти невесомую домовинку и понес на гору. Сзади плелись жена и папаша, с крестиком и лопатой на плече. Когда зарыли девочку в землю, Семен Агафонович, опершись на лопату, сказал:

— Ну вот, Калерия, Вася и Лидочка при месте... и нам тут лежать. В бороде его дрожала слеза. Он был скуп на слезу и щедр на тихую ласку. Ни разу в жизни он не ударил никого из детей, ни разу не обматерился, а меня звал ласково — варнаком...

Поминок по девочке не было. Ничего не было. Даже хлеба на ужин не осталось. Карточка-то хлебная одна на двоих. Как легла жена с дочкой в больницу — карточки у нее забрали...

Сварили картошек, круто посолили, молча съели. Легли спать. Жена в темноте мокро шмыгала носом, но не шевелилась, думала, что я сплю. Утром мне на работу, на тяжелую. Но нос-то у нее каков! Он уж шмыгнет так шмыгнет!

— Ты помнишь, я тебе уже рассказывал, как убил человека.

— То на войне. Фашиста. Не ты его, так он бы тебя...

— Какая хитрая! Какая ловкая мораль! Тыщи лет не стареет! «Не ты его, так он тебя...» А получается что?

— Лидочку мама твоя позвала... Ей там одиноко... много лет одиноко...

— Да-а, примета есть: нельзя называть ребенка именем погибшего. Они начнут искать друг друга.

— Вот и нашли...

Мимо нашей избушки загрохотал состав, протяжно и свирепо рывкнул электровоз. Избушка зашаталась, зашевелилась бревнами. С потолка в щели посыпалась земля, из старой печи, щелкая в плиту, выпадывали крошки кирпичей и запекшейся глины.

«Ох уж эта печка! Спасительница и погубительница наша».

— Господи, Господи! Мы и молиться-то не умеем. Прости Ты нас, родителей...

— Говенных!

— Зачем ты так? Мы-то разве виноваты?

— Виноваты, виноваты. Все виноваты! — не щадил я свою половину. — Татарин-сосед, что говорит: «Сила нет, так не брался бы».

— Он это про похабное говорит.

— А мы вот все про святое. Зачем спастись на войне? Рожать детей? Зачем жить все время на краю? Все время в обвале, нищете, голоде, страхе? Зачем?

— Не знаю. Живет и живет человек. А зачем? Спроси его — и ответить не всякий сможет. Вот наша семья... все боролась за выживание, надрывались в работе... и почти незаметно истребились...

— Истребили ее. Израсходовали, как сырье, как руду. Обогащение материала — так, кажется, тут у вас это называется!..

— Кабы обогащение. Кабы обогащение... Дети бы не умирали...

— Родители — слабаки. Вон у вас девятеро выросли, ни один не пал.

— Каких это усилий стоило папе и маме!.. Я только теперь поняла. Они крепкие были, а ты изранен. Я тоже вроде бы как контуженая. Спи...

— И ты успокойся и спи. И мне дай покой.

— Не будет нам с тобой отныне покоя... не даст нам покоя эта святая малютка. — Голос жены снова дрогнул, и вот-вот заширкает паровая лесопилка, зашмыгает этот знатный нос, втягивая слезы.

— Кончай давай! Ты видела, что делается на кладбище? Оно ведь при нас начато, и ему уже нет конца и края. Это в таком-то городишке... а взять по стране...

— Да-а, падает народ. Война ли подчистку делает, как

папа говорит, — последние травинки в вороха сгребает. Так он крестьянином и остался — все сравнения у него земные.

— Не народ падает. Падают остатки народа. Съели народ, истребили, извели. Остались такие вот соплееды, как мы с тобой.

— Кабы... соплееды... — опустошенная горем, ослабевшая от слез, жена засыпала, все ближе подвигаясь ко мне. Я ее обнял, придавил к себе. — Ты хоть... — она не договорила, но я понял не первое ее предупреждение — мол, хоть на людях лишку не болтай, а то заметут такого дурака, сгребут с остатками народа в яму...

О том, что я очерствел, жена уже не говорила мне больше никогда.

После похорон девочки напало на меня какое-то тихое беспогодье: мне ничего не хотелось, разве что спать, все время спать. Встряхнула было поездка к крестным, где главный распорядитель дома — крестная — накрыла стол. Мы за ним попели и поплакали. Крестный проникся ко мне дружеством и подарил ружье, много лет уже бездействующее. Крестная выставила два ведра, одно из которых наполнила мукой, вилки, ложки, кружки, чашки эмалированные — в другое ведро.

Жена соорудила на кухне над столом посудник. У нас и на кухне сделалось приветливо. Я начал помогать Семёну Агафоновичу на покосе, и, когда наступила осень, со страхом и сомнением папаша мой дозволил мне сплавить сено. Я уговорил его не вмешиваться в мои действия, исполнять мои команды, не перечить ни в чем, убеждал, что река умнее нас, сама несет куда надо. И когда сплавил сено, сам ни разу не забредши в воду и его не намочив, он настолько был ошеломлен, что не поверил в происшедшее. Иван Абрамович и все вокруг, считавшие меня шалопутным, заявил, что нынче вода большая. Но следующей осенью я помог сплавить сено и ему, по реке Чусовой, где воды было еще столько, что сама она несла и принесла плоты с сеном домой.

Папаша, Семен Агафонович, начал хвалить меня на всю округу, звал спецом по сплаву и, выпивши, все повторял: «Не-э, я ноне с зятем, с варнаком-то этим, токо с ним сплавляться буду...»

На сенокос и на сплав я отправлялся с большой охо-

той, а вот от рытья могил устранился, перестал вообще ходить на кладбище.

А между тем на нас надвигались новые события — родился ребенок, снова дочь.

Вскоре после смерти первой и рождения второй дочери произошло мимоходное происшествие.

Так уж в нем, в этом шатком доме, повелось: кто раньше приходил с работы, тот и печку затоплял, намывал картошек, ставил их варить, чайник старый, железнодорожный, машинисты коим пользовались, тоже водружался на печку. Паровозы сменились электровозами, машинисты, лишившись топки, не кипятили больше чай в дороге, вот кто-то из старых дружков и подарил историческую посудину папаше, он передал ее нам. В чайнике том медном не вдруг закипала вода — предназначен-то он для бушующей угольной топки паровоза, но уж, накалившись, чайник в недрах своих долго сохранял подходящую температуру.

В тот день бригада завальщиков в литейном цехе досрочно управилась с заправкой вагранки. Плавка ж назначена была на следующую ночь. Я примчался домой и с ходу включился в домашние дела. На стенке пел-надрывался репродуктор — жиденький тенорок любимого в то время певца — Александровича душевно изливался: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю». Я подпевал Александровичу и плановал дальнейшие действия: как потеплее станет в хоромине, согреется чайник и закипит картошка, за дочкой сбегая к нашим, умоюсь сам и ее отмою. Вот она обрадуется, заковыляет по избе. От седухи, в которой она томилась на дощатой поперечине, у девушки начали криветь ноги, но ничего, подрастет, бегать начнет, еще такой ли вострухой сделается, так ли стриганет за кавалерами! Может, и они за ней. — «Что не-ежной страстью я к ней давно пылаю!» — орал я.

Избушка наша была уж тем хороша, что жилье отдельное, здесь можно допоздна не ложиться, читать, петь, починяться, ковры рисовать, стучать, выражаться некультурно, браня самого себя за разные прорухи, что я и делал частенько. Вот только плясать нельзя — развалится халупа, да и не тянуло плясать-то с картошки.

Избушка содрогнулась, крякнула, со стенок посыпалась известка, с потолка в щели заструилась земля, в печ-

ке затревожились дрова, метнули искры в трубу, в дырку дверец, на пришитую к полу пластушину жести выпал уголек..

Понятно: под окном тормозил состав. Они, следуя по горнозаводской линии из Соликамска — с минералами, из Кизела — с углем, из Березников — с удобрениями и содой, часто тут тормозили, тяжело скрежетали железом, дико взвизгивали, высекали из металла рельс синее пламя с белым дымом, выплескивали из-под колес веера крупных искр. Тормозили для того, чтобы по обводной линии миновать тесную, всегда перегруженную станцию Чусовскую, вдернуться изогнутой ниткой состава в ушко железнодорожного моста и направиться в Пермь.

Я хлопотал по дому и ухом, привычным к железнодорожным звукам, отмечал, что состав идет нетяжелый, что он не просто затормозил, но вроде бы и остановился. Не переставая мыть картоху, выглянул в окно, которое от тепла, наполняющего избушку, начало оттаивать меж перекрестьев покосившихся рам, подsunул ногою поближе таз и услышал, как в него закапало из переполненных оконных желобков, изопрелых и треснутых.

Состав наполовину состоял из двухосных теплушек, вторая же его половина сцеплена из платформочек, груженых удобрениями. Хвост поезда загораживали соседская изба и ограда того самого соседа Комелина, на которого мы когда-то с женой вертели дверной ключ. Из двухосных вагонов начали спускаться люди, к ним подошли два солдата с винтовками и сержант с наганом. Сбившись в кучу, вагонные люди о чем-то поговорили с охранниками, — прицепив котелки к поясам, рассыпались в разные стороны.

Что за народ? Заключенные, что ли? Дни и ночи везли их на шахты, рудники и в лесные дали. На полпути не открыли бы, но если б и открыли, никуда б отходить не разрешили. И конвоя с собаками было б допoлна, и чин в офицерской шапке, да и не один, повелительно указывали бы рукой туда-сюда.

«Пленные! — догадался я, — домой возвращаются. Ну, что ж — ауфвидерзейн, фрицы! Вот вы и побывали в России, посмотрели на нее, насладились русским пейзажем, изучили загадочную русскую землю изнутри, в рудниках иль шахтах. Нескоро вам, небось, снова захочется сюда, на экскурсию».

В дверь раздался стук, заглушенный обивкой. Заметив

в окно человека, свернувшего к задней калитке, думая, что он понимает, что пожить в таком убогом жилище нечем, минует его, направится в дом к нашим, я все же отчего-то желал, чтоб зашел какой-нито немец сюда, к нам, в эту избушку, насладился б зрелищем, поглотившим вояк, его уделавших и спесивый фатерлянд на колени поставивших. «Битге!» — крикнул я. Дверь дернулась раз, другой, нехотя отворилась. Внутрь метнулся клуб морозного пара. На пороге, сутулясь, остановился крупный мужик, одетый в многослойное тряпье, заношенное, грязное, украшенное заплатами. В одежде едва уже угадывалось военное обмундирование. Спецовка с короткими рукавами лепилась по туловищу, вся одежда какая-то легкая, вроде бы случайная, на свалке подобранная. Но на голове гостя глубоко сидела пилотка, еще та, фронтовая, с саморучно подшитыми наушниками из меха, скорее всего кошачьего. В таких пилотках Кукрыниксы и прочие резвые карикатуристы смешно изображали врагов.

Немец, увидев меня в гимнастерке, замер на пороге. Сзади на него надвигалась дверь, наша тяжелая и каверзная дверь. Внутренне ликуя, я ждал, как она сейчас шибанет фрица по жопе, он окажется прямо передо мной и увидит, что на мне не просто гимнастерка, заношенная и грязная, но на гимнастерке еще и дырки от наград. Во будет потеха! Во обхезается гость неожиданный!

Ему и поддало. И он оказался передо мной, и все что надо и не надо увидел. Глаза его, в багровых отеках с красными прожилками, выпучились еще больше, рот, обметанный толстой медной щетиной, открылся. И так вот мы постояли друг против друга какое-то время, и, однако ж, я попробовал по-настоящему насладиться торжеством победителя. Но чего уж тут и чем наслаждаться-то — передо мной был в полном смысле поверженный враг.

— Битге! — повторил я и еще добавил: — Зер гут.

— Гут, гут, — торопливо и согласно закивал головою военнопленный.

— Что ты хочешь? Чего тебе надо? — по-русски спросил я гостя. — И он, быстро отцепив от пояса котелок, протянул его мне: — Вассер! Вассер! Вода! Вода! — а сам косился на разбушевавшуюся плиту, на которой, полная картошки, кипела, выплескиваясь, шипела, пузырилась, брызгалась наша знатная, из праха восставшая кастрюля. Чайник начинал пока еще тонко, но уже нежно запевать медным начищенным носиком. Скоро он даст так даст —

запоет так уж запоет — куда тому Александровичу Михаилу!

Тепло и уютно делалось в нашей избушке. Она приветливо мерцала огоньками в дырки плиты, будто световыми форами на станции перемигивалась, разрешая движение во все стороны света. И в лад разбушевавшейся печке, веселящейся кастрюле, подпрыгивающему чайнику во мне вдруг воскресло с детства дорогое: «На рыбалке, у реки, кто-то тырнул сапоги. Я не тырил, я не брал, а на ва-са-ре стоял».

— Ладно. Вассер. Знаю я, знаю солдатскую тонкость: «Дай водички, хозяйюшка, а то так жрать хочется, аж ночевать негде».

Немец не понял моего юмора. Я подцепил ногой табуретку, пододвинул ее к дверце плиты и жестом пригласил гостя садиться. Он без церемоний подсел к печке, на корточки — так ему было привычней, и протянул руки к дверце.

— У тебя есть время? — спросил я, и гость закивал головой:

— Я, я! Мост. Ремонт. Профилактик, герр сержант говорил, айн час. Сцелый час.

Русская речь давалась гостю трудно, но, чтобы приспособиться и выжить, он все же многого достиг, — рассудил я, и еще рассудил, что диспетчеру станции Чусовская, товарищу Кудинову, а то и самому начальнику станции, товарищу Чудинову, за несогласованность в действиях с путейцами, за задержку поездов по важному направлению с интенсивным движением, как говорится в сводках, докладах и рапортах, крепко нагорит, могут премии лишиться иль того крепче — с должности слетят в слесаря депо. Там вечно не хватает черных работяг.

Размышляя на производственные темы, я шнырял мимо гостя, налаживал на стол. Отлил в таз под умывальником горячую воду из картошки, размельчил бутылкой соль на столе, разрезал луковицу, поделил пополам остатки хлеба и половину его — для жены и дочки — засунул под старый чугунок, опрокинутый на столе, да еще и кирпичом сверху придавил.

— Крыса, — пояснил я гостю, — крыса — зверина, не дает нам жизни.

— О-о, крыс, — закивал головой гость, — много-много лагерем крыс, много-много рудник. Хищник... — ска-

зал он и почувствовал себя если не ближе, то уверенней в этом доме.

— Ну, как тебя там? — оглядев накрытый стол, спросил я: — Фриц? Курт? Ганс? — больше я никаких немецких имен не помнил.

— Я есть Иоганн, — попробовал улыбнуться гость. — Иоганн Штраус, знает вы?

— Знаю, знаю. Большой вальс, гросс вальс — нарай-нарай, там-там, там-там, — запел я, и Иоганн снова через силу попробовал улыбнуться и, подвигаясь к столу по моему знаку, заключил: — Вы есть весь-олий зольдатен.

— Веселый, веселый, — подтвердил я и вспомнил, что девчушка-то моя ждет там, у наших, когда ее заберут, и какого хера, зачем я ломаю эту комедь? Чтоб упиться собственным благородством, доказать Европе, что наш, советский гуманизм — передовой, а мы — самые душевные люди на свете. Так мы уж это доказали немцам — ростовский капитан наглядно тот гуманизм в Германии продемонстрировал. Был я и остался придурком, лучшим в мире придурком — советским — это уж точно и этого у меня не отнять. Тоже еще тот милостивец. Одного немца угрохал и в землю зарыл, кстати, если точно — в картошке, смешанной с землею, а этого вот картошкой кормлю, слава Богу, еще живого. Ох, и молодцы мы, ох, молодцы. Все!

Мы ели картошку молча. Иоганн брал со стола не складывающимися в щепотку, вздутыми в суставах пальцами соль, и посыпал картошку, и дул на ту картоху, дул, обхватывал рассыпчатую плоть ее потрескавшимися, обветренными губами. Я тоже дул, но губы мне меньше жгло и по деревенской еще привычке — сыпанув перед собой на стол щепотку соли, я макал в нее облупленную картофелину. Дела у меня шли проворней и ловчее.

Я набрал в щепотку соли и почти сердито сыпанул ее перед гостем.

— Ешь. Так ешь. Стол чистый.

— По-русско ешь! — сказал гость, макнул картошку в соль, возвел лицо к потолку, затрясся головой, и весь затрясся, всем туловищем, всем тряпьем, даже полуоблезлой крупной головой затряс. Большой, неуклюжий в тряпье, неуклюже, по-мужицки и плакал он, роняя в серую соль прозрачные слезы, простуженно выкашливая в горсть разжеванную картошку и соль, пытался выговорить:

— Что... что мы наделали? Я, я ест фашист, слюга Гитлёр, слюга фатерлянд... Пес... пес... — поправился он.

— Да ладно, хули теперь каяться, скулить, рубай знай картошку. Дай тебе Бог до дому добраться и в живых свою семью застать. Англичане, — читал я уже и слышал по радио, — всю Германию с дерьмом смешали. Народу тьму с воздуха истребили. Тоже вот в Бога веруют, кресту поклоняются.

— Бог отвернулся от людей, отвернулся, — утираюсь тряпкой, вынудой из недр лоскутья, потупился Иоганн, и, поднявшись с табуретки, начал мне кланяться, и, как дочь моя, без первой буквы говорить: «Пасибо! Большо, гросс пасибо».

Я взял у него котелок и высыпал в него из кастрюли остатки вареных картошек, подумал-подумал, махнул рукой и, изматерившись от злости на себя, вынул из-под чугунка кусок хлеба и ополовинил его.

— Не надо, не надо! — слабо протестовал Иоганн, — фрау, киндер... я понимают. Последний кусьок. Брот, бротг... — и снова начал клохтать, что курица, заглатывая рыдания, и пятился, пятился спиной к двери, толкал, толкал ее задом, пока наконец не отворил.

Еще бы немножко, и я вытолкал бы его, но дверь наша, «самозакрывающаяся», вошла в притвор и тихо прошептала: «Мудило ты!» И я вслух добавил: «С мыльного склада!» — и принялся намывать картошек для нового варева. Вспомнил вдруг, что еще не переоделся, не умылся и за девкой не сходил. Придет с работы жена, я ей расскажу о своем благородном поступке, и она вздохнет тихо и кротко, обнаружив, что я и ее половину пайки отдал, вздохнет еще протяжней, громче и, может, скажет: «До чего же ты у меня жалостливый!..»

А радио на стене все пело, все заливалось голосом Александровича: «Тиритомба! Тиритомба! Тиритомба песню пой, ое-е-ёй».

Кастрюля вновь закипела, запузырилась, заплевалась через край. Я накинул шинель и пошел за дочкой.

Состав еще стоял против окон. В раскрытых дверях, свесив ноги, тесно сидели пленные и чего-то ели из котелков. Не один я такой жалостливый жил в здешней местности. В России всегда жалеют и любят обездоленных, сырых, арестантиков, пленных, бродяжих людей, не дает голодная, измученная родина моя пропасть и военнопленным, последний кусок им отдаст. Вот еще бы научиться ей, Родине-то моей, и народу, ее населяющему, себя жалеть и любить.

Мне показалось, что из вагона, стоящего против нашей избушки, кто-то мне помахал, и я, разом на что-то озаясь, сквозь стиснутые зубы выдавил:

— Да поезжайте вы, поезжайте вы все отсюда поскорее.

Когда я тащил завернутую в старую шаль дочку, она, в папу нервная и чутливая, уже каким-то наитием научившаяся угадывать мое настроение, не тараторила, не рассыпалась стеклянными бусами смеха. Она крепко держалась за мою шею, горячо дышала мне в ухо.

Состава на путях уже не было. Уехали немцы. Домой уехали. Горя на земле убыло...

Спустя год после рождения дочери появился у нас сын. Если дочь была, что обезьянка, резва и хулиганиста не по возрасту, то сын рос худеньким, плаксивым, тихим.

Когда он рождался, на этот раз в родильном доме железнодорожной больницы, я сохранял это дело в тайне; прежде всего в школе — молодой еще, за партой сижу, а уже отец-героиня!

Ребята и девчонки в нашем классе были в большинстве вчерашние школьники, поступившие на работу или не желающие учиться в нормальной, дневной школе оттого, что там «строже». Ко мне они относились, как к дядьке, почтительно и в то же время насмешливо. Помогали мне с физикой, математикой, геометрией и прочими тонкими науками, я же их выручал по гуманитарным предметам, давал списывать диктанты. Хотя я и кончил шесть классов черт-те когда и многое забыл, но вчерашние школьники, беспечные и беззаботные, знали литературу, историю, географию хуже меня, продолжавшего запойно читать книги. Самый веселый урок у нас был анатомия — добрые молодцы, в основном семнадцатилетнего возраста, приносили в класс «шкелет», как они называли наглядное пособие, устанавливали его возле доски то в хулиганской, то в сексуальной позе, и, хотя слово это в те годы было неизвестно, девчонки все равно догадывались «об чем это», и которые хихикали, которые плевались, но все ждали учительку, как она-то отреагирует?! Попалась нам учителька строгая, обстоятельная. Она молча ставила «шкелет» в нормальную позу и только после этого произносила: «Здравствуйте, товарищи. Начнем урок». Иногда, работавшая еще и в дневной школе учительница по при-

вычке говорила: «Здравствуйте, дети!», и в классе тоже становилось весело.

«Дети» и я на второй год уже сделались не разлей водой. И хотя учиться и работать в горячем цехе мне было все тяжелей, я школу не бросал — она мне была доброй отдушиной в этой все более и более мрачающей жизни.

Урожай наш — картошку из Архиповки, а это шесть километров от города, мы всю переносили на себе по горным козьим тропам: три ведра в рюкзак мне, два ведра — бабе. Шли мимо моей школы по шатким деревянным тротуарам. Жена дохаживала последние недели, но декретный отпуск не брала, боясь лишиться зарплаты, говорила, что заменить ее некому. Едва уж она плелась с грузом. Пытаясь взбодрить бойца, я плел что-то высокое про «мою» школу. Спутница заслушалась, споткнулась и сорвалась с высоко поднятого, досками, будто клавишами, играющего тротуара. Я заторопился снимать с себя мешок, но в это время вниз прыгнул лейтенант с серебряными погонами юстиции и поднял вверх мою жену с мешком.

Тонко, по-щенячьи, скуля, жена прислонилась грудью к штaketнику. Лейтенант навалился на меня, вконец растерянного, мигом потом покрывшегося:

— Как же вы можете заставлять?..

Понял я его, понял: как это я, сознательный советский человек и муж, могу заставлять таскать грузы такую маленькую женщину, с таким большим брюхом, готовую не сегодня завтра родить.

Прежде я что сделал бы? Послал бы его на три буквы, как говорят интеллигентно себя понимающие дамочки. Но уже был я такой усталый от жизни и от груза, навешенного на тощую спину, взмыленную под мешком, что не было сил у меня на гнев и ругань. Я начал сердито снимать мешок со спины жены. Она, слабо сопротивляясь, бормотала: «Ничего, ничего, я донесу. Как-нибудь донесу». Лейтенант помог мне снять с жены мешок и вдруг сраженно воскликнул: «Вы-ы! Так это вы!..»

Это был тот самый Радыгин, который ехал с нами в тамбуре соликамского поезда, когда мы возвращались с войны. Забросив мешок жены с картошкой за плечо, поддерживая жену под руку, он помог нам добраться до дому, до нашего знатного флигеля, по дороге рассказав, что очень трудно складывается мирная жизнь. Женат тоже, уже двое детей. Живут они в этой самой школе, в кладовке с одним окном. И жена у него не кто иная, а та самая учительни-

ца, что преподает нам анатомию. Пристально оглядев снаружи наши хоромы, затем и изнутри, лейтенант коротко вздохнул:

— У нас и такого жилья нет... Надо бы вызвать врача.

— Не надо врача. Ничего не надо, — как всегда в минуты беды или болезни сердитая, мрачно обронила супруга моя, легла на койку в чем была и прикрыла локтем лицо.

Ссыпав картошку в починенное подполье, я поставил на давно отремонтированную печку — вот что значит утратить и чуть не умереть! — восстановленную из праха кастрюлю с овощами, сходил за дочкой к нашим. Она так и гнила в седухе, сделанной из дула, играла кружкой и ложкой. Иногда в седухе и засыпала. Теща затяжно болела. Тесть летом на покосе, зимой во дворе колотится, им не до нашей девчонки. Да и устали они от своих детей, от внуков, от своей жизни, очень сердились на меня и на дочь за то, что затеялся у нас второй ребенок, потому как и с одним не управляемся.

Увидев меня, дочка запрыгала в седухе, протянула ко мне руки, залепетала: «Папа! Папа!» — и смолкла, не встретив от меня встречной улыбки. Она была мокрая и грязная, преданно обняла руками в перетяжечках мою шею, дышала в ухо и не иначе, как утешая меня, вдруг сказала шепотом: «Слушай, папа».

Вода не успела нагреться. Я подмывал девочку почти под холодным умывальником. «Изнеженная нами», как говорила теща, девочка захныкала, начала вывертываться из моих рук и в беспамятстве, не иначе — контуженый же! — я звонко ударил ее по мокрой заднице.

— Лучше меня бей. Ребенок-то при чем? — раздалось из-за перегородки.

У дочки было прелестное платьишко, из разноцветной ткани, принесенной женой с работы. Когда была совсем маленькая, дочка все тянула подол платьишка в рот, принимая нарисованные цветочки за живые. В платьишке чистом, сухом, не помнящая обид, не знающая горя, она уже сидела у меня на коленях и, сглатывая слюнки, ждала, когда я облущу для нее картошку, по своей воле и охоте она дула и дула в розовую трубочку вытянутыми губами на овощ. Любящая посмеяться, пошалить, порезвиться, поиграть со мною — маме все некогда, лишь под мои песни засыпающая, а пел я ей все, что помнил, начиная с «Гоп со смыком» и кончая — «Вставай, страна ог-

ромная, вставай на смертный бой», девчонка в этот раз утомилась послушно, разметалась крепким телишком и чему-то во сне улыбалась, катая по румяным щекам — в маму удалась! — радостные ямочки.

«Во, какая у нас картошка питательная! — мрачно отметил я, любуясь здоровым, жизнерадостным дитем. — У иных родителей с пряников дети хилобрюхи». — Я так долго сидел и смотрел на дочку, что голова моя сама собой легла на брусок детской зыбки.

— Ступай, ложись, — тронула меня за плечо жена в глухой уже час.

Утром она, хоть и медленно, бродила по кухне, делала домашние дела и, провожая меня на работу, мрачно молвила, что все в порядке. А мы еще хотели, чтоб после этого всего и второй ребенок родился жизнерадостный и здоровый. Но так бывает лишь в советских песнях и на плакатах.

Родился сын в марте, в хороший солнечный день. Привезли его с матерью в кошевке председателя артели «Трудовик» и на развороте к дому, чуть было не выронили в снег.

Дочка топала ногой, кричала «Анадо!», отгаскивала с колен матери новорожденного, как обезьянка, залазила с кровати в качалку и пыталась освободить ее от непрошеного постояльца. И смех и грех.

Я начал овладевать живописным искусством. Принес три краски из депо и ловчился на мешковинах и клеенках изладить «ковры». Удавался мне лишь один волнующий мое сердце сюжет — на мотив с детства любимой песни: «Сидел рыбак веселый на берегу реки»; лебеди, олени, пасущиеся на зеленом лугу, и прочая тварь моей кисти не давались, и вообще, «ковров» на базаре красовалось много.

Уволокло мою жену вместе с ребятишками к нашим или в детскую консультацию. Я сидел возле кухонного стола и в квадратных банках из-под американских консервов размешивал в олифе краски, корочку с которых ночами съедала здоровенная крыса, — и внезапно увидел, что вдоль железнодорожной линии, под самым окном, веселой гурьбой куда-то следуют мои одноклассники, неся за синюю ленточку нарядную картонную коробку.

«Куда это братва наша подалась?» — молча подумал я

и вдруг заметил, что парни и девки сворачивают к нашим воротам, возле которых и возлежал рылами окон в снегу наш живучий флигель.

Не успел я пережить панику, как в дверь настойчиво забухали кулаками, дружно заорали, врываясь внутрь помещения соученики мои.

— Можно к вам?

И я, от глупости, растерянно молвил:

— Можно, только осторожно.

В это время дверь с пыхтеньем вернулась на место и вышибла вперед Люсю Вербицкую, выбранную старостой класса за ум и красоту.

— Ой! — схватилась староста за задницу и громко рассмеялась. — Предостережение было своевременное. — Ну, молодой папаша! От имени восьмого бе... — И вдруг все весело подхватили, будто козлята на лужку: «бе, бе, бе, бе-э!» и закружили меня в хороводе, целуя в щеки, в нос, в лоб, и вразнойбой кричали:

— Скрыть хотел! Скрыть!.. Но мы в школе не зря сидели, того дожидались!..

— Обмывать! Обмывать!

— Где мама?!

— Где герой — новорожденный?..

Они выставили на кухонный стол две бутылки портвейна и, презрительно сдвинув мои художественные краски, водрузили на середину стола торт, вязку сушек, пакет с конфетами! Я пригласил гостей в переднюю. Вваливаясь за перегородку, Вербицкая теребнула занавески:

— Какие милые! — а, войдя в комнату, добавила: — И тут очень мило.

— Пировать-то у нас, ребята, не на чем — ни сидений, ни стола.

— А газеты есть? Какие-нибудь старые доски есть?

— Есть, есть! — оживился я.

И через десять минут или через пятнадцать ребята, на двух наших табуретках поместив железнодорожную, дырявую от болтов, доску, вытерли ее тряпкой, на пол постелили газеты, расставили чашки — кружки, два стакана, углядели на умывальнике стеклянную банку из-под консервов, вытряхнули из нее зубные щетки и наполнили посуду портвейном.

Парни сидели на полу, и я, молодой папа-героиня, среди них, девчонки на кровати — староста посередке. Польского происхождения, уже в юности выглядевшая настоя-

щей пани, в бордовом вышитом платье — она величаво и вельможно гляделась в нашей убогой обители.

— Люська! Речь говори! — потребовал народ. Вербицкая, не жеманясь, встала, задорно и высоко подняла стакан:

— Ой, как я рада! Ой, все мы как рады! — и, видно, вспомнила, что она все же не хухры-мухры, все же староста класса, уже строго, со взрослым достоинством, продолжала: — За мирную жизнь на земле! За ее воплощение в живом виде! За счастье ребенка, мужика! За всех за нас! Вот им! Вот им, фашистам этим, — показала она фигушку в перекошенное сикось-накось окошко.

И все вдруг заорали «Ур-ра-а-а!» — выпили до дна и, пользуясь случаем, начали целовать девчонок.

— Только не кусаться! — предупредила староста.

Меня тоже целовали и девчонки, и парни. Я что-то пытался сказать, но не сказывалось ничего, першило в горле, должно быть, от вина. Я отвернулся к окну, чтобы смахнуть рукавом слезы. Гости, было, примолкли, но потом зашумелись. Парни в кухню утянулись — «покурить». Вербицкая — староста — за занавеской скрылась. В кухне шуршали деньги и талоны. Парням понравилась наша игровитая дверь, и скоро под задницу шибануло и забросило в переднюю двух парней с бутылками портвейна, прижатыми к груди.

— Ур-ра-а-а! — опять закричали гости. И пошли речи внеплановые. Уже и я осилился, траванул какую-то складную хреновину. Все хохотали, в ладоши хлопали.

Когда жена моя с детишками приблизилась к нашему жилищу, в нем уже так ревела буря и дождь такой шумел, что труба над избушкой шаталась, потолок вверх вздымался.

— Ур-ра-а! — снова закричали гости, отнимая детей у женщины и передавая новорожденного. А девица моя бойкая оробела от многолюдства, но скоро, от папы передавшееся чувство коллективизма и в ней взяло верх, и она уже ерзала у меня на ноге, смеялась вместе со взрослыми. Когда я дал ей конфетку с цветной оберткой, она потащила ее в рот вместе с бумажкой. Я развернул конфетку, она спросила:

— Се?

Я дал ей лизнуть конфету, и она сожмурилась:

— Сла-адко!

Жена моя выпила со всеми глоток вина, приложила ладонь к губам, потом улыбнулась гостям:

— Какие же вы молодцы! Спасибо вам за доброту и ласку... А я думаю, с кем мой благоверный грамоте учится? А он вон каких хороших людей выбрал, вон в какую добрую школу попал... Дай вам Бог всем здоровья, дай вам Бог всем счастья...

Долго, очень долго мы провожали гостей, целовались у порога, хлопали друг дружку, плясать пытались, и я опасался насчет западни, не свалились бы гости в подполье, но староста хмельно прикрикнула: «Ребенок спит» — плясать пришлось во дворе, меж подтаявших сугробов.

Они ушли, обнявшись, и вдоль линии, по железнодорожной улице, в ночи разносилось:

— По муромской дорожке стояли три сосны-ы...

Жена моя, когда мы улеглись спать, гладила меня по голове:

— У нас все будет хорошо, все будет хорошо.

Но не может быть хорошо, тем паче все, когда кругом все так плохо.

Начали продавать коммерческий хлеб и выдавать по карточкам сахар и масло без замены какими-то диковинными конфетами иль желтым жиром, не иначе, как собачьим, масла — селедкой.

И в это время во всю мощь заявила о себе тварь, сопутствующая людским бедам — крыса. Она прежде грызла картошку в подполье, шуршала под половицами, являлась лишь ночами, забиралась на стол и царапала, грызла столешницу, норовя влезть под чугунок и овладеть хлебной пайкой, брэнчала баночками с краской, по занавеске иль по выступам бревен взнималась в посудник, застигнутая врасплох, рушилась оттуда комом, гулко ударялась об пол и мгновенно исчезала в ближней дыре под полом. Дыр в нашем жилище дополна, жилые углы промерзали, мы их затыкали чем могли, крыса прогрызла затычки, и груди простудила, мастит получила, оставив детей без материнского молока, моя супруга не без помощи этой твари.

Но вот пришла пора, и шмара, как я называл крысу, живущую в нашей избушке, обзавелась хахалем, не может шмара без хахаля, и пошла разгульная жизнь под полом, выплескиваясь и наружу. Возня под половицами,

визг, драки, дележ имущества иль выяснение отношений, завоевание жизненного пространства?

Хахаль нам угодил пролетарского посева, из бараков пришел, не иначе, с детства, видать, привык он к содому, дракам и разгульной жизни. Ходил на сторону, иногда сутками пропадал, и от блудного переутомления потерял бдительность. Я шел из дровяника с беремем дров, а хахаль не спеша брел с поблядок и уж достиг было сенок, хотел поднырнуть под дверцу, как я обрушил на него дрова и оконтуженного втоптал в снег.

Шмара, лишившись супруга, совсем осатанела и в мое отсутствие, мужиков она все же побаивалась, что хотела то и делала. Разгуливала по избушке, взбиралась к тазу под умывальником, на стол махом взлетала, все чугунок ей не давал покоя, и, жена говорила, однажды застала ее в детской качалке, откуда она выметнулась темной молнией и злобно взвизгнула.

Возвращась ночью из школы, я услышал истошный визг в избушке и, когда влетел в нее, увидел жену, сидящую с поднятыми ногами на кровати, ко груди она прижимала ребенка. Обе мои женщины ревели и визжали, жена от страха, дочка оттого, что мама ревет. Никакие ловушки, мною употребляемые, шмару взять не могли, она каким-то образом спускала капкан, плаху, излаженную вроде слошца, съедала наживку и надменно жила дальше, отраву, взятую с колбасного завода, умная тварь игнорировала. Но как бы ни была тварь умна и коварна, все же человек — тварь еще более умная и коварная.

Я отослал жену с ребенком ночевать в родительский дом, поставил консервную банку к стене, в нее опустил хлебную корку, чуть раздвинул занавеску на переборке и сел на кровать, упрятав заряженное ружье под одеяло. Свет на кухне мы уже давно не выключали из-за крысы, и вот явилась она, обозначилась привычными звуками, взбираясь на стол, царапала ножки острыми когтями, отудова — на подоконник, зазвякали баночки, и — к чугунку. Ах, уж этот чугунок! Но о чем думала крыса, как проклинала она чугунно-литейную промышленность, знать нам не дано, однако со стола заметила на полу консервную банку. Всякий изредка возникающий в жилище предмет шмара немедленно обследовала, пробовала на нюх, на зуб, испытывала когтями.

Я разбил ее дробью так, что выплеснулось на стену. Я отскоблил пол и подтесал топориком бревно, но в полу-

сгнившем дереве все зияла отметина со впившейся в нее дробью.

— Живите теперь спокойно, — сказал я жене утром.

— О-ох, не к добру все это, не к добру. И покой нам только снится, вычитала я в одной книжке.

И-наа, вещей язык у моей половины, вещей! Беда на-двигалась на нас совсем не с той стороны, откуда мы ее могли ждать. На очередном медосмотре зацепили меня врачи и отправили на рентген. У меня открылся туберкулез, предпосылки к которому были всегда, предупреждали еще в госпитале врачи, да давно забыл я и про госпиталь, и про врачей всяких. Меня немедленно уволили из горячего цеха и сделали вид в вагонном депо, что работы, кроме как учеником плотника с окладом двести пятьдесят рублей, двадцать пять по новому курсу, для меня никакой нету. Похорукий детдомовец, отпетая пролетарья, я с месяц поучился на плотника, бил чаще не по гвоздю, а по плотнику и стал назначаться на вспомогательные работы — убирать мусор, выскрести краски, мыть шваброй полы в душевой. Однажды, работая в колесном парке с таким же умельцем, как я, заправил подъемник под колесную пару, парник мой без команды нажал на кран воздухоудовки и раздавил мне до кости палец.

Меня какое-то время продержали на больничном. Я поднажал в школе, меня пообещали перевести в девятый класс, там уж и до десятого рукой подать, а с десятилетней я ого-го-го, хоть куда. Днями я сидел дома с ребяташками, и однажды постучали в дверь и вошли люди конторского вида. Двое. Они внимательно осмотрели избушку, меня с завязанной рукой, ребяташек и, потупившись, сказали, что нам необходимо выселиться.

«Куда?» — спросил я. Конторские люди объявили, что не знают куда, но от железнодорожной трубы будет прокладываться канава для укладки городских сточных канализационных труб и канава та по плановому чертежу проходит в аккурат по нашему флигелю, который давно уже ни в каких реестрах и прочих деловых документах не числится. В центре города начинается возведение новых домов, поэтому и стоки всякие упорядочиваются, начинается снос окрестных домов, люди, живущие в них, по закону получают квартиры, но коль мы вне закона, нам ничего не светит в смысле жилья.

— Но солнце и нам светит, солнце на всех одно, — мрачно пошутил я, и строгие люди подтвердили насчет солнца, что, мол, да, солнце на всех одно, и с этим удались.

Экскаваторами тогда еще мало баловались, пришла бригада рабочих и начала копать лопатами землю от железнодорожной трубы. Правда, трубы под полотном уже давно не было. Вместо нее налажен короткий тоннельчик из тесаного камня, и у того тоннельчика даже и кокетливый ободок из серенького мрамора иль полированного камня сооружен.

Рассыпавшийся по косограмм окраинами городишко все ширился. За линией возникли два жилых трехэтажных дома, неуклюже-кряжистых, без балконов и всяких там разных излишеств, — много народу они вобрали в себя, внизу одного дома-баржи разместился колбасный завод, и вывел он трубу к железнодорожному стоку. Бушевала тут веснами стихия так, что горловина под полотном переполнялась, тогда несся поток через рельсы.

Огород тестя не раз размывало, когда и уносило дурновешней стихией веснами, летом, случалось, ливнями и гряды с овощью опрокидывало, разбрасывало. Как-то в предвоенные годы всю землю с огорода унесло — хорошо был у Семена Агафоновича бесплатный железнодорожный билет, и он с девчонками, Клавдией и Марией, съездил на родину, закупил продуктов. В Зуевке на Вятке они были дешевле, чем в индустриальном краю. Не пропало с голоду в тот год большое семейство, но крепко поумнело. Ребята насадили вдоль задней ограды тополей, в уголок огорода, в тот, что выходил к канаве, натаскали из лесу черемух, рябин, березу, даже осина одна попалась, смородинник, бузина, таволожник объявились здесь сами собой, и получилось в отдаленном углу что-то вроде сада. И тот сад да тополя немножко защищали огород от размыва, но вот пришли из горзеленстроя люди с ножницам и так обкорнали тополя, что те лишь жидкие прутики из пней вымучивали, два или три дерева вовсе засохли.

И тут заявилися работяги, нанятые горкомхозом. Копают. Податливо. До ограды дошли, свалили. Папаша бунтарски себя ведет, не идет ограду поднимать и не замечает, что по саду бродят козы, даже корова чья-то пестрая затесалась, жрет прошлогодний бурьян, козы кусты жуют и кору на деревьях гложут.

Вот и до флигеля землекопы добрались, подкопали его

с уличной стороны, две половицы на волю потекли. Я на койке сижу, с детьми играю. Жена рыщет, квартиру ищет, тещь с тещей всех знакомых обошли, нигде нас с детьми не пускают или требуют такие деньги, за которые можно свой дом купить.

— Поговорить надо, — сказал мне бригадир землекопов.

— Об чем?

— Об чем, об чем? Мы ж хоромы твои подкопаем, завалится халуца, тебя с ребятишками задавит на хер.

— Ну и пуцай на хер задавливает.

Бригадир привел милиционера. И тот с порога пошел на повышенных тонах:

— Ты почему не выселяешься? Почему волюнку разводишь? И-эшь какой! Видали мы таких. Я наряд приведу, вышвырнем тебя без церемоний.

Я узнал его. Это был тот самый сержант Глушков, что спал беспросветно под военкоматовской скамейкой. На нем шинель сохранилась, только сикильки были спороты, заношенное обмундирование, испорканные, на щиколотках до белесых дыр рваньем означенные сапоги. Лишь картуз новый, милицейский, как-то вроде бы случайно и счужа провисал до ушей на его голове.

В военкомате он, пьяный, спал под скамейкой до тех пор, пока его за ногу на свет не вытащили и сказали, чтоб он следовал в милицию. «Зачем? Что я наделал?» — ошарашенно вытаращил белесые глаза заспанный сержант. «Набор, дура». — «А-а, набор, тады ладно, тады я готов». И в милиции всегда был пьян или уж от природы гляделся пьяным, говорил утробно, непонятно, как бы не договаривая слова, но матерился и командовал разборчиво. Жил он через четыре от нас дома в пятом, подженившись на детной вдове, но ни с кем соседства не водил, никого из близлежащих домов не знал и не помнил.

Прошлой весной Семен Агафонович с моей супругой посадили картошку на свояком, Иваном Абрамовичем, отведенном участке и, чтоб коровы не вытоптали посадки, это уже случалось не раз, загораживали землю жердями, зимой еще заготовленными на Чусовой и приплавленными после ледохода к месту назначения. Жена, хоть и в положении, таскала из-под горы жерди, папаша городил городьбу, парнишки Ивана Абрамовича играли на поляне, старший прямил гвозди на камне и подавал деду из речки размоченные таловые и черемуховые перевязи.

Дело двигалось к концу, день клонился к вечеру, когда налетел на старика конный милиционер, едва державшийся в седле, и приказал разгораживать огород. «Дак это объехать-то на коне всего ничего», — тихо сказал Семен Агафонович. «Я кому сказал, растак тебя и этак! — заорал милиционер. — Пр-приказываю!» — и вытащил из кобуры черный пистолет «тэ-тэ»

Это был Глушков. Он ездил на сплавной участок кого-то усмирять. Усмирил не усмирил, но набрался до бровей и впал вот в пьяный кураж. «Разгораживай, папа», — попросила помощница, и старик разбросал жерди в сторону. Всадник аллюром промчался по посаженной картошке до второго прясла и заорал, пальнув в воздух: «А эту преграду кто убирать будет?!»

Убрал старик и второе прясло. И долго стоял, опустив голову.

— Мокрая от пота рубаха провисла меж лопаток, — рассказывала мне жена, — он весь сник, ослабел. Я подошла, погладила папу по плечу, думала, он заплачет, но он лишь попросил старшего парнишку, внука своего, свернуть ему сигарку и, проморгавшись от первой густой затяжки, молвил: «Хорошо, что того варнака (меня, значит) тутока нет, смертоубийство бы получилось». И на обратном пути наказал: «Ты уж ему не сказывай ничего...»

Но велико было унижение и без того униженных людей, жена не удержалась, рассказала мне о происшествии на огороде. «Ни-у, падла, встретишься ты мне на узкой дорожке!» — взъярился я и, хотя, оставшись живым, дал себе после кровавого фронта на госпитальной койке слово или клятву не поднимать ни на кого больше руку и кровь никакую не проливать, для Глушкова сделал бы исключение.

И вот она, узкая дорожка, вот оно, перекрестье, на котором нам, кажется, не разойтись.

Я поманил милиционера Глушкова пальцем в комнату и показал на ружье, висящее над кроватью.

— В патронташе, — сохраняя напряженное спокойствие, сказал я, — двадцать патронов. Все они будут ваши. Тебя в порядке исключения уложу первым. Я давно это обязан был сделать.

— Чего, чего? Да ты...

Еще мгновение, и я бы взорвался, звон в голове размывал череп, внутри у меня все клочотало, рассудок мой темнел. Бригадир, как оказалось, тоже бывший фронто-

вик, уловил ситуацию и грудью, брюхом вытеснил в сенки милиционера, что-то бубнившего, пытающегося высказаться, пристращать меня.

Бригадир попросил меня сварить картошек.

Вечером вся сводная бригада землекопов сидела за кухонным столом в нашей избушке и обмывала первую получку. Из горла тогда не пили ни работяги, ни даже бродяги, желая гулять обстоятельно, не по-скотски пить из посуды, работяги расположились на кухне тесно и дружно. Налили мне, я отказался, показавши на грудь — немощен, дескать. Бригадир, выпив водки, «заедал ее», как выразился, холодной водой из ковша. Работяги гуляли сперва бесшумно, говорили почтительно обо всем, но потом, раскаляясь, толковали все громче и громче. Большинство оказалось фронтовиками, не обретшими до сих пор приюта, остальные были из тюрем и лагерей. Один фронтовичок после пятого приема начал привязываться ко мне:

— Чё-то мне твое лицо навроде знакомо? Мы где виделись-то?

— Я месяц назад с каторги бежал, может, там?

— Ты эту мудню брось городить! — рассердился работяга. — Я сроду в тюрьмах не бывал...

— Побудешь еще, кто не был, тот побудет, кто был, тот не забудет, гласит народная мудрость, — съязвил бывший зэк интеллигентного склада телом и лицом.

— А я, — заликовал вдруг работяга, — в военкомате, в военкомате я тя видел, ковды на учет становились.

Конфликт, начавшийся зарождаться, угас, один из бывших зэков без колебаний и лишних слов свалился на пол.

— Пусть тут и спит. Больше ему негде. А вы, ребята, по домам. А ты, — поднявшись с табуретки, сказал бригадир, — на тюрьму не нарывайся. Там и без тебя тесно. Завтра мы подошьем тесом нижние венцы твоей избушки и больше пока подкапываться не будем. Обойдем. И по-стахановски двинем дальше. Но тебе все равно надо что-то смекать. Канаву из-за тебя не остановят. Хоромина твоя подгнила снизу и сверху иструпела, но из нее, если подрубить два-три венца, собрать еще кое-что можно. Вели бабе ставить лагуху браги, я, так и быть, приведу тебе стервятников из бэтэи горсовета, ты их напоишь, они тебе место под застройку отведут. Все! — хлопнул меня по плечу

бригадир. — Не раскисай. И не воюй. Наша война кончилась.

— Н-нет, не совсем еще. Я эту тварь в милицейском картузе все равно достану.

— Ну сгниешь в тюрьме, а ребятишки твои и баба твоя здесь передохнут.

«Н-нет, не будет мне покоя, пока эта тварь ползает по земле!..»

Но Всемиловейший Господь всегда был моим Заступником и Спасителем, не оставляет Он меня без доклада до сих пор.

В декабре того же года пошел дождь на мерзлую, снегом убранныю землю. И склон Урала оледенел, а улицы и переулки, заулки, бугры и склоны в городишке превратились в катушку. И что меня в такую-то дурнопогодь понесло на рынок — не вспомню. Народу на рынке почти нету, лишь в павильонах, под крышечку, где еще местами сохранился тес, маячили неустанные продавцы табака, семечек, краденого барахла и подозрительно розового свиного мяса, со скотомогильника, не иначе, увезенного. По деревянным рядам, свесив ноги, сидели здешние завсегдатаи, картежники, щипачи, наперсточники и просто блатари и воры. К ним вязался, грозил пальцем милиционер Глушков, как всегда пьяный, распоясанный. Должно быть, он в тот день дежурил по рынку и вот устанавливал здесь порядок. Был он при оружии, хватался за кобуру, из которой торчала наружу ручка пистолета «тэ-тэ», того самого, которым страдал он мирнейшего человека, моего тестя, и мою жену.

— Хиляй-хиляй, мусорило, а то докорячишься, мы у тя пистоль отберем и положим тут баиньки, — услышал я, следуя по павильону мимоходом, и никакого значения тому не придавал. Город рабочий, буйный, тут и пьют, и бьют друг дружку трудящиеся давно и непрерывно.

Возвращался я с рынка задними, с петель сорванными воротцами, вмерзшими в лед, и вдруг услышал: «Стой! Стой, твою мать. Стой, стрелять буду!..»

Я обернулся. По грязному льду, скользя, бежал, но больше — катился парень в распахнутой суконной куртке с закинувшимся с шеи на спину нарядном кашне. Обут он был в новенькие, блестящие сапоги-джимми, должно быть, с не обкатанными еще кожаными подметками, и ход по льду у него не получался, скользящего же его настигал товарищ Глушков, топя милицейскими коваными

сапогами, с обнаженным пистолетом, с мерзло сверкающими тюленьими глазами, грозно раззявленным ртом. За задней калиткой стекленел небольшой спуск, по нему-то и катнулся вниз парень и, не сумев пойматься за створку ворот, упал, пробовал взяться, да фасонистые сапоги скользили. И тут настиг беглеца Глушков, рыча и матерясь, он засунул пистолет в кобуру, навис над парнем, схватил его за горло и начал душить. Парень был верток, ловок, милиционеру не давался, все глубже закатываясь под распахнутую старую шинель.

И вдруг грохнуло. Глушкова подбросило вверх, он еще продолжал сжимать и разжимать пальцы, еще недоуменно смотрел расширенными глазами и шевелил ртом, ругаясь, но рот уже вело в зевоту — выстрел был смертелен, прямо в сердце.

Парень отбросил упавшего на него милиционера, вскочил и, видимо, сам от себя не ожидавший того, что сотворил, тыкал перед собой пистолетом «тэ-тэ» и панически визжал: «Н-не подходите! Н-не подходите! Убью-у! Убью-у-у!»

Но в эту минуту никого, кроме меня, у задних ворот не было, из павильона на выстрел мчалась гулевая братва: «Убегай, парень! Уходи!» — негромко сказал я, и с пистолетом в руке убийца побежал в одну сторону, а я неторопливо почапал в другую.

Был некролог в газете со словами: «героически на посту», «достойный сын Родины», «верный закаленный дзержинец».

Парень-убийца был татарин, кажется Хабибулин по фамилии, и он ночной порой на бакальском поезде уехал в Татарию, сумел там затеряться, но года через два попался на каком-то очередном деле, и тогда всплыло и чусовское убийство милиционера.

Ни того ни другого на земле уже никто не помнит.

Пьяницы из горсоветского БТИ иль ПТИ отвели нам место под застройку в самом устье оврага, возле дороги на Красную горку, на стихийной свалке. По угощенью и угоды.

Я говорил и говорю, что Бог был за нас, все еще бросал всевидящий взор и на нашу нескладную семью, но уже начинал уставать, потому как много нас, жаждущих Его милостей, накопилось на русской земле.

Наследник ростовского капитана рос на руках бабушки и дедушки крепеньким, капризным и драчливым парнем. Наша боевая девица играла с ним и, ни в чем не желая ему поддаваться, вступала с братцем в драку, он ее, конечно, одолевал, она редела и, чувствовал я, копила силенки, чтобы со временем во что бы то ни стало победить этого, папой брошенного, бойца. Пришла парню пора идти в детский садик, и первое, что он сделал, занес в дом конъюнктивит и заразил свою сестрицу. О-о, какая это дикая, мучительная болезнь. Девчушка криком кричала дни и ночи, озорные глаза ее склеило гноем, лишь прижатая к груди моей или матери, она, измученная, вся завядшая, горячая, засыпала на минутку-другую, и снова взывался ее уже слабеющий крик, к утру становившийся цыпущечьим писком.

Тем временем меня выдавили все же из вагонного депо, выписавши на прощанье в награду машину горбылей и два кубометра тесу. Мужики, узнавши, что я начинаю строительство, под горбыль засунули с десятков бракованных плах. На деньги, полученные при расчете, и на декретное пособие жены я выписал в лесничестве шесть бревен. Возглавлял лесничество вернувшийся с теплого места старший брат жены. Привыкший обирать и объедать военнопленных, содрал он с меня такую плату, что впору было попускаться замыслом о строительстве своего жилья, но Семен Агафонович сказал: «Надо, парень, надо, иначе пропадете», и помог мне огородить «нашу землю» вместе с мусором, стеклом, потом, мол, уберете, а сейчас главное, чтобы горбыль не растащили и бревна не увезли.

Напротив нас с размахом строился его старший сын. Лесничий. Шныряли там машины, тянули бревна лошади, отец едва кивал сыну, мне говорил: «Он еще во школе эким был, в пионеры поступил, дак иконы хотел выбросить, старуха ему: «Вот те Бог, вот те порог». На войне в чинах был, шибко поранетый вернулся, ну, думаю, теперя человеком станет, да видать горбатого и война не исправит...»

Забегая вперед, скажу: всеми брошенный, больной, он только у своей средней сестры и найдет отзвев, только она ему и поможет чем может, и схоронит его, алкоголика, туберкулезника, чудовищно в одиночестве кончившего жизнь, опять же она, сестра. Ну да это к слову.

Именно в эти дни, когда я крутился на стройке и вокруг нее, жена с уже подсекающимися ногами тетешкала

дочку и всеми способами и силами сохраняла малого сынишку от конъюнктивита, к нам в избушку зашла женщина не женщина, девушка не девушка, одетая в парусиновую юбку, старую стяженную кофту, низко завязанная клетчатым полшалком, и не то спросила, не то утвердила, прикрывая ладошкой рот:

— Вам няньку ната.

Да как же не надо, во как надо, но мы сейчас платить нисколько не сможем, и девочка у нас болеет, мальчик слишком еще малой, так едва ли ты согласишься на такие условия, объяснили мы гостье.

— Кокта теньки путут, саплатите скоко-нибуть.

Она открыла лицо, и мы, повидавшие виды, не охнули, не ахнули, увидев два клыка, кончиками выступающие из-под вынесенной вперед верхней губы, желтое сморщенное лицо — в складках скорбных морщин, низкий лоб, сплюснутый в переносице и широкими ноздрями вздернутый нос, широкий рот с синюшными мягкими губами. Ее можно было бы принять за ведьму, если б на ее лице не светились, виновато и запуганно, большие прекрасные глаза почти неуловимого цвета, что-то между голубизной и фарфоровой синью, лучистое, выпуклыми белками резко оттененное.

Мы ее приветили, покормили чем было. Она была голодна, но ела нежадно, опрятно. Состояла она в няньках с раннего детства у многих людей, последнее время нянчила племянника, и, как довела его до детсадовского возраста, братец согнал эту домашнюю рабу со двора.

Через час она уже включилась в дела, нагрела воды, выкупала мальчика в корыте, попутно что-то постирнула, забрала из рук изнемогшей хозяйки девчущку, начавшую расклеивать глаза и жалко улыбнувшуюся тетеньке, которая назвалась няней. Засыпая на добрых руках, девочка с радостным успокоением, в лад шагов повторяла, пока не уснула: «Ня-на, ня-на, ня-на...»

Они подросли, дети-то, на ее руках, при ее догляде и никогда, никогда не замечали уродства своей няни, любили ее не меньше, чем маму, помнили и будут помнить всю жизнь.

За два или три выходных дня — это стало быть я, тещь и Азарий — обожгли, вкопали деревянные стойки под углы избушки, срубили и в углах скрепили два нижних новых венца, и стройка остановилась — у строителя не оказалось вспомогательных материалов — моху, пакли,

руберииду, гвоздей, что притащил из вагонного депо, израсходовалось на ограду, и молотка путевого нет, и топор тупой, и пила не разведена, ножовки так и вовсе нету.

— Руберииду-то клок и надо, застелить стойки, моху я на подловке погляжу. Сходи к брату, — кивнул головой теть в сторону стройки через дорогу, где не по дням, по часам рос сруб с обтесанными, ровно подобранными бревнами. Азарий на предложение отца ответил, что он скорее пойдет к херу собачьему, чем к этому начальствующему хвату, вдруг обматерился и пошел, пошел валить, все громче и громче, чтоб на усадьбе братца слышно было.

— Не надо бы начинать со скандала, — почти отцовскими словами, с его точной интонацией попросила сестра Азария, убиравшая мусор на размеченной колышками площадке под дом.

Папаша обрадовал меня, сказав, что на подловке, на чердаке дома, стало быть, в сарае мешка три моху насобирает, но надо мне прогуляться в лес, с ружьем, раз оно есть, надрать там моху, посушить его оставить.

— Потом сносим в мешках на себе, а это вот, — кивнул он головой на штабелем выложенные вагонные доски и на гвозди, вынутые из них, которыми были наполнены деревянные ящики и старые ведра, — я, как знал, что пригодятся.

Ох, старый крестьянин, русский мужик, всегда-то он себе на уме, всегда живет с заглядом вперед, я-то, пролетарский ветродуй, еще и негодовал про себя, что папаша мой крохоборничает, собирая старые гвозди и доски, которые получше присваивает, а они, крашенные, сухие, так хорошо горят.

На колбасном заводике лицом к желдорлинии возвели дощаной ларек и начали в нем продавать жилку — мясную обрезь и кости. Очереди там выстраивались с раннего часа, торговля шла дотемна. К вечеру из цехов прямо на улицу выставлялись лари-носилки, и в них уже были самые дешевые кости, можно их было самим набирать в мешок и взвешивать в ларьке.

Шустряк-мужик с белыми вихрами, торчащими из-под клетчатой кепчонки, набрал уже две сумки костей, норвил и третью набрать. При этом пиратничал, ловко, с хрустом отламывал, где и отвергивал ребра от сизой хребтины и ребра отбрасывал обратно в ларь, позвонки, из ко-

торых еще что-то может навариться, к себе в сумку заталкивал.

— Эй ты! — прикрикнул я на ловкого мужика. — Чё делаешь-то?

— Чё надо, то и делаю, — окрысился он.

— Совсем обнаглел, падла, — гаркнул я на него, ослепленный внезапным гневом, ударил его иль толкнул, вспомнить потом не мог. Мужичонка упал в носилки вместе с матерчатой, засохшей от сукровицы сумкой, давно сюда ходит, опытный стервятник. Мужичонка возился в костях и никак не мог взяться из ящика, мне же пришлось и помогать ему выбраться наружу. Нашарив кепку в костях, мужичонка насунул ее на голову и взял меня за грудки. Рука у него была крепкая, но на ногах он стоял плохо, правая нога его коротка, и он провисал на правую сторону всем своим некрупным, костлявым телешком. Я понял, что имею дело с фронтовиком, и как можно спокойнее сказал:

— Кончай.

А очередь уже завелась, заволновалась, и кто-то был за меня, кто-то сострадал мужичонке. Громило с обликом древнего каторжника, только что вернувшегося к отчому порогу, в красном, не иначе как бабьем, колпаке и в опорках от резиновых сапог, выше которых неумело намотаны обмотки, для тепла видать, презрительно сказал:

— Оглоеды!

А пожилой товарищ в плисовой толстовке, в круглых очках, треснутых на обоих стеклах, излаженный грубо и топорно под Ленина, разноглазо глядя в найденную щель меж трещин и картавя, как Ленин, начал речь:

— Позорят честь советского человека.

— Че-есть! — вдруг взъелся на очкарика мой супротивник. — Где была честь, там выросла шерсть.

Очкарик поджал губы и отвернулся, храня на лице несокрушимое величие. И вся очередь унялась, присмирела. Очередь моя подошла раньше, чем у вихрастого мужичонки. Прежде чем перевалить через линию с мешком, я сказал ему, кивая на набитый рюкзак и сумки:

— Не донесешь ведь? Далеко идти?

— На Трудовую. Как-нибудь, — непримиримо буркнул мужичонка.

Надо было искупать вину, всю-то ее когда искупишь, вечно перед всем и всеми виноват, вечно всем должен, но хоть частицу можно ликвидировать. Когда я вернулся к

ларьку, мужичонка уже приблизился к весам, очередь, в конце которой он приклеился, почти рассосалась. Надвигались сумерки уже, продавщица торопилась и нецензурно выражала свое недовольство.

— После смены? — спросил я новознакомца, чтобы хоть о чем-то говорить и размягчить разгневанное сердце человека, он и размягчился, давно уж забыл обиду, потому как много принял их в жизни, и спросил, в свою очередь, глядя на мою грязно завязанную руку:

— Где покалечился?

— Да-а, ханурик один раздавил подъемником палец.

— На больничном? — что-то явно смекая, спросил мужичонка.

— Вытурили уже и с больничного, и с работы.

— Загораешь?

— Загораю.

Я нес на спине дырявый рюкзак, набитый костями, новознакомец две тяжелые сумки. Он часто останавливался отдыхать из-за ноги, и в пути я узнал, что зовут его Сана, фамилия у него довольно распространенная в здешних местах — Ширинкин, воевал он на Белорусском фронте, был в пехоте и навоевал недолго, подбили, вернулся домой еще задолго до Дня Победы, ныне работает в артели инвалидов «Металлист» жестянщиком, клекает хлебные формы и нештатно пока слесарит на хлебозаводе. Есть уже парнишка на третьем году, баба донашивает второго. Накопил немного денег, начал строить жилье, дело движется туго, в помощниках всего лишь один отец — довольно дряхлый, в горячем цехе подносился, да и пил горячо, и дрался пьяный — вот силу-то всю и израсходовал. Я понял так — узнавши, что я свободен от работы, Сана хочет привлечь меня на стройку в качестве помайлы, но, узнав, что я тоже начинаю возведение жилья, сказал откровенно:

— С паршивой овцы хоть шерсти клок, окрести тогда мне парня.

Так у меня появился кум и на долгие годы друг и верный помощник. Он тоже сначала сделал ребятишек, уж потом догадался, что их надо кормить, обувать, одевать, но самое главное, не на улице держать, а в тепле.

Отец у Ширинкина был хоть и неказистым плотником, многому научил парня в детстве, всему остальному этого удальца научила жизнь. Был он необыкновенно во всем ловок, ко всему уже приспособлен, тащил из артели

«Металлист» и с хлебозавода все, что можно утащить. Купил вот по дешевке сарай на улице Трудовой, раскатал его и почти собрал избу на горе, по-над Усьвой рекой. Домик, весело глядящий с высоты двумя окнами на закат, был уже под железной крышей. В тесно застроенном дворе скулёмана кухонька об одно окно, где и обреталось пока что семейство Ширинкиных, в стайке топталась и звучно шлепала лепехи на пол корова, велись тут куры, хрюкал поросенок подле огорода, мелкозубая, злая собачонка катала цепь на проволоке.

Костей, и как можно больше, будущий мой кум добывал для обмена на зеленые корма скоту, зерно же, отруби и прочее довольствие сгребал на хлебозаводе — выпишет пуд, увезет воз. Негодовать, презирать моего новознакомца иль восхищаться им? В моем положении ничего мне иного не оставалось, как восхищаться.

После крестин кум мой посетил мою новостройку, благо, располагалась она неподалеку от единственной, действующей бедной церковки, насушился, узнавши, с кем и чем я начинаю строиться, обложил меня крутым матом и поковылял на железнодорожную улицу, чтоб осмотреть флигель. Осмотревши хоромину мою, совсем помрачнел кум, однако на крестинах, где крепкущая брага с водочным колобком лились рекою, полюбив, как он говорил, с ходу меня и жену мою, кричал, что советские бойцы нигде не сдаются, настоящие советские люди в беде друга друга не оставляют.

Бедный, бедный мой кум, как и все прочие фронтовики, развеявшись по земле, был так же, как и я, как и все вояки, одинок, в одиночку и бился, выплывал к жилому берегу, но истинно русский человек, он хотел кого-то пустить в сердце — любить, жалеть — и тут подвернулись ему мы с женою, вовремя и кстати подвернулись. Мы пели песни военной поры, старый Ширинкин пускался в пляс, младший тоже истово стучал об пол ногой, но скоро понял, что на одной ноге плясать все же дело неподходящее. Изрядно захмелев, иначе бы не решился, от обильной еды и крепкой выпивки, я исполнил соло, свою заветную и вечную песню, сделавшуюся во мне молитвой, «Вниз по Волге реке», кум мой, целуясь и обливаясь слезами, кричал:

— Не было у меня брата, не было, ты мне брат, ты, хоть и по морде меня...

Кум мой вообще не давал проникать в себя унынию, явившись на мою стройку, встряхнулся и произнес: «И не такие крепости одолевали большевики» — хотя сам был беспартийным и в доме его никаких партийцев не водилось, книг он не читал, а вот поди ж ты партийной идеологией проникся — кум велел разбрасывать и свозить то, что называлось флигелем, что и было сделано с толковой его помощью в ближайшее воскресенье мной, тестем и Азарием. В разборке я показывал удадь, как-то будет в сборке. Кум подвез на стройку моху, лоскуток толи, мешок пакли, ведро гвоздей, каких-то железяк полный ящик. Я не понимал, зачем все это, потому как из железяк знал полезное назначение лишь шарниров, шпингалетов и дверному крючку. Еще подарил мне кум острущий плотницкий топор и умело насаженный фигурный молоток. Я радовался этим вещам, как моя девчонка редкостным в ее судьбе магазинным игрушкам.

В следующее воскресенье трое мужиков и я на подхвате скатали и посадили на мох два срубленных новых звена, и кум, который никогда не курил, Азарий тоже не курил, следя за дымом, пускаемым мной и тестем, заметил:

— Легкими маешься, а смолишь!

Отпустивши тестя и Азария домой, он еще поколотился на стройке и, как я понял, с умыслом, да не с простым:

— Тебе край надо до осени влезть в свое жилище. Никому мы с детьми не нужны, кроме самих себя да баб наших. Сруб собрать, окна вставить я помогу, но дальше будешь колотиться один. У меня тоже работы с домом еще до полна, тоже надо до холодов в свою нору заползти.

Я научился строить и жить в процессе жизни и стройки. Бил я молотком, как и прежде, чаще по плотнику, чем по гвоздю, рука моя была разбита до кости. Порешив, что мешает плотничать раздавленный палец, я попросил снять с него напалок, сооруженный женою из лоскута сапожной кожи. Она состригла напалок. Под ним оказался криво обросший розоватым мясом палец, из недр которого робким лепестком восходил ноготь. «Какова жизнь, таков и палец», — глубокомысленно рассудил я.

В начале осени, в сентябре, мы произвели «влазины» в недостроенную избушку с недокрытой крышей. Главной ценностью в избе была русская печь, которую сло-

жил дядя Гриша, печник из заводского окса. Он был большой затейник и рассказчик, или баскобайник, по выражению тестя, этот знаменитый на весь город печник. Играл на скрипке, ну это ему так казалось, на самом-то деле он пилил смычком по струнам, плакал от жалости к себе и от сочувствия к музыке. Печник приказал, чтоб бабы и я вместе с ними собрали все битое стекло со свалки, избегая при этом аптечных флакончиков, стекло то измельчить кувалдой в жестяном корыте, да еще прикупить хотя бы сотню новых кирпичей, да еще сделать бак с «крантом» ведра на четыре, да запаять его.

Бак нам изготовил все тот же незаменимый наш кум, стекло я, надевши очки Азария, измолотил в крошку. Кирпич, купленный в оксе, окончательно подорвал наши капиталы, но я все же выставил на разогрев печи полагающуюся печнику бутылку водки и получил от него неожиданную похвалу:

— А ты хоть молодой, но умный хозяин. Вот попросил я у тебя пятьсот рублей, ты пятьсот и дал. Но если б стал рядиться, я тебе б полсотни уступил, но, етигттвою ети, на четыреста пятьдесят и печку бы сложил, а эдак ты ту полсотскую за зиму оправдаш — на дровах.

Он сходил к печи, пощупал и погладил ее сзади, будто бабу, по пути отвернул кран у вделанного в дымоходы бака — вода текла, хозяйски оглядел свое сооружение, оно работало ровно и глубоко дыша, начинало обсыхать от чела и пестреть спереду.

Крупный, с виду неповоротливый мужик, за которым мы, две бабы и мужик, едва поспевали на подхвате, любовался своим творением. Мы любовались им, поэтом своего дела — под печи начинал малиноветь: это под слоем кирпича расплавлялось в горячую массу стекло, бак, нагреваясь, сперва заскулил по-щенячьи, потом зашумел паровую горячую песню, и мы поверили, что щи в загнете печи будут три дня горячие, бак не остынет и за четыре дня.

Рассказав историю своей жизни, очень путаную и романтическую, наполовину, как я теперь понимаю, печником сочиненную, он на прощанье сказал, чтоб я заглянул на чунжинское болото, где ремонтируются бараки и валяется много всякого добра. Ночью, отдыхая через каждые сто метров, отхаркивая мокроту с кровью, я принес с болот половину бухты рубероида и сам закрыл крышу, за что получил втык от кума, так как крыша у избушки по-

лучилась пологой, экономя материал, я не запустил с запасом края рубероида, в большие дожди и ливни, которые тут, на склоне Урала, на исходе гольфстрима, часты и дурны, мы волокли на чердак корыта, тазы, всякую посуду, потому что в экономно мной заделанные края и прогибы захлестывало.

На сени и на кладовку не хватило материалу, я отправлялся по старому адресу в вагонное депо, выбирал в отходах две-три доски, мужики совали мне в карман горсть гвоздей, и, протопав три километра по линии, прибывал принесенные доски. На этом работы замирали. Зато уж моя архитектурная мысль не знала предела, работала не только напряженно, но и с выдумкой. Туалет я разместил под крышей сенок, уличную лестницу встроил внутрь тех же сенок, в кладовке пропилил окошко в досках с буквами, знаками, цифрами, означающими железнодорожную казуистику, вставил в дырку стеклышко и еще соорудил в кладовке топчан, что позволило называть сие сооружение верандой. Знай наших, поминай своих!

Незаметно надвинулась зима. Подспорье наше — походы мои в лес за рябчиками — кончилось. Капиталы наши и здоровье оказались надорванными. Но мы еще как-то волокли жизнь, вытягиваясь в балалаечную струну. Главное, все выдержала и не ушла от нас наша няня Галина. Девочку нашу приняли в детский садик, в тот же, куда ходил внук тещи. Видимо, она, теща, в округе почитаемая женщина, замолвила словечко и за наше полуголодное дите.

У жены заболела нога. Бегучая, стремительная, порой до бестолковости прыткая, она с трудом ходила на работу. Строившаяся по соседству заведующая тубдиспансера, к территории своего заведения усадьбой примыкнутая, в отличие от старшего брата жены, расположившись чуть выше по улице Партизанской, нас по-соседски навещала и уволокла жену на рентген.

И удар, страшнее не придумать, — туберкулез кости, коленный сустав поражен болезнью. Следом за женою соседка заставила и меня «провериться на рентгене». Нервотрепка, бесхлебица, тяжелая работа на стройке не прошли даром — туберкулез мой успешно развивался, легкие гнили напропалую.

Жену завалили в тубдиспансер. Я остался один с двумя детьми, потому как братец Галины вновь женился, сотворил свежей молодой жене свежего ребенка, ему снова понадобилась нянька, и он затребовал домой сестру.

Мы начали погибать. И кабы мы одни. Мое вновь возделанное жилье расположилось на пути к Красному поселку, стало быть к кладбищу, и, поднимаясь в гору, духовой оркестр делал последний до кладбища проигрыш похоронного марша в аккурат под окнами нашей хоромины, в конце огорода духовики брали под мышку умолкнувшие трубы и следовали дальше. Но с музыкой хоронили мало кого, гроб за гробом на подводах, на грузовых машинах, когда на домашних тележках, детей под мышкой, с деловой поспешностью волокли в гору. И чем дальше шла жизнь, тем чаще везли женщин. Молодых.

Самоаборты, подпольные аборты косили и валяли советских женщин — партия и правительство боролись за восстановление и увеличение народонаселения России, выбитого на войне. По приблизительным подсчетам, за первые послевоенные годы погибло три миллиона женщин, в основном русских, и столько же отправилось в тюрьму за подпольные дела, сколько погибло детей, никто не составил себе труда сосчитать и уже не сочтет никогда.

О-о, русская доля, которую в старину называли точнее — юдолью, где же тот, кто наслал ее нам? И за что он ее нам наслал и насылает? Ведь без причины ничего на этом свете не происходит.

Наша соседка, начальница тубдиспансера, спасая нас, прикрепила меня к столовой на бесплатное одноразовое питание. Жена лежала в палате, меня к ней не пускали. Зараза ж кругом. Ужинал я вместе с тубиками и много встретил знакомцев по военкомату в столовой, самая ошеломляющая встреча — Радыгин, лейтенант, который меня узнал, а я его нет. Он не дотянул до весны — дошаял, будто слабая головешка во всепожирающей страшной печи социализма. И сколько моих знакомцев, фронтовиков, дошаяло в том небольшом тубдиспансере, знает только Бог и коновозчик тубдиспансера дядя Паша, крадучись, ночной порой свозивший в казенных гробах иссохших тубиков в казенные могилы на участок, специально для них выделенный, за кладбищем. От посторонних глаз подальше.

Съевши кашу или омлет, винегрет либо запеканку из

картошки, я разминал кубик масла на ломте хлеба, клал в карман полагающееся на ужин яичко, кусочек сахара, когда и яблоко, уносил все это детям. Однажды туберкулезные бабы, заметившие мои действия, подняли крик, заскандалили, что я не ем где положено, таскаю пайки с собой и поди-ко продаю их иль меняю на вино. Соседка-начальница подавила бунт окриком и велела мне больше не приходить в столовую, а получать на всю неделю положенные мне продукты.

Сделалось чуть полегче мне с ребятишками. Появилась в одно воскресенье у нас кума. Посадив на салазки своих ребятишек, привезла их к нам, свалила в комнате на пол, и наш квелый, худенький мальчик охотно играл и спал вместе с ними, кума стирала, мыла, прибиралась в избушке, напевая при этом всякие разные песни, просила меня подпевать, но мне отчего-то не хотелось это делать, хотя, сколько помню себя, рот мой не закрывался от хохота и песен.

У хозяйки нашей сняли гипс с ноги, сделали тугую повязку на колено. Опираясь на палку, она, словно старуха, волоклась домой после обеда. Погас веселый румянец на ее лице, она сделалась молчалива и сердита. Я ставил корыто на две табуретки, наливал в него горячей воды, пристраивал жену рядом. Выкинув больную ногу на подставку, она принималась за стирку, потом мыла детей, ползком подтирала пол и отправлялась «к себе», в тубдиспансер. Я смотрел в кухонное окно и по вздрагивающим плечам жены догадывался, что она плачет. При детях, дома, она себе этого не могла позволить. Наша старшая дочь в детсаде сделалась говорливой, прыгучей, выучила стишки и все домогалась, спрашивая: «Ты куда, мама, собиалась? Ты посему от нас уходис?» А потом приставала ко мне: «А куда мама посла?» — «В больницу мама пошла, отстань!» — «А засем?» — не унималось дитя.

Но как бы там ни было, перевалили мы ту очень длинную зиму. Глухой зимней порой, в каникулы, ученика, бросившего школу, навестила классная руководительница с двумя моими соучениками, намереваясь, как я усек, уговорить меня не попускаться учебой. Посмотрели соученики и учительница на мое житье-бытье и намерением своим попустились. На прощанье спросили: «Может, мы чем-то можем помочь?» «Нет, нет», — поспешно отве-

тил я и про себя подумал: «Нам только Бог может помочь». Но они и без слов все поняли. С чувством облегчения проводил я гостей до калитки.

Дотянули мы, дотянули-таки до весны!

Поддержанный в тубдиспансере лекарствами и питанием, я настолько окреп, что, дождавшись жену домой, ринулся искать работу. Мне рекомендовали легкую. Но в городе с тяжелой промышленностью легкие работы были редки и все нарасхват. Дело кончилось тем, что я начал ходить на шабашки, разгружать вагоны в железнодорожном и на товарном дворе.

Зарабатывал иногда даже тридцатку в день.

В конце апреля вытаял уголок нашего кормильца-огорода, тот, что был ближе к зашитому горбылем туалету, тушею выставившемуся наружу, но входную дверь имевшему из сеней. На кончике зачерневшей мокрой гряды вытаял, пошел в стрелку лук батун. Как-то под вечер, вернувшись с шабашки, я увидел жену свою, ковыляющую с огорода. Она опиралась на стенку правой рукой, а левой зажимала пучочек луковых перьев, еще не налившихся соком, кривых, но уже зеленых.

— Ты чё? Что с тобой?

Она посмотрела на меня глазами, заполненными таким глубоким и далеким женским страданием, которому много тысяч лет, и, дрожа посиневшими губами, тихо молвила:

— Там, в огороде, в борозде, я сейчас закопала мальчика, нашего пятимесячного мальчика. — И потащилась домой.

Надо было помочь ей подняться по лесенке, в сени, но я стоял, пригвожденный к месту, в капелю продырявленном снегу, меня било крупными каплями по башке, но я не мог ни шевельнуться, ни слова произнести.

То-то, заметил я, последнее время зачастили к нам женщины с арестантскими мордами из пролетарских барачков. После их ухода жена моя как-то наполнила горячую водой корыто, с отвращением выпила банку дрожжей и лежала, дожидаясь результата. Не проняло. Тогда она выпила чегушку водки и, пьяная, чуть не утонула в корыте — ее натура оказалась крепче всяких изгонных зелий. Но вот, находясь в тубдиспансере, она, видать, на-

шла настоящих мастериц, они опростили ее каким-то чудовищным способом аж на пятом месяце беременности.

Деваться мне было некуда. Сквозь землю я не провалился, но шибко вымок под капелью и замерз на ветру, к вечеру поднатужившемуся морозцу. Почти крадучись, я протиснулся в наше жилище, думая, что жена легла на кровать за перегородкой. Но она одиноко лепилась за кухонным столом. Обычно форсила она в синей телогрейке с двумя боковыми карманами, спитой в знаменитой на весь город артели «Швейник», но как ей становилось худо, настигали ее черные дни, она откуда-то извлекала материно пальтишко, выданное однажды дочери для спасения от лютого мороза и из-за ветхости не востребованное обратно. И вот в этом пальтишке, взгорбаченном на спине, с заплатами на локтях, с рукавами, подшитыми не в тон пальто бурыми лоскутками, зато имеющим меховой воротник, скатавшийся в трубочку, не узнать уже было, из какого зверя мех присутствовал на пальто — вятская ли кошка, африканский ли леопард.

Я постоял возле дверей. Жена не оборачивалась, не произносила ни слова. Перед нею на столе была кучка размятой соли, кусок черного хлеба и горячая вода в кружке. Она тыкала перья лука в соль, откусывала хлеба, подносила кружку дрожащей рукой ко рту, в серое пятнышко соли пулями ударялись слезы и насквозь, до скобленого дерева, пробивали его, развеивая по столу серую соляную пыль. Прошлой весной такие же вот тяжелые, что пули, свинцовые слезы, ронял в соль пленный немец, и так же расплывались пятна в сером крошewe. Боль, осевшая в слезы человеческие, оказалась тяжелее поваренной соли.

Я сорвал с гвоздя шинель, бросил ее в комнате на пол и прилег — в этот день я как-то уж особенно сильно устал на разгрузке, но зато заработал аж пятьдесят рублей, хотел обрадовать жену, да вот она опередила меня, обрадовала.

Зачем, зачем судьба нас свела в человеческом столпотворении на кривых послевоенных путях? Зачем лихие российские ветры сорвали два осенних листочка с древа человеческого и слепили их? Для того чтобы сгнили? Удобрить почву? Но она и без того так удобрена русскими телами, что стон и кровь из нее выжимаются. Жена старше меня, она успела хоть немножко отгулять молодость. До войны за ней ухаживал шофер иль даже механик га-

ража, будто бы и сватался, будто бы и сговор с родителями произвел. На войне, в боевом походе подшиб ее в качестве недолговременного мужа какой-то чин, даже и немаловажный. Вот бы ей с ним быть, жить, так нет, подцепила обормота пролетарского пошиба, мыкается с ним, здоровье рвет, жизнь гробит.

Пока лечила больное колено, пожирая хлебальной ложкой лекарство, похожее на известку, под названием паск, посадила сердце. Был уже сердечный приступ, вогнавший меня в панику, а сколько их еще случится.

На шинели было жестко и плоско лежать. Совсем она выносилась, шов на ней проступил, будто старая, давно, еще в войну, зашитая рана. Не держит шинель тепла, доступно мое тело холоду, проникает сквозь знаменитое сукно даже и малый ветер, а мне простужаться нельзя, сказывали врачи. Но еще послужит шинель, хорошо послужит куму Сане Ширинкину. Скоро закроется артель «Металлист», с хлебозавода его, подменного слесаря нештатника, вытеснят более здоровые напористые люди, умрет старик Ширинкин, все сильнее хромлющий кум мой со свищами в том месте, где соединены суставы вместо вынутой коленки, не осилит управляться на покосе и по хозяйству. Туго, совсем туго будет куму, и однажды, во времена полегчения нашей жизни, на день рождения кума я отнесу ему в подарок нереализованный ковер с веселым рыбаком и мою заслуженную, бойкой бабенкой Анной изувеченную шинель. Кума — тоже на все руки от скуки, как моя супруга, обрежет ту шинель, подстежит и получится из нее тужурка, которую донашивать будет уже мой крестник, бегая в школу.

«Ах, шинель моя военная... на-на, шинель, у костра в бою — прожженная кому не дорога», — зазвучало в моей расшумевшейся башке.

Под лопатками камня. Ломит, гнетет мое нутро, преют, гниют мои легкие. Нельзя, нельзя мне ломить тяжелую работу, фершала категорически запретили. Сдохнуть они не запрещают. Скорее бы освободить себя от себя, всех, всех избавить от моего никчемного присутствия на земле. И забыться бы, забыться.

Прошлой осенью, в октябре, когда пробрасывало уже снежок, брел я с ружьем, норовя обмануть повзрослевших и поумневших рябчиков. Заманили они меня в разлом каменного распада, глубокий, заросший мелким густым ельником. Рысаком себя здесь чувствующий петушок,

перепархивая в густолесье, затащил меня в такую непролазную глушь, что я, упарясь, сел передохнуть на серую каменистую осыпь. Из осыпавшегося каменного останца когда-то выходил ключ, выбил в камнях глубокую ямину, намыл вот эту осыпь, на которой я сидел, и куда-то делся, иссяк, другую щель нашел иль промыл, провалился ль в истоке, но не стало его и все. Ложе глубокое наносное осталось, в него осыпался и осыпался рыхлый курумник. Красная смородина, путанные кусты жимолости, ломкого таволожника и всюду проникающего шиповника теснил со всех сторон уверенно наступающий ельник. Я мимоходом отметил, что если здесь, в этой каменной выемке, стрелиться, вовек никто не найдет. И прежде чем вороны налетят, зверушки набегут точить зубами падаль, засыплет труп мелким камешником, и в скором времени заволокет, укроет эту могилу темнолесьем.

«Зачем не застрелился? Зачем? Забздел! Скиксовал, так вот теперь наслаждайся жизнью, ликуй, радуйся ее прелестям!..»

Но у запоздалой осени есть одно мало кем воспетое и отмеченное состояние — полный покой отшумевшей, открасовавшейся природы. Птицы улетели в дальние края, зверь не бродит, не буйствует, дожди прошли затяжные, иней еще незвонки. Как бы приоткрывается ненадолго загадка вечности, простая и никем почти не замеченная загадка. Суета, тревоги, заботы, страсти, дурные предчувствия и все, все прочее, земное, как бы отодвигаются иль вовсе куда-то исчезают. Ты остаешься наедине с ровно и умиротворенно дышащей природой, с облетевшим лесом, с покорно ждущим снега молчаливым уремом, который в тишине кажется не просто бесконечным, но как бы уходящим в молчаливое мироздание, в его непостижимую и оттого совсем нестрашную тайну.

Сердце твое, доверяясь таежному покою, тоже успокаивается, дышит ровно и глубоко...

Ему сладко и печально.

Хочется остаться здесь, в уреме, навсегда и жить, жить, просто жить для себя, просто наслаждаться природою.

Я и жил до самого вечера. Сварил чаю, запарил его смородинником, надоил с кустов остатных ягод смородины, еще не сморщившегося шиповника и в ладони сминающей черемухи.

Для задумчивых, к разным чувствам склонных лю-

дей, дня, проведенного в добром месте, где нет зла и тревог, достаточно, чтоб укрепиться и жить дальше.

Я вслушивался, не упадет ли с табуретки моя спутница жизни, тогда надо ее волочить в постель и отваживаться с нею. Врача вызывать нельзя. Не тот клинический случай. Даже и к начальнице тубдиспансера не побежишь — она справедлива, милостива, но строга. Баба моя, если не свалится в лужу крови, перешагнет через меня, следуя на кровать. Я, если даже и усну, все равно услышу ее.

Мысль едва шевелится, вытягивается в тонкую нить, начинает рваться, я щипаю себя за руку — на кухне ни звука, ни движения.

Умерла моя жена-мученица? Иль жива еще? Жива! Шмыгнула носом, втянула слезы.

Да что же это такое? Чего ж она не определяется на место? Не успокаивается? Уже и ребятишки, чего-то неладное чувствующие, присмирели, за печь убрались, в постель залезли, уснули, должно быть, а она все сидит и сидит, плачет и плачет.

А хули плакать-то, хули скулить?! Сами добывали себе эту жизнь. Сами! Почему, зачем, для чего два отчаянных патриота по доброй воле подались на фронт? Измудохать Гитлера? Защитить свободу и независимость нашей Родины? Вот она тебе, свобода и независимость, вот она Родина, превращенная в могильник. Вот она, обещанная речистыми комиссарами благодать. Так пусть в ней и живут счастливо комиссары и защищают ее, любят и берегут. А я, как снег сойдет, отыщу тот распадок, ту ключом вымытую ямину. Оты-щу-у, отыщ-щуу...

Решение, конечно, толковое, своевременное, да, как всегда, сгоряча и непродуманно принятое. Большая баба, еще молодая, но вконец изношенная, останется тут с двумя ребятишкам и с виною вечной передо мной, обормотом, — она ж умная, если не умом, то сердцем допрет, что не без вести я пропал в тайге, не улетучился в Царство Небесное, а ушел от них, испугавшись трудностей, подавшись психу, ослабнув духом. Бросил их! Бросил!

Ар-рр-тист! Н-на, мать! Из погорелого театра. Все ханьки да хухоньки, шуточки да смехучки тебе. Как приперло к холодной стене, прижулькнуло, так и повело наперекосяк мысли, свихнуло куцые мозги.

Мне ж через неделю день рождения, мне ж стукнет всего двадцать пять лет и что ж на курок и все? Х-х-эх,

мудило, мудило! Был вертопрахом, как бабушка говаривала, вертопрахом и остался.

Я вскочил с шинели, решительно вошел в кухню. Жена лежала ухом на вытянутых руках и спала. Я подхватил ее, губами сдул с запястий ее соль, и, держа под мышки, безвольную, несопротивляющуюся, будто пьяную, уволок, и определил на койку. Подумал и закутал ее ноги тем стареньким пальтишком, еще подумал и осторожно, вытянув из-под неё ею же стеженное одеяло, укрыл, подоткнул с боков и поцеловал в ухо. Она ни на что не реагировала.

Я постоял средь отгороженной вагонкой спаленки, посмотрел на жену, на ребятишек, разметавшихся за жаркой печкой, и подмыло вроде бы как теплыми ополосками мое сердце: «Куда они без меня? Куда я без них?..»

Потом долго стоял, прислонясь к горячему боку печи спиной. Такую вот процедуру я сам для себя придумал и заполз с другой стороны от умывальника за печь, на постель нашей няньки Гали, постель ту мы на всякий случай не убрали.

Во всем неумелые, никем ничему не наученные, кроме как героически преодолевать трудности, мы ни беречь себя, ни любить путем не умели. Ведь предохранялись. Тем примитивным жутким способом, от которого мужик становился законченным неврастеником, а женщина инвалидом. Двое кровей вятских и чалдонских давали неизменный производственный результат.

Милостивое государство и направители советской морали снисходительно разрешили аборты. Те мужики, которым довелось носить передачу в больницу, расположенную, как правило, где-нибудь на задворках — все-то у нас прячут достижения наши, все глаз наш от неприличных видов берегут, все боятся травмировать наше ранимое сердце, — наслушавшись баб, да еще на пороге больницы, встретив только-только что в первый раз выскобленную молодку, пронзенные ее ненавистным взглядом, решат, как и я не раз решал, — пойти в сарай, выложить на чурку прибор свой, отрубить его по корень да и выбросить собакам. Да где ж отрубишь-то? Свое единственное достояние. Жалко.

Подступал мой день рождения. Дома ни гроша, ни хлеба, ни даже солений никаких. Картоху и ту доедаем. Ну и Бог с ним, с этим днем моим. Никто его в детстве не праздновал, бабушка раз один обновку сшила и постряпушек

напекла, вот и все радости. Бабушки нету, умерла в прошлом году, и я не похоронил ее, не на что было поехать в Сибирь, и помнить о моем дне рождения больше никому, да и незачем.

Случалось, я и сам о нем забывал.

Недавно совсем, в сорок четвертом году, народный маршал по весенней слякоти погнал послушное войско догонять и уничтожить ненавистную и страшную первую танковую армию врага, увязнувшую в грязи под Каменец-Подольском. Но грязь и распутица, она не только для супротивника грязь и распутица, да еще грязь украинская, самая родливая и вязкая. Застряла и наша армия в грязи. И в это время, в конце-то апреля, когда цвели фиалки на радостном первоцвете и набухли сосцы у изготовившихся зацвести садовых почек, ударила пурга. Снежная. Обвальная. Завьюжило Украину. Завалило хаты до застрех. Завалило войска пришельцев-завоевателей, завалило и наше войско.

Врагу-оккупанту или погибать в чистом снежном поле или выходить из окружения. И без техники, без боеприпасов, голодный, драный, сплошь простуженный противник пер слепо и гибельно сквозь снежные тучи, раненых в пути бросая, пер под пули, под разрывами мин и снарядов. Несколько дней длилась эта бойня, но остатки первой армии из окружения вышли, куда-то скрылись, утопили в снегах и взбесившейся стихии.

Мы спали обморочным сном до сих пор, пока не пригрело нас ярким весенним солнцем, и друг мой вдруг начал щипать меня. «Ты чё охренел?» — встревожился я, а он: «У тебя ж вчера был день рождения! Поздравляю! Поздравляю!» — и щиплет, обормот, щиплет.

«В моей жизни было много перепитий», — говаривал один знакомый мой остроумный писатель-забудыга.

А у меня было много перипетий. Иногда совсем неожиданных и счастливых.

Накануне Первоя начался ледоход на Чусовой, и я ринулся через горы к Ивану Абрамовичу, схватил со двора сак и пошел им черпать воду. Ничего, кроме крошева льда, в сетку моего сака не попадалось. Прошвырнувшись до скалистого быка Гребешок, я изловил двух сорожек и пескаря, случайно спасшихся, потому как впереди меня прошло уже десятка два рыбаков с саками, на другой стороне через каждую сотню метров воду реки цедили саками фарту жаждущие рыбаки.

Я возвращался к усадьбе родичей и решил за только что спущенными поселковыми лодками, где завихряло воду, под лодки грядую набило колотый лед, сделать еще один заход и попуститься рыбацкой затеей. С крутого глинистого высокоподтопленного бережка я сделал заброс и, притопляя, вел сак таким образом, чтобы краешек поперечинки заходил под последнюю в ряду лодку. Я подводил сак уже к глинистому урезу, когда под ним взбурлила вода, я мгновенно воткнул упорину в берег, приподнял сак и через мгновение выбросил на берег щуку килограмма на три. «Нет, Бог, как был за меня, так Он и есть за меня! И к тому же я колдун», — возликовал я и с рыбиной в своем знаменитом рюкзаке, в этом неизносимом сталинском подарке, ринулся домой.

— Ну вот, — молвила жена, — я же говорю всем, что супруг мой — с чертовщинкой, а они не верят. Зови на завтра кума с кумой да к нашим не забудь забежать. Я сделаю заливное из щуки, наварю кастрюлю картошки, бражка у меня в лагуче еще с помочи в подполье спрятана. Ох и гульнем, ох и повеселимся! Весна же! Весна!..

Кум с кумой, в прах разряженные, явились раньше всех гостей, принесли пирог с мясом, банку сметаны и горшок капусты. Редьку с морковкой тер я самолично, винегрет и хорошо сохранившиеся яблоки-ранетки из своего сада прислала с сыновьями начальница-соседка, передав, что заскочит к нам потом на минутку, пока ей, как всегда, недосуг. Приволокся тесть Семен Агафонович в древней вельветовой толстовке и «выходной» белой рубашке с едва уже заметными полосками. В новом костюме при вишневом галстуке явился свояк Азарий, с приступком поставил поллитру водки на стол и сказал, что мать не придет, она снова недомогает.

Ах, какой получился у нас праздник! И день рождения, и новоселье, и весна, и Первомай. Забежала Галя, нянечка наша, ее по случаю праздника отпустили из дома, сгребла всех ребятишек, и наших и Ширинкиных, утащила их на демонстрацию, где они угостились мороженым за ее счет, еще она им купила по надувному шарик у и по прянику местной выпечки. Сияющие, счастливые, вернулись ребятишки домой, где шла уже настоящая гулянка, и кум мой, вбивая в половицы каблук ботинка на здоровой ноге, все выкрикивал: «Э-эх, жись наша пропащая!» А после, как всегда при праздничном застолье, пристал ко мне, чтоб я спел «Вниз по Волге реке».

Ослушаться, отказать было невозможно, и я спел, на этот раз может и не совсем выразительно, зато уж переживательно. Кум мой, Сана Ширинкин, снова плакал, лез целоваться, снова называл меня братом.

Вот с этого праздника, со щуки, вынутой из-под лодки и пойманной мною, не иначе как по-щучьему велению, начала исправляться и налаживаться наша жизнь. И на смерть я начал реагировать, и на похоронную музыку, только могилы больше копать не мог.

К смерти открылась и болью наполнилась моя душа еще после одной встряски. Той же весной, еще по большой мутной воде, решил я половить рыбы, хотя бы на уху, потому как Гаю снова выгнал брат, она вернулась к нам, а у нас и жрать нечего. Рано, когда только-только рассвело и от скрещенья трех разлившихся рек туманы легли на город так плотно, что ни заводского и никакого громкого шума не проникало сквозь него, лишь что-то ухало, брякало под горой, будто в преисподней готовили котлы и сковороды варить и жарить нас, грешников. Грузная одышка от заводских цехов почти не достигала мироздания, застревала в тумане, поглощалась им. Я шел по линии — от вильвинского моста встречно шел и угрюмо сигналил поезд. Сдержанно стуча колесами, скрипя тормозами, он явился из мглы и утоп в недвижной белой наволочи. На лбу электровоза во всю мощь горели прожектора. Во весь путь следования по городу машинист не выключал звукового сигнала. Видимо, ночью туман был еще плотнее, но солнце, уже поднявшееся на горизонте, за хребтом, осаживало недвижную пелену, рассасывало, рвало и клочьями гнало в распадки, ущелья, в поймы рек, гнало за горы туман. В разрыве белой пелены я и увидел за девятой школой, на пустыре, кучку людей, среди которой стоял милиционер и что-то записывал в откидной блокнот.

Любопытство русского человека — его особая мета. Я свернул с линии, подошел ко кругом стоящим людям. Никто мне не удивился, милиционер кивнул головой: «Вот еще свидетель». Среди пятерки незнакомых мне людей, прикрыв рот ладонью, стояла женщина с непокрытой головой, у ног ее, прикинутая платком, лежала зарезанная поездом девочка. Осматривая погибшую, милиционер откинул уголок платка, и сделалось видно лицо девочки лет

семи-восьми; на удивление совершенно спокойное и даже отрешенное. Лишь глаза, оставшиеся открытыми, расширило ужасом, и в них остановился крик. Холод смерти остудил глаза ребенка и сделал голубизну их еще голубее, прозрачней, соединил их цветом с весенним небом, пусть и заляпанным, как всегда над этим городишком, черными тучами да еще желто-седой смесью с ферросплавного производства.

Расписавшись на листке предварительного допроса, я спускался к реке и все силился вспомнить, где я уже видел такие же голубые глаза, которым ни дым, ни сажа, ни отравные газы не мешали проникнуть в высь неба и наполниться от него нежным светом, и вскрикнул: да это ж глаза моей крошки дочери, на могиле которой я не был года два и вообще перестал посещать кладбище.

С этого беспросветного, туманного утра меня начал преследовать кошмарный сон.

Спускаюсь я к железнодорожному переезду, за которым по правую руку третий магазин, по левую садик. В этот садик ходит моя дочка, долго мечтавшая о самостоятельности, чтоб не за ручку ее водили. У переезда кучка народу, и я бегу, бегу, заранее зная, что там, на линии, лежит пополам перерезанная дочка и смотрит на меня и говорит: «Я так хотела одна ходить в садик». ...Я расталкиваю, нет, даже разбрасываю уже толпу любопытных и вижу там не эту, нынешнюю, детсадовскую дочку, а ту, Лидочку, в крохотном гробике, перееханном тяжелым литым колесом. Из щепья и тлелых лоскутьев, закутанная, бестелесная вроде бы, девочка, тянет ко мне ручки и силится что-то сказать. Зовет она меня, зовет, догадываюсь я, и рушусь перед нею на колени, пытаюсь обнять, схватить, прижать к груди дитя, но пустота, всякий раз пустота передо мною. Я просыпаюсь с мучительным стоном, с мокрыми глазами.

Скоро, скоро займусь я «легким» умственным трудом, днем буду строчить басни и оды в газетку о неслыханных достижениях во всех сферах советской жизни, о невиданных победах на трудовых фронтах, о подъеме культуры и физкультуры, ночью, стараясь начисто забыть дневную писанину, стану вспоминать войну, сочинять рассказы о страданиях и беспросветной жизни этих самых советских людей.

Чтобы писать, сделаться литератором, пусть и в пределах соцреализма, мне необходимо было учиться грамо-

те, преодолевать свое невежество, продираться сквозь все-светскую ложь, и я читал, читал, много ездил по лесам, селам, спецпоселкам, арестантским лагерям, в которые газетчику был доступ. Спал четыре-пять часов в сутки.

Вел я в газетке, в промышленном отделе, лес и транспорт, и изо дня в день, из месяца в месяц, годы уже набегали, но я не мог позволить себе выспаться, потому как в воскресные дни должен был доделывать, достраивать, доглядывать избушку — дом невелик, но спать не велит, на практике познавал я эту истину, да еще и в лес таскался с ружьем за дичью, с корзиной за грибами, с лукошком по ягоды.

Кончилось это все тем, что я начал видеть во сне совсем уж ошарашивающий кошмар, будто темной ночной порою, пробравшись на старое кладбище, раскопав могилу утопленницы-матери, рвал ее черную кожу и ел багрово-красное мясо...

Напарник мой по рыбалке, местный мужик, в войну выучившийся на хирурга, навидавшийся в рабочем городе, в деревянной больничке такого, что не во всяком чудовищном сне увидишь, содрогнулся, когда я у костра, на бережку, рассказал преследующий меня сон. «Предел, — заключил он, — это уже предел, заболевание мозга, последствия контузии. Кончай курить, кончай сочинительствовать по ночам, уйди в лес, поживи там весь отпуск, выспись как следует, иначе дело кончится плохо...»

Я послушался его, уединился в лесу, сперва неудачно, в избушке на отгонном пастбище лошадей, где меня осыпали мыши и на поверженного сном лезли, шурша лапками по плащу, порой я зажимал под рубахой и давил пригревшуюся там мышь. Тут еще скорее, чем дома, с ума сойдешь.

И подался я на водомерный пост, где был когда-то покост тещя Семена Агафоновича. Уже несколько лет он не ходил на него, болели ноги, не хватало сил, коровы семья лишилась. Там, у старого знакомого, метеоролога, в просторной белой избе, где по углам и на стенах висели пучки пахучей травы, я спал по двенадцать-четырнадцать часов, поражая этим подвигом хозяев, и домой вернулся очнувшимся от затяжного недомогания, головная боль поубавилась, звенело в башке тоненько, шумело терпимо, но кошмары не оставили меня, потому как кошмаром была сама действительность. Однако мучали меня кошмары реже, война тоже годам к пятидесяти стала сниться ред-

ко, сны сделались полегче, сменились они снами разнообразными. Стал я часто спорить во сне с вождями мирового пролетариата, как бы уж и не на этом свете пребывающими, и, следовательно, споры эти были бесполезными, и еще со старшими товарищами писателями. Тяжелый разговор вышел у меня с человеком, и вроде это был Шолохов, по поводу «Поднятой целины». Еще тяжелее, но тоже безрезультатный — с товарищем Фадеевым, у гроба которого довелось мне побывать в годы литературной молодости. Большое расстояние и горние выси разделяли нас, и сны получались боевые, но путаные и спорные.

На много лет пристанет один сон: где-то в Москве, сойдя с трамвая среди беззаконных домов из красного кирпича, я направляюсь на Хорошевское шоссе к дому моего незабвенного друга Александра Николаевича Макарова. Вроде бы ищу и путаюсь в Москве, обликом, однако, шибко смахивающей на незабвенный город Чусовой с его грязными улочками и переулками, по окраинам, превращенным в помойки и свалки. Всюду я упираюсь в дощатые непреодолимые загороди, и если мне удастся увидеть редкого прохожего, спрашиваю у него, в какой стороне Хорошевское шоссе? Прохожий чаще всего пожимает плечами или машет рукой в неопределенную сторону либо говорит, что нет тут никакого шоссе, вот улица Партизанская есть, и Трудовая улица есть. Тем временем трамвай, на котором я приехал, разворачивается и уходит. Оказывается, я доехал до последней остановки с последним трамваем. Мне объясняют, что больше сюда трамваи ходить не будут, а в какую сторону возвращаться я не знаю, и людей совсем нету, спросить направление не у кого...

И тогда решил я съездить на Урал, в город Чусовой, побывать въяве на улицах Партизанской и Трудовой. Избушка моя превратилась в домик, под нее подвели бетонный фундамент, приподняли слуги, и крыша сделалась не нараскоряку, как это было прежде, крыша обрела крутые скаты, железом крытая, в «швы» не текла вода, у домика появилась верандочка, настоящая с застекленной рамой, пристройка в виде сенок или тамбура, но кусты сирени и черемухи, мною и детьми моими посаженные, остались на том же месте, разрослись пышнее, черемухи успели состариться.

Я отчего-то не решился, иль, скорее, не захотел зайти в домик, познакомиться с новыми его хозяевами.

А на улице Трудовой дом Сани Ширинкина хорошо сохранился, стоял все также бойко на юру, только бревна почернели от времени и осевшей на них сажи, скособочилась и кирпичный венчик осыпала труба на крыше, дветри тесины свежо желтели на передней высокой завалинке, всегда плотно забиваемой свежими опилками.

Возле дома играли мячиком две девочки, по виду перwokлашки, я спросил одну из них, беловолосую, скуластенькую, с приплюснутым носом, не Ширинкина ли она. Девочка сказала нет, она Краснобаева, тогда я поинтересовался, куда делся хозяин этого дома — Ширинкин Александр Матвеевич. Девочка сказала, что никуда он не делся, это ее дедушко. Тогда ноги у меня ослабели. Я прислонился к тепло нагретой завалинке и, наладив дыхание, попросил позвать деда. Девочка юркнула во двор и скоро возвратилась, сообщив, что сейчас дед выйдет.

Спустя немалое время по настилу во дворе застучала неторопливая палочка, и знакомый мне голос в такт стуку палочки выдавал матюки, из которых складывался смысл и следовало заключение, что страховка за сей год выплачена, налоги все внесены, «так какого же ... нужно?».

— Ишпо осталось шкуру с нас содрать, мать твою!.. — отворив ворота, повысил голос Сана, но, увидев меня, уронил палку. — Ой, кум!

Без палки он уже был не ходок, повалился в мою сторону. Я подхватил его и ощутил руками почти бесплотное, костлявое, старческое тело. Сана, повиснув на руках моих, плакал и повторял: «Кум! Кум! Как же это, а? Как же это, а?» — он не облысел, а совершенно облез, и фигуристая голова его с выносом на затылок напоминала мозговую кость с колбасного завода. Появилась кума — эта, наоборот, раздалась вширь, приосела, укоротилась. Тоже всплакнув накоротке, отчетливо вздохнула и деловито предложила Сане:

— Старик, кончай нюнить, слетай в лавку.

Я приподнял форсистый дипломат, выданный мне на съезде Союза писателей, встряхнул им. В дипломате звучало. Пролетарская суть — не иметь добра, имущества за мной сохранилась. Страсть как не люблю таскать чего-либо, тем паче таскаться с папками, портфелями, чемоданами. Но вот в Чусовой захватил модную среду интеллигентно себя понимающих людей эту хреновину — гляди-

те, граждане чувствяне, какой я, понимаешь, форсистый сделался — костюм на мне французский, штiblеты шведские, галстук не иначе, как арабский, чемодан у меня наимоднейший и в нем поллитра. И не одна, понимаешь.

Мы сидели в примрачневшей горнице за столом, кум, кума, дочь ихняя, вели неторопливую беседу, я, естественно, спросил, где же мой крестник-то? Кум махнул рукой и сказал нецензурно, мол, кто его знает, где этот бродяга.

— Не матерись за столом! — прикрикнула кума на кума и жалостливый повела рассказ о том, как рос и вырос их сыночек, женился, развелся, детей осиротил, до пьяницы дошел, шляется по чужим углам, глаз не кажет, вот, слава Богу, с дочерью век доживают. Сана внезапно встрял в рассказ жены с дополнением:

— Не гонят пока ишшо из собственного дома. — И выпил, хотел это сделать махом, лихо, но поперхнулся, замахал рукою возле рта, отдышавшись, выразился.

Кума, как и многие еще дюжие женщины, состояла при дочери в ее семье в качестве домработницы и рада была этой доле. Кум, которому от кумы уже ничего не требовалось, поселился на кухне, сделав в виде нар просторную лежанку за печкой.

— Говорю тебе, не матерись за столом, Бог накажет.

— Не матерись за столом, не матерись за столом, — кривился Сана: — А чё мне делать-то? Жевать нечем, протез в собесе выписали худой. Ты уж не поёшь больше? — Покачал он горестно головой. — А то ведь рот не закрывался, все хохотал, пел и выражался тоже. Вспомнишь, потеха. На крыше ты сидел своей великой новостройки, мимо нее теща твоя корову гнала, жэнщины, чтобы ее подначить, говорят: «Андреевна! На пустыре мужичонка строится, пьяница, видать, то поет на всю округу, то матерится на весь город. Не знаешь чей?» Теща твоя поскорее шасть мимо новостройки, не знаю, мол, не ведаю, что там за мужичонка.

Все сдержанно посмеялись за столом.

— Я и ноне, Сана, хохотать не перестаяю, уж больно жизнь потешная.

— М-на-а, вот если б ты пел, как прежде, то всех этих волосатиков-попрыгунчиков по углам разогнал бы.

— Разогнал бы, разогнал всенепременно, — подтвердила кума.

— У меня работа веселее.

— Хорошо хоть платят-то?

— Всяко.

— Мы с бабой ту книжку, что ты прислал в подарок, вслух читали попеременно. Ничего, забавно и наврано в меру.

— Я отбрехался, Сана, до дна отбрехался, когда в здешней газетенке работал.

— Да уж, — уронил кум и поерзал на стуле, — вот сидишь ты с нами, спасибо, что не забыл, пьешь, закусы-ваешь, а да-алёко от нас находишься, ох, как далёко.

— Я и от себя далеко, Сана, нахожусь. Ох, как далеко!

Мы снова чокнулись, Сана трахнул рюмку до дна, я пригубил.

— Здоровье бережешь? — налаживая дыхание, сипло спросил кум.

— Нечего уже беречь. Все потрачено, все болит в непогоду. Голова и жопа в особенности. Голова от войны, жопа от литературы. Я ведь, Сана, одержимый, бывало, по двенадцать часов от стола не поднимался.

— Экая зараза, прости Господи, — довольно умело перекрестилась кума, а ведь первый раз в церкви побывала, когда первенца-парня крестили.

— Да-а, заводной ты был и в молодости, с ружьишком по сорок верст за день по горам ошевертывал и, бывало, одного рябца принесешь.

Мы посмеялись, кум, потрафляя моему настрою, начал говорить про наш покос и про то, как я плавил сено с тестем по Вильве, выходило, что был я лихой и бесстрашный плотогон, да вот пошел по другой линии, а то б, если не утонул, бо-ольшую деньгу мог зашибать в ту пору. И к разу поманил меня в кухню, за печку, где прибитый к стене крупными гвоздями красовался ковер с рыбаком, закинувшим удочку в уже отцветшие воды.

— Узнаешь?

— Узнаю, Са́на, узнаю. Я ж художник неповторимый, Ван-Гог российский, бя.

Мы долго и трудно прощались с кумом и кумой у дверей избы, во дворе, за воротами.

— Ты уж шибко-то не изнурайся, пожалей себя. Тебя-то никто никогда не жалел, — плакал кум, угадывая, что видимся мы в последний раз, и слезы, слабые и частые, катились по морщинам лица, уже забранным в сетку: — Работу не переменишь, жись не повернешь — проскочила она на коне. На каком коне — ноне не вспомню, ты читал, давно еще...

— На розовом, — подсказала кума, тоже плача.

— Во-во, на розовом, — подхватил кум и поправился: — На колхозной кляче со сбитой спиной проскакала она, мать бы ее ети...

Они, кума с кумом, умерли не в один день, но в один год, и перебрались с улицы Трудовой еще выше на гору, на Красный поселок. Натрудились. Отдыхают. Им на горе ветрено и спокойно.

И еще одна встреча, произошедшая в ту поездку, достала и достает мою память.

— Тебя Тая Радыгина, твоя учительница, непременно хочет видеть, просто умоляет повидаться, — сказала наша близкая знакомая, у которой я ночевал.

Пришла худенькая, в платок кутающаяся женщина, несмело припала ко мне, тронула сухими губами мою щеку:

— Настасья Ивановна... Вы учились у меня в вечерней школе, анатомии учились, хулиганили вместе с юношами. Помните?

Я согласно кивал головой и пытался воскресить в памяти школу, анатомию, соучеников своих и учительницу.

— А милой Веры Афанасьевны, вашей классной руководительницы, не стало. Совсем недавно, — сообщила она, завязывая разговор.

Кто-то сказал Настасье Ивановне, Тае, как звал ее муж, что я и жена моя хорошо знали ее мужа, а у нее нет о нем воспоминаний, почти нет, так нестерпимо и гибло жили после войны и так он, ее лейтенантик, быстро сгорел, что ничего-ничего не сохранилось от него и о нем. Выросли дети, подрастают внуки, просят рассказать что-нибудь об отце и дедушке, а она и не имеет, чего рассказать, кроме как сообщить, что он был прекрасный человек и она сохранила ему верность, более не пыталась устроить свою жизнь.

— Да и как ее устроить бедной учительнице с двумя детьми? — печально улыбнулась она.

Я попросил накрыть на стол, наладить чай и, пока две женщины-подружки, обе бобылки, выполняли мою просьбу, пытался, потроша свою память, что-то выудить из нее, и стало мне ясно, что без сочинительства тут не обойтись, что на этот раз будет то сочинительство к месту и Бог мне его простит.

Основной упор в воспоминаниях я сделал на то, как вместе с лейтенантом Радыгиным мы ехали на соликам-

ском поезде из Перми в Чусовой, и на то, как муж ее, Настасья Ивановны, вынимал мою беременную жену из канавы с мешком картошки на спине и как провожал нас домой. А вот про встречу в тубдиспансере я умолчал, зато рассказал о том, как шли мы, опять же с поклажей картошки, из Архиповки и видели, как нелепо и страшно тонули на реке Чусовой пьяные люди, пробовавшие плясать в лодке и опрокинувшие ее, как в холодные воды бросился человек спасать людей и спас молодую девушку с длинной косой — это был, показалось нам, Радыгин.

— Да-да, я знаю эту женщину. Она живет в новом поселке, рядом с нами, тоже учительствует и до сих пор не ведает, кто ее спаситель. Я непременно, сегодня же расскажу ей об этом. Ах, какой это был человек! Ка-а-ако-ой человек! — сжимая ладошками лицо и раскачиваясь из стороны в сторону, восторгалась бедная вдова.

— Ты набрехал насчет подвигов покойного Радыгина? Ты? — сурово спросила меня моя знакомая, проводив подругу.

— Чего-то набрехал, чего-то и нет.

— Ну и не винись — ложь эта во спасение. И теперь я свидетель тому, как ты здорово сочиняешь, могу с читателями твоими поделиться воспоминаниями.

— Не стоит.

Ныне меня, как и многих стариков, оглохших от советской пропаганды и социалистического прогресса, потянуло жить на отшибе, вспоминать, грустить и видеть длинные, вялые сны, почти уже без ужасов. Разгружая память и душу от тяжестей, что-то, тоже вялое, выкладываю на бумагу, совершенно уже не интересуясь, кому и зачем это нужно.

«Отравляющая сладость одиночества», — назвал я однажды мое нынешнее состояние. Летом, находясь в деревне, поздним уже вечером, когда не мотаются по улице пьяные и собаки, спущенные с цепи, смиренные, не брехливые, когда все селяне от мала до велика сидят перед телевизорами, увлеченные очередными жгучими и бесконечными страстями, угадывая, кто кого на кровать повалит или в конце концов порешит, я люблю пройтись по-над рекой, по пустынной Набережной. Если тиха погода, нет туманов и сырой стыни, если вышний свет спокойно ложится на Енисей и в нем отражается каменное веко Караульного быка, а перевальные, горные дали за рекой волнами уходят в небеса и прозрачно соединяются с ними, —

в моей успокоенной душе часто повторяется кем-то давно ко мне присланное стихотворение:

Угасание дня, угасание жизни.
Приближение к тайне на крошечный шаг.
Между ночью и днем, между словом и мыслью —
Опускаются сумерки в мир не спеша.
Исчезает зеленых деревьев торжественность,
Исчезает приветливость ясных небес.
Отрешенность природы покойно-торжественна
И в себя погружен скал ближайший отвес.

Какими чуткими, какими блаженстводарящими минутами одаривает вечер человека! Как печально и торжественно все вокруг. Как разрывает грудь чувство любви ко всем и ко всему. Как хочется благодарить Бога и силы небесные за эти минуты слияния с вечным и прекрасным даром любить и плакать.

Совсем недавно в каком-то промежутке тягучих, сочинительски-бредовых снов увидел я отчетливо и ясно палец в брезентовом, заношенном напалке. Стянул зубами грязно-соленый напалок и увидел неуклюже обросшую мясом кость, увенчанную кривым, зато крепким, что конское копыто, ногтем, и безо всякого ехидства, без боли и насмешки подумал: «Да-а, все-таки они схожи: моя жизнь и этот изуродованный на производстве палец».

...Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. В Польше. На картофельном поле. Когда я нажимал на спуск карабина, палец был еще целый, неизуродованный, молодое мое сердце жаждало наполнения горячим кровотоком и преисполнено надежд.

*1987 — 1997,
с. Овсянка*

ВАРИАНТЫ

•

ЛОВЛЯ ПЕСКАРЕЙ В ГРУЗИИ

Рассказ без сокращений и с послесловием

Адольффу Николаевичу Овчинникову

На грустно-просветленной земле — Вологодчине, где большей частью простираются болота, по округе заросшие ольховником, опрометчивым клинышком забредающие в хляби, затянутые худой травой и скорбно там чернеющим гнильем сорящим, случаются такие ясные дни, что видно все вокруг делается километров на тридцать. А ведь равнинная, плоская земля, но и на ней, голубую дымкою утекающей в бесконечную даль и соединяющуюся с небом, мужики умели находить такое место для храма и ставили так сооружение, что видно его и от него было во все стороны тоже на много-много верст.

Сама вологодская округа, выделенная от Архангельской губернии и прозванная нововведенным категорическим словом — «область», представляет из себя как бы круглое солнышко, объединяющая много земель иль, скорее, соседствующая с ними по воле Божьей иль по советскому, преград не знавшему праву. С севера Вологодчина упирается в архангельские земли, с северо-запада — в Вепсию и Ленинградскую (все еще Ленинградскую) область, с юго-запада вологодские хламные лесишки и болота без всяких границ и обозначений переходят в знаменитое глухое Пошехонье и, стало быть, в Ивановскую область, где-то на пути по кругу задевают на юге Ярославскую и Костромскую области, а восточные, совершенно глухие районы Вологодчины братски обнимаются с землями вятскими, тоже бедными, малонаселенными, где однако случаются сосновые боры с невеликими, но простор-

ными лесами, и такие тут благостные холмистые места возле малых и больших озер, что вот как бы самим Господом указано святым людям прийти сюда и остаться навеки, отмаливать грехи людские.

Здесь было и еще есть где их отмаливать. На краю земного грохота цивилизации, вдали от срама и греха человеческого доживает свой век, разваливается, зарастает дурниной и крапивой множество Божьих храмов, и живы еще и действуют усердиями (чуть не молвил срамное слово — энтузиастов!) Бога не забывших людей Кирилловский и Ферапонтовский монастыри. Здесь, на этой пронзительно-тихой, желтым песочком занесенной, брусничником и земляницей заросшей земле, могила самого совестливого, самого чистого, пусть и негромкого, но глубоко почитаемого певца и заступника российского Александра Яшина.

Земля вологодская и в погоде навевает печаль, в задумчивость погружает, а уж в непогоду, порой происходящую здесь месяцами, хоть ложись и помирай. Да если еще вокруг пустые, дотлевающие деревни, задернутые хилым зеленцом поля, границы, точнее, квадратики, которых означают каменные бороздки и борозды. Мало того, что земля тут большей частью глинисто-супесная, так в ней еще и камней несметное количество. И они по какому-то закону тяготения к свету иль землевращения высыпают, точно яблоки иль тыквы, а то обозначатся лоснящимся боком буйвола, и без мычанья, не делая вроде бы никаких резких движений, тот буйвол лезет и лезет наружу средь поля, вот и волочи его веревками, кати коньми на обочину, и порой обочины те ширше самого поля, обложенного со всех сторон, будто крепостными укреплениями.

Искал я покоя и уединения для жизни и работы, и в конце концов мне помогли найти местность, почти сибирскую, на берегу реки Кубены с каменным порошком, журчливыми перекатами, галечными косами, обвальнопесчаным берегом по левую сторону и полого спускающимся, весною и летом зеленым, а зимою заснеженным берегом по правую сторону. Здесь, в деревушке с финским или вепсовским названием Сибла, где жили еще и курились трубами семеро подворий, ожил и тоже задымил трубою мой, восьмой, дом. Поначалу радующийся хорошей рыбалке и лесам вокруг, полным дичи, я не столько работал, сколько сидел на берегу Кубены иль рыскал с

ружьём вокруг деревушки. Но добрались преобразователи природы и до Вологодчины, решили Божий мир неслыханными урожаями поразить и всюду понасыпали и горами понавалили химические удобрения, не поинтересовавшись, есть ли кому удобрять землю, пахать и сеять.

Удобрения начало размывать, растаскивать по бедной земле. Веснами в устье каждого лога, ручейка и ручья, впадающих в Кубену, вспухала, шевелилась папуха разноцветной пены, и долгий белесый след тянулся по реке, оседал на дне. В полях вокруг окаменелого снадобья, вылизанного и выеденного животными, выгаивали жалкие трупики зверьков — зайцев, лис, и серой глыбою меж серых камней лежали лоси, над которыми базарило воронье. Птицы погибали где-то в хламе здешних лесов и в месиве серых болот.

А самолеты все летали и летали, все сыпали и сыпали на совсем утихшую землю отраву, машинами, буксуя, завязая, везли и везли в заброшенные поля, к заброшенным селам удобрения, часто высыпая их в кюветы, возле дороги, кто похитрее из шоферов — на улицах и на усадьбах обезлюдивших сел. Проверять некому — химизацией занималась одна организация, колхозами и совхозами заправляла совсем другая, а всеми вместе руководила мудрая партия, заранее сосчитавшая прибавку урожая от химии. Может, и не считала. Со временем в кремлевской шайке и в самом политбюро уже заседали такие дряхлые молодцы, что забыли они, где и как растёт хлеб, тем более лен, они уже полагали, что их отдельные харчи и лакомые пайки сами собой заводятся в спецмагазинах, шикарных кремлевских столовых, а в черноморских санаториях не только мандарины и персики растут на деревьях, но и бублики, и булки, и калачи, и даже картошка, к мандариновым деревьям привитая, наливаются соком.

Все! В рыбоизобильной Кубене я уже не мог наловить ершей на уху, в лесу нечего делать — умолкла, ужалась, еще более пустынной и заброшенной стала эта северная самобытная земля, которую великий поэт, сгубленный современной жизнью, точно назвал «тихая моя родина». И погода часто начала портиться: повырубали леса на северо-западе, урвали последнее здешнее достояние — с паршивой овцы хоть шерсти клок! А уж как навалится на Русь северную, сиротскую, на пашни ее спокинутые, на села безголосые непогодь, так впору вешаться с тоски —

и вешались, во все времена и помногу российские людишки.

У меня есть спасение от дремучей, душу сжирающей, непродышливой тоски — работа. Бумага, перо, чернила, вечерами, хоть и тускло, показывает что-то телевизор, на стене поет радио.

Но забота ж о советском человеке спать не давала отцам нашим кремлевским и верным помощникам ихним «на местах». Уж и так, судя по лозунгам, по картинкам в телевизоре, народ только и делает, что от счастья поет-заливается, так надо, чтоб он еще и плясал, весь поголовно, в ладоши чтоб хлопал, да осиянный светлой жизнью здравицы любимой партии дружно кричал.

Пошла по селам бригада энергетиков, спилила деревянные столбы, имея целью сменить их на бетонные, согласно веянью времени смахивающие на восклицательные знаки. Бензопилой-то чего не смахнуть до звону высохшие столбы?! Смахнули, но народ же по-современному ученый, по-современному же и смекалистый — продали парни старухам на дрова столбы по рублю за штуку да и загуляли, сперва пробно, вроде как несмело, потом разошлись, масштаб увеличивать начали, на масштаб средства нужны, и тут из положения вышли — разобрали трактор на запчасти, утащили его в леспромхоз, потом и провода, и тросы разные, и лебедки, и что было в жилом вагончике, и сам вагончик туда же, в леспромхоз, сплывили, да и сами на работу там нанялись.

Обесточилась наша деревня, свет не горит, телевизор не мельтешит, радио не поет, дороги пали от дождей, льющихся не с неба, потому как неба давно не видать. Просто между низко опустившимся серым туманом и высоко поднявшимися тоже серыми испарениями стоит полосатая стена воды и куда-то изливается равнодушно, почти бесшумно. Просто придавило Божий мир, залило, переполнило водой, и лишь сонное, всеутишающее запредельное шуршпанье слышно повсюду. Я сперва радовался, что на крыше моего дома время от времени трепетала и жалко позвякивала жестянка, притиснутая к печной трубе, но вот и жестянку сделалось не слышно: размокла глина на трубе, и жестянка прилепилась к ней, или привыкло мое ухо к этому звуку и перестало его воспринимать.

У меня осталось три свечи и на одну заправку керосина в лампу. Возникавшую уже не однажды мысль: «А не застрелиться ли?», отодвинула в сторону мысль другая,

здравая — надеть болотные сапоги и шлепать на станцию. Как-нибудь одолею двадцать-то километров, а там на поезд и — в город, домой, к народу. Ну ее к Богу, эту тоже почти умершую, еще одну вологодскую деревушку, пусть тут доживают и домыкают те, кому совсем податься некуда и не к кому. Я уже и рюкзакишко снарядил, в рюкзакишке основной груз — папка с новой моей повестью под названием «Царь-рыба». Ружье, пожалуй, возьму, мало ли что может быть в такую погоду, медведя из лесу вымоет, лихой человек из лагеря умоляет, их, лагерь-то, кругом что кочек на болоте.

Догорала русская печка. Самая большая это улада для меня — сидеть возле чела печки, глядеть на огонь, чувствуя не только тепло, но и устойчивое, древнее успокоение, глазеть на чугунок, шкворчащий грязной пеной, где варится картошка. Хорошо, что я с весны запасся сухими дровами. Сейчас я вывалю картошку в деревянное резное блюдо, нарежу хлеба, достану луковицу, соленых огурцов и фляжку именную, еще пермскими хоккейными болельщиками подаренную, достану и, хоть не люблю, просто не переносу пить один, налью водки в керамическую кружку, подаренную уже здесь залетными московскими эстетами, и жажну за что-нибудь, за погоду, пожалуй, за то, чтоб посветлело хоть немножко над этой запущенной, бедной землей, да и над всей моей истерзанной, усталой, в немощь и болезнь впавшей страной, измордованной Россией.

Водочка у меня настояна на ягодах вереска, его за древней, в заполье, целые заросли, ягоды аж посинели от нетерпения, но брать их некому, городские не берут — колетса растение, смолой мажется, ягоды крепко на ветках сидят, не оторвать, отколушивать надо, здешние жители на леченье обковыряют близ дома кустик-другой и довольно. Надевши высокие сапоги, плащ с башлыком, я бродил за телятником меж ежистых кустов и слышал, как кашляют в ограде телята, стоящие по брюхо в размешанной грязи. Только я отлил картошку, поставил на шесток подсушить овощ, снаружи, в уличную дверь, постучали. Я подумал: поблазнилось. С того света еще рано вроде бы, а на этом кто может еще шевелиться, ходить, стучать?

— Петро-овиць! Эй, Петровиць, отворяй! — послышался голос бабы Анны, живущей через поляну против моего дома. Ворча и ругаясь на ходу, я спустился по лестнице к двери, откинул крючок и осветил фонариком со-

седку, шалашом накинувшую на себя холщовый мешок из-под картошки.

— Ой, Петровиць, цёрной целовек ходит вокруг телятника. Однако, к тебе. К нам кто придет?

Баба эта, Анна, из бедных — бедная, из покинутых — покинутая, из забытых — всеми забытая, выслуживается перед всеми, передо мной в первую голову. Я отдал ей из старой одежки кое-что, из продуктишек когда маслица отделю молосного, когда колбаски, мяса косточку, как-то бутылку льняного масла с базара привез, так она им чуть ли не всю зиму питалась. У Анны семеро кошек, она их кормит кожурой от картошки. «Мясо сами добывайте!» — говорит. Те выпластали в деревне и в округе всю мелкую птаху, у меня на подлавке и ласточку исхитрились поймать. Четыре ласточкиных дитенка в гнездышке сидят, грудками белеют, но, заметил я, не чивкают и не шевелятся, посмотрел ближе, а они, так вот, рядом сидючи, высохли уже. Без мамы всякому дитю смерть, и птичкам тоже. «Зачем тебе столько кошек-то?» — спрашиваю у Анны. — «А ни зацем и ни поце. От жителей уехавших поосталися. Гоню в лес, не уходят. Хи-иы-тру-щие! Нагуляюцца по весне, напоркаюцца и, как пора подойдет, в пустых избах спряцюцца, котят приташ-шат и растут их самостоятельно до тех пор, покуль они зрячие, хорошенькие сделяюцца. Глядишь, мама следует домой, а за нею строем маршируют такие баские котятюцки-ы. Ну, куда их денешь? Вот и накопились».

С жителями этой деревушки отношения мои сложились невдруг. Сперва еще магазинишко действовал, и кое-что, пусть бросовое, в него завозили. Я со всеми здоровался, мне приветливо отвечали. Потом один плоский фигурой, хромающий на обе ноги, но довольно еще свежий лицом старик с голубенькими глазами-дырочками, позвал меня к себе на чай и сказал, что у него целый хлебный ларь книг, так, может, мне которая интересна будет. В ларе том оказались книги большей частью бросовые, из серии убогой советской агитации и героического чтива, но в пыльной глуби ларя, хорошо спрятанные под двойной настил, обнаружили и старые, священного порядка книги и самое ценное, что я давно и безрезультатно искал — «История Государства Российского» Карамзина, изданная бесплатным приложением к дореволюционному журналу «Сельский вестник». Я отдал сколько-то рублей старику Лаврентию и зачастил на огонек — погу-

тарить и почувствовал охлаждение в отношениях ко мне селян, некоторые и не здороваются, отворачиваются при встрече. Я к Анне с вопросом, что я неладно сделал, где допустил промашку. Она поджала губы и, отчужденно отвернувшись, сказала:

— Поце ходишь к Лавре?

Я, естественно, спрашиваю, поце не должен к нему ходить, что он прокаженный какой.

— А коммунист он проклятой, человек нехорошай.

Оказалось, в молодости Лаврентий здешний шибко нашкодил, под окнами подслушивал, доносы писал, на собраниях врагов обличал и много стубил своих односельчан. У народа этого, с виду убогого, память еще крепкая. Перестал я ходить к Лавре, да и помер он вскорости, отношения мои в Сибле восстановились, со временем сделался я здесь своим человеком, а как телефон мне провели и необходимым, чуть у кого беда, несчастье какое, в ночь-полночь ко мне.

Я обулся в высокие сапоги, взял лопату, думая, что за черный человек на машине приехал, и, наказав Анне накрывать на стол, отправился в поиск, освещаясь впереди себя фонариком. Сворот с дороги к деревне давно уже так был разбит, разъезжен, что высокая галечная насыпь расползлась, утопилась в хлябях, возле и вокруг телятника превратившихся в озерины, подернутые ряской и по окраинам начавшие зарастать осокой, даже пук камыша вырос, и травяная ухоронка организовалась такая уютная, что в ней поселился чирок-трескунок, и ни собаки, ни кошки ни с какой стороны к нему подступиться не могли. Машины, а за ними по следу и трактор с тележкой, привозивший хлеб, начали прокладывать объездные пути. По когда-то действовавшим хлебным, льняным и клеверным полям, но и эти пути скоро превращались в грязные ухабы, в непролазную путаницу петель и загибов, обнаживших каменные межи, меж которых в скользкой глине был растерт, изжеван колесами бедный травяной покров. Только коню с телегою здесь было способно проехать, и колхоз, кажется, «Маяк» уже начинал обзаводиться лошадьми и приводить в порядок конюшни.

В путанице новопроложенных дорог и объездов за деревней я и встретил человека, который был и в самом деле черен от бороды, его обметавшей, от грязи, его облепившей, может, и от беспросветной ночи, истекающей непрерывным, проклятье нами заслуженное напоминаю-

шим дождем. Человек спросил мою фамилию и сказал, что он ко мне. Ну, ко мне так ко мне. Идем молча, я хоть маленько выбираю куда ступить, мой гость прет с отчаянием напропалую, неся на городских ботинках по пуду грязи на каждом. Возле дверей дома я велю ему разуться и поставить ботинки кверху подошвами под дождь. Он молча все это проделывает, и мы поднимаемся в избу.

— Здравствуйтесь, — поклонился он, войдя в кухню, дому поклонился, Анне, хлопочущей возле стола.

— Здравствуйтесь, здравствуйтесь! — в замешательстве ответила Анна и подалась в застолье, как бы заслоняясь от пришельца.

Выглядел он ужасно: мокрый, грязный с головы до пят, обляпанный ряской, значит, попадал в новообразованные озерины, где берега образует навоз в буйных зарослях крапивы, конопли и само собою возникшего хвоща, тальника, дном этих луж-озерин также является навоз. Как и выбрался наш гость из той коричневой топи? Анна, догадался я, тайком ходила на кухню телятника, чтобы из котла с варевом для телят зачерпнуть ковшиком своим прожорливым кошком, которые лопали у нее все, начиная с редиски, моркови, огурца и кончая телячьей запаркой. При этом оставались резвы, игровиты, склонные к постоянному волокитству.

Я увлек гостя в запечь, набросал ему туда все, что было в доме сухое, велел умыться в рукомойнике, прибитом в темном углу, а все мокрое забросить на печь и, когда он объявился в свете лампы, мрачно и смущенно улыбающийся, набросил ему на плечи оставшееся от внука байковое одеяльце.

— Спасибо! — глухо произнес он и представился, — я из Грузии. Неделю до вас добирался.

— Ну, а коли добрался, прошу за стол.

Анна пригубила из рюмочки, поклевала картошечек, помуслила пластик огурца и заторопилась, объявив, что кошки-разбойницы наповадились лазить на божницу, вцепятся когтями в полотенце и по нему, как канатоходцы, на угловик к иконам, «имя уж все нипоцем, они уж и Бога не бояцца, окояшшыя».

В маленьком и тощем рюкзачке, который мой гость нес, зажав удавку в руке, и который я впотьмах и не заметил, гость привез в керамическом кувшине с узким горлышком, огрызком кукурузы заткнутом, чачи, кусок копченого дикого мяса и почти не дающихся зубу лесных

груш. Он приехал выговориться, излить душу, и мы просидели с ним до самого утра — он спиной к челу жаром веющей русской печи, я, облокотившись на руку, за столом. Пили редко, но до дна, грузин обходился без тостов, мимолетно заявив, что они, эти приторные, глупые и претенциозные тосты, ему давно надоели, его уже от них тошнит.

Преподаватель Тбилисского университета, кандидат филологических наук, не купивший корочки, а честно защитившийся на ученую степень, уже намеченный в профессора, он вдруг поссорился с коллегами, сплошь взяточниками, пьяницами, бабниками, дети которых ведут барскую разгульную жизнь и озабочены лишь тем, чтобы найти на убогом родословном древе родство с каким-нибудь знатным дворянином, и почувствовать себя «киназом», да урвать через посредников-торгашей побольше денег с русских для пьяного куража и широкого разгула.

Имея четырех детей, он бросил университет и подался к отцу, в Кахетию, а Кахетия и есть истинная Грузия, с нее, да с древней Сванетии и начиналась та страна, что назвалась советской республикой совсем не по воле народа, ее населяющего, страна, стремительно вырождающаяся от безделья, пьянства, разврата, торгашества и непомерного, нигде еще не виданного чванства. «Как будет по-русскому «чванство»? — «Так и будет. Это наше слово, разящее слово, но на наших нынешних вождей оно уже не действует, потому как они тоже выкормыши чванливого грузина». — «Так, так, от него вся эта...» — он, щелкая пальцами, нетерпеливо искал слово. «Порча», — подсказал я. «Так. Точно. Порча. Лучше не скажешь». — «Увы, дорогой гость, нашей порче тыща лет, грузин-вождь ведь недаром обожал самого куражливого, самого чванливого и жестокого царя Ивана Грозного, но и до Ивана у нас были порченные, психи, дураки, самоеды, а вот умные, деловые, не себя только, но и народ уважающие и жалеющие правители встречались редко. Очень. На одной руке хватит пальцев, чтоб таковых перечесть. Но их или во младенчестве задушили, либо в казематах, и монашеских кельях, и в скитах сгноили, либо табуреткой зашибли».

Мой гость, назову его Х... по начальной букве фамилии — потому как и поныне не уверен, что его детей и жену не достанут, не затравят, не уморят голодом, попробовал жить охотой, — отец у него охотник, но уже хватил

он цивилизованной жизни, дети и жена выросли в раздрызганную городскую жизнь, да и добычу, дикое мясо, некуда сдать-продать: грузины толкуются на рынках, едят поросят, кур и тыкву, интеллигентно себя понимающие богатые кацо летуют и зимуют в престижных правительственных санаториях, либо объедают дома творчества и всякие прочие хитрые заведения — работать никто не желает, но отдыхать от работы и глумиться над русскими, которые их кормят, всегда пожалуйста. Чтобы не возвращаться в университет, не видеть «этой наглые рожи», решил он заняться переводческой деятельностью и для начала перевести и издать на грузинском языке сборник моих рассказов, но для этого надо ему вникнуть в необъятный и сложный русский язык. Он нашел на карте, где я живу, и решил, что уж вот здесь-то, на самом краю России, и ведется он, настоящий русский язык. Он заехал в Вологду, побывал в Союзе писателей, ему объяснили, как до меня добраться. Сойдя на станции с электрички, он не стал дожидаться в вокзале, когда пройдет дождь, понял, что пройдет он не скоро, вот и двинулся в ночь по бездорожью, и Господь не дал ему заблудиться в глухой России, вывел на верный путь, надеется он, что и впредь Всемилостивейший не оставит его...

Мы с гостем проснулись ополдень, и, хотя за окном шуршало, по стеклам текло и наволочь за окнами была, как и в прежние дни, непроглядной, я по каким-то невидимым и почти неуловимым признакам — по миротворному ли, совсем сонному журчанию дождя на крыше, по разрывам ли дождевых струй и слабым промелям света в окне, по реву ли кошек, снова пробравшихся на мою подлавку и поднявших там драку с кошками из других домов, по матерщине ли очнувшегося пастуха, выгоняющего телят из грязи, — уловил, почувствовал, что дождь на исходе, иссыкает он, и сказал об этом гостю.

— Может, я привез из Грузии хорошую погоду? Хоть какая-то от нас польза, — грустно улыбнулся мой гость, и я пошел показывать ему удобства. Дом и надворные постройки были у меня по северному обычаю сведены под единую крышу, и в дальнем конце подлавки-сеновала удобно устроен туалет, внизу, под сеновалом, где раньше стоял скот, оборудовали гараж, но по такой погоде к избе моей и к гаражу тоже было не проехать на легковом автомобиле, и я добрался сюда на перекладных.

День мы прожили вяло и лениво. Гость побрился и

оказался довольно красивым, еще молодым человеком с печальными орехового цвета глазами. Он похвалил простые удобства моей русской усадьбы, полистал несвежие журналы и газеты, снова долго и молча сидел возле топящейся печки, а к вечеру, когда из серых, все еще лохматых оческов туч проглянула далекая жидкая синева, а за нею и виновато моргающее солнце, гость мой попросился погулять по деревушке.

Его не было долго. Я надел сапоги и куртку, вышел на спуск к реке и увидел темную, в плаще длинно вытянутую фигуру. Он стоял возле руин покинутой избы, на рассыпавшихся остатках кирпичей и смотрел на прорезающиеся блеклые дали, на реку Кубену, выпешшую из берегов и дуром, ошалело катящую мутную воду куда-то вперед и дальше. По затопленным луговинам, из которых торчали иглы осоки, головки череды, плавали, смутно белея исполосканными головками, белые ромашки, упрямые шишки кровохлебки багровели празднично, ходили, но больше стояли по колени в воде и о чем-то горестно думали коровы, ненасытные овцы уже стригли, жадно выедали с посвежевших косогоров траву, и кони как припали губами к обсыхающей на скатах луговине, так и не поднимали головы.

— Бедная, бедная Россия, — вздохнул мой гость и по-нуру побрел домой, — бедный, бедный народ. За что его так?

— С Богом он не в ладу. За озверелыми безбожниками-коммунистами погнался к счастливой жизни.

— И рябой грузын впереди.

У меня кем-то из московских залетных приятелей было оставлено и так более никогда не востребовано одноствольное ружье, и, когда подсохло, спала вода в Кубене, но еще не настолько, чтобы можно было рыбачить, мы переплыли с гостем в моей лодке на другую сторону реки, где села сплошь были брошены, никто не тревожил леса и в них велась еще дичь, не отравленная покамест старательными химиками, потому что земли здесь совсем некому стало обрабатывать, и углубились по старой травяной дороге в лес. Гость не соврал, охотничьи навыки его были явными, стрелял он хорошо и выбил влет из моей двустволки на заброшенном покосе тетерку и косача, затем подбил с дороги тяжело поднимающегося глухаря, свалившегося в еловые крепи, и по тому, как долго и упорно искал птицу и нашел-таки мой гость, я убедился, что

он с детства охотник. Я подманил манком и взял трех рябчиков. Они, компанейские ребята, наскучались за непогожие дни и шли на пищик охотно.

«Довольно!» — сказали мы почти одновременно и вернулись домой. Я занялся рукописью, а Х... тербил, опаливал в печи и умело потрошил птицу. Прожил он у меня неделю, и все это время мы питались дичиной. Потом я снарядил гостя в дорогу, проводил за телятник, к дороге на станцию, надеясь поймать попутную машину, гость мой все поглядывал с насыпи дороги на рассыпанную, ряд утратившую деревушку Сиблу, на заречные пестреющие леса и безглазые деревушки по склонам реки и все повторял пляшущими губами:

— Боже! Боже, чем провинилась эта земля? Она-то, она-то в чем виновата. — И не раз повторил: — А все, что вы мне сказали про спесивую мою Грузыю, непременно напишите, непременно. Русские, в первую очередь писатели, почему-то всегда заискивали и заискивают перед грузинами. Это унижает и грузин, и самих русских. Уж коли объявили себя братьями, так и надо держаться по-братски, на равных. И не только в пьяном застолье, в будничных тостах.

Через три года он прислал мне книгу моих рассказов, им переведенных. Издал и прислал, несмотря на то, что в это время широким валом катилась по стране травля меня за рассказ «Ловля пескарей в Грузии», и я был объявлен вечным врагом грузинского народа. Но о травле и шумихе, недостойной людей, называющих себя просвещенными, да еще и интеллигентами. «Мы уже читали Евангелие, когда вы еще по лесам в шукурах бродили», — написал мне один разгневанный грузин, называющий себя ученым, но и Евангелие, и ученость, и спесь не помогли: скоро, скоро наступит время доказать свою жизнеспособность, станет надобно самим кормиться, воевать, строить, жить свободно, доказывать не на словах и в застолье ученость свою и культуру. И тут обнаружится...

Но об этом после, а пока что рассказ, целиком, без кастраций. Хватит шапку ломать, хватит заискивать, выслуживаться перед «братьями дружеских земель и республик». Следует быть достойным выслушать и прочесть правду о себе любому человеку, всякому народу.

Было время, когда я ездил с женою и без нее в писательские дома творчества и всякий раз, как бы нечаянно, попадал в худшую комнату, на худшее, проходное место в столовой. Все вроде бы делалось нечаянно, но так, чтобы я себя чувствовал неполноценным, второстепенным человеком, тогда как плешивый одесский мыслитель, боксер, любимец женщин, друг всех талантливых мужчин, почти Герой Советского Союза — в любом доме, но в особенности в модном, был нештатным распорядителем, законодателем морали, громко, непрекословно внушавший всем, что сочиненное им, снятое в кино, поставленное на театре — он подчеркнуто это выделял — на театре! а не в театре — создания ума недюжинного, таланта исключительного, и если перебивал или входил в раж — хвастливо называл себя гением.

Когда в очередной раз меня поселили в комнате номер тринадцать, в конце темного сырого коридора, против нужника, возле которого маялись дни и ночи от заповров витии времен Каменского, Бурлюка, Маяковского, имеющие неизгладимый след в литературе, но выжитые из дому в казенное заведение неблагоприятными детьми, Витя Конецкий, моряк, литератор, человек столь же ехидный, сколь и умный, заметил, что каждому русскому писателю надобно пожить против творческого сортира, чтобы он точно знал свое место в литературе.

В последний мой приезд в творческий дом располневшая на казенных харчах, неряшливая еврейка, в треснувших в промежности джинсах, навесила, почти погрузила кобылий зад в мою тарелку с жидкими ржавыми щами, громко разговаривая про Шопенгауэра, Джойса и Кафку с известным кинокритиком, называя его Колей, и все чего-то елозила этим задом, таранила стол. Я начал закипать — жена взяла меня за руку и увела от скандала. Как и всякий русский провинциал, упорно надеющийся пронять современное общество покладистостью характера, смиренным неприхотливого нрава, перестал я утруждать собою дома творчества, решив придерживаться отечественной морали: «Хорошо на Дону, да не как на дому».

Но то, о чем я хочу поведать, произошло в ту наивную пору, когда я еще не терял надежды усостыжить литфондовских деятелей, думал: хоть однажды они ошибутся да и расположат меня по-человечески.

Нет, ни разу не ошиблись!

Забалованный лестью, истерзанный гениями и истерическими писательскими женами, директор Дома творчества, который, не будь Литфонда, разбивал бы в горах и на больших дорогах, поместил нас с женою в комнате с видом на железную дорогу, в корпус, где жили родственники писателей, какие-то пьющие и поющие кавказцы, начальник похоронного бюро Союза писателей, разряженный под Хемингуэя, и другие важные деятели творческих организаций. На солнечном Кавказе нас с женою так ловко и в такую дыру законопатили, что солнца, как в зимнем Заполярье, совсем было не видно, разве что на закате — чтоб мы его вовсе не забыли; вождеденное море располагалось под другими окнами, возле других корпусов.

С тех пор, вот уж лет тридцать, живу и работаю я по русским деревням, не потребляю более в домах Литфонда бесплатную капусту, свеклу и морковку, способствующую пищеварению и развитию умственности.

Так вот, когда я отбывал «срок» в комнатке окнами отнюдь не на утреннюю, свежестью веющую зарю и не на море, внизу, в вестибюле административного корпуса, поднялся скандал. Я подумал, что явился очередной гений и требует апартаментов согласно своему таланту. Каково же было мое изумление, когда я увидел внизу двух разгневанных людей кавказского происхождения: один — директор Дома творчества, в другом я узнал своего сотоварища по Высшим литературным курсам — свана Отара. Человек с тяжеловатым лицом, со сросшимися на переносице дремучими бровями, молчаливый, почти непьющий, но всегда всех угощающий, он единственный из всех курсантов носил галстук зимою и летом, в непогоду и в московскую пыльную жару, всегда был вежлив и раз, единственный раз, сорвался, показав взрывную силу духа и мощь характера сына кавказских гор.

В нашей группе учился армянин, выросший в Греции. Возвратившись в отчий край, он считал, что, коли был приобщен к культуре древней Эллады, стало быть, может поучать людей круглосуточно, и занимал собою большую часть времени, выступая в классе по вопросам философии, искусства, экономики, соцреализма, русского языка, европейской культуры. В это время курсанты занимались кто чем, большей частью рисовали в блокнотах головки и ножки девочек, читали газеты. Алеша Карпюк, тоже говорун беспробудный, листал польские журналы с

полуприличными карикатурами; сидевший от меня по левую руку азербайджанец Ибрагимов — писал стихи, справа налево, упоенно начитывая их себе под нос. Были и те, что играли в перышки, в спички, писали короткие, информационного характера письма домой и пылкие, порою в стихах — своим новым московским возлюбленным. Но большей частью курсанты дремали, напрочь отключившись от умственных наук и от голоса оратора, аудитория нет-нет да и оглашалась храпом, тут же испуганно обрывающимся.

И один, только один человек, как оказалось, в классе внимал пришельцу из Эллады и, внимая, накалялся, в сердце его накапливался взрыв протеста. В середине урока философии, совсем уж черный от тяжелого гнева, Отар громко захлопал партою, с вызовом взял стопку книг под мышку, высокий, надменный, дымящийся смоляным дымом, отправился из аудитории, громко, опять же с вызовом, топая башмаками.

Народ проснулся, оратор смолк. Преподаватель философии, добрейшая женщина, обиженно заморгала:

— Ну, товарищи! Ну, я понимаю... может, я недостаточно глубоко освещаю вопросы философии, но я — преподаватель... я, наконец, женщина. Если вы заболели или что, так спросите разрешения...

— Извините! — мрачно уронил Отар и, вернувшись на середину класса, тыкал пальцем в пол, не в состоянии чего-либо молвить дальше, глаза его острой сталью сверкали из разом обросшего бородою лица. — Я приехал... Я приехал... — наконец вырвалось из стесненной груди. — Я приехал Москву из радной, далекой Грузии слушат профессор, слушат академик, слушат преподаватэл, но не этот... — далее последовали непередаваемые слова.

Отар грохнул дверью и удалился.

Слушатели Высших литературных курсов упали под парты. Певец Эллады пытался что-то сказать, но так как был, кроме всего прочего, еще и зайкой, сказать ему ничего не удавалось.

Какое-то время он на занятиях не появлялся — болел или ходил в проректорат жаловаться на национальный выпад. Отар, еще более смурной, но прибранный, сидел непоколебимо за партией и реденько сгибался, чтобы занести в блокнот глубокие мысли и умные высказывания преподавателей.

И вот этот самый Отар, собрат по курсам, с руками в

оттопыренных карманах смятых брюк, со спущенным почти до пула галстуком, обнажившим волосатую грудь, со шляпою набекрень, с сигаркою в зубах, пер на директора Дома творчества грудью. А тот, привыкший, чтоб с него пушинки снимали, пер на Отара брюхом и все орал, брызгая слюной. Они уже брались за грудки, когда я вклинился меж ними, растолкал их, Отар — гордый сын высоких заснеженных гор, — начал орать на меня:

— Ты зачѐм здѐс живешь?! Зачѐм? Ты зачѐм не убьешь этого дурака? Зачѐм? Тебе мало моего дома? Мало тѐсят комнат! Я построю тебе одынадцат. Я помешшу тебя, свой учитель! Луччий санаторий Цхалтубо! Тебе не надо Цхалтубо? Надо этот поганый бардак?... Знакомься, мой брат Шалва, — показал он на скромно стоявшего в отдалении молодого человека. — А это моя жена, — махнул он на женщину, одетую в темное, в еще большем отдалении стоявшую, совершенно бледную от испуга. — Я приехал за тобой. Хочу, чтоб ты увидел Грузыя не в кино, грузын не на базаре...

Я поскорее повел, да что повел, потащил гостей вверх по лестнице, в свое «помещение». На ходу затягивая галстук, отыскивая, куда бы бросить окурок, Отар оглянулся и погрозил пальцем директору, которого тут же окружили щебечущие дамочки, одна из них вытряхивала валидол на ладонь. Но директор, все еще трясясь от гнева, капризно отстранял руку благодетельницы.

— Мы еще встрѣтимся с тобой, образина! — крикнул Отар сверху. Не зря он два года вкушал московский хлеб, толкался среди русских — какое точное, разящее слово почерпнул из кладезя нашего великого языка.

— У тебя, конечно, нечего выпыт? — войдя в нашу комнату и упавши в кресло с протертой творческими задами грязной обшивкой, произнес Отар и, не дожидаясь моего ответа, приказал, — Шалва!

У меня было, как я считал, хорошее грузинское вино — «Псоу».

— Это сака, ее пьют курортники! — небрежно отмахнулся гость от моего угощения.

Было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барствениности? Или на курсах он был один, а в Грузии другой, похожий на того всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный занозистый сучок на древе человеческом, торчит он по всем российским базарам,

вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России уничижительно зовут «копеечная душа», везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немых рук залоснившись, везде он швыряет деньги, но дома усчитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет от роду, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек, всунутого в джинсы с расставленным поясом.

Запыхавшийся Шалва приволок две корзины, и, молчаливо сидевшая, опять же в отдалении, жена Отара тенью заскользила по комнате, накрывая на облезлый хромой стол, испятнанный селедками, заляпанный бормотухой, съедающей любой лак, любую краску. Для приличности мы его прикрыли курортной газетой.

В несезонное время дома творчества писателей отдаются летчикам, шахтерам, машиностроителям, и они тут веселят сами себя чем могут, потому как нет в писательских заведениях ни массовика-затейника, ни радио в комнатах, ни громких игр, ни танцев, ни песен. Кино, да и то старое, бильярд с обязательно располосованным сукном, библиотека, словно в богадельне, с блеклой, вроде бы тоже из богадельни выписанной библиотекаршей, у которой всегда болеет ребенок и по этой причине она выдает и собирает книжки очень редко.

За столом, заваленным разной зеленью, была зелень даже чернильного цвета, которую наш брат и не знает, как и с чем едят. Выяснилось, что столкновение Отара с директором произошло как раз из-за раздрызганного внешнего вида моего гостя. Увидев Отара, директор Дома творчества индюком налетел на него:

— Вам тут не притон!

— В притоне приличней!

Я сказал Отару, что ему, отцу четверых детей, уроженцу Сванетии, жителю сельской местности, не пристало держать себя развязно и что на сей раз начальник этого хитрого заведения прав, одернув его, но орать и за грудки браться не надобно бы ни тому, ни другому.

— Вот сядем в машину, поедem по асфальту, потом

сельскими дорогами, под нашим бодрым грузинским солнцем — распояшешься и ты, — мрачно заверил меня Отар.

* * *

Через пару часов мы уже катили в сторону Сухуми и дальше. За рулем сидел и ловко, но без ухарства и удали, вел машину Шалва — помнил он частые могилы по обочинам дорог, где нашли последний приют подгулявшие «мальчики», гоняющие машины на пределе всех скоростей, и обязательно в гуще движения.

Отар, взявшийся показывать нам путь и рассказывать обо всем, что мы увидим, упорно молчал, пока мы мчались по курортному побережью, и только в Зугдиди, резко выбросив недокуренную сигарку в приоткрытое окно, произнес:

— Вот самый богатый город Грузии. Здесь можно купить машину, лекарство, самолет, автомат Калашникова, золотые зубы, памятник геноциду в кепке, диплом отличника русской школы и Московского университета, не знающего ни слова по-русски, да и по-грузински тоже. Здесь нет пока в продаже атомной бомбы, но, думаю, скоро будет...

Ввиду столь бурного вторжения в Дом творчества моего сокурсника, быстрых сборов и стремительного отъезда я не успел сказать, что бывал уже в Зугдиди, и в глубь Грузии бывал, и пусть зрительно, мимоходом знал уже ее.

В селении Гульрипши, на окраине Сухуми, обретался мой давний широкодушный приятель. Он работал на Севере, в Салехарде, сотрудником местной газеты, его жена, уроженка теплых кубанских земель, изнемогла, устала от Севера, постоянно болела простудными болезнями, а подходила ей пора рожать второго ребенка, и вот рискованные люди рванули на самый что ни на есть теплый юг, с капиталами, заработанными «на северах», коих, думалось им, хватит не только купить тут уголок, но прожить какое-то время безбедно.

Еще работая в салехардской газете, приятель мой, кстати, сибиряк по рождению, омич, пописывал и в центральные газеты «Водный транспорт», «Известия», — где его обнадежили, что, мол, со временем в штат возьмут. Прожженные лодыри и пьяницы из сухумской газеты обрадовались явлению с севера пишущего человека, стали да-

вать ему редакционные поручения, и однажды он попал в Гульрипши, в совхоз имени какого-то вождя иль партсъезда. В совхозе издавалась многотиражка, и в ней освободилось место, приятеля моего взяли в штат и дали ему комнатку в совхозном общежитии. Человек добросовестный, талантливый, приятель мой, еще только собираясь на Черноморье, начал учить грузинский язык и к той поре, как нам встретиться, знал его уже довольно сносно, мог общаться с местным населением, что газетчику было совершенно необходимо. В Гульрипши отыскал новоприезжего жителя местный журналист-пройдоха, собственный корреспондент журнала «Крокодил», которого грузины, да и абхазцы, да и армяне боялись, как испепеляющего огня. Журналист русского издания, не умеющий писать по-русски, я поименовал его на украинский манер — Убивайло, нанял моего приятеля в батраки за гонорар из «Крокодила», который богатенький, от взяток раздобревший работодатчик и деньгами не считал. Он позволял «новому другу» бывать у себя дома с семьей, где шли постоянные приемы важных гостей, нужного начальства, обещал выхлопотать квартиру в Сухуми, вытащить из многотиражки в собкоры центральной или на худой конец сухумской курортной газеты.

К той поре, как нам встретиться в Гульрипши, приятель мой понял, что Убивайло крутит динаму, ничего он не выхлопочет, никуда его не пристроит и нужен он пройдохе именно пишущим батраком, на веревочке в убогой многотиражке привязанным. Побывал и я на приеме в доме Убивайло, приятель уговорил, полезно, мол, посмотреть грузинскую комедию, и я немало повеселился. Среди знатных гостей были два польских проходимца, муж с женой, чего-то в России и на юге снимающие для какого-то журнала. А в общем-то обыкновенные спекулянты, сбывающие золотишко, серебро и тряпки, обратно же везущие богатый антиквариат, эти всем уже надоевшие железные чеканки и прочее барахло. Хозяину они представились французами, он млея от важности, говорил цветистые тосты, заставил какого-то местного газетчика иль судьбу запевать, и две тюремного вида личности, подававшие на стол, ладно ему подтянули.

«Это не комедия, это прелюдия к ней, — заверил меня приятель, — главная комедия впереди, послезавтра мы поедем в Зугдиди».

Зугдиди, как принято нынче говорить, стоял на ушах. Какие-то упитанные люди встретили нас на окраине города и, схватясь за ручки «Волги», прытко бежали рядом с нею, пока машина не остановилась. Из машины вышел утомленный Убивайло и начал заправлять рубашу в штаны, натягивать подтяжки, надевать пиджак. «О-о», — всплеснули руками встречающие и принялись обнимать, по-женски страстно целовать высокого гостя. Он величественно отвечал на приветствия, косился в нашу сторону — видим ли мы, как его почитают и встречают. Кажется, весь ухоженный городок Зугдиди сбился с ног, суетясь вокруг Убивайло, я догадался: тут много воруют и боятся быть пойманными многие.

Для начала, до того как начнется обед, нам показывали местный довольно богатый музей, где мне более всего запомнился уголок Наполеона, да-да, того самого мусью, которого русские умыли в 1812 году и домой без почестей проводили. Наполеон вроде бы состоял в родстве с великими грузинскими князьями Гантиади. И с кем только не состоял в родстве этот авантюрист! В Зугдиди набралась целая комната вещей, бумаг, безделушек, имеющих отношение к воинственному императору. Запомнился более других портрет императора, еще молодого, но уже с печатью трагедии на пухлом лице. В зале живописи висела огромная, густо писанная картина с изображенными на ней сражающимися вепрями. Нежный тихий мальчик, сын моего приятеля, сказал:

— Папа с мамой дерутся! — чем рассмешил до слез всех гостей, посетителей, и потом, за столом, среди других велеречивых, многословных тостов было оценено остроумие мальчика и, по-моему, сказан единственный искренний тост — во здравие его.

Приятель мой, уже собкоривший в центральной газете, был задирист и мрачен, попросил принести первый том нового издания «Большой Советской Энциклопедии». Не спрашивая, зачем она ему, хозяева тут же отослали машину в городскую библиотеку, и энциклопедия была немедленно доставлена.

— Вот здесь, в этой книге, — поднял мой приятель черный увесистый том энциклопедии, — есть статья и о моем сегодняшнем русском госте, — неожиданно для меня заявил он. — А такой чести удостоиваются очень редкие люди. Во всяком разе из здесь сидящих никто в эту книгу

не попал. Так выпьем за моего почтенного и достославного русского друга...

Я вспомнил, что среди писем, гранок и версток вычитывал маленькую гранку на зеркальной бумаге для какого-то непонятного издательства, но куда, зачем эта заметка нужна, по безалаберности и занятости своей не поинтересовался и забыл о ней. И вот передо мной энциклопедия! Большая! И моя фамилия, имя и отчество в ней. Я таращусь на заметку зрячим глазом, как баран на новые ворота, мне и смешно, и боязно — это куда же, в какое сообщество занесло чалдона из безграмотной крестьянской семьи, из далекого таежного села?!

— Сейчас крупные деятели Зугдиди начнут донимать тебя вопросом: «Сколько это стоит?» — ехидно заметил приятель и прикрыл рот ладонью, увидев, как раскрасневшийся лысый деятель местного масштаба, елеин улыбаясь, направляется ко мне с наполненным фужером. Он и вправду спросил на ушко: «Сколько стоит попасть в этот книга?» А я, разозлясь, громко сказал самую доступную моему воображению сумму.

— Десять тысяч!

— Ка-какой пустяк! — откликнулось застолье. И тогда я поверил, что атомную бомбу здесь тоже скоро можно будет купить.

* * *

Отар еще больше помрачнел. Мы были уже за перевалом, верстах в ста от моря. Ехали трудно и медленно по пыльной и ухабистой дороге с неряшливо и скупко засыпанными гравием ямами, колеями, выбитыми колхозными тракторами и машинами до глубины военных траншей, ну прямо как на нашем богоспасаемом Севере, а по берегу-то моря все вылизано, почищено, прикатано, приглажено, музыка играет, девочки гуляют, цветы цветут, джигиты пляшут, птички поют...

По обе стороны дороги трепались остатные лохмотья кукурузы, табака и оципанных роз, кое-где поля реденько загораживало деревцами, мохнатыми от пыли и инвалидно сниклыми. Глупая, веселая мордаха стихийно и не ко времени выросшего подсолнуха-самосевки, нечаянно затесавшегося в чужую компанию, реденько радовала глаз. Набегающие на нас селения жили размеренной, несуетной жизнью. Сельские дома, строенные все больше из

ракушечника и серого камня, были велики по сравнению с нашими, много на них было каких-то надстроек, террас, веранд, подпорок, а вот окон меньше, чем в российских домах, где солнце ждут и ловят со всех сторон, здесь же порой спасаются глухими стенами от зноя и слепящего света. Возле домов ворошились и сидели в пыли куры, злобно дергали головами и болтали блеклыми, вислыми гребнями и подбородками, напоминающими порченное сырое мясо, индюки. Шлялись по улицам волосатые, толстые свиньи с угольниками на шее, да выдергивали из заборных колючек какую-то съедобную растительность костлявые коровы, со свалывшейся на спинах шерстью и с вымечком в детский кулачок. Собаки-овчарки в исправительно-трудовых колониях нашей местности куда крупнее, статней и сытей грузинских коров.

Две-три магнолии средь селения; старая чинара с пустой серединой и вытоптаннами наружу костлявыми кореньями; выводок тополей возле конторы и магазина с распахнутыми дверями; низкорослые, плохо ухоженные садики за низкими каменными оградами, ощетинившимся ежевичником, затянутым ползучим вьюнком, вымучившим две-три воронки цветков; кусты с обугленно-черными плодами гранатов, треснутыми в завязи, похожими на обнаженные цинготные десны; усталые мальвы под окнами; колодец с серым срубом за домами; никлый дымок из каменного очажка, сложенного средь двора; зеленой свежестью радующие глаз ровные грядки чая по склонам гор; желтые плешины полуубранных редких хлебных полей или ячменя, какое-то просо или другое растение, из которого делают и везут к нам веники; древнее дерево, может, дуб, может, клен, может, бук, а может, реликтовое, со времен ледников оставшееся растение, облаком означившееся на холме и быстро надвигающееся на нас. Голуби, стайками порхающие по полям; меланхоличный хищник, плавающий в высоте, обесцвеченной до блеклости ослепительным солнцем.

Тихая, потрудившаяся, усталая от зноя и безводья, пустынная земля, еще не спашанная плугом, не испарпанная бороной и не избитая мотыгой, миротворно отдыхала от людей и машин.

Ручьи, реки остались в горах и предгорьях, ручьи с намоиными, отлогими косами, говорливые, даже яростные — в горах, в ущельях, с необузданно-нравными гривами пены — они много спасали и питали возле себя по

холмам и низинам всякой растительности, садовой и огородной роскоши, среди которой пышными золотистыми шапками цвело неведомое мне и невиданное растение.

— Амэриканский подарок! — во второй раз разжал рот Отар, услышав мои восторги насчет цветка, выкинул сигарету и, тут же закурив другую, снизошел до пояснения.

В сорок четвертом году в предгорьях формировался или пополнялся после героического рейда кавалерийский корпус. В Батуми поступал овес из Америки — для военных лошадей, и вместе с овсом прибыло вот это растение. Сначала на него никто не обращал внимания, потом им любовались и тащили по садам, потом, когда он, как и полагается янки, захмелел, задурел на чужой, на кавказской стороне, начал поражать собою лучшие земли, сжирать поля, чайные и табачные плантации, сады и огороды, — спохватились, давай с ним бороться, поздно, как всегда, спохватились — заокеанский паразит не дает себя истребить, плодится, щупальцами своими, которые изруби на куски — и кусочки все равно отрастут, ползет во тьме земли, куда растению хочется. Крутлый год трясет веселыми кудрями, качает золотистой головой, пуская цветную пыль и ядовитые лепестки по вольному приморскому ветру, по благодатной земле, клочок которой тут войсти-ну дороже золота.

И-на, подарок! То цветочек с овсом, то колорадский жучок с картошкой, то кариоз на пчел, то сифилис и трипер на солдат, то кинокартиночку с голыми бабами-вампирами, то наклейка на фирменные штаны переучившемся волосатому полудурку с надписью отдельного батальона, спалившего живьем детей в Согми, — буржуи ничего нам даром не дают.

* * *

А по Грузии катил праздник. Был день выборов в Верховный Совет, и по всем дорогам, приплясывая, шли, пели, веселились грузины, совсем не такие, каких я привык видеть на базарах, в домах творчества или в дорогих пивнушках и столичных гостиницах.

— Вот, смотри! — облегченно вздохнув, махнул мне на дорогу Отар и, откинувшись на спинку сиденья, как бы задремал, давши простор моему глазу. — Смотри на этот Грузыя, на этот грузын. Народ по рукам надо знать,

которые держат мотыгу, а не по тем, что хватают рубли на рынок. Тут есть геноцвале, которые с гор спускаются на рынок, чтоб с народом повидаться — два-три пучка зелени положит перед носом — чтоб видно было, не напрасно шел. Ц-ц-элый дэн просидит, выпит маленько з друззам, поговорит, поспит на зелэн свою лицом, потом бросит ее козам и отправится за тридцать километров обратно и ц-цэлый год будет вспоминать, как он хорошо провел время в городе...

Более Отар ничего не говорил до самой ночи, до остановки возле горного ключа, обложенного диким, обомшелым камнем, с полустертыми надписями на нем и стаканом на каменном гладком припечке. И потом, когда мы уже в полной и плотной южной темноте одолевали километр за километром, селение за селением — всюду, как бы отдавая дань священному роднику, останавливались отведать чистой, из земной тверди сочащейся воды.

Кажется, именно тогда, у прибранных родников, с чужими, но всякому сердцу близкими надписями — на родниках не пишут плохих, бранных слов, не блудословят, не кощунствуют, излагая корявые мысли казенными стихами, как это случается порой на святом и скорбном месте, называемом могилой, даже братской, именно тогда, у родников, проникла в мое сердце почтительность к тому, что зовется древним уважительным словом — влага. Живая влага, живой плод, живые цветы — не они ли, напоив живительной силой, остановили человеческое внимание на себе, заставили существо на двух ногах залюбоваться собой и освободить место в голове и в сердце для благоговейных чувств, затем и мыслей. К дикому зову самца к самке живым током крови прилило чувство нежности, умиряющей необузданную страсть, и еще до появления огня, все и всех согревающего, но в то же время все и всех сжигающего, вселилось в человека то, что потом названо было любовью, что облагородило и окрасило его разум и чудовищный огонь превратило в семейный очаг, горящий теплым золотоцветом, ныне, правда, едва уже тлеющий.

И грустное, горькое недоумение охватило меня и охватывало потом у каждого ухоженного кавказского родника — на моей родине, возле моего села родники давно умолкли, возле одного еще сохранился лоточек, но родник стих. Последний родник на окраине моего родного села был придушен лесхозовским трактором, мимоходом,

гусеницей заткнувшим его желтый, песчаный, словно у птенца, доверчиво открытый рот.

Так немилое лишнее дитя прикидывала в старину по глухим российским местам подушкой и задушивала — из-за нужды, из-за блуда ли и боязни позора — родившая его мать.

Наверху, на утесах, под видом окультуривания леса, обрубили, оголили камень, издырявили бурами все вокруг, отыскивая дешевую, быстродоступную нефть или другие необходимые в хозяйстве металлы, минералы, руды. Уж и не поймешь, не разберешь, кто, чего и зачем ищет, рыскающая по Сибири. Но все при этом бурят, рубят, жгут, рвут, уродуют гусеницами, утюжат бульдозерами, пластают ножами скреперов и многорядных плугов кожу земли, крошат в щепу лес, делая на месте тайги пустоши, полыхающие пожарами даже весенней и осенней порою, бесстыдно заголяют пестренький летом, зимою белый подол тундры; используют горные речки вместо лесовозных дорог и, разгромив, растерзав их, бросают в хламе, в побоях, в синяках, в ссадинах, будто арестантской бандой изнасилованную девушку, тут же поседевшую, превратившуюся в оглохшую, некрасивую, дряхлую старуху, всеми с презрением оставленную, никому ненужную, забытую.

* * *

В селение Гвиштиби, под Цхалгубо, мы приехали на рассвете и проспали до обеда в просторном и прохладном доме, погруженном в тишину, хотя было в нем четверо детей да еще мать Отара, жена, брат и сам Отар. Принадлежа к безмолвной расе, мать, жена и девочка Манана во время завтрака за стол не садились, заспинные хоуи, они теньями скользили вокруг стола, незаметно меняли тарелки, подтирали стол, наливали вино.

Я сказал Отару, что он все-таки писатель, в Москве учился, что не все кавказские обычаи, наверное, так уж и хороши, как ему кажется, особенно это заметно сейчас, на исходе разнузданного двадцатого века.

Во время обеда женщины оказались за столом, но они были так скованы, так угодливо улыбкивы, так мало и пугливо ели и так спешили, пользуясь любым предлогом выскользнуть из-за стола, что я, на себе испытавший, как ково быть впервые за «чужим» столом, когда из подзаборников превратился в детдомовца и прятал руки, пор-

ченные чесоткой, под клеенкой, боясь подавиться под десятками пристальных, любопытных глаз, более не настаивал на присутствии женщин за общим столом. Они с облегчением оставили нашу компанию и мимоходом, мимоходом, тоже «незаметно», питались тем, что оставалось от мужчин.

Мы побывали в гостях у очень приветливого, начитанного и серьезного человека — сельского учителя Отара, бывшего уже на пенсии и жившего в соседнем селе. Там я, чтобы поддержать вселюдную молву о стойкости и кондовости сибирского характера, выпил из серебряного рога такую дозу домашнего вина, что два дня лежал в верхней комнате дома, слушая радио, музыку, читал книги и по причине пагубной привычки своего народа не попал на стоянку динозавров, которую охранял дивный человек и ученый по фамилии Чебукиани, не попал также в гости к родственникам Отара, не ходил по многочисленным его друзьям и накопил силы для поездки к святому и древнему месту, в монастырь Гелати, затем в Тквибули, к дяде Васе, который завалил Отара телеграммами, осаждал звонками, угрожая, что, если он, Отар, и на этот раз не побывает с русским почтенным гостем у него, у дяди Васи, тогда все, тогда неизвестно, что будет, может, он, дядя Вася, и помрет от горя и обиды.

Дядя Вася приходился как будто родней Отару или старым другом. Дочь дяди Васи была замужем за Георгием, который вместе с Шалвой служил в армии на Урале, сам дядя Вася работал когда-то в типографии наборщиком, где печаталась первая книжка Отара; жена ли Отара была его племянницей, одно ли из дитяток Отара было крестником дяди Васи или что-то их еще связывало и родило, — я совсем запутался. Чтобы разобраться в грузинских друзьях и родичах, надо самому побыть грузином, иначе надсадишься, заблудишься в этой кавказской тайге. Иди уж без сопротивления, куда велят, едь, куда везут, делай, что скажут, ешь и пей, чего подадут.

* * *

Мы ехали долго по уже богатой, даже чуть надменной земле, где реже попадались путники с тяжелыми мотыгами, в выгоревшей до пепельной серости черной одежде, реже видели согбенные женские спины на чайных плантациях, дремлющих на ходу, облезлых от работы осликов,

запряженных в повозку с непомерно огромными, почти мельничными колесами, меж которых дремал, опустив седые усы и концы матерчатой повязки на голове, давно небритый геноцвале, пробуждающийся, однако, на мгновение для того, чтобы поприветствовать встречных путников, как ни в чем не бывало, звонко крикнуть: «Гомарджобо!» — и тут же снова погрузиться в дорожный сон на шаткой убаюкивающей повозке; реже плелись с богомолья старые, иссохшие, печальные женщины, словно искупающие вину за всех нахрапистых, невежливых людей, они кланялись путникам до пыльной земли. Не бродили по здешним полям, не стояли недвижно средь убранных пашен костлявые быки, коровы, всеми брошенные клячи, бывшие когда-то конями, может, и жеребцами джигитов, да уже не помнили ни они, ни джигиты об этом, но, глядя в синеющие на горизонте перевалы, может, и далее их, что-то силились вспомнить из своей судьбы покорные, сами себя забывшие животные.

Все чаще и чаще встречь нам с ошарашивающим ахом пролетали машины, волоча за собою хвосты дыма и пыли. Ближе к Кутаиси, в пыли, поднятой до неба, зашевелился сплошной поток машин. Меж ними, разрывая живую, грохотом оглушающую, чудовищную гусеницу, еще гуще, выше подняв тучу пыли, хрипели и рвались куда-то дикие мотоциклы с дикими молодцами за рулем, одетые в диковинные одежды из кожзаменителей, в огромные краги, в очки, изготовленные под а-ля «мафиози», все чаще и чаще оглашали воздух древней страны сирены машин, расписанных или обклеенных иностранными этикетками и изречениями, с обязательной обезьянкой на резинке перед ветровым стеклом, с предостерегающе ерзающей по стеклу, вроде бы у дитя отрубленной рукой, с пестрым футбольным мячом, катающимся у заднего стекла, как бы по нечаянной шалости туда угодившим.

Среди многих остроумных и ядовитых анекдотов, услышанных в Грузии, где главными и самыми ловкими персонажами выступали гурийцы, населяющие как раз вот эту землю, как бы после вселенской катастрофы окутанную пылью, более других мне запомнился такой вот: большевик по имени Филипп в горном селе агитировал гурийцев в колхоз, и такой он расписал будущий колхозный рай, такое наобещал счастье и праздничный коллективный труд, что старейшина села обнимая агитатора, с рыданием возгласил: «Дорогой Филипп! Колхоз такой

хороший, а мы, грузины, такие плохие, что друг другу не подходим...»

Глядя на поток машин, на этот обезьяний парад пресыщенного богатством молодого поколения кутаисского края, я тоже возопил:

— Дорогой Отар! Кутаиси — город такой богатый и такой роскошный, а мы, русские гости, такие бедные и неловкие, что друг другу не подходим.

Отар величественно кивнул головой, и мы миновали Кутаиси, и правильно сделали, потому что сэкономили время для священного места — Гелати, попав туда с неиспорченным настроением, с неутомленным глазом и недооскорбленной душой.

Мы долго поднимались в горы, сперва на машине, затем пешком по каменистой тропе, выбитой человеческими ногами. На тропе от ног получился желоб, и камень был перетерт в порошок — сюда много людей ходило и ходит.

Однако в тот день в полуденный час на горе возле монастыря оказалось малоллюдно. Служка, седой, блеклый, с выветренным телом, одетый словно бы не в одежды, а в тоже изветренное, птичье перо, поклонился нам, что-то спросил у Отара и отошел на почтительное расстояние. Ничего нам растолковывать и показывать не надо, — догадался он, или ему сказал об этом Отар, как скоро выяснилось, превосходно знающий историю Гелати.

Ничто не тревожило спящим зноем окутанную горную вершину с выгоревшей травкой, обнажившей колючки, потрескавшийся камешник, скорлупки от белеющих древних строений из ракушечника. Ослепшее от времени, молчаливое городище с полуобвалившимися каменными стенами рассыпалось по горе и срасталось с горами, с естеством их. Вокруг городища и оно само — все почти истлело, обратилось белым и серым прахом, и только храм, как бы отстраненный от времени и суеты мирской, стоял невредимый среди гор, отчужденно и молчаливо внимая слышным лишь ему молениям земным и звуку горних, глазу недоступных пространств.

— Первая национальная академия, — пояснил нам Отар, — по давнему преданию, здесь, в академии, учился ликосолнечный, во веки веков великий сын этой земли Шота Руставели, значит, и молился о спасении души своей, и нашей, в этом скромном и в чем-то неугаданно-величественном храме.

Высокие слова, употребляемые Отаром, здесь не резали слух, ничто здесь не резало слух, не оскорбляло глаз и сердца, и все звуки и слова, произносимые вполголоса и даже шепотом, были чисты и вняты.

Старые стены и развалины академии курились сизой, дымчатой растительностью, несмело наползающей на склоны гор по расщелинам и поймам иссохших ручьев. Бечевки вьющегося, сплетенного почти в сеть растения свисали со стен, и могильно-черные ягоды, которые не клевали даже птицы, гробовым светом раскрошили и вобрали в себя белую пыль, заглушили и утишили все, что могло резать глаз, играть цветом, цвести и быть назойливым.

Над всем поднебесным миром царствовал собор с потускневшим крестиком на маковице, собор, воздвигнутый еще царем Давидом-строителем в непостижимо далекие, как небесное пространство, времена. На плите тонн в пять весом, помеченной остроконечным знаком каменных часов, которую будто бы занес в горы на своей спине царь-созидатель и собственноручно вложил в стену храма, не было ни единой трещинки, щели и казалась она отлитой из бетона вчера или месяц назад в каком-нибудь ближнем городишке, на современном заводе, работающем со знаком отличного качества.

Есть вымыслы, есть легенды, которые правдивей всякой правды, выше всех высоких речей, честнее и чище нашей суетной и жалкой истины, приспособляемой к любому дуновению переменчивого ветра, к прихотям властителей, к смраду блудных слов и грешных мыслей. Деяние творца, пронзающее небесное время и земное зло, есть самое великое из того, что смог и может человек оставить на земле, и это заслуживает истинного, благоговейного почитания.

Все замерло, все остановилось в Гелати. Работает лишь время, неумолимое, неостановимое, быстротекущее время, оставляя свои невеселые меты на лицах людей, на лице земли и на творениях рук человеческих, в том числе и на храме Гелати.

У входа в храм дарница — огромное деревянное дупло, куда правоверные, поднявшиеся в горы — поклониться Богу и памяти родных, складывали дары крестьянского труда: хлебы, фрукты, кусочек сушеного мяса, козьего сыра. Дупло источено, издолблено градом и птицами, изветрено, иссушено, однако все еще крепко и огромно, словно мамонтова кость, гулкое, с коричневыми и серы-

ми щелями, похожими на жилы, выветренными до округлости; дупло не меньше, чем в пять хватов, но произошло из того самого орешника, что прячется в тень больших деревьев по логам и оврагам среднерусских лесов и годно лишь на удилица. Как сплелся целою рощею в единый ствол нехитрый кустарник — секрет природы. Еще один! В лесу сотворилось чудо, его отыскивали миряне и употребили во славу Господню, во благо удивленных и благодарных людей.

Неподалеку от дарницы вкопан в землю огромный керамический сосуд — все для тех же подношений, но уже вином. Керамическая крышка куда-то запропала, накрыт он ржавою крышкой производства казенных умельцев нынешних времен. Сосуд был пуст, лишь на дне его маслянилась пленка дождевой воды и ужаленно из нее метнулась, ударенная внезапным светом, словно бы переболевшая желтухой, слепая лягушка, метнулась и, беспомощно скребясь вялыми лапками о стенку тюрьмы-сосуда, обреченно сползла на дно, припала брюхом к мутной водичке.

Я быстро захлопнул крышку чана и постоял среди двора, изморщенного тропами и дорожками. Трава-мурава упрямо протыкалась в щели троп, западала в выбоины, переплетаясь, ползла по человеческим следам, смягчая громкую поступь любопытного человека. Мурава в Грузии красновато-закального цвета, крепка корнями и стеблем, обильна семенами. Сплетаясь в клубки, траве удается выстоять против многолюдства, приглушить топот туристов, сделать мягче почву под стопами старцев, перед уходом в мир иной крестящих себя, собор, целующих отцветшими губами священные камни Гелати, срывающих стебелек терпеливой травы, дабы положить его под подушку в домовину, унести с собой в мир иной земное напоминание о родине — единственной, неизменной, мучительной и прекрасной.

В чистом и высоком небе качался купол собора, над ним летел живым стрижем крестик, и вспомнилось, не могло не вспомниться в ту минуту: «Синий свет, небесный свет полюбил я с ранних лет..» — стихи, как этот крестик в вышине, легкие, всякому уму и памяти доступные, — стихи Бараташвили, современника и наперстника по судьбе русского поэта-горемыки Алексея Кольцова.

Кланяйтесь, люди, поэтам и творцам земным — они были, есть и останутся нашим небом, воздухом, твердью

нашей под ногами, нашей надеждой и упованием — без поэтов, без музыки, без художников и создателей земля давно бы оглохла, ослепла, рассыпалась и погибла. Сохрани, земля, своих певцов, и они восславят тебя, вдохнут в твои стынувшие недра жар своего сердца, во веки веков так рано и так ярко сгорающего, огнем которого они уже не раз разрывали тьму, насылаемую мракобесами на землю, прожигали пороховой дым войн, отводили кинжал убийц, занесенный над невинными жертвами. Берегите, жалейте и любите, земляне, тех избранников, которые даны вам природой не только для украшения дней ваших, в усладу слуха, убажания души, но и во спасение всего живого и светлого на нашей земле. Им более надеяться не на кого, быть может, удастся им остановить руку современного убийцы с водородной бомбой, занесенную над нашей горькой головой.

Где-то брякнуло и тут же сконфуженно замерло железо. Горы поскорее вобрали в себя, укрыли в немоте гранита этот неуместный звук. В настенных зарослях, среди черных ягод пела птица синица, вещая скорый дождь, и по-русски беззаботно кружился, заливался над одичавшим садом жаворонок, да стрекотали и сыпались отрубями из-под ног в разные стороны, на лету продолжая стрекотать, мелкие козявки, похожие на кузнечиков.

Жизнь продолжалась, привычная, непритязательная, святая и грешная, мучительная и радостная — в Гелати верилось: никто ее погубить и исправить не может. Никто не смеет навязывать свою жизнь, свои достоинства, пороки, радости, слезы и восторги. У каждого человека своя жизнь, и, если она не нравится кому-то, пусть он, этот кто-то, пройдет сквозь голод, войны, кровь, безверие, бессердечность и вернется из всего этого, не потеряв уважения не только к чужой жизни, но и к своей тоже, ко всему тому, что ей выпадает, а выпадает ей дышать не только дымом пороха, сажей, отгаром бензина, но случается подышать и святым воздухом, в святом месте, здесь ли вот, в Гелати, возле собора, в полупустом ли русском селе, возле бурной ли горной речки, на безбрежном ли море, в березовом ли лесу, возле журавлиного болота, среди зрелого поля, поникшего спелыми колосьями...

Медленно, осторожно вступил я в прохладный собор. Он был темен от копоти, и только верхний свет, пробивающийся в узкие щели собора, сложенные наподобие окон и бойниц одновременно, растворяли мрак. В глубокой,

немой пучине храма рассеянно, пыльно мерцал свет, все, однако, до мелочей выстветляя, вплоть до полос от метлы на стенах, до крошек щебенки в щелях пола, пятнышек от восковых свечей. С высокого, шлемообразного купола на стены собора низвергались тяжелые серые потеки, в завалах, трещинах и завихрениях потеков скопилась копоть, и в разрывах, протертостях, в проплешинах, в струях как бы остекленевшего дождя нет-нет и просверкивал блеск нержавеющей металла, проступали клочья фресок: то подол чистой, крестами украшенной хламиды, то окровавленная, гвоздем пробитая, нога Спасителя, то рука с троеперстием, занесенная для благословения, то голубой и скорбный во всепонимании и всепрощении глаз Матери Богородицы, не погашенный временем и многовечной копотью свечей.

Выяснилось: густая, маслянистая копоть на стенах собора была не от сальных и восковых свечей, не от робких лучинок древян, копоть осталась от костров завоевателей-монголов. Только копоть, только оскверненные храмы, уничтоженные народы, государства, города, селения, сады, голые степи, мертвящая пыль да пустыни и ничего более не оставили завоеватели. Ни доброй памяти, ни добрых, разумных дел — уж такое их назначение во все времена. По дикому своему обычаю, монголы в православных церквях устраивали конюшни. И этот дивный и суровый храм они тоже решили осквернить, загнали в него мохнатых коней, развели костры и стали жрать недожаренную, кровавую конину, обдирая лошадей здесь же, в храме, и, пьяные от кровавого разгула, они посваливались раскосыми мордами в вонючее конское дерьмо, еще не зная, что созидатели на земле для вечности строят и храмы вечные.

По велению царя Давида меж кровлей собора была налита прослойка свинца. От жара диких костров свинец расплавился, и горячие потоки металла обрушились карающим дождем на головы завоевателей. Они бежали из Гелати в панике, побросав награбленное имущество, оружие, коней, рабынь, считая, что какой-то всемогущий, неведомый им бог покарал их за нечестивость...

Все это тихим голосом переводил мне умеющий незаметно держаться и вовремя прийти на помощь Шалва. Грузины сохраняют собор в том виде, в каком покинул его от ужаса содрогнувшийся враг.

И думал я, внимая истории и глядя на поруганный, но

не убитый храм: вот если бы на головы современных осквернителей храмов, завоевателей, богохульников и коммунистических горлопанов низвергся вселенский свинцовый дождь — последний карающий дождь — на всех чело­веконенавистников, на гонителей чистой морали, культуры, всегда создаваемой для мира и умиротворения, всегда бесстрашно выходящей с открытым, добрым взором, с рукой, занесенной для благословения к труду, к любви, против насилия, сабель, ружей и бомб.

Всевечна скорбящая душа Гелатского собора. Печальная тишина его хмурого лика одухотворена. Память древности опаживает здесь человеческое сердце исцеляющим духом веры в будущность, в справедливость нами избранного, тяжкого пути к сотворению той жизни, где не будет войн, крови, слез, несчастий, зависти, корысти и ослепляющего себялюбия.

С опущенной головой, с приглушенно работающим, благодарным сердцем покинул я оскверненный, но не убитый храм, у выхода из которого, точнее, у входа лежала громадная плита, грубо тесанная из дикого камня, и на ней виднелась полустертая ступнями людей вязь грузинского причудливого письма: «Пусть каждый входящий в этот храм наступит на сердце мое, чтобы слышал я боль его», — перевели мне завет царя-строителя, лежащего под этой надгробной плитой. Отар, истинный грузин, не удержался и добавил, что царь Давид был на два сантиметра выше русского царя Петра Великого.

Я улыбнулся словам моего сокурсника — человеческие слабости, как и величие его, всегда идут рука об руку и тут уж ничего не поделаешь. Быть может, этим он, человек, и хорош. Убери у него слабости — что он станет делать и как жить со сплошными-то достоинствами? Говорят, если питаться одними только сладостями, у человека испортится, загниет кровь, разрушатся кости, усохнет мозг, и он помрет преждевременно.

Все вокруг Гелати приглушило дыхание. Здесь молчала вечность, внимая печальной мудрости творца, вникая в смысл нетленных слов, вырубленных на камне... Лишь жаворонок летал по небу, беззаботно вился, с упоением пел. Рядом с ним, в голубой выси, все так же стрижи­ком летел куда-то крестик храма, тренькали синицы в гуще иссохшего бурьяна, все вещая дождь, и какая-то неведомая птица дребезжала в горах железным клювом, может, куры служки колотили за жилой пристройкой в пустое

корыто; над дальними перевалами призраком возник и плавал на почтительном расстоянии, в отдалении от святого места, гордый орел, высматривая с высоты добычу.

* * *

Синицы не зря вещали дождь. С гор напоззли и начали опускаться над долинами грузные облака, выволакивая за собой зачерненные в глубине тучи, еще рыхлые, закудрявленные по краям.

Мы быстро мчались вниз, к городу Тквибули, и, продолжая своим чередом идущие в нем мысли, Отар рассказал, что в древности, когда еще была в Гелати академия, да и после на протяжении многих лет, может, и веков, в Грузии существовал дивный обычай: каждому, кто заводил семью, на свадьбу дарилась книга «Витязь в тигровой шкуре». Книги в древности были дороги, крестьянам и горцам не по средствам, и тогда родичи жениха и невесты или сельская община складывались и нанимали на собранные деньги писца и художника. Дивные есть в Грузии рукотворные издания бессмертной поэмы и накопилось их так много, что, если собрать только уцелевшие от войн, смутных времен, бездумного отношения к бесценным самописным реликвиям, — все равно наберется их целый музей! И какой музей! Единственный в нашей стране, может, и во всем мире, музей!

«Витязь! Витязь! Дорогой! До того ли многим твоим землякам, чтоб что-то бесплатно собирать и хранить?..»

Отар не знал — я не успел ему сказать в спешке, а после и не хотел сказать, что из опостылевшей конюшни под названием Дом творчества, часто уезжал куда глаза глядят. Про поездку в Зугдиди я уже рассказал, но бывал я и в глубине Грузии, и в Тбилиси, и в Боржоми — впечатлениями, понял я, пока не надобно делиться. Не поймут. Не захотят понять. В Боржоми, куда меня свез все тот же мой приятель, уже работающий собственным корреспондентом «Известий», да и по-за ними я увидел ту Грузию, о которой стыдился рассказывать и не хотел ее мне показывать Отар.

Номер в «люччей» гостинице Боржоми под названием «люкс» был запущен, обшарпан, со ржавою ванной, заткнутой склизкой деревяшкой, с облупленным обеденным столом, похожим на нары переселенческих барачков. Настольные лампы были побиты, радио и розетки выдерну-

ты из стен — здесь, в этом номере, не жили, сюда приезжали пьянствовать и буйствовать богатенькие геноцвале, и во всей гостинице, где жили курсовочники, царил дух запустения, разгула и неприкрытого хамства. Русских здесь презирали и, от презрения не иначе, обирали на каждом шагу, на улице, в киосках, в бытовках и ваннных — чтобы ополоснуть ванну и пополнить ее свежей водой, брали тройку, чтобы получить билет на прогулочный автобус, надо было платить пятерку. Чтобы закинуть удочку с червяком в реку, надо было отдать мальчишке рубль.

Приезжие люди все терпели. А дуньки наши, намастюжив лицо и взбив на дурной голове высокие белые прически, кокетничали с гуляками-грузинами, пили с ними дешевое кислое вино и шарились по кустам. Дикие курортники и просто праздные люди, не бывавшие ни в Саянах, ни на Урале, ни на Дальнем Востоке, ни на Байкале, думающие, что рай и красота есть только на Кавказе, питались в большом, дурно пахнущем кафе, с умывальником-корытом, загнутым из цинкового железа, какие ладыт в исправительно-трудовых колониях для несовершеннолетних преступников, пытались добыть воду из заклинившихся сосков и, так не умыв руки, терлись возле раздаточного прилавка, загороженного вроде как для скота, железным мокрым барьером.

Подавали каждый день одно и то же: мутную соленую воду, заправленную сорным, невымытым рисом, вонючую курицу из этого варева, склизкую, чахоточно-костлявую, изрубленную на мелкие части так ловко, что у нее оказывались десять ракушечно вогнутых костлявых жоп и ни одной лапы, — кидали в тарелку на второе, прислонив к ней ложку все того же, вроде бы уже еденного и выbleванного риса, облитого жижей, похожей на телячий понос и поносом же пахнущей. В заключение надо было брать самому с витрины неработающего холодильника розоватую жидкость под названием кисель, с как бы выплюнутыми харчками неразмешанного крахмала.

Новоприезжие возмущались, орали, два молодых парня с совершенно наглыми, игровитыми харями, в высоких колпаках и куртках, с засученными на волосатых руках рукавами, небрежно плеская черпаком в непромытые липкие тарелки варево, как бы сочувствуя, говорили:

— Што тэлать, дарагой? Какой продукт выдают, такой варим и даем. Куший на сдоровье!..

И вот он, непрменный наш московский неврастеник,

по копейке собиравший деньги для поездки на благословенный Кавказ, для излечения больного желудка из чудодейственного источника «Боржоми», задержался возле облитого, грязного прилавка: «Безобразия! Мародеры! Чем кормите? Это издевательство над советскими гражданами! Нарушение санитарных норм!.. Правил торговли!.. Вы позорите общественное питание!..»

А тем, двоим-то кацо, скучно, мучительно работать, им этот театр только и нужен. Они слушают, головами качают и другим более покладистым гражданам хлопают и хлопают в тарелки хлебово черпаками, в то же время успокаивая гражданина со вздувшимися от гнева на шее и на висках синими жилами, готовыми вот-вот лопнуть от напряжения, говоря, что он «балшой» и ему вредно волноваться, он же лечиться приехал, путевочка-то «вах-вах, какая дарагая, и билэт, вах-вах, какой дарагой, дорога на Кавказ длинная, в вагонах душно, автобусом до Боржоми — утомительно». «Не надо так волноваться, дарагой. Надо хорошо кушать, горные прагулки делать, кулять, дарагой, дышать свежий воздух, спать крепко, кнышку читать — токо про жэншын и про любов — эт-то очень тоже полезно для здаровья, и гасета читать русская «Правда», и кутаисская «Правда» — там как раз процесс судебный описфается — воров судят. Ах, сколко еще нечестный люди живут на земле. Жалопную кныгу? Нет жалопной кныги, дарагой. Пачиму нет? Тырэхтор унес. Как унес? Взял под мышка и домой унес. Тырэхтору не укажешь. Ми — маленькие люди, наше дэло — разливать и падавать. Так, дарагой, да, так...»

Не допуская мысли, что в этой пестрой очереди за грязным супом хоть один русский может знать другой язык, тем более такой редкостный, грузинский, глумятся мордovorоты над гражданином, уже глотающим валидол, и над всей этой очередью, их утомившей. Приятель мой тихонько переводит: «Какие болваны! Какие идиоты! Они еще верят в жалобную книгу! Они еще читают законы! Как ты думаешь, Резо, какая у этого дурака машина?» — «Я думаю — никакой нет, даже велосипед нет. Он слишком честен и горяч. Ему бы ишак, но ишаки в России не водятся. Русские даже лошадей съели, на колбасу переделали, говорят, у них в столовых мясо настоящее украдут, собаку дохлую сварят, они едят и не жалуются...» — «А мы их кормим такой замечательной курицей! И они еще возмущаются, ннеплагодарные...»

Нина, русская женщина, с полутора лет живущая в Тбилиси, рассказывала:

— Мне было шестнадцать лет. Телом удалась. Мордатая, курносая, конопатая. Иду по вокзалу с поезда, цап меня за руку темный какой-то и дикий грузин, может, с гор, может, из тюрьмы... Я по-грузински говорю, зову на помощь — никто ухом не ведет. Лишь один, молодой, пузатый, остановился и указал себе под ноги: «Растерзай ее здесь. Заеби. В грязи! Будем смотреть!» И тогда я, хорошо знающая эти подлые души, закричала пузану, что он не мужчина, нет у него ничего в штанах, поэтому и зовет к насильнику... Должно быть, я нечаянно в цель попала. Грузин пузатый завизжал по-русски: «Сука!» — и бросился на меня с кулаками, весь поток пассажиров вдруг загомонил: «Она оскорбила мужчину! Русская оскорбила грузина!», смешались, заорали, замахали руками. Пользуясь замешательством, я дала насильнику кулаком между глаз со всей силой, на какую была способна. Он свалился, а я умчалась. После этого я записалась в кружок дзюдо и, когда окончила ФЗО, пошла на стройку, обзавелась любовником, он — главный прораб, и никто в Тбилиси ко мне более не пристаёт. Любовник имеет машину, четверых детей и роскошно одетую, золотом разукрашенную, безмолвную жену.

На фуникулере в Тбилиси жирный, румяный грузин, только что вывалившийся из ресторана, разорвав на себе рубаху, орал на какую-то обезжиренную супружескую пару, приехавшую из России вдохнуть кавказской экзотики:

— Ты зачем здесь? Ты почему ходишь по моим горам? Дышишь моим воздухом? Строишь моя родина?..

Через год, наконец-то, свалили современного царя, секретаря цэка, взяточника и лизоблюда Мжаванадзе, когда воцарился на престол новый большой начальник и карающая метла прошла по землям Грузии, в особенности по побережью, — никто уже не орал на фуникулере, подешевело на рынках, из одного тбилисского магазина целый квартал бежал за женой и мною одышливый продавец, чтобы отдать сдачу — мы забыли при покупке взять рубль.

В тот же приезд я был на выставке живописи, скульптуры и прикладного искусства в центре Тбилиси. Там было все: Матисс, Мерке, Гоген, много Ван-Гога, потревожен был и Брейгель, и Рубенс, даже Констебль, в особенности

доставалось бедному Пиросмани — все-все сплошь дышало холодным подражанием, светилось чужими красками, смотрело чьими-то пустыми глазами. Лишь несколько густо писанных полотен, проникнутых национальным духом, оттеснены были со света в углы, и здесь же звенело железо, шла распродажа чеканки, ловко сработанной под старину, бородатые «мальчики» в европейских башмаках хватили за полы гостей и посетителей выставки, таинственным шепотом просили не покупать «эта пакост» и пойти с ними, «совсем близко», приобрести «настоящее национальное искусство». Да никто к ним и с ними не шел, потому как никто из приезжих уже не верил их слову и обещанию, все они в глазах русских людей выглядели дельцами, мошенниками, копеечными торговцами и злыми воришками...

Когда я был в Боржоми, как раз происходило нашествие улитки на окрестные сады и села. Безмолвная, еле ползущая, с мякотью слизняка, она прилипала к траве, к кустам, к деревьям и деревьям, иссасывала живую плоть растений. Обуглены, до черноты спалены рощи, скверы, клумбы и сады. Улитку топтали, сметали, она хрустела под колесами машин и плыла, сброшенная совковыми лопатами, по реке, ее чем-то обливали, травили, пробовали окуривать дымом, но она ползла и ползла, и тихий страх, бессилие заползали в душу, и подавленность при виде этого немого нашествия этой неумолимой, с виду безобидной силы охватывала человека.

И, наверно, так же иссосало бы, иссушило соки древней нации, содрало бы кожу с нее, обьяло цвет искусства и глубочайшего уважения к народу, так долго, так упорно и стойко отстаивавшего свою землю, свободу и национальное достоинство, съело бы, слопало чудовище в крупном панцире вождизма, в импортной ли хламиде торгаша с бегающими глазами, немывтыми, цепкими руками, если б не жил и не творил там еще честный народ, неподкупные художники, тихие крестьяне, отважные горцы и просто трудовые люди, душу не распродавшие, подобные моему нечаянному гостю, переводчику и ученому, посетившему меня в вологодском селе.

Красное удостоверение самой правдивой из всех самых правдивых газет Советского Союза действовало безотказно. Мой товарищ показывал мне Грузию изнутри. Сатирический туз Убивайло приглашал его к себе уже в качестве почетного гостя. Но еще, прежде чем побывать в

местечке Гали, в усадьбе богатенького борца с недостатками, я был удостоен беседы двух гостей моего приятеля, работающих в совхозе. Там интересная картина наблюдалась — плодоносный склон горы в сорняках, запустении, какие-то жалкие плоды желтеют среди колючек — оказалось, тыквы, столь любимые грузинами, — это значит, здесь трудятся хозяйева земли — грузины. По другую сторону — нерожальный склон, очищенный от камней, здесь все цветет, растет и солнцу радуется — переселенцы армяне сей склон, из милости подаренный хозяевами, обрабатывают. Далее запущенные чайные плантации, на которых трудится комбайн, сдирая листья вместе с сорняками, птичьими гнездышками, осами, пчелами и прочей нечистью, — все это называется «грузинский чай высшего сорта». Поскольку никто этот чай никуда не покупает, мудрецы на расфасовочных фабриках смешивают его с индийским и цейлонским чаем и продают по дорогой цене. Сами грузины или абхазцы, зазывая в гости, говорили: «Будем пить настоящий чай, а не это говно», — и кивали на свои чайные плантации.

Два грузина-работяги, зазванные в гости к приятелю, собирали по горам дикорастущий лавровый лист и чем больше наливались вином, тем сильнее краснели и откровенничали. Не глядя на нас, как бы только своему приятелю уже немолодой грузин проникновенно толковал: «Я, когда тарю ящики с листом для отправки в Россию, плюю в него», второй ослабил и сказал: «А я су». «Випьем дружба народов!» — возгласили они, поднимая бокалы, но приятель мой, натерпевшийся всего тут, вдруг затрясся, заорал: «Пошли вон, обезьяны!» Гости, не торопясь, надели свои кепки-аэродромы, пошли было, но вернулись к столу, плеснули презрительно на скатерть вино, и тот, что помоложе, заявил: «Скоро ми всех вас будем убиват, ваших жен, сэстэр, дочерей будем ебат».

Убивайло, наоборот, ласков, льстив, дальновиден. Хлопая моего приятеля по плечу, напевал о том, что у него дочь десяти лет отроду, а у русского друга, умного, образованного, талантливого, сын того же возраста — красивый, хорошо воспитанный сын. Казалось мне, с юмором — в сатирическом же журнале работает респектабельный хозяин, — говорил, что он открыл в кассе счет на имя дочки, каждый месяц кладет деньги с таким расчетом, чтобы к ее совершеннолетию был миллион, кроме того, он

сулился купить молодоженам «мерседес» и отдать во владение усадьбу в Гали.

— Моя дочь, мое богатство плюс красота, ум и скромность твоего сына — какие будут у нас внуки!

О «Витязе в тигровой шкуре» в качестве подарка молодоженам богатый хозяин уже не поминал. Он и повез всех нас в райцентр Гали, чтобы показать свою усадьбу. Гали почти сплошь занято обитателями черноморского побережья, они выкачивают из спрятанных за горами садов, теплиц и огородов капиталы.

— Я имею всего шестьдесят тысяч дохода в год, — жаловался хозяин, — мои соседи — двести, пятьсот. Это потому, что мои мама и папа старые. Я жалею их.

Две согбенные тени копошились во дворе возле непрестанного огня, на котором кипело и парилось варево для чачи — пятьсот деревьев сада были обвешаны зреющими плодами мандаринов и двадцать деревьев — каким-то скрещенным фруктом. Оранжереи-теплицы были вскопаны и засажены черенками роз, земля в них подымалась третий раз за сезон: сперва под ранние цветы, затем под помидоры, теперь вот под розы. Папа с мамой уже не могли работать на земле, для этого дела посылались рабочие из местных совхозов. Поработав в саду, они громко, с вызовом, чтоб слышно было гостям, потребовали по пятерке на брата и свежей чачи по стакану.

— Разбуйники! Грабитэли! — приглушенным голосом возмущался хозяин.

— Нет! — дерзко возражали ему рабочие из совхоза, — мы советские тружэныки, а вот ты — разбуйнык и бандыт! — и, закинув мотыги за плечи, удалились трудиться в другие частные сады и усадьбы.

Отправляясь спать в роскошный двухэтажный дом, в кровати, застеленные голландским бельем, я зашел во флигелек — пожелать доброй ночи старикам. Одетые в хламье, среди сырых стен, прелых углов, на топчанах, сделанных из сухих ветвей фруктовых деревьев, утонув в пыльном, словно бы сгорелом тряпье, на свалывшихся овечьих шкурах вместо подушек, лежали старики и с бесконечной усталостью ответили на пожелание спокойной ночи, что хотели бы уснуть и не проснуться, что ежевечерне, ежечасно молят они Бога, чтоб успокоил, прибрал он их простуженные, изработанные кости, прикрыл землю...

Я уже согрелся, засыпал в волглой постели — в Гали

сыро, камни, строения, заборы покрыты плесенью, — как снова услышал приглушенный, злой голос хозяина.

— Что это он?

— Ругает стариков за то, что не погасили свет в туалете. Мы оставили невыключенную лампочку...

«Витязь! Витязь! Где ты, дорогой? Завести бы тебя вместе с тигром, с мечом и кинжалами, но лучше с плетью в Гали или на российский базар, чтобы согнал, смел ты оттуда модно одетых, единокровных братьев твоих, превратившихся в алчных торгашей и деляг, имающих за рукав работающих крестьян и покупателей, навязывающих втридорога не выращенные ими фрукты, цветы, не куривших вино, а скупивших все это по дешевке у селян; если им об этом скажут, отошьют их, плюнут им в глаза, они, утираясь, вопят: «Ты пыл бэдный! Будэш бэдный! Я пыл багатый, пуду багатый!» Они не читали книжку про тебя, Витязь. Иные и не слышали о ней. Дело дошло до того, что любого торгаша нерусского, тем паче кавказского вида, по России презрительно клянут и кличут грузином».

И Отар вот тоже дитя своего времени и своей торгашеской породы. Посмотрел я его книги, изданные в Москве, и меня поразило, что из сокурсников Отара и верных товарищей, переведивших его сложную и пока еще сырую, неуклюжую прозу на русский язык, остался один лишь я, остальные все заменены грузинскими фамилиями — так выгодней. Да и я остался в переводчиках лишь потому, что был на слуху и попал в творческую «обойму».

* * *

Неподалеку от Тквибули, с черной, словно бы обугленной долины, с черными на ней кустами, пнями, деревьями и кочками, снялось и загорланило недовольное воронье, нанесло на нас стояло-гнилой вонью — хоть нос затыкай.

— Что это такое?

— Смотри!

А-а, знакомая картина. По России знакомая. И надоевшая. Водохранилище. Тут вернее его назвать — водо и землегноилище. Широкая пойма реки, постепенно сужающаяся и ветвящаяся в недалеких горах, с осени была покрыта толщей воды. За зиму воду сработали. Сел на приотоптанную и приотопленную землю лед, подо льдом-то и у нас много чего остается и гибнет, здесь же, в благо-

датном климате, в прогретой воде живет и растет всего так много, что от обсохшей, гниющей дохлятины стоит смрад, будто на поле битвы. Особенно вонько от грязных, кучей скрестившихся раков, что сползались в колдобины, лужи, под кусты — в сырое место — тут их и придавило льдом, тут они и обсохли. Рыба, водоросли, лягухи и больные птицы, мыши и крысы, зайчата и норки — целая бойня на непролазном и непроездном кладбище живности, лучшей, веками сносимой в долину земли, новые поля и плантации на склонах голых гор, на свежезаголенной глине.

Скопленная за весенний паводок вода сработалась, может, лето засушливое было, и водохранилище, угольничком располосованным на лоскутья в заливах, впадинах и водомоинах, стекленело вдали, подпертое обнажившейся и оттого катастрофически высокой стеной плотины. Сюда, в предгорье, вода придет осенью, с затяжных дождей, может, и не придет, не покроет эту грязную, омертвело-темную долину.

Мы проезжали по брусчатому мостику через приток запруженной мутной речки, с тоже черными, ослизлыми берегами и очумелым от грязи кустарником, все же пробившим кое-где лист. Сквозь сохлый панцирь грязи местами украдчиво светились пучки травы на черных кочках, как бы не верящие, что им удалось вырасти, даже цветки цикория по обсохшему кое-где бережку, припоздалой мальвы и неведомые мне колючки с мелким рассыпчатым цветом рдели и лезли на буторки, на бровки бережка, цеплялись друг за дружку полутолыми стеблями, похожими на кости птичьих лап.

— Стой! — заорал я.

Шалва ударил по тормозам. Машина клюнула носом, задрала зад так резко, что открылся багажник.

— Я буду рыбачить в этой речке!

Спустившись с мостика, я выламывал побег гибкого орешника. Отар, перегнувшись через перила, курил, стряхивая пепел сигареты в не просто мутную, в непроглядно-грязную воду речки.

— Какая тут рыба? Она что, такая же дурная, как ты? Есть только одна у нас рыба — фарэл называется. Она там, за девятью горами, в моей Сванетия.

Шалва тоже улыбнулся снисходительно, будто смотрел на прихотливые шалости неразумного племяша. Но оба они перестали острить и насмеяться надо мной, ког-

да после первого заброса в темные пучины речки казенный пластмассовый поплавок на казенной, мимоходом мною купленной леске повело в сторону и разом утонуло.

— Сэйчас он вытащыт вот такой коряга! — раскинул руки Отар.

— Нет! — возразил брату Шалва, — старый сапог или колесную шину...

Но я выкинул на брусчатку моста темно-желтую, усатую рыбку и по сытому пузу, всегда и везде туго набитому, тут же узнал беду и выручку всех молодых и начинающих рыбаков, мужика водяных просторов, главным образом отмелей, едока и неутомимого работника — пескаря. Начал было удивляться — пескарь любит светлую воду, но некогда было удивляться.

— А-ах! — закричали братья и в форсистых пиджаках, в глаженных брюках, упали на мост — ловить рыбку. Когда поймали, долго рассматривали ее, что-то кричали друг другу на своем языке. Отар опамятовался первым. Вытирая чистым платком руки и отряхивая штаны, все еще не сдаваясь, стараясь удержаться на ехидной ноте, не мне, а брату или пространству родных гор молвил:

— Была адна рыба и та бежала из тюрьмы. Может, свободная, умная рыба забратся в такое мокро?

Он не успел договорить — на досках бился, прыгал второй пескарь, был он крупней и пузатей первого. И пока братья ловили пескаря на брусках, пока думали, что с ним делать и куда девать, я вытащил из мутной воды пятерых пескарей и неожиданно белую, плоскую рыбку, которую, захлопав в ладоши, как в театре, братья назвали «цверкой» — и я догадался, что это означает — щепка.

Червяка у меня было всего два, я их вынул из-под брошенного возле моста бревешка, и от червяков осталась одна, на малокалиберную пульку похожая голова. Тонем полководца я приказал братьям найти банку, накопать мне червей — и они со всех ног бросились выполнять мое приказание, потеряв всякую степенность, не жалея форсистых остроносых туфель и брюк.

На голову червяка я выхватил еще несколько пескарей, вздел их на проволоку, отмотанную от перевязи моста. Потрясенные моими успехами, братья сломленно попросили сделать и им по удочке. Когда я отвернул лацкан пиджака, и братья увидели нацепленные там крючки, и когда я из кармана вынул запасную леску, — онч в один голос сказали:

— Какой умный человек!

Скоро братья, как дети, носились с гамом и шумом по берегу речки, выбрасывали пескарей в грязь и, если у меня или у одного из братьев срывалась добыча и шлепалась обратно в речку, орали друг на дружку и на меня тоже:

— Ты чего делаешь? Ты почему отпустил рыба?!

Когда Отар зацепил за куст и вгорячах оборвал удочку, то схватился грязными руками за голову и уж собрался разрыдаться, как я сказал, что сей момент налажу ему другую удочку, привяжу другой крючок, — и он, гордый сын Сванских хребтов, обронил сдавленным голосом историческое изречение:

— Ты мне брат! Нет, больше! Ты мне друг и брат!

На проволоке моей уже было вздето до сотни пескарей и с десятков цверок. Братья заболели неизлечимой болезнью азартного, злостного индивидуалиста-рыбака, каждый волочил за собой проволоку с рыбинами, хвалился тем, что у него больше, чем у брата, и подозрительно следили братья один за другим, чтоб не снял который рыбеху с его проволоки и не вздел бы на свою.

Уже давно накрапывал и расходился дождь, мы могли застрять в грязной пойме с машиной, я взывал к благодарности, но одному русскому с двумя вошедшими в раж и впавшими в безумство грузинами справиться непосильно.

А тут накатило и еще одно грандиозное событие. Я, уже лениво и нехотя побрасывающий на берег пескарей, заметил, что моя проволока, тяжелая от рыбы, привязанная к наклоненному над водой кусту, как-то подозрительно дергается, ходит из стороны в сторону, и подумал, что течение речки колеблет мою снастку, да еще рыбы треплют кулан. Однако настороженность моя не проходила, и холодок надвигающейся беды все глубже проникал в мое сердце.

Я воткнул в берег удочку, пошел к кулану, поднял его над водой и чуть не умер от разрыва сердца: весь мой кулан, вся рыба были облеплены присосавшимися, пилящими, раздирающими на части рыбин раками, ухватками и цветом точь-в-точь похожими на дикоплеменных обитателей каких-нибудь темных, непролазных джунглей. Раки-воры, раки-мародеры шлепались обратно в речку, в грязь растоптанного берега, но иные так сладко всосались, вгрызлись в добычу, что и на берегу не отпускались от бедных, наполовину, а то и вовсе перепиленных пескарей и цве-

рок. Мне бы еще больше удивиться — рак еще шибче пескаря привередлив к воде, мрет первым в наших реках с испорченной, мутной водой, но это ж Грузия! Чем дальше вглубь, тем менее понятная земля.

— Это что? — наступал я на потрясенных еще больше меня братьев. — Это что у вас в Грузии делается, а? Грабеж повсюду! Да за такие дела в войну... — Я, совсем свирепелый, поддел грязным ботинком пятящегося с суши в воду рака, не выпустившего из клешней размичканного, в ил превращенного пескаря, со скрежетом продолжающего работать челюстями и всеми его неуклюжими, но такими хватистыми, безжалостными инструментами. И теперь уже смиренный Шалва, весь растрепанный и грязный, заорал на меня:

— Ты что делаешь, а? Зачем бросаешь обратно рак? Его варить. С солю... М-мых! Дзликатэс!

— Да мать его туды, такой деликатес! — не сдаваясь, бушевал я на всю грязную, к счастью, безлюдную пойму речки-ручья. — Он рыбу сожрал, падла! Он — вредитель!

Шалва, разбрызгивая грязь, уже бежал от машины с ведром и с пяток не смывшихся обратно разбойников здешних темных вод успел сбросать в посудину.

— Мало, — сказал Шалва.

— Мало, да? — подхватил я свирепо. — Сейчас будет много! Счас! Счас!.. — Я стянул со всего проволочного кукана и ссыпал в ведро остатки рыбешек, узлом привязал к концу проволоки половину несчастного, недожеванного пескаря и опустил его в мутную воду, под тот куст, где висел кукан. Проволоку тут же затеребило, затаскало.

Братья перестали удить, наблюдали за мной, испуганно переглядывались: уж не рехнулся ли дорогой гость? Собрав остатки своего мужества и терпения, я дождался, чтобы проволоку не просто потеребило, чтоб задергало, вихрем выметнул на берег трех присосавшихся к рыбине раков, да еще с пяток их на ходу отвалились и шлепнулись назад в речку. Братья и говорить не стали, что я умный. Это было понятно без слов. Я был сейчас не просто умный, я сделался первый и последний раз в жизни — «гэниальный». Отар, сбросав в ведро раков, совсем уж робко обратился ко мне, как к повелителю и владыке:

— Стэлай нам так же!

И я привязал им по недоеденному пескарю к проволоке, и они начали притравлять, заманивать и выбрасывать на берег раков, мстительно крича какие-то слова, кото-

рые и без переводчика я понимал совершенно ясно: «А-а, разбуйнык! А-а, мародер! Ты думал, это тебе так даром и пройдет?! Да? Кушал наша рыба! Тепер мы тебя кушат будем!»

Братья — южный народ, горячекровный. Забыли про удочки, про дождь, все более густеющий, про жен, про детей, про дядю Васю — про все на свете. Их охватило такое неистовство, такой восторг, который можно было зреть только на тбилисском стадионе «Локомотив», когда Месхи слева или Метревели справа, уложив на газон фантастическими финтами противников, делали передачу в штрафную площадку, где центр нападения Баркая просыпался и, не щадя блестящей, что куриное яйцо, лысины, с ходу, в птичьем полете, раскинув руки, в губительном прыжке, в падении бодал мяч так, что вратарь «Арарата» и глазом моргнуть не успевал, как он уже трепыхался в сетке. Тогда все восемьдесят пять тысяч болельщиков (это только по билетам! А поди узнай у грузин, сколько еще там и родных, и близких — без билетов!) вскакивали в едином порыве, прыгали, орали, воздев руки к небу, целовались, плакали, слабые сердцем, случалось, и умирали от избытка чувств.

Вот с чем я могу сравнить ликование и восторг братьев-добытчиков, которых лишь надвинувшаяся темнота и дождь, перешедший в ливень, смогли согнать с речки. За все радости, за все наслаждения, как известно, приходится расплачиваться «мукой и слезой». До слез, правда, дело не дошло, но намучились мы вдосталь, почти на руках вытаскивая машину из глубокой поймы по глинистому, скользкому косогору ввысь, и, когда подъехали к дому на окраине Тквибули, нас встретил с криком и плачем старый человек, у которого оказалась снесена половина лица — это и был дядя Вася. Он так нас заждался, так боялся, что эти сумасшедшие кутаисские автогонщики врежутся в нас, что у него случился сердечный приступ, он упал на угол старинного сундука, зачем-то выставленного на веранду.

Дядя Вася всю жизнь проработал под землей Тквибули шахтером, и у него плохое сердце от тяжелой работы, сердце, надорванное еще в войну, когда стране был так необходим уголь. Наборщиком же, который печатал первую книжку Отара, в Цхалтубо, работает совсем другой дядя, не Вася, а Реваз, по фамилии Микоберидзе.

— А-а, все понятно! Почти все...

Ах, как это замечательно, когда в жизни встречаются такие добросердечные дома и люди, как дядя Вася. Как чудесно быть гостем, значит, и другом, пусть мимолетным, недолгим, у людей, умеющих без задней мысли жить, говорить, радоваться простым земным радостям, ну хотя бы встречному человеку, новому ли светлому дню, улыбке ребенка, говору ручья, доброму небу над головой.

Застолье было невелико, скромно, однако так радушно, что мы засиделись за столом до позднего, почти предутреннего часа, не чувствуя усталости, скованности, и мне казалось, что я и без перевода слышу и понимаю все, что говорят и поют эти люди другого языка и нации, приветившие и обогревшие путника едой, вином и душевным теплом, казалось, что я другой Грузии и других грузин не встречал, не слышал и в глаза не видел.

Главным заводилой за столом был Георгий, тот самый, что служил с Шалвой на Урале и был зятем дяди Васи, но в родстве с моими друзьями не состоял, однако и того, что служили люди вместе, хватило им для привязанности друг к другу. Георгий тоже работал под тквибульской землей в шахте, добывал уголь стране. Жена его преподавала русский язык в школе и не только ловко меняла посуду, наливала в рюмки вино, но и переводила мне разговоры и песни, когда забывал это делать Отар, увлекшись беседой, куревом и вином.

Дядя Вася за столом сидел мало. Он себя плохо чувствовал. Он лежал на веранде, все на том же сундуке, об который своротил свое лицо, но, преодолевая себя, нет-нет да и поднимался, ковылял в дом, смотрел на стол — все ли в порядке, говорил что-то руководящее женщинам. Те, снисходительно улыбаясь, уверяли его, что ни о чем не надо заботиться, они все понимают, зорко за всем следят, храня учтивость и скромность, никому не мешают и будет так, как всегда было у женщин их рода, он, дядя Вася, знает же, что по гостеприимству, умению бдительно и потчевать гостей никакие женщины тквибульской округи с ними сравниться не могут.

Дядя Вася немного успокаивался, просил налить ему бокал вина, подняв его над головой, старался говорить патетические тосты, но дыхание его рвалось, он хватался за сердце, глазами, в которых стояли благодарные слезы, смотрел на нас:

— Я счастлив! Как я счастлив! У меня пятнадцать лет не было гостей! Пятнадцать лет! Пойте громче! Пойте, чтоб все соседи слышали, что и у Василия, у бедного пенсионера Василия, тоже могут быть гости!.. — и зять его, рано начавший сидеть в шахте, где, он сказывал, уголь черный, но мыши живут белые и слепые, трякнув рассыпчато-кудрлатой шевелюрой, сразу высоко начинал: «О-о-о-ой-ее-оо-ля-ля-ле-ле-о-о-ой-я-а-але-ля-ля-о-о-о-ой...» — И мы подхватывали песню, в которой слов было совсем мало, да и те вроде бы ни к чему. Дядя Вася от чувств, его переполнявших, кусал Георгия за щеку и отправлялся на свой сундук.

Было много раз пиито за здоровье хозяина — дяди Васи, который — рассказывала нам тихим голосом дочь — в войну часто отдавал шахтерский паек эвакуированным детям, своя семья, случалось, ложилась спать голодной. Вот тогда часто, очень часто бывали у них гости, ели, пили, спали, и однажды затесался к ним дезертир, неделю жил, всех объел, потом его арестовали, дядю Васю тоже. Но все люди Тквибули знали доброе, слабое сердце дяди Васи, суд пощадил его, вернул обратно в шахту, только премиальных денег и пайка премиального его лишили да послали из забоя на опасные отвальные работы с проходчиками. Но дядя Вася и там не пропал, вышел в стахановцы, угодил на городскую Доску почета. Она, та доска, до сих пор висит возле шахтоуправления, может, забыли снять с нее карточку старого шахтера, может, рука не поднимается это сделать, может, фанеры нет новую Доску почета сделать? Но как бы там ни было, такого работника, такого отца, такого хозяина дома нет больше на всем белом свете! — Рассказывая все это, дочь заплакала, прикрывшись концом темного платка. Георгий закричал:

— Оооо-лёооо-олё-е-ооолё-оо-аа-аа-аа...

— Выпьем еще раз за нашего любимого отцы! — воззвала к застолью учительница русского языка, — она все-таки сносно говорила по-русски. Встречались, вроде журналиста Убивайло, которые почти ни одного слова не знали по-русски, но учат или учатся на «отлично», статьи пишут в центральные газеты, даже учебники по вопросам языкознания писали. В Грузии всякие чудеса возможны.

— Ты... ты — лючий дочь... муш твой — лючий шахтер и певец! — рыдал на веранде дядя Вася, но и рыдая, не впадал в крайности, не говорил, что у его дочери лучший муж, угадывалось — ба-альшой спец по женской части

был Георгий, и, когда после обильной дозы вина бдительность его притупилась, он, зажмурив глаза, отуманенные мечтательной мглой, унесся в сладостные воспоминания:

— Когда я служил на Урале... армия... рядом с нашей частью было женское общежитие пенициллинного завода... тэвять этажей!.. Уральские дэвушки... польни дом! О-о-ой, рябына кудр-ря-авая, сэргу па-адскажи, кто из них ми-ы-лэ-э-эй! — завел он, и стало ясно, что «лучших дней воспоминанья» он до сих пор «носил томительно с собой».

— Мои гости... лучшие гости Советского Союза! — кричал с веранды дядя Вася.

* * *

На другое утро, когда солнце стояло уже почти над головой, но в грязной долине, скрывая хламье и грязь, все еще плавало сизо-серое облако — туман не туман, скорее, нефтяные испарения, местами прорванные скелетами деревьев, что, наподобие музейных ископаемых, упорно брели из долины в горы, вдаль, в недвижный морок, в немоту времен, мы с трудом поднялись и разломались. За круглым столом, в центре которого во время ночного пира стояла чугунная сковорода с жареными пескарями и красовалась фарфоровая суповница с наваленными в нее красными раками, обреченно выбросившими за борт посуды недвижные клешни, с вареными тыквами цвета червленого золота; за столом, белеющим сырыми, с непрременной курицей отнюдь не колхозного выгула и осанки, заваленном зеленью и фруктами, за столом, на котором все время появлялось что-то острое и горячее, то лобио, то сациви, то еще какое-нибудь раздробленное мясо или птица с такими жгучими приправами, с таким перцем, что они сворачивали на бок слабые славянские челюсти, откуда-то, скорее всего от братьев, женщины узнали, что я не могу есть слишком острое, мне подавали и лобио, и горячее, приготовленное в щадящем режиме, — за тем же, но уже прибранным утренним столом, покрытым свежей скатертью, мы попили чаю, кто мог — вина или компота, поели фруктов. Я от всего сердца благодарил этот дом и хозяев его за гостеприимство, за деликатность, поклонился женщинам. Георгия не было, он ушел на работу.

Дядя Вася от волнения совсем сдал. Зажимая разбитую, посиневшую часть лица — неприятно же гостям смотреть, он с мольбой вопрошал Отара:

— Хорошо было, скажи? Хорошо?

Отар обнимал дядю Васю, легонько хлопал его по спине и успокаивал, но успокоить не мог. Тогда и я обнял дядю Васю и громко, чтобы женщины тоже слышали, произнес:

— Только у вас да еще в Гелати я почувствовал, что есть та, настоящая Грузия и грузины, о которых я слышал и читал, но встречал редко, — и еще раз, древним русским поклоном — рука до земли — поблагодарил гостеприимных хозяев, чем окончательно смутил женщин, дядю Васю снова вбил в слезу.

— Если тебя... если тебя... — заливаясь слезами, молвил он, — драгоценнейший мой русский гость, кто обидит у нас, Грузия, того обидит Бог...

* * *

Нет, меня фактически в Грузии не обижали. У меня все еще было впереди, но при мне везде и всячески унижали русских людей. Такие я еще видывал сцены, такие оскорбления, таких форсунов и хвастунов встречал, что более у Отара не бывал, но слышал, что сменил он жену на более молодую, что у него от свежей жены родился свежий ребенок, пятый по счету, если считать детей и от прежней жены, пьесы его, пусть и с заимствованными названиями, с едва подправленным чужим материалом, шли широко по стране. В пьесах сплошь были похожие на дядю Васю герои — добрые и чудачковатые. О других он не помнил и не хотел писать. Прозу со временем и вовсе забросил — трудно и невыгодно. У него уже была роскошная квартира в Тбилиси, затем и в Цхалтубо, в Гвиштиби он наезжал гостем. Грузинские творцы и мыслители, заправила республики умели заботиться о творческих кадрах, в том числе и о молодых. Был хорошо устроен не только Отар, но и женившийся его брат Шалва, и слава старшим людям, грузинским начальникам, что они не позволяли своим деятелям культуры, в том числе и молодым писателям, нищенствовать и умирать в бедности, как в нашей любимой России, вечной мачехе талантливым людям.

Рассказ «Ловля пескаррей в Грузии» был написан несколько лет спустя после того, как я побывал в гостях у Отара и дяди Васи. Напечатан он был в журнале «Наш современник»

№ 5 за 1986 год вместе с рассказами «Светопреставление», «Слепой рыбак», все они о рыбной ловле, в редакции цикла поименовали «Место действия» — не ахти что и казенной отдачей, но меня не поставили в известность, тогдашней редакции нашего журнала казалось, что все ими придуманное выглядит только хорошо и делается во благо русской литературы и авторов-соотечественников.

В первых двух рассказах действие происходит на Вологодчине, где я тогда жил, часто бывал на рыбалке, благо, было еще что ловить. В рассказах этих изображены русские люди такими, какие они есть в жизни, и ничего, никаких претензий с их стороны не последовало. Другое дело грузины, приученные читать о себе сказочки, к лести привыкшие как в жизни, так и в литературе. И рассказ мой был встречен болезненно, прежде всего грузинскими писателями, которым он доставлен был еще в гранках из журнала «Наш современник» с припиской: «Автор оскорбляет грузинский народ». Я не считал три этих рассказа вехами в своей работе, рассказы и рассказы, крепкой уже рукой писанные, где-то смешные, где-то грустные, а о куске, где описан монастырь Гелати, грамотный грузин, и не один, мне писал, что в самой Грузии еще никто не написал и едва ли скоро напишет так, как это сделано в рассказе «Ловля пескарей в Грузии».

Я думаю, что никакой бури не было бы, если бы из редакции не настрочили донос и не насторожили грузинское писательское начальство, давно уже, кроме велеречивых докладов, ничего не пишущее, много пьющее, много говорящее и ничего не читающее.

Собрался съезд писателей. Начало в Кремле. Ну, многолюдство, встречи, радостно, нервно, у меня от старой контузии болезненное последствие, в толпе волнуясь, становлюсь более чем надо бурным и страшно потею. Весь я уже мокр был, когда проходил в президиум, даже пиджак промок насквозь, иду, ищу место, где бы не тянуло сквозняком и не веяло холодом от кондиционеров, изготовленных не иначе, как в чусовской артели «Металлист» моим кумом Саней Ширинкиным. Смотрю справа, а если из зала смотреть слева, в последнем ряду сидит скромник и застенчивый человек Валентин Григорьевич Распутин, рядом с ним свободное место, я плюхнулся на него поскорее, прижался спиной к спинке сиденья, еще ни сном ни духом не ведая, всполошенным встречами с друзьями и знакомыми, растревоженным сознанием не понимая, какую роковую ошибку я в сей миг совершил.

Во-первых, я, оказывается, сел на излюбленное место тоже очень скромного и застенчивого человека Иосифа Виссарионовича Сталина и долго не мог понять потом, отчего у меня ноет поясница, быстро устает и болит задница, во-вторых, это было крайнее место перед лазом вниз на перерыв вождей, заседающих в президиуме, в какое-то им лишь известное место отдохновения и справления естественных надобностей, в-третьих, в дыру-лаз страшно дуло, и я еще чертыхнулся про себя, легкие у меня слабые — не хватало простыть и заболеть в Москве, да и порешил в первый же перерыв уйти с этого, как оказалось, воистину проклятого места, и уже глазом уцелил свободное кресло среди делегации белорусских писателей, между сидевших впереди Гилевичем и Быковым.

Ан было уже поздно! В первый же перерыв съезда идущий впереди всех вождей мирового пролетариата Егор Кузьмич Лигачев, издали мне улыбаясь, как старому знакомому и земляку, и грозя пальцем, не очень уж и строго, с нотками отеческого упрека громко произнес: «О-ох, уж эти мне пескари!» — и обнял меня, первым на пути вождей оказавшегося обормота. Но как Егор Кузьмич мне улыбался, как меня, значит, облобызал, наш глазастый отец и начальник Михалков Сергей Владимирович не видел иль «не заметил», а вот как он мне пальцем грозил, узрел-таки и порешил, видать, что песенка моя спета — вожди наши, когда дело касалось идеологии, шутить не любили и по сию пору не любят, но, может, и другой не менее глазастый и ловкий начальник, отец грузинских писателей Иракий Виссарионович (ох, такое отчество не напрасно дается человеку) Абашидзе уже успел пожаловаться ему и Михалкову. Как бы там ни было, после перерыва в нарушение регламента и планового хода съезда слово было дано дорогому гостю, делегату съезда, секретарю Союза писателей Грузии Иракийю Абашидзе. Он скромно напомнил о вечной и нерушимой дружбе грузинского и русского народов, о тесном союзе творческих сил России и Грузии, в первую очередь грузинских и русских писателей, перечислил имена своих великих поэтов, переведенных на русский язык блистательными русскими переводчиками, и со слезою в голосе выразил скорбь по поводу того, что находятся еще в России люди, к сожалению, даже талантливые, которые хотят поссорить два народа, вбить клин в нерушимую дружбу и назвал мое имя и мой рассказ «Ловля пескарей в Грузии». Тут же выскочил на трибуну «старый, закаленный штрейкбрехер», как его потом назвали в

письме ко мне воронежские писатели, Гавриил Троепольский и тоже со слезой, проникновенно, принес извинение от имени русских писателей и журнала «Наш современник», допустившего идеологическую ошибку, грузинским писателям и всему народу Грузии.

Я не был готов к натиску такого сплоченного отряда защитников передовой идеологии и нерушимой дружбы народов, растерялся, от ошеломления сделался совсем мокрым и решил уйти с проклятого места в президиуме, может, и уехать со съезда и написать письмо о выходе из Союза писателей, умеющего так здорово предавать своих членов и выслуживаться перед начальством, хотя, как потом выяснилось, Лигачев совсем не благословлял их на это и даже попросил более «не акцентировать внимание на этом неприятном инциденте» и продолжать съезд.

В перерыве ко мне подошел саратовец, «наш дед», как мы его звали, Григорий Иванович Коновалов и сказал, чтобы я не обращал внимания «на эту херню», подходили и еще люди, пожимали руку, успокаивали, в том числе подошел и Абашидзе, но уже другой, по имени Григол, прозаик, очень пожилой и добрый человек, неподалеку пил воду «Боржом» тогдашний секретарь российского Союза Юрий Бондарев и возбужденно говорил нервно сгрушпировавшимся грузинам, среди которых сверкал Звездой Героя Труда и Ираклий Абашидзе: «Ну вы тоже подняли бучу! Из-за чего спрашивается? Читал я, читал этот рассказ, ничего там оскорбительного нету...»

В конце того же перерыва меня окружили стройные, красивые люди, сказали, что они из Армении, представили совсем молодого и тоже очень красивого парня, редактора альманаха «Армения», сообщили, что уже заказали перевод моего блестящего рассказа с русского на армянский и напечатать его в следующем номере, если я дам на это согласие. Разумеется, я тут же его дал, это согласие, раз дружба народов существует, значит, ее надобно крепить.

Но это было лишь начало событий, связанных с рассказом «Ловля пескарей в Грузии». Еще во время съезда перенял меня в коридоре совершенно перепуганный, в панику впавший главный редактор «Нашего современника» Сергей Васильевич Викулов и сунул бумагу под названием «Коллективное письмо грузинских писателей» и поинтересовался что делать.

А уже выступил в защиту меня и национального русского достоинства ночь не спавший, больной в ту пору и все-

таки замечательное, спокойное слово написавший земляк мой Валентин Распутин. Меня он не извещал о своем благородном намерении. Белорусы, меж которых я все-таки вклинился, — Гилевич и Быков, пожали мне руку и сказали, что это дело надобно обмыть. Быков, еще недавно беспощадно травимый и на родине, и повсюду за роман «Мертвым не больно», в ту пору мог еще немножко принять, и мы до полночи просидели сперва в ресторане, потом в номере Василя и дружно порешили, что справедливость восторжествует, настоящее слово все-таки победит, все наветы, все беды и разногласия таки сгинут. Главный же наш редактор все талдычил: «Прямо не знаю что делать». «Да печатай ты эту куражливую стряпню куражливых грузинских мыслителей», — презрительно бросил я, и, как бы не уловив ни презрения, ни негодования моего, товарищ Викулов со всех ног бросился в редакцию сдавать в набор эпистола.

Письмо грузинских писателей, из которого в процессе прохождения исчезла половина подписей, сами писатели их и сняли, и сократилось оно наполовину, было тиснуто в ближайшем номере. Более всего меня огорчила подпись под письмом Амирэджиби. По книгам и биографии я знал его как настоящего, много испытавшего мужика, и вот он значится среди задаренных, закормленных, вконец скурвившихся деятелей грузинской культуры. Бог и время ему судья. Я тоже, захваченный суетой, усталый от жизни, ставил и все еще иногда ставлю подписи под письмами, не подумав о последствиях, иногда и не читая их или читая невнимательно.

Реагж на грузинскую коллективку был разный, в том числе и в Грузии. Там как раз шел широкий уголовный процесс о злоупотреблениях власти, о невероятно расхищаемых богатствах республики, о крушении нравов, в том числе и о попрании национальных обычаев и традиций. Мне и в редакцию «Нашего современника» приходили письма, и в газету «Заря Востока», где судебный процесс подробно излагался, из многих писем я выбрал наиболее подробное, убедительное и послал его Викулову, но он, все еще от страха трясущийся, не счел возможным его напечатать: «Ну их, этих грузин, не стоит больше ворошить эту тему».

Ну, не стоит так не стоит. Предал редактор журнальчика своего автора и члена редколлегии, отряхнулся и живет себе дальше, следует намеченной столбовой дорогой русского патриота и защитника русского народа.

А между тем патриотически настроенные грузины не унимались. «Общественность» республики спешила продемонстрировать свою всепроникающую преданность и обличить тех, кто посягает на независимый характер нации, кто ос-

корбляет святые древние узы дружбы двух исключительно выдающихся народов — по радио, телевидению, в газетах, даже на заседании цека республики обсуждали и осуждали мой недостойный выпад, подрывающий доверие к русскому народу, а в книге К. Буачидзе, присланной позднее, почему-то названного в сопроводилровке комедиографом Грузии, под велиречивым названием «Такое длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву и другие послания с картинками в черно-белом цвете», впавший в словоблудную горячку автор аж почти на 300 страницах (чтобы «труд» выглядел солидно, перечислены ее рецензенты — доктор филологических наук Н. Табидзе, кандидат филологических наук Т. Кванчантирадзе, кандидат исторических наук Дж. Копалиани!) тираж книги, которая, как указано издателями, «печатается без какой-либо правки», стотысячный (альманах «Грузия» в ту пору издавался 3—5 тысяч, и вообще, даже выдающиеся авторы печатались мизерными тиражами), в конце книги картинки-портреты вождей советской страны с тоже претенциозными подписями: Сталин — «Утро нашей родины», Хрущев — «Полдень нашей родины» и так вплоть до Брежнева и Черненко — первый удостоился подписи «Вечер нашей родины», второй — «Сумерки нашей родины», и групповой портрет прежних вождей, сделанный еще в 30-х годах, названный «Веселые ребята», и уж совсем ни к селу ни к городу в конце карикатура, на которой грузин везет на тележке собственный живот, и подпись: «Нам, грузинам, вовсе не чуждо смеяться над собой».

И это не все. К книжонке приложена брошюрка, собственноручно напечатанная комедиографом К. Буачидзе, адресованная мне же, а копии В. Распутину, В. Белову, С. Зальгину, В. Крушину и еще «кое-кому»... В сей брошюрке коротко изложено содержание книги с претензией, что вот уже три года назад послал он, К. Буачидзе, в Красноярск «Такое длинное, длинное письмо...», а ответа нет до сих пор и он, автор, не знает, получил ли я его, и вообще, дошел до Грузии, а значит, и до него, до Буачидзе, слух, что я, не читая, бросаю всю корреспонденцию из Тбилиси в корзину. Кое-что я, конечно, читал, но вот книгу комедиографа Буачидзе, действительно, бросил не в корзину, а в ворох ненужного бумажного хлама, который затем увез в деревню растоплять печку. Однако труд Буачидзе каким-то образом сохранился, и сейчас только, восстанавливая рассказ, я посчитал нужным ознакомиться с ним.

За свою уже продолжительную творческую жизнь я, конечно, прочел и перелистал множество книг и посланий вся-

ческих, наполненных пустопорожней болтовней умствующих и «праздно болтающих» грамотеев. Но послание ко мне К. Буачидзе по демагогии, словесному фиглярству и умственному кокетничанью превосходит все, что выдерживала бумага до сих пор, — это старческий бумажный онанизм. Книга превосходит по объему мой злополучный рассказ раз в сто, если не в двести. Болгуну ведь лишь бы повод был поговорить. И хорошо, что я не читал книгу К. Буачидзе до сих пор. В те годы был я пусть и немолод, но еще горяч и непременно ответил бы комедиографу, и послал бы ему рассказ «Ловля пескарей» не в сокращенном виде, и он бы снова написал письмо, да еще подлиннее, и так бы я помог автору еще больше прославиться и заработать не только почести, но и хлеб с маслом. «Всему свой час и время всякому делу под небесами», — утверждает «Заратустра». Комедиографу, как он неоднократно заявляет, уже за семьдесят годочков, ближе к восьмидесяти и скорее всего его уже нет в живых, а рецензенты его, наверняка, и не читавшие книжки с таким нелепым названием и чудовищно-блудным содержанием, где нет слова «в простоте сказанного», уже получили звания академиков и им не до литературных разборок. Дела в Грузии, и не только в ней, идут такие серьезные, что куражиться недосуг, надо жизнь спасать, хлеб зарабатывать, а не выламываться, изображая балетное действие под названием: «Как нас, хороших грузин, обижают русские писатели».

Неделю назад я смотрел репортаж из Тбилиси, где действительно бедствующие люди перекрыли уличное движение, доведенные до отчаяния условиями жизни, точнее, отсутствием той жизни, к которой они привыкли.

«Мы получили независимость, у нас свободная республика, так отчего же русские не кормят нас?» — такое вот высказывание ходило по России в недавние годы.

Страшно и обидно то, что комедиограф происходит из семьи священника, большой семьи, порядочной, непресыщенной. И автор гонениям подвергался, и видел в детстве еще, как комсомольцы-добровольцы прилюдно, на улице, издевались над отцом, стягивая с него рясу, да и сам изведаль чудовищный застеноч Лубянки и строил развитой социализм на просторах родины чудесной под присмотром гулаговских четвероногих и двуногих псов, о чем вспоминает с горечью, и вообще, когда он рассуждает о жизни «дружных народов» под чутким руководством великих вождей и самой боевой и человеколюбивой партии, о правах своего и нашего народа, о морали, литературе, о современном отношении церкви и

власти, о том, куда мы идем, куда заворачиваем, обнаруживается довольно рассудительный и умный собеседник, но вот он вспомнил, что книгу-то ему заказали не ради общечеловеческих рассуждений, а чтоб на основании рассказа Астафьева дать ему и попутно всему русскому народу по мозгам. И опять поза, опять, подбоченясь, выступает фокусник слова и мысли, этакий эстетствующий конферансье, который обязан не только текст рассказа препарировать, но и каждую строку и деталь его обернуть наоборот, и, если упомянут ослик в рассказе, на десяти страницах пояснение о том, что это за животное, где оно водится и почему, что ест и вообще, мол, это библейское животное в России не водится, и откуда о нем знать русскому писателю, или вот колесо в рассказе отчаянно большое и вот тебе о колесе трактат на целую главу, а уж когда дело дошло до женщин, работающих на чайных плантациях, тут уж словесный бурный поток не знает границ, от земель заморских и заокеанских до берегов Грузии хлещет он и об истории чая не только грузинского, но и цейлонского, индийского, а попутно объяснения, почему грузинский чай плохой и отчего женщины мало рожают и рано умирают.

Начитавшись проповедей и отповедей умствующего человека, как бы уж и не в своем уме пребывающего, перестанешь удивляться строке из письма грузинской школьной учительницы русского языка, адресованного мне: «Как ты смеешь, убогий русский, цитировать нашего солнцеликого поэта Бараташвили...» А Буачидзе в тон и вдогонку той мудрой учительнице на многих страницах излагает не стареющую на Кавказе концепцию, радующую душу куражливых идейных джигитов, о том, что, когда мы, русские, еще бродили по лесам в шурах, они уже читали Евангелие, и Буачидзе старательно на нескольких страницах перечисляет великих людей Грузии, прозрачно намекая, что и Петр Великий чуть ли не грузин по происхождению, да и прочие русские приличного вида не без влияния Грузии выросли и в люди вышли.

Закатывая глаза в небо, комедиограф, зарпортовавшись, восклицает: «Может, я старый, глупый человек!..» Да, во многих умствующих наставлениях и отправлениях комедиограф выглядит и старым, и глупым, но расчет был на еще более глупых — обсуждение этой книжонки вылилось в демонстрации неслыханной фанаберии, самовозвеличивания, самоздравия и неслыханного, даже среди кавказцев, хвастовста — долго не умолкали дискуссии в газетах, на телевидении, радио, даже в какое-то постановление обновленного

цека республики угодила шумная и злободневная тема об оскорблении национальных чувств, хотя уже и оскорблять-то было нечего, расторговали на базарах, профорсили, прохвастали товарищи грузины то, что именуется чувствами, да еще национальными, и «для чего стучаться в дом, где никого нет дома», как говаривал славный Роберт Бернс.

Не унимался и грузинский барин Убивайло. Он, нет, не он, слишком он труслив для этого, по подкупу и поручению его, каждую ночь, в два часа ночи, в Красноярске раздавался звонок, и притворно-елейный голос возглашал: «Это говорит доброжелатель из Грузии. Ми твою сэмия — жена, дети, мать, отыц, тыбя скоро зарэжем». Он даже не знал, что «мать и отыц» давно уже зарезаны, со свету сведены «доброжелателями» с другим акцентом, борцами коммунистического разлива, дочери, надорванные счастливой жизнью в стране, где «нет ни рабства, ни оков» и над которой, не утасая, сияет «звезда большевиков», лежат в могиле, старшая оставила нам двоих детей, коих зарезать желающих много, а вот растить, кроме больной бабушки и израненного дедушки, некому. Сына же этому ублюдку не достать, сын живет далеко и при случае постоит за себя.

«Доброжелатель» не знал и того, что я летами живу в деревне, вся его еженощная болтовня падала на жену, перенесшую два инфаркта после смерти старшей дочери. Однажды она, совершенно не употребляющая ругательных слов, сказала «доброжелателю», что он — мудака. И «доброжелатель», подумав, ответил: «Сама ти мудака». Ну, какой тут может быть разговор? С обезьяной можно объясниться только знаками, т. е. на кулаках.

У меня в деревне жили и работали два оголодавших ленинградских художника и сказали, что по переулку ходит, возле ограды крутится какой-то юный, нарядный и румявенький грузинчик. Я им сказал, что это скорее всего начинающий автор из Грузии и хочет он со мною поговорить на творческие темы.

Грузинчик был, хоть пиши с него картинку современно богатого хлыща, весь в иностранное одетый, в замках весь, с цепочкой на животе, как ему, наверное, думалось, из чистого золота. В это время по улицам села бродил с пьяной бабой пьяный мой дальний родственник по прозвищу Козел, только что освободившийся из заключения и жаждущий как можно скорее снова попасть «домой». Сидел он с восемнадцати лет за мокрое дело и возвращался к маме раза три лишь на недельку. Последний срок он отбывал за убий-

ство школьного товарища. Гулял с поселковым отребьем по рабочему поселку, что расположен на горе, и начали они приставать и валить середь улицы девчущку восьмого класса, а на эту пору Юра, мой односельчанин, возвращался с работы и за девчонку заступился. Сначала его кололи ножом, потом топтали и истоптали так, что на мертвого парня не могли надеть пиджак, так переломали ему кости.

За это Козел получил шесть лет и вот явился на краткосрочный отдых. Ходил он по селу с выкидным ножиком, жаждая порешить того, кто ему не понравится. За ним таскалась все та же банда, которую Козел прикрыл, взяв вину на себя. За шесть лет отсутствия пахана своего они совершили еще несколько мокрятников. Однажды, гуляя на берегу Енисея, отчего-то повздорили и камнями забили своего же собутыльника Серегу, а забивши, привязали к нему камень и на лодке сплавили в реку, подальше от берега. Осенью посветлела вода, убитого Серегу нашли и оказалось, что его не только долго убивали, но еще и паяльной лампой причинное место ему палили, предположительно еще живому. Среди бела дня они в своем же поселке беспощадно зарезали мужа и жену, взявши на пропой пенсию, давний ковришко и черно-белый телевизор. Кого-то из них, этих нелюдей, судили и садили, но так они похожи друг на дружку, что казалось, все те же празднуют возвращение на волю своего поделника.

Однажды вечером Козел остановился возле старушонок, сидящих на скамеечке у ворот, долго и мутно смотрел на них, раскачиваясь, и вдруг выдал: «У-у, с-с-эки, припороть бы всех вас!..» А на другой день, возле магазина, вынесло Козела на меня. Ну, думаю, припорет, а он припал ко мне, впился в меня ртом, исторгающим запах недельного перегара, лука, табака и еще какого-то специфически тюремного, нарного аромата. Козел рыдал, и я не сразу разобрал, чего он от меня хочет, обычно пьяницы на бутылку просят, а этот вырыдывал: «Дя-а Витя, дя-а Витя, напиши про меня роман, напиши, бля, я все расскажу, ничё не утаю, это, знаш, какой роман буде! Пусть читают, с-сэки, пусть с-сэки знают, за чо жись моя пропала...» Я сказал, что подумаю, что пусть он, как отрезвеет, зайдет ко мне и расскажет свою жизнь, заранее зная, что некогда будет зайти Козелу ко мне, что не отрезвеет он уже никогда, так пьяного заметут его снова, да и наслушался я уже исповедей «героев» наших дней, тошнит уже от них.

Не дай Бог попасть на глаза Козелу нарядному грузинчику с золотой цепью, ведь забуддыги, что за Козелом бродят,

жаждут выпивки, только выпивки, и они ни перед чем не останавливаются, запросто, с радостью добытчиков заперют иль в Енисее его утопят, как дружка своего Серегу.

Серьезная сторона Сибирь, здесь ходи и не форси богатством.

— Эй, кацо! — окликнул я парня. — И когда он остановился, не давая ему опомниться, спросил, кем ему приходится журналист, может уже и бывший, точно назвав при этом имя и фамилию хитромудрого «доброжелателя».

— Родной дядя, — пролепетал грузинчик.

— Твой дядя — отпетый негодяй, взяточник и вор! Но он дважды негодяй, трижды сволочь за то, что послал тебя сюда, в Сибирь, где сегодня же тебе выпустят кишки здешние орлы. Ты видел их?..

— Исталека.

— Тебе повезло, что издалека.

И я проводил этого несмышленного, на молодую вишенку похожего юношу, по-нонешнему говоря — киллера, на автобус и велел ему немедленно улетать домой и наплевать дяде в глаза, потому что я и сам еще могу постоять за себя.

— Да цепочку-то хотя бы спрячь.

В эти же дни пришло мне, как секретарю Союза писателей РСФСР, приглашение на пленум, посвященный дружбе братских литератур, и я накатал психованное письмо в Москву, но ночью подумал и смягчил маленько его бурный тон. Копия письма, писанного от руки (на машинку я его не отдавал, чтоб не вбивать жену в переживания), сохранилась в деревне, я недавно наткнулся на нее. Вот оно:

*Секретариату правления
Союза писателей РСФСР
(Копия — ЦК КПСС — Лигачеву,
копия — краевое КГБ)
от Астафьева Виктора Петровича*

Благодарю за приглашение приехать на секретариат правления, посвященный дружбе братских литератур.

Что такое наше братство и дружба народов, я немножко знал и прежде, а теперь познал эту тему более углубленно, ибо со дней съезда писателей «братской» Страны Советов подвергаюсь непрерывной травле со стороны младших «братьев» — грузин. По телефону и письменно дорогие «братья» сулятся подослать наемных убийц.

Вдохновителями этой разнузданной и хорошо продуманной организационно кампании, а лучше и точнее сказать, издевательского спектакля, я считаю «отца» российской ли-

тературы (которого не напрасно зовут по Руси — первопроходимцем) — Михалкова С. В. и испытанного в деле доносчика Г. Троепольского, а направителем и дирижером новоявленного идейного вождя Лигачева Е. К.

Ко всему сказанному могу лишь добавить, что я старый солдат и запугать меня не так-то просто, как и убить русского солдата мало, его надо еще и повалить, а вот этого-то я и не позволю с собой сделать.

К нему — Виктор Астафьев — русский писатель.

13 октября 1988 г.,
с. Овсянка

Ни ответа ни приветя не получил я на свое горячее послание, да и не мог получить, письмо мое, брошенное в деревенский почтовый ящик, скорей всего и не покидало родного края, попав в особый досмотр еще в районной, а скорее всего в краевой сортировке. Я об этом так уверенно говорю, что недавно возмущенный действиями правительства, обложившего налогом огороды, дачные участки и клинышки земли, копаемые под картофель, дал резкую и гневную телеграмму в Кремль, в Госдуму и в Совет Федерации, губернатору края.

Неделя проходит, другая, нет мне ни отклика, ни ответа ниоткуда, а, наученный давним опытом, на сей раз я давал телеграмму через администрацию края. Хвать-похвать, а телеграмма-то в администрации и лежит. Чиновница, ведающая почтой, точнее, управделами губернатора, нашла мою телеграмму невыдержанной и резкой по тону и застопорила ее собственноручно. Отправили все же телеграмму, и что же? Получил я отписку из Москвы, по которой выходило, что я не понимаю высокой политики правительства, а по ней выходит, что собравши налоги с владельцев огородов и земельных участков (а это все равно, что посох у нищего отобрать), из этих средств и пенсии будут выплачены, и какой-то фонд пополнится. Дума и Совет Федерации заняты более важными делами, не касающимися прокорма народа, не снизошли до ответа, из администрации края пришло письмо с советом обратиться в поссовет села Овсянки или в администрацию района Дивногорска, авось они придумают что, губернатор же края давно уже находит меня невыдержанным собеседником, да и занят очень. Словом, пиши не пиши — все одни пиши. Нечего и бумагу попусту тратить и гордиться зря.

«Доброжелател» звонил ночью в Красноярск до самой осени. Я уже вернулся из деревни в город и однажды спросил далекого звонаря, что он сегодня кушал. «Что кушел? Что кушел? Все кушел! Это не ваша, вечно голодная Россия, это благодатная Грузия, сдэсь всегда есть что кушать». — «Ну, а все-таки? — настаивал я, — что ты сегодня кушал?..» — «Ну что кушел? Сапиви кушел, парасонка кушел, тыква, кукуруза, фрукта...» — «То-то, — сказал я, — от тебя аж из Батуми до Красноярска говном пахнет!» — «А-а!» — взревел мой абонент, но что дальше говорил, я уже не слышал, отключил телефон, думая, что юмором его-таки доконал. Но назавтра ровно в два часа ночи раздалось: «Говорит доброжелател». И тогда я сказал «доброжелателю», что он хоть и богат, не жалеет денег на переговоры, но по-прежнему глуп как пуп, что вся его болтовня, все угрозы записаны на пленку, а мститель, им подосланный, этот сладенький сосунок, на карточку снят.

— Этого вполне достаточно, чтобы арестовать и судить тебя, подонка, по трем статьям. Только ты не надейся, что судить тебя будут в Абхазии или Грузии, где ты командуешь судами и судьями и, видел я, беременем таскаешь судебные дела, выбирая для взяток наиболее выгодные. И еще, когда тебя загребут, я добьюсь, чтобы срок ты отбывал в Решотах. Ты не знаешь, что такое Решоты? Узнаешь, дорогой, там работают еще сталинской выгучки соколы, еще гулаговской закладки молодцы, и они умеют обращаться с такими, как ты, грубиянами.

С той ночи, как обрезало, «доброжелател» смолк.

А потом был позорный грузинский поход на беззащитную Южную Осетию и еще более позорная война в Абхазии, где грузины были биты маленьким, сплоченным абхазским народом. В этой войне доказали грузины свое явное вырождение, свою полную неспособность даже постоять за себя. Отчего-то самые кровавые бои развернулись в районе местечка Гали, и, думаю, первой там пылала доходная усадьба знаменитого журналиста, уж очень эту продажную шкуру там ненавидели. Где-то сейчас Убивайло ворует и лизоблюдничает? В Москве, поди-ко, там, там не только грузинские, но и все кавказские лизоблюды, бандиты и воры укрылись. Столица нашей Родины была и осталась огромной вошебойкой, в ней прожариваются, кормятся, кровь из россиян сосут, грабят, жульничают, насильничают, кусаются, велятся, жируют вши всех наций и народов. Климат им тут ныне создан еще более благоприятный, чем прежде, во бла-

гостные дни так называемого тоталитаризма и застоя. В Москве же живет и раздобревшая на русских хлебах армянская матрона-поэтесса, которая с трибун обличала русский народ, называя его оккупантом и губителем жемчужины армянской земли — озера Севан, на котором чуть ли не насильно поставлена атомная станция. Пришла пора самостоятельно кормиться и отапливаться, и не только ближние леса, но и бульвары, сады в Ереване вырублены были на дрова. Пришлось просить оккупантов восстановить атомную станцию, иначе вымерзнет Армения. Топливо ежемесячно завозится из России, а радиационные отходы — в Россию, скорей всего к нам, в Красноярск. Обличители же преспокойно живут и жируют в Москве, да дикие бригады строителей рыскают по России, отыскивая себе работу земляную, строительную, и никто их здесь, как и всех прочих националов, не гонит, не обзывает, не обманывает.

Я был депутатом первого созыва Верховного Совета, и при мне происходила уже давно проигранная борьба за отделение от Советского Союза братских республик. И кто только не кричал, не махал руками за трибунами съезда, кто только не куражился, не обличал «оккупантов», кто только не лепил себе в эти шумные дни карьеру, не подгробал под себя власть и деньги. Надменно, куражливо и мстительно вели себя прежде всего вольнолюбивые прибалты, однако ж по куражу никому, в том числе и спесивым прибалтам, детей Грузии не превзойти.

Новые веянья, новые государства, новые флаги в руках делегатов съезда — украинцев, прибалтов и других народов, а сознание-то еще старое, привычка говорить, не вникая в слова, прежняя, и во: ляпают, и ляпают ораторы — Киргизская, Казахская, Узбекская, Грузинская социалистические республики — и наконец, с последних рядов не просто румяный, но алый весь, как южный помидор, молодой грузин кричит: «Прошу реплика!»

Дают грузину реплику, и он, не спеша, полный достоинства, идет целый километр по залу. Съезд ждет, президиум ждет, а он идет и идет себе, не прибавляя шага, взошел наконец на трибуну, осмотрелся, водички из стакана отпил и произнес:

— Я сообщаю дорогим депутатам, что отныне нет никакой социалистической республики Грузия, а есть республика Груз-зия! Прошу не путать! — и пошел обратно все тем же медленным шагом, все с тем же достоинством на алом лице. На задних рядах раздалась два аплодисмента — апло-

дировал пожилой, но тоже румяный грузин и тощий, весь седой чеченец, который во время войны Чечни с Россией недолго побудет во главе какого-то правительства и исчезнет куда-то бесследно и навсегда.

А малый тот, что поправлял съезд с трибуны насчет наименования своей родины, сделал-таки карьеру. Разика два я видел его по телевизору рядом с бывшим членом политбюро, а ныне новым царем Грузии — Шеварднадзе.

Но пока еще воцарится и взберется на трон Шеварднадзе, по Грузии прокатится краткая и самая позорная гражданская война, будет, конечно же тайно, убит законно избранный первый президент свободной республики Грузия — несчастный, сам себя заморочивший Гамсахурдия.

Случайно или нет, не знаю, но побывали в Красноярске грузины, возглавлял которых мужик килограммов под полтора, имеющий в Америке какой-то концерн и желающий наладить деловые связи в Сибири и только что посетивший родную республику, так вот, держась за голову, качаясь из стороны в сторону, он со слезами говорил:

— Они до чего дошли! Когда из Зугдиди и его окрестностей, где был блокирован Гамсахурдия со своим отрядом, народ убегал от бойни и через горные хребты старался проникнуть в древнюю Сванетию, самую древнюю и благородную землю с добрым и благородным населением, беженцев встречали в горах свои братья-грузины и грабили. Они детей, грудных детей, нагих бросали на снег! Детей!.. На снег!.. Вот до чего можно опуститься, вот что делает самолюбие и бесчеловечность!..

Я видел по телевидению информации-картинки о преступлениях во время войны в Грузии, где старательно читали Евангелие и когда-то молились Богу, в том числе и рассказы потрясенных беженцев слышал, но Бог, которого потеряла эта земля, все-таки есть, Он все слышит и видит, и как бы от Него ни закрывались и ни отрывались, все равно найдет и накажет всякого, кто живет не по Его заветам. Вон главного богохульника и преступника Сталина-Джугашвили Господь нашел и покарал уже мертвого, и живого карал страхом, негодными детьми, бессонницей, болезнями, да он по тупости ума не понимал этого, искал и находил врагов вокруг, свертывал им головы, как курицам с насеста.

Доставала и еще не раз доставала меня грузинская история, порой в совершенно неожиданных местах, в самое неподходящее время.

В Питтсбурге, например, в самой то есть Америке!

Был я там с каким-то пестрым сообществом, на каком-то широком и умном толковище о мире, житье-бытье человеческом и о всяких серьезных делах, происходящих на земле. Делегация состояла из полста человек, да к ней примыкали 250 советских туристов, и все это сборище, ринувшееся на толковище за океан, возглавляла обаятельная космонавтка Валентина Терешкова, уже наторевшая вести подобные мероприятия с чувством, толком и расстановкой.

Американцы, еще не уставшие от говорилен и толковищ, охотно посещают всякого рода собрания, а тут еще и ведут разговор известные не только в Америке, но и за пределами ее комментатор Донахью и бывший американец, а ныне правоверный россиянин Познер. Толково, интересно ведут и на приемы достаточно время оставляют. Приемы субсидируют американские буржуины и самолично у дверей ресторана гостей встречают, ручки им пожимают, и номер на билете проставлен, где тебе сидеть положено, и гости расположены за столами так, чтобы могли общаться на каком-то — русском, французском, чаще на английском языке.

День говорят, два говорят и желающих говорить, а тем более гулять за счет буржуев не убывает. Контактная, обаятельная, привлекательная, упорно не стареющая Людмила Гурченко скисла вдруг — слова ей не дают, она ж, что говорить, что петь, что плясать...

Я за дни совместного толковища сдружился с чудесными парнями-космонавтами Анатолием Соловьевым и Андреем или Алексеем Дьяченко, много гулял с ними по улицам, приставал с расспросами, они хохотали надо мной, как над дитем несмышленным, а я хохотал, слушая их рассказы. Вот ихто и попросил я походатайствовать за Гурченко перед главой делегации. И они походатайствовали, и Людмила Марковна так выступила, что всю говорящую хевру и нашего, и американского роду в углы загнала, и на радостях, окрыленная, решила собрать компанию в своем роскошном номере, сказавши напрямую: «Ну их, этих буржуев!» — и такую ли пеструю компанию собрала, и столько ли народу в номер понавалило, что уж кто и на полу сидит, кто и на коленях друг у дружки приловчился.

Шум, гам, свободная стихия!

Но кто не пьян и табаку не терпит, скоро сморились, расплзлись, кто потрезвей и поостроумней, за столом ораторствуют, анекдоты и бывальщину травят. Возьми меня черт и дерни за язык, траванул я анекдот на «грузинскую тему», да, видимо, не в лад с патриотической национальной темой,

как тут же тусклая и почему-то тощая женщина, вся пепельно-серого цвета, совсем никем не замечаемая и не привечаемая, сверкнула глазами из затемнений и, едва разжав тонкие бесцветные губы, произнесла:

— Вам еще мало того, что вы оскорбили весь грузинский народ? Надругались над нашими национальными чувствами? Мало?

Неловкая и недоуменная тишина наступила в номере.

— Кто это? — шепотом спросил я у хозяйки, и она ответила, что это жена ответственного работника цеха Грузии. Я уж и спрашивать не стал, отчего и почему она оказалась среди почтенной русской делегации и тем более в гостях среди шумной и гулевой компании, но вспомнил, что уже давно никакая советская делегация за рубеж не обходится без представителей грузинской элиты или партийной номенклатуры, и лишь корректно заметил, что сразу вот от имени всего народа такое заявление.

— Он, что, народ-то ваш, поручил вам отстаивать свои интересы?

— Да, поручил, — последовал незамедлительный ответ.

— Так народ или кэгэбэ? И интересы или амбиции велели вам отстаивать?

Обстановка накалялась, назревал скандал, и хозяйка номера, чувствуя это, подскочила со стула, высоко взяла бокал с вином и провозгласила тост за всех пьющих и мыслящих, что-то разухабистое запела, редкие уже гости облегченно подхватили, запели, заговорили, и конфликт незаметно исчерпался, и когда ушла, и куда делась номенклатурная грузинка, обликом смахивающая на древнюю схимницу, неизвестно. Более я ее не встречал ни в Америке, ни в пути домой.

Зато спустя небольшое время, будучи на острове Патмос в Греции, находился я в пещере Иоанна Богослова, благоговейно внимая всему, что здесь говорилось и молитвенно воспевалось, как вдруг в тесноте пещерной заколебались свечи и сделалось еще теснее от спустившегося вниз по каменным ступеням народа в черных богословских одеждах, впереди которого шел человек с большим золотым крестом на груди, с ярким светом в глазах, с открытой приветливостью на лице и с красиво подчеркивающей изящество кудрей сединой на висках. Осеняя всех кряду крестом сложенными перстами в дорогих кольцах, он без всякого подобострастия припал к руке европейского патриарха, уже молившегося в пещере, и тот вознес над ним в благословении худую старческую руку.

В тесноте и в духоте долго было выдержать невозможно, все мы вышли на улицу, и, услышав русскую речь, грузинский католикос (патриарх) Илия спросил: что за русские? Откуда тут взялись? Отец Ириной, сопровождавший меня, сказал, что он серб, а русский вот этот вот отрок, писатель, и, между прочим, это именно он написал всюду, особенно в Грузии, нашумевший рассказ «Ловля пескарей в Грузии».

— Зачѐм пишешь, что не нужно? — не меня приветливости в голосе и на лице, спросил святой отец, и мы еще перебросились двумя-тремя фразами, из которых я заключил, что рассказа моего он не читал, и вообще читать ему светскую макулатуру некогда, и мирскими делами заниматься недосуг.

Видел я католикоса Илию мельком в телевизоре во время свалки и гражданской войны в Грузии, ох, как сдал, как постарел он, осунулся, похудел, ссутулился и весь словно куржаком покрылся. Нелегко даже пастырю укрощать словом и молитвою народ, ереси хвативший и забывший про Божьи заветы.

И чтобы закончить с «грузинской темой», расскажу еще об одной встрече, которая случилась совсем недавно в Москве, в Детском фонде, возглавляемом моим давним знакомым Альбертом Анатольевичем Лихановым. Он решил в издательстве «Дом», принадлежащем фонду, печатать это вот мое собрание сочинений и торговался с сибирским издательством, сие издание затеявшим и замариновавшим, но пришлось мне все же и из «Дома» перебраться в Красноярск. Работа над собранием сочинений большая, трудоемкая, требующая постоянного присутствия, контроля и помощи автора, да и спонсоры наши, на посул легкие, что-то заколебались, потом и вовсе заперлись в больших кабинетах, даже на звонки не отвечали. И вот, значит, сидим мы у Лиханова в богатом кабинете, в роскошном особняке поэта Федора Тютчева, который усилиями Лиханова и на средства Детского фонда постепенно восстанавливается, обретая благородный облик и соответствующий памяти Великого русского поэта благолепный вид. Сидим, значит, втроем, еще Валентин Свинников, тоже успевший потрудиться на ниве «Нашего современника» замом главного редактора и теперь вот помощником большого начальника по печати состоящим, пьем чай, коньячком приचाщаемся, печеньями закусываем, как заглянула чем-то смущенная секретарша и попросила своего начальника в коридор. Скоро Альберт Анатольевич возвратился и, тоже смущаясь, сказал, что в коридоре сидит секре-

тарь, или, уж по-нынешнему, руководитель грузинских писателей и Христом Богом молит меня повидаться с ним.

В кабинет вошел мужчина неопределенных лет отчего-то в одежде, напоминающей монашескую схиму, и в шапке-ушанке почти эковского достоинства. Он стянул за ухо шапку и сказал:

— Я давно хочу увидеть вас и, когда узнал, что вы в Москве, бываю по делам в Детском фонде, набрался нахальства приехать сюда. — Гостю предложили раздеться, сесть за наш наспех сервированный столик, налили рюмку коньяку, и он, прежде чем выпить, поднялся со стула и сказал:

— Нет, нет, я не буду утомлять вас традиционным грузинским тостом. Я приехал сюда затем, чтобы извиниться перед человеком за всех нас, неразумных, попросить прощения у старого, израненного солдата, которому добавили ран и горя мои спесивые земляки. Прости нас всех, Виктор Петрович.

Не менее гостя и друзей моих смущенный, я махнул рукой:

— Да что там, русская пословица гласит: «Кто старое помянет, тому глаз вон».

— Но еще одна русская пословица гласит: «Кто старое забудет, тому оба вон».

Мы дружно выпили коньяк, и тихо, печально гость наш поведал о делах в родной республике, о том, в какое бедственное положение попала грузинская культура и в первую очередь грузинские писатели, привыкшие сладко кушать и мягко спать. Многие из них просто умерли, в частности, ушли в мир иной и большинство тех, кто подписывал письмо в «Наш современник».

Не понимая, чем может кончиться очередной спектакль или очередью взбрык, ведомые тем же Ираклием Абашидзе, непомерно гордые собой грузинские писатели сложили в коробку триста пятнадцать членских билетов, не написав ни слова, презрительно отослали их в Москву, еще не осознавая, что триста из этих членов Союза писателей жили, питались и фасонили только за счет членских билетов, и скоро оказались в изоляции друг от друга, в одиночестве, без средств к существованию.

— Вот создаем новый, свободный Союз писателей Грузии, пока это неприглядное, жалкое зрелище.

А я слушал грустное слово этого смиренного, печального человека, изо всех сил сохраняющего достоинство, и мне виделась далекая вологодская полуумершая деревушка, чер-

ный, дождем исполосованный человек, который, пожив у меня неделю и убедившись, что я как в Грузии, так и в России уважаю то, что достойно уважения, поименно знаю футболистов тбилисского «Динамо», еще с детства, с «Арсена» и «Дарико», люблю грузинское кино, считаю Георгия Даниэли великим режиссером современности, а Серго Закариадзе, Нодара Думбадзе лучшими, талантливейшими людьми нашего времени, достойными представителями своего народа, но и то, что я не уважаю, и о тех, кого ненавижу и презираю, сохранял и сохраняю за собой право и писать, и говорить, не посыпая текста сахарным песком, и угодливым словом не наряжаю под пирожное говно, потому что как его ни наряжай, ни услаждай, оно, хоть русское, хоть грузинское, хоть еврейское, хоть эвенкийское — говном и остается.

Мой вологодский гость, картинно зажав лицо ладонями — грузин же все-таки, не может он не «гнать картинку», — навзрыд плакал:

— Прости их, неразумных, брат, прости! Ты принадлежишь великому народу, и сердце твое должно быть великим, способным прощать и дарить всем великую любовь и надежду на покаяние и спасение. Этому учил всех нас и учит Всевечный и Всемиловитвейший Господь. Этому учит нас наша проклятая и прекрасная жизнь.

Прощать легче, нежели ненавидеть — нет ныне в моем сердце ничего, кроме сожаления и печальной памяти. И коли по заветам Бога все мы, земляне — братья, храни, Господь, вразумляй и оберегай от бедствий всех нас, детей Твоих неразумных.

Но коли «грузинская линия» исчерпана, не могу я не сказать о «линии» еврейской, возникшей сразу же по угасании кавказских страстей.

* * *

Наступила благодатная пора бабьего лета, художники-ленинградцы, сделав свои работы, вернулись домой. Посмотрел я на копию своего портрета, сделанного выпускником Ленинградской академии Анатолием Набутовым, и вздохнул: укатали сивку крутые горки. Малоознакомый, прозрачно-седой, с глубокой печалью в глазах, больной человек смотрел куда-то, в неведомые пространства. Я, что ли? Не знавал я себя таким. Но ничего, бывало и тяжелее в жизни, отдохну, встряхнусь, попробую в тайгу забраться, на рыбалку съезжу и снова сделаюсь веселым солдатом, каковым всегда считал себя и друзья-приятели меня считали...

Ан не тут-то было! В этой стране под названием Россия если беды-напасти с неба не валятся, люди их на тебя на- шают и, не живя спокойно, другим ни за что спать, а тем более жить спокойно не дадут.

Эпопею грузинскую внезапно сменила не менее подлая напасть — еврейская. Пришло письмо из Москвы от некоего Эйдельмана, у которого я читал какую-то книгу о Пушкине и бойкие литературоведческие статейки на разные околотературные темы.

Эйдельман был опытный интриган, глубоко ненавидящий сегодняшних русских писателей оттого, что вынужден был пастьсь возле трупов русских выдающихся литераторов, он точно рассчитал, кому и когда нанести удар из «новых», наиболее окрепших писателей, чтобы утолить свою давнюю злобу и выместить ее на писателе, которого били, били и не доби- ли. И самое время его, как Эйдельману казалось, уже лежа- чего, добить, чтобы другие сподвижники этого еще не доби- того боялись Эйдельманова пера и постоянно ждали не ожи- данный удар оттуда, откуда он и не ждется. Усидчивый ев- рейский мальчик, наверное, отлично учился в школе, актив- ным был небось в пионерских отрядах, патриотические стиш- ки наизусть декламировал, потом по научной части приударил, к чистым людям — пушкинистам цевловским присосался, даже слух был, и обворовал их архив, дважды в плагиате уличался, да кто ж помнит, какие он грешки совершал на жизненном и ученом пути. Вон их сколько грехов-то творит- ся вокруг, и грешников в нашей драной и пестрой литерату- ре хоть пруд пруди...

Письмецо он писал тщательно, долго, обдумывая каждое словечушко, поначалу про папу репрессированного бегло набросал, потом скромно свою скромную биографию изло- жил, потом, значит, обидевшись за оскорбленных мною гру- зин, за народы за братские, заступился за монголов, бурят, казахов, киргизов и все это как бы мимоходом, все это с изящным, вроде бы легоньким упреком даровитому автору, а даровитому нужно отвечать за слово и дело свое, не писать чего попало и думать надо, хорошо и много думать прежде, чем ручку в чернила макать. Ну и цитатки, конечно, в текст, как же еврей и без цитаток, и не еврей он тогда вовсе, а какой-нибудь эфиоп или даже умдурт.

Мало ли какие письма приходят к писателям и ко мне тоже, и ехидные, и ругательные, и матерные. Будь я в себе и при себе, не хворай, на пределе находясь, скорее всего Эй- дельману не ответил бы или ответил, сосчитав хотя бы до

ста, а я, впав в неистовство, со всей-то сибирской несдержанностью, с детдомовской удалью хрясь ему оплеуху в морду в виде писули страницы на полторы со всей непосредственностью провинциального простака, с несдержанностью в выраженьях человека.

Эйдельману того только и надо было, он того только и ждал. Тут же нацарапал умненький, очень вежливый ответ, заявив, что переписка после моего антисемитского, грубого письма не имеет смысла. Какая переписка-то? Недоумевал я — письмо ученого человека к варвару сибирскому, смеющему именовать себя литератором, и две записки. Но слово-то «переписка» уже было употреблено и дан был ход трем эпистолам в печать, и заходил Эйдельман в героях по Москве, а вскоре и по разным странам. Встречи, выливающиеся почти в митинги, обличения, проклятия антисемитизму, ко мне поток еврейских негодующих писем и обличений, главное из них, что русских-то писателей в Россѣя по существу и нет, Пушкин — арап, Лермонтов — ирландец иль шотландец, Тютчев — из немцев, даже и сам Гаврило Державин из татар, «да и вас копнуть, так больше в вас азиатского и от письма вашего варварством и азиатчиной несет».

После того, как Эйдельмана встретили стоя в зале этэо и вынесли под бурные аплодисменты на руках, да и в академии какой-то тоже триумф произошел, сметливый малый догадался, что это уж слишком, что он рассчитывал на более скромные успехи и отдачу, стал делать вежливые заявления о том, что «переписку» в печать не отдавал, что это его друзья, а друзей у него море, распространили копии и ксерокопии и вот, значит, этакий казус с частной перепиской получился, скандал получился и популярность одного автора перехлестнула его скромные творческие заслуги и возможности.

Вскоре Натана Эйдельмана не стало. Скончался он, едва перевалив за пятьдесят.

Но долго еще катилась «эйдельмановская волна» по странам и материкам. Нахожусь я в Голландии по приглашению издательства «Мехелен», хозяин издательства Ашер развлекает меня и ублажает — он уже семь моих книг выпустил, «Царь-рыбу» издал дважды и особо не загружает выступлениями, умными беседами и прочее. Попросил лишь сходить в Амстердамский университет и поговорить со студентами о чем-нибудь.

Ну, я и поговорил, не особо утомляя студентов. Пора вопросы задавать, и первым поднимается из переднего ряда пар-

нечок с тощей бородкой, в нарочито изорванных шароварах под названием джинсы, нарочито немывтый что ли, какой-то затасканный, золотушный и задает мне вопрос: «Как я отношусь к Эйдельману?» Мне уже доводилось отвечать на подобные вопросы, и я ответил привычно: «А никак. Господь нас уже рассудил.» — «Это в каком же смысле?» — «В прямом, самом прямом.» — «Вот как!» — пожал плечами студент разочарованно и раздраженно и сел на место. Он-то рассчитывал полемику открыть, в теории и высокие материи удариться, тут такой краткий и исчерпывающий ответ.

Были, и еще были письма, послания, журналы «с перепиской», но до больших скандалов и «полемики» дело не доходило. Намечался было скандал все в том же Питсбурге, да умные люди погасили его в зачатке.

Я уже успел заметить, что на приемах, как только хозяин с хозяйкой или распорядитель бала встретят гостей, сядут за стол, произнесут приветственные тосты и вместе со всеми выпьют чего-нито, и гости выпьют, да посидят за столами, начинаются танцы и братание в зале, непременно отворяется что-то вроде буфета, и ловкий малый за стойкой нальет тебе все, что ни пожелаешь и сколько душа твоя хочет. Буржуины, одетые все больше в смокинги и модные вечерние костюмы и платья, заказывают чаще всего виски со льдом, буржуинки — вина. Так с бокалами в руках и шляются по залу и танцуют с бокалами, припивая напитки на ходу и на лету.

И именно в эту пору через вход в зал, никем уже не охраняемый, начинают просачиваться молодцы-ребята, обвешанные фотоаппаратурой, которые и вовсе без ничего. Смешавшись с почтенной публикой, потолковав с кем-либо из гостей, малость среди них обжившись, ребята эти перлись туда, где наливают, и смело указывали куда, сколько и чего им налить. Скоро они уже громко говорили, подсаживались к столикам и вообще чувствовали себя хозяевами пира.

Город Питсбург — штат Пенсильвания, заложен на месте последней битвы Севера с Югом, на слиянии двух рек, называющихся чисто по-индейски — Аллегейни и Мононгахила, которые образуют главную реку здешних земель — Огайо, а она впадает в известную с детства по Марку Твену великую реку Америки Миссисипи с ее притоком Миссури (умели же давать названия древние народы, сами, что конфетки, прилипают к языку!). Помните, мы пели в детстве же песню, сострадая американским рабам, не понимая и не признавая рабства своего: «О, Миссури, Миссури?..»

В этом, по американским меркам, уже старом, ни в чем неповинном городе промышленники, эти акулы империализма, устроили ад крошечный, такой же, примерно, какой устроили в Стране Советов радетели прогресса, борющиеся за счастливую жизнь народа. Американские устроители счастливой жизни народа в Питсбурге расплодили черную и цветную металлургию, коксохимическое производство, машиностроительную и электротехническую промышленность, производство вооружений и боеприпасов, ну, что тебе Череповец при товарище Купцове, ныне яростно борющемся за «светлое прошлое». В Череповце и без того нечем было дышать, так Купцов с такими же, как он, заботчиками дал согласие в издыхающем городе поставить еще и химический комбинат, за что и награду получил, и аж на должность секретаря Вологодского обкома кинут был.

Я видел во вновь построенной художественной галерее Питсбурга картины — трубы, коксовые батареи, домны, дым, огонь, разноцветные химические облака, неба не видать, земли тоже — ну форменный Урал иль тот же Череповец, Каменск-Уральский, Сургут, Губаха, Березники и тысячи тысяч нашинских жизнерадостных городов.

Товарищ Купцов и прочие партийные выдвиженцы были временщики и знали, что, погубив город, край, Урал или Сибирь, они за те заслуги будут повышены в должности и, вполне возможно, попадут даже в Кремль и сделают ручкой народу с трибуны мавзолея. А вот буржуйам-то как быть? Они, паразиты, конечно же, и акулы, и воротилы капитализма, и вообще зверье наземное и водяное, да твари-то они все родом здешние, родину свою, и штат свой, и город любят, страдают за них. В Кремль их не возьмут и даже на должность обкомовского секретаря не выберут, им здесь, в родном городе, жить и помирать, а помирать скоро, пусть и вместе с трудящимися, не хочется. И порешили они все эти промышленные безобразия, ими же сотворенные, аннулировать, город перестроить, чтобы в нем можно было не только работать, но и жить.

Во время нашего пребывания в Питсбурге дорезали и отправляли в металллом последнюю домну. Новый, легкий, из современных металлов и материалов построенный город с паутиной дорожных разделок, вознесшихся над улицами и площадями, с зелеными полянами среди домов — все, все утопало в свежей зелени молодых парков, бульваров и рощ, и все это сделано на средства местных толстосумов и просто жителей, обитателей города.

Мэрия города, его общественность, промышленники пошли на государственный скандал, на бурные дебаты в конгрессе и сенате США, ведь в результате ликвидации здешней тяжелой промышленности получалось пять миллионов безработных, вынуждены были закрываться или перестраиваться дочерние предприятия, фирмы и целые синдикаты. Ничто не остановило людей, затеявших перестройку, все немаловажные для страны вопросы государственного и местного масштаба они решили с пользой для здоровой жизни города и процветания штата.

Я видел воздвигнутые художественные галереи и театры, вокзалы и спортивные сооружения, университеты, школы, колледжи, и никакого затора в движении транспорта, никаких проблем, парни и девки валяются на траве возле автобусной остановки, едят какой-то бутерброд, пьют из одной бутылки воду, всюду играют в американский футбол, здесь рубится одна из лучших хоккейных команд НХЛ «Черные пингвины»; прямо в центре города — маленький кленовый скверик, среди которого медная нимфа из медного кувшина льет воду на землю. Сквер этот построен на средства княжны-эмигрантки из России. Все, что у нее было накоплено, княжна завещала городу.

И деньги, скромные ее накопления, не своровали, не пропали, употребили с толком и почетом. Более всего меня умили старенькие, времен Тома Сойера и Гекльберри Финна, трубастые пароходики с огромными колесами то сзади, то по бокам. Все они причалены к весело убранному пирсу разноцветными веревками, все нарядны, во флажках, гирляндах, шариках, и в каждом этаким пароходике то детский клуб, то кафе-мороженое, то танцевальный зал, и что написано, то и есть, стало быть, и кофе, и мороженое есть в наличности. Музыка играет весь день и вечер, дети нарядные веселятся. Вот что получается, как пишет некий Н. Н. Яковлев в книге «ЦРУ против СССР», когда «...принцип, положенный в основу американской государственности — эксплуатация человека человеком».

И вот что получается, когда человека эксплуатирует государство. Уцелел на реке Енисее единственный в мире туер, прикованный к Казачинскому порогу цепью и по цепи аж два с лишним километра таскающий на поводке речные суда вверх по стремнинам. Когда построили новый современный туер, куда я ни обращался, кому ни говорил, чтоб увели в Красноярск эту плавучую реликвию, диковинный экспонат поставили рядом с краеведческим музеем на реке, от меня,

как от назойливой мухи, отмахивались. Мы вон «Святого Николая», на котором Ленин в ссылке следовал и царешко последний куда-то плывал, восстанавливаем-восстанавливаем, опыту нет, денег никто не дает, а ты тут с туером каким-то».

«Святого Николая» все же восстановили, к берегу приковали, в нем славное кафе устроили, в каюте за стеклом из воска вылепленные Ленин и царь Николай смирно сидят, а туер «Енисей», брошенный ниже порога, долго еще стоял, ржавел, потом его ледоходом смяло, на бок уронило и камнями завалило.

Питсбург по расположению очень напоминает родной мой Красноярск, две реки, красивые острова, дивные протоки — умели ранешние люди места для поселений выбирать, умели.

Но на этом вот напоминании о родном городе всякое сходство и кончается. В родном городе дышать нечем, близ города чудовищные, радиацию излучающие хитрушки излажены, одна под землей аж с двумя железнодорожными станциями, от нее тоннель под Енисеем проложен, никому ныне ненужный, дорогостоящий, выше города мощнейшая гидростанция реку запрудила, парит зиму и лето на триста верст, выше гидростанции затоплены лучшие земли края, погублены леса и роскошный растительный мир; в подземке — хранилище атомных отходов, и рядом строится завод по переработке тех отходов, в который везется и тащится смертоносная дрянь со всех концов света. Провели красноярцы референдум о запрещении губельного объекта, в верхах, как при политбюро, прихлопнули глас народа, и президент буркнул: «Строительство будет продолжено, это нужно стране».

Вот тебе и «эксплуатация человека человеком», и глас народа, и демократия по российскому рецепту!

Стою я подле окна, размышляю обо всем этом, городом люблюсь. На этот раз прием происходил в чьей-то богатой резиденции, на высоком холме. Прием начался засветло, и я видел, как расцветчивался чудесными огнями, яркой рекламной город, человеком для человека построенный, город еще недавно бывший душегубкой, как и многие города на Урале, в Сибири, да и по всей России. Только наши города были душегубками, душегубками и остались, в некоторых из них, как и в родном Красноярске, дышать полегче сделалось только потому, что пригасили действительно тяжелую военную промышленность, да ведь поди-ко ненадолго — враги, кругом враги мерещатся и надо крепить оборону.

Пусть все передохнем, зато взпэка будет жив!

Стою я, значит, возле стеклом обнесенного зала, упершись лбом в холодную гладь стекла, люблюсь огнями, городом, особо ярко, разноцветно переливаются, сияют гирлянды огней над детской пристанью, над игрушечными древними корабликами, ко мне тихо и незаметно пристраивается парень — точь-в-точь тот, которого я отшил несколько лет назад в Голландии, и с ходу, представившись московским студентом, продолжающим учебу в Питсбурге, спрашивает, назвав меня по фамилии, читал ли я последний «Огонек» и журнал «Даугава» с перепиской. Парень тоже в драных, но более умеренно, чем в Европе, джинсах, все с тою же жидкой, зато вьющейся бородкой, еще более немытый и нечесанный, может, и на фоне городского великолепия и сияющего золотом и люстрами приемного зала так выглядящий, явно хотел лишить меня одиноких созерцаний и невеселого уединения. Я сказал ему, что «Огонек», с тех пор, как возглавил его Коротич, не читаю, а «Даугаву» и в глаза никогда не видывал. «Напрасно, напрасно...» — попробовал продолжить беседу навязчивый студент, потребляя мелкими глотками виски со льдом из объемного бокала, но тут кто-то подхватил меня под руку и водворил за стол, на место, обозначенное моей фамилией.

В зале танцы, шум, дым, пьяное братание. Я пошел к разливалу и попросил мне налить чего-нибудь безо льда, и направился к столу, как дорогу мне преградил все тот же немытый московский студент и снова пристал с разговором насчет «Огонька» и «Даугавы». Я ему довольно резко бросил, что разговаривать с ним не испытываю никакого желания и, отстранив рукою, ушел за свой стол, где меня подждал ирландец — писатель, когда-то побывавший у меня в Овсянке и благодарно меня вспоминающий за то, что я ему очень помог в работе над книгой о Сибири. Я того писателя и посещения не помнил, и мы вместе начали вспоминать, как это было и сколько же он «изучал» Сибирь, чтобы написать книгу о ней. Оказалось, за полмесяца проскакал он от Москвы до Владивостока, книга уже написана, издана и пользуется большим успехом. «Большое вам спасибо», — сказал удачливый писатель и куда-то упорхнул, и тут же его место занял студент, интересующийся все теми же вопросами насчет «Огонька» и «Даугавы», но надо мною склонился советник нашего посольства, попросил отойти с ним на минутку и, отведав меня в сторону, сказал: «Я так понимаю, что на третий раз вы этому каркающему ворону по русскому

обычаю должны дать в морду?» — «Всенепременно!» — ответил я. «А здесь кружатся и жадно ждут этого момента с десятков фотографов. Как же так? Столько дней идет форум и ни одного скандала. Затеяла было одна бывшая нашинская еврейка бучу, отчитавши Познера за то, что живя в Америке, он говорил одно, вернувшись в эсесер, говорит другое, а вот на форуме говорит третье, но народ, настроенный на мировые проблемы, счел тему частной и не подхватил ее.

Так что, Виктор Петрович, самое время ехать в «Вигвам», так в переводе со здешнего называется ваш отель и продолжить беседу там...»

Мы и продолжили беседу в «Вигваме» до очень позднего часа. Разбредаясь по домам, собеседники мои, чтоб мне не скучно было, оставили включенным платный секс-канал, но я сразу же, не глядя на крутой секс, уснул и по выезде из отеля без сопротивления заплатил семьдесят долларов за неполученное сексуальное телеудовольствие.

* * *

Вскоре после возвращения из Америки я получил пакет на деревенский адрес, а в пакете журнал «Даугава» с «перепиской», сопровождаемый вступлением «цехового» характера, к эйдельмановой переписке добавилось три письма, якобы писанные мной и покойным уже Эйдельманом, но это меня уже как-то мало занимало и трогало. Я уже впрягся в большую работу, а никто и ничто мне помешать не может, когда войду в работу.

Позднее достанут меня еще из американского города Бостона свившиеся там в змеиный клубок истинные русские писатели, напавши на рассказ «Людочка», делая по нему заключение, что я и прежде писать не умел, судя по этому рассказу — и вовсе разучился. Но к этой поре я уже хорошо знал, что еврей на плохо сделанное русским не нападает, да и в стране уже «Людочка» была признана лучшим рассказом года, мне даже присудили тысячу рублей за него в «секции рассказа» при Союзе писателей, но деньги затерялись, видно, те, кто присуждал, и пропили ту тысчонку во имя процветания русского рассказа.

При встрече и знакомстве со мною в Риме редактор журнала «Континент» Владимир Максимов, смущаясь, говорил, что не хотел печатать гнусный выпад злых бостонцев, но стоило ему отлучиться, его помощница Горбаневская сунула все-таки в номер статейку. Там же, в Риме, я видел эту Горба-

невскую, позднее читал и стихи ее — невзрачен автор, хотя и гордится собою и имя диссидента носит, как медаль во всю дряблую грудь, еще более невзрачны и потасканы многими посредственностями стихи ее.

Было и еще было всякое со мною, как и во всей литературе, но мне хотелось бы в заключение потолковать о журнале «Наш современник», которому я верой, делом и правдой служил много лет. Что же он-то, родимый и уже немолодой, недавно справивший свое сорокалетие и очень себе порадовавшийся и достижениями своими похвалившийся?

И я послал приветствие журналу и, возможно, не вернулся бы к этому изданию, если б не самовосхвалительные юбилейные воспоминания в нем бывшего главного редактора Сергея Васильевича Викулова, в которых он в подражание кавказцам захлебывается от упоения, представляя себя лучшим редактором лучшего журнала, неутомимого борца и страдальца за правду, за слово и совесть русскую. Беру на себя смелость заявить, что я хорошо знаю этого человека, гораздо лучше и больше, чем он об этом думает. По природе своей он скрытен, но довольно умен, работающ, не лишен простодушия, порой и доброты, однако крепко усвоил от вологодской породы одно ей шибко свойственное качество — лукавство и не всегда, судя и по воспоминаниям, различал и до се будто бы не различает грань между лукавством и предательством, между хитростью и приспособленческой ложью.

Ему бы быть вечным парторгом, но хлебные эти места, где можно делать вид, что ты сгораешь на работе и ничего не делать, всегда у нас были нарасхват, хотя Викулову не раз в жизни и удавалось вклиниться в идейные, руководящие ряды партайнгеноссе. Пусть маленький, пусть рангом невысокий, а все же штаны назад пуговкой, как у настоящего комиссара.

Вологжане, не все, а писательская братия в особенности, как-то равнодушно и даже наплевательски относилась прежде к слову «начальник», и никогда в писательской организации не было желающих занять должность секретаря, то есть сделаться этим самым начальником. Но Викулов вроде бы и родился для этой должности, с нее и на Высшие литературные курсы уехал. Я был как раз в командировке от журнала «Урал» в Заполярье, и там меня достала телеграмма, что зачислен я на Высшие литературные курсы. Я опоздал на полмесяца в Москву и застал уже Викулова старостой нашей группы, вскоре он сделался и парторгом Высших литературных курсов, был вроде бы всегда себе на уме, бытовал от-

дельно от сокурсников, водку не пил, все где-то заседал, идейно закалялся, да и писал в эту пору, сочинительствовал довольно активно. Поэт он средней руки, плодил стихи и поэмы по выкройкам соцреализма, но стихи иногда у него получались довольно глубокие, не чуждые порой высокого и чистого тона. Чтобы не быть голословным, перепишу одно из его тогдашних стихотворений, авось и ему, и читателям напомню, что не был наш староста и парторг лишен поэтического дара. Стихотворение называется «Поэт».

Поведай тайну мне, природа:
Ты, в череде бегущих лет,
Зачем кого-то из народа
Венчаешь званием — Поэт?
И наделяешь даром скорби
И ликования, любя?
И мне ответил голос горний:
— Затем, чтоб выразить себя.
Поэт — мой слух. Поэт — мой голос.
Он говорит — я говорю.
Поэт — мой самый спелый колос
Из тех, которые творю.
И самый хрупкий и ранимый,
И самый твердый... Если ж — нет,
Ищи ему другое имя —
Любое! — это не Поэт.

Беда тут заключается в том, что сам автор этого превосходного стихотворения никогда не следовал, не внимал своим поэтическим постулатам, он всегда был ниже своего слова, дешевле своего пера — парторг мешал поэту, жажда быть начальничком постоянно подставляла ему коварную подножку, так после высших курсов, вернувшись на Вологодчину, наметившись на писательский трон, пишет он длинное и безапелляционное стихотворение о том, как не любит и презирает прогнившую нашу столицу и так ли любит, так ли лелеет свою родину, которую не он, а другой, более пронзительный поэт назвал «тихая моя родина» — лучше, возвышенней и святее не скажешь! Так вот он, Викулов, любит свою родину, ее пашни, леса, болота, реки и озера, что во веки веков ее любить будет и ни на какие края, тем более столицы, не променяет... и через неделю-две тихонечко, никого об этом не известив, перемещается в Москву — в столице предложили должность заместителя редактора журнала «Молодая гвардия», которым в ту пору правил редактор, коего сподручней назвать корешем-выпивохой. Говорун, бездельник из комсомольского высокого сословия. Ему нужна была рабо-

чая лошадь, и он ее нашел, уж чего-чего, а работать в качестве тягловой силы деревенского парня Викулова учить не надо было, но и тянуть в качестве пристяжного воз ему тоже не с руки. И когда ему предложили должность редактора почти погибшего журнала «Наш современник», он, не мешкая, согласился, вероятно, делая заранее продуманный решительный шаг — скликает под знамена затухающего журнала самых даровитых и талантливых писателей России — момент подходящий, тридцати и сорокалетние творческие мужики, большей частью из провинции, на самом творческом взлете играют творческими мускулами, горят желанием спасти родное слово, поднять родную литературу на недосягаемые высоты и бродят, ищут пристанища не только они, молодые соколы пера, но и самая талантливая автура «Нового мира», вновь поверженного и разогнанного.

Да, дела в журнале пошли ходко и все на подъем, на подъем, стремительно росли тираж и авторитет журнала, менялся его облик, увеличивался объем, редколлегия трудилась в поте лица, часто забрасывая свои личные дела, попускаясь своими замыслами, и, когда на верхах спохватились идейно направлять, значит, обуздывать набравшее ход, довольно строптивое издание, сделать это было уже непросто.

И сотрудники редакции, и редколлегия, и главный редактор уже обрели не только опыт работы, но и некую гибкость позвоночника, столь необходимую в ту пору, и лукавство, хитрость, порой подвидность нашего редактора, вроде бы были тут как нельзя к разу и к месту. Правда, не удавалось пока добиться той высокой журнальной культуры, о которой все мы мечтали, от журнала все еще веяло и до сих пор веет порою вонючим духом хлева областного альманаха, провинциальность, привнесенная писателями-провинциалами, столь необходимая в ту пору, чтобы развеять столичную вонь тройного одеколона и всю эту парикмахерскую затхлую атмосферу. Но не они, толстые или тонкие журналы столицы, заполненные литературным идейным мусором, беспокоили, рвали и до се врут душу редактора «Нашего современника», а «Новый мир», который, какие бы времена ни переживал, какой бы редактор его ни возглавлял, ниже той культуры, каковую когда-то обрел, не опускается. Видно, культура и аристократичность, как и красота, — материи устойчивые, и если они есть — так есть, а нету — так и нету. Ну вот взять хотя бы такую малость — корректура. Вроде бы имеешь грамоту и читай тексты, вылавливай ошибки, ан эта кажущаяся простота, распространившаяся в безграмотной советской периодике и прессе, постепенно вытеснила не только культуру самой корректуры, но и просто грамотность. Я уже пи-

сал в комментарии к одному из томов этого издания, как неряшливо, безответственно печатался журнал «Молодая гвардия» — в нем ошибок было что вшей в шубейке улично-го бродяги или в кальсонах фронтового вояки. Не лучше дело обстояло и в «Нашем современнике». Ругались, писали, орали, матерились, зубами скрипели, кулаками об стол били — все без толку, что не номер, то и куча блох, т. е. ошибок, в тексте. Журнал-то печатался в типографии газеты «Красная звезда», а какой может быть спрос с военных? Для них главное, чтобы Сталина не превратили в Сралина, как это случилось в одной из типографий, за что она от мала до велика и понесла заслуженное смертное наказание.

Как же удавалось среди эдакого хаоса безграмотности выходить «Новому миру» без ошибок и вообще, как ему, давимому, ловимому, притесняемому со всех сторон, удавалось, пусть и с большой, порою, задержкой, выходить к людям и быть читаемым нарасхват, от корки до корки?

Об этом ныне уж много известно, много написано и рассказано, повторяться нет надобности. А вот быль или легенду о корректоре «Нового мира» я повторю со слов Лакшина, верного и даровитого помощника Твардовского в «Новом мире». Якобы где-то и через кого-то Александр Трифонович разведал, что в Москве здравствует корректорша, работавшая еще у знаменитого издателя Суворина, и он ее отыскал и уговорил читать журнал, один журнал в месяц. И ничего больше.

Прошлым летом я общался с уже великим певцом, земляком моим Дмитрием Хворостовским. Так вот, он, имеющий могучий голос, набравшийся уже высокой вокальной культуры, перед концертом сутки не издает ни звука, не только не поет, но и не разговаривает, старается избегать всяческих общений.

Профессионализм! Высочайший профессионализм, которого не хватало не только в нашем возродившемся журнале, но и во всей советской стране, во всей нашей жизни.

Сам профессионал в своем поэтическом и редакторском деле, высочайшего взлета профессионал, Твардовский, бывало, и больной, и с похмелья пешком по Москве чапает, но машину свою за корректоршей пошлет, и она служила верой и правдой Великому журналу и, почитая великого поэта, помогала ему в нелегком журнальном деле.

Думаю, что корректорша еще суворинского закала не просто читала ей порученный текст, но создала какую-то культуру корректорскую, прежде чем оставить сей мир, потому что печатная продукция, выпускаемая издательством «Из-

вестия», до сих пор отличается грамотностью, хотя в том же «Новом мире» стали проскальзывать и ошибки, реже, правда, чем в том же «Нашем современнике», но проскальзывают.

Однако неприязнь этого журнала, закоренелая, давняя, не только из-за этого происходит, она еще и потому укоренилась в «Нашем современнике», что Твардовский поэтов уровня Викулов—Куняев на порог не пускал. Посмотрите воспоминания Викулова — они же ненавистью дышат к лучшему журналу страны, и якобы ненависть эта обусловлена тем, что журнал антирусский, жидовский.

Печатались и печатаются в «Новом мире» и они, пришельцы, клятые с разных сторон и стран, но журнал этот открыл читателю нашей страны и Солженицына, и Абрамова, и Белова, и Лихонсова, и Можая, и Тендрякова, и Яшина, и Овечкина, и Липатова, и Носова, и Семенова Георгия, и Казакова, и десяток других, часть которых уже после разгрома «Нового мира» перешла в наш журнал и поддержала его вовремя словом и делом, честь ему составила.

И еще Викулов очень гневается в воспоминаниях своих на «не тех» коммунистов, руководивших печатным словом в верхах, особенно достается от него тем, кто непосредственно имел отношение к печати и, в частности, к журналу «Наш современник» — Зимянину и Беляеву. Первого я не знал, а со вторым был знаком, и разика два-три он меня «прорабатывал» лично, однако никакой враждебности я от него не испытывал, более того, пересев из цековского руководящего кресла на стул редактора газеты «Советская культура», он изловчился убрать из заголовка слово «советская» и все делал для того, чтобы искупить прошлые грехи. Мне доводилось обращаться в «Культуру» все с теми же моими вечными просьбами помочь провинциальной культуре, бедующим авторам, и ни одной моей просьбы редактор не оставил без ответа и внимания, а двух или трех бедующих в захолустье писателей сделал своими постоянными авторами.

Уверяю вас, что если бы товарищ Викулов попал в кресло Зимянина или Беляева, он бы оказался куда как старательней и гневливей их и тихой сапой переломал бы судьбу не одного писателя и редактора. Недавно Беляев тихо-мирно ушел на пенсию, а Зимянин позапрошлой зимой умер в одиночестве и нищете. Чтобы похоронить этого клятого и переклятого Викуловым партдеятеля, деньги собирали по редакциям газет, и не все их дали, насколько мне известно, лишь новые издания на похороны отвалили столько, сколько отваливают ныне нищим.

То-то! Эти судьбы — другим наука, а пинать лежащего, тем более покойного, даже не все уголовники и урки себе позволяют.

И еще «Нашему современнику» не удалось сделать одну задуманную штуковину, чтобы редакция журнала сделалась пристанью или родным домом для всех приезжих провинциальных писателей. Почти каждый из действовавших да и приезжающих членов редколлегии довольно послонялся по Москве, не зная куда голову приклонить, и хотел, чтоб младшему собрату было легче входить в литературу и существовать в ней. Не получилось. Много причин тому было, долго маялись с помещением, вечно были зажаты в средствах, и характер главного редактора, а также и его помощников сыграл тут не последнюю роль, радели они, отдавали много сил работе, но все же себя любили больше, чем журнал.

Не сразу и не вдруг мы, члены редколлегии, спохватились, что очень часто стал меняться состав работающей редколлегии — особенно не везло с редакцией прозы и поэзии, да и первые замы на должности не задерживались. Викулов — мудрец, мала зарплата. Может, так оно и было, зарплата была действительно не ахти что, но выявились и другие, куда как важные и болезненные причины, — вместе с ростом тиража и авторитета журнала начала расти и его фанаберия. Наш главный в войну командовал зениткой, где в расчетах сплошь почти служили бойцы женского рода, и привык он к женской лестнице, к женскому подхалимажу и прочим заманчивым прелестям.

Увы, некоторые привычки не только пагубны, но и неизбывны. Товарищ Викулов скрепя сердце еще терпел нас, настырных, прямодушных, от него не зависящих. Это он от нас, членов редколлегии, зависел, ну эти приедут и уедут, а вот под боком которые должны знать хрестоматийную мораль: «Любить люби, а ревновать не смей!» Прижился вроде бы в самом трудном отделе прозы и поэзии Саша Карлин, со вкусом парень, работающ, образован, опыт редакторской работы имеющий, но и с чувством собственного достоинства человек, упрям, настойчив, умеет и убедительно отстаивать свое мнение. Подзадержался он в редакции на месте зав. долей других, потом все же не вытерпел рутинной редакционной обстановки, плюнул, ушел в какое-то издательство. После него пошло-покатило, не успевали запоминать завоёванного самого важного и нужного журнала отдела.

Уже отстоялся в редакции и кружочек, небольшой пока, великому не из чего быть, штаты в журнале всегда были не-

велики, кружочек, я бы назвал его — «зенитчиц». И хотя «зенитчицы» большей частью были мужского рода, по лучшим боевым качествам они не уступали тем, кого вел к победе лейтенант Викулов. Странную, жалкую роль исполнял в редакции второй замредактора Альберт Богданов. Есть на племенных конных заводах жеребец с обязанностями подставного, это значит: перед тем как подпустить к племенной кобыле элитного производителя, в стойло загоняют преклонного годами, половую неистовую силу утратившего жеребца, и, как всякая строптивая самка, кобыла, вроде бы не желающая сношаться, визжит и хлещет бедного старикана копытами в грудь, и, когда разогреется, в страсть впадет, к ней, значит, согласно передовому конскому опыту впускают настоящего молодца. Мне доводилось видеть старика-подставника, вся грудь его была в арабских письменах — отметилах кобылиных копыт, взгляд жеребца был жалкий, холопский, недоумевающий, мне показалось, что если б подставник умел додуматься до самоубийства, обязательно бы покончил с собой.

Вот таким «подставником» был в редакции журнала «Наш современник» довольно образованный, работающий, но безвольный человек, над которым бывший командир зенитки как только ни дековался, как только его ни подставлял под удары редколлегии, коллектива, цензуры, вверхустоящих начальников. Плакал взрослый, седой уже мужик, горько и не раз плакал. И когда Богданов, наконец, ушел из нашего журнала и поступил в журнал «Литературное обозрение», где много он добросовестно и достойно исполнял, да, может, и поныне исполняет, свои обязанности, я был за него бесконечно рад.

А в редакции передового, народного журнала постепенно менялась обстановка, редколлегии носили все более мятежный и бурный характер. Товарищ Викулов, уверенно себя почувствовавший на редакторском троне, все чаще и чаще позволял себе вольности и отнюдь не только невинные — наиболее заметно раскол в редакции и редколлегии начался с печатанья романа Валентина Пикуля «У последней черты».

Согласовывая с членами редколлегии те или иные романы, повести, рассказы, иной раз статейки и даже стихи, даже и строчки из стихов, наш хитромудрый редактор вдруг втихоря тиснул в журнале роман в журнальном варианте. Роман этот ныне издан в полном объеме под названием «Нечистая сила», и ничего, земля не обрушилась, и даже обвала нигде не произошло. И тогда скорее всего прошел бы этот роман,

очень невеликих художественных достоинств, незаметно, не будь в нем среди действующих лиц отвратительных евреев, да еще и под своими доподлинными историческими именами. Как говорил герой широко известного американского фильма «Великолепная семерка», что банки в Техасе должны грабить только техасцы, так и нашинские евреи убедили себя и советскую публику, что евреев могут в нашей стране критиковать, даже и мерзавить только евреи, а тут какой-то Пикуль, какой-то журналишко прилюдно срываю рубашку пусть и с исторических лиц еврейского происхождения. Распустились эти русские гои, понимаешь.

То и дело впадающие в яростный антисемитизм великие советские правители затем начинали идти на попятную, выслуживаться перед обиженными, вилять хвостом, заискивать, извиняться и всячески угождать евреям. Был как раз период отката, и тучи надвинулись на товарища Викулова и на журнал, им возглавляемый. Цензура к этой поре и без того мучила, терзала журнал, стало трудно, порой невозможно, печатать честные, путем написанные вещи, и вот наша редакция вздыбила надзорные и идейные партийные конторы, прогневила высокое начальство, журнал притиснули к стене изза, в общем-то, проходной публикации. Не позавидовать было товарищу Викулову. Наши евреи, как я уже писал выше, умеют устраивать травли не хуже грузин, но он упрямился, бодрился, спорил с редколлегией, настаивал на «своей линии», и вот однажды произошла на редколлегии у меня с главным схватка. Стычки у нас случались и прежде, товарищ редактор был уже совершенно уверен, что он создал лучший в стране журнал и может делать что захочет. Все чаще и чаще появлялись в журнале материалы случайные, тенденциозные, как казалось товарищу Викулову, отражающие истинные настроения и характер народа, его величие и страдание, национальные интересы России и попрание их чуждыми стране элементами. Были и в редакции, и в редколлегии люди с главным солидарные, поддакивающие, но были и те, кто настаивал все же на линии подъема культуры журнала, раз уж мы ее, эту линию, наметили, но уже было не до культуры, уже руководители журнала закусили удила.

На очередной редколлегии обсуждался очередной номер, в котором шла разгромная, зубодробительная статья о спектакле по пьесе Шатрова, из его так называемой «ленинианы». Мне этот Шатров и его бесконечная полемическая лениниана, этакое бойкое словопрение жидо-чуваша с врагами, скрывающегося под псевдонимом, происходящим, меж-

ду прочим, от неблагозвучного, но очень уж родственного русского слова «лень», были до лампочки. Но есть же какие-то элементарные правила такта, журналистского и критического профессионализма, и я, естественно, спросил, видел ли кто из редакции хоть один спектакль по пьесам Шатрова? Мне ответили: «А на хера это?» Оказалось, что и автор статьи не видел ни одного спектакля по Шатрову, и пьесу, им критикуемую, где-то лишь прочитал. Это было той последней каплей, что переполнила мое терпение, я рявкнул, что в такой самодовольной и халтурной редколлегии состоять больше не хочу, хлопнул дверью и редакцию покинул. Возле автобусной остановки меня настиг запыхавшийся, взволнованный член редколлегии журнала критик Гулыга и настойчиво просил вернуться в редакцию, ибо «это черт знает что такое».

Каково же было мое изумление или даже потрясение, когда я в воспоминаниях Викулова прочел о том, что Астафьев хлопнул дверью «Нашего современника» из-за рассказа жены, который журнал не напечатал. Вот он уровень мышления бывшего зенитчика и вечного парторга: ищи и лепи самую нелепую, но самую доступную нехитрому разуму причину, и он в нее уверует. С трудом я вспомнил, что да, имел глупость однажды быть нарочным и из Вологды привез в «Современник» и передал в отдел прозы рассказ жены, название которого и содержание не помню, потому как многое из напечатанного женой не прочел еще и до сих пор, возможно, не читал и тот злополучный рассказ. Но секретарил в ту пору в «Нашем современнике» человек неотразимой женской красоты, по фамилии Кривцов, этакое кучерявенькое существо, вечно кривящее тонкие губы в усмешке и острящее на каждом шагу. Оно-то, сие существо, и изобрело остроу на счет ненапечатанного рассказа моей жены, а никакого юмора не воспринимающий вечный парторг истолковал сие всерьез.

Свойство твердо усвоено теми, кого зовут красно-коричневыми, — какую бы нелепицу не изобрел их крючковатый разум, ее тут же полемически припишут «противной стороне» и поверят, что так оно и было, нелепицу ту написал, сказал, сделал именно тот человек, про которого он, красно-коричневый, в данный момент говорит иль пишет.

Преемник Викулова на редакторском посту, верный сын любимой партии товарищ Куняев недавно прислал мне свою книжечку, где подчеркнул строчки с обличением меня за то, что я к расстрелу Белого дома отнесся не так, как он. Я-то

считал и до сих пор считаю, что это дело оголтелых коммунистов, среди которых главными провокаторами были дешевки типа Рудкого, Хасбулатова, а исполнители от рождения мамой ушибленные генералы-дебилы типа злобного, что лагерный пес, Макашова, с одной стороны, убогонького, но тоже злого Грачева, с другой. Красно-коричневые и товарищ Куняев вместе с литературными коридорными проходимцами вроде Проханова и Бондаренко восприняли расстрел Белого дома как счастливый подарок — отныне можно все — гибель сотен миллионов людей в лагерях, в бездарно проведенных войнах, коллективизации, индустриализации, преобразованиях, на стройках коммунизма, в межнациональных конфликтах списать на Белый дом и на нынешний режим, да на «дерьмократов», как красно-коричневые и фашисты всех мастей называют наступившее безвременье и нынешних властителей, хотя я считаю, что безвременье тоже время, а руководители страны, как и прежде, достойны своего народа, как и он достоин их.

Расстреливали Белый дом не из пуколок-зениток, а из танковых орудий немалого калибра. Я как солдат, воевавший в артиллерийской бригаде, хорошо знаю, что получается, когда артиллерия стреляет всерьез, а тут ни один депутат, ни один провокатор не пострадал. Снова, как в старину на святой Руси в смутные времена, дрались паны, но у холопов чубы трещали, снова гибли невинные зеваки и сбитые с панталыку, обманутые, опутанные со всех сторон солдаты и офицеры.

Стрельба — спектакль позорный на весь мир и тюрьма (посидели бы они в своей, доморощенной, советской тюрьме!), а затем и причудливое освобождение из тюрьмы бунтовщиков — все спектакль, все политическое фиглярство, все давно привычная коммунистическая клоунада, на которой руки греют, карманы набивают все те же коммунисты, получая от «новой» власти отступные в виде должностей, мест в Думе или в Совете Федерации, а то и просто на лапу. Так, последнюю взятку в сумме двух миллиардов коммунисты получили из одного только банка за то, что сняли с повестки дня (в течение суток!) вопрос о недоверии нынешнему правительству. А сколько их, банков-то, ныне.

Я знаю, как гnevаются разного рода «патриоты», в том числе и в «Нашем современнике», на меня за то, что я ушел от них в ненавистный им «Новый мир» и не примкнул к красно-коричневой орде, и не возлюбил тех вождей, которых обожает ныне и в качестве пророков печатает «Наш

современник», и прежде всего человека с обликом немецкого фельдфебеля, словно бы специально откармливаемого в стойле цека партии и возле сытого корыта нынешней Государственной Думы, — Зюганова. Он и говорить-то разучился, он лает утробно, словно из пустой селедочной бочки голос его звучит. И президентские выборы он и коммунисты, его двигающие, проиграли из-за этой богопротивной рожи, умеющей только лаяться и провокации устраивать. Иль поклоняться человечку с обликом и умом комнатного мопса, товарища Купцова, разорившего и без того полуразоренную Вологодскую область, личным руководством доведший промышленный гигант Череповец до того, что в нем нельзя жить нормальному человеку, а там, в отдалении, маячит стойкий большевик, посидевший в тюрьме, товарищ Шенин, которого на свою голову вывез из Сибири и посадил на высокую, не по его уму, партийную должность Горбачев. Недавно довелось мне беседовать со здешними ветеранами геологии, и они рассказали, как, встретив краевого царя, представляли ему людей и сказали: «А это вот начальник партии». — «А тогда кто же я?» — испуганно спросил глава крупнейшего в стране края. Во уровень мышления, во масштаб!

Да что уж говорить об этом безумствующем отроде, когда писатель, наделенный Богом большим и самобытным талантом, земляк Викулова товарищ Белов договорился и дописался до того, что призывает русских людей вешать отступников и вообще поступать с ними по-коммунистически. Я получаю из Вологды газеты с его воинствующими бреднями, столь милыми деятелям родной его партии и направителям морали из журналов и газет, подобных «Нашему современнику», прохановского листка под названием «Завтра».

Поступивший в Литинститут с должности секретаря Грязовецкого горкома комсомола, до разгона компартии усердно заседавший в Вологодском бюро обкома, и небескорыстно заседавший, Белов уже не может сдерживать распирающей его злобы, пишет все хуже и хуже, все остервенелей и остервенелей. Большой талант попал в маленькую, ничтожную, слабую плоть, и если раньше как-то еще удавалось ему утаивать чувство неполноценности, то сейчас могущество таланта разорвало эту квелую оболочку, вылезло наружу махонькое существо, любящее всех и вся поучать, обличать, наставлять. Белов очень к месту пришелся бы в тридцатые годы, ходил бы с наганишком по вологодским селам, комиссарил бы, давил и разорял тех самых крестьян, которых свела со свету, сокрушила его родная и любимая партия.

Я уже давно знаю, как он люто ненавидит меня, может, и за то, что еще молодому Белову мне удалось помогать, пытается лягнуть при каждом удобном моменте, но не отвечал и не отвечаю на выпады этого измельчавшего и свой талант в злобе в пепел изжегшего человечка. Говорил ему и всем его сверстникам повторяю, что я старше их на целую войну, значит, на сто лет, и мне не пристало опускаться до них. Но мое молчание Белов и иже с ним, в том числе и товарищ Куняев, вроде бы считают малодушием и трусостью — заигрались в одни ворота фашиствующие молодчики. Надоело.

Моя заметка, так не устроившая бунгарей и «борцов за народ», называлась «Пора работать», то есть не бунтовать, не бегать по улицам озлобленной толпой, потрясая кровавыми знаменами, а добывать свое спокойствие и материальное благополучие трудом.

В той заметке я проклинал коммунистов, сввергнувших невинных людей в очередную бойню, и поскольку коммунисты были и с той, и с другой стороны, то досталось и товарищу Ельцину с его командой.

Я считал и посеичас считаю, что перестройка у нас не осуществилась и не может осуществиться до тех пор, пока топчутся вокруг и вставляют шило в задницу народу и его правителям коммунисты. У них никто не отбирал власть, они ее сами трусливо отдали, потому как привыкли, чтобы подъяремный народ вез свой тяжкий воз, долю свою несчастную без сопротивления и ропота, и при первом же крутом повороте с воза свалились, из зверинца разбежались, но сейчас делают вид, что они хотят вернуться и спасти народ от бед и страданий. От кого спасти? От себя? Ведь все они, так называемые «новые русские» — бывшие коммуняки или их дети и внуки. Но они, коммуно-фашисты, хорошо устроены, снова сладко кушают и мягко, уютно спят, да еще и возможность имеют ругаться, поносить «режим» (это закаленные-то режимники, превратившие страну в огромную тюрьму, в скотозагон!), они никогда не были умными и дальновидными, но, злобно ругаясь, брызгая ядовитой слюной, всячески мешая народу жить и работать, все же понимают ныне, правда, далеко не все, что сейчас им достанется страна не та, что досталась коммунистам в семнадцатом году, и народ достанется не тот.

Страна с почти нетрудоспособным населением, привыкшим говорить «дай», а не «на», «сделайте», а не «сделаем»; страна, где 38 миллионов пенсионеров на 140 миллионов населения, масса больных физически и психически; страна, где

смертность все стремительней опережает рождаемость; страна, где сидят в тюрьмах миллионы людей и еще миллионы целятся туда попасть; страна, где военщина делает вид, что сокращается и перестраивается ушло, при Хрущеве было сокращено 500 тысяч железнодорожных войск и с десятков совсем дряхлых, на ладан дышащих генералов. Ныне тоже уже сделан ловкий маневр, при котором происходит видимость перестройки, и внутренние войска по численности почти настигли регулярную армию, а перекачивание содержимого из сосуда в сосуд, как известно даже по первоначальной физике, не изменяет объема. Страна, где воровство и пьянство сделали нормой жизни; страна, в которой постепенно вымирает или уезжает за рубеж порядочный, талантливый, умный народ; страна, утратившая духовное начало и по-прежнему считающая, что честь, совесть и ум эпохи есть где-то поблизости, но не дается в руки, как склизкая рыбина; страна, захлестнутая пошлостью, с цепи сорвавшимся блудом, давно уже отравленная потоком суесловия и торжествовавшей прежде и торжествующей поныне лжи, полупрофессиональности, лени; страна, ненаученная работать без конвоя и жить без страха...

Все, все отвратительное, страшное, коммунистами сотворенное, приумножилось за годы перестройки. Население наше наглядно доказало всему миру, что честно жить и усердно работать, а тем более что-то перестраивать, налаживать, оно уже неспособно.

Большевизм, закономерно переродившийся в фашизм, истратил свой пламенный заряд на борьбу с собственным народом и не заметил даже, когда и как переломил через колено хребет русскому народу.

Есть, есть хитрованы среди вырождающихся коммунистов, которые не умом, а звериным нюхом чувуют, что с «наследством», которое они получают, ничего им не исправить, тем более не вернуть и не построить. И что? Снова конвой? Снова тюремные стражи и подразделения? Снова рай за ключей проволокой? Но нынче не тридцать седьмой год, нынче голой рукой и на испуг не всякого Якова возьмешь, сопротивление будет, свалка и страшно подумать, каковы ее масштабы. В этой свалке окончательно будет раздавлена коммунистическая гидра и погибнут остатки нашего замороченного, больного народа. Оппозицией, и огромной, будущей коммунистической власти будет не народ, а толпа, стадо, хватившее отравы вольности, разболтанное вконец, предпочитающее ныть, просить, пить, материть власти и ничего не делать.

Великое время добилось-таки Великого перелома, последние десять лет въяве показали, что сделали «спасители России» со страной, с народом, — русский народ неизлечимо болен. Современная путаница и свара лишь подзадержали в круговороте и хаосе наше падение в пропасть, но мы на краю ее, и спасители России, губившие ее на протяжении семидесяти лет, а также патриоты всех рангов и мастей, в том числе и нынешние патриоты из «Нашего современника», все более в секту и в сектантство превращающиеся, в смуту погружающиеся и смуту проповедующие, лишь ускортят гибель несчастного народа и этой, сатаной у Бога украденной страны под благозвучным названием Россия.

Что же касается резюме на воспоминания бывшего главного редактора, лишь мельком коснувшегося «грузинской» эпопеи и разных других эпопей, не украшающих ни имя редактора, ни журнала им возглавляемого, то наряду со всем тем хорошим, что он сделал упорным, порой и надсадным трудом, что вроде бы и не след вспоминать о его предательствах и уловках в слове и деле. Но сколь бы он ни ловчился, ни скользил между строк и фактов своей жизни, смерть того же Юрия Селезнева (и только ли его?) лежит и на совести Викулова, но, судя по его «юбилейному отчету», нисколько ту совесть не давит, не затеняет.

Это мы, наиболее активные авторы и рьяные патриоты журнала, уговорили Селезнева, умнейшего и талантливейшего критика того времени, сойти со спокойного и хлебного места заведующего редакцией «Жизни замечательных людей» в «Молодой гвардии» и пойти первым замом в наш журнал с прицелом, что, когда подойдет срок главному идти на пенсию, он займет его место.

Безмерно преданный родной литературе, образованнейший человек уже был надломлен, тяжело, посидев в советской тюрьме за участие в каком-то краснодарском студенческом кружке, возмечтавшем о свободе слова и совести.

Учась в аспирантуре Литературного института, Юрий поселился в той же комнате, в которой жил я, учась на Высших литературных курсах, и по старой памяти заночевал в обжитой обители. Раза три за ночь Юра с диким криком вскакивал и, молодой, но с черными тенями под глазами и с уже седой пышной шевелюрой, ловил ртом воздух. Я отпаивал его водой, успокаивал. Чем-то он не устроил Викулова, скорей всего тем, что был умней, образованней и талантливей его. Сергей Васильевич был не только старше своего зама, но и хитрей, и ловчей, и коварней его, вот и подставил Се-

лезнева под удар, вот и помог ему слететь не только с должности, но и в мир иной отправиться. И нечего тут вилять, словесами загораживаться, ложь за гробом — самая омерзительная ложь.

Гордящийся тем, что в партию он вступил в огне Сталинградской битвы, Сергей Васильевич, как «настоящий коммунист», ни покаянию, ни самокритике не подвержен, он из тех людей, о которых декламировалось со всех советских сцен, что «гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей», и быть бы ему гвоздем в партийном заборе с колючей проволокой, да вот занесло в литературу, где, по его утверждению, творил он в ногу с эпохой и вел лучший в России журнал к разуму и свету. А по мне так он сделал и хорошего много, и плохого не меньше, хотя в воспоминаниях мнит себя героем на ниве словесности и в борьбе за русскую литературу и национальную культуру, и воспоминания его писаны с точки зрения и позиций «настоящего коммуниста», название той позиции и морали давно всем известно — наглость и бесстыдство.

*Август—сентябрь 1984 года,
август—сентябрь 1997 года,
с. Овсянка*

СТАРОДУБ

Повесть (вариант)

Благословляю вас, леса...

А. К. Толстой

ИЗОТ ТРОФИМОВИЧ

Беленая избушка, напоминающая сказочный теремок, лет тридцать тому назад выскочила на крутой берег и замерла над самым обрывом. Глядит одним окном в беспокойную, кружливую воду Зырянники и все наглядеться не может.

Рядом с избушкой пестрая, как плагбаум, мачта. На вершине ее — маленький блок, отшлифованный до блеска пеньковой бечевкой. На бечевке безжизненно висит приспущенный флажок, излоскутившийся от времени. Издали похоже, что принесло с огорода, притулившегося к боку избушки, лепесток позднего мака и прилепило к мачте. Иголки инея, впившиеся в ветхую материю, делают флажок еще более схожим с завядшим лепестком.

На огороде, пришибленная неожиданным инеем, обвисла ботва картофеля, раскучерявилась сединами морковная грядка, поникли, расклеились по земле листья брюквы, а капустные вилки торчат тугими, дерзкими шишами из грядки.

В дальнем углу огорода погреб, шалашиком поднявшийся из репейника и кустистой лебеды. Над ним свесила ветви узловатая, вся в напльвах коричневой серы и многочисленных надрубках листовень. Ее мягкая, кисленькая на вкус хвоя не успела осыпаться. Иней убелил листовень. Стоит она, боясь шелохнуться, как бедная угловатая девка, на которую впервые в жизни надели праздничное маркое платье.

Что-то зашуршало в бурьяне, захлопали крылья, и бе-

лая пыль за клубилась, как бус, выбитый из мучного мешка. Старый бородатый глухарь с трудом поднялся из огородной дурнины и мягко опустился на нижний сук лиственни. Он обживался на дереве, настороженно осматривался, а из-под лап его и с хвоя, тронутой крыльями, струился дымчатый иней.

По ту сторону Зырянки все ярче и шире растекалась заря. Глухарь нацелился на нее клювом, хвост его развернулся веером, перья на зобу шевельнулись, растопорчились, и он уронил в студеное ослепительное утро:

— Тэк!

Никто не отозвался, никто не подхватил его запева. Лишь с той стороны, из рогатого утеса глядела на птицу, сощурившись, древняя пещера. Глухарь, перебирая лапами, прошелся по сучку и настойчиво повторил:

— Тэк-тэк-тэк!..

Никакого ответа. Глухарь, должно быть, и не надеялся дожждаться ответной песни. Не весна — осень пришла на землю. Он переступал по суку, с разведенными крыльями, хорохористо взъерошив перья, и пел песню каменного века, приветствуя утро, зарю и все живое на земле.

В избушке проснулся бывший бакенщик, а ныне отец бакенщика, пенсионер Изот Трофимович. Прислушался и, натянув сапоги, осторожно приоткрыл дверь. Холодок протиснулся в щель и потеснил из избушки запах угара и квашни.

— Явился! Ах ты, старый гулеван! — прошептал старик.

Глухарь неделю назад перелетел из заречного леса. Рано утром он выходил из кедрача, вспархивал на облюбованную лиственнь и красовался перед зорькой, славил утро как умел. Видно, чувствовал старый токовик, что не дотянет до весны, и спешил пропеть свою уж последнюю песню.

Когда глухарь появился первый раз на лиственни, внук Изота Трофимовича схватил ружье, но дед остепенил его:

— Какая корысть тебе от старикана? Ты послушай лучше.

Внук изумился поведению деда, заядлого охотника, но послушал осеннюю песню глухаря и почему-то опечалился. Каждое утро внук выходил вместе с Изотом Трофимовичем во двор, сидел, молчал. Что-то неведомое входило в мальчишескую душу вместе с этой старинной-престаринной, простецкой-препростецкой песней.

Изот Трофимович уже собрался будить внука, но в это время грянул выстрел. Тутим эхом ударился он о скалы и понесся вдоль реки, сминая утренний покой. Изот Трофимович ринулся в огород и там увидел двух парней. Они гонялись за раненой птицей по грядам. Чубатый рыжий парень совсем было изловчился наступить на глухаря, но тот увернулся, юркнул между жердями и покултыхал к кедровому бору. Парни перемахнули через городьбу и на чистине быстро догнали птицу. И тут глухарь повернулся, зашипел и двинулся на парней. Он шел медленно, волоча перебитое крыло, великий в своем беспомощном птичьем гневе.

— Скажи ты! — воскликнул второй щупленький паренек в лыжном костюме. Воскликнул и отступил на шаг. Рыжий метнулся, упал животом на птицу, смял ее.

Когда Изот Трофимович подбежал к охотникам, глухарь уже был в руках чубатого парня. Птица мелко дрожала и болезненно подергивала шею, пытаясь глотнуть воздуха.

— Докуковался, хрен бородатый! — с радостным захлебом хохотнул рыжий, указывая на птицу Изоту Трофимовичу.

— Глухарь не кукует, а токует! — преодолевая одышку, выкрикнул Изот Трофимович и уставился на парней. — Зачем погубили?

Парни переглянулись между собой. Зачем? Да просто так, услышали, подкрались и шлепнули. Теревить старую птицу, у которой мясо жесткое, как дерево, они, конечно, не будут. Но для чего же существуют ружья?

Собираясь на стройку, парни думали, что здесь, в глухом краю, бродят табуны всякого дикого зверья, и первое, что сделали, — накупили ружей и фотоаппаратов. Фотоаппараты пригодились. Есть что снимать в Сибири, а вот звери и здесь в открытую не бродят. Они где-то в горах, за увалами. Потому и палат новоселы в порожние бутылки, консервные банки и в пичуг, какие осмелятся нос высунуть. Бьют их с озорством и веселой беспечностью. Изот Трофимович как-то сыскал в кедровом бору в прах разбитых дробью самых малых и совсем безобидных птах — синичек. Вздохнул Изот Трофимович, отвернулся от охотников и увидел пещеру на той стороне реки. Белый иней оконтурил ее. Она смотрела, как казалось Изоту Трофимовичу, с ехидным прищуром. Старик резко повернулся и гаркнул:

— Ну, чего стоите? Добивайте!

— А как? — робко уставился на него худенький парень. — Может, выпустить, дедушка?

— На мученья? На медленную смерть?

Изот Трофимович зажал шею глухаря между пальцами, резким движением выкинул перед собой птицу, рванул. Старый токовик содрогнулся в последний раз и вытянул лапы, сложил крылья. Изот Трофимович отбросил глухаря и, не оглядываясь, направился в сторону нового поселка, который вырос за кедровым бором, тесня тайгу.

В кабинете начальника строительного участка Гисзатова былолюдно и накурено. Начальник, прижав плечом телефонную трубку, ругался с кем-то и одновременно подписывал бумагу. Черные волосы начальника на висках припорошены сединой, зачес к левому глазу, нос серпом, в глазах попрыгивают огоньки. Весь он полон нетерпения. Кажется, только на минуту присел в кожаное кресло и готов в любую минуту сорваться.

Знакомство Изота Трофимовича с начальником Вырубчанского участка Гисзатовым началось бурно. Когда развернулось строительство, один бульдозерист заехал в кедровый бор и принялся ронять и распиливать по сторонам деревья. Вдруг появился старик и попер узенькой запавшей грудью на машину. Бульдозерист в объяснения пустился, а старик — с кулаками на него. Тут появился Гисзатов, спросил в чем дело. Старик понял, что это начальник, и, выпустив бульдозериста, схватил за грудки Гисзатова.

— Стой, старик! — закричал начальник. — Говори сначала, потом драться будем!

Глаза у начальника быстрые, как у мальчишки, и улыбка в них такая, что невольно и сам заулыбаешься, встретившись с такими глазищами. Да и в плечах начальник широковат. Где с таким совладаешь? Отпустил начальника Изот Трофимович. Тот портсигар вынул, папиросу длинную — «метр курим — два бросаем» — предложил. Взял старик дрожащими пальцами папиросу и за ухо вложил, как карандаш.

— Не курю... грудь... — пояснил он.

— Отбили. Кержаки. Когда избачом был. Знаю, — сказал Гисзатов и еще больше озадачил старика: — И зовут тебя Изот Трофимович. Угадал?

— Угадал не угадал, а в деревне порасспрашивал. Там помнят, — нахмурился старый бакенщик. — Ты скажи

лучше — почему кедровый сводишь? Я берег кедровый, шишкарый, саранчу эту, гонял. Хотел, чтобы парк середь города был. А ты его под корень! — расходился старик.

— Погоди, Трофимович. Хорошие мысли надо спокойно говорить. Зачем кричишь?

Кедровый бор остался жить.

Гисзатов, закончив разговор по телефону, кинул руку через стол.

— Здравствуй, Трофимович! Ругаться пришел? Вижу. Садись. Жди маленько, отпущу сейчас народ, ругаться начнем. — И, словно забыв о старике, Гисзатов начал шумливо распорядиться. Кого-то побранил, кого-то похвалил. Между деловым разговором укорил молодого мастера, который женился и никого об этом не известил:

— Почему свадьбу зажал? Первая семья получилась у новоселов. Гулять надо! Вино пить надо! Кунаком буду!..

Негодование, скопившееся в душе Изота Трофимовича, поулеглось за эти несколько минут. И когда пришел его черед говорить, он, вместо того чтобы раскричаться, устало молвил:

— Опять озорство... — И рассказал о том, как нашел в кедровом битых птах, и про глухаря тоже.

— Птицу ранили! — воскликнул Гисзатов. — Ух, дураки! Взятся стрелять — бей насмерть!

— Скажи ты мне, пожалуйста, хороший человек, — повернул старик разговор на свой лад, — почему люди, строящие красивую жизнь, не чувствуют природу? А ведь от нее и величие, и красота человека проистекает. От нее!..

— Некогда было. Строили, воевали, дрались. Учить надо! Учи!

— Не умею. Вот был в нашей деревне охотник по имени Култыш. Великой, светлой любовью побратался с тайгой, берег ее. Да-да, берег. Он бы, наверное, научил. А я не умею.

Они еще немного поговорили, а потом начальника вызвали из области по телефону, и он, потрянув руку Изота Трофимовича, бросил уже на ходу:

— Приходи еще. Вечером приходи. Про охотника расскажешь.

Дома Изота Трофимовича ждали девушка и двое мужчин. Они попросили доставить их на речку Азбаш.

— Изыбаш, — поправил их Изот Трофимович и поинтересовался, зачем понадобилось им быть на Изыбаше.

Люди эти оказались из научно-исследовательской эк-

спедиции по разведению рыбы. Им предстояло ознакомиться с местностью, изучить здешние породы рыб, произвести какое-то скрещивание, вывести мальков и заселить будущее море рыбой!

— Но ведь моря-то еще нет! — поразился Изот Трофимович.

— Будет, — твердо ответила девушка, — будет море, будут города, заводы — все будет. И море не должно пустовать, и земля не должна пустовать.

Изот Трофимович охотно согласился проводить этих людей на Изыбаш, и вскоре они уже мчались на полуострове вверх по Зырянке. Изот Трофимович расспрашивал ученых людей что да как, а сам смотрел, смотрел вокруг и силился, да не мог представить, что вот эти острова, эти вот прибрежные кулиги со стогами сена, крутослобые каменные быки уйдут под воду и здесь, в этой теснине, разольется море, которое, по словам приезжих, изменит не только жизнь таежного края, но и климат. Новые породы рыб будут косяками ходить здесь, а в верховьях Зырянки, где море разольется по степям, станут цвести сады, как на юге! Чудеса!

Изот Трофимович был грамотный человек, много читал и по книгам представлял, что все это вполне возможно, однако слишком уж хорошо он знал свой край, слишком уж сросся с ним душой с детства, с тех пор, как начали видеть его глаза; и сейчас вот все это будущее представлялось ему сказкой, хорошей, доброй, красивой, но сказкой.

Два дня девушка и рабочие бродили по Изыбашу, брали воду в пробирки, вылавливали некоторых рыб, потрошили их, спиртовали, подробно расспрашивали Изота Трофимовича. Он охотно рассказывал обо всем, что знал, но про себя думал, что люди эти с чудинкой.

В устье Изыбаша, на угорчике, стоял потрескавшийся на ветру лиственничный крест с одной перекладиной. Приезжие и про крест спросили. Изот Трофимович долго молчал, а потом глухо молвил:

— Фаефан Кондратьевич, по прозвищу Каторжанец, здесь похоронен. Наш односельчанин, охотник. — И медленно добавил: — Про этого охотника да про его приемного сына в двух словах не расскажешь. Я уж потом как-нибудь. Дома расскажу. Здесь не могу.

Они вернулись домой через неделю. Еще издали Изот

Трофимович заметил пароход, причаливший возле его избушки.

С парохода выгружали какие-то механизмы. Изот Трофимович подошел ближе и увидел того самого рыжего парня, что падал брюхом на глухаря. Парень суетился со стягом на мостках и то с одной, то с другой стороны подваживал пузатую, похожую на кабана, динамомашину. Мостки под ней прогибались, сухо потрескивали.

Изот Трофимович схватил доску и торцом подсунул ее под прогибающиеся мостки.

— Утопишь дорогую машину, обормот! — закричал он на рыжего. — Гробить только все мастера.

Парень хмыкнул, налег вместе с ребятами и девушками на грузную машину, и она по скользким доскам сползла на берег. Вскоре пароход был разгружен. Сели курить, и рыжий подмигнул Изоту Трофимовичу. Лицо у него было озороватое, сплошь усыпанное веснушками.

— Не подмигивай — окривеешь, — буркнул Изот Трофимович.

Парень расхохотался и сказал своим друзьям:

— Во, ребята, старикан едучий, спасу нет! Глухаря я у него на огороде шлепнул, так он меня чуть сырым не съел и на начальника нашего, говорят, с кулаками лез, и на Ваську-бульдозериста. А кулаки-то, ох, умора! — И рыжий захохотал, повалившись на спину.

— Пустобрех! — проворчал Изот Трофимович и тут же вспыхнул: — Да вас, сукиных сынов, не кулаками надо, а оглоблей по башкам, чтоб не пиратничали. Глухаря он шлепнул! Кабы только глухаря. Все под корень сводите. Ты вот больно веселый, так я тебе сейчас поубавлю веселости-то.

Он попросил подождать его и засеменял в свою избушку.

Оттуда он возвратился в сопровождении девушки — рыбного специалиста.

— А ну, прочтите этим молодцам тот отрывок из книжки, что вы на Изыбаше читали.

Девушка пожалала плечами, попросила одного из рабочих принести книжку, полистала и начала:

«Тогда...»

— Это о нашем времени, молодые граждане, идет речь, — перебил девушку Изот Трофимович и кивнул головой: — Продолжай, дочка.

«Тогда, — читала девушка дальше, — вырубали леса,

сожгли накопивавшиеся сотнями миллионов лет запасы угля и нефти, загрязнили воздух углекислотой и смрадными выбросами, перебили красивых птиц и безвредных зверей — жираф, зебр, слонов, пока мир успел дойти до коммунистического устройства общества. Земля была засорена, реки и берега морей загрязнены стоками нефти и химических отходов. Только после серьезной очистки воды, воздуха и земли человечество пришло к современному виду своей планеты, по которой можно всюду пройти босыми ногами и нигде не повредить ног...»

— Обидно слушать такое? — уставился на рыжего парня Изот Трофимович. А потом обвел взглядом девушек и парней. Все загудели и зашевелились:

— Хорошо им рассуждать...

— Мы ведь для них, для будущего, недоедаем, недосыпаем...

— Это про капиталистов, не про нас тут сказано, — повернул рыжий.

— Лес рубят — щепки летят!..

— Коммунизм в белых перчатках не построишь!..

— Перчатки не надо! Грязные руки — тоже! — подал голос Гисзатов, незаметно появившийся на берегу. Он присел на камень среди комсомольцев и, хитро сощурившись, подзадорил Изота Трофимовича: — Валяй дальше, старик, критикуй!

— Нет, критиковать не умею, — отозвался Изот Трофимович, — а вот рассказать этим ребятам одну, правда, не очень веселую историю, пожалуй, стоит. — Изот Трофимович обернулся и указал на кедровый бор. — Вы видите эти кедры? Так вот, все они пошли от одного кедра, посаженного на могиле охотника. Во-он самое высокое дерево, а вокруг него молодняк, вроде вас. Вот там была могила. Она давно сровнялась, заросла, а вечный памятник остался.

Рассказ первый

ПРИЕМНЫЙ СЫН

По реке Зырянке, на берегу которой беспорядочно рассыпались крытые толстым колотым тесом и еловым корьем избы кержацкой деревни Вырубы, в давние годы гоняли плоты верховские жители. Там, в верховьях, по

соседству с кочевниками-скотоводами в засушливых степях мыкали горе русские переселенцы — это они и подражались на всякие работы за кусок хлеба. Чаще всего уходили они на сплав и гоняли плоты по бешеной Зырянке, изредка проплывая упрятавшиеся в горах скиты и утрюмые села раскольников, много лет назад укрывшихся в сибирской глуши от поганых поборников новой веры.

Один из плотов разбило о гранитный мыс, бутристой грудью выдавшийся в Зырянку. На берег вместе с переломанными бревнами выбросило мальчика лет восьми. Кисть левой руки его была раздроблена. Языка он с испуга лишился. Сколько ни тормозили докучливые бабы мальчика, сколько ни спрашивали знаками, кто, мол, он, откуда, — ничего добиться не могли. Мальчик смотрел на всех немигающими глазами, подавшимися из орбит, и тряс головой.

— Свихнулся! — заключил сапожник Троха. И матери начали прогонять с берега ребятишек, боясь, как бы «тронутый» не покусал их.

Мужики стали держать совет: как быть с парнишкой?

Долго шумели, спорили и всем миром порешили: дурачка убрать.

Кержацкие устои да суеверие не знают жалости. И суеверие подсказало людям, что мальчишку прибило к берегу не зря: есть в этом дурное знамение и не оберешься напастей, если оставишь его в деревне. Неспроста же получилось так, что все взрослые плотогоны в воду канули, а малый, почти бессильный человечиска уцелел. Убрать! У малого башка трясется и глаз дурной. Светлый, водянистый и не моргает. Такой глаз не только корову, но и бабу в тягости изведет.

Берег быстро опустел. Погоняя, как телят, любопытных ребятишек, бабы-староверки разбежались по домам, закрепивая двуперстиями свои следы.

Из тех же бревен, что прибило к берегу, мужики принялись сколачивать салик. Нет, убивать парнишку они не собирались. Это грех. Они посадят его на салик — и оттолкнут. Плыви с Богом! А куда? До каких мест доплывешь — это уже не наше дело. Бог тебя послал, пусть Бог и к месту определяет. Захочет — до другой деревни убежит, не захочет — на первом пороге утопит. На то Его, Божья, воля.

Мальчик неотрывно смотрел на мужиков, суетливо орудующих топорами, и пытался что-то понять. Он ти-

хонько застонал, пополз с шорохом по камешнику и погрузил изувеченную руку в холодную воду.

Мужики нахмурились. Сапожник Троха высморкался и виновато сказал:

— Перевязать бы ему руку-то?

Никто ему не ответил, и Троха потрусил домой за тряпицей. Никакой бросовой тряпицы не оказалось под руками. Жена Трохи, бедная баба, замученная нуждой, тяжким гнетом да презрением коренных жителей Выруб — староверов, отпорол кружева от холщового рушника, который берегла еще с девичьих времен, и отдала его мужу со словами:

— Что делают... что делают, звери...

Троха обматывал руку мальчика желтой от времени и табачной пересыпки холстиной. До мужиков доносились его виноватые слова:

— Будь бы ты кабарга или какая другая зверюшка — добили бы тебя и не маялся бы. А ты все-таки человек, и делать этого никак невозможно, потому, стало быть, мучисси.

Мальчик глядел на Троху и тряс головой. По лицу его картечинами катились слезы. Должно быть, ему было очень больно, а может, и растрогался мальчишка. Троха осторожно опустил мальчика на камень.

— Ох-хо-хо, отошел бы вот здесь-ка, схоронили бы мы тебя на мирском кладбище, душа твоя невинная, светлая... А то плыть за смертью тебе еще раз...

Мальчик притих, закрыл глаза, и Троха, стараясь не шуметь камешником, отошел от него.

— Может, уснет, сонного и погрузим, ох-хо-хо! — Троха поднял на односельчан глаза и робко произнес: — Неладно это, братцы...

— Не скули! — буркнул кряжистый мужик с раздвоенной губой. — Мир постановил!

Троха сник. Против мира не восстанешь. Мир, он — сила. А мужик с заячьей губой осторожно поднял мальчика и понес к плоту. Увидев воду, мальчик дернулся, застонал и забился на чужих, по-деревянному твердых руках.

Трижды затаскивали мальчонку на салик, но он всякий раз соскакивал с него и, захлебываясь слезами, карабкался на яр. Запятнанный кровью рушник развязался; мальчик наступал на него, падал. Кровь на раздавленных пальцах перемешалась с землей, песком. Из грязного комочка, на месте пальцев, торчали ослепительно белые ко-

сточки. Но и они, эти косточки, хватались за крапиву, царапали землю. Троха не выдержал, убежал за баню от «ужасти». А мужики уже волоком затащили на салик малого человека и придавили коленями к бревнам. Мальчик брыкался, выскальзывал, словно рыбка, кусал трясущиеся руки мужиков. Вдруг он разом ослабел, завял, но и беспмятство не усмирило его. Мокрое худенькое тело мальчонки все еще содрогалось. Мужикам казалось, что часует уже малая душа, а все же борется за жизнь.

— Воды боится, — сказал кто-то сдавленнным от страха голосом и совсем тихо, заговорщически добавил: — Надо привязать, кабы снова не примчался в деревню.

— Некогда привязывать. Сталкивай, пока он сомле-
лый.

— Стяжок бы, стяжок, — заторопился кто-то. — Эх, на суше салик сколотили...

— Поторапливайтесь, Божьи люди, пока у ребенка душа с телом не рассталась, — падет грех на ваши головы! — раздался насмешливый густой голос.

Вздروгнули бесстрашные на вид и робкие в душе староверы, будто голос с неба раздался, проворно расступились по сторонам. В суеде они не заметили, когда к берегу пристала осиновая долбленка и из нее вышел большой чернобородый охотник Фаефан (по святцам — Феофан, но людские языки обкатали это имя, как вода обкатывает остроуглые камни, сделали его более гладким для произношения). Грузно ступал Фаефан по берегу, шагал так, что камешник уходил в песок.

Вся деревня знала, что Фаефан водится с лешим, и потому боялись его. Да и сам он вроде лешего: длиннорук, волосат, нос его перешиблен, а под хохлатыми бровями чернущие цыганские глаза, которые так и пронзают насквозь, так и всверливаются в самое нутро.

Фаефан наклонился над мальчишкой, пальцем вспорол рубашонку на груди, приложил ухо. Зачерпнув пригоршнями воды, плеснул на бледное большелобое лицо мальчика. Медленно открылись затуманенные глаза, уставились на Фаефана.

— Живой! Ах ты, таймененок! А Божьи люди удумали тебя на тот свет спровадить и рук не замарать...

Фаефан протянул длинные волосатые руки к мальчишке. Тот отшатнулся. В горле мальчика что-то засипело, заклокотало и внезапно вырвался мучительный, гнусавый звук:

— А-а-ама!

— Да не бойся, не бойся, таймененок! Эх ты, ясна душа, еще не отличаешь зверя от человека...

Наговаривая, Фаефан поднял мальчика, обернул его полой дождевика и шагнул на яр. Преграждая ему дорогу в деревню, нерешительной стеной сгрудились мужики. Белки глаз Фаефана яростно сверкнули, и он гаркнул:

— Сгинь, кержацкое отродье! Пока лихо не сделалось...

Берег опустел. Мужики, которые с облегчением, которые трусовато, засемили по домам. Фаефан громогласно объявил, ступив со своей ношей в деревенскую улицу:

— Если тронете хоть пальцем — решу!

В ответ ни звука. Только створки окон захлопываются. За ними — короткая суета рук. Крестятся.

Так нес Фаефан, по прозвищу Каторжанец, нового жильца по деревне, называя его таймененком. Это было самое ласкательное слово из всех, какие он знал.

Но совсем другое имя пристало к мальчику. На деревне его прозвали Култышом. Прозвали из-за того, что на левой руке мальчонки торчали рогулькой два пальца — безымянный и большой, остальные выболели и отсохли. Язык к Култышу вернулся не сразу. Он всю жизнь заикался в минуты волнения.

Был у Фаефана сын Никон, годов на пять моложе Култыша. Два мальчика росли вместе, только прилип Фаефан душой не к Никону, а к Култышу. Что за причина тому была — неизвестно. Может быть, знал Фаефан, что недолго любили Култыша в его семье и в деревне. Может быть, старался за всех людей, что окружали сироту, обласкать и согреть его. И Култыш тянулся к этому человеку, побывавшему на каторге за убийство унтер-офицера во время солдатчины. Говорили, что унтер мордовал солдат, а Фаефан никогда и никому не позволял себя бить.

Рано начал Фаефан брать Култыша в лес, рано посвятил в охотничьи премудрости, которые мальчишка впитывал в себя незаметно и прочно, как впитывает земные соки молодое деревце.

Дивился Фаефан странностям приемного сына. Мог мальчишка часами сидеть неподвижно на утесе и глядеть куда-то вдаль, то печалась и бледнея, то молча улыбаясь каким-то своим мыслям и видениям. В вешнее цветение заваливал он избушку всяческой растительностью. Охапки цветов лежали на окне, на столе, на нарах, возле избушки. Фаефан не гасил в сыне эту страсть.

— Вот умник, вот молодец, — хвалил он Култыша и незаметно выбрасывал цветы, а тот приносил свежие, отыскивал самые причудливые, запашистые и был счастлив, когда отец радовался с ним вместе. Сам Фаефан любил больше других цветов стародуб, редкий, таинственный и по-строгому красивый цветок Сибири. Само собой, Култышу тоже поглянулся больше всех цветов — стародуб: ведь он пришелся по душе отцу — Фаефану Кондратьевичу, значит, стоил любви.

Гостями бывали Култыш и Фаефан Кондратьевич в деревне и в своей семье. Никон очутился под надзором матери, сухой, набожной и болезненной женщины. Отца он дичился. Был Никон костист, длиннорук, как отец. И глаза у него сидели в глубоких глазницах, только были они маслянистыми и чуть сонливыми. В глубине этих глаз таилась хитреца, пристальность, а в прищуре — высокомерие. Фаефану чудилось, что сын его знает больше, чем говорит, и видит дальше, чем думают люди.

Первый раз Фаефан Кондратьевич взял Никона на охоту с собой, когда тому исполнилось шестнадцать лет. Охотились за маралами, на солонцах.

Сделать солонцы трудно, а сидеть на них того трудней. Нет такой охоты, которая требовала бы от человека столько выносливости, смекалки, осторожности и меткости в стрельбе, как охота на солонцах.

Слышал обо всем этом Никон и вроде бы из разговоров знал что и как. Он даже помогал однажды отцу и Култышу таскать соль к речке Изыбаш.

Отец вбивал колья в землю, распатывал их, в узкие лунки выливал крутой тузлук из соли.

И вот они пришли на этот самый Изыбаш. Никон не узнал того места, где два года назад отец солил землю. Лунок уже не было, зато черной раной зияла яма, выбитая копытами зверей. Вокруг частой ископыти росла всевозможная мелочь: дикая редька, ползун-горошек, пырей, чемеричник попеременно с выпрысками елок и осинника.

Глухая, душная тишина. Писк мелкого мокреца, прижившегося возле солонцов. От речки, что несмело ворковала внизу, тянуло холодком, а с косогоров доносило угарным запахом багульника. Сквозь этот тугой, ладанный запах просачивался медовый дух лабазника, накатывали волны терпкого, лекарственного приторного марьиного корня.

Никон надеялся, что отец с Култышом закурят и пред-

ложат ему (своего табаку у него тогда еще не водилось). Но отец указал глазами на караулку. Они осторожно вползли в нее. Никон опять с удивлением принялся озираться. Он видел снаружи лишь кучу бурелома, насквозь простреленного шишками лесного морковника и травой метлигой, а под ним оказалось хитрое сооружение из неотесанных бревен. Сооружение низенькое, маленькое, но достаточное для того, чтобы стоять в нем на коленях. Торцы каждого бревна замазаны грязью или лиственничной серой, которую так любят жевать сибиряки. Впереди, на неокоренных бревнах проделаны отверстия в виде бойниц. Каждое отверстие обито берестой и косматым мхом, поседевшим на летнем солнце. «Это для того, чтобы не стукнул ствол ружья», — догадался Никон.

Ни звука, ни шороха не должен издавать здесь человек. Сдержанно дыша, Никон подполз к окошечку, на которое кивком головы указал отец, встал на колени и просунул ружье. Отец потыкал себя пальцем в лоб, дескать, думать надо, соображать. Никон вопросительно уставился на него. Отец рывком поднял курок его ружья. Никон вспыхнул и отвернулся.

Снаружи, как бы занесенная ветром, колькалась пленка бересты. Пристально взглядевшись, Никон разобрался, что эта пленочка здесь неспроста — она указывает направление ветра. Сейчас хвостик берестинки вытягивался в сторону караулки. Хиуз — легонький, струистый ветерок, неспособный расшевелить даже пугливую осину, сочился из ущелья на людей. «Хитро! — отметил Никон. — Так выбрали место, что здесь тяга всегда от зверя».

Принялись донимать мокрецы. И только сейчас Никон уразумел, почему отец тщательно осматривал свою и его одежду. Он велел зашить все дыры, засунуть травы в голенища ичигов, перевязать волосяной накомарник платком на шее. Никон посчитал все это пустой затеей и не зашил штаны в промежье. Туда прежде всего и забрались комары.

Никон шевельнулся.

Отец показал ему кулак.

Затих парень, покосился вправо. Обрисованный полоской света, проникающей через окошечко, виден был сухой профиль Култыша. Молодой охотник сидел неподвижно, будто дремал. Было непривычно видеть его без трубочки, которую, сколь помнит Никон, Култыш как засунул в рот еще в детстве, так с тех пор и не вынимал.

Мать била Култыша по зубам и однажды вколотила ему трубку вместе с огнем в рот, но и это не помогло. В семье одержимой староверки появились два не менее одержимых курца — отец и Култыш.

«Вышколил его отец!» — ухмыльнулся Никон и стал смотреть в окошечко. Заря уже отцвела за дальней лесистой седловиной. Луна с подтаявшим боком, похожая на кружок льда, вытряхнутый со дна ведерка, выпутывалась из ячеистых облаков над кромкой леса, то появляясь на мгновение, то надолго исчезая с глаз. Бурьян и кустарник, окружавшие яму, тоже напоминали лохматое облако, упавшее на землю.

Лес побратался с темнотой. Настал самый глухой час. Слышалась только гнусавая нудь комаров. Никон уже чувствовал, как шевелились его штаны от мокреца, набившегося в дыру. Эти мелкие, но больно жалящие комарики облепили и неподвижные руки Никона. С охмелелым писком они отрывались и косо вылетали в отверстие, мелкая черными искорками. Каким-то образом они проникли и под накомарник, кусали нос, глаза, губы.

Никон вспотел. «Скорей бы луна и холод», — подумал он тоскливо и заметил — отец подает ему какие-то знаки. Никон долго не мог разобрать в темноте, чего от него хотят, наконец догадался — отец показывает на руки. Никон обрадованно выпустил ружье и свирепо ударил ладонью правой руки по тыльной стороне левой. Рука его сделалась влажной от крови. Тут же он получил затрепичну в ухо и свалился на бок.

— Я ж тебе в мох велел! — порывом ветра прошелестел гневный шепот отца.

Никон запоздало сунул руку в мох.

Упрямая луна все-таки выпуталась из облаков, как лещ из липкой мережи. Все разом обозначилось перед глазами и, точно застигнутое врасплох, оцепенело от немногого, могильного света.

Возле караулки обеспокоенно завозилась и затрепцала дроздица, не покинувшая гнезда своего даже в присутствии людей. Никон почувствовал, как отец напряженно подался вперед. «Птица кого-то чует», — догадался парень. Когда луна заплыла вправо, за караулку, и лес, стоявший впереди, разомкнулся, Никон увидел между деревьями марала. Он стоял с гордо вознесенными рогами, приподняв правую ногу, как нарисованный.

Отец больно давнул плечо Никона: «Не смей стрелять, рано!»

Марал рванул в сторону, затрещал кустами.

«Ушел!» — ахнул про себя Никон и боязливо соображал: не он ли уж чем напугал зверя?

Отец приложил к его губам жесткую ладонь: «Не дыши!»

И Никон послушно перестал дышать, удивляясь тому, что отец делает движения совершенно бесшумно, будто сова. Никон до боли в глазах глядел туда, где только что стоял бык-марал, и неожиданно увидел его совсем в другом месте, за стволом сухого дерева. Впрочем, все деревья казались сейчас неживыми.

Зверь хитрил.

Марал живет и обороняется только своей осторожностью и чуткостью. Природа наделила его великолепным слухом и чутьем, быстрыми ногами и даже четырьмя ноздрями, или, по-охотничьи, норками. Они у него не только в носу, но и ниже глаз.

Рогач хоронился долго, слившись с деревом, с тишиной, с ночью. И вот осторожно, прячась за стволами деревьев, за вывороченными корнями, он снова двинулся к яме, возле которой, наверное, провел не одну ночь, и все же не утратил выдержки даже при запахе такой лакомой штуки, как соленая земля.

Несколько раз выходил бык на кулигу и снова с шумом бросался в лес и замирал там. Никона колотило, и он уже не подсчитывал, сколько можно отхватить денег за кустистые рога-панты, которые кем-то и где-то перепродаются в Китайскую землю. Толковали знающие люди, что из пантовой жидкости китайцы приготавливают такое зелье, попивши которого, даже немощный старик может снова спать с бабой. Никону очень хотелось попробовать этакое диковинного питья. Вкусное, поди. Но сейчас ему было не до того. В глазах туманилось, суставы закаменели, лоб покрылся испариной. Грудь, как ему казалось, распухла от сдерживаемого дыхания. Комары грызли Никона направо. Секунды и минуты ему уже казались часами. Он чувствовал, как к голове приливает кровь, тяжело давит на виски. Когда марал — в который-то раз! — высунулся в лунную полосу на кулигу, а затем метнулся в сторону, Никон дико закричал, выпуская из себя воздух и бешенство:

— А-а, гад! — и грохнул из ружья.

Отец бил его прямо в караулке, катая, будто трухлявый пень. Никон не оборонялся, только закрывал лицо руками. Фаефан в потемках ударял кулаками о бревна, разбил суставы и, когда обессилел, выдохся, схватил сына за ворот и выбросил, как щенка, из караулки.

Култыш нащупал за пазухой трубку, закурил.

Фаефан вырвал у него трубку, жадно затянулся.

Охота была испорчена.

Никон, спускаясь к речке, хлопал разбитым носом, утирал рукавом слезы и вопил:

— Матери все расскажу! Колдуны-ы-ы!..

Он умылся в речке, попил из ладоней, трахнул камнем в то место, где пил, зарядил ружье, собрался пальнуть в сторону караулки, да раздумал.

Странное дело — ему стало легче. Он даже радовался, что наступил конец этой пытке, и в конце концов решил, что лучше быть битым, чем сидеть закованным и чувствовать, как тебя заживо съедают мокрецы.

«Но Культя-то, Культя! — возмущался Никон, — хоть бы шевельнулся, охнул. А ежели бы Каторжанец зашиб меня? У-у, оборотни! Отпились от мира-то, озверели!»

Никон остановился, послушал.

Ночь. Седая от луны ночь. Лес, темный в речке, а в косогорах и на увалах серебристый, дышит знобким холодком. Запахи унялись, едва слышны. И тишина такая, что оторопь берет. Иногда только прошуршит в траве бессонный мелкий зверек, промышляющий по ночам. Да чуть слышно грызет дряхлое дерево короед-червь. Будто и не случилось ничего, будто все приснилось Никону: марал-пантач, недвижимый Култыш, ругань отца со скрежетом зубов, сладковато-приторная кровь, стекающая на губы, вкус которой почему-то напоминал Никону жижицу из пантов, хотя он никогда ее не пробовал. Но именно такой она ему представлялась — немного противной, раздражающей и в то же время до тошноты сладкой, щемящей и разжигающей то потайное, что скрыто до поры до времени внутри человека.

Никон зевнул, пощупал под деревом — не сыро ли? Прилег. Полежал, думал — прочитать молитву, как учила мать, или нет. Лизнул разбитые губы и, слглатывая слюну, подумал: «Жениться надо, а не молиться. Кто Он такой, этот Бог, чтобы Ему постоянно кланялись и улещали Его? Небось, не пригнал быка на солонцы, только раздражил виденьем и увел, а я через это лущовку заработал. Кулак

у Каторжанца ровно каменюка. Погоди, подрасту, силы подкоплю, может, и моих кулаков отведаешь», — погрозился Никон. Он, с хрустом потянувшись, блаженно зевнул и по привычке занес перекрестить рот. Но в это время молчком налетел на него филин и шарахнулся в сторону. Парень опустил руку и угрюмо пробурчал:

— Долбану, так будешь знать, как с ума сводить православных.

Ни страха, ни робости Никон не испытывал, хотя и пытался представить, как он будет жалобиться матери на те ужасы, какие довелось пережить ему в эту ночь.

Комары отступились от него и куда-то исчезли. Никон на всякий случай побросал перед лицом двуперстие и спокойно уснул, поближе придвинув ружье — на него он надеялся больше, чем на крестное знамение.

От холодка парень скоро проснулся, поводил глазами из стороны в сторону, пытаясь сообразить, где он.

В тайгу просочился рассвет и вытеснил лунное сияние. Просыпались птицы, пробовали свои голоса; из травы высунулся утомленный ночной беготней длинноногий дергач, стал пить из речки. Он высоко забрасывал голову, чтобы стряхнуть капли вовнутрь. Никон внимательно рассмотрел птицу, которую человеку редко приходится видеть, ничего в ней особенного не нашел и поднялся. Дергач юркнул в траву.

Никон похлопал себя по карманам — нет ли там куска хлеба. Ничего не обнаружив, нарвал горсть черемши и, смачно похрустывая ею, отправился к устью речки Изыбаш, где стояла охотничья избушка.

За мыском, в густом черемушнике мелькнуло темное пятно и исчезло в дырчатой валежине, лежавшей поперек речки. Никон застучал по пустому стволу дерева прикладом. В отверстие сгнившего сучка, как в дверцу, выскочил зверек. Парень выстрелил по нему дробью. Зверек упал в речку. Проламываясь сквозь кусты и чащобу, Никон опередил течение, выловил еще живого зверька из воды, ударил его головой о камень и только после этого осмотрел.

Пушистый хвост, узенькая смышленная мордочка, круглые, не по голове крупные уши — соболь!

— Будет выручка! — довольнехонько погладил Никон зверька и, насвистывая, пошел к избушке.

Там уже дымил таганок. Отец с Кулгышом прошли к стану где-то прямой дорогой.

— Во! Добыл!.. — с вызовом сказал Никон и бросил соболя к ногам отца.

Фефан Кондратьевич взял за хвост зверька и без зла, а, как показалось Никону, даже с затаенной болью ударил им по лицу сына:

— Соболюшку загубил! Она только осенью выкунеет, а сейчас у нее соболята. Осиротил, на мор обрек... Уходи. Сейчас же уплывай домой! Ты — враг природе, и охотника из тебя не может получиться!

— Тайга только для тебя с Культей сотворена, что ли?

— Уходи! Скройся с глаз! — вдруг рявкнул отец и схватился за ружье.

Откуда-то метнулся Култыш, упал на ружье. Гукнул выстрел, взрыв землю у ног Никона. С Фефаном Кондратьевичем случился припадок. Пена подернула его губы. Култыш навалился на отца, пытаясь разжать его руки. Но охотника так подбрасывала неведомая грозная сила, так она его корежила, что хрустели кости подростка, отчаянно боровшегося с ним.

Потрясенный Никон топтался вокруг отца и Култыша, свившихся в хрипящий клубок, и не знал что делать. Ему одно было известно, что в молодости отец его ходил в «каторжанцах» и оттуда, с каторги, привез падучую. Но еще никогда не видел Никон, как валит отца эта падучая.

Было страшно.

— Ну, чего разостраиваться из-за зверушки, — невнятно бормотал он. — Уплыву, уплыву; не надо мне этой вашей тайги. И около крестьянства дело найдется...

И в тот же день отбыл Никон в Вырубы.

Вовсе раскололась семья на две половины: дома мать с сыном, в тайге — отец с Култышом. К большим праздникам приплывали охотники, мылись в бане, пили, отсыпались. Фефан Кондратьевич по пьяному делу разгонял из дома всех странниц и кликуш, коих любила привечать его жена, обзывал их срамными словами. Те, истово крестясь, говорили ему: «Бог простит» — и пережидали, когда «каторжанец» уберется «к себе».

Фефан Кондратьевич с Култышом долго в деревне не задерживались. Тоска грызла их здесь. Через три-четыре дня, редко через неделю, они уплывали «к себе», в тайгу.

Здесь, в тайге, и умер много повидавший на веку своем охотник Фефан Кондратьевич. По своему непонятному нраву завещал он схоронить его в устье речки Изыбаш, а не на кержацком кладбище.

Култыш выбрал место на взлобке утора, где сам часами сиживал в детстве. Видно с утора далеко-далеко. Весной первыми во всей округе здесь распускаются стародубы; разлив не достигает этого места, а говор Изыбаша отсюда слышен круглый год.

Хоронил Култыш отца своего, Фаефана Кондратьевича, один. Мать и Никон не пожелали тащиться в тайгу. Они, как выразилась «сама», и так вдосталь оскормились, живя с «вероотступниками»...

* * *

Изот Трофимович говорил о том, что дошло до него по рассказам отца — сапожника Трохи. Много жуткого пережил Троха, много перетерпела семья его от кержаков. Даже после революции, когда Троха возглавил деревенскую бедноту, по соседству со школой и избой-читальней кликушествовали и диковали сектанты, справляли свои праздники, блюли веру и совершали изнурительные обряды. Троха погиб, напоровшись на искусно замаскированный самострел.

Его место занял сын.

Изот верил, что его край станет другим, не будет его деревня отрезанным от мира ломтем. Толковали прежде, что не могут ходить вверх по Зырянке пароходы. А он сказал, что пройдут, и почти тридцать лет указывал им путь. И не только указывал, но и учился, много читал. Когда был избачом, землячки «темную» ему сделали, отбили «нутро».

За год до Отечественной войны пришла в Вырубы экспедиция. Люди измеряли дно реки, делали снимки, прицеливались на скалы. Око в око уставились теодолит и пещера. Прибор — с веселым вызовом, беззрачная пещера — с надменностью.

Экспедиция ушла дальше. Изот Трофимович вызвался вести измерения температуры воды и определять скорость ее течения, собирал образцы речного грунта. Даже в войну он ежедневно спускался на реку, долбил в толстом льду лунки, коченеющими руками совал в воду термометр, черпал ковшичком гальку и вел записи.

— Чего ты кудесишь? — ругала его жена. — Кому нужны твои записи?

— Сгодятся, — не сдавался Изот Трофимович, — не-

пременно сгодятся. Вот увидишь, край наш огнями запыляется...

— Блажишь! — качала головой его супруга. — Стар становишься. Осенью керосину для бакенов по норме выдавали, а ты — элестричество! — И с тяжким вздохом прибавляла: — Слух есть, ерманцы уже под Москвой...

— Ну и что?! Ну и что из того?! — кипятился Изот Трофимович и с упорством малого парнишки твердил: — А я буду записывать! И сгодятся мои записки! И будет здесь гидростанция, и будет электричество, и никакой германец не погасит его...

Он долго ждал, твердо верил. И дождался.

Пришли строители.

Была даже музыка. Оркестр играл «Легко на сердце» и еще что-то веселое. Люди говорили речи, пели, кричали «ура!», а Изот Трофимович сидел на бухте мазутного каната и плакал.

Никто не смеялся над ним.

Загудела тайга. Кольхнулись, стали рушиться скалы. Но все еще с вызовом смотрела на избушку бакенщика пустоглазая пещера. Изот Трофимович знал — велика эта пещера! Сквозь хребет просверлилась она, и где-то возле города ее хвост, загроможденный обвалом. Он и о пещере поведал в своих записях. Возник смелый проект: пропустить железную дорогу по этому своеобразному тоннелю. И видел Изот Трофимович, явственно видел, как с победным криком вырывается из скал машина и летит через ворчливую Зыряниху сюда, к кедровому бору, сбоку которого горбится крышами черная от времени деревушка...

К берегу подходили и подходили строители. Гисзатов знаками приглашал садиться и сделал страшные глаза, когда зашумела девушка в яркой безрукавке.

— Что за культурное мероприятие? — поинтересовалась она у ребят, сразу перейдя на шепот.

— Кержак про кержаков рассказывает и про охотника одного. Ох и жизнь у них тут была — ужас!

— Это любопытно! — сказал только что подошедший парень в форсистой ковбойке. — Они, оказывается, не только дерутся, но и беседуют даже...

Изот Трофимович услышал, закусил губу. Парень в ковбойке сказал это громко, с вызовом. Его дернули за рукав. Но старик уже знал, что случилось здесь в то время, пока он ездил с учеными людьми на Изыбаш.

Жители Выруб приходили в комсомольский палаточный городок отбивать «заработку». Они издавна привыкли спищать дикую деньгу на случайных фартах. Фартом в давние годы считались застрявшие на камнях плоты. Бывало, режут ревя люди среди реки, а расчетливые кержаки сидят на берегу и запрашивают с них цену, да такую, что плотогонам впору портки снимать. Фарт сваливался на Вырубы редко, и надо было им с толком воспользоваться.

И даже теперь, окруженные со всех сторон шумом и рокотом новостройки, вырубчане, многое утратившие из своего характера, но все еще цепляющиеся за «свою веру», шибко захиревшую, распатавшуюся, не утратили веры в фарт и умудрялись выгодно подражаться на случайную работу, сулящую бешеную деньгу.

Не было еще у строителей ни дорог, ни транспорта своего. Одна дорога — Зыряниха. Придут баржи с грузами, задерживать нельзя — осердятся в пароходстве, и ладно, если оштрафуют, но могут в другой раз и отказать. Вот и бегают начальник не построенной еще пристани по деревне, умоляет:

— Товарищи! Помогите! Выручите! Великая стройка!.. Скоро вам электричество проведем!..

А в ответ — из поколения в поколение передающийся вопрос:

— Сколько дашь?

— Как сколько? По расценкам.

— Хэ-хэ! Расценка! У нас своя расценка: тыща рублей, два ведра вина — и тес к утре будет на берегу.

— Но я ведь не приказчик...

— А коли не приказчик, иди с Богом, не заводи зряшный разговор.

Куда идти? Кого просить? В палаточный городок, к комсомольцам.

Только что развесили мокрую одежду комсомольцы вокруг чугунной печки. И вдруг свист, а затем крик на весь палаточный городок:

— За мной! По одной плахе выбросим — и тес на берегу.

Кто кричал? Кто повел? Попробуй разбери. На работе согрелись. Кого-то ушибли — ничего, заживет до свадьбы.

Поздно ночью загудел пароход, увозя порожнюю баржу, разбудил глухую деревню от тягучего сна.

— Выгрузили? Кто? Н-ну, погодите!..

Утром выбежали ребята из палаток умываться и видят: идут к городу с топорами и дрынами люди. Взгляды утрюмые, тяжелые. Перед такими дрогни, спасуй — не сдобровать! А милиции тут нет, надеяться не на кого. И опять тот же, а может, и другой голос на весь городок:

— За мной!

До самого берега Зырянники гнали вооруженную орду комсомольцы. Сыпались кержаки с крутого яра к воде и берегом драпали по домам...

Рассказ второй

КРИК В НОЧИ

Иные люди умирают, не оставив на земле никакого следа. Хорошо, если они нарожают детей и хотя бы этим продолжают свой малый ручей, который сольется с другими, растворится в них, но будет уже тем велик, что станет частицей живой жизни.

Но есть и такие люди, которые при жизни кажутся бросовыми, никому ненужными, как бы созданными только для того, чтобы скорее исчезнуть из памяти людской. Култыша, например, жители Выруб уподобляли раннему снежку. Нагрянул снежок нежданно-негаданно, убелил землю, а выглянуло солнышко — и нет его — пропал.

Только не взяли жители этой деревни в расчет того, что после такого снежка озимь на поле зеленеет ярче, листья на деревьях делаются шумливей, полет птицы еще стремительней и лишь недолговечное, хиленькое, что за жизнь держалось слабенькими корешками, увяло, загасло и умерло.

Но тот далекий голодный год не был похож на недолгий ранний снежок. Первым вестником голода явился старый, сморщенный киргиз с белыми пятнами на черной голове, должно быть, от давних болячек. За руку он вел косоглазого худенького мальчика. Киргиз останавливался возле каждого двора и, приложив ладонь к ладони, что-то торопливо бормотал и кланялся, кланялся. Люди в страхе задвигали толстыми жердями, по-сибирски — бастригами, калитки ворот.

Старый киргиз с мальчишкой протасился из конца в конец деревни Вырубы, постоял на росстани, долго гля-

дел на подернутый призрачной дымкой восток воспаленными, гноящимися глазами и повернул обратно. Он уже не ныл у ворот и не кланялся, а робко позвякивал щеклодой и царапался в доски, как приبلудный пес.

Утром киргиза обнаружили возле забора. На ногах, сложенных калачиком, он держал мертвого мальчика и раскачивался всем корпусом, что-то напевая, тягучее и заунывное. Глаза пришельца были закрыты.

Никто не решался его потревожить.

Какая-то сострадательная хозяйка бросила через забор кусок хлеба. Старик на секунду приоткрыл подернутые пыльной тоской глаза, покосился на хлеб и снова закрыл их.

Так он просидел и вторую ночь.

Наконец люди не выдержали и стали показывать знаками, что мальчик умер и что его надо схоронить. Киргиз кивал головой, соглашался будто бы, но люди отходили от него, и он снова с облегчением закрывал глаза. Тогда несколько мужиков взяли старика под руки, подняли и увели за деревню. Там, на травянистой елани, была выкопана щелка, и киргизу велели опустить в нее мальчика. От трупа уже шел худой запах.

Безучастно смотрел старик, как зарывали в землю внучонка, и только губы его шевелились почти беззвучно, роняя какие-то заклинания.

А ночью всю деревню покоробил дикий вопль:

— А-а-а-ай... А-а-а-ай!

И людям чудилось — пришлый человек кричит: «Малай!» Это было единственное нерусское слово, известное жителям Выруб.

Шли дни.

Тощий, сморщенный киргиз как неприкаянный бродил по деревне и ночами кричал за околицей. Несколько раз его выводили на дорогу, подталкивали в спину. Он тупо глядел на людей, покорно отправлялся, куда ему указывали, но в потемках снова пробирался к могиле киргизенка...

Между тем голод уже гулял по дворам деревушки, выхватывал оттуда сначала малых детей и стариков. В лесах от сухости начались пожары.

Напуганные и теснимые огнем, птицы покидали эти края. Иногда по Зыряннике плыли прокисшие в воде трупы лосей, коз, маралов. Даже светловодная рыба — хариус, таймень, ленок — скатилась в низовья или зашла в

малые горные речки. Голод давил людей, как тараканов, оставляя на земле черные пятна могил.

Конечно, при старании и умении еще можно было бы добыть рыбы в дальних речках, сыскать зверя в таежных крепях, но вывелись добытки в Вырубях, выродились в них сметка, мужество и выносливость. Остались вера, удушливая, как сажа, да черная злоба и трусость. Боялись всего: тайги, пожаров и особенно Бога, которого чем-то прогневили и теперь умаливали скопом и в одиночку, вместо того, чтобы сообща бороться с бедой.

Ночами и особенно в глухие вечера в деревне становилось душно. Семьями валялись перед закопченными ликами икон, ползали, просили милости. Сажа слоем лежала на крышах, липла на окна, застилала солнце, забивала горло людей. Ревела скотина, выли собаки, и голос старого киргиза сливался с ними. Устали голодные кержаки от этого воя. И когда из одного двора исчезла куда-то двухлетняя девочка, обвинили азиата в «сглазе» и увели его за околицу, где покоился киргизенок.

Деревня вовсе примолкла, затаилась. Каждая семья жила теперь сама по себе, каждая боролась с напастью в своей избе. Сначала ходили на кладбище провожать соседей, взывали по привычке, а потом хоронили уж всяк своих, без обрядов, а порой и без домовин.

В один из душевных вечеров, когда над деревней колыхалось море и солнце, словно бы закутанное в мелкую красную шерсть, садилось за горы, в Вырубях появился Кулгыш. Лицо его уже сморщилось, усохло. Из-под вытертой на сгибах беличьей шапки торчали завитушки седых, свалявшихся волос.

Кулгыш удивленно глянул на потрескавшиеся под солнцем лодки, приподнял ухо меховой шапки, стараясь уловить какой-нибудь шум или лай собак, но ничего не услышал.

Охотник покачал головой, сокрушенно почмокал губами, поднял свою лодку. Древнее, но хорошо сохранившееся ружье забросил за плечо, почти пустую кожаную сумку взял в руки и побрел в деревню. Рыжели переулки опаленной травой, сникла даже живучая жалица-крапива, сделалась особенно стрекучей. Бани в огородах не пахли свежим дымком. Да и в огородах пусто, словно поздней осенью, даже заметны тропки между гряд, а на них — сеточки трещин. Кур не видно, горластых петухов не слышно. Прошла мимо Кулгыша девочка с одним ведерком по

воду, глянула на него болезненно-вялыми глазами и ничего не сказала — ни здравствуй ни прощай. Сердце у Култыша замерло от нехорошего предчувствия. Он постоял у крайнего от берега дома и несмело взялся за кольцо. Оно будто минуту назад вынута из горна.

Позвякал.

Никакого ответа. Тогда он забренчал встревоженно и торопливо. Из дома крикнули хрипло, с бранью:

— Пошел! Пошел, поганый! Зарублю!

Култыш очумело усталился на ворота и больше стучать не решился, а направился к другому дому. Но и там никто не открыл ворота. Его ругали остервенело, не показываясь, называли, как чужака, поганым.

Култыш устало присел возле высокого заплота на испеченную землю и бессильно опустил плечи. Посидел, глянул вдоль улицы, непривычно пустой, пепельно-серой. Тихие, неприветные избы. В окнах неподвижное пламя заката. Время, когда доят коров, когда ребятишки гоняют к реке купать и поить лошадей, а бабы поливают огороды.

Блаженное время — деревенский вечер! Но что-то в нем не то. Не хватает в веках утвердившейся размеренной неторопливости, какая одолевает человека после трудового дня. Не доносится ребячий визг с реки, не звякает гулко подойник и не слышится вслед за этим утомленный бабий голос: «Да стой ты, одер». Ничего не слышно, никого не видно. Лишь маячит среди улицы брошенная телега с пьяно раскинутыми оглоблями.

Беда в деревне. И не может Култыш помочь этой беде. Раньше бывало так: пала ли в чьем дворе скотина, ушибся или умер кормилец, погорел ли кто — Култыш там, отдаст рыбу, и мясо, и панты, и пушнину — все отдаст. Ему ничего и не надо было, кроме припасов, табаку, соли и хлеба. И так привычен, удобен сделался Култыш, что щепетильные старообрядцы мирились даже с тем, что он из «поганых», привечали его в любом доме наперебой, пить давали уж не из кошачьей посуды, а из своей.

«А сейчас вот на-ка, вызнали, надо думать, что без добычи явился я, и не пускают». — Поморщился, повздыхал Култыш, взял кожаную пропитанную звериным жиром суму и заковылял на зады деревни, к дому своего покойного отца — Фаефана Кондратьевича.

Дом стоял возле самого леса. За частоколом огорода сразу же начинался мшистый увал. Из него бил холодный ключ и разливался по огороду, до самой бани. В жаркие

дни сюда заползали змеи, а в холодные весны все вымерзало.

Но ныне в огороде этом, особенно за баней, зеленела островком густая трава, ершилась крапива вперемежку с конопляником. Култыш перелез через городьбу, подошел к бане и сложил в ней свой багажишко. После этого снял мокрую от пота шапку и полушубок, присел на позелевший, замытый банной водою порог.

Хозяйствовал в доме Фаефана Кондратьевича, и уже давно хозяйствовал, Никон. Был он хозяином справным и за это почитался в деревне. Глава «опчества», старшина, наметил его на свое место — наверховодился, постарел, пора и на покой.

Если случалось Култышу по пьяному делу забрести в свой двор, он обычно спал в бане или на сеновале. Никон не прогонял его, но и приветных слов не говорил.

Выкурив трубочку, Култыш снова наполнил ее табаком, набрал дров в предбаннике и затопил каменку. Из мешка он вынул котелок, черный и помятый, начерпал воды в ключе.

В доме заметили дымок. Ворота, сделанные из ровенького осинника, распахнулись, и появилась Клавдия — жена Никона. Миловидна, несмотря на худобу, с большими карими глазами, в глубине которых отстоялась давняя усталость и грусть.

— Здравствуй, Култыш!

— Здравствуй, Клавдя, здравствуй! — быстро отозвался Култыш, и в голосе его проскользнула робость. — Как живете, как ребятишки?

— Живы пока, слава Богу, — со вздохом проговорила Клавдия. — А как ты? Чего-то долго не появлялся. Мы уж думали: помер.

— Едва и не помер, — без всякого огорчения, словно бы даже с оттенком радости подхватил Култыш. — Сковырнула меня хвороба, два месяца на Изыбаше валялся. Вот оклемался. Дай, думаю, на люди покажусь, ан не пускают нигде... — уже с обидой заключил Култыш.

— Ты бы голос подал, — сказала Клавдия. — Киргиз с внучком тут был, кричал сумасходно по ночам, а после того нищие валом валят. Вот все и заперлись. — Клавдия помолчала и прибавила: — Вымрет деревня — голод.

— Я знал, что засуха, но такого бедствия в деревне не гадал, не чаял...

Оба надолго умолкли. Клавдия встряхнулась, подбросила березовых дров в каменку и взяла ведра.

— Согрею воды, помоешься. Из тайги ведь.

— Коли можно, так хорошо бы, — обрадовался Култыш. — Вша на хворого навалилась, страсть.

Клавдия принесла воды и сказала:

— Исподники тятины вроде где-то еще есть, схожу.

— Да ладно, ладно, обойдусь. Загундосит сам-от.

— Погундосит и перестанет, — спокойно обронила Клавдия и пошла из огорода.

Култыш проводил ее задумчивым взглядом. Под ситцевой блеклой кофтой обозначались острые лопатки Клавдии. Из-под завязанного на затылке платка виднелись темно-русые волосы. Посеклись они, засалились. Култыш протяжно вздохнул.

Он помнил Клавдию другой.

Хоть и вырос Никон под крылом у лютой старовой, но часть Фаефановского норова все же переселилась в него и оказалась неистребимой. Иногда он становился таким «поперешным», что даже матушка не могла ему укорот сотворить. Так взял Никон и женился, наперекор матери, которая уже подсмотрела ему невесту, на девушке из семьи сапожника Трохи, семьи бедной и многочисленной, нуждой загнанной в Сибирь все из той же «Расеи». На, мол, тебе, старая, проглоти. Но вполне возможно, что и еще кому-то хотел досадить Никон.

Култыш и Фаефан Кондратьевич любили заходить к Трохе, слушать его сыпучую небывальщину, сдобренную прибаутками, присказками. В ершистой голове Трохи хранилось былей и небылиц не меньше, чем шпилек в берестяной коробке, что стояла перед ним на верстаке. Выпив вместе с охотниками, Троха утрачивал бодрую веселость и начинал слезливо печалиться, проситься в лес:

— Возьмите. Не могу здесь. Улово — не село. Я вам хоть что делать стану, сумы таскать, похлебку варить, обушки опять же догляжу, починю когда надо...

— Куда тебе, у тебя ремесло и семья.

Однажды Троха в шутку, а может, и всерьез бухнул Фаефану Кондратьевичу, показывая на большеглазую, еще нескладную Клавдию:

— Вот девка. Моя дочь. Начнет Култыш женихаться — за него отдам. Но в улово не кину.

Трохе что? Троха запустил слово, как парнишка ка-

мень с ремня, и забыл. А оно пало в тихую душу парня, и пошли по ней круги, взбаламутилось все там.

Ходит по лесу Култыш с отцом, улыбается, губами шевелит. Работать возьмется — откуда сила, чертомелит так, что Фаефану Кондратьевичу за ним не угнаться. Пятьдесят верст для него — не околица. Чуть чего — норовит в деревню сбегать: хоть на дом Трохи поглядеть, и то ладно. Заходить в гости к Трохе один почему-то стал стесняться.

Но умер Фаефан Кондратьевич, и заслонила эта беда, эта непоправимая потеря все на свете от Култыша. Боялся даже на день могилу оставить. Думал: затоскует без него отец.

Зима прошла.

Длинная она была без отца.

Мягко шурша, повалилась с деревьев кучга, а потом зачастила капель. До самой до земли обвисли с низкой охотничьей избушки сосульки, похожие на светлые морковки. Лед на Зырянхе отъело от берегов, наступили весенние распары, и покатались, понеслись с гор ручьи. Оголилась могила Фаефана Кондратьевича, и сразу взялась на ней, засветилась зеленая травка.

Не спит ночей Култыш. Болит у него сердце. Чует еще беду. Выбежит парень ночью из избушки, проваливаясь в рыхлом снегу, ринется без одежды в лес, бродит там, оглаживая рукой клейкие вершинки пихт, и бормочет.

Как-то пробродил до самого утра и, глядя тоскливыми глазами вдаль, заорал на весь лес:

— Клавдя! Погоди еще недельку! Погоди до стародубов!

С виду уже мужик Култыш, а остался все тем же непонятым, чудным парнем. Хотел он, непременно хотел идти сватать Клавдию с любимыми цветами — стародубами. Эти цветы выклеваются из земли вслед за подснежниками и медуницами. Редкие это цветы и красивые — ярко-желтые, с горящими углями в середине и с такими мохнатыми да духовитыми стеблями, ровно все лесные запахи впитались в них. И чем больше сохнут стародубы, тем шибче пахнут.

У Изыбаша стародубы расцветали раньше всего на том угоре, где покоился отец. Каждый день прибегал туда Култыш и смотрел на пышно-зеленые всходы. Зажали они в тугой щепоти цветок и не выпускали. Подгонял их Култыш словами: «Ну, быстрее, быстрее!» Считал, что мало

им тепла от вешнего солнца, опускался на колени и подолгу дышал на каждый стебелек.

А весна все размахистой шагала по тайге. Гнала друг за другом удалые недолговечные ручьи. Распустила шишки вербача, завесила сережками березник и ольховник, прибавила звону птичьим голосам.

Набух, вспучился, посерел лед на Зыряннике.

И в тот день, когда на уторе вспыхнул и засветился первый в нынешнюю весну стародуб, охнула, зашумела и двинулась река.

Схватил маленькое земное солнышко Култыш и понес его своей невесте под рубахой, у сердца, а за плечами мешок, полный соболиных, горностаевых и колонковых шкурков. Всю завалит с ног до головы свою невесту мехами и в волосы ей вплетет солнышко!

Пусть горит!

Пусть все знают — это щедрая тайга женит своего сына!

Никон не дарил Клавдии ни цветов, ни мехов. Он поступил по-обычному: подпоил Троху и высватал его дочь.

В тот особенно беспокойный день, когда Зырянника, точно озверев, со скрежетом и гулом раскалывала камни, валила, как былинки, прибрежные деревья, в Вырубях началась степенная старообрядческая свадьба, на которой много пили, но еще больше занимались иконоцелованием, молились, кудесничали и шушукались.

И вдруг чей-то крик в клочья порвал свадебную нудь, сдул ладанный дух, смешанный с самогоном:

— Человек реку переходит!

Словно шапкой смахнуло людей из-за стола. Все высыпали на берег.

Насупися Никон.

Поблуднела Клавдия, прижала кулаки к груди, будто боялась — выпадет сердце. Сама не своя поднялась она и пошла из избы медленно, как во сне. Там, на широкой белой льдине, среди реки, девушка увидела темную, одинокую фигурку. Побежала Клавдия к реке, забыла подобрать подол платья, наступила на него. Хрясь! — со скрежетом разорвалась холстина самотканая.

Сзади злорадный шепот Никона:

— Куда торопишься? Зря! Поздно!

Она и сама знала — поздно, да ноги несли. А та одинокая фигурка на реке все шла и шла неустрашимо впе-

ред — грудью на Зыряннику, на людей, на эту Богом забытую деревушку.

Человека относило. Перебирая ногами, как горячий, нетерпеливый конь, он ждал следующую льдину. А она шла кружась, точно огромное блюдо. Догнала ее другая льдина, сунулась, как утюг, раздавила, вперлась между пластушинами — и к человеку. Еще не коснулась, не дошла она до него, а он уж взвился на жерди, мелькнул в воздухе — и сразу же на новую ледяную глыбу, пропиту капелью.

Еще прыжок, еще!

Сорвался, упал.

— Ах, оглашенный! Утоп!

Но человек появился снова, как из преисподней, и снова рванулся к берегу, где суетились и очумело орали люди. Бежать и прыгать стало нельзя — намок. Человек не сдавался. Он бросал жердочку со льдины на льдину и, чуть коснувшись ее ногами, перемахивал через полыньи.

Река ревела, кромсала лед, рушила зимнюю твердыню. Открывались и исчезали кипящие полыньи, звонко осыпались вниз прозрачные веретенца, и все время металась по реке черные молнии, распластывали лед, рвали его в клочья. Вот сошлись две льдины, уткнулись тупыми лбами, вздыбились, как норовистые лошади. Выше, выше, выше встанут они, яростные в последней своей смертной схватке.

А человека нет, канул, погиб.

Да и что он в сравнении с такой силищей — мураш. Но грохнулись две льдины, разбились в звонкие дребезги, дали простор глазу — и все увидели его.

Он боролся.

Он мчался теперь не поперек реки, а чуть наискосок — в понизовье.

Понял, видно — не взять грудью Зыряннику.

Рванулся онемевший было люд по берегу, снова закричал, замахал руками:

— Назад вертайся!

— Сгинешь!

— Хоть мешок-то кинь!

— Доску лови!

Кто-то швырнул в воду плаху. Поймал ее человек, благодарственно руку вскинул и снова рванулся вперед, непобедимый, дерзкий, стремительный!

В трех верстах ниже села он вымахнул на берег, поскользнулся, упал.

Побежали люди, подняли — Культя!

Но такого Культю никто и никогда еще не видел. Глаза горят, в них еще не угасла ярость схватки. Бел парень, что льдина, но смеется, устало смеется и счастливо.

С детства тронутый — всем это в деревне известно, потому, стало быть, и ринулся в такую стремнину, смерти не убоившись.

Вдруг поднял голову Култыш, глаза его округлились, еще больше побледнело лицо. Клавдия в разорванном платье остановилась подле него, не зная что сказать. Рядом пристроился Никон и уронил, как булыжник в воду:

— Что, проздравить нас торопился? Дуй!

Култыш вынул из-под шабура мятый, но все еще свещающийся стародуб, вложил его в безжизненные, податливые пальцы Клавдии.

По берегу сыпанулся смешок: эти люди никогда и никому цветов не дарили. Только покойникам, да и то из древесных стружек. Култыш с ненавистью глянул на эту ждущую потехи толпу и сжал кулаки:

— Ы-ы-ых, слякоть!

Он бросил к ногам Клавдии суму с мехами и пошел обратно. Шел медленно, безжизненно опустив руки, но у самой воды вскрикнул дико, как раненый зверь, и пошел махать со льдины на льдину.

Толпа шарахнулась и замерла.

Никто уже не посмеивался, не орал, не ойкал. Люди с ужасом и недоумением наблюдали за тем, как уходит человек, дальше, дальше, по зыбучему, неверному льду.

Лишь Троха-сапожник порывался бежать вслед за Култышом. Но его удержала обеими руками жена, а потом мужики его схватили, ахнули оземь, придавили коленями.

Он плакал, как баба, навзрыд и с отчаянием бился лицом в грязную землю.

Клавдия была моложе Никона, ладна телом, хороша лицом. Большие карие глаза ее смотрели на всех открыто, прямо, с каким-то откровенным вызовом. В деле она оказалась хваткой, мужику ничуть не уступала, хозяйство вела справно.

Пока не умерла свекровь, жилось Клавдии трудно. Старуха привыкла главенствовать в доме и все подчинять своим правилам, своей вере. Любила Клавдия, как и ее

разудалый папаша, спеть и сплясать, но ее отучили от этого зряшного занятия в доме Никона. Ее заставляли молиться, покоряться, и она исполняла до поры до времени все потому, что так велось от веку. В ее бедной, безалаберной семье не было никогда такого тупого гнета.

Иной раз Клавдия крадучись пробиралась домой. Навалившись на плечо отца, от котброго всегда пахло прелой кожей, дегтем и самогонкой, выплакивалась вволю. Троха суетливо дергал черными пальцами свой висячий нос, точно соску, и проворно орудовал молотком, забивая деревянные шпильки в старую обувь. Молоток нет-нет да и срывался, попадал по пальцам. Остервенившись, Троха давал по затылку малому Изотке, который лез под руку или вынимал из лоханки лоскут моченой кожи и тянул его зубами, как резину.

После того как дочь уходила, Троха в дымину напивался, и тогда в окно летели сапоги, ичиги, опорки:

— Нател!.. Сами починяйте! Заели жизнь мою и дочернюю, двуперстники, мать вашу...

Вырубчане относились к Трохе, как и ко всякому поселенцу, с высокомерной снисходительностью. Однажды они взялись было учить его кулаками и палками уму-разуму и почтению к «опчеству», но налетела Клавдия с топором, ворвалась в толпу мужиков, и, не разбежись они, пожалуй, кое-кто несдобровал бы.

Что-то переломилось в этой женщине.

Дикой прозвали с тех пор Клавдию кержаки, утверждали, будто «чокнулась» она, и не раз интересовались, как это Никон до сих пор цел и невредим. Он ухмылялся, показывая костлявый кулак:

— Вот он, бабий унтер!

Бахвалился мужик. В душе он и сам побаивался «дикой» и никогда не смел ее пальцем тронуть.

Култыш пользовался особым расположением Клавдии. Будто в отместку кому, она привечала охотника, точно самого близкого родного, чем вызывала неприязнь Никона и даже ревность, которую он маскировал ехидными насмешками.

А Култыша, как и прежде, тянуло в тот дом, где жила теперь Клавдия, и он сам себе объяснял это тем, что вела его туда неистребимая любовь к отцу. Но была, конечно же, была причина, которая заставляла его обходить этот дом стороной и по возможности реже появляться здесь. Раз хозяин дома ляпнул прямо в глаза Култышу, что он

сохнет по его бабе всю жизнь и только во сне видит, как ее обнимает. Охотник совсем ступшевался, вовсе перестал заходить в дом Никона.

И вот он снова здесь, и снова говорит с Клавдией. Никон будет подначивать его, нехорошо шутить над Клавдией. А может, теперь и не будет? Года ведь прошли. Никон сохранился лучше Култыша, но и его уже добрым молодцем не назовешь, да и время вон какое страшное. До шуток ли?

Распахнулась деревянная створка. В огород ступил Никон. За ним Клавдия. Сделался Никон еще суше и ровно бы в рост подался. Седина обметала голову Никона, как хрупкий ледяной припай — темную полынью. Глубоко сидящие глаза оплела сетка морщин, брови нависли козырьком над переносьем. Большой кадык в синеватых жилках, шея тонкая, будто у мальчика.

Хозяин подал руку, крепко давнул пальцы Култыша и пристроился рядом с ним. Охотник отодвинулся, озадаченно покашлял.

— Чего в избу-то не идешь? — спросил Никон, протягивая Култышу кисет.

«Поперешный» Никон курил и вообще делал много несоответствующего правилам староверов.

— Да так вот, дошел до баньки и сажу вот... — забормотал Култыш.

Никон искоса глянул на него, облизал бумажку и пробурчал:

— Ладно уж городить-то. Ступай в избу, чай, не чужая. Култыш засуетился, отыскивая котомку.

— Я принесу, принесу, — обрадованно замахала руками Клавдия.

— У меня там гостинiec ребятишкам — черемши солевой тусок.

— Им бы мяса, — сумрачно вздохнул Никон, — вовсе отощали.

— Нету мяса. Хворал я, — начал оправдываться Култыш.

— Ушел зверь из лесу? — спросил Никон, пропуская Култыша во двор.

— Весь способный зверь перекочевал. Правда, кое-где коровы с телятами остались. На солонцы одна ходит...

Брови Никона шевельнулись, глаза сощурились. Все тем же утомленным голосом, но уже приветливей, он обронил:

— Полушубчишко-то брось под навес, сама его табаком пересыплет. Вшей, небось, больше, чем овчины.

— Есть вша, есть. Что ты с ней, с окаянной, изделаешь...

После бани, непривычно чистый, причесанный, Култыш сидел за столом. Возле него ребяташки — племянники. В рот смотрят Култышу — неустрашимому зверобою. Клавдия стала поздно носить детей, племяши были еще малы. Култыш гладил головы мальчишек, рассказывал им про лес, про Изыбаш. У старшенького глаза большие, приветливые. У матери его тогда были тоже такие. Прижал его Култыш к себе, шепнул на ухо:

— Подрастай! В тайгу возьму. Голубой камень покажу, стародубов нарвем...

Возле печи Клавдия. Прислонилась спиной к шестку, пригорюнилась, вспомнив что-то.

Никон крикнул и выпроводил сынов из-за стола, а затем жестом приказал им выметаться на улицу.

— Чтобы не докучали, — пояснил он.

Хозяин тоже в бане попарился. В новой сатиновой рубаше, шуршащей, как тонкая кожа, поместился он супротив Култыша. Костлявые руки Никона, рябоватые до запястий, тяжело лежали на столе. Деловито, без суеты пили затхлый от давности самогон. Култыш быстро хмелел. Никон радушно подливал ему.

— Дак чего же ты корову-то не завалил? — между делом полюбопытствовал хозяин.

— Говорю, телок у нее — подрастет пусть, на жительство определится, — обсасывая мокрые усы, отозвался Култыш.

— И телка взял бы. Гляди, голодуха какая...

Култыш часто замигал веками, и Никон только сейчас обратил внимание, что на этих веках нет ресниц. «Выболели от укусов комарья и мошки», — догадался он.

— Выходит, что на вашем знаменитом Изыбаше ноне только вошь и водится...

— Оскудел Изыбаш. Мертво и даже жутко. Встанешь утром — ни голоска птичьего.

Никон придвинул Култышу деревянный бокал, сделанный из березовой коры, подождал, пока тот отопьет, и снова завел:

— А ты говоришь — корова осталась. Птица и та улета...

— Куда она с ребятенком-то?

— Уйдет!

Култыш хотел что-то ответить, да махнул рукой и попытался затянуть песню. Вовсе захмелел старик. Голос его дрожал и чуть сипел:

Тю-рима, тю-рима, какое слово!
Гля все-ех позо-орно и страшно-о.
А гля-а миня совсем друго-ойе,
Привы-ык к тю-урьме-е давны-ым давно-о...

— Тяти покойника любимая... — затряс головой Култыш, роняя частые слезы. — Фаефана Кондратьевича... Э-эх, человек был! Челове-ек! Клаша, а, Клаша, ты тятю-то помнишь? Фаефана-то Кондратьевича?

— Как же, как же, помню, — стараясь угодить пьяненькому, рассолодевшему старику, заторопилась Клавдия. — Бродни ему всегда мой тятя чинил. Гуляли они вместе. Самонравный был человек, но добрый. Мне одинова зайчонка приволок... Как живого вижу... Ты бы закусывал, хоть капусткой. Хлебца-то нету...

— Отец-то твой, горюн, как живет?

— А-а, — отмахнулась Клавдия и отвернулась, подняв передник к глазам.

— Худо тестю, худо. Можно сказать, только нашей милостью и жив. Обутки ноне никто не чинит. До обуток ли? — И что-то сообразив, Никон быстро приказал Клавдии: — Сбегай-ка за ним. Пусть с нами выпьет. — Никон хлопнул носом: — За тятю, Фаефана Кондратьевича, Царствие ему Небесное...

— Дай я тебя поцелую! — полез через стол умилившийся Култыш.

Клавдия встревоженно глянула на хозяина, постояла и пошла за Трохой.

Под поцелуй выпили еще, и Никон снова завел разговор про зверя. Пьяный Култыш все пытался запеть и твердил:

— Мор в тайге, мо-ор! Всемирный мор, конец свету. Прогневили матушку-кормилицу...

— Ну, мор! Закаркал, едрена мать! — сердился Никон. — Корова ходит, а он — мо-ор, мо-ор. Добил бы ее, с деньгами был бы, а то обсевком голым и сдохнешь...

Култыш, взбывшись, глянул на Никона, пытаясь что-то понять. Никон уставился в упор, будто на мушку взял:

— Врешь ведь, брешешь про корову! Толкуешь, что в Изыбаше даже пичуги не осталось... А уж коли в Изыбаше нет...

— Эх, Никон, Никон. Да рази один Изыбаш в тайге? Рази окромя него нету мест золотых? Курушка, Серебрянка, Медвежья падь... Э-э, не знашь ты, чужая тайга...

— Ты много знашь! Врать только! В Медвежьей пади все выгорело? Выгорело. В Курушке. Чего на твоей Курушке осталось?

— Харюз и тот ушел, — подтвердил Култыш.

— Да и Серебрянка уж не блестит. Вон мужики сказывали...

— Чего мужики сказывали? Если бы мужики там побывали, от коровы и шерсти не оставили бы!.. Ска-азывали! Кишка тонка у твоих мужиков на Серебрянку ходить!

— Так уж у всех и тонка? — вызывающе усмехнулся Никон.

Култыш подозрительно глянул на хозяина, потер кулаками виски.

— Ну-ну, не беленись. Чего расходился? Давай еще хлебни да закусувай, хоть капусткой. Свалишься ведь... — заторопился Никон.

Но Култыш уже был готов. Когда Клавдия вернулась домой, он лежал на полу, положив кулаки под голову, и тоненьким, угасающим голоском тянул:

— Тю-рима, тюри-ма, ка-а-акое слово...

Клавдия затащила его в горницу, на половики, сунула под голову плоскую подушку. Пришел Троха, выпил на голодный желудок, за нос себя суетливо подергал и скоро уже лежал рядом с Култышом, оплакивая его и свою долю.

Никон поднялся из-за стола почти трезвый, коротко бросил жене:

— Собери соли в дорогу, котелок, сухаришек.

Он решительно снял со стены много раз чиненное ружье отца, Фаефана Кондратьевича, дунул в стволы, щелкнул курками.

— Ты куда? — испугалась Клавдия. — Не смей! Таежный закон забыл?

— Сейчас голод всему закон! — отрезал Никон и с силой отстранил ее.

* * *

За начальником участка Гисзатовым пришли.

— Хороший разговор не дают слушать, — сказал Гисзатов. — Плохо начальником быть.

И, неслышно поднявшись, зашагал по тропинке, веду-

щей к новому поселку. Точнее сказать — к будущему поселку, из которого должен вырасти городок. Пока же это — много начатых домов, с крышами и без крыш, с окнами и еще без окон, с трубами и без труб. В двухэтажном доме наверху еще ведутся штукатурные работы, внизу уже расположена контора, громко именуемая управлением, где трещат телефоны, ругается и шумит народ и, как во всякой конторе, невозмутимо пощелкивают косточками счетов финансовые работники.

Дежурный по участку, молодой инженер Ваня Сычугов, забегая сбоку, рассказывал Гисзатову о том, что приехали московские артисты, и о том, как он, Ваня Сычугов, ловко разместил их в кабинете начальника на раскладушках, чтобы люди искусства отдохнули и набрались сил перед концертом.

Начальник слушал Ваню невнимательно. Более того, на самом таком месте, когда Ваня, млея от восторга, рассказывал, как он опознал одну артистку, игравшую в кинофильме: «Мы с вами где-то встречались», Гисзатов его перебил:

— Злушай, Иван!

Сычугов насторожился. Раз начальник начал говорить с кавказским акцентом и называть его полным именем, значит, он чем-то взволнован.

— Злушай, Иван, — подумав, повторил Гисзатов. — Под твою ответственность: сегодня же отдай распоряжение подсоединить свет и радио в Вырубы.

— Но вы же сами...

— Что сам? Что сам? — загорячился Гисзатов. — Говорил — много жили люди с лампой, да? Еще поживут, да? Зря говорил.

— И потом, пробовали мы насчет радио. Куда там, к дому не подпускают кержаки, а электроэнергию у нас каждый ватт на учете. Пристань иной раз отключаем. Вот подведем высоковольтку....

— Долго ждать. Нельзя ждать. Столбы на улице стоят, лампочки вверни, свет подай. Не пускают радио в дом, ставь на крышу. Пусть орет! Эх, Иван, Иван! Эта деревня — остров! Целина! Мы как-то забыли в делах про богов, про чертей, про церкви, про темноту. А она еще есть, еще вон за ставни прячется, за ограду, или, как тут говорят, за заплоты. Эта деревня скоро войдет в черту нового города. Нового, понимаешь!?

— Понимаю, товарищ начальник! — с расстановкой

молвил Ваня Сычугов и тут же быстро добавил: — Будет сделано!

— На концерт их зови. Обязательно приглашай! — после большой паузы сказал Гисзатов.

Тропинка вилась в кедраче. Земля была усыпана слоем рыжей хвои. Между темными разлапистыми деревьями стояла кривая, тощенькая березка, одинокая, задавленная густыми, мохнатыми деревьями. Занесло вот семя, проросло оно и тоже тянется к свету. Из последних сил тянется.

— И на работу их всех надо к нам, — снова заговорил Гисзатов. — Нам нужен лес, много леса. Они лучше приезжих умеют работать в лесу. Там и заработок хороший...

— Ну, если заработок, тогда агитация вовсе и не требуется...

— А потом, ты послушай, Иван, — Гисзатов хитро сощурился, — потом одного по одному на курсы, да? Будет кэржак-бетонщик будет кэржак-монтажник, будет кэржак-мастер, техник, инженер, а, цх!

— Ох, и намучимся мы с ними, товарищ начальник, пока они техниками станут, — вздохнул Ваня.

— Намучимся? А люди не мучились, пока в кучерявую Ванину голову ум вбили, а? Твой начальник Гисзатов в двадцатом году с гор спустился, диким человеком был. Он не мучался? С ним не мучались, да? Вы эти шьтучки бросьте! Вы — комсомольцы! Вас послали сюда не только работать. Дикий край обживать. Угнали кэржаков из палаточного городка? Плохо! Говорить надо было!..

— С ними поговоришь...

— Меня звать надо было.

— Ждать некогда.

— Хорошо, что никого не зарезали. Другое время, другой метод должен применяться. Обратил внимание — человек беседует с комсомольцами!? В Вырубках родился! — И начальник рубанул рукой так, словно в ней был зажат кинжал: — Будет город! Гидростанция будет! Кэржаков — ннэ будет!

Рассказ третий

ЗВЕРЬ И ЧЕЛОВЕК

Никон спешил. Он толкался шестом по обмелевшей Зыряннике так, что узенькая осиновая долбленка на пере-

катах зарывалась в воду по самые борта. Силенка у него еще сохранилась. Сам он и его семья голодовали меньше других жителей деревни. Старая, давно заведенная в семьях охотников привычка пригодилась. В этих семьях всегда сушат сухари. Зачерствел ли хлеб, получилась ли устряпки неудача, куски ли со стола, краюшки ли с покоса — все на сухари. На полатях накопилось несколько мешков сухарей, потому что после смерти Фаефана Кондратьевича их мало употребляли. Иногда только в охотку со щами ели ребятишки. Если Кулгыш забредал, Клавдия насыпала сухарей в его суму. Да нищим подавала. Капуста еще с прошлого года осталась. Свежая картошка вот-вот появится, она уже с воробьиное яйцо — Никон смотрел. Ботву свеклы, брюквы и листики капусты Клавдия уже во щи крошит. Нет, не умрет Никон с голоду, и детишки не умрут. Может, и деревня помаленьку поднимется. Месяц-другой протянут жители Выруб и, глядишь, тоже начнут огородным пользоваться. Правда, в огородах не ахти какросло, но все же зелень — еда. Ну, а за эти два месяца многие перемрут, ой, многие.

«Прогневали, видно, косматого!» — подумал Никон и подивился на себя: вот опять Бога помянул. А сам ведь в душе-то знает, что это лишь пугало для людей, узда невидимая. Уму и смекалке Никон больше доверял. Еще с детства он твердо уразумел, что Бог-то он Бог, да сам не будь плох. Правда, по наущению матери исполнял Никон некоторые обряды и правила староверов, но на самом деле оставался к ним совершенно равнодушным. Вон они, соседи-то, ждут, что Бог даст, и мрут как мухи. А он не станет ждать, он добудет мяса, и эти же соседи придут к нему и начнут канючить, делая вид, будто ничего не знают и знать не хотят, по-Божьи или нет сделал Никон, сходявши на чужие солонцы.

Что же касаясь Кулгыша, так его в расчет брать не стоит. Для него бог — тайга и превыше всего — таежный закон. Но защитить этот закон один он не в силах: ведь каждый закон — худой он, хороший ли, — миром создается и миром держится. «Шепериться начнет — вытряхну из избы, и только, — рассуждал Никон. — Сам проговорился, за язык я его не тянул, и потом — за мной правда, а не за ним: хочю голодным помочь».

Никон равномерно перебрасывал и перебрасывал шест. Горели ладони, ломило поясницу, сохло во рту. Он время от времени зачерпывал жилистой рукой воды, отпивал

глоток, вытирал рубахой лицо и снова гнал лодку вперед. Отощавшая Зыряниха немощно и бестолково билась на перекатах. По крутым берегам ее стоял недвижно березник со скрюченными коричневыми листьями. Даже сосны и те рыжели. Солнце, беспощадное, вовсе не сибирское солнце, сжигало все, высасывало из скудной почвы последние соки. По узеньким берегам — бечевникам — торчали прошлогодние остожья. Трава на них реденькая, ершистая. Сена нынче вырубчане не поставили. Падет скотина, обнищает деревня.

Никон с радостью вспомнил, как он мало-помалу подкашивал да подкашивал траву в огороде и набил почти полный сеновал. Трава на мокрой земле нынче как тесто на опаре поднимается. А кто не велел соседям пригородить ключ?

К вечеру с гор нанесло гари. Никон поднял голову. Высокое, изнывающее от жары небо затягивало темной пленкой дыма. Яростное немое солнце пекло немилосердно даже в предзакатные часы.

Впереди показалась черная полоса. Должно быть, несколько дней назад лесной пожар подступил к реке, потоптался возле нее, зашипел вдоль берега, подобрался к самой воде и по упавшей лесине перекинулся на другую сторону и ушел в глубь тайги. Лишь черные валежины и высокие пни курились синенькими струйками, словно только что задутые свечи. По воде хлопьями плыли сажа и листья. Дышать сделалось трудно. К берегу подбивало обгоревших на лету птиц.

Под утро Никон миновал пожарище и обрадовался.

Огонь, только он мог воспрепятствовать Никону и остановить его. Но пожары уже слились воедино, смахнули жизнь с горных хребтов и обрушились на предгорья, угоняя кочевников-скотоводов в голые степи.

Вот и Серебрянка — звонкая речка. Укрытая горами, лесом и кустарником, она неожиданно выныривала из этой гущи и, разъединившись на камне, двумя легкими прозрачными крыльями слетала в Зыряниху.

Никон втащил лодку в кусты, забросал ее ветками. Отаборившись, согрел чаю, заварил парочку сухариков, похлебал и лег спать. Спал недолго, но крепко. Проснулся в поту, лежа на животе, долго, с захлебом пил студеную воду из Серебрянки.

Палило солнце. Никон озабоченно потянул носом. Запах гари был едва слышен. Довольнехонько почесал Ни-

кон спину длинной рукой, да не достал самого зудящего места и, прислонившись к дереву, поцарапался спиной о него. Затем собрал мешок, сунул топоришко за пояс, поглядел из-под руки на солнце и на всякий случай помахал двуперстием у груди.

— Благословясь, — буркнул он и шагнул в густые заросли, как в душную баню, пахнущую распаренными венниками.

Там и сям перепоясывали речку широкие черные ремни отбушевавших пожариц. Подлесок обуглился, вершины ольховника и черемушника были зловеще темны. Однако половина их еще жила — у комлей, возле воды, топорились листья. Ни шороха, ни писка, ни птичьей возни в лесу.

Мертво.

Лишь голос беззаботной Серебрянки звучал неутомно, да одиноко и оттого совсем тоскливо ныли квелые от зноя комары. Зато слепней было много. С лету, как пули, они впивались в распаренную шею Никона.

— Ах, нечистая сила! На тебя и мору нет!.. — сквозь зубы ругался Никон. Он шлепал себя по шее и швырял горсти битого гнуса в воду. Голос гулко разносился по лесу, погруженному в нехорошую тишину, поэтому он старался говорить меньше и как можно тише.

Будто осенью, с шорохом опадали листья. Ягодники в лесу посохли. Даже смородинник у речки, и тот опустил свои водолюбивые листья. Ягоды на нем раньше времени почернели. Никон срывал мелкую смородину, давил языком и, думая о чем-то совсем другом, сокрушался:

— Вот напасть так напасть! Ягода и та зачичеревела! Этакой страсти не упомяну...

Часто попадались змеи. Никон сначала суеверно содрогался, а потом срубил березку с наростом чаги и бил дубинкой гадов со злыми матюками, точно они, эти твари, были повинны в том бедствии, какое обрушилось на родной край.

Далеко за полдень он неожиданно увидел сломленную рябинку. Прошел было мимо, но какая-то догадка шевельнулась в голове, и он вернулся, осмотрел деревце. Вершина его указывала в верховья речки. Прошел саженой двести — опять сломленное деревце и опять рябинка.

— А-а, Кулятя двухпалая, твоя работа! — громко, точно встретив попугчика, воскликнул Никон, утомленный тишиной и одиночеством.

Рябинка — деревце хрупкое, самое подходящее для того, чтобы сломить его на ходу. Своя метка, свой указатель — рябинки же всегда надламывал и отец, Фаефан Кондратьевич. Это Никон хорошо запомнил из разговоров. Он-таки сумел многое на ус намотать из этих разговоров. Пусть следов человеческих здесь нет, одни только рябинки, вроде бы ветром или зверьком сложенные, а он твердо знает — солонцы скоро!

Но добраться до солонцов оказалось не так-то просто. Серебрянка, в устье игривая, по-детски шалая, вроде бы заманивает. Зовет картавеньким говорком идти по галечному берегу или по еланям и кулигам, примкнувшим к ней. Но в глубине тайги, сдавленная горами речка бьется судорожно, как синяя жилка. Бульжник, плитняк, осклизлые от сырого зеленого мха, сплошь завалили ее. Слоистые бока скал нависли над речкой так низко, что в иных местах Никон пробирался под ними ползком и уже все-ррез крестился, боясь, что его придавит, как крысу ловушкой, или змея из трещины жогнет.

Заломки Култыша больше не встречались. Должно быть, охотник знал обход этих мест. Да и рябинника не было. В ущелье росли только бесплодный боярышник с острыми шильцами, ранящими лицо, гнезда марьиных корней да развалистые ветви молитвенно тихих папоротников. Если бы Никон знал таежные приметы, он не опасался бы змей в этих местах. Там, где растет марьин корень, или, как его еще называют, лесной пион, змеи не водятся.

«И до чего же народ легковерный, — злился Никон, утирая расцарапанное в кровь лицо, — увидел речку снаружи — и назвал Серебрянка! А какая она к лешему Серебрянка? Лихоманка — вот как пристало бы ей зваться».

Наконец речка разъединилась, и Никон остановился на развилке, удрученно соображая, — куда же идти? Ущелье волнами расходилось в стороны. Перед Никоном углом возвышался лесистый косогор, нетронутый пожаром. Никон присел на камень, облил себя водой из котелка, гулко екая кадыком, точно конь селезенкой, напился. Спрятал котелок, задумался и, перемотав портянки, поднялся.

«Тяга воздуха в ущелье, ровно в трубу. Лесок подходящий для солонцов. На Изыбаш похоже. Здесь, здесь дол-

жны быть солонцы!» — металось в голове у Никона. Послюнявил палец, подставил — точно, как он и думал, тянет с косогора.

Неожиданно на гладком стволе молодой пихты Никон увидел царапину, заплывшую светлой серой. Потер рукавом, но смола только размазалась и вовсе затянула царапину. Осторожно выскоблил ее носком топора и пристально всмотрелся. «Ох, не случайная эта царапина! — покачал головой мужик. — Из двух одно: или медведь когти точил, или Култыш метку сделал».

Отошел Никон немного и опять обнаружил царапину на дереве, примерно на таком же расстоянии от земли. Прикинул по росту Култыша — точно, метка! Заторопился Никон, но ступал как можно осторожней, предчувствуя, что вот-вот набредет на солонцы.

И в самом деле он их скоро отыскал. Серебрянка раздвоилась и запуталась где-то в густом, забуреломленном лесу. С косогора, начавшегося в развилке, виден край неба вдали. Должно быть, там садится солнце. И там же маячит дерево со сломленной вершиной. Совсем недалеко от развилки речки, но все же на таком расстоянии, чтобы голос ее не глушил лесные звуки, посолена земля. Звери, или один зверь — Никон не мог определить — недавно стали ходить сюда. Ямка, выбитая копытами и вылизанная языками, еще невелика.

Никон не стал приближаться к ней. Он отыскивал глазами караулку, однако ничего похожего не увидел. Тогда он поднял голову, думая, что вместо караулки на каком-нибудь дереве налажен лабаз. Но и лабаза не оказалось. Он чуть было не ругнулся вслух, однако вовремя закусил язык.

Прислонив ружье к огромной сухой осине, — из таких в Сибири делают лодки-долбленки, — Никон сел, пытаясь сообразить, — где подкарауливал зверя Култыш? «Не сидел же он середь поляны, лесная кикимора!»

Ходить много возле солонцов Никон остерегался. Стоять тоже не было времени. Неслышно ступая, вышел человек на поляну и еще раз огляделся. Проем в вершинах леса был прямо против него, и воздух тянул оттуда. Он глазом прицелился на сломленное дерево. Догадка его подтвердилась: вершина дерева срублена для того, чтобы не заслоняла зорькин свет.

«По всем видам караулка должна быть тут, где я стою. Но ее нет!» — все больше вскипал Никон.

Он уже решил сесть возле старой, в несколько обхватов осины и наскоро прикрыться корьем и мохом, надеясь на дикую удачу, почти уверенный загодя, что дело это бесполезное: марал, а в особенности маралуха с теленком так сторожка, что любое, даже самое маломальское изменение на солонцах отпугнет ее.

Отец, Фаефан Кондратьевич, сказывал, будто однажды он вырвал горсть пырея, выросшего перед окошечком караулки, и зверь перестал ходить на солонцы. Если, к примеру, вырастет пучка на солонцах и будет мешать, — ее нельзя вырвать, — марал заметит. Он знает и помнит здесь каждую былинку. Надо слегка подрезать растение ножом, зверь на ходу его уронит — вот это другое дело, это он тоже запомнит.

И все же Никон решил садиться. Будь что будет, не зря же он тащился в такую даль. Принялся искать корье. С той стороны осины, что не видна от ямки, слегка отвалился широкий пласт коры, будто подточенный червями. Никон с силой рванул кору, но пласт отделился легко и без шума. И тут Никон не удержался, громко и восхищенно ругнулся:

— Во, ушлый! Ну и голова-а!

Под пластом оказалось скрытое отверстие в дупле осины. Никон просунул туда свою узкую голову. Да, вот она, караулка! Прямо перед глазами — небольшая дырка. Должно быть, отверстие было совсем малое и Култыш расширил его ножом, оставляя мелкую стружку здесь же, на оконце. Словно бы короед или дятел работал. В дупле под ногами мох, а под мохом — пенек. Оконце высоко, и Култыш, судя по всему, вставал коленями на чурбачок, чтобы хорошо видеть, что делается на солонцах. Вползать в убежище нужно на карачках, как в нору. Никон с трудом протиснулся туда, втянул мешок. Шевельнуться невозможно. Кость у него шире, чем у хозяина солонцов.

С великими усилиями загородил Никон пластом коры вход в дупло. Чурбачок из-под колен выкатил наружу. Все равно тесно. Дупло как бы сжимало плечи Никона, но он решил все стерпеть, и постепенно обсадился в этом тесном душном нутре дерева. Ружье просунул в оконце, пошарил глазами по поляне, по лесу, по небу. Было еще рановато, но вылезать из дупла Никон не решался. Пусть лишний час-два просидит, зато уж больше никого и ничего не потревожит.

Солнце медленно село за дальними увалами, но еще

долго колыхалось над окаемом знойное марево. Небо запекалось, краснело, по краям темнело, будто покрывалось окалиной. Из-за осины, от развилка Серебрянки, крадучись выползала удушливая, как чахотка, ночь. Уже чуть не все небо запахло сероватой хмарью, но за сломленным деревом, за далекой далью все еще не остывала раскаленная лепешка. От нее к солонцам сочилась багровая струйка и густела, как бычья кровь. «Страсть какая — быть одному в тайге», — поежился Никон.

Морила усталость, ныли ноги и руки. «Подремлю маленько, ночью свежей будет», — сказал себе Никон и уронил голову на грудь. Это все, что он мог себе позволить для удобства в туго сжавшем его полом дереве.

Под рубахой забегали, зацекотали муравьи. Никон передернул плечами, но глаз не открыл. Винный дух устоялся в пустой осине. Он дразнил Никона, туманил мозги. В дереве продолжала гнить мягкая волокнистая сердцевина и труха с легким шорохом осыпалась сверху.

Под этот чуть слышный шорох забылся Никон.

Приснился ему Култыш. Он все силился запеть: «Тюрьма, тюрьма, какое слово...», но ничего не выходило у охотника. Беззубый рот его открывался и закрывался. Никон ждал, напряженно ждал песню, однако вместо песни слышался хруст и стали высовываться зубы, длинные, белые и загнутые, как клыки, а потом клыки зашевелились, поползла изо рта белая змея и ощерилась на Никона собольей головой. Откуда-то взялся отец, схватил змею и принялся хлестать ею по голове долгошеего парня. Никон догадался — это его бьют, попытался крикнуть и не мог, рот свело, заполнило вязкой мякотью.

Дернулся Никон и открыл глаза. Долго не мог очнуться. Пришел в себя только после того, когда сердце стало биться ровнее.

«Прости, Господи!» — смиренно пошевелил губами Никон и прислушался. Все так же рыхлым снежком осыпалась гнилая труха за шиворот. В ноздрях сделалось до того щекотно, что неудержимо потянуло чихать. Никон испуганно зажал в горсти нос. Мужик был скорее готов умереть без дыхания, чем издать какой-нибудь звук. Он не знал, сколько времени проспал. «Может, зверь-то уже на солонцах?» — медленно вытягивая длинную шею, испуганно подумал он. Захрустела спина, защелкали суставы сухим хворостом. «Только бы руки не закозлились, да глаз не застлало бы от отощания, остальное выдержу», — твердо решил Никон.

Как и в ту давнюю ночь на Изыбаше, на небо выползла чуть ущербная луна. Но какая-то рябь все время набегала на нее, и Никон не сразу уразумел, что это все тот же дым от дальних лесных пожаров. Он потянул носом и уловил едкий запах. «Хорошо это: у зверя чутье отшибает гарь. Корова-то, поди, нажралась и ушла? — тут же спохватился он. — А может, вовсе перестала ходить?»

Никона стали разбирать те сомнения, коих бывает полно у охотника с ненаметанным глазом. Иначе он бы еще давеча по следам заключил — ходит зверь на солонцы или нет.

Впереди что-то мелькнуло. Никон рванулся и больно ударился острым носом о стенку дупла, но даже и внимания не обратил на это. Дрожащие пальцы его уцепились за спусковой крючок ружья. Однако сколько Никон ни напрягал глаз, обнаружить больше ничего не мог. Только начал успокаиваться, решив, что ему померещилось, впереди опять ровно бы мячик упругий подскочил.

Никон оцепенел.

В этом время рябь ненадолго рассеялась и он увидел у ямы зайца. Насторожив уши и приподняв передние лапы, заяц слушал. Послушал, послушал — и кувырк в ямку. Лизнул соленой земли — и опять начеку. «Холера! — беззлобно плюнул себе на грудь Никон, — тоже бережет свою душонку, стервец! Надо быть, пожары его сюда загнали?» Но слишком уж часто заяц исчезал и появлялся. И немало времени прошло, пока Никон догадался: зайцев-то двое и они по очереди один другого сторожат.

«Артелью пасутся. Хорошо это. Кулья говаривал: когда заяц на солонцах, марал идет смелей, меньше опасается».

Долго следили пристальные глаза человека за возней большеухих. Но они до того разлакомились, что не чуяли глаза, от которого содрогаются и бегут куда более храбрые звери. Никон до того засмотрелся, что и не заметил, как из кустов выскочил еще зверек и бесшумно подбежал к ямке. У него были тоже большие уши, гибкая, как у змейки, шея и тоненькие, паучьи ножки. На узенькой мордочке в свете луны стекломками поблескивали глазенки. «Это же теленок!» — ахнул от неожиданности Никон и зажмурился, памятуя о том, что зверь страшно чуток к человеческому глазу. «А у меня глаз-то дурной, урочливый».

Однако не удержался охотник, тут же разомкнул рес-

ницы и принялся отыскивать корову. Она стояла чуть поодаль, сторожко подняв голову. Затем сделала несколько мелких шажков, едва слышно прошелестела губами, разрешая своему детенышу отведать соленой землицы — звериной сласти.

Но малый не ждал позволения. Он уже припал на колени и вкусно причмокивал. Длинные его уши пошевеливались, как ольховые листья. Мать приблизилась к ямке, грозно мотнула головой, и зайцы отпрянули. Однако соль манила, так манила, что и природный страх и всякое уважение к сильному забыли косоглазые. Они настырно лезли к солонцам. Тогда маралуха бросилась на них, занесла ногу, намереваясь сразить копытом всякого, кто осмелится докучать ее дитю. Зайцы ловко увернулись, припали за кустом, выжидая.

— Господи, баслови! — беззвучно пошевелил губами Никон и стал тщательно целиться в корову, явственно видимую в лунной полосе. Зайцы урвали-таки удобный момент, сиганули через куст в ямку. Теленок пугливо шарахнулся, фыркнул. Мать метнулась к нему и на миг ушла из прицела.

И тут Никона осенило: «Ребенка не кинет, а он глупой, может удрать. Обоих надо брать. Крышка!»

Мушки не видно. Лишь маленькая искорка подвинулась и замерла под тоненькой фигуркой мараленка.

Занемевшие пальцы рванули спуск.

Искорку загасило пламя.

Раскололась ночь.

По горам и дальним седловинам покатился гул, смахивая душную тишину. И все, что еще оставалось в лесу живое, ринулось в темноту, с треском ломая кусты, натываясь на деревья.

А тоненькие, как у комарика, ножки мараленка подломились, и он сунулся мордочкой в такую вкусную землю, которой, сколь ни лижи ее, не налижешься. Теленок еще попробовал ползти в родной лес, выцарапывал копытцами траву и корешки, еще заблеял чуть слышно, ему же, наверное, думалось, что заблеял он на всю тайгу, призывая мать, и утих.

— Ну, один спекся, — облегченно выдохнул Никон и провел языком по пересохшим губам.

Маралуха все еще бежала, гонимая ужасом. Трещали сучки под ее стремительными ногами. Но вот шаги ее стали замедляться, треск и щелчки прекратились. Она оста-

новилась, помолчала, чутко вслушиваясь в ночь. Чуть-чуть прошлепала губами, призывая дитенка.

Никакого ответа.

Она позвала еще раз, громче, тревожней.

Ждала ответа, переступая от нетерпения с ноги на ногу. И вдруг закричала на весь лес дико, так дико, что даже человека покорило, и он невольно занес руку перекреститься.

Шорох приблизился.

Мать еще не теряла надежды отыскать, дозваться мараленка. Она кружила возле солонцов и, прищелпывая губами, настойчиво звала его. Шаги ее, то медленные, крадущиеся, то нервные, стремительные, доносились отовсюду. Можно было подумать, что вокруг солонцов мечется несколько зверей.

От гнева и страха дрожат у маралухи ноздри, все ее мускулы напряжены. Она останавливается, смотрит, слушает — не выскочит ли быстроногий малыш, не побежит ли навстречу ей. Она переваливает язык, готовый облизать дитя от кончиков ушей до светленьких копытец.

Тишина.

Был гром, а теперь тишина.

Медленно, как бы пробуждаясь от душного сна, дохнул лес, и между деревьями просочились только ей слышные струи воздуха, а вместе с ними — страшный запах крови. Маралуха снова пронзительно крикнула и заметалась возле солонцов.

— Э-э, чтоб тебя, худая немочь! — свирепым шепотом бранился человек, напряженно всматриваясь в предрасветную мглу.

Луна скрылась.

Небо заволокло тучами, а может, и дымом.

«Или дождик будет?» — стараясь отвлечься, размышляя Никон, но слух его был напряжен до предела.

Немыслимо тяжело сидеть.

Пошевелиться бы.

Суставы, шея, все остамело от неподвижности, а маралуха не подходит. Мечется, будто безумная. «Что, как бросит? Вот тогда и выгадаешь, рябой ирод!» — побранил себя Никон.

Сделалось свежей.

Влагой потянуло в отверстие дупла.

«Будет дождь, будет, — радовался Никон. — Раньше бы надо. Ну, ну, чего же ты, язва, пляшешь? Иди же, иди!»

Снова, как в молодости, в ту первую охоту, одолевает желание садануть из ружья так, чтобы чертям и тем тошно сделалось. Но он уже не тот сосунок, чьего духу не хватило даже до полночи. Последним усилием он заставляет себя сидеть неподвижно. Выдюжит, непременно выдюжит. Если ему требуется и выгодно — он до последнего вздоха будет сидеть. Ну уж тогда он резанет эту комолую скотину, резанет!

Далеко за обезглавленным великаном-деревом, должно быть, кедром, порозовела кромка неба, стали видны облака.

Никон с ликованием воззрелся на них.

Давненько он не видел ни одного облачка на небе. Клочками старательно расчесанной кудели несмело напоздали они из-за гор, гасили звезды. Коснувшись розовенькой полоски зари, вспыхивали по краям, бездымно шаяли.

И вот, когда уже посветлело полнеба, когда из леса потекла темнота, высвобождая одно по одному деревья, кусты, пни и валежины, мать, не таясь больше, с гордо поднятой головой вышла из леса и рванулась к лежавшему на поляне мараленку.

Никон не допустил ее близко. Стиснув зубы, он выстрелил в отвислую грудь коровы и, когда она стремительно метнулась, ударил еще раз вдогонку — это уже со зла.

Вместе с пулей вылетело зло.

Залихорадила, затрясла охотника радость.

— Пришла, пришла, голубушка! — ликовал он, с удовольствием слушая свой хриплый от долгого напряжения голос. — А ты думала человека перехитрить! Не-е, человек, он...

Никон болезненно охнул, пытаясь выбраться из дупла. В ноги вонзилось множество иголок, будто ичиги были переполнены ими. Никон задрыгал ногами, руками, завертел головой, разгоняя кровь, и еле расхотился.

— Вот ведь до чего довела! И надо же такую охоту выдумать?! Тьфу! Только с голоду да поневоле стерпишь...

Никон, уже не таясь, вышел на поляну, полной грудью вдохнул хвойный воздух, тронул белобрюхого теленка, ухарски сдвинул на нос шапчонку и довольнехонько пошарил в затылке.

— Сейчас мы тебя, милоч, распотроши-им. Вот посмотрим, где сама, и распотрошим...

Как бы ни была смертельна рана, марал какой-то не-

ведомой силой, наверное, даже не силой, а остатным вздохом, последним типком всегда чутко напряженных мускулов делает бросок. Иногда его сил хватает еще уйти на двести-триста сажен, но он никогда не падает там, где его ранят...

Отыскав следы маралухи, на которых будто рядками клюквы рассыпалась кровавая потечь, Никон довольно потер руки:

— Далеко не уйдешь! Сыщу!

Он закурил, судорожно закашлял:

— Ну и... о-о...кха!.. охота! Мать ее так! Кха-кха! Дыхало все... кха-кха!.. сперло...

Наконец он прокашлялся, отдышался и принялся свежевать мараленка. Одним махом умелого крестьянина, сызмальства привыкшего забивать и обрабатывать скотину, он развалил мягонький живот. Ноздри Никона алчно зашевелились.

— Ах, мяско-то, мяско! Нежно, пахуче! И жирен, чертенок! Жире-он! С чего бы это? С удачей тебя, Никон Фаефаныч! Будут и денежки, и свежинка... Пофартило! А ты, Культа, паси теленка-то... Х-хы, простота! Из-за нее ты гольшом и остался. С твоей бы сноровкой озолотеть можно. Умна голова, да дураку досталась!..

Сделав незаконное дело, Никон, как и всякий пакостник, охальничал словами, забывая остатки страха и совести, убеждая себя в том, что он, а не кто иной, прав. И плевать ему теперь на все и на всех!

Он выбросил кишки теленка прямо на солонцы, отрезал ноги, голову, бросил здесь же. Запакостил солонцы, но ему на них больше не бывать. Медведь явится, сожрет. Какое дело ему, Никону, что там, где побывает медведь, может быть, год или два не появится марал. Ему, Никону, теперь дай Бог вытаскать мясо к лодке да незаметно, желательнее в поздний час, приплавить его в деревню.

А там... «Никон Фаефаныч, подсоби! Никон Фаефаныч, выручи! Никон Фаефаныч, спаси ребятишек — век Богу молиться за тебя стану! Никон Фаефаныч, за ценой не постоим!»

И Никон Фаефаныч выручит, Никон Фаефаныч лишка не возьмет. Он не шкуродер. Придет время, односельчане и его выручат, подсобят на пашне, подмогут с мельницей.

Есть у Никона потайная думка — свою мельницу поставить. Ух, тогда держись! Потечет хлебец. А Култыш

пусть бережет теленка-то! Пусть! Без штанов на этом свете жил, без штанов и на том свете перед непорочными девами явится...

Закипела вода в котелке.

Самое нежное мясо выбрал Никон — грудинку с молодым хрящиком. Нетерпеливо тыкал он палочкой в мясо, судорожно сглатывая слюну. Не выдержав искушения, махнул рукой и сам себя урезонил:

— Горячо — сыро не бывает! — И поспешно схватил подолом рубахи дужку котелка.

Тут же у огня, громко чавкая, жевал, давился горячими кусками мяса, круто посыпанными солью. Ел без сухарей, от всей души. Чтобы мясо скорее остыло, он его вывалил на побелевшую от сухости траву. По губам Никона, треснувшим от жары, и по грязным, тоже потрескавшимся пальцам стекал жир. Никон облизывал пальцы, мурлыкал, будто кот:

— Славно, ах, славно! Не уварилось мясо-то, ну да в брюхе доварится... Житье, ей-бо!

Вспомнил Култыша, худого, тощего, злорадно рассмеялся. Съел все мясо до последнего хрящика, попил жижи через край из котелка, с рокотом, сытно рыгнул, небрежно побросал крестики у рта и вытянулся возле затухающего огонька.

Дремота навалилась сразу, но мухи облепили лицо, замазанное жиром.

— Ф-фу, язвы! — закричал Никон, отгоняя мух и недовольно поднялся. Потянулся, звонко треща суставами, собрал куски мяса в мешок и, преодолевая сытную разомелость, двинулся на поиски маралухи.

Прошел двести-триста сажень — маралухи нет. Никон недовольно пофукал носом и последовал дальше. Прямая трава, выбитый мох и багровые капли вели на косогор.

— В гору не уйдешь! Во, уже выдыхаешься! — обрадовался он, заметив шерсть на корявом стволе лиственни. По всей видимости, во время остановки маралуха навалилась на ствол.

Но миновал Никон одну гору, другую, а следы вели все глубже и глубже в тайгу. Крови на следах становилось меньше. Лишь изредка мелькали маленькие капельки на листиках или на траве. Вот ключик лесной. Возле него корова полежала, отдохнула.

— Напилась ведь, напилась, подлая! — взвыл Никон,

зная по рассказам бывалых охотников, как живительно действует водичка на раненого зверя, у которого пал огненный бушует внутри.

Еще один перевал одолел Никон, прислушался: нет, ни единого звука не слышно. Тайга как будто притаилась. Устал Никон, изнемог.

С трудом собрал дровишек, развел костер, поставил котелок с мясом, но так и не дождался, когда оно сварится — уснул.

Спал долго.

Проснулся, когда уже совсем ободняло.

Жадно набросился Никон на перепревшее мясо. Вода из котелка выкипела, и подгорелое мясо похрустывало на зубах.

И в этот день не нашел Никон маралуху.

Сердце царапнуло, будто иглой боярки.

— Да какая нелегкая тебя тащит? Все одно ведь не уйдешь! — ворчал Никон по-домашнему однотонно, словно бы на ребятишек. Но уловка не удалась, страх вошел в сердце мужика, хотя он в этом себе еще не признавался.

Спалось Никону беспокойно. Разболелся живот, и ночью он несколько раз отбегал в кусты. «На тощее брюхо недоваренного мяса нажрался! Башка еловая!» — запоздало ругал себя Никон.

Утро наступило хмарное.

Погода явно налаживалась перемениться. Небо сплошь затянуло слоистыми тучами. Дождь собирался трудно, как бы все еще не решаясь залить лесные пожары, окропить изнывающую от зноя землю.

Никон торопился.

Понимал мужик — пройдет дождь, зверя ему не найти. Смует следы маралухи, а он ведь не Култыш. Тот умеет каким-то своим нюхом особым отыскивать в тайге все, что ему надо. Тайга для него, что собственный двор — для Никона, где известно хозяину все, вплоть до ржавого гвоздя, вбитого в стену бани для лошадиной уздечки.

Перед Никоном разом возник горбистый перевал. На земле мох, на камнях ржа. Редкий сосняк и приземистые лиственницы наполовину сухи. В пасмурном лесу на кудельно-сером мху россыпи чуть покрасневшей брусники.

Маралуха стала делать лежки.

Никон облегченно вздохнул.

Теперь-то все, он скоро достигнет корову и с каким же остервенением всадит ей еще одну пулю! На ходу

Никон наклонялся, обдаивал пальцами брусничник и высыпал зеленоватую ягоду в рот: «Чего-то весь живот ожгло, может, от ягоды полегчает».

За перевалом, в темно-зеленом лесу змеилась узкая пенистая речка.

Никон осмотрелся.

Речка показалась знакомой.

Он хлопнул себя по бедрам:

— Да ведь это Серебрянка! Вот зануда-корова, бродила, бродила и снова к солонцам подалась. А того не возьмет в разум, что сосунок-то ее в сумке за ней ходит...

Маралуха пошла вниз по речке.

Она часто пила, должно быть, не решаясь удалиться от воды.

Никону уже несколько раз чудилось, что он видит ее, медленно продирающуюся сквозь заросли, слышит вроде бы хриплое дыхание. Он хватался за ружье, спотыкаясь бежал в кусты и обнаруживал там лишь свежие, расплывающиеся следы.

Наконец он увидел маралуху на маленьком мысочке, усыпанном белой галькой. Как пила она из речки, припав на колени, так и умерла. Голова ее с открытыми глазами упала в воду, и речка, натываясь на запруду, по-щенячьи урчала, обсасывая белый вывалившийся язык.

— У-у, падла! — пнул Никон маралуху в куцый зад с нежными подпалинами.

Маралуха чуть посунулась в речку.

Со злобой рванул Никон корову на берег. И хотя ему нездоровилось, он решил сегодня же уйти к Зырянихе.

Прежде чем приступить обихаживать маралуху, Никон полежал на мысочке. В шерсти коровы копошились мелкие муравьи. Присаживались на нее пауты и слепни. Потыкавшись жадными до крови носами, они с недовольным жужжанием отрывались от маралухи и набрасывались на Никона.

Живот коровы был в светленькой пушистой шерсти.

Маленькое вымя матери сморщилось, соски посинели.

Никон отвел глаза и с притворным равнодушием зевнул. Но его все-таки стошнило. Губы мужика передергивало ознобом, в брюхе у него бурлило и завывало так, будто там делили добычу голодные коты.

— Нажрался, нажрался мяса-то жирного, духовито-

го! — забарабанил Никон в свой лоб с провалинами на висках. — Ы-ых, кобель клыкастый, до старости дожил — ума не нажил! Шутейное дело — в тайге захворать!..

С трудом обработал Никон корову.

Превозмогая слабость, сделал лабаз на дереве и подтянул туда мясо. В мешке он оставил немного телятины и добавил к нему мягкий кусок от маралухи. Первая ноша должна быть невелика — так рассудил Никон. Вот когда дорогу покорооче к Зыряннике сделает, разломается, хворь одолеет, глядишь, благословясь, перетаскает все мясо.

Можно бы, конечно, сплавить за мужиками. Найдутся сейчас такие, что даже с чужих солонцов согласятся поживиться, но больно уж артельно получится, делить надо. И тогда прощай мельница на долгие годы. Нет уж, как-нибудь сам справится. Сам мясо переплавит, сам раздаст, пожалуй, вовсе бесплатно — народ оплатит ему потом за щедрость усердием и почтением.

И мельницу люди миром соберут.

Это будет единственная мельница на Зыряннике. Из всех деревень зимой потекут к ней обозы с зерном. При мол знатный будет, а если с умом поставит жернова да небольшую, совсем маленькую течку муки подладить — вовсе в хлебе купайся. Вот тогда дай Бог год на нынешний похожий — не одну деревню обрабатает Никон Фаефаныч.

Обламывая коричневые, как ореховая скорлупа, зубы, Никон упорно размалывал сухари, а сердце млело от сладостных мечтаний. Однако боль в животе отравляла хорошие думы.

«Какая-то трава ведь есть от живота, или корни? — пытался вспомнить Никон и не мог. — Культя — тот бы сыскал. Надо было, пожалуй, вместе с ним. Но он за так раздал бы мясо, развеял бы добро по ветру. Да и не стоворить его. Ему теленочка жалко! У-у, вшивец!..»

Чехарда в голове Никона. Страх его разбирает. Он бредет пошатываясь, а котомка за плечами делается все тяжелей и тяжелей.

Остановился Никон на изгибе речки, брови на переносье собрал, посоображал туго и вынул кусок мяса, бросил его в омут под корни черемухи. На черемухе метку топором сделал.

Но легче не стало.

Тащился Никон, схватившись за живот. Впереди него возникла мокрая от ключей скала, густо заваленная буре-

ломом, заросшая волчатником, малинником, кипреем, горной сиреневой ромашкой, ярко-красными саранками, примулами и прочей благодатью. За этой густой-прегустой зарослью сухой распадок. Свет от него небесный струится, ровно бы камни голубого цвета, да и в траве тоже кое-где голубеет камешек. «Вовсе извела хворь, уже сине в глазах, — ужаснулся Никон и, еще раз глянув на голубое ущелье, поморщился: — Обходить придется».

Речка, пожурчав в непроходимой дурнине, которую даже пожар обошел, вдруг замолкла и куда-то исчезла. Козырек бровей вовсе скрыл воспаленные глаза Никона. Догадка щемящей волной пошла от самого сердца, хлестнула в голову, и он бессильно уронил руки.

— Да ведь это не Серебрянка!

Никон подскочил, вломился в переплетенные заросли.

Ветви, жалица, малинник хлестали и царапали его лицо, но он все карабкался на скалу. Уже не боясь змей, хватался за голубые камни, с шумом ронял их.

Вот и вершина.

Откуда только сила взялась — так быстро вымахнул на нее Никон. Соскальзывая, рванулся вниз, чуть не наступил на затаившегося барсука, вздрогнув, шевельнул потными губами, посылая вслед ему проклятия.

Скалы предостерегающими перстами маячили над лесом, и из каждой сочились, били ключи, но речки не было. — Унырок!

Подвижная штука этакая речка — лесная колдунья. Бежит она себе по тайге, заманивает, а потом раз — и сгинула. Точно зарница, мелькнула и утасла.

Затравленным зверем метался Никон между скал, отыскивая выход унырка. Он уже забыл про котомку, не чувствовал тяжести. Даже эта нудная судорога в желудке на время прекратилась. Где-то обронил Никон топор, порвал стеганный шабур, но все еще бежал, выкидывая длинные ноги.

Речки не было. Никон, задыхаясь, вскарабкался на крутую седловину увала. Огляделся. Тайга, тихая, утрюмая и настороженная. А над нею клыкастые скалы. От тишины в ушах Никона звенело. Он икнул, тошнота подкатила к горлу, захлестнуло дыханье, голову.

— Завела! Завела-а-а! Охмурила! Оборотень — не ко-рова!

Плечи Никона затряслись, и забились сумка на спине, будто в ней ожил теленок. Голос Никона сделался тон-

ким. Уже без слов, с отчаянием и обреченностью он разрубил таежную тишину воплем:

— А-а-а!

И свалился в мох.

Тучи опустились низко.

Лес помрачнел, сдвинулся и глухо зашумел. Неуверенно, как бы примериваясь, тронули сухую, шуршащую траву первые капли дождя. Дождь приближался, наступал из глубины тайги чуть слышными шажками.

— Слава Тебе, Господи! — умильно пропел Никон, обессиленный слезами, и повернулся лицом к небу. Глаза, щеки, лицо Никона защекотали мелкие капли. Ложмы туч набрякли, потемнели, точно собирались с силами, коих хватило бы залить пожары, смочить исстрадавшиеся леса, оживить то, что еще не успело умереть.

— Боженька! Ты ведь добрый! — неожиданно для себя завел Никон: — вот дождика послал, и без грозы. А после такой жары вон какие грозы бывают. Так помоги и мне. Ну чего Тебе стоит, выведи... Либо болезнь утихомирь...

И чувствуя, что нет у него никакого права на такую просьбу, что уж больно хитро обходился он прежде с Богом, поминал Его лишь при надобности, а в душе презирал, Никон замолк, проклиная себя.

Тайга шумела слитно и величаво, расправляя широкие плечи. Каждая веточка, каждый листик, каждая былинка, каждый цветочек распрямлялись, подставляя свои головы, свое исхудавшее тельце живительной благодати. Растения ловили сухими губами дождь, пили и не напивались. Знойное оцепенение спадало, кругом слышался умиротворенный шепот.

Тайга начинала зализывать неисчислимыя раны и никакого дела не было ей до человека, распластавшегося у ее ног.

Никон слушал, слушал с закрытыми глазами эту пробуждающуюся жизнь и понял: никто — ни Всевышний, ни эта заново оживающая тайга — ему не помогут. «Раньше надо было о Боге думать. Полез вот к Нему сейчас, когда приспичило. Сам на себя теперь надейся».

Никон со стоном поднялся.

Голова кружилась.

В горле и во рту горькая сухость, тело можжит. Упрямо выгнулся вперед мужик, точно боднуть кого прицелился, и двинулся одинокой тенью по лесу. Прошагал немного, остановился, прислушался к животу: гнетет, тянет.

Одышка появилась. Жар валами ходит внутри. Развязал Никон мешок, подержал в руках мягкий розовый кусок, страдальчески покривился и бросил его в сторону. Отошел немного, вернулся, намереваясь забросать мясом ветками, хватился — нет топора. Тогда он безнадежно вздохнул и заковылял дальше.

Ноги Никона стали заплетаться. Но он не позволял себе лечь. «Главное — идти, главное — не садиться», — стучала в голове одна мысль. Он неуклюже полез через колодину, упал с нее и расслабленно подумал: «Верно, уж больше не подняться».

Поискал глазами воду, но ее поблизости не было. Земля жадно впитывала влагу.

Никон пососал сырой мох, стряхнул на лицо капли с нижних ветвей пихты и забылся, чуть посунувшись под валежину. Несколько раз просыпался, пытался встать, но руки подламывались, долило к земле.

Снова надолго затих человек.

Очнулся от холода. Все на нем промокло. Никон заохал, сел — из глаз метляки полетели, во рту горечь, как с похмелья, в голове звон, что-то прозрачное кружится перед глазами. Вот ровно бы человек мелькнул, вот прыгнула в сторону маралуха, вот зажурчало, полилось на него. Нет, мимо куда-то, в провальную пустоту.

— Пить! Пить!

Открыл Никон рот, стараясь поймать этот стремительный, оглушающий поток, который зыбил его, мчал на огненно-жгучих волнах неведомо куда.

На секунду Никон очнулся, облизал влажные от дождя губы. Шум не прекращался. Где-то совсем близко метался поток. Он звал, он требовал, чтобы Никон поднялся, пришел к нему, упал бы в холодные волны и поплыл, поплыл...

Срывая ногти, Никон хватался за ствол ближнего дерева.

Поднялся.

Шагнул.

Ноги переламывались в коленях. Он стиснул зубы, а потом шевельнул запекшимися губами, творя несвязную молитву, и побрел от дерева к дереву, как пьяный. Обхватив ствол, прижимался горячей щетинистой щекой к холодной коре, подолгу отдыхал.

Дождь измельчал и сеялся, шурша по задумчивой, ра-

зомлевшей тайге. Сумерки незаметно смешались с дождем.

Приближался вечер.

И эта наползающая со всех сторон темень сдавила, стиснула Никона. Он воздел руки к хмурому небу и с отчаянием закричал:

— Уверую! Навсегда уверую! Только помоги!..

Глухо и равнодушно шумела тайга.

Шум ее вместе с темнотой надвигался на Никона. Вспомнил что-то человек и, уже обращаясь не к небу, а к этой зловеще настроенной тайге, запричитал:

— Тятя! Тятенька! Прости меня, окаянного! Прости-и-и! Фаефан Кондратьевич, родимый, для деток, внуков твоих сердеш-ны-ых! Кулдыш, брательник, святая душа, — выручи! Тебе не впервой за зло добром платить. Каюсь. Каюсь! Каю-у-усть! — бился лицом Никон о шишкастый корень дерева, целовал его, а тайга шумела все так же слитно и могуче.

Она сомкнулась, вовсе затемнела; и эта стена, из которой не было выхода, все надвигалась и надвигалась на человека.

Сам не зная, что делает, подгоняемый страхом и жаждой жизни, Никон ночью пополз куда-то и внезапно услышал голос родника. Он по-сумасшедшему, с клетотом в горле захрипел, вскрикнул, услышав этот живой голос, и рванулся на него.

Долго мочил Никон голову в холодной воде, облизывал стекающие на губы струйки, соленые от слез, и трясся в покаянном плаче.

— Господи, помог, помо-ог! Милостивец! Тятя простил!

Ружье и котелок Никон давно потерял. Холщовый домотканый шабур изорвал в клочья. В лохмотьях, в ичигах, раскисших от воды, свернулся он трясущимся комком возле живого родника и впитывал сердцем, головою, всем своим нутром, всею душою незамысловатый говор и радовался тому голосу так, как ничему в жизни еще не радовался.

Шумел дождь.

Сияло солнце.

Бормотал родник.

Где-то за вершинами леса приходил и уходил рассвет, а он все лежал и лежал, уже безразличный ко всему, даже к говору родника, лежал покорный, смирившийся, то просыпаясь, то впадая в забытье.

С трудом открывая глаза, видел Никон над собой по-братски обнявшуюся ветвями тайгу. И думалось ему, человеку, — это она, тайга, не пропускала слабый шепот его до неба, до Спасителя. Это она душила его, забрасывала колючими, холодными лапами, и слой их делался все тяжелей и тяжелей, втискивая в землю, давил грудь, что каменная плита.

Лес хмурился, шумел, накатывался волнами, как бескрайнее море — океан, всесильный, неумолчный и вечно живой...

* * *

Сумерки спустились и на временный причал возле избушки Изота Трофимовича. Из леса тянуло холодком, пахло сеном и горьковатым тальником. Трава, листья, ветви на деревьях и каждая хвоинка запотели, предчувствуя заморозок.

Ни шума, ни шороха в лесу. Стоит неподвижно, как стоял, наверно, много-много веков, млея от собственного величия. Лишь из палаточного городка и от нового поселка доносились сипловатые, суматошные гудки кранов, автомашин, визг дисковой пилы и наплывала, то удаляясь, то нарастая, песня из динамика:

...Россия! Россия!
Россия — Родина моя!..

Россия! Сибирь! Что знали о ней эти парни молодые и девушки?

Еще совсем недавно, отвечая на уроке географии, они говорили «своими словами» о том, что Сибирь богата лесом и пушниной, что это очень суровый край, куда ссылали революц. энеров, и что там бывают большие морозы, и что сибиряки «дали жизни» фашистам на войне, и что...

Много знали.

Ничего не знали.

Сибирь открывал им сегодня этот старик с серыми щеками, с одышкой, которая мешала ему говорить, вовсе не похожий на медведеобразных, могучих людей, каких рисовало пылкое воображение. И говорил-то старик неторопливо, окая, наподобие волжан. Наверное, Троха, отец его, пришел сюда с Волги. Но попробуй сейчас разбери, откуда, из каких углов России, убегая от нужды и притеснений, пришли в этот край люди? Выпростили себе клочок земли, врубались топорами в дремучую тайгу и при-

жились здесь, дичая от страха, невежества и тяжелой борьбы за существование.

В небе, как обычно перед заморозком, засветились крупные звезды. Одна звезда запуталась в вершине большого дерева, стоящего на утесе по ту сторону Зырянки. Рядом с ней возникла другая звезда — зеленая и стала приближаться. Нарастал равномерный гул самолета.

И вдруг кто-то уронил в потемки:

— Братцы! А ведь Култыш и Никон жили тут, понимаете — тут!

— Жили? Живут еще...

— Култыш — да, а Никоны вывелись.

— А с топорами кто приходил?

— Ну, это другое дело. Это пережитки.

И совсем уж тихий голос:

— А мы с Юркой утром глухаря кокнули. Так, запросто — увидели красивую птицу и...

Изот Трофимович искал глазами того, кто говорил, но в потемках не нашел.

— Я уж толковал вам — не в глухаре дело, — сказал он и, помолчав, добавил: — Давайте так договоримся — в это воскресенье на охоту, ну? Я возьму часть с собой, а которых сын возьмет. Ходок я, правда, уже не тот, но мы пойдем на мотолодке. Я покажу вам заповедные места, и вы, уверяю вас, поймете, что есть охота. Пойдем туда, где жил и охотился Култыш, — к Изыбашу.

— Правда?

— Обманывать не научен.

— Значит, мы увидим... А что дальше? Рассказывайте, пожалуйста.

Рассказ четвертый

ТАЕЖНЫЙ ЗАКОН

В тот день, когда на Вырубы наконец-то полил дождь и во всем: в природе, в деревне, в людях — наступило благодатное облегчение, Клавдия, не глядя в глаза Култыша, сказала:

— Надо искать самово.

Всегда сдержанный, никому за всю жизнь не сказавший худого слова, Култыш сердито отрубил:

— Я его в тайгу не посылал.

От удивления у Клавдии открылся рот.

Култыш схватил свой полушубок и подался на сеновал. Как бы ненароком Клавдия забрела туда, выбрала из гнезд яйца, поправила веники на жерди и снова заговорила, обращаясь к Култышу, сделавшему вид, будто крепко уснул:

— Детишки ведь у нас, Култыш.

Охотник резко приподнялся, отодрал от морщинистой щеки лист и твердо отчеканил:

— Я не посылаю его в тайгу — грезить!*

Губы Клавдии дрогнули. Сморщился подбородок, ямочка на нем сдвинулась в бок, и сделался он похож на дряблую репку. Клавдия разом подурнела, и стало видно, что она все-таки баба, самая обыкновенная баба.

— Зачем было тогда болтать про эту Серебрянку? Зачем? — сквозь слезы корила она охотника.

— Вытянул он у меня секрет самогонкой, как удой вытянул. Иуда он! — Култыш отряхнулся и резко продолжал: — За это, знаешь, что бывает? Самосуд! Вот что за это бывает!

Клавдия спустилась с сеновала, долго плакала, прислонившись к дверному косяку. Выплакалась, загрела коромыслом, дала затрещину одному из сынов, подвернувшемуся под руку, и тот заревел на весь двор.

Култыш слышал, как она ворчала, называя кого-то кибасом** на шее, жадиной, который хватает, хватает и подавиться не может.

«Это о Никоне», — догадался Култыш.

Дальше пошло о нем: «Сидел всю жизнь в тайге сиднем, миловался с тайгой, целовался с пеньями, и сам как пень стал — ни сердца, ни разуменья. Пришел, взбаламутил...»

Култыш крякнул, перевернулся на другой бок.

Клавдия, не переставая ворчать, выхлопала холщовый мешок, зашила его. Надела мужицкие штаны, старые ичиги, подвязалась платком, сунула за пояс топор и распахнула двери сарая.

— Слышишь, ты! — крикнула она громко. — Домовничай тут, а ружье мне дай!

Култыш приподнял голову. В светлом квадрате ворот стояла Клавдия, коренастая, крепкая и решительная. И лицо ее было сейчас не такое, что видел охотник всего

* Грезить (местное сибирское) — делать что-то нехорошее.

** Кибас — грузило у сетей.

час назад. Неподдельной, уже зрелой, утвердившейся красотой и статью веяло от этой женщины, немного омужившейся в трудах и заботах.

— Ладно, не дури! — проворчал Култыш, опускаясь по лесенке. Он знал, что «дикая» шутить не любит и пойдет куда угодно, чтобы выручить, пусть постылого, но все-таки живого человека из беды. — И сама пропадешь, и детишек осиротишь, — бубнил Култыш, пытаясь стянуть мешок с ее плеч.

Клавдия отстранилась и хмуро повторила:

— Ружье давай! — И, помолчав, прибавила: — Не думала, что ты такой злопамятный!

Култыш понял намек, смутился.

— Не дури, говорю, — уже испуганно твердил он. — Что тебе тайга-то — коровий выгон? Один дурак забрался в нее — и ты туда же?

— Не твою ума дело! — отрезала Клавдия. — За то, что он таежный закон нарушил, — казните, но в лесу бросать человека никакой закон не позволяет. Да и голод его туда погнал. Голод! Разумей это! А-а, где тебе! Ружье дашь или нет?

— Заладила: ружье, ружье! Чего ты с ним, с ружьем-то, делать станешь? Это ведь не помело.

Он натянул засохшие ичиги, проверил в патронташе заряды, забрал свою суму и двинулся со двора. Клавдия догнала охотника возле ворот, сдернула кожаную суму с его плеч.

— Куда без сухарей-то?

— Я без еды в тайге не буду.

Клавдия не слушала. Она пересыпала из своего мешка сухари в сумку Култыша, бросила узелок с солью, смягчась, сказала:

— Ну, с Богом! — Хотела еще что-то добавить, да отвернулась. — Ступай уж. Бабий язык и бабьи слезы в деле не помеха, покипятилась...

Култыш скосил на нее светлый глаз, чуть покачал головой на прощанье и спустился к речке.

Он прошел на серебрянские солонцы лишь ему ведомой дорогой, потратив на переход от Зырянки всего часа два — не больше. И все время дивился он на Клавдию. «Гляди, как она расходилась! Гляди, какими словами оглоушила! Баба она справедливая. Пожалуй, справедливей ее и не встречал никого. Только покойный отец... Тяжелые слова... Тяжелые...»

Долго стоял Култыш среди обезображенных солонцов, навалившись грудью на палку, насупив свое усохшее лицо.

— Враг ты и есть враг! Покойник батюшка зряшных слов не говорил. И понапрасну жена тебя защищает, по слабости своей бабьей... — с горестным вздохом произнес он спустя много времени.

Собрал Култыш изъеденные зверьками кишки мараленка, унес подальше и закопал. Кострище также убрал, все до уголька. Неторопливо намял в пригоршни семян морковника, побросал их на выжженную плешинку.

Ночевал Култыш уже далеко от солонцов.

Дождь смыл следы маралухи и человека. Но охотник по каким-то лишь его глазу приметным следам отыскал первую остановку Никона.

Утром вскипятил чайку, размочил сухариков, посолил варево и выхлебал.

Култыш остатками чая залил огонек, с кряхтеньем просунул руки в лямки сумы и двинулся дальше, шаркая ичигами, мокрыми от обильной росы. Иногда он останавливался, наклонялся и, точно читая какие-то письма, в силу стародавней привычки, вел разговор с самим собой:

— Эх ты, охотник, — горе луково! Вот ты лежал, а вон в ста сажнях — корова. Она тебя все время видела, а ты ее нет, потому как глаза тебе дадены завидующие и оттого незрячие.

В том месте, где Никон хватал горстями недозревшую бруснику, Култыш на минутку задержался и укоризненно покачал головой:

— А зеленцу-то не надо бы исти. Марьиного бы корешка выкопать — это же наипервейшее средство от живота... Э-эх, люди! Где вы выросли?

Здесь же, на брусничнике, Култыш спугнул выводок рябчиков и, чтобы не разогнать их совсем, рассуждал уж молча: «Вот и птица возврататься в тайгу стала. Жизнь-то, она непоборима, не-ет, брат, не застрелишь, не выжгешь огнем-полымем. — Охотник приложился, сбил из ружья молоденького рябчика, припавшего к сучку. — И похлебку нам тайга-матушка сподобила».

Здесь, на мшистом косогоре, и заночевал Култыш.

Дремал старик. А в дремоте, как в крупноячейстой мереже, путались, лезли одно на другое видения разные.

Пригрело ногу, накалился кожаный ичиг. Не открывая глаз, отодвинулся Култыш. Клавдия выплыла из зыбучего сна, молодая, в белом платье, со стародубом, уронив-

шим головку. Такой и только такой она ему виделась всегда. Ведь до той самой минуты, до ледохода, она была в его помыслах. Его нареченная... Наверное, тоже родились бы у них дети — двое. Два сына. Нет — сын и дочь. Нет, лучше много сынов, много дочерей, как деревьев в тайге.

Тайга...

Утром Култыш едва разломался. Глянул на небо — светло. «Провалялся, старый лодырь. Спешить теперь надо. Но должен я чаю попить или нет? — злился он неизвестно почему. — Без чаю куда я годеи? Обессилею вовсе».

Вскипятил чайку с брусничником.

Пил.

А откуда-то издали смотрели на него гневные глаза: «Злопамятный ты!» Отмахнулся Култыш, чай выплеснул и сердито бросил котелок в сумку.

За перевалом Култыш наткнулся на лабаз, принюхался — мясо уже припахивало. Он перетаскал маралину в речку, смыл с нее слизь, и, отыскав холодный ключ, сложил все куски в воду. С собой он не взял ни одного кусочка, а только хитро усмехнулся, поцарапав рогулькой левой руки переносье.

Пошел вниз по речке.

Возле черемухи с меткой вынул из воды большой кус вымытого до белизны мяса и произнес:

— Чего, Никонушко, тяжело краденое-то?

И снова сердитый голос, рядом, за деревьями, совсем близко:

«Голод его погнаи, голод! А-а, где тебе...»

Плюнул с досады Култыш. Стараясь отогнать душевную смуту, пытался думать о чем-нибудь другом — и не мог.

Тем временем сварилось мясо. «Чье мясо? Ты что думаешь, тайга только для тебя сотворена?»

— Тьфу, нечистый дух! — плюнул еще раз Култыш и без всякой охоты поел. Долго потом выковыривал что-то былинкой из нескольких уцелевших зубов, глядя на голые утесы, вздыбившиеся среди тайги.

Там унырок.

Там голубые камни — богатство земное.

Дальше этого места Никону не уйти. Лежит, поди, охотничек у огня, помощи ждет и крестится со страха, видя кругом голубое сияние.

В неприступный уголок упрятала тайга голубой камень — красу земную.

Два человека знали это место — отец, Фаефан Кондратьевич, да Култыш.

Незадолго до смерти привел сюда отец Култыша, показал голубые плиты у ручья, который в давней давности, как и все речки, тоже бежал по земле, кроил горы и утесы, а потом унырнул в землю.

— Небесный камень. В городах мрамором его называют, — сказал Фаефан Кондратьевич и, вздохнув добавил: — Вся гора — голубая. Тайга мохом, травой да бурьяном заслонила ее от людского глаза...

Поднял Култыш плиточку — точно не камень это, а осколок весеннего неба, нежно-голубой, с блестками звездочек. Рукой погладил — что льдинка гладкая, холодная.

И сотворится же такое чудо!

А Фаефан Кондратьевич рассказывал, как в солдатах служил и стоял однажды караулом в губернаторском доме. Какие-то бунтовщики бомбу в царя запустили, вот губернатор тоже огородил свою персону военной силой. Там, в губернаторском доме, видел Фаефан Кондратьевич колонны из камня, и тот камень мрамором звался. Только был он коричневого цвета с белыми полосками. Куда тому камню до небесного!

Стоял на посту Фаефан в прихожей, во время бала. Народу понаехало — тьма. И мужики доходили там до полной срамоты — целовали бабам руки. Блевать тянуло Фаефана при виде такой гадости, и он, отвернувшись, глазел на каменные колонны, слушал музыку, а она напоминала ему родную Зырянку.

Потом, на каторге, он повстречался с «бунтовщиками» и многое от них узнал. Бесстрашные они были люди, но телом жидки. Не выдержали каторги, сломились, поумирали.

— Умирали, но верили, что придет на землю перемена, — задумчиво говорил Фаефан Кондратьевич и, помедлив, продолжал: — И мой тебе наказ: как наступит в России эта перемена — пойдешь к людям и укажи им небесный камень. Пусть пользуются для радости. А пока в тайге оставайся. Не ходи в мир. Там люди злы, а у тебя кость хрупка, — измикосят, сожрут тебя. Тут ты — царь, там — рабом будешь. Двуперстникам про камень тоже не рассказывай. Здесь же, возле унырка, золотишко водится. Раскрывают кержаки мрамор, искайлят и горло друг другу пережуют. Золото — это зло земное. Помни — тебя первого ухайдакают, не поверят, что у золота и без золота жил...

Без малого тридцать лет с тех пор прошло. Лежит небесный камень кладом, ждет часу своего. Дождется ли?

«Не понапрасну ли ты, батюшка, уберег небесный камень, да меня тоже от людей? Может, надо было отдать его в пользование? Глянули бы люди на красу такую и душой помягчили бы, добрее друг к другу сделались. А так что же, лежит камень, и я возле него караульщиком. Олешачился вовсе, уж не пойму, что к чему. Вон Никон таежный закон нарушил, а меня Клавдия виноватит. Теленка я берег, душу малую пас. Чья же правда-то? Чья? Люди ведь зверей всякого зверя. Говорил ты это? Солдат с войны в верхнюю деревню шел. Японцы на Дальнем Востоке глаз ему выбили. Ночевал на Изыбаше. Говорили с ним про разное. На царя, говорит, очень даже народ остервенился, должно быть, снова бомбой ахнет. Все чего-то делают, чего-то добиваются. А моя жизнь пошто так зряшно прошла? Пошто я обсевком остался?»

Загорюнился Култыш. Глаза его повлажнели, как у пьяненького. А тайга кругом перешептывалась, словно бы успокаивала охотника: не расстраивай себя, Култыш, иди в лес, иди глубже, дальше — и утетишься...

И охотник шел. Медленно шел, сторбившись, с задумчиво опущенной головой.

Неладно было у него на душе.

Но вот Култыш поднялся к унырку, вскинулся, охнул, возмущенно развел руками:

— Вовсе заблудился охотник-то! Вот те и на! Вот грех-то!

Култыш хватался за кусты на крутом спуске, скользил и, как бы оправдываясь, бормотал:

— Влево, влево забирать надо. Это же Малая Серебрянка, а во-он гора-то плешатая, там тебе Малая с Большой стекаются. Из горы из этой выныривает — и здорово живешь! Н-на, худы твои дела, худы, Никонушко. Так-то, мил человек. Тайга — клад, да не для каждого. С разумным и без корысти надо к нему притрагиваться...

Недалеко от унырка ушел Никон — всего несколько верст. По кругу метался.

Култыш обнаружил его возле родника. Лежал Никон кверху лицом с широко открытыми, остекленевшими глазами. Култыш скорбно стоял над ним, опираясь на палку. Думал охотник, тяжело думал, и что-то стискивало, щемило сердце его.

В одном глазу Никона, как бельмо, отразилось белое

облако, а в другом, словно в зеркале, неподвижно стояла вниз вершиной темная ель. Губы покойного были зелены. В горсти зажат пучок травы. Должно быть, в свой предсмертный час Никон, как собака, ел наугад траву, еще цеплялся за жизнь, надеялся спастись.

Култыш зашипнул сначала правый, затем левый глаз Никона, сложил окостеневшие руки на его посиневшей груди и протяжно вздохнул.

Топор, ружье, мешок Култыш подобрал в лесу. Изредка бросая взгляды на покойника, лежавшего у воды, Култыш плотно поел.

После еды отдохнул и стал собираться в дорогу. Срубив две небольшие березки, он перехватил их комли опояской. На вершины березок затянул покойника. Был Никон тощ, но, как и всякое мертвое тело, тяжел. Култыш привязал покойника к волокушам, а мешки и мясо оставил в тайге.

Впрягся в волокуши охотник, поплевал на руки и неспешным, но, как говорят таежники, «усадистым» шагом двинулся к Зырянке.

Под шум волокуш, под шелест леса Култыш думал и молча рассуждал о жизни и смерти и, конечно, о тайге. И в который уже раз таежный скиталец пришел в этих молчаливых рассуждениях к тому, что великая сотворительница тайга все предусмотрела и все сделала правильно. Одному зверю дала когти и зубы — добывать корм; другому — быстрые ноги, тонкий слух и даже четверо «норок», чтобы ими упали свою жизнь; птице — крылья. Человеку дан только ум, да и то не всякому. Крыльев же, быстрых ног, когтей и прочего ему выдавать не полагалось, потому как имей эти принадлежности человек иной давно бы истребил все вокруг себя и сам бы издох смертью голодной. Даже без крыльев, без когтей человек иногда все живое истребляет. На войне, на японской, солдат сказывал, несчетное число людей побито. А на каторге, отец говорил, по костям человеческим тачки катали... И пусть Клавдия хоть сколько беленится и корит его... Нельзя рушить таежный закон. Им жизнь держится...

Так думал Култыш под шорох волокуш, на которых лежал бескрылый человек. Ни жалости, ни сострадания к нему Култыш не испытывал. Все, что делалось в тайге, не подлежало в его разуме обсуждению и сомнениям. А вот в мире у людей следовало бы кое-что перевероршить, следовало бы...

...На похороны Никона Фаефановича собрались мужики и бабы со всех дворов. Ни одного осуждающего голоса, ни одного укора... Словно никто и не догадывался, зачем ходил Никон в тайгу. «Стало быть, таежный закон существует не для всех», — неожиданно подумал Култыш.

На веревочных вожжах, под тихие всхлипы, медленно пополз чуть накренившийся гроб с телом Никона. Родственники бросали горсти земли в могилу. Подумал, подумал Култыш и тоже зачерпнул калеченой рукой землицы.

— Не замай! — жарко дохнул кто-то в ухо Култышу.

— Ишь, какой родич сыскался! — раздалось громче.

— Погубил человека, сволочь!

— Не он бы, так не пошел бы Фаефанович в эту распроклятую тайгу...

— Укокошил он его, люди! Ей-бо, укокошил! Сколько ден по тайге шаялся. Живым бы застал ишо.

— Пред-на-ме-ренн-но не торопился...

Култыш сначала затравленно озирался, а потом сник, опустил голову. Со зверем он бы еще совладал, а это ж люди, человеки. И почувствовал он, что вся эта озлобленная голодом, суеверным страхом толпа, кольями забившая старого жалкого киргиза, жаждет отдушины, хочет облегчить себя. Она сдвигается вокруг охотника, точно лес в ненастье.

Полегоньку, будто бы ненароком, еще трусовато, но смелея от страха, кержаки подталкивают его в грудь к краю могилы. Бабы с особым усердием крестятся.

Расширяются глаза у людей. От бешенства кривятся, бледнеют губы. На тупых, испитых лицах судорога. Да и нет уже лиц, есть одна общая маска, как бы высеченная из камня. И в складках этой маски тысячетлетняя боль, тупость, смешанная со звериной злобой.

Подхлестывают себя кержаки криками, стервенеют.

— Каторжанца отросток!

— От него злобства на всю деревню нашу перенял!

— Он беду напустил!..

— Смести!

— Раздавить!

— Да чего слова тратить? Спускай его!..

Теснее сдвигается толпа и все настойчивей подталкивает к могиле Култыша. Оступись, упади — тут же землей забросают, а потом будут сидеть на запорках, обходить

стороной кладбище, шарахаться в собственных дворах от загробных видений.

Потрясенная Клавдия подняла голову, пыталась что-то понять. Она шевелила побелевшими губами, но ее не слышали. Тогда Клавдия закричала на все кладбище с ужасом:

— Люди! Опомнитесь!..

— А-а, полюбовника защищать!..

— Мужнюю веру осрамила, поселенка тряпичная!..

— Молчать! — раздался тонкий, сломившийся от непривычного усилия голос.

Это «молчать!», слышанное только от исправника, ошарашило людей.

Култыш, маленький, седенький, двинулся на толпу:

— Чего у меня в горсти? Что? — настойчиво совал он руку мужикам, и они пятились от него, будто держал он в руке змею гремучую или порох, который уже вспыхнул и вот-вот рванет. — Что, я вас спрашиваю? — не унимался Култыш, и, заикаясь, как в детстве, сам себе ответил: — З-земля! А вы откуда взялись? Из з-земли! А тайга откуда взя-алась? Из з-земли. — Голос Култыша крепчал. — Так почему же не почитаете свою родительницу? Почему кормилицу грабите? Татями живете в ней — оттого и боитесь ее, как мирового судьи. — Охотник передохнул, горькая усмешка тронула его морщинистые губы. — Порешить хотите? Закопать? Валите!.. Меня бояться нечего. Я смертен, А вот она, — показал Култыш через плечо на увалы. — Она — матушка наша — нет. — И кивнул головой на темную, как ночь, могилу. — Он не чета вам был, покрепче костью, ан и его умяла тайга-то! Э-эх вы! Виновных ищите! Скудоумие ваше, темность ваша всему вина.

Не оглядываясь, Култыш швырнул из горсти землю в могилу. Она дробно рассыпалась по крышке домовины.

Сделалось совсем тихо.

Люди чего-то ждали, пряча глаза друг от друга. Но ничего больше не сказал Култыш, не развеял тягости, давившей сердца этих людей, не повел их за собой. Да и не пошли бы они за ним. Чужой он им. И они ему тоже чужие.

В тайгу! В тайгу!

Люди молча расступились перед ним. Люди знали — теперь он уходит от них навсегда — и не пожалели об этом. А лишь позавидовали тому, что он имел при себе такое, перед чем все они вместе взятые и даже смерть были бессильны и ничтожны. И это, приобретенное им

где-то там, на увалах и в лесах, никто и никогда у него отнять не сумеет! Это — вечно! Это — неистребимо!

Когда наступил рекостав, Клавдия запрягла лошадь и поехала на Изыбаш попроведать старика.

Култыш лежал на нарах в чистой рубахе. В изголовье у него слой пихтовых веток, который забивал запах тления. В руке вместо свечи цветок стародуб. Такой же цветок стародуб, что хранила за образами Клавдия еще со дня свадьбы. На столе исходил небесным сиянием голубой камень. Зимнее солнце, проникая в окошечко избушки, ударялось в него косыми лучами, и в камне вспыхивали, переливались искры.

Резвился перекатный Изыбаш, не усмиренный холодом. В торжественном оцепенении стояли леса, провожая в последний путь сына своего. Солнце, ослепительное, морозное солнце сияло в небесах, освещало ему путь. И все шумел, шумел вдали осиротевший Изыбаш.

Хоронить охотника на кладбище «опчество» не разрешило. Клавдия отвезла его за поскотину и на той же елани, где был закопан киргиз с внучонком, схоронила охотника. Весной Клавдия принесла и посадила на одиноком бугорке кедр с тремя пышными лапками. Не хотела Клавдия, чтобы последний покой Култыша затоптала скотина, как это случилось с могилой киргизенка и его деда.

Кедренок оказался живуч и настырен: растолкал чистотел, татарник, лебеду и пошел в рост, вытягивая веточками нитки цветущего вьюнка.

В тот год, когда Клавдия отправила сынов своих учиться в город, а сама, как будто исполнив все, тихо умерла, с кедра, что стоял над могилой Култыша, упали первые шишки с семенами, и он перестал быть одиноким.

Сыновья Клавдии в деревню не вернулись.

Тот, кто уходил из Выруб, никогда в них не возвращался. Голубой камень — наследство Култыша — достался брату Клавдии.

* * *

— Я передал этот камень в геологическое управление, — произнес Изот Трофимович. — Есть слух, что клуб гидростроителей им облицуют. — Изот Трофимович устал и мягко улыбнулся: — Вот, значит, и вам перейдет кое-что от Култыша и нашей души частица!..

Человеческая память подобна старательскому лотку. В

нем оседает только золото. Муть, породу и прочие примеси уносит потоком времени. Наверное потому и сложилась старинная поговорка: «Живых ненавидим, мертвых оплакиваем». Во всяком случае, бобыля Култыша теперь поминают в Вырубках только добрым словом и обычно прибавляют со вздохом: «Если бы он жил в другое время...»

Но мало ли покоится в земле русских людей, не сделавших тех хороших дел, ради которых они родились?

После Култыша нетленной памятью остался хоть кедр и голубой камень, а иные — и вовсе бесследно сгинули.

Изот Трофимович провел по лицу рукой, будто смахнул что-то. Прошлое осветилось зарницей воспоминаний и угасло. Но угасло ли?

Та же земля, кругом, та же тайга, в которой жил и которой жил бродяга-охотник. Те же звезды в небе, на которые смотрел он.

Все то же, да не такое же.

Вон за кедровым бором занялось зарево и ширится, ширится.

В Вырубках зажглись огни.

Теперь они подковой огибают кедровый бор. В низовье огни деревни, чуть подальше, на задах кедрового бора, — свет нового поселка, а здесь, выше по течению Зырянки, — огни палаточного городка.

Скоро сомкнутся огни — получится город. И в центре его, у самого сердца, будет стучать шишками о грудь земную кедровый бор, умеющий так мудро молчать вечерами.

ОТРЫВКИ

•

ДЫМ НАД ИЗБОЙ

Начало незаконченного рассказа

Всё и все, кого любим мы, есть наша мука.

И. Бунин, «Жизнь Арсеньева»

Глушь вокруг. Угнетающая и тяжкая еще и оттого, что места, по которым мы ехали, были совсем не глухие, пространственные были места, низкие, болотистые, с пятнышками задичавших полей, окаймленных еловыми перелесками, далее, по-за речкой, переходящими уже в боровые леса, у берегов забитые густым разнолесьем и непролазной чащей — волчатником, калиной, черноталом и смородинником.

Боры, отчеркнутые белесым небом, недоступно темнели вдаль, вознося над собой знамением или предостерегающим криком головные, самые высокие деревья; толпящиеся у реки и возле родников-кипунов кусты и чапыжник вяло желтели еще кое-где, но шум листопада уже кончился, шумело уж больше понизу, не поверху, и в песчаных омутках кипунов и речек распластывался лист, расклеенный по дну, а по закрайкам логушек, где меньше было течение, колючками в одну сторону лежала рыжая хвоя, и по ней искрами стреляли яркие водяные жучки и козявки.

Стояла та уже беспредельная тишь глубокой осени, от которой и сердце человеческое тоже стихает, думается о чем-нибудь вечном, несуетном и хочется ехать, ехать, ехать или идти, идти, идти и услышать уже явственно тот печальный и одинокий голос, который зовет тебя, зовет, но не услышишь его, не достигнешь, потому что голос этот внутри тебя самого, потому что голос этот есть грусть твоей души, ее сладкая печаль и тоска о прекрасном, которое

и тебе и всем людям, жившим до тебя, кажется утаившейся в этих безгласных, в самих в себе спрятавшихся лесах, в этой утасоющей осени.

Что ты все ждешь, человек, что все путаешься, путаешься и никак не найдешь себя? Или без этой вечной тоски, без этой скорби ты и человеком не был бы? Может, и воистину были у тебя когда-то крылья, и ты каждую осень птицею улетаешь в неведомые нам, сказочные края, и память, передаваясь нам и растворившаяся в крови, тревожит и зовет нас, зовет все в те же сроки, в те же нам недоступные земли и, не умея достичь их, мы ищем чудесную беззримую землю с кисельными берегами и молочными реками в наших лесах, в наших селах и полях?..

Но сказки нету, даже той маленькой сказки, которая породила нас и истомила душу мечтой о неведомом, не стало.

Второй день мы с товарищами едем на оседланных лошадях по кинутой земле, по зарастающим дорогам, по улицам уснувших деревень. Мы едем к отставному полковнику, который остался где-то в пустой деревушке Осередышек и переселяться не хочет. Не подчиняется. Военный человек, хотя и отставной, но полковник и не подчиняется!..

— Дурак! — сказал о нем зампредрика Валентин Афанасьевич Мутовкин, а еще мой фронтовой товарищ, пригласивший меня в этот северный болотный край поесть клюквы и «закусить» настоящим пивом, если брюхо солдатское не сдало, то и новым сортом вина «самогнали». Этому вот Вальке Мутовкину, моему товарищу, обремененному крупной районной должностью, и поручено было съездить к отставному полковнику и провести с ним «индивидуальную работу». Валька повез меня сначала на газике, потом мы ехали на подводе, теперь вот верхом, и я приучал себя к мысли, что одиннадцатого, то есть пешеходного номера нам не миновать.

— Дурак! Сивый дурак!.. — сколько уж раз за дорогу повторил Валька, и я не удержался, рассказал ему о том, что в нашем городе по пристани ходит летом мальчик в беретке, больной мальчик, он гудит пароходам и подбирает на перроне мусор. Как-то девица туристического вида, в оранжевых штанах и темных очках бросила на настил бумажку, мальчик поднял ее, отнес в урну и сказал: «Нехорошо! Тетенька-уборщица старенькая, больная, а вы мусорите!»...

— «Гы-ы, дурак, дурак!» — стала тыкать в него пальцем девица, и все вокруг засмеялись.

— Ты это обо мне? — круто повернулся Валя Мutowкин, и под носом у него побледнело.

— Нет, — сказал я, — мальчик тот не идет у меня из головы, а думаю я, о чем мне и полагается думать, — о нашей литературе...

— Святому — святое, дураку — дураковое... — почему-то все же обиделся Валька, но больше полковника худыми словами не тревожил.

Идти пешком нам не пришлось.

Проехав заречные леса, сначала пестролес и ельники, уже схватившие намертво дороги и тропы, затем спокойный, всегда прибранный сосновый бор с обнажившимися белыми песками на выдувах и вешних водомоинах, мы как-то разом оказались подле плоского, круглого озера, за которым прямо на берегу стояла старая серая церковь с журавлиной шеей, вознесенной в небо, и клювом трогаящая облака. Тень церкви вся как есть покоилась в воде и даже не шевелилась, но в воде церковь была белая-белая, и пустые врата, окна, искрошенные на щебенку приделы были заполнены водою, и церковь казалась новой, только что побеленной и ухоженной. Наяву же храм был весь издолблен, обрушен, и на него со всех уже сторон наступали кустарники, забрались они уже и на крыши, с пологого склона россыпно, западая в кустах, крались темные фигурки ельников, чтобы окружить и штурмом взять эту уже ничем не защищенную крепость старины и затем уже несдержанной, смешанной толпой броситься к озеру и остановиться возле него.

Я представил себе и храм этот, и озеро в глухой непролазной тайге, внутренне содрогнулся, как содрогались, наверное, индейцы, наткнувшись в диких джунглях на храмы, дворцы и города, в которых когда-то жили люди, а теперь обитали дикие духи, нечисть всякая, змеи, обезьяны, но я тут же и усмехнулся внутренне своей оторопи, своему страху — ведь, если уж мы не боялись ни богов, ни чертей, то те, кто наткнутся на храм сей в глухолесье, вовсе бояться чего-либо перестанут, может, и нечего уж бояться будет, все может быть.

Берега озера, грязные от склизких водорослей, были размешаны лосиной ископытью, усеяны чайчьим пером, но на воде птиц уже не виделось, и лишь вверху неприкажно и молча кружился лохматый ястреб, но не по-летне-

му плавно кружился, а, то и дело потряхивая крылами, грелся, видно, или сыр с пера сбрасывал.

За церковью на пологом бугре сгрудилась деревушка. Три ее дома стояли лицом к озеру и не загорожены были палисадником, другие дома, с примкнувшими к ним дворами, стояли то боком к озеру, то и вовсе отвернувшись от него, и едва виднелись крышами за бугром. Не сразу, но все же я уразумел, отчего так разбежисто и окнами в разные стороны срублены дома, — по обоим оконечностям бора, огибавшего озеро, вдруг обнаружилось деревушки, и далее виднелись или уже угадывались по проплешинам полей, чертежам изгородей, либо приподнявшимися над домами тополям и стареньким деревянным часовням еще и еще деревушки, и я догадался, что сельцо, так разбродно вроде бы поставленное, и есть Осередышпек — ему так и полагалось стоящему в середине смотреть во все стороны, и, догадавшись, я начал отыскивать жилой дом и тут же нашел его глазами, это был один из трех домов, повернутых лицом к озеру, в нем расколочены окна, свежевыкрашены наличники и мезонин, крыльцо и даже кружевной деревянный бордюрок на стрехе и вокруг мезонина, главное, над избою струился дымок, спокойный, сероватый дымок с темными прочерками, какие бывают от смоляных сосновых дров.

Кони наши, удовлетворенно отфыркнувшись, пошли веселее, и вскоре, обогнув озеро, оказались мы в устье ручья тихого и светлого, заплетенного тальником и забитого кореньями по берегам. Из чуть подрагивающего устья ручья, почти из-под самых копыт лошадей вдруг метнулась щучища с полено величиной, выбросила сама себя на песок, чисто белеющий по ту сторону омутка, лошади шарахнулись было, но когда щука скатила самое себя в воду и рванула в озеро, чертя хвостом острую линию, вырвавшись на простор, сдуру и перепугу сиганула дельфином, бахнулась об воду, как об железо, и утопилась, переполошив рыбку мелочь, вдруг засуетившуюся кругом, запрыгавшую, лошади, дрогнув кожей, ступили в студеную воду, тронули ее губами, но пить не стали, а быстро перенесли нас на другую сторону и скоро пошли в косогорчик, звякая копытами о камень, чем выше, тем чаще попадавшиеся.

Какое сиротливое запустение открылось нашему взгляду!

Мне и прежде доводилось видеть брошенное жилье, чаще всего отработавшиеся поселки лесозаготовителей,

геологов или приискателей. Какой разгром они учиняли перед тем, как уйти навсегда из согревшего их приюта. Как будто по заданию окна во всех домах побиты, печи разворочены, на стенах прощальная матерщина, чаще всего в стихах, дворы и улицы завалены стольким хламом, железом и всякой рухлядью, ровно люди, покидавшие селенье, где они тоже любили, страдали, растили детей, вдруг вывернули наизнаку все свое дрянное, тухлое нутро, в котором ничего другого и нету — ни сердца, ни кишок, никакой живой плоти, никаких таких органов, которыми любят, чувствуют и страдают.

Временные жители временного жилья, временных работ, временных любовных связей, временных обязанностей, они иначе и не могут себя вести на земле. Они, как сказал один столичный поэт, любящий красивую фразу, красивых девочек, еду и ничего больше: «...дети неба, случайно задержавшиеся тут».

Вот жители сельца Осередышек «детьми неба» не были и случайно тут не задерживались. Они землею были рождены, на земле жили, землею кормились, землю любили, а теперь вот покинули ее, но не с улюлюканьем и матерщиной, а с тоскою и болью в сердце.

Сколько веков простоял этот Осередышек на русском холме, среди русских полей и лесов, глядячи на все стороны света? Век? Два? Пять? Этого никто не ведает и никто уж ведать не будет. На окраине села, возле упавших ворот поскотины, приколоченная к столбу одним гвоздем брякает железка, простреленная дробью, и на ней мутно, сквозь ржавчину проступают буквы «едышек», изначальное название села уже смыто, изоржавлено, — вот все, что осталось на воротах, а по-за столбиком, за упавшей поскотиной, смертно утихли старые черные дома и бани на огородах, сплошь уже почти завалившиеся. Так уж и быть должно — сырые бани преют скорее, чем избы. Но и избы в Осередышке провалились, со дворов, на которые, конечно же, лес подбирался не такой стойкий, как на избу, да и достраивались дворы, бывало, не одним поколением крестьян, так что уж конец постройки приходился в ином хозяйстве в аккурат к тому, чтобы начинать подпирать кое-где строение.

Бурьян, бурьян по дворам, черемухи на улицу полезли, в огороды. Окна все позаколочены, дворы тоже. Кое-где висят свежесмазанные замки, значит, эти дома, эти дворы посещались летом городскими людьми, может, и

самими хозяевами. Есть среди запертых изб уже обвалившиеся и заросшие крапивой, лопухом и жабреем. С коротким деловитым трюканьем по ним перелетали щеглы. Эти избы, где гнезда лишь остались, перевезены в другие села, «в центры» усадеб, как их зовут ныне, и об этих сердце не болит.

Среди Осередышка, на развесистой старой березе сидел черныш-косач и токовал азартно, как весной. Валентин дернулся было рукой к ружью, но застопорил — пусть поет бродяга, в мешке у нас уже покоился глухарь и с десяток рябчиков.

Улицы Осередышка все в травке-муравке, машинная колея едва угадывалась в ней, да чуть приметная тропинка вела от озера к избе, будто бы наперекор всему весело выкрашенной, к избе, над которой чуть уже шевелился иссякающий дымок.

Мы привязали лошадей к ограде, сделанной из круглого, по весне окоренного и оттого костяно-белого осинника, размяли ноги и постучали в дверь сеней. Никто нам не ответил... Тогда мы прошли узкими и старыми сенями к двери, обитой потником, и еще постучали, но снова не дождались ответа. Валентин потянул дверь на себя. Отсыревшая, она открылась без скрипа, и мы увидели прямо перед собой прогорающую уже, дышащую кучей красных углей русскую печь, с откинутой с чела за веревочку занавеской, пузырящийся чугунок на шестке, под пузырями притесненные, жаром облизанные потрескались картошки.

Влево была дверь в комнату, и в комнате той спиною к двери сидел за столом человек в наброшенной на плечи телогрейке, над которой одуванчиком круглилась и дрожала голова, сильно стучал чем-то по столу и, прибегая к крутым выражениям, на кого-то заедался:

— Дупели-и, дупели-и, говорю!

Отставной полковник играл в домино!

Он лишь на мгновение прервался и, не оборачиваясь, бегло бросил:

— Проходите, проходите, товарищи! Я сейчас партию закончу и приму вас. — Мы, разом оробев, прошли к скамейке и опустили на нее.

Валентин огляделся и покачал головой.

Отставной полковник Опарин когда-то был всего лишь Ванькой Опариным, уроженцем деревни Осередышек, долгое время полагавшим, что деревня его называется этак потому, что середь земли, является пупом ее и все, что поза нею, никакого значения иметь не может, да и нет там за Чивицким озером и за речкой Чивицей никакой такой жизни, все леса да болота.

Каково же было удивление Ваньки Опарина и всей деревенской ребятни, когда однажды на трех подводах переправились через речку Чивицу совершенно неведомые люди со скарбом на телегах, обутые в сапоги и ботинки, одетые в платья, рубахи и пиджаки.

Они, эти люди, расколотили окна в доме выселенного кулака Опарина (никакой связи с родней Ваньки не имевшего, просто в Осередышке фамилия такая преобладала), втащили туда скарб и затопили печку. В скарбе обнаружилось трое ребятишек — двое парнишек и одна девочка, долгоногая, черненькая и головастая, как муравей. Мужчина-дяденька был один, женщин приехало двое, и чьи это ребятишки — разобрать сразу было невозможно.

Все объяснилось назавтра же, когда на доме Опарина-кулака появились две вывески, написанные чернильным карандашом на обрезках доски, с одного угла объявлявшие, что это школа первой ступени, с другого, что это фельдшерский пункт. И поселились приезжие соответственно — учитель с учительницей и двумя парнишками в одной половине, фельдшерица с девочкой — в другой, оставив, впрочем, свободною опаринскую горницу, в которой на полу лежало множество замерзших и уже рассыпающихся от глена тараканов, да старый круглый стол стоял кедрового дерева с вынутыми столешницами, крашеный темной краской, и на нем гладко струганный камень. Стол тот остался, потому что не пролазил в двери и унести его трудящие не смогли, признав, что Опарин был человек башковитый шибко, — вот внес же стол в избу как-то, а вынести без него невозможно, надо бы письмо высланному Опарину написать и выпросить, как стол из избы вынести, да никто того адреса не знал; камень же, и прежде озадачивавший селян своей бесполезностью, оставлен был после того, как откололи от него кусок и в середине ничего не обнаружили, никакого секрета; еще тут ключья обоев облезających, как старая шкура змеи с по-

тускневшими узорами и пятнами; черепки битой посуды хрустели под ногами, и по-за голландкой-печкой чернела старая мышинная дыра, да на стене висела картина с голозадыми ангелочками, куда-то под небо уносящими человека в женских одеждах и скорбно глядящими голубыми глазами. Зады ангелочков были протыканы гвоздем в надлежащем месте и кое-что подрисовано им такое, что учитель, открыв горницу, покачал головой и скорее выдрал ту картонную картину из дубовой рамки, густо опятнанной клопиным пометом на углах, и в рамку ту впоследствии вставил портрет поэта Радищева.

Ванька Опарин все это помнил оттого, что вместе с другими ребятами мобилизован был очищать и прибирать кулацкий дом. Помнится, тогда он еще нашел серебряный рубль, ребром закатившийся в щель половиц, и выковырял его оттуда ногтем.

1982

ШТОРМ

Из повести "Кража"

В тридцать девятом году разыгрался на Енисее шторм, да такой, что каравану, идущему в Дудинку, пришлось уходить в Игарскую протоку. Она, протока, в устье замкнута мысом-отногой острова Полярного (Самоедского), а от городского берега — каменным мысом под названием, данным переселенцами, — Выделенный. На мысе том, подалее от города, поближе к воде и песку, на камнях — огромные баки с горючим — называлось это громко — нефтебазой.

Во время шторма за мыс, в извилистые фиордики-коридоры, от волны, боя и шума заходила рыба, и тучились тут ребятишки с удочками, ударно таскали хороших сегов.

И вот, значит, мы на промысле ребячьем, а буксир-теплоход, густо дымя трубой, тужится увести караван в затишье. А в караване том — штук двадцать плавучих единиц: лихтера, баржи, паузки. Все в расчалку, стало быть, в сцепе, строем, пыжом тогда еще караваны не строили. Умелые пароходные люди вели караван, но все же завести в протоку такую машину трудно. И начало наваливать

на мыс хвостовую счалку, в щель крошить паузки, бар-
жонки, вот и до пузатой старой баржи дело дошло, валит
ее на бок, бьет, по барже бегают стрелки с винтовками,
вверх палят. Им в ответ басит тревожно и непрерывно
буксирный теплоход. Причальные парходишки, всякий
мелкий бесстрашный транспорт на баржу чалки кидает,
оттянуть ее от камня пытается. Да где там! Стихия!

Хрусть! Начала ломаться баржа, оцеперилась лома-
ными брусьями, шпонками, костылями — в проран вода
хлынула и вымыла оттуда бочки, доски, людей. Крики,
паника. С баржи стрелки сигают в волны вместе с вин-
товками, шкипер детей, бабу и имущество на лодку гру-
зит, тонущие люди за лодку хвататься начали, опрокину-
ли ее...

Отважные парнишки северного города, кто чем, кто
как помогают гибнущим, тащат их из воды, откуда-то плот-
тик взялся, бревна, крестовины от старых бакенов, доски,
старая шляпка — все в ход пошло.

А из баржи, уже напополам переломившейся, как из
прорвы, вымывает и вымывает стриженных мужиков, сре-
ди них на трапе, на нарах ли деревянных баба плавает,
прижав ребенка к сердцу, и кричит громче всех, аж до
неба...

Детдомовские парни, из переселенческих барачков и
комендатурских домиков ребятня все вместе, не щадя себя
и не боясь холодной воды, спасают людей. С мыса, от
нефтебазы баба в форме спешит, наган на ходу из кобу-
ры выковыривает, за ней два мужика с винтовками напе-
ревес, затворами клацают, руками машут и орут: «Наз-
зад! На-заад! Нельзя сюда! Нефтебаза!..»

Ребятишки и взрослые, все мы, и спасители, и спасае-
мые понимаем, что нельзя сюда, нефтебаза здесь, но куда
же назад-то? Там волна до неба бьет, караван гибнет, теп-
лоход уже исходным басом орет, люди тонут. Им не до
злодейств уже, не подожгут они нефтебазу, у них и спич-
ки-то, если у кого есть, намокли, чем поджигать? Да и
безумны они, беспомощны, мокры и жалки, выдернешь
на берег которого, ползет на карачках и воет, зубами кла-
цает, — смотреть жалко и страшно.

А те, бдительные охранники, напуганные и заморо-
ченные агитацией насчет врагов народа, это их, врагов
народа Норильск-город строить везут — привычно уже и
всем известно, стриженные все, сморщенные, бледные и
на врагов-то, все повзрывавших и отравивших, непохо-
жи, но все ж коварный народ, притворяется небось жал-

ким, который и взорвет, либо подожжет, чего с него спросишь — отчаялся, напролом лезет...

Палили, палили охранники вверх, орали, орали, упреждали, упреждали и остервенились, давай в тех, что до берега добрались, на камень безумно карабкались, стрелять — как сейчас помню, обернулся — по желтому приплеску зевающего мужика волной волочит и качает, с каждым ударом волны красное облако из него, будто ржавый дым, выбрасывает...

Заорали парнишки, с детдомовцами, с двумя или тремя, как водится, припадки начались. На костыле один парнишка среди нас был, он первый и пошел на вохру, лупит костылем бабу, а мы тех двух дураков камнями, палками, ну прямо, как в большевистском кинематографе, грудью на извергов, они тычут в нас задымленными, белесыми от пламени дулами винтовок: «Стрелять будем! Стрелять будем! Шпана!» — да боятся, не стреляют в нас-то. Мы их за баки загнули, костыльник аж в будку бабу с наганом упрятил, она там на крючок заперлась...

Много мы, ребятишки, не знающие сословий, переселенцы, сироты, энкэвэдэшников сыновья, несчастных людей отстояли тогда и спасли. Слово бы знали, что скоро нам Родину отстаивать, несчастный народ свой спасать придется. Подготовку хорошую прошли.

...Раскопали Фирюзанское государство в пустыне. Цветущее было царство, народ его населял красивый и мирный. Налетела монгольская конница вихрем, смяла, раздавила безоружный народ. Тем, кто выжил, головы ссекли. Каждому коннику за день надо было зарубить шестьсот человек, фирюзанцы покорно становились в очередь, склоняли головы под саблю. И мы, в наш-то век, уподобились тому покорному народу, никогда не бравшему в руки оружия. Но наши-то, наши мужики, древние защитники Отечества, ходившие в Альпы, за море, в Африку, победно маршировавшие по улицам европейских столиц, покорились бабе с наганом. Помните восхитительно-отвратительную «героиню» в кожанке с наганом, стреляющую моряков? Моряков! С красивой фразой на змеиных устах: «Ну, кто еще хочет женского тела?»

Сколько раз я вот эту сцену про тогдашних арестантов в ранние свои рассказы и повести вставлял. Снимают и снимают. Еще задолго до подхода к цензуре снимают. Может, хоть нынче напечатают? А то все наших бьют, да бьют, били и мы, как видите, умели и мы еще детьми постоять за себя...

Да вот потом разучились. И гнали наш народ стадом в гибельные ссылки, в смертельные сталинские лагеря.

...Неужто и нас, засыпанных песком, раскопают когда-то и горько вздохнут — и эти «фирюзанцы» покорно подставляли головы под петлю и топор.

1966, 1997

О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ

Из повести «Зрячий посох»

...Однажды, посмеиваясь как всегда, необидно и дружески, Александр Николаевич сказал мне, что моя теория, высказанная в новой повести, или вера в то, что злодеи и злодейство всегда бывают наказуемы, и если не живых, то мертвых злодеев находило подобающее воздаяние, — очень чудная...

— Ах, Вик Петрович, Вик Петрович! — опечалился он, — если б это было так.

— А что, разве не так? А Сталин? Уж богом был, а его Никитка-дурачок за ноги и на помойку. Но это частность. Никакой он не бог. Смерть подтвердила, что такой же, как все, и, будучи мертвым, «пахнет».

Я думаю, что все человечество, если оно не одумается и будет жить так, как жило, постигнет кара за его злодейское отношение друг к другу, к природе, к морали, наконец, — оно погибнет от того, что само породило, — от неразумой злобы...

— Вы это в лесу придумали иль дома?

— В лесу, нашими долбоебами, а не американскими империалистами срубленном и брошенном. А хотите, я расскажу вам про чудовского дьякона? Иль про Сталина?

— Про дьякона! Про Сталина! Этого я от вас еще не слышал! А ну! А ну! Расскажите мне эту сказочку. — Александр Николаевич помолчал, переложил какую-то книжку на столе и не мне, а ровно бы для себя сказал: — Никогда не думал, что природа так много рождает мыслей и противоречий. — Поднял голову и грустно улыбнулся: — Ну и трудно же вам, Вик Петрович, с вашими мерками морали жить... и с тем, что вы видели и знаете.

— Утешителем не буду. Не ждите. Это не главное дело для писателя, насколько я сие дело понимаю. Кто это по-

решил: коли литература заменила собою всеутешительницу-веру и церковь, следовательно, и должна утешать. Так ведь сограждане рассуждают?

— Злить, досаждать, солить раны легко, тем паче, что ран этих год от года больше и больше, а вот помочь, — так я рассуждаю, один из совграждан, — возразил Александр Николаевич. — За то только люблю я вас, дорогой Вик Петрович! Матерщинник, мужик-лапотник из чалдонской деревни — и туда же в обличители. Ну, не ищите топор под лавкой. Пойдемте лучше чайку поьем, а может, вам... к чайку чего и подадут. Глядишь, и мне отломится. Как вы думаете?

— По шее отломится! За то, что курите тайком.

— Ну уж и по шее! Я и сам по шее-то, мне привычно, я ж критик!..

Встретил я войну в знаменитой Курейке, на Енисее. В той самой Курейке, где отбывал ссылку Сталин и где при мне еще взяли низкий маленький домик в большой стеклянный дом, в котором поддерживалась определенная температура, не производилось никаких взрывных и огнестрельных работ, поблизости пернуть громко и то не разрешалось, чтоб, — Боже упаси! — не пошатнулся, не отсырел, не разрушился легендарный домок. Каждый паром, пассажирский, транспортный ли, катер и даже плот обязаны были — иначе несдобровать — пристать к курейскому берегу, и еще подле воды, сняв шапки и фуражки, люди поднимались к домику, не дыша входили в него и осматривали.

В домике том был топчан, заправленный солдатским серым одеялом, суровая кухонная утварь, плохо сбитая печка, витринка с книжками, фотографиями и документами; на стенах висели ловушки, которыми якобы товарищ Сталин ловил рыбу, в том числе самолетов с удами прошлогоднего выпуска, и еще какая-то липа, без которой ни один наш музей, в особенности про революционеров, обойтись никак не может.

Ссылка в Курейку, да еще для южанина, пусть и сверхгероического, конечно же, была не сахар, тем более, что горстке местных жителей было сказано, что сослан к ним страшный вор и каторжник по имени «Черный». А он и в самом деле оброс чернущей молодой бородой, хотя на голове его был волос рыжеватый, и, когда он выходил на улицу, полудикие люди закрывались от него на все запоры. Однажды он услышал в одном из домишек детский

хрипый крик, сорвал дверь с крючка, вошел в дом и увидел умирающую на голой скамье девочку. Отец девочки спокойненько спал на голой печке, мать чего-то варила на шестке и не оборачивалась на крик. Дети, которые были еще в доме, попрятались под топчан и скамейки от черного страшного человека.

Отодвинув от печи обмершую женщину, Черный заглянул в печь, обнаружил в нем котелок с кипятком, обмыл руки, в кипятке же обварил ложку, открыл черенком ее рот больной девочки, заставив хозяйку посветить ему таганцом из рыбьего жира, осмотрел девочку и сунул ложку ей в горло. Она вскрикнула, и изо рта ее хлынул гной. Поискав в доме какое-нибудь лекарство и не найдя его, Сталин смазал горло девочки рыбьим жиром, завязал ее шею чистой тряпкой и ушел. На завтра, а это значит, в темноте же заполярной ночи, навестил девочку. Она уже играла с детьми, улыбнулась Черному, и остальные дети от него не спрятались.

Это была первая и единственная пока семья и дом, в который пускали Сталина, и где отец, хозяин дома Сидоров, так зауважал ссыльного, что научил его ставить уды-подпуски под лед на налима и подарил ему свою старенькую пешню. Самолов же товарищу Сталину, хоть и гениальный он был вождь, не поставить было одному, если б он попытался это сделать, то тут же и оказался бы на дне, и его там съели, иссосали бы рыбы, особенно охочие до дохлятины налимы, и мы бы лишились «лучшего» в мире вождя, отца и учителя.

Был, пусть и недолго, и еще один ссыльный в Курейке — товарищ Свердлов, жил от Сталина или Сталин от него всего через два дома. Но они не общались друг с другом, не ходили друг к другу и не здоровались даже друг с другом — наша революционная история отчего-то помалкивает об этом факте и не доискивается причин.

Товарищ Сталин от скуки играл в подкидного дурака с урядником, который изредка навещал своих подопечных, наезжая из Туруханска, и которого сыны соцреализма изображали на карточках со свирепо горящим взором, во время страшной пурги подглядывающего в окно, за которым при свете лампешки товарищ Сталин сосредоточенно что-то писал, конечно же, гениальное, конечно же, «тайное» и революционное.

То, что он, в буквальном смысле этого слова, подыхал с голоду, ибо ни хлеб, ни мацони в Курейке не росли и не

водились, в ту пору едва вырастала здесь водянистая картошка, иногда овес и морковь, и будущий вождь, как и остальные жители Курейки, ел налимов и поддерживал зрение рыбьим жиром — это как-то не увлекало историкографов, художников слова и кисти, выводками крутившихся вокруг «выигрышной» темы. «Художники» и «мыслители» были все какие-то пройдошистые, восторженно-наглые, истинные стервятники, пирующие на ниве культуры.

Эти стервятники пытались втолкать в экскурсию по музею вроде «исторического экспоната» и уборщицу Варю Сидорову, спасенную когда-то вождем, но она, местная сельдюшка, только начав говорить, захлебывалась слезами и твердила одно и то же: «Спас мне зысь, спас зысь... Товарис Сталин.. Есип Висарьеныц... зысь...»

Убежал товарищ Сталин с Курейки в середине апреля, и это тоже было приписано его гениальности и находчивости. Но в середине апреля здесь так дует и метет, что собаки в дом под лавки залезают, а до первого станка от Курейки до Горошихи верст двадцать и дорог нету.

Должно быть, товарищ Сталин в молодости в самом деле был мужиком сильного характера и немалых организаторских способностей — с тем самым урядником он доигрался и договорился до самой сути, и урядник, некому было более, организовал и осуществил побег Сталина из Курейки, чем и прославил ее на все Отечество наше, пусть и не на продолжительное время.

Сейчас домика товарища Сталина в Курейке нет, его скопали, под корень, памятник, поставленный уже без меня, перед войной или в войну, после разоблачения культа те же самые пароходы и катера, которые благоговейно гудели, причаливая к станку, а команды их благоговейно глотали слезы, — тросами стащили в Енисей, на дно, — и в межень, в светлую воду многие лета было видно великого вождя и учителя, глядящего из водных пучин. И один енисейский капитан, человек далеко не робкого десятка, сказывал мне: «Знаешь вот, проплываешь над ним и жутко так, аж спину коробит — вот как жутко...»

Слышал я и еще много о Сталине всяких побасенок, но все они отдают дурным сочинительством, типа трескучих стихов и строчек, сигающих со страниц сборников, писанных одичавшими от пьянства Казимиром Лисовским или моим школьным учителем Игнатием Рождественским, не говоря уже о поэтах покрупнее, которые просто

недостойным делом считали издавать сборник стихов, в котором половина не была бы «о нем», и мною глубокочтимые, достойно дожившие свой век, два крупных поэта, подхваченные экстазом культовой горячки, досочинялись до того, что выдали «на-гора» строки, не снившиеся нигде и никогда придворным поэтам: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе!..»

И вот любимый, величайший, святейший лежит на дне великой реки, обдумывает свое поведение.

И станок Курейка сместился с прежнего месторасположения, ушел тихо и незаметно, как от прокаженной, заразой болящей земли, в сторону, в совхоз, километра на два от прежнего станка Курейка.

Вот в той самой Курейке, выбывший из игарского детдома по возрасту, я работал в сельсовете письмоводителем, конюхом, водовозом и уборщиком конюшни одновременно. Надо было огородить огород председателя сельсовета и починить другие огороды. С утра солнечного летнего дня, еще по туману уехал я в лес, нарубил там воз жердей, привязал их к передкам, сел на сельсоветского конишку боком, везу жерди, песни пою, на Енисей люблюсь, птичек пугаю, от комаров веткой отмахиваюсь, въезжаю в Курейку, а там, у сельсовета, жиденьякая толпа. Смяв фуражку в кулаке, на дощатой, самодельной трибуне держит речь председатель сельсовета.

У меня что-то толкнулось в груди и тошнотным комком подвалило к сердцу — война! С тех пор, чуть заволнуюсь, занервничаю — комок этот — вот он, в левой половине тела, а после контузии перекатился в середину, в межгрудье, и так ли иной раз тошно и тяжело давит, что свет белый не мил.

Разнообразна жизнь.

1977

«ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ...»

Из рассказа «Ясным ли днем»

С передовой выехали, когда солнце было уже высоко. Низкие частые бугры Западной Украины полыхали маками. В этот год было особенно много красного мака. Может оттого, что поля не перепаживали, не засевали, а может оттого, что была эта земля, каждый бугорок, назы-

вавшийся высотой №.., полита кровью многих людей, своих и иноземных, и вот каждая капля взошла красным цветом. Сколько же пролито ее здесь, если красна земля, до самого горизонта!

В машине пели, свистели. Все солдаты и командиры умытые, прибранные. У каждого подворотничок, отрезанный от новой портянки, пуговицы начищены, медали тоже. У всех праздничное настроение. Как же, интересно. Все они вояки, привычные к тяжелому труду, к передовой, к выстрелам, к той жизни, которой, кажется, и конца не будет, когда было начало — тоже неизвестно. Кажется, давно, давно — целая вечность уже прошла, а они все копают, стреляют, мотают и сматывают провода и едут, едут все ближе и ближе к чужой земле, все дальше и дальше от родной.

И вот на тебе. Они — артисты! Смешно! Забавно! С неделю назад приехал чистенький лейтенант, долго разговаривал по телефону с начальником штаба, тот похихатывал, благодушно царапал затылок и говорил: «А их не заберут? Глядите, не губите солдат искусством своим. Ну, ну, договорились, договорились...» И, бросив трубку телефонисту, приказал вызвать в блиндаж таких-то и таких-то. Среди «таких-то» был и Толя Мазов. К нему к первому и обратился начштаба:

— Вот что, Мазов. В штабе корпуса проводится смотр самодеятельности. Будешь петь. И не романсы свои «Я вас любил, любовь еще быть может...» Это у тебя, конечно, получается под настроение. Хотя, откровенно говоря, харя твоя для романсов неподходяща. Давай что-нибудь такое, — он покрутил пальцем у потолка блиндажа, — что-нибудь такое сентиментально-патриотическое. Генералы такое любят. А там генералов будет, что карасей в старом пруду. Словом, рвани эту: «Встретились ребята в лазарете». И погромче, и со слезой. Хотя со слезой ты не особенно, а то еще заберут в какой-нибудь ансамбль. Словом, сдерживай чувства... А вы, орлы, плясать, плясать. И так, чтобы генералы и генеральши, полковники и полковничихи ляжками от восторгу дрыгали. Генерал — он пляску любит пуще сраженья. Ну, с Богом, люди искусства. Остальные инструкции вам даст лейтенантишка тыловой. Он мастак по части инструкций, а я что, — начштаба развел руками, как бы говоря этим: «А я что, наматерить могу вас — это сколь угодно. Ну, накормить там, жизнь спасти иной раз, иной раз и в морду заеду...» — и какая-то не-

ловкая, чуть виноватая улыбка появилась на его губах. Наверное оттого, что вот этих солдат он должен куда-то отправить, на какие-то дела, не входящие в его ведение, и они будут неподвластны ему, и вот непривычно как-то это, вроде свои они и вроде уж и не свои. — Ну топайте, топайте! — махнул рукой начштаба и уже сердито крикнул вдогонку, как бы напоминая, что, в общем-то, он навечно с ними и, чтобы они не забывались:

— Хламиду в порядок привести! Все надраить, побриться и прочее. У меня чтобы никаких этих отклонений! Кто набедокурит, либо напьет... Морду набью!..

В «цирке» (на кухне, в хоззвезде) к ним присоединились солдаты, сержанты и даже два младших лейтенанта (художественное чтение «Жди меня и я вернусь» — первый младший лейтенант, «Рассказ Щукаря» — второй) из других подразделений.

Интеллигентный, чистенький старший лейтенант с музыкальными тоже чистыми руками, стараясь скрыть смущение и неловкость перед этими «овеванными пороховым дымом» людьми, отвел их в клуню, где были расставлены на скорую руку сделанные скамьи и выметен до блеска ток, на котором проросли зерна, и спросил:

— Все, товарищи, здесь?

— Все, — вразряжку, с ленцой ответили солдаты. Лейтенанты сидели в отдельности на передней скамье, к ним в середину затесался вертлявый старший сержант с бачками — парикмахер из штаба бригады, придурок и ловкач, еврей по-национальности и по фамилии.

— Так вот, товарищи, — не зная, куда девать свои белые руки, начал старший лейтенант и чуть виновато улыбнулся, — штаб нашего корпуса решил создать ансамбль песни и пляски, — он улыбнулся уже более уверенно, поднял глаза, очень красиво обвешанные нежненькими ресницами. — Пришла пора побед. Мы далеко ушли от центров и наших крупных городов. Концертные группы и армейские ансамбли у нас немногочисленны и отстали далеко, а как поется, «после боя сердце просит музыки вдвойне», и вот нужно нам создать свой подвижной ансамбль. Корпус наш большой и... не бедный, я имею в виду и кассу, и таланты людей, — он уже несколько фамильярно подмигнул, но внимательно и настороженно слушавшие его люди не поддержали улыбками ответными этот выпрыг, и он смутился и быстро закончил, — сейчас для начала, для общего знакомства я просмотрю и

прослушаю то, что вы исполните, потом мы посмотрим фильм «Радуга», а завтра начнем репетиции и через три дня поедем на смотр в районное село. Вот все. Вопросы будут?

Солдаты напряженно помалкивали.

— Курить можно?

— Пожалуйста, пожалуйста!

К соломенному верху клуни густо поплыл дым. С задней скамейки поднялся Ванеев, и, покашляв, а потом смяв сигарку о скамью, сказал:

— Поскольку нам вместе... — он замялся, видимо, хотел сказать «вместе воевать», другие слова не вдруг нашлись, и он вывернулся, — поскольку того... мы бы хотели, — он обвел жестом сеятеля сидящих впереди, — познакомиться, что ли. Узнать, как вас зовут и кто вы такие?

Старший лейтенант запольхал ярче мака, вскочил, одернул гимнастерку:

— Прошу прощения, товарищи. — И тут он совсем уж виновато улыбнулся. — Зовут меня Алексей Леонидович, фамилия моя простая и совсем не музыкальная, Малафеев, — по клуне прокатился сдержанный смешок и старший лейтенант уже бодро, со скрытой грустью закончил, — я был студентом консерватории, по классу фортепиано (это пианино, «пианино», — слышались там и сям разъяснительные шепоты), с третьего курса ушел на фронт. Хотел на передовую, в штабе корпуса задержали... Да... почему-то задержали...

— И правильно сделали, — сказал заряжающий Круцов. — У нас вон Федька Фомин какой баянист был и погиб. Его бы побережь, как талант, а его на батарею. Таких людей, как вы, надо беречь, ведь вон даже дичь всякую редкую, косулю там, кабаргу, птицу иную, обратно, под запретом держат, не велят стрелять...

— Га-а! — взорвалась клуня!

Старший лейтенант, пряча улыбку, спросил:

— Как ваша фамилия, товарищ?

— Круцов, — пробубнил тот и прикрикнул на солдат, — чего ржете? Истинно говорю. Попробуй теперь Федьку возверни, а баяниста после ни одного не попадалось. Редкие они люди — музыканты. Беречь надо...

— Простите, пожалуйста, что я вас прервал, — обратился к Круцову старший лейтенант. — Вы с каким номером посланы?

— Номером? Я второй номер при орудьи.

— Нет, я вас не об этом, простите...

— А-а с номером, значит, куда с каким номером? — обрадовался Круцов. — Да, как вам сказать. Никакого номера у меня нету. Просто пою я иной раз наши деревенские песни, а командир батареи очень их слушать любит, земляк он мой и говорит: «Поезжай, Круцов, вбей их в слезу всех тоскою своею по русской земле», вот с этой тоской и приехал. Зря, наверное?.. Ее и так много, тоски-то, кругом. Это все комбат.

— Может, вы споете для начала?

— Что ж, можно. Только я по-нашему, по-деревенски. И Федьки нет. Он хорошо подыгрывал. Подмогал. Не мешал. Не лезет, а как-то вроде бы подюлаживает...

— Ваше имя, отчество, вы не сказали?

— Круцов Алексей Ксенофонтыч.

— Значит, тезки, — улыбнулся ему старший лейтенант. — Ну что ж, попробуем. Я попытаюсь вам подюлаживать.

Старший лейтенант вынул из-за молотилки аккордеон, новый, трофейный, и поставил его на колени. Круцов боязливо покосился на аккордеон.

— Пожалуйста, начинайте. Я уж потом вступлю, а может, и не стану вступать.

Круцов потоптался, глянул в землю, где прорастали прошлогодние зерна хилыми стеблями, белыми снизу и зеленеющими на острие, и не запел, а сказал задумчиво, устало:

— Ясным ли днем,
Или ночью утрюмою,
Все об тебе я мечтаю и думаю.
Кто-то тебя приголубит,
Кто-то тебя приласкает.
Милой своей назовет...

Старший лейтенант даже вздрогнул. — Круцов запел знаменитый романс. Этот романс Малафееву приходилось слышать в исполнении самого Пирогова, но это было лишь поначалу, потом Пирогов забылся. Круцов пел на свой манер и не романс, а песню. Мелодия была совсем другая, протяжная, вся ровно бы на одной струне, и слова потонули в ней, улавливалось лишь глубокое раздумье и неизмеримая мужицкая тоска, такая тоска, какой могут болеть только русские мужики, вскормленные скудной и необозримой русской землей, тоска, рожденная под бес-

конечную песню зимы, под шум ветел за окном, под скрип полозьев в извозе, под шорох ветра в трубе, под скырканье очета над люлькой — тоска по чему-то далекому, впитанному с молоком матери, матери и бабушки которых тоже выпитывали ее вместе с молоком.

Извечная русская тоска, где твое начало? Где твой конец? Тоска, родившая такие задумчивые, такие добрые души. Тоска, порой взрывающаяся диким плясом, буйством. Тоска, на дне которой таится извечный, ровно бы и мохом поросший гнев. Горе тому, кто залезет пальцем в такую душу и поднимет в ней мусть. Русская душа, так ты глубока, так ты бесконечна, есть где уместиться там такой вот огромной, такой великой тоске, из которой рождается все — и любовь, и страдание, и доброта, и гнев, и шаловливость, и буйство, и удадь, и скромность. Великая душа!

Старший лейтенант так и не дотронулся до аккордеона, не решился. И когда Круцов кончил петь и, очнувшись, растерянно посмотрел на молчаливых погрузневших солдат, потом с любопытством на Малафеева, тот вскинулся, уронил перламутровый аккордеон, с нерусской, золоченой надписью, на землю и потряс большую, землистую руку Круцова:

— Благодарю, благодарю Алексей Ксенофонович. Поедете, непременно поедете на смотр. — Круцов смутился, солдаты захлопали, и он, вовсе смутившись, взял и поклонился им.

После этого парикмахер выперся. И какие только номера он ни дельвал, чтобы попасть в ансамбль: играл на ложках, на губной гармошке и даже на расческе, заложив в нее бумагу.

— Та-ла-а-ант! — орали солдаты, иные искренно, другие с издевкой. Старший лейтенант морщился, и когда активист этот вызвался еще сыграть на горьком обрывке лука, Малафеев торопливо сказал:

— Хорошо, хорошо — поедете.

Парикмахер с радости тут же изжевал луковую дудочку и не поморщился, умел парень закусывать.

Толя спел «Встретились ребята в лазарете». Ему хотелось спеть другую, например, «Вдоль по улице метелица метет», но раз начштаба велел про лазарет, он послушаться не решился.

— У вас чистый голос, но вы напрасно его форсируете местами, то есть повышаете. Больше раздумья, больше душевности и, глядишь, удастся сгладить, в общем-то, не

очень оригинальный текст, глядишь, и получится. Может, вы еще что-нибудь знаете?

— Знаю, конечно. Но едва ли подходяще будет.

— Ничего, ничего, давайте и неподходящее. Мы уж тут сообща разберемся, что подходящее, а что нет.

О прошлом тоскуя,
Вдруг вспомнил о нашей весне,
— О-о, как люблю вас, — в то утро
Сказали вы мне.

Малафеев полузакрыв глаза. Что он видел за изгородью ресниц, Толя не знал, а сам он увидел заснеженную улицу, полусорванную рекламу на деревянном магазине и одинокого парнишку, глядящего в огромные глаза человека со скрипкой, который подарил ему столько радостей и надежд, который растрожил что-то с родства дремавшее в нем. Далекая, грустная и сладкая сказка, как ты жива и прекрасна!

— Вот это да-а, — заговорили солдаты, когда Толя кончил петь, — и не знаешь, что рядом такие таланты! Поет, ровно думает.

— Только вот, говорят, эту музыку немец сочинил. Можно ли?

— Не немец, а австриец, — поправил Малафеев, — и не в этом дело. Бетховен тоже был немец, Гете, Шиллер, Гейне тоже немцы — не путайте их с этими вырожденками, с противником вашим. А эту вещь вы поете по-своему, — обратился он к Толе, — очень по-своему. Тут, пожалуй, больше вашего, чем Штрауса...

— Это хорошо или плохо?

— Это очень хорошо. Попробуйте и ту песню по-своему петь, без барабанной трескотни. Я вас с двумя этими вещами и включу. Сначала споете патриотическую, — он смущенно улыбнулся, — а потом уж вальс.

— Добро.

Чем дальше шли просмотр и прослушивание, тем больше и громче дивились вояки талантливости людей, живших обок. Малафеев отобрал человек двадцать.

Вечером смотрели «Радугу», и война, забытая на часы, снова вошла в них, и солдаты посумрачнели. Страшную войну показывали с экрана, даже страшней той, которую довелось видеть этим солдатам. Они могли ее видеть лишь вокруг себя, очень ограниченно, и что делалось дальше окопа, траншеи, цели — не знали, а тут показывали но-

вых «хозяев за работой», там в тылу, который они быстро прошли, проехали и лишь по рассказам, да по слезам людей узнавали истинный смысл войны.

Примолкли солдаты. Некоторые стали проситься обратно на передовую, до искусства ли? Малафеев подрастерялся. Больше кинокартин солдатам не показывали.

А через три дня они поехали в районное село, чистые, прибранные, уже хорошо спевшиеся, знающие друг друга по именам и даже успевшие завязать дружбу. Лейтенантики и те не чинились, позволяли себя называть по имени. Искусство стирало ранги и различия, кто был ничем, то мог здесь стать всем, в зависимости от щедрот матери-природы. Иной солдат мог спеть или сплясать лучше иного лейтенанта и даже генерала, и ничего тут не поделаешь. Таланты — не звездочки и не кубари — их выдают не на комиссии военной, а по каким-то неизвестным и неведомым законам.

* * *

Генералов было не так уж и много. Всего два. Они сидели на передней скамье, в самом центре, вокруг них, точнее по бокам и сзади, выводком сидели полковники, подполковники, майоры, капитаны, лейтенанты, а дальше уж разный люд, вперемешку. Все было, как всегда — люди, не стовариваясь, распределялись по чинам — впереди начальники, сзади подчиненные, ибо сейчас они сидели спиной к фронту, стоило повернуться лицом, и снова все оставалось бы на старом месте — подчиненные были бы передними, начальники задними.

Все было, как всегда: нравился номер генералам — нравился он всем. Хлопали генералы буйно, так же буйно хлопали и все, и участь выступающего была решена, напротив его фамилии ставили птичку, если генерал выдавал жидкий аплодисмент — супротив фамилии ставился крест.

Концерт шел своим длинным, довольно нервным и неровным чередом. Талантливые парни выступали вперемежку с обыкновенными плясунами и чтецами. Завсегда-тай в прошлом разных самодеятельностей из кожи лезли, чтобы показать «товар лицом», и, танцуя или декламируя, пытались утопать с передовой в тыл, потому что война идет к концу и поберечься надо.

Малафеев вел свой список и не терял надежды повли-

ять собственным авторитетом на генеральские оценки, потому что в результате генеральского пристрастия будущий ансамбль мог состоять из одних только плясунов, а туда требовались певцы, музыканты, фокусники, чтецы и даже иллюзионисты, и таковые были. Были даже жонглеры, акробаты и гипнотизер один попался, потертый, сумрачный ефрейтор с оловянными глазами без зрачков.

Выступали по частям. Отпоется и отпляшется один полк или бригада, за нею следующая. Командиры частей сидели здесь же, подначивали своих соседей, если выступающие у тех мямлили и теряли боевой дух на сцене, обещали, что вот «мои дадут». Иные полковники от переживания бегали часто «курить», на самом же деле они пробирались в алтарь, то есть «за кулисы», потому что выступали в старой церкви, здесь «подбадривали» своих, говоря им разные слова хорошие и худые, даже показывали кулаки. «У меня, чтобы на высоте было!» Нагнавши холоду на «артистов», они уходили, «артисты» же, и без того пребывающие в большом трепете, выходили на амвон ни живы, ни мертвы, проклиная и себя, и свои «таланты», думая о том, как они спокойно жили на передовой, воевали, никому не мешали и на вот тебе дождались напасти.

Один солдат с перепугу запел «Вы жертвою пали», вместо «Черные ресницы, черные глаза». Хохот. Другой начал читать отрывок из «Василия Теркина», сбился, долго думал и закончил его стихотворением «Пронеслись утки с шумом и скрылись». Подполковник — командир истребительного полка той самой части, откуда были эти «артисты», схватился за голову и бежал из зала.

Генералы сначала морщились, потом хохотали, трясая лампасами и показывая вставные блестящие зубы.

Полковник Дедов — мужик хитрый. Он сидел спокойно и ждал, когда выпустят его «орлов». Это он подсмотрел в штабе корпуса старшего лейтенанта Малафеева и заманил его в свою часть одним только обещанием, что в его бригаде талантов, хоть пруд пруди. Дедов уже привык быть в корпусе всюду на виду, всюду первым и не хотел даже в искусстве ударить в грязь лицом. Он-то знал, что Малафеев всякую шушваль, которая умеет только рот открывать или ноги переставлять, не возьмет, отберет истинные таланты. Правда, Дедов был поражен тем, что среди выступающих оказался парикмахер и выразил по этому поводу неудовольствие. Малафеев смутился и ответил: «Вы знаете, настойчивый он, никак не мог отказать, да и ну-

жен будет парикмахер в ансамбле». На это полковник Дедов сказал: «Ладно, берите, не жалко, меньше одним бездельником в части будет. Только пусть выступает последним».

До обеденного перерыва из бригады успел выступить только один Круцов. Его Малафеев пустил вперед и, надо сказать, не ошибся. После чечеток, акробатических упражнений, множества куплетов и стишков песня Круцова, раздумчивая, исполненная густым, хотя и неотесанным, но сильным баритоном, про который можно сказать, что расходуетя его всего килограмм, а пуд остается в запасе, произвела сильное впечатление. Генералы пригорюнились, полковники тоже. В церкви сделалось тихо-тихо. Кончил петь Круцов, без всякого видимого волнения поклонился и ушел. Он знал цену и себе, и своему голосу, потому и не дрожал.

Вдруг грянули обвалом большие аплодисменты. И, кроме того, один из генералов сказал адъютанту: «Этого обязательно в ансамбль, обязательно. Талант! Русский талант! Шаляпин может получиться».

На сцену выскочил штабной, начищенный, под бокс стриженный лейтенантик и звонким голосом объявил:

— Прошу внимания, товарищи! Сейчас мы все дружно выйдем на площадь, где состоится приведение в исполнение приговора военного трибунала изменнику Родины. Затем будет обед и после обеда продолжим наш концерт. Старших групп прошу подойти ко мне!..

Народ повалил в широкий церковный выход. На маленькой площади, которую сплошь окружали огородные прясла, тыны с садами, сразу стало тесно. Цивильные потеснились с площади, ребятишки полезли на яблони, груши и заборы. Один забор с треском обрушился, где-то заплакала девочка и испуганно смолкла.

Напирая на людей радиатором, на площадь въехал необшарпанный, новенький «ЗИС». Он развернулся и стал пятиться к старой яблоне. У яблони были обрублены все сучья и верхушка, и только один сук, как протянутая рука, простирался над площадью. Стало тихо. Лишь машина, профыркивая, пятилась к яблоне, под простертый толстый сук. Толя понял, что это и есть виселица.

В кузове машины торчало несколько голов, и, когда машина остановилась, оттуда выскочили два солдата и открыли задний борт. По книгам Толя знал, что сейчас должен появиться палач, привязать преступнику петлю, и

тогда начнется чтение приговора. Он ожидал этого палача, волосатого, угрюмого, с низким тупым лбом и, может быть, даже в каком-нибудь красном кафтане или другой какой отличительной одежде. Но веревку к яблоне стал привязывать паренек лет восемнадцати, с белым, пластмассовым подворотничком, тогда еще очень редкой вещью, с комсомольским значком и знаком «БГТО» на чистой, еще ни разу не стиранной гимнастерке. «Вот сейчас этот привяжет веревку, и появится настоящий палач», — думал Толя, но солдат кончил свое дело и протянул кому-то руку. Из-за кабины поднялся низенький человек в телогрейке и ватных брюках, старых, залатанных на заду и коленях. Солдат деловито поставил его под яблоню, прямо в кузове, сбросил с него старомодную, суконную фуражку, и не в машину, а на землю, и так сбросил, чтобы было ясно, что фуражка эта человеку больше не потребуется. Под фуражкой оказалась неровно и недавно остриженная голова, на которой уже угадывалась пролысина. Солдат попытался натянуть на эту голову петлю, но петля оказалась короткой. Тогда солдат наклонился к шоферу и что-то заговорил. Шофер подал ему пеструю немецкую канистру. Солдат чуть отодвинул человека в ватных штанах в сторону, положил канистру плашмя и приказал жестом взобраться преступнику на нее. Тот послушно встал на канистру, зашатался и чуть не упал. Солдат, поддерживая его одной рукой, другую быстро надел петлю на шею человека, подправил ее, как бантик, узлом назад, деловито оглядел свою работу и, спрыгнув на землю, отошел в сторону.

Возле кузова неподвижно стояли два автоматчика. В кабине шофер смолит махорку. На крыло машины встал майор с непривычно-узкими погонами и начал читать приговор. Читал он долго. Толя плохо слышал его. Он не отрывал глаз от того, кто стоял с петлей на шее. Человек был бледен и жалок, и все на нем было жалкое. Старые ватные брюки и телогрейка, под которой виднелась бязевая, давно не стиранная, казенная рубаха. И ботинки солдатские без шнурков, надетые на босу ногу, и ватные брюки, побелевшие на выпуклостях и темные во швах без подвязок, и картуз, валяющийся возле машины, который никто не поднимал. Но больше всего поражало Толю лицо человека. Иссиня-бледное, даже серое, на котором, казалось, быстро, быстро успевала прорасти колючая щетина, почти фиолетовые губы растерянно и беспомощно по-

луоткрытые, и щеки с продольными, резко обозначившимися морщинами, словно бы человек худел на глазах. И глаза. Обыкновенные глаза, цвет которых трудно было угадать. Зрачки их расширились и остановились. Выгоревшие ресницы вдруг начинали мигать часто, часто и затем внезапно замирали, но глаза оставались недвижимыми, и в этих глазах, в самой глубине, за покорным испугом Толя вдруг обнаружил надежду. Да, да надежду. На что? Наверное, на чудо! Наверное, как и всякому смертному, казалось приговоренному, что все происходит неважправду, что еще случится, сейчас вот, сей миг, что-то такое, что все происходящее разом оборвется, как сон. Толя не смог больше смотреть в эти глаза и отвел свой взгляд. До слуха его донеслось: «Предал группу выходящих из окружения красноармейцев... Выдавал партизан... Доносил на жителей, сочувствующих... Был тайным агентом гестапо... Всего по его доносам погибло 47 человек красноармейцев, партизан и мирного населения...»

«Полно! Что же это такое? Не мог он, не мог этого сделать!» — билось в голове у Толи.

— Вот гад! — раздалось сбоку.

— Ще який гад-то, — злобно поддержали реплику из толпы цивильные, — ще який гад-то. Жизни од него нэ було.

А Толя смотрел теперь уже на руки преступника. Руки в жилах, с туповатыми, обкуренными пальцами. Один ноготь был черен до половины, должно быть, от недавнего ушиба. Кости рук сильно развиты, пальцы узловаты. Руки труженика! Этот человек родился для труда, не для войны. И не будь бы ее, он никогда бы не сделал никакого преступления и умер бы обыкновенным селянином, сеятелем и пахарем, и не знал бы он и семья его не знала, да и односельчане никогда бы не узнали, что он слаб духом, что дрогнет в нем сердце и поведет его неведомо куда, ради спасения собственной шкуры, и приведет к петле.

Странно. Чем больше перечислялось преступлений этого человека, тем упорней Толя искал ему оправдания и, более того, сам начинал верить в чудо, что чего-нибудь случится и человека попугают, попугают, и не повесят. «Вон Достоевского тоже хотели повесить...»

Он был уверен, что повесят, повесят, но старался поколебать в себе эту уверенность.

Он глянул на Круцова, стоявшего рядом. Тот опустил

глаза и был бледен. Он поглядел вперед, назад, вправо, влево. Везде были бледные насупленные лица, и по этим лицам Толя угадывал, что того паренька со значками эти люди сейчас ненавидят и презирают больше, чем человека с петлей на шее. Эти люди привыкли к бою, к войне. Они знают, что такое смерть в бою, когда дело идет, так сказать, на равную, или ты его, или он тебя. Но тут...

Нет, никогда человек не примирится с насильственной смертью. Тем более нынешний человек. Если бы еще расстреляли этого, в брюках, куда ни шло, но завязать петлю, на дереве, как в старом столетии. Нет, нет, нет! И что это такое? Все течет, все изменяется, а умертвляют человека все по-старому, все по-старому, и даже в приговоре формулировка осталась косноязычная, дошедшая до нас, может, от времен инквизиции. Не повесить, не удушить, не задавить, а «привести приговор в исполнение через повешение».

«Через повешение!» — лучше ничего не могли придумать за тысячу лет. И чуда никакого не свершится. Сейчас этого человека повесят. Но почему же ничего не придумали? Ты не прав, Мазов! Да, веревка та же, пеньковая, шея та же, человеческая, да, чувства у него те же, да, приговор пишется все так же, как и сто и двести лет назад. А машина? А канистра? А вместо палача комсомолец? Не-эт многое переменялось, усовершенствовалось, достигло необыкновенной простоты и «высокой» морали, и человека повесят с машины ради быстроты дела. Но если бы машины были раньше, люди, глядишь, тоже догадались бы вешать с них людей. Дело нехитрое.

Кончено чтение приговора. Он обжалованию не подлежит. Минутное замешательство. Еще минута надежды у преступника, у шофера, у автоматчиков, у всех стоящих на площади и даже у майора, читавшего приговор. Проходит эта минута, и ничего не случается.

От кустов отделяется паренек с комсомольским значком и, ровно бы угадывая, что дальше ждать нельзя, что все достигло наивысшего напряжения и что может что-нибудь в самом деле случиться, он что-то торопливо говорит шоферу и показывает рукой двигать машину. Тот согласно кивает головой. Лицо его бледно и несчастно. Шофер грубой рукой сталкивает паренька-палача с подножки, как бы даже смахивает его, делает последнюю глубокую затяжку, выкидывает окурок в окно кабины, кладет руку на рычаг скорости и еще секунду медлит, подни-

мает глаза, и обводит ими лица на площади, и глаза его кричат: «Что же это, братцы? Что же вы молчите? Бра-а-атцы!» Рука его делает привычный поворот, он включает первую скорость. Но он еще не отпустил ногою ту педаль, которая выпускает скрытую силу в цилиндры машины, после чего машина оживет, двинется, и человека не станет. Он еще дарит человеку секунды жизни. Он не решается его умертвить.

Смотри, человек, смотри! Смотри на эту землю, из которой ты вышел. Прощайся с нею. Обведи ее последним взглядом постылуку. Что она принесла тебе? Что она дала тебе? Горсть радости и короб горести. И зачем она тебе? Зачем? Чтобы жить дальше, чтобы мучиться еще и еще, чтобы копать в ней, в этой земле, добывая из навоза и грязи пропитанье. Ведь все равно поздно или рано уйдешь ты туда, откуда пришел. Не жалея ее! Плюнь на нее! Радуйся! Может быть, еще будут такие времена, когда живые позавидуют тебе.

Почему ты об этом не думаешь, человек? Почему тебе видятся лишь весенние сады и нежно поющие голоса птиц? Почему ты слышишь запахи лугов и пашен, цветущей вишни и мальвы яркой, речки и пруда в разливах вечерней зари. Почему ты уносишь с собою только хорошее, оставляя, как отраву, худое людям? Нам?

Человек, прощай!

Шофер осторожно начал отпускать педаль. Машина медленно, почти незаметно, двинулась вперед. Петля на шее человека стала натягиваться. Он схватился за нее руками, попытался раздернуть веревку, порвать, но канистра стала уползать из-под ног, и смертник принялся цепляться за эту канистру ногами, нащупывая ее, подвигая ботинком под другой ботинок, он как бы бежал за канистрой, за машиной, он почти упал на грудь. Веревка натянулась, яблоня напряглась, задрожала и вдруг, спружинив, может, и шофер рванул машину, яблоня сдернула человека с кузова, и он ощутимо-грузно упал ногами вниз, сук услужливо согнулся, но ноги человека все равно не достали до земли, и он закачался влево-вправо, вправо-влево, рот его растягивало судорогой, из разверстого зева вырвался хрип, руки, хватавшиеся за веревку, обессиленно опали, сверху скатились вниз два-три яблока, ударяясь о повешенного, и срикошетили к ногам зевак.

— Мамо! Мамо! — заплакал где-то ребенок.

Работники трибунала, палач и стрелки, исполнившие

роковое дело, воровато и напуганно вскочили в кузов, машина рванула прочь от площади. Солдаты тоже стали расходиться в угрюмом молчании. И лишь пожилая женщина да еще несколько селян остались на площади, не в силах одолеть отвратительного любопытства и жути. Женщина, пьяно качаясь, подошла к повешенному, обняла его за ноги, остановила раскачивание и приникла щекой к грязной ноге, с которой спал ботинок. Дрожь все сотрясала повешенного, и сперва шепотом, затем выкашливая слова, женщина запричитала:

— О-ой, сыне мой, сыне!

Обедать Толя не смог. Пролежал в саду, уткнувшись лицом в траву. После обеда его первым выпустили петь. После проигрыша баяниста он наконец услышал свой голос:

Встретились ребята в лазарете,
Койки рядом, но привстать нельзя,
Оба молодые, оба Пети,
Оба неразлучные друзья...

И такой пошлой, такой никчемной и мерзкой показалась ему эта песня, и этот концерт, и эти генералы, как ни в чем не бывало сидящие в переднем ряду, что, где-то на самом патетическом месте, он махнул рукой и ушел со сцены. Баян квакнул и замолк. Опустили занавес. Малафеев поставил баян на табуретке и со вздохом сказал:

— Да-а, петь после такой процедуры... Я понимаю вас. Вы сходите, погуляйте, успокойтесь, а пока я выпущу танцоров...

Он был симпатичный, этот старший лейтенант Малафеев, но тоже сделавшийся жалким и виноватым в чем-то.

С крыльца церкви Толя глянул на виселицу. Подле нее еще толпились несколько любопытных, на обочине дороги лицом в траву среди опавших яблок, листьев, на обрубленных сучках, скомкав в горстки платок, лежала женщина и уже не голосила, не шевелилась, ее тоже была крупная дрожь. А повешенный дрожал уже мелко, мелко. Изо рта у него вывалился синий язык, ровно бы он дразнил зевак, и серые поношенные брюки в промежье потемнели. Повешенный обмочился. Говорят, это случается со всеми повешенными.

Толя ушел из села, на проезжую дорогу, ждать попутную машину. Там его настиг Круцов. Они закурили и молча пошли по направлению передовой.

Кругом трещали кузнечики, полыхали маки, в садах шумели пчелы, в небе заливался жаворонок, из старой церкви вдогонку неслись переливы баяна.

В мире ничего не изменилось.

1968

ПЕРЕСЫЛКА

Из повести «Звездопад»

Пересылка была чиста даже во дворе, в казармах блеск и запах протравы, смешанный с духом мяты и еще какой-то духовитой травы, которой надлежало забивать вонь карболки, и сам казарменный, вроде бы ничем уж не истребимый дух.

В столовой чистые столы, под клеенкой, чистая посуда и тарелки есть, вместо жестяных банных тазов, таких везде привычных, алюминиевые баки, алюминиевые черпаки, алюминиевые ложки. Столы заранее накрываются дежурными, у раздаточного окна ни очередей, ни битв, ни доходят, жаждущих добавки, потому что если надо, можешь ты добавить сам себе супу черпаком из бака. На территории пересылки баня, медпункт, прачечная, несколько деревьев шелковицы, тополей и старых груш. Все обыватели пересылки живут по режиму: подъем, построение, умывание, завтрак — и на работы: часть людей в город, на разные предприятия, часть занята наведением еще большего порядка на территории и службах пересылки. На нарах никто не валяется, торговли и мены нет, пьяных вообще не видно, женский род не только не блядует, но и в словесные контакты с солдатней боится вступать.

Капитан Старокопытов вверенный ему объект держал в большой строгости, самолично вникая во все мелочи и подробности жизни пересылки, ранее всех поднимался и позднее всех ложился в постель. Словом, вел он себя и работал так, как его учили, как и положено работать настоящему советскому офицеру. Он был комбатом на войне, дойдя до этой высокой должности с помкомвзвода, но его тяжело ранило, и где уж он лечился и как лечился, вообразить невозможно, скорее всего в госпитале типа васюринского, правая нога у него была намного короче

левой и повернута пяткой вперед, однако же на обеих форсисто блестели хромовые сапоги, блестела единственная медаль, пуговицы, пряжка на ремне, и весь он блестел и был затянут, но ходил с палкой, еще госпитальной, ореховой, с надетым на нее резиновым набалдашником, и ходил, выстелившись вперед, почти задевая подбородком эту палку, и только по вытянутости, устремленности тела вперед можно было определить, что идет он все-таки вперед, но иногда казалось, что и вперед, и взад сразу.

Солдаты незло подшучивали над капитаном, пытались даже передразнивать его походку, но редко у кого это получалось. Сам капитан с контингентом пересылки был строг, но снисходителен, позволял себе покурить в солдатском кругу, поохотать вместе с ними и пошутить, но совершенно он был беспощадным властелином по отношению к обслуживающему персоналу. За голяшкой хромового сапога он носил деревянную расписную ложку и, еще по истории суворовских времен зная, что путь к солдатскому сердцу лежит через кухню и, наверное, чуть даже подражая Суворову, самолично контролировал непорядок, суп или каша оказывались невкусными иль кто-нибудь посмел что уворовать, — он бил подряд всю кухонную челядь и бил не палкой, а каким-нибудь увесистым, горячим черпаком.

— А-а, ку-ур-рвы! У бойцов изо рта кусок вынать?! Подрывать авторитет Красной Армии?! Поддамывать оборону с тыла!...

Жил капитан Старокопытов на территории пересылки, в деревянном особнячке, стоящем прямо среди обширного двора, по фронтому и бокам опоясанном каким-то балконом или площадками, что ли. Торговля ли какая размещалась прежде в этом помещении, склад ли какой, но капитан Старокопытов велел во все стороны прорубить окна, сделал два выхода — сзади и спереду, и всю он пересылку со всех сторон зрил и контролировал ее буквально — досконально. Родом он был пензяк, но нрава кавказского, боевого. С ним жила его жена Шура — очень доброе, работающее существо с грустными голубыми, даже не грустными, а недоумевающими голубыми глазами и прежде времени увядшим лицом, потому что капитан Старокопытов совсем извел ее ревностями... к прошлому. Был он лет на десять старше Шуры, был от нее без ума и бесился от чувств, совершенно ему непонятных. Пытался бить и жену, как бил кухонную обслугу, но Шуру все

жалели, любили, и уж тут, выходя из повиновения, народ вставал горой за милую женщину, которая, чувствуя в массах опору и поддержку, и сама постепенно обретала характер, начинала оказывать сопротивление капитану.

Все действие, вся пересыльная комедия, которую массы ждали с нетерпением, начиналась перед отбоем.

«Ста-анавись!» — раздавалась команда — и в другом месте, в другом подразделении, кто бы куда попрятался, под нары влез и, вообще, рассосался, а тут сыпали на улицу даже те, кто ходить в строю вовсе не мог, и больные, на обе ноги хромые или те, что от контузии падали в строю. Припадошные, умом тронутые бойцы рассаживались по завалинкам, остальные охотно строились в три ряда и замирали, сдерживая себя и не давая воли смеху, потому что впереди была такая потеха, такой театр, на который «подывытаться» приходили бойцы и офицеры из других частей, ребятишки висли на заборах и шелковицах, окружавших территорию. Два полных кавалера орденов Славы, двигавшиеся с парада Победы в свои части, в праздничных мундирах, застрявшие на винницкой пересылке, потому что части их двигались им навстречу, из Германии, как потом оказалось, на восток, воевать с японцами, выстраивали нас и, наблатыканные в Москве, на параде, шагали к балконному обносу и снизу вверх зычно гаркали:

— Товарищ гвардии капитан, вверенные вам бойцы для вечернего марша построены. Докладывают гвардии старший сержант Каменщиков и сержант Горовой!

Капитан Старокопытов в гвардии не служил и не воевал, но против такой лести устоять не мог. Спрятав палку подальше, он приосанивался, хватался за барьер балкона, чтобы не упасть, и, вобрав в себя побольше воздуха, все равно кричал тонко, срывающимся от волнения голосом, хотя ему-то хотелось гаркнуть так, чтоб окна в близлежащих домах если не повылетали, то хоть бы звякнули, и чтоб Шурка, жена его, со страху под кровать залезла.

— Здравия желаю, товарищи бойцы!

И мы дружно, одним порывом выдыхали:

— Здрась-тыщ-гвардии-тан!

— Благодарю за службу!

— Ур-р-р-ра-а-а-а!

А потом бойцы, у которых не были перебиты руки и ноги, или перебиты не до конца, ведомые парадно одетыми сержантами Каменщиковым и Горовым, начинали мар-

шировать вокруг голубого капитанского дома. Капитан, держась за барьер, воробьем скакал по балкону, и все больше бледнея, со стынувшим от напряжения нутром, сек: — Ырыс! Ы-рыс! Ы-рыс-два! Ы-рыс-два... три-читыри, тр-ри-читыри! Ы-ры-рысь-р-рысь!..

И войдя в совершенный раж, в восторженное беспмятство от парада, начинал и сам болтать повернутой вперед пяткой ногою, и получалось у него что-то вроде балетного па-де-де, когда нога, сделав петлю в воздухе, потрещавшись там, доставала зад и ударялась носком в ягодицу. Однажды, сделав такой вот пируэт, капитан лягнул с балкона деревянную лагуху с вареньем, но ей не дали упасть на землю хваткие нестроевики, изловили посудину в воздухе и уж было сбили строй, пытаясь вернуть лагуху на место, но капитан крикнул сверху:

— Хер с ним, с вареньем! — и парад продолжился, лагуха угодила в столовую, и мы дня три пили чай с вишневым вареньем, Шура нашла лагуху уже пустой.

Когда маршировка набирала силу и капитан уставал прыгать по балкону, следовала новая требовательная команда: «Пес-снюу!». И строй кривоногих, одноруких, кособоких и одноглазых просмешников и злодеев гаркал самую-самую любимую песню капитана Старокопытова:

Н-на радном ба-арту линкора
В неба смо-о-отрят ма-а-ачты,
Й-я вернусь, па-адружка, скоро,
Н-не грусти, не пла-аачь-ты...

Что с этой песней делали доходяги-нестроевики — уму непостижимо! Ее изворачивали каждый на свой манер и лад. Коляша Хахалин внес в песню свежую струю и вместо: «Ты стояла у причала и рукой махала», воротил: «Ты стояла, сено ела и хвостом махала!». И отдохнувшая, отъевшаяся публика, громко подпердывая на ходу, с восторгом подхватывала новый текст, но капитан ничего уже не разбирал, он рыдал на балконе, как предводитель взбунтовавшихся мексиканцев, знаменитый Панчо Вилья на трибуне, когда, слушая вождя своего, вместе с ним рыдал весь народ, и все они отлично понимали и любили друг дружку.

— Мы там... — пытался молвить капитан Старокопытов. — Мы там... — указывал он вдаль, на запад. — А они тут... А они... они...

Значит, мы там, на фронте, кровь проливали, бились с врагом, не жалея жизни, а они тут... стало быть, Шурка,

не зная чем занимались, разлагались сами и распатывали наш и без того не очень прочный и честный тыл. Распавшись, капитан бросался в глубь голубого дома, прыгал за Шуркой вокруг стола на одной ноге и не мог ее настичь. Все же Шурка изнемогала раньше неистового капитана, капитан драл на ней одежды, пытался душить, но жена не допускала схватку до крайности, давала мужу неуклюжую деревенскую подножку — и боевой капитан, не удержавшись на кривой ноге, брякнув медалью, падал на пол, Шурка придавливала его к половицам.

— Задушил?! Взял? Взял? Вот тебе! — и совала в нос поверженному капитану фигушку!

— Ладно. Все! Помоги мне. Счас бойцы придут — разнимать. Нехорошо.

К той поре, как прийти нам на помощь слабой женщине и на выручку капитану, в голубом доме все уже утрясалось, и супружеская жизнь входила в норму.

Шура, подбираясь в доме, прибирая себя, плакала:

— Ну что тебе от меня надо, Ванечка? Я ж тебе говорила, был у меня ухажер в Малоярославце, мы с ним ходили, собирались пожениться, ну и... не избежали глупостей. Потом оборонные работы. Военные кругом. Обогреют, приласкают... Потом фронт, батальон твой и я, одинокая санитарочка, от вашего брата обороняйся, как от фашистских танков, они там и тут... со всех сторон наступают... так и давят... так и уютжат... Ты меня прибрал, спас. Спасибо тебе! Век не забуду! Но тебе нужна другая женщина, чистая, целомудренная. Я все понимаю, Ванечка! Истаскалась по вагонам, по баракам, по окопам и блиндажам — век не отмыться. Но разве я виновата в этом? Разве виновата, Ванечка? Я хоть раз, хоть что-нибудь позволила себе, как другие офицерские жены?.. Но ты доведешь!.. Позволю!

— Попробуй только!

— Ванечка, да отпусти ты меня домой! Не мучайся сам и меня не мучай. Ну, раз у тебя такое ранимое сердце, что сделаешь? Я попробую устроить свою судьбу по-своему, и ты устроишь свою, найдешь достойную женщину... Вон сейчас нашего брата сколько!.. А я и рожать не могу. Лишилась такой возможности. Отпусти, а? Ванечка!

— То-олько в гр-рробе! То-о-о-олько в цинковом, сургучом опечатанном гробе ты попадешь домой! Не будь я Иван Старокопытов!..

И так вот изо дня в день, из вечера в вечер. Скоро это перестало забавлять нас. И скоро мы все перезнакомились друг с другом, объели шелковицы на территории пересылки и вокруг нее. Порассказали друг другу и друг о друге все, что могли, отоспались, отъелись, устали, истомились — ведь молодые все, хоть и поизувеченные.

И нас снова начали манить заманчивые дали. А тут и «покупатель» нагрянул, из недалеких мест, из-под Жмеринки, из какой-то почтовой части, где работали сплошь девушки, и наступила пора им демобилизовываться, ехать по домам. Надо было их кем-то заменять — военная почта работала с неослабевающим, даже с нарастающим темпом — отвоевавшиеся люди получили больше времени и бумаги для того, чтобы писать письма.

Ребята, в том числе и герои-сержанты Каменщиков и Горовой, решили податься в почтовики, в какое-то совершенно райское, войной нетронутое украинское местечко, где фруктов и продуктов навалом, девок — какую хочешь выбирай, хоть в невесты, хоть так, работа легкая, жизнь развеселая...

Коляша Хахалин на эти рассказы никак не реагировал и «покупателю» нисколько не верил. Хватит, навидался он на своем боевом пути всякого и рай всяческий изведать. «С места не сойду и до победного конца буду держать оборону на винницкой пересылке, и пусть город этот, Винница, набит жуткими ревнивцами, пусть хочется за забор пересылки, на девок посмотреть и, может, какую хохлушку и обласкать, пусть фокусничает и дурью мается капитан Старокопыттов — не сойду с места и все!»

Но ребята так к Кольке-Свисту, чтецу, анекдотисту, певцу, просмешнику-поэту привязались, что не хотелось им без него никуда ехать. Они подослали к Коляше «покупателя» — для личной беседы с заявлением, что если Коляша на согласится с ними ехать, то и они никуда не поедут...

Массы Коляша уважал. Дружество ценил. Внимание он ценить не разучился до сих пор, тем более ценить солдатский союз, из-за которого и жив остался, это они, окопные друзья, его, беспамятного, окровавленного сумели переправить с плацдарма, где даже с легкими ранениями подыхал почти каждый второй боец, а тут, на пересылке, все не по разу раненные, все «свои» — Коляша сжился с ними, привык к ним.

Словом, собрал Хахалин вещички и встал в строй че-

ловек во сто, и двое солдат, что были поближе, — Матвей со стеклянным глазом и Корней с хромой ногою, оба из Забайкалья, обняли его благодарно.

1960

ИЗ ПАМЯТИ ЗАНОЗУ НЕ ВЫНЕШЬ

Из повести «Веселый солдат»

И тут я, кстати, вспомнил, как в местечке Бышев под Киевом ночевали мы в хате молодых специалистов, перед самой войной присланных на масло- или крахмало-паточный завод. Война застала их, молодых специалистов, всего через несколько месяцев после женитьбы. Его призвали и он отступал, потом отступать стало некуда — немцы отрезали на юге ни много ни мало, как пять наших армий, и товарищи командующие куда-то слиняли, а главнокомандующий южной группировкой, товарищ Кирпонос придумал легкое избавление от всех бед и от гнева товарища Главнокомандующего, который из Кремля приказывал удерживать «каждую пядь земли», и в результате ударного руководства потерял Белоруссию, Украину, а затем Кубань и Кавказ, да еще плюс пол-России в центре. Так вот, товарищ Кирпонос под Харьковом пустил себе пульку в холеное наркомовское тело, ныне говорят, что не он себя, а его застрелили парни из крутых карающих органов. Туча народа, сотни тысяч отборных, хоть и не очень хорошо, но обученных, подготовленных к войне красноармейцев остались бродить по Украине, потому что догнать некого было и нечего, на юге долгое время не было никакого фронта, сплошная там дыра была на Ростов, затем на Краснодар и далее к Кавказу, где, наконец, началось хоть какое-то сопротивление, да еще два очага — Одесса и затем Севастополь оборонялись.

Небольшое количество брошенных на произвол судьбы красноармейцев «залезло под спидныцю», пристроилось примаками в домах вдов и просто разбитных молодых и солдаток, но на всех вояк-сирот «спидныць» не хватало, немцы надеялись на «блиц-криг», в плен окруженцев не брали — на кой им хрен кормить, поить такую саранчу — пусть бродят и вымирают, коли не нужны даже собственной стране и ее мудрым руководителям.

Но блиц-криг сорвался, немец увяз в снегах, оставшиеся в живых, пострадавшие, досыта накружившиеся по земле, деморализованные стада людей начали объединяться, уходить в леса, терроризировать местное мирное население, затем и немецких постояльцев, чаще всего обозников пощипывать.

Молодой специалист к зиме вернулся в Бышев, отлежался, отплевался и пошел на работу, все на ту же фабрику — есть-то нужно было и при оккупантах каждый день. И так досидел он дома, как и большинство окруженцев, до долгожданного наступления, когда Украину, так легко и запросто отданную, начали возвращать великой кровью.

Осенью, в октябре, два приблудных немецких солдата, похожие на дезертиров, пришли в хату молодых специалистов, расположились за столом, поели, покурили, потом приказали хозяину сесть в угол под божницу, приперли его там столом, и один солдат, выложив автомат на стол, караулил хозяина, другой, затартав хозяйку на печь, подзаялся ею. Окончил дело один, занялся хозяйкой другой. Были они солдаты полевые, окопные, давно женщину не имели и хозяйку особо не намучили, обмуслякали, испоганили и ушли, да еще один из солдат в дверях обернулся и сказал: «Фрау зэр гут! Фрау нихтс капут!» — Не убивай, стало быть, фрау, она хорошая! — такой заботливый оккупант попался.

Остались в хате двое — он и она. Хозяйка до ночи таилась на печке, потом и говорит: «Так самой себя кончать или ты мне поможешь?..»

«Не раз я ее из петли вытаскивал, отраву отбирал, но перебороть себя, чистоплюя, так и не смог, так и не сблизился более с женою, — рассказывал окруженец. — И вот сейчас у меня мобилизационный листок на руках. Вызывают! Будут проверять. Подручные же тех генералов, что смылись отсюда в сорок первом, будут стыдить меня и пугать за то, что я работал на немцев, а что они вынудили меня это делать и проверять бы им надо самих себя — это им как-то и в голову не приходит. Конечно, они бы предпочли, чтоб я и все мы тут сдохли героически, голодной смертью — чтоб меньше свидетелей их гражданского и полководческого позора осталось, да куда деваться-то? Мы к их неудовольствию выжили...

Покуражатся, пострадают, возьмут подписку, которой только подтереться, и пошлют на фронт, воевать. Довое-

вывать-то некому, народ-то они порассорили... А что будет с женою? Она, как побитая собачонка, и я, как последний шелудивый пес. Меня, даст Бог, убьют, при деле, при исполнении долга, искупающего вину перед Родиной и карающими органами. А ей что остается? Надеяться на время? Время — лекарь?! Дай-то Бог, дай-то Бог...»

1996

ЖЕНИТЬБА

Из повести «Веселый солдат»

С Раей Буйновской, о которой свою супругу за всю нашу совместную жизнь я так и не уведомил, но теперь, за давностью лет, когда почти весь лист с дерева воспоминаний осыпался и то, что было пестрым или выспевшим, багряным, желтым ли — все равно смешалось, слеглось в чуть ощутимо пахнувший, бесцветный, серый пласт, истлело и превратилось в шепотку земного праха — можно.

...Я все-таки проделал тот путь, через общественный сад, по поросшему косогору и одичавшей окраине сада, к переулку, в котором, что тесто в квашне, была густо замешана и застыла на всплесках грязища, к той хате, куда вселял когда-то Раю. Путь через сад действительно оказался короче, в особенности туда, и я даже подосадовал, что так и не воспользовался им ни разу.

Рая была дома, неторопливо собиралась в путь. Ее демобилизовали, потому как воскрес из мертвых ее муж, и она отправлялась в Ленинград, в распоряжение Кировского райвоенкомата. Служить она в цензуре не собиралась, надеялась поступить в аспирантуру при Ленинградском университете и со временем перейти на преподавательскую работу.

— Что же это вы, молодой человек, так браконьерски распорядитесь своей жизнью? У вас что, их много? Или испугались просторностей? Бела света? В уголок охота? В тепло? Прижаться к кому-нибудь или к чему-нибудь, лишь бы не одному, лишь бы не боязно?...

— Так, Раиса, так, — опустил я голову, — ехать, ехать некуда и не к кому.

— Как это некуда? Как это не к кому? Везде люди. Свои люди, своя земля. Скажи лучше — к команде при-

вык, по указке жить привык, к казенному хлебу привык. А думать отвык, без указки жить не научился... Ах, армия, армия! Сколько бездушия, безответственности, безволия, да и бесчеловечности, в конечном счете, порождает она! Ну почему ты не пришел ко мне, прежде чем сделать это? Или в чаду наслаждений забыл обо мне? А я так сердечно и сразу приняла тебя. Хотя, это бывает со мной. Не так часто, но бывает...

— Да так вот, как-то сразу, с ходу, с лету все вышло... получилось...

— Получилось... Машенька — неплохой человек, хотя и не моего поля ягода. Я не люблю этих скрытных мышек-норушек, которые по комочку рыхлят, а поляны портят, по соломинке грызут, корешок по корешку зубками перекусывают... А потом... копны валяются. Она хоть сказала тебе о своем мимоходном замужестве?.. Сказала. Но ты выше этого!.. Ох-хо-хо... Голубь ясный, солдатик наивный, ничего-ничего ты еще в жизни не понимаешь!.. Прости меня за откровенность.

— Хэ! — воскликнул я, вроде бы дурачась. — Да захочу и тут же разженюсь, выброшу в окошко красноармейскую книжку с печатями — и все дела! И поеду, куда захочу!..

— Ох и распетушился! Ну и отчаянный! Видали таких, Соломея Карповна? — Обратилась она к хозяйке.

— Ба-а-ачила! Цэ вин тут такой хоробрый, а сэрдчишко-то тримается...

— Во-во! Тримается. Увяз ты, Витек, увяз... тебе кажется, коготком, а вынимать начнешь, всеми лапами завянешь... Не для того Машенька с тобой в сельсовет шла, чтоб ты так вот, раз — и ушмыгнул от нее... не для того. Она неглупа, и жизнью мята, а не балована, увы... Как жаль, как жаль, что ни с тобой, ни с нею я поговорить не удосужилась. Как жаль...

Раиса проводила меня через сад почти до дороги, взяв на прощанье обеими руками мою голову, как горшок, притянула к себе, поцеловала в лоб и в раненый глаз:

— Все у тебя пусть будет хорошо. Обязательно!

* * *

Строй по ту и по другую сторону сраженно смолкал, открывались рты, таращились на меня глаза, кой у кого уж подведенные черным в знак отрешенности от военной

дисциплины и уставных оков. Ух, как я себе нравился! Как я был хорош! Знать бы, что такой триумф красоты моей и гордости никогда уже не повторится, так сбавить бы шаг, продлить бы минуты торжества. Да где там? Голову закружило минутной славой, взор единственного зрячего глаза застлало хмельным туманом вдохновения. Меня еще хватило на то, чтоб гусарски пристукнуть сапогами перед совершенно растерянной невестой своей, небрежно чмокнуть ее в щеку и с рыцарским полупоклоном вручить ей кисточку рябины.

Но когда мы очутились за глухой стеной сортировки, где лежал обломанный ствол старой груши, вышарпанный задами куряк, парочек и просто уединившихся людей, и присели рядом, я вытер пилоткою пот с лица и выдохнул:

— У-уф, хорошо, что успел!

— Да, очень хорошо... — сказала в пространство Маша.
— Не знала, что и думать...

Я глянул на нее сбоку и понял, что она не спала ночь, может, и не одну, и много плакала. И удерживаясь на высоте все той же рыцарской роли, хотя и без особого вдохновения, однако с налетом небрежности, обронил:

— А что тут думать? Снимай с машины чемоданишко, шинель и пошли домой!

Какое-то время Маша не отвечала и все смотрела вдаль, поверх хат и садов, смотрела в ту сторону, откуда я так спешил, гнал рысака, и сердце мое наполнилось каким-то легким чувством удали, бесстрашия, бездумного торжества, радости сделать соучастником моего душевного подъема, желания передать кому-то все это и осень, и землю, мне хотелось куда-то скакать и скакать, и делать так, чтоб всем людям тоже было хорошо, светло, просторно. И мне казалось, так оно всегда и будет: вечно я буду нестись над землею, и в лицо мне свежий влажный ветер, небожно, даже неожиданно ласково ударяющий нарядными листьями, величавым криком птиц, улетающих в нескончаемость глубокого и широкого неба.

— Это ведь не так просто, Витенька, — вздохнула Маша. — Я старше тебя. Я, хоть и недолго, хоть и подурачки, не без чувств, правда, уже отмерших, была замужем. И под расстрелом побывала... Подумал ли ты обо всем этом? У тебя было время подумать. Но мне кажется, ты все еще чего-то недопонял, недоосознал, все это игрой тебе пока кажется... Может, мне все-таки уехать?

— А если уедешь?

— Н-ну, скорее всего, уж насовсем. Земля большая... Где же нам?.. У тебя будет своя жизнь, у меня — своя...

Как это уехать насовсем?! Как это? Мы же так нужны друг другу! Так быстро привыкли один к другому, как будто век прошел со дня нашей встречи, а не месяц... И вот насовсем?! Как это у тебя будет своя жизнь? Какая такая своя? Ни хрена подобного! Никакой своей жизни! «Каждая минута, каждое мгновенье, все, что есть и будет в жизни и судьбе». Я этот стишок сразу запомнил. Наизусть! Хороший стишок. Складный и, главное, правильный: «Все это тебе...».

Тут из-за угла высунулась Валентина Уланова и сказала:

— Все! Пора!..

— Чего пора?

— Уезжать Маше пора, вот чего! — задушевым голосом просипела Валентина Уланова и упала подруге на грудь. А та, сразу сделавшись лицом не румяная, а сизоватобледная, гладила ее по голове и все так же отрешенно глядела в какую-то неведомую даль глазами, в которых остановились и отвердели слезы, и лишь полуоткрытые губы ее редко и мелко вздрагивали, да хваталась она за горло и, словно, сощипывала что-то с шеи.

«Ох, какая сильная эта маленькая бабочка!» — успел еще подумать я и, услышав сигнал машины, ринулся впереди подруг, в плачущий, обнимающийся, целующийся народ и, на бегу спросив у кого-то, где вещи Корякиной, запрыгнул в кузов и в чьи-то охотно подставленные руки подал чемоданчик в фиолетовом чехольчике с красной матерчатой полоской, шинель и баульчик с ручкой, в котором холщовыми ремнями была увязана постеленка.

Маша стояла среди двора, обнявшись с подругой, я чуть в стороне, около вещей. С уходящих со двора машин неслось:

— Счастливо, Машенька!

— Не обижай!

— До свиданья! Пиши! Пишите!..

— До свиданья! До свиданья! Счастья вам!..

— До-о-олгих ле-эт...

И в полный рост стоящая, то и дело шатающаяся и падающая, и подхватываемая руками, забайкальская черноглазая, крепенькая телом, статная подруга Маши, тоже Машенька, обливалась слезами и кричала:

— Маша! Маша! Витя! Витя! Маша! Маша!.. — Так и унесло ее за поворот, в почти голые уже деревья, кричащую, плачущую, словно бы чувствующую, что никогда более судьба не сведет, не встретит, а уж такой ли доброй и простецкой души человек и так бы с нею хотелось увидеться хоть когда-нибудь на этой земле.

Плача, о чем-то тихо переговариваясь, неохотно расходился со двора местечковый люд, и пошел, посыпал мелкий дождичек, потекли последние листья с деревьев, обнажая последние, крепкие плоды, так и недообитые во дворе сортировки. Сам я медленно шагал в переулке, под гору, и покорно шел за мною конь с перекинутым через седло чемоданчиком и со скаткой. Прикрывшись одной шинелью, далеко сзади плелись под горку заплаканные подруги в опустевшую бедную хату. Старая хозяйка, не выносившая одиночества, пустила на несколько дней мою невесту, до моего отъезда пустила. Теперь уже нашего отъезда, скорого.

1996

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ

Из романа «Прокляты и убиты»

На войне очень часто настигает человека, прежде всего молодого, чувство одиночества, подавленности, заброшенности, особенно, когда бредешь в ночи, в снегу, голодный, холодный, не то, чтобы враждебность в душе не сешь, нет, а вот, как бродяга, ты никому не нужен и обречен, и все теснится в тебе чувство горечи, недоумения — куда иду? Зачем? Какая сила толкает меня?

Непонятность этой давящей силы постоянна, из-за нее является чувство обреченности, и уж если дежуришь один, или на посту стоишь в непогоду, чего только не передумаешь и все время зло на тех, кто окопался в близком тылу, в безопасности, тепле, сытости и кто делает все — любую подлость, любое предательство, чтоб только самому спастись, охранить себя.

Со временем враждебность к немцам притуплялась, становилась общей: работа и работа — привычно, а вот к своим врагам она делалась непримиримо-острой, больной и в связи с этим написать надо главу «Колесо» и затем переправу Игоря Швычкова, комсомольца с донесением.

Ему разрешено было командиром, если доберется на ту сторону реки живой (шансов мало), остаться там, но на него налетело столько политруков, комсомольских и надзорных деятелей, заградотрядников, что он понял: убьют, растерзают, но столкнут в воду, ибо им самим не хочется на плацдарм, — это предательство ближнего, благословенного всеобщим предательством и демагогией, в основе которой шкурничество.

Игорек, начитавшийся «Как закалялась сталь» и тому подобных книг, первый раз попал в переплет на Оке, когда подстрелил немца, пришедшего за водой, потом попал в штрафную за колесо и вот, ему орут: «Трус! Изменник!..» Орут самые настоящие подлецы и трусы, а на руке Игорька пятна от линзы, жег тело свое в пионерах, готовясь к испытаниям войны...

1987

МНЕ СОН ПРИСНИЛСЯ...

Из романа «Прокляты и убиты»

Мне сон приснился, будто я мертвый. В какой-то склеп, в подвал ли, в яму ли вошел. Там в белье иль в тлелых гимнастерках, друзей-окопников всех в сборе я нашел...

Почувствовав шаги над головой, они зашевелились, хрустя костями. Глаза их задрожали, поло, встречу дырами открылись, и дух их, остатки ль сгоревших словесов пустых над ними закружились. Они смотрели на меня с немим мучительным вопросом, смотрели долго, никуда не торопясь. На том собраньи, многолюдном, безголосом, среди друзей-соратников ложась, устало я вздохнул, меня не торопили. Подвинулись друзья, меня к себе пустив. Они не умерли, они отвоевались и на том свете память, братство сохранив.

Молчал я долго, мысли собирая,
И напрягалась память в голове.
И словно бы ту память согревая,
Друзья придвинулись ко мне.
И дрогнула душа от встречи братской.
Их кости и покой оберегая от забот,
Я им сказал: спокойно спите, други.

Мир на земле, огонь повсюду вашей кровью залит,
И только тихие деревни по России,
Без вас осиротелые, все мрут и мрут.
Да опадают женщины, как листья, осенью,
С деревьев голых, старых и больных.
И долгим вздохом, затяжною непогодой
Их провожает русская земля,
Сама от зябкого сиротства ежась,
Лохмотья собирая на больной груди.

1989

С. Овсянка

РАЗГОВОР

Из романа «Прокляты и убиты»

К. Рындин — Щусю:

— Сперва я лечился в госпитале, а потом от госпиталя. Домой Дуська привезла — кожа да кости. И там, в госпитале, да в пути, в эшелоне, узнал я, што такое война, — в Бердске доходил, мало чё видел, оглох, на войне ты меня под колпаком держал, я и радехонек — не надо видеть и думать, а потом и откры-ылось, разверзлись небеса огненны и кровавы...

Один командир полка всю дорогу в эшелоне пил и хвастался, что ни одну он деваху, прибывающую в полк, не пропустил, первым мужем всем был, потом уж в народ их пуцал — пользуйтесь! Одна лишь деваха, дождавшись, когда он спустит галифу, пинком вышибла его из кузова крытой машины. Так он ее гноил, гноил, упекал, упекал и добил, догробил-таки.

— Кабы он один такой был! Середь наших командиров сталинских стервятников мало было. Нам везло на старших командиров — Бескапустин, Зарубин, Барышников.

— И ты.

— Ну, какой я командир? Я из казарменных дядек, скорее.

1991

НОВЫЙ ВЗВОДНЫЙ И СТИХИ

Из романа «Прокляты и убиты»

Знакомство нового командира с бойцами началось со чтения стихов. Бригада как раз едва ноги унесла из Житомира, пропитого доблестной армией, а поскольку службы снабжения имеют свойство в наступлении идти сзади, на безопасном отдалении от войска, убежать — наоборот, впереди него и как можно больше держа дистанцию опережения, то мы сразу же остались без заботливого наблюдения за нашей моралью и трудом, без правосудия, без отеческих бесед политработников, которые, если им верить, сильнее всякого снаряда и пули. Ну это бы хрен с ним, без этого мы бы обошлись. Но кухня?! Она, курва, тоже исчезала, как всегда в неизвестном направлении и надолго и, как всегда в таких случаях, мы переходили на «бабушкин аттестат», стало быть, рвали где, кто и чего может.

В тот вечер как прибыть Чередилову взамен недавно убитого командира взвода, мы добились одиноко стоящего на унылом черном поле раненого коня, пускавшего кровавую слюну до земли, но сварить конину никак не могли: только костер запалим, ведро навесим, только завоняет мясо седлом и начнет коричнево пениться, опять ор: «Немцы!» — и опять мы устремляемся кто куда, но ведро с кониной не бросаем. Так вот, измотанные, издерганные, мы, наконец-то, попали в большое мирное село и догнали наши батареи, поставленные на прямую наводку. За батареями, в каком-то огороде доваривали-доваривали мясо, а оно не доваривалось — уезженная коняга попала. Ну, махнули рукой, внесли ведро и принялись жевать конину, пластая ее ножиком, горячую, вонючую, и, главное было — поскорее ее проглотить, спустить в брюхо, иначе она во рту разбухала, ее становилось все больше и больше и приходилось жеваное мясо выплевывать.

В это время пришел рассыльный командира дивизиона и закричал:

— Эй, ребята! Где-ка вы? Я вам нового командира привел.

Ну, привел, так привел. Пускай проходит и к ведру садится. Темно уж было, и нам не видать, кто вошел, какого чина-звания, во что одет, обут? Кто-то из ребят заинтересовался, хочет ли он есть и, получив утвердитель-

ный ответ, подал ему связистский кривой складник. Новый командир пошарился, пошарился возле ведра и чего-то выудил, взял в рот, жевнул и опрометью бросился наружу. Вернулся оттуда не скоро и, утираясь, поинтересовался, чего мы едим?

— Как чего? Конину, — ответил кто-то уже вяло и сонно. Мы как отвалились от ведра, так улеглись на что-то мягкое. Утром выяснилось — на коровий навоз.

— Дохлую, что ли? — придавленно спросил взводный.

— Да почти что... — и командира снова вынесло наружу, и он еще дольше там маялся, травил, кашлял, сморкался.

Бывает такая усталость, такая нервная перегрузка, когда и шевельнуться невозможно, и сон не идет. Мы постепенно отходили, молча свертывали сигарки и курили, курили.

Вернулся с улицы новый командир, запнулся за кого-то, рухнул в темноту.

— Тихо ты, блядь! На ногу наступил! Чего скачешь, как блоха по жопе? Пришел — ложись!.. — и утих командишко, затаился в потемках. Но ему, видать, неловко чего-то было, хотелось воссоединиться с нами, и он подал из темноты голос:

— Товарищи! А, товарищи?!

— Чего тебе?

— Хотите, я вам стихи почитаю?

— Чего-о-о? — сразу шевельнулось и село несколько человек.

— Стихи почитаю, — и, не дожидаясь ответа и согласия нашего, начал:

В полях по-волчьи воеет снег в обыденной обиде.

Прошло пять лет и я во сне глаза твои увидел...

Стихи он читал хорошие и хорошо, наверное, читал, да нам-то было не до стихов, и мы никак на них не отзывались. А взводному хотелось сойтись с нами и сразу понравиться, и он не выдержал:

— Неужели и стихи вас не тронули?

Большинство ребят из взвода все же отошло, поуспокоилось и уснуло под мерный голос лейтенанта, что-то складно, убаюкивающе говорящего. Лишь помкомвзвода не вздохнул, почти выстонал, проваливая себя в шинель, ссохшующая от грязи:

— Господи! Каких только мудаков к нам не шлют!..

Трудно мы сходились с молодым, кудрявеньким и нежным Чередиловым, а он с нами и того трудней. Везде лез, пытался таскать с нами тяжести, копать землю — и совсем засуетился, совсем издергался, извинивался. В Карпатах, ночью, при переправе через ручей, вскипевший и одуревший от дождей, мы почти на себе перетаскивали машины, орудия, снаряды. Прямым попаданием зажгло впереди нас застрявшую машину, груженную реактивными снарядами для крупных установок. Эрзсовцев как корова языком слизнула из кузова, мы отпятили нашу машину подальше. А Чередилов мечется меж нас:

— Товарищи! Снаряды ж! Для катюш же! Ценность!..

— Пусть баре-эрзсовцы и таскают свою ценность! У нас своей работы...

И тогда Чередилов бросился к горящей машине. Ему орали, погнались было за ним, потому что уже задрывались, зашевелились накалившиеся в горячем кузове снаряды, и, когда Чередилов приблизился, запрыгнул в кузов машины — его смахнуло в мутный ручей выплеском белого пламени из реактивного снаряда и горящего, будто вехотку завертело, понесло еще одного нашего взводного по воде...

Младшего лейтенанта Чередилова мы помнили, может, из-за стихов, но скорее из-за такой его никому не нужной смерти. Жалели.

1979

ГОРЯЧАЯ РАБОТА

Из романа «Прокляты и убиты»

Когда у Жоры Шаповалова по доносу стукачей изъяли «записную книжку», а в ней: «погода плохая», «погода солнечная», «ранили Карамышева», «пришло пополнение с табачком», «третий день на марше, почти не емши», «погода снова плохая»... Ах как засуетился, забегал особняк, изнывающий от безделья, уж больно благополучная часть ему досталась, ни наград, ни продвижения в звании, а тут книжка! Да еще записная! Нет ли еще у кого? Ни у кого больше не только книжек, но и бумаги на курево нет. Обнаружились «пропуска» — скандал! Есть пожива! А кто воевать будет? Работать? Если отправить «нарушителей» в штрафную? Сам особняк? Но он с нами, тут,

воевать должен, со врагом «унутренным». Вот досада! Опять медаль или орден даже — мимо. Пришлось особняку «профилактическую работу» проводить с ними: значит, если пропуск свернут на четвертушки, а тем более обстрижен на сгибе и у него дырка в середине — он «недействителен», обладатель пропуска подготовил его на цигарки и в плен идти не собирался, но если не свернут: «смотри у меня!», и боец уж на подозрении, ему уж надо всего бояться и не делать «опрометчивых» поступков.

Фамилия особняка — Скорик, он погиб в Зап. Украине. Играл в карты с бабами, шторок нет, и на свет наш кукурузник прямо под окно опустил бомбу — конечно же в похоронке написано «пал Скорик смертью храбрых», награжден посмертно, внесен в почетные списки погибших на фронте энкаведешников (надо ж как-то и из чего-то наскрести героев), и конечно же, семья его обеспечена пенсией не той и не тех, кого он, Скорик, караулил, стращал и преследовал.

1991

СТРАННОСТЬ

Из романа «Прокляты и убиты»

Довелось Зарубину уже в качестве командира бригады сдавать старенькие гаубицы-шнейдеровки и принимать новые, лучшие в ту пору, стомиллиметровые орудия, и пережить еще одну странную, так до конца и не уясненную им историю.

Кургузые, с тупыми, поросячьими рыльями, с избитыми осколками щитами и вареными да клепаными-переклепаными станинами, гаубицы собрали в одно место, почистили и сняли с них прицелы. Капитан из какой-то техчасти небрежно окинул орудия беглым взглядом, пересчитал, тыкая в каждую боевую единицу пальцем, и в присутствии двух комбатов, двух командиров орудий, дал расписаться Зарубину в актах и еще в каких-то бумагах. Зарубин, подложив планшет на колено, расписался за каждое орудие в отдельности, вернул акты капитану и увидел, что комбаты его и командиры орудий, сняв фуражки, понуро стоят возле своих отвоевавших старушек-гаубиц и молчат.

— Все, товарищи! — бодро сказал им технический капитан. — Можете быть свободны.

— Как все?! — поднял на него растерянные глаза командир орудия Анциферов, Герой Советского Союза за Ахтырку.

— Все и все! Старушки поедут на переплавку. А вы получите новые пушки. Красавицы!..

Анциферов отвернулся от технического капитана, обнял свою старую гаубицу за люльку, на которой копотил, въевшейся в железо, было больше, чем краски. За ним и комбаты, боевые, битые офицеры, забыв обо всякой субординации, стали обнимать свои орудия и не смахивали слезы с прокаленных коричневых лиц.

— Ну, что вы, что вы, ей-Богу! — ничего не понимая, спрашивал капитан. — Товарищ подполковник, что происходит?..

Но подполковника не было рядом. Прихрамывая, он широко шагал, нет убежал к ближнему лесу, чтобы никому не показать своих слез, и билось в его голове: «Ну как понять человека? Как постичь? Это ж орудия! Это ж смертоносные орудия! Что о них жалеть? Зачем плакать?»

1991

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Из повести «Так хочется жить»

Я подумал сперва, что на нас напали и что у меня всего пять патронов и чем я буду отбиваться?..

Конечно же, не сразу, но почти все понял и поднялся с брюха и какое-то время стоял, ничего не соображая, и только видел трассирующие струи в небе, яркие разрывы, скрестившиеся лучи прожекторов, и до меня донесло крики, и сердце мое поднималось все выше, выше, и стучало все чаще, громче — вот-вот разорвется и тогда, как во сне, не слыша своего топота, я побежал к казарме и, как во сне, казалось мне — я не бегу, а медленно-медленно переставляю ноги. Но я достиг дверей казармы, вогнал в канал ствола патрон, и мой победный выстрел щелкнул неслышно в гуле и грохоте, но искорка его слилась с победными, яркими огнями, и маленький звук дополнил зем-

ной гул, содрогнувшееся в последний раз от военных выстрелов небо приняло и мой победный салют!

Как я выпалил остальные четыре патрона — и не помню.

Народ сыпанул из казармы, кто в чем, кто куда. Мимо мелькнула было фигура в тельняшке, но я перенял ее, бросился на шею человеку и кричал, кричал:

— Женька! Женька, ебит твою мать! Женька! Женька! Победа! Победа, блядь! Победа! — по лицу и шее капились слезы. У Женьки начались конвульсии, и я почему-то начал бить его кулаком по лбу, изо всей силы. И не знаю, этот ли новаторский медицинский прием, минуты ли высшего подъема предотвратили припадок, и Женька сказал:

— Пойдем искать старшину! Пр-рикончим его!

— Пай-йдем! — согласился я, — прикончим!

— Он же ж падал, подумал — бандеровцы, выскочил из каштерки и под нары...

Я думал, Женька врет от возбуждения, но старшина в самом деле оказался под нарами. Женька вынул его оттуда, упирающегося, трясущегося, с полоумно оловянившими глазами, подтянул на нем кальсоны и пощупал сзади.

— Обоссался? — спросил я.

— Не-э, не успел, обоссался только! — под хохот и плач солдатни заявил Женька, и мы, бросив старшину, прихватив по пути Мишу, горько и безутешно плачущего в углу, за пирамидой с деревянными макетами винтовок, ринулись во двор, где такие же, обалдевшие от радости люди бегали, кричали, обнимались, целовались и хотели, но не могли придумать, что бы еще сделать такое, чтоб высказать, выразить, выреветь то, что разрывало сердце, переполняло грудь, плескалось волнами, пластало людей долгожданной радостью, долгожданным счастьем.

Пока шумел, кричал и волновался народ, наступило утро, рассвело, но никак и никого не могли собрать на построение и на завтрак. Шли кто как, кто когда, но в унылой столовке, за унылыми длинными столами, сколоченными из двух неоструганных плах, с дощатыми и тоже неоструганными сиденьями, за половником жидкого картофельного пюре, проткнутого в середине — для масла, которое отчего-то везде и всюду забывали плеснуть или плескали столько, что его и не видно было, или вместо масла пенился белый харчок, победное, праздничное настрое-

ние поутихло. Попили жидкого, жестяными тазами отдающего чая, съели хлеб со щепоткой сахара и попробовали снова выплеснуться в праздничный, заказарменный мир, но ворота и все выходы из расположения полка снова были заперты, удвоены возле них караулы, и только ползающие по крышам казарм солдаты, устанавливающие наверху красные флаги и свеженаписанные плакаты, да громко ревели у танкистов-соседей динамик — и напоминали, что ничего нам не приснилось, Победа на самом деле пришла!

Сразу же после завтрака меня пригласили к дежурному по части и без лишних слов препроводили на гауптвахту «за нарушение уставного порядка и оскорбление старшего по званию».

— Вы мене ще помянете! Ще помянете! — грозил мне пальцем Гайворенко-Пивоваренко. — Пр-рыкончим! Поки вы мэнэ прикончите, я вас сгнюю у арестанской комори.

Гауптвахта располагалась рядом с прачечной. В подвальном помещении с низким потолком было сыро и полутемно. Нары почти касались каменного пола, скрывшегося под многодавним, притоптанным слоем грязи; продолговатое окно было так мутно и так грязно, что сколь я его ни тер, видимости не добавилось. Тогда я оторвал доску от нар и вышиб стекло — до меня донесло музыку, говор, смех, и, вытащив осколки стекла из квадратика рамы, я глядел на мимоидущие ноги, на вниз опускающуюся, запруженную народом и красными флагами и цветами улицу. По случаю праздника гауптвахта была пуста, сделалась для меня одиночкой. Я заплакал, лежа на нарах, потом поспал, потом проснулся с чувством необлегченной обиды и заставил себя вспомнить о том, где и как я встретил начало войны?

Я снова заплакал и снова уснул.

Вдруг засов загремел, как в кинокартине, где возмущенный и разъяренный пролетариат освобождает любимых большевиков, как в кино же, лязгнуло железо, распахнулась дверь, и, как в патриотическом кино же, яростный раздался возглас революционного моряка:

— Выходи!

В дверях стоял всамделишный пьяный и взбешенный моряк — Женька, сжимающий в кулаке гранату-лимонку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась замком. За ним маячил еще кто-то и еще кто-то.

В отдалении, за спинами бойцов ныл постовой:

— Ну мне ж попадет, ребята! Ну зачем же вы замок сорвали? Ну, меня ж посадят...

Женька никого не слушал и никому не подчинялся. Он презрительно бросил замок в угол подвала, приблизился ко мне, вынул из-за пазухи недопитую бутылку, выковырял из одного кармана мятую кружку, из другого луковицу, еще похлопал себя по всем карманам и более ничего не нашел. Он налил мне полкружки зелья и сказал:

— Для начала маленько, а то худо будет, — и возгласил, мотая бутылкой перед столпившимся в дверях народом. — За Великую Победу! За нашу славную Победу! Ура-а! — и припал к горлу бутылки, глотнул и сунул ее в народ. А я тяпнул из кружки жидкой, противной жидкости и задохнулся, прижав ко рту рукав гимнастерки.

— Эй, ты, попка! Отдай человеку обмотки и ремень! — скомандовал постовому Жорка.

— Да оне же у старшины. Мне же попадет! Вы чё делаете, бляди!? Это ж нападение... Трибунал же мне и вам.

— Молчи! Выпей и заткнись! Дайте ему выпить! Ярик, у тебя чё-нибудь осталось?

— В мэни трошки е! — высунулся из толпы Миша из Грицева, к моему удивлению маленько выпивший и все еще плачущий. Он отдал Жорке чуть початую бутылку чистой водки. — Хороныв. До свитлого дня хороныв. Вид хлопщив прятав. Я на часы еи вымэняв. — И, заливаясь слезами, продолжал. — Я ж просыв. Просыв того часового: «Пусты мэне до Выти, пусты мэне до Выти. Мы умисти посыдымо. Мабуть, выпьм, дэнь-то який!». А вин: «Нэма ключа, нэма ключа...»

Женька завез по плечу Мише:

— Все мы контуженные — люди союзные. Выпей, Витек, выпей еще! Ты ж ее, эту Победу, выстрадал! Они по три раза ранены, да? Старшина... — и вдруг взвился. — Пойдем! Пойдем кончать эту паду!

Меня быстро разобрало, и мы ворвались в каптерку старшины. Женька снова с замком в кулаке, я с бутылкой. Каптерку мы заперли на задвижку, оставив за дверьми толпу любопытных.

— Та хлопцы! Та шо вы? Та яж як лучче хотив... служба ж... — лепетал старшина, вжавшись в угол каптерки.

— Ладно! — сказал Женька и побрякал замком по лбу старшины. — Не будем такой день мы губить и поганить.

Но мы тебя все равно кончим! — и сделал многозначительную паузу. — Так кончим, что ни одна собака следов не найдет! Понял?!

Старшина, слабея ногами, садился на топчан, ничего не отвечал.

— Понял, спрашиваю?

— Поняв, хлопцы, поняв! — лепетал старшина и показывал в изнеможении на тумбочку. — Там, там...

На тумбочке в пузырьке была валерьянка. Женька презрительно оттолкнул ее, вылил из моей поллитровки остатки водки и сунул кружку старшине:

— Вот что тебе сегодня надо пить. Пей! За Победу, которую мы раздобыли, и для тебя! Пей! И дело разумею!..

Старшина покорно выпил водку и в ту же кружку накапал валерьянки и, ее выпив, сипло сказал, прослезившись:

— Спасибо, хлопцы! Ох и трудно ж з вами, ох трудно!..

После обеда, среди двора собрался народ и построен был поротно, вынесено было знамя полка, явились разряженные офицеры, и начался митинг, вялый, с казенными речами и патриотическими призывами, — хвастаться-то конвойному полку особо нечем, а без хвастовства и бахвальства какой у нас может быть митинг, какое собрание, но для выкриков, лозунгов и битья себя в грудь, конечно, наскреблось кое-что в истории и этого полка и в головах его храбрых офицеров. Главное было орать здравицу Сталину и при этом желательно прослезиться, тогда и у нас, у всех, у рядовых, недобитых, закладывало в груди и нутро окутывало горячим паром. Такие уж мы люди русские, чувствительные люди, от веку слезой расслабленные, — перебьем друг друга и досыта наплачемся, обнаружив, что зря впопыхах перебили друг дружку.

Тут, на митинге в честь Дня Победы в городе Ровно я услышал цифру наших потерь на войне — двадцать шесть миллионов человек. Но потом все «уточнилось» и цифра была округлена. Да и что нам, такой огромной стране, какие-то шесть миллионов! В стране, где людей называли винтиками и гордились свежестью этого технического термина. Где при невинной акции — создании коллективного труда в сельском хозяйстве, смели с земли, сжили со свету беспощадно карающей рукой новых хозяев земли русской, тучи народа, где под видом борьбы за чистоту

рядов партии и нового сообщества истребили и самоистребились десятки миллионов «врагов народа» и столько же охраняло и истребляло их, таким вот «ловким» способом, спасая свои шкуры от борьбы с истинным врагом, которого пришлось добивать мальчишкам и не по разу раненым доходягам, коих даже с большой натяжкой уж невозможно было назвать бойцами. И все же на фронте был «катастрофический недокомплект», как говорит один честный герой в честной книге Богомолова, и нам приходилось работать за десятерых, тащить фронт на плечах и вернуться домой надорванными до того, что многие, переступив порог мирного дома, тут же и примерли. Их тоже полагалось бы причислить к потерям на войне, хотя, и те потери, которые мы понесли только на фронте, оказались невосполнимы, в русской нации осталась такая брешь, которая никогда уже русскими людьми не восполнится, нации нашей, молодой и доверчивой, не суждено вернуться с прошлой войны, а то, во что она превратилась, — нацией уже назвать нельзя, это ассимилированный сброд, не осознающий себя и своей земли, не имеющий устоев и своей культуры, сброд, из которого, может, через века что-то и получится, но дано ли ему будет перевалить хотя бы через ближний рубеж — двадцатый век, в который народ наш так и не узнает правды о войне и ее истинных потерях.

В гнусной книжонке, написанной для «закрытого пользования» о Солженицыне, какой-то чех или мадьяр все время называет цифру — двадцать семь миллионов, и «закрыто» пользующиеся книгой, «закрытые люди» ни одной скобкой не опровергли эту цифру. Сам Солженицын исчисляет количество потерь наших в сорок семь миллионов. Чванливый, так и не сдавшийся в плен фельдмаршал фон Маннштейн в книге «Утраченные победы» сообщает, что только к концу сорок третьего года от войны и голода мы потеряли тридцать миллионов. Разумеется, фон Маннштейн и не знал, как и мы тоже не знали, что в тылу у нас сытые и озверелые псы-костоглоты ежечасно и ежедневно гробили сотни тысяч людей, необходимых фронту и нашему хозяйству, и били нас с тыла так ощутимо и верно, как, может быть, наши доблестные партизаны не били фашистов-чужеземцев в военном тылу.

И, наконец, еще одна прелюбопытнейшая деталь — почти через сорок лет после Победы, действительно выстраданной, великой кровью и слезами народа нашего, за-

вершился многолетний, пристально отредактированный «труд» под названием «История Великой Отечественной войны». Ну, к благородному слову «история» это словесное «варево» и бумажная «стряпня» наших придворных генералов имеет мало отношения, но вот в завершающем томе «истории» появилась коротенькая, однако очень любопытная и интригующая добавка: наши потери на войне оказываются: «свыше двадцати миллионов». Можно себе представить, сколько «мужества», гибкости ума, крючкотворства, изворотливости было проявлено, чтоб «протащить» в сей исторический «труд» это коротенькое слово, дающее полную свободу читателю думать как угодно, вести арифметику войны на свой лад. Но к счастью или к сожалению — не знаю, как и думать, «историю» мало кто читает, доверяют ей лишь школьники да выжившие из ума старики.

1991

СМЕНА ГЛАЗА

Из романа «Прокляты и убиты»

К весне Лешка несколько оправился от контузии, голова его перестала трястись, хотя в ней и остался звон на всю жизнь. Он начал отличать на вкус соленое, горькое и сладкое, восстановилось полностью зрение в левом глазу, вместо правого ему обещали подобрать стеклянный, приходил уже в палату протезист с ящичком, сморщенный, в бараньих кудерках еврей. Врач-протезист был, как и полагалось человеку, имеющему дело со страждущими калеками, философом-утешителем.

В ватных гнездышках ящика, принесенного им, мерцало множество глаз разного калибра и цвета. И неторопливо подбирая один из них, отходя на расстояние, прищуриваясь, затем выгребая из глазницы непривычно холодную стекляшку, словоохотливый утешитель этот сделал заключение, что второе око молодого человека лишь на первый взгляд кажется стандартным. При ближайшем же рассмотрении он труден для усвоения и подбора так же, как еврейский глаз. Похожий глаз едва ли удастся сотворить — очень уж он дымчат, затаен. Глубокая мно-

говековая печаль и тоска о чем-то угадываются в живом глазу молодого человека, очевидно, было много страдавших на своем веку предков, а печаль дано передавать лишь живому глазу, впрочем, и чувства тоже — лишь живой душе...

— Видимость глаза, чувств, любви, как эту вот стекляшку, подделать можно — этому люди научились. Научиться бы им еще разум во зло не обращать...

Лешка терпеливо переносил примерку и в разговор с протезистом не вступал, а тот, как видно, и не нуждался в собеседнике, он говорил сам с собою и со всем человечеством одновременно.

Перед самым отъездом домой Лешка получил письмо из своей части, писанное ко Дню Победы, и в тот же день привезли партию раненых — последнюю, как было объявлено. А уж когда прибывает новая партия раненых, разговоров всяческих бывает на месяц. Одного раненого Лешка узнал, он был из полка Петухова. Он-то и рассказал ему о «корешке» Шорохове, которого Лешка не хотел вспоминать, изгонял из памяти и все же в глубине сознавал — это зачтено ему навеки, несмываемо, неистребимо. Шорохов, как и следовало предположить, за границей попался на грязном и жестоком деле...

Ранней весною, первым северным заездом Лешка отбыл из Тюмени в родные и незабвенные Шурышкары, где и высадился благополучно через неделю с баржи-самоходки. И хотя он не давал никакой телеграммы, на берег высыпало все население Шурышкар, как это бывало прежними веснами, когда приходили первые суда, и, конечно же, на берегу оказалась мать, сестренки, уж совсем большие, и мать вдруг задохнулась дымом, выронила трубку и стала рукою тыкать в сторону сходящего по трапу с рюкзакишжом на плече Лешки. Рот ее дергался, а звук никакой из горла не шел. Потом мать, будто выбив из себя пробку, вскрикнула коротко и осела на камни. Ничего не понимающие девчонки-сестренки в страхе взвизгнули и по-хантыйски закрылись платками.

Лешка, еще не привыкший к уродству своему и думающий, что мать испугалась его изуродованного лица и все люди на берегу только тем и заняты, что разглядывают его и ужасаются, стал поднимать с камней Антонину, смущенно говоря:

— Ну, мама!.. Ну, что ты?.. Ну, мама...

Девочки, прижавшись одна к другой, смотрели из-под

стареньких, брусничного цвета платков черными, маслянисто поблескивающими глазами, а мать схватила Лешку, прижалась к нему, целуя куда-то в шею, в ухо, в глаз, и до Лешки дошел устойчивый запах каленого ореха — от материнской трубки всегда почему-то пахло не табаком, а кедровыми орехами, и еще хвоей от нее пахло, и дымом очага — никто на свете не пахнул так, как его, Лешкина, мать, северянка, сумевшая в облике своем и плоти сохранить древнюю совесть своего народа, первозданную сердечную чистоту его, а вот горевать смертельно — это у нее от русских.

— Ах ты, мамка, мамка! Ах ты, мамка! Вот и вернулся я! — наговаривал Лешка, тоже прижимаясь к матери. — Кому я теперь нужен? — ровно бы раскаиваясь в чем-то, пытался покаяться он. — Только тебе и нужен. А это что ж, Верушка-вострушка и Зоя-сорочена, да? — повернулся он к сестренкам, чтобы хоть как-то отвлечься и не уронить слезы из живого глаза. Наклонившись, он притиснул к себе сестренку, а они, дичась, вырывались из его единственной руки и все плотнее жались друг к дружке.

Глядя на Шестаковых, смаргивали слезы и утирались рукавами другие женщины на берегу, радовались за Антонину — счастье-то какое! Сыночка дождалась!

Узнав на проходящих судах все новости, и о Лешке узнав, Герка-горный бедняк тут же бросил плашкоутишко на попечение помощника возле глухого хантыйского станка и упорно скребся встреч течению на лодке, окровенил ладони лопашнями, но на третий день раздался стук деревяшки на крыльце и бодрый голос:

— А ну, где тут сынуля?! Где герой сражений?

Лешка снялся с места, поспешил из дому, но, опередив его, уже летела впереди мать и, едва не сшибив Герку-горного бедняка, поднимающегося в дом на деревяшке и через плечо несущего коротыша-осетришку, повисла на нем.

— Ну, ну, ма-ать! — похлопывая ее по запавшей меж лопаток кофте и одновременно через плечо разглядывая Лешку, ворковал Горный бедняк. — Дай ты мне Леху-то обнять, слышишь! Ну, ма-ать!..

Антонина выпустила дорогого мужа. Он бросил на крыльцо хрустнувшего плащами осетра, вытер руки о штаны и шагнул к Лешке.

— Ах ты, Леха-Алексей! Ну, здорово! С прибытием! — окинул его взглядом, нахмурился. — Эк они тебя, подде-

цы!.. — губы его покривило. Он стиснул Лешку, уколол небритым лицом, а когда оторвался, начал утирать мокрые глаза сведенной от весла рукою.

Из левого глаза Лешки тоже вдруг возникла слеза и бежала муравьем по лицу.

— Вот и встретились! — часто моргая, стараясь улыбнуться Горному бедняку и плохо видя его захлестнутым глазом, лепетал Лешка. — На фронте-то не вышло...

Мать истопила баню, и пока мужики хлестались там вениками, хотя хлестался опять же один, старший мужчина, у Лешки от жары кружилась голова, стекляшкой жгло глазницу. Тогда он выдал стекляшку, закатил ее на подоконнике в выбоинку от сучка и ему сделалось легче.

— Слушай! — не зная, как назвать этого одноногого, уже седеющего человека, мужество и мудрость которого как бы теперь только и выявились на огрубелом, глубокими морщинами тронутом лице. — Слушай! — так и не решившись назвать его Геркой, сказал Лешка. — Это ведь я тебя не узнавши переплавил с плацдарма!..

Они поскорее домыслились и поспешили сообщить такую потрясающую новость Антонине. На столе их ждала жаренная крупными кусками осетрина, две утки, застреленные Геркой-горным бедняком попутно на Оби, высывались сучками косточек из кастрюли, и известково белела бутылка разведенного спирта.

— Вот, мужики, ешьте, пейте! — позвала мать. — Вы теперь дома! Я счастливая самая на свете! — и, застыдившись такого признания, вдруг прикрылась по-хантыйски платком, лишь глаза ее светились непобедимой радостью. Но, узнав новость, какую принесли ей мужики, она посерьезнела и глубоко вздохнув, произнесла: — Это судьба вам, мужики, такая вышла, быть вместе, друг дружке помогать...

Отчим с пасынком чокнулись, а затем разом ударили стаканами в граненую рюмку матери, улыбнулись ей, Герка-горный бедняк подморгнул еще — и мать выпила, потыкала вилкой в сковороду и тут же, уставившись в окно, заморгала часто, начиная искать трубку под фартуком.

— Ну, ма-ам! — воззвал к ней Лешка и показал глазом на сестренку, которые вместе с мужиками сидели за столом, бойко таскали осетрину ложками из сковороды, а тут сразу ложки отложили, потянули платки на проворные рты свои, заморгали узенькими глазками.

— Нисе, нисе, парни, я сисяс! — схваченным горлом

проскрипела мать, находясь где-то все еще в отдалении от них в своей растревоженной памяти, потому-то и забылась, «засыкав», как в детстве. Она и в самом деле скоро преодолела себя, еще выпила и, ослабевшую от тяжелой работы, недостатков хлеба ее быстро разобрало, и она утратила свою природную скованность, широко и простоудушно улыбалась, тискала то Герку-горного бедняка, то Лешку и сказала, вдруг прижав его голову к груди: — Лешка! Лешка! Уходил на войну парнишонкой — мужиком вернулся и как отец угрюмый стал.

«За восемь дней на плацдарме прожил я, мама, молодость и веселость там оставил», — произнес про себя Лешка, а вслух сказал, дотронувшись до ее головы:

— Ничего, мама, все до смерти заживет! Наладится!..

И мать, что-то понимая, закивала головой, так, мол, так, дай Бог. А Лешка в который уже раз видел себя ползущим меж оврагами и даже слышал оторванной рукой царапающие стыки проводов, и опять на него навалилось ощущение безнадежности, усталости. Вспомнились вдруг снова последние мгновения на плацдарме, последнее отчаяние. Это он-то и смерти боится! Все равно подохнет! Все равно не уйдет ведь отсюда! — сердце вещун точный. Как ни цепляйся за жизненку эту, денек-другой еще пожить хочется, со штанами в беремя подристать в овраг побегать, перед этим ублюдкой Шороховым подхалимствовать...

Нет, нет, нет!..

Лешка встал тогда и пошел в полный рост, неторопливо пошел, презирая себя, немцев, смерть. Минометчики покойного обер-лейтенанта Болова, у которых к той поре осталось четыре трубы на роту, свирепствовали в тот день оттого, что им обещана была отправка в тыл на переформировку и отдых. Но все вдруг отменилось. Приказано управленцам ехать за минометами и пополнением, но расчетам с позиций не сниматься. Заметив какого-то наглого или с ума спятившего русского Ивана, минометчики обер-лейтенанта, не жалея мин, сразу из четырех закоптелых труб рубанули по нему, и даже не поглядели, что от Ивана осталось — надоели им эти иваны, война, Днепр — все надоело.

Когда хряснула первая мина, сработал инстинкт. Этот самый инстинкт, который был сильнее Лешки, и толкнул его в спину, к оврагу. Он не бежал, он летел к отростку оврага и почти достиг его, как вдруг впереди вспух раз-

рыв, звука которого Лешка уже не услышал. Он взял Лешку и понес. Выше, выше, выше!.. В легкой беззвучной высоте сердце Лешки разомкнулось на мгновение, высвободило в нем крик: «Ма-а-а-а-ама-а-а!»

Пронзительным детским голосом позвал он мать и, не дождавшись ответа, рухнул из поднебесья вниз, все держась за провод, будто за жилу, еще связывающую его с жизнью...

Удара о комковатое дно оврага он уже не слышал...

1987

ВСТРЕЧА

Из романа «Прокляты и убиты»

Ничего, никаких посылок никуда и никогда не отправлял Щусь, последнее время и писать бросил, чего, говорит, писать, сам скоро явлюсь в Вершки, больше-то некуда ехать. «Осиповцы» — осталось их четверо, посоветались, явились к майору, давай, говорят, денег, мы сами посылку снарядим твоей семье:

— Посылку? Зачем?

— Да обносились же там, обтерхались.

— А-а, конечно, конечно.

— Чего купить и отправить-то, товарищ майор?

— Купить? Купить? Надуваловка! На честь и совесть давите, а сами немцев ограбите или украдете чего...

— Да вы, что, товарищ майор?!

— Да ничего! Я с вами наслужился и навоевался.

— Квитки принесем. Чего купить-то?

— А я откуда знаю.

— Валерия Мефодьевна кофты, юбку носит. Полотна купим.

— Покупайте, мне-то что?

— А ребятишки, мальчик же и девочка у тебя.

— Ага, мальчик и девочка.

— Возраст-то какой?

— Возраст? Малы еще.

— Ладно, товарищ майор, с тобой каши не сварить, мы сами сообразим, что посылать.

— Соображайте, коли осталось, чем соображать.

И снова Щусь спал и пил, пока не пришла пора ехать,

все обнимаются, целуются, плачут, он вдалеке стоит, в пустоту смотрит, на боку полевая сумка, в ней скомканное полотенце белеет, ручка от бритвы иль пробка флакона с одеколоном любимым высовывается. — Алексей, я тебе чемоданчик собрал, — как глухому орет Барышников.

— Зачем?..

— Повредился войной майор, — качая головой, говорили солдаты, и такой вот поврежденный он и явился в Вершки, Домна Михайловна вскрикнула, увидев его в окно, Валерия Мефодьевна на крыльцо выскочила: «Что ж ты без предупреждения, встретили бы», — хотела крикнуть, а он и шагу не прибавил, идет, новый чемодан волочит, поднял голову, узнал вроде бы, виновато и жалко улыбнулся, не бросая чемодана, приобнял ее, в доме Домну Михайловну в щеку чмокнул, на ребятишек посмотрел, кивнул на чемодан: «Подарки там...»

Вот этого она ждала и боялась. Отчуждение от всех и от всего началось у него еще в ту пору, когда он маялся на побывке в Вершках после госпиталя. «Стелить-то вместе?» — хотела пошутить Валерия Мефодьевна уже ночью, когда отгуляли встречу, и брат Валерии Мефодьевны все приставал: «Алексей, расскажи, чё там было на войне-то?» «Кровь и смерть, чего ж тут интересного?»

Утихли в доме, уснули ребятишки, подошел к кровати, посмотрел на сына и вроде бы вспоминал напряженно, кто этот мальчик, откуда и как его зовут, возле дивана, перед Аленкой встал на колени, дотронулся до светлых ее пушистых волосиков, тихо сказал: «Тогда, в Осипово, совсем маленькая была, а сейчас уж девочка...» Долго не ложился, не раздеваясь, сидел в ее ногах, все ниже и ниже склоняя голову. «Зачем я тебе? — медленно и тихо произнес. — На мне столько крови, столько грязи, я сам себе противен и никого мне не надо, и никому я не нужен...» «Нужен! — жестко сказала она. — Мне нужен, детям своим, у тебя ведь дети есть. Вспомни!..» «Да, да! Дети! — долго молчал, долго клонил голову и вникуда сказал: — Зачем, почему поубивало друзей. Так много людей хотело жить, а я не хотел...»

Она резко взнялась с постели, накинула халат, крутнула на затылке волосы и пошла в куть, чем-то гремела, чего-то искала. «Мама, где водка?» «Да зачем те водка в таку пору?..» Пришла, со стуком поставила бутылку на свой и отца письменный стол, сердито налила и подала

ему полный стакан. «Не могу! — покрутил он головой. — Не хочу.» «Пей! — Валерия Мефодьевна и себе налила полный стакан, рубанула им в стакан Алексея и долго, трудно, с отвращением тянула зелье из стакана, потом задохнувшаяся сидела, зажав ладонью рот, и настойчиво ждала, когда выпьет он.

Деваться было некуда, он махом выплеснул в себя водку, взял с тарелки жопку от соленого огурца, вспомнил о жене и дал ей рыльце огурца.

В ту ночь они напились до бесчувствия, обнявшись, плакали в голос, что волки в лесу выли, путнули Домну Михайловну, заглянувшую к ним, потом Валерию Мефодьевну начало рвать, и не рвало, выворачивало ее. Ослабевшая, мокрая, дрожащая, она уснула на диване рядом с Алексеем.

Когда проснулась, долго ждала чего-то. Алексей проснулся, нашел ее глазами и опять по-щенячьи виновато улыбнулся. «Вот ждала, ждала мужика, — с усмешкой заговорила Валерия Мефодьевна, — а он и не вспомнил о бабе». «Всему свой час», — как говорил Васконян, еще в здешнем месте, где вот он сейчас?» — подумал Щусь и с усмешкой посмотрел на небо.

1987

ПРОЩАНИЕ С ОТЧИМОМ

Из романа «Прокляты и убиты»

Быть семье вместе так почти и не довелось. Геркагорный бедняк все больше и больше втягивался в пьянку; сдавал здоровьем и до того дошел, что начал блевать кровью. Мать, забрав на лето девчонок, отправилась с мужем работать на плашкоут, чтобы по возможности остерегать его от пагубной страсти, но кончилось это тем, что, вернувшись осенью домой, мать начала снова ковырять и грызть печину, есть протухлую рыбу и клюкву без сахара, а к весне принесла еще одну девчонку, снова белобрысую, но на этот раз и сероглазую, и хотя назвала ее Соней, мать кликала ее не иначе, как Сероглазкой, да и начала с самых пеленок выделять ее и баловать.

Осенью того же года Герку, едва живого, сняли с плашкоута на санитарный катер и, не заворачивая домой, свезли

в Салехард — Обдорск бывший, в хирургическое отделение, чтобы сделать операцию язвы желудка.

Лешка, поступивший работать на старое место, в узел местной связи, но уже не просто телефонистом, а на должность техника, отпросился со службы и с обстановочным катером отбыл в Салехард, навестить отчима.

Операцию Герке-горному бедняку делать не решались, у него не только желудок болел, но и все нутро оказалось сожженным и прожженным: печень, почки, сердце и вдобавок ко всему обнаружился еще и ревматизм. «Деревяшку и ту стержову судорогой сводит», — шутил Герка-горный бедняк и, совершенно не веря в какое-либо выздоровление, просил Лешку:

— Найди ты мне коньяку «восемь звездочек». Понимаешь, вот мы с полковником Бескапустиним не раз говорили, как отвоюемся, достанем самолучшего коньяку и надеремся же!.. А самолучший, говорят, «восемь звездочек». Найди, Леха, а? А то я пил всякую дрянь, напиток на букву «Ш» больше, шпирт называется..

— Папа шутит! — хмыкнул Лешка в ответ. — Папа, как Билли Бонс, даже при последнем вздохе орет: — Рому!..

Но коньяку он все же достал — каприз больного, что сделаешь?! Да и не обременял особо Герка-горный бедняк просьбами своего сынулю ни прежде, ни теперь. Правда, «восемь звездочек» коньяка в Салехарде не оказалось, и знатоки даже сомнение высказали: «Уж больно много звездочек! Едва ли такой бывает...»

Герка-горный бедняк подержал бутылку в руке, болтул, посмотрел на свет и выпил сразу полный стакан. Выпил, лег и стал вслушиваться в себя. На впалых, сиреневых щеках начал проступать свекольно-яркий румянец, за щеками и возле ушей было бело, и глаза этого, через силу бодрящегося, вечного затейника, подернулись синеватой дымкой.

— Разбирает! — удовлетворенно отметил он. — Много удовольствий в жизни у меня было, радостно я жил. Вот и коньячку самолучшего отведал! Жалко — без полковника... Ни о чем не жалею, никого не кляню и, как говорится, всем прощаю, кроме суки-Гитлера. — Он подумал, вылил остатки коньяка в стакан, выпил и заявил: — Я скоро запьянею совсем, ослабел все же... Одна бутылка валит.. Так ты не дожидайся. Некрасивый я пьяный стал... А пью я, Леха, сейчас еще и для того, чтоб тормоза

отпустились, и все тебе сказать чтобы. — Он сунул руку под подушку, вынул общую тетрадь в коленкоровом переплете. На тетради была наклеена четвертушка бумаги, изображена чернилами летящая вдаль чайка, и ниже широко выведено: «Рукописи».

— Это ты потом, на досуге... — сунул он Лешке тетрадь и отвел глаза. — Мысли тут кой-какие, стишки.. Ладно, не об этом я. Мать, девчонок не бросай, Леха! Прошу я тебя — не бросай! Ну, уходи. Плохо мне сейчас сделается. Орать буду... Лапу давай! Уходи!..

«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора, весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера», — прекрасными словами сказал когда-то русский поэт о дивных днях российского предосенья. Но если б довелось ему побывать в Салехарде, в ту пору называвшемся Обдорском, он бы еще лучше, пожалуй, написал.

Наконец-то наступили дни, когда человек может жить по-человечески: пришибло первым морозцем мошку и комара, наступили ночи, и есть настоящий вечер с зарею, да какой зарею! Широкой, полукружной, на восточном краю неба обожженные занимающейся в горах стужей висят облака. Пыхает, докуда хватает глаза, тундра, и нет уж вроде бы земли вокруг, горячим металлом бесшумно и бездымно клокочущим облита равнина. Воздух вольный и прохладный, дышится пока полной грудью — а это так хорошо в краю, где ветром и стужею выдувает кислород, и грудь рвет кашлем. Меж досок дощатых тротуаров, на уличном кочкарнике и полудиком местном стадионе едва желтеют подмороженные цветы одуванчиков, которым так и не хватило лета, чтобы обзавестись пуховой головкой. По улицам, переулкам и все по тому же стадиону, на футбольных воротах которого висят изодранные невода с неснятым грузом и поплавками, как в Индии, бродят коровы, никогда не подающие голоса, почти без молока. С Оби, из-под угорья отчетливо слышны стуки причаливающих катеров, звон железа, урчание кранов и визг чаек, встревоженных предчувствием дальнего полета.

Вот в эту-то пору, отработавший, отвоевавший и отгулявший, «уходил к Панкину» Герка-горный бедняк. Панкин был первым сторожем салехардского кладбища, обнесенного глухим дощатым забором и колючей проволокой, — будто кто ползет сюда по доброй воле! После Панкина охраняют это кладбище толстые баба с мужи-

ком — люди горластые, напористые, читающие все к ряду. Он выписывает журнал «Крокодил», «Агитатор» и газету «Труд». Она — «Службу быта», «Смену», и «Салехардскую правду».

Мать на похороны приехать не смогла, свалилась замертво. Лешка думал, что одному доведется провожать отчима на невеселое, перенаселенное салехардское кладбище, заваленное старой колючей проволокой и тлеющими венками. Но из косых переулков, из домов и бараков выбегали люди, спрашивали — кого хоронят? И, одетые наспех, не по-осеннему легко, уже не отставали до самой могилы от домовины, помещенной в осклизлый от рыбы кузов рыбкомбинатовского грузовика. На грузовике этом работал какой-то давний друг Герки-горного бедняка и, привыкший лихо шуровать по северным кочкам и ухабам, он изо всей силы сдерживался, чтобы не газануть, не закурить и заранее не напиться. Какая-то девка с комсомольским значком на взбодренной груди несла через плечо больничное полотенце, к которому приколоты были боевые ордена и медали комроты. Много их было, застиранное полотенце сияло золотом и медью.

За городом ехали по следу вездехода. Гусеницами вездехода до искрящейся мерзлоты содрало кожу земли, но яркий лист карликовой березы и жидкого рябинника да красная брусника так усыпали эти колеи, что казалось, расстелил кто-то перед боевым военруком и командиром роты две кумачовые полосы и не в «гробкомбинатовской», то есть промкомбинатовской неуклюжей домовине, не в вонючем грузовике, усыпанном ржавой чешуею, а руками боевых друзей поднятый, серебряными искрами усыпанный плывет Герка-горный бедняк к еще не остывшему с войны небу, встречу рыжим от тундры, похожим на клубящийся дым разрывов, туманам, поднимающимся от холодных впадин и озер. И грянет сейчас музыка, оркестры грянут, зарыдают трубы, склонят головы друзья-солдаты в измятых погонах и тусклых от земли медалях и орденах. И, уткнувшись пухлым лицом в фуражку, заплачет о любимом командире роты комполка товарищ Бескапустин Авдей Кондратьевич...

Когда Лешка поднял голову, никого и ничего уже вокруг не было. Перед ним рыжел комковатый холмик с дощатой пирамидкой, окрашенной в ядовито-зеленый цвет. Туман уже набрел на кладбище и замер средь крестов и пирамидок. Было глухо, пространственно вокруг, ровно как на другой планете, объятай беззвучием и сыростью.

Лешка передернул плечами, почувствовал, как промерз, натянул кепку, дотронулся рукой до шершавой пирамидки и поспешил к домам, крыши которых волгло чернели над медленно вползающими в город туманами.

1972

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Из романа «Прокляты и убиты»

А жизнь катила дальше уже без Герки-горного бедняка. Мать быстро старилась, кашлять начала, как и многие ханты, она была слаба грудью, сделалась молчаливая и легкая перед дальней дорогой. Девочки росли, две из них уже заканчивали школу, и хотя в Шурышкарах была одна девушка-дамочка, заведующая райбиблиотекой, которая уверяла Лешку, что лицо его совсем не безобразно и даже наоборот — мужественное, что стыдиться ранений, полученных при защите Родины, просто позор, он все же дотянул двух сестренок до самостоятельной жизни, а третью, лицом и повадками — вылитый папа, вконец избалованную матерью, закрепил при себе и только после этого сделал предложение терпеливо дожидавшейся своей участи завбиблиотекой.

Ныне он ведает районным узлом связи, избран депутатом райсовета и вообще на хорошем счету и в почете всеобщем и уважении проживает, но отчего-то не проходит печаль его и горесть, приобретенные на фронте, и так все послевоенные годы тащится и тащится нить воспоминаний за ним и никак не обрывается, и горькое недоумение всегда охватывает его, когда он читает или слышит хвастливые воспоминания о войне людей, которые или забыли, как там все это было, или были на какой-то другой войне...

Возвращался однажды из Крыма с курорта Шестаков, остановился в Киеве, по справке адресного бюро отыскал отставного генерала Сыроватко, объяснил, кто он и что ему надо, на машине Сыроватко, древнем, заезженном «ЗИМе» они поехали туда, где воевали, за Днепр.

Берега, где кипела переправа, были затоплены. Над ними ходили густо-зеленые волны. От воды воняло и за десять еще верст слышна была эта вонь. С подмытых бе-

регов сползали старые хатки, а стены и скаты крыш новых хат с речной стороны были оплесканы зеленой плесенью, и эти хаты тоже казались старыми и сирыми. Деревца в садах, тыны в огородах, даже будылья подсолнухов и плети помидор, и сами помидоры на огородах были в плесенном глене...

На водохранилище не было ни лодок, ни людей, даже чайки не кружились. Только хлестали и хлестали в берег густые от цвета и слизи, тяжелые волны, и отчетливо виделся на зеленых волнах, без дыма и звука, словно убегавший от кого-то, белый одинокий катерок.

Берега старого деда-Днепра были куда как приветливей и краше, хотя и видел их Лешка в лихую пору.

Посетили они и мемориал, построенный в Старо-Петривцах возле сохраненного командного пункта командующего фронтом и армией в честь освобождения Киева и битвы за Днепр.

Много дивизий, и та, в которой довелось Шестакову воевать, поименованы золотыми буквами на стенах мемориала.

Сердце дрогнуло и сжалось, когда он увидел среди героев битвы за Днепр портрет майора Зарубина. Лешка пожалел, что не надел своего ордена «Славы», оставил его дома. Зарубина Александра Васильевича в живых уже не было. После войны он работал преподавателем в артиллерийской академии, в пятьдесят шестом году неожиданно вышел в отставку и скоро умер от старой болезни сердца.

Побывали на могиле полковника Славутича, перенесенной сюда по настоянию Сыроватко. Положили цветы и жестяной веночек на старый, стриженной травой покрытый холмик, и Лешка подумал, что могилы Васконяна, Мансурова поди-ка остались под водой, и нет их в списках героев битвы за Днепр, как нет и тех, что поднимались со дна Днепра,плыли безглазые, безгласные вниз по реке; «за могилой и крестом», и мыльная пена пузырилась вокруг них. Да и не занесешь всех, убитых на войне, в списки. Это была бы неслыханно толстая книга, и жизни человеческой, наверное, не хватило б прочесть ее...

Но есть еще память Лешки Шестакова, рядового солдата в Великой войне — пылинки в великой буре, есть живая душа и раны, которые болят к непогоде и с каждым годом болят все тупее и настойчивей, и еще есть его правда, правда солдата, без которого «народ не полный», и правда его достойна уважения, как и та, которую имеют

возможность говорить громко, на всю страну и мир большие генералы. Они ведь делали одно и то же дело — генералы и солдаты — защищали одну Родину, один и тот же народ, тем более, что память и раны болят одинаково у всех людей, как у маршалов, так и у рядовых, особенно в непогожие дни.

В такие вот дни или в зимние вечера, в далеком северном поселке, домишки которого примерзли к белому берегу белой широкой Оби, бывший рядовой Великой армии, Алексей Шестаков частенько достает тетрадку в коричневом переплете, с нарисованной чернилами на обложке чайкой, поименованной «Рукописью», и всякий раз задерживается глазом на одном и том же месте, на стихотворении, помеченном сорок третьим годом:

Как незаметно годы пролетели!
Как незаметно молодость прошла!
Мои глаза, что пламенем горели,
Закрывает прогоревшая зола...
А был когда-то я веселым, стройным,
И сердце беззаботное имел.
Играл и пел, и лишним не бывал в застолье,
И женщин обездоленных жалел...
Но как же? Где же? И в каком ненастье,
Прошло мое счастье стороною?
Иль потерял его я во злочастье?
Иль смыло его встречною волной?..
Чего ищущ? Чего хожу — не знаю,
Но грудь болит, а в памяти тоска,
И мыслями я часто пролетаю
Сквозь версты, время, дали, облака...
Туда, где Север бьет снега и кружит,
Туда, где лишь весной начнется птичья звень,
Туда, где женщина одна по Герке тужит,
И ждет его, как солнце ждет, как день!..
Так что же я искал, какое счастье?
Какой любви, нездешней, неземной?
Вот, пережив военное ненастье,
Теперь я знаю — все мое со мной!
И Родина, и женщина, и дети,
И дальше Обское зимовье,
И тот далекий огонек, что неугасно светит
На тихой, горькой, на земле моей...
Так что же я ищущ? О чем тоскую?
Зачем печаль и боль меня томят,
Один в смятеньи все бреду, бреду я,
И нет покоя мне, и никогда не будет...

Не закончил стих отчим Герка-горный бедняк. При жизни некогда ему было, не выбрал он времени для обстоятельной, отеческой беседы с пасынком-солдатом. А, может, и не хотел. Может, умнее себя не старался быть?..

На соседней страничке госпитальной тетрадки цветным карандашом нарисован синий голубок с розовым конвертом в клюве, и закудрявлено: «Дорогому Гери от его симпатии Глаши» и дальше песня, пустяковенькая, как детское горе обнажается: «Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны в глыбаке..»

1972

МОЛИТВА О ХЛЕБЕ

Из романа «Прокляты и убиты»

И когда воскреснет хлебное поле, воскреснет и человек, а, воскреснув, он проклянет на веки вечные тех, кто хотел приучить его с помощью оружия, кровопролития, идейного кривляния, словесного обмана добывать хлеб. И когда нажует жница в тряпочку мякиша из свежемолотого, новонамолоченного хлеба, сунет его в живой зев ребенка, когда надавив его розовыми деснами, ребристым небушком, ребенок почувствует на языке хлебную сладость и всего его пронзит живительным соком, и каждая кровинка, косточка и жилочка наполнятся живительной силой, к человеку начнет возвращаться уважение к хлебу, а значит, к труду и к жизни, — вот тогда только считай, что кончилась война, воскрес человек, и возрадуется, только так, только на своем хлебном поле, на своем хлебе возможно воскресение, отвычка от битвы, если этого не произойдет, задичает поле земное, человеческое, выслется в грязь и кровь его семя, взойдет нерожалой травой, и от огня какой-нибудь последней всесветной войны-побоища обуглится планета Земля, угаснет на ней уса-тый колосок, умрет не произросши хлебное зерно и тогда потеряется жизнь наша в немом мироздании окончательно...

Боже Милостливый, Спаситель наш, вразуми человека, разожми его руку, стиснувшуюся в кулак, рука эта создана для приветствия и труда, как хлебное поч. сотворено им для жизни и счастья.

Вот смотри, Боже, на землю эту — сорвали вчерашних пахарей неведомые и невидимые вожди и бросили их в огонь войны, и убили это прекрасное поле, самой, конечно, «справедливой» войной. О хлебное поле, о горе горькое, как ты сейчас похоже на отчизну свою, Россию, от революционных бурь, от социалистических преобразований, от смут, братоубийств, экологических авантюр, от холостого разума самоуверенных вождей, так и не выростивших своего идейного зерна и коммунизма, — ведь ничего ж на крови и на слезах, даже коммунизма, не прорастает, всему доброму нужна чистая, любовно ухоженная земля, чистый снег, чистый дождь, да Божья молитва.

Где, кому молиться за тебя, хлебное поле? Господь отвернулся от нас, покинул эту забедованную землю. С запада горит земля, подожженная иноземными врагами, с востока пламенеет, стонет и корчится в муках от деяний своих доморощенных врагов, избивающих народ, истязующих детей, женщин, стариков ради того, чтобы их шкуры остались в целостности-сохранности.

О, поле, хлебное поле, — ты едино в своем величии, красе и в горе, ты и в Германии зеленью светишься во младости, золотом горишь во спелости. Но придет пора, она уж недалеко, запылают хлебные поля и в Германии, и знаю я, никого кроме комиссаров немецких и советских это не обрадует, потому как в рядах победителей и в смешанных толпах побежденных еще не до конца истреблено уважение ко хлебу, и первая надежда на возрождение в каждом из них связана с полем; с пашней: будет хлеб — будет жизнь.

Ничто так не постоянно, ничто так не нужно землянину, как хлебное поле. Кто, почему, зачем нарушил естественный ход природы? Зачем межа бурьяна и злобы, ненависти и бесчеловечности проросла, разъединила нас? Хлебопашцы всех земель всегда понимали и поймут друг друга, но пашенный труд — достойный разума, и труд этот освящен вечностью.

И два вождя, два авантюриста, сввергших человечество в бойню, не уважающих хлеб и труд, скоро убьют друг друга или подохнут в мерзости и одичании.

ПЬЕСЫ

•

ЧЕРЕМУХА



Драма в двух актах



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Степан Творогов.

Надя.

Алевтина Аверьяновна — мать Степана.

Иван Феклин — пасечник.

Кузьмовна.

Лиза — ее внучка.

Загорулько — начальник подсобного хозяйства.

Сафрон Корнеич — кузнец.

Михалыч.

Казаринов.

Лазарь Рафаилович.

Доктор Цинклер.

Няня.

Геннадий — корреспондент.

Митька-Истребитель.

Митрофан Хычев, по прозвищу Хыч.

Тетя Клава — повариха.

Гражданин с портфелем.

Баба с корзиной.

Женщина в справочном бюро.

Парень.

Девка.

Женщины.

Мужики.

АКТ ПЕРВЫЙ

1

Привокзальная площадка. Слева указатель: «К поездам», справа табличка: «Выход в город». Между этими табличками в глубине дверь и на ней написано: «Ресторан». На переднем плане вокзальная скамья, за скамьей будка с надписью: «Справочное бюро». В будке сидит *тетка*, закутанная в шаль, и кусает от большого батона, объявляя чего-то набитым хлебом ртом. Разобрать можно только: «Поез отправляцца!..»

Гражданин с портфелем (*подходит к будке*). Вот вы объявили: поезд отправляется. А какой поезд? Куда отправляется?..

Женщина в справочном. Ем эту я, ем! Грамотной поди-ко... (*Мотает головой на расписание поездов, висящее на стене*).

Гражданин с портфелем отходит и садится на скамью. В это время из привокзального тоннеля (можно — из боковой двери зала) по ступенькам поднимается Кузьмовна, обвешанная через плечо пестерем и мешком. В левой руке у нее авоська с яблоками, в правой — бидон. За нею с журналом «Юность» в руке вышагивает *Лиза*.

Лиза (*заботливо твердит*). Не упадите, бабушка! Ой, не упадите.

Следом за *Лизой* прет тяжелую корзину пожилая женщина, явно с базарного толчка. Женщина в справочном перестала жевать, тянет шею — заглянуть, кто чего несет?

Кузьмовна (*рыкает на гражданина с портфелем*). А ну, подвинься! (*Замертво пагает на скамью*.) Ф-фу, понеси лешой! Не ездила цельный год в этот город и еще три года не бывать бы! Ноги отвалились. (*Воззрилась на Лизу*.) Чё стоишь?

Лиза садится и немедленно углубляется в чтение журнала «Юность». В это время из тоннеля раздается хрипло и бодро: «Любимый город может спать споко-о-ойно!» — и из дыры (можно — из-за кулис) возникает на коляске *Митька-Истребитель*.

Митька-Истребитель (*поднимает приветственно руку*). Ра-а-адному и любимому нар-роду физкульт-привет!..

Кузьмовна родственно улыбается *Митьке*, лезет в пестерь. *Лиза* смотрит брезгливо и сострадательно; гражданин с портфелем — недовольно, на лице его написано: «В наше время... при нашей героической действительности такие типы...» Баба-торговка обеими руками загораживает корзину. Женщина в справочном бюро, плюнув с досадой, поскорее втыкает вилку репродуктора, и все замирают, услышав песню местного происхождения:

Опять стою я на крылечке
Весенней раннею порой.
А меня по... а меня по сердцу ударит
Осенний горький листвобой.
А меня по... а меня по сердцу ударит
Осенний горький листвобой.

Ушел он вешнею порою,
Ох, на большую на войну.
Зарыг, зако... зарыг, закопан он землею,
Оставил сына и жену.
Зарыг, зако... зарыг, закопан он землею,
Оставил сына и жену.

Пойду я спать и пожелаю,
Чтоб он во сне приснился мне.
Ах, молодым, ах, молодым ушел он в мае,
Таким пусть видится весь век.
Ах, молодым, ах, молодым ушел он в мае,
Таким пусть видится весь век.

Зачем стою я на крылечке
Весенней раннею порой?
Ведь знаю, по... ведь знаю, по сердцу ударит
Осенний горький листвобой.
Ведь знаю, по... ведь знаю, по сердцу ударит
Осенний горький листвобой...

За то время, пока исполнялась песня, на площадке появилась и пригорюнилась пожилая повариха тетя Клава, Геннадий — корреспондент местной газеты; в глубине сцены, засунув руки в карманы, стоит высокий мужчина с печальным обликом. Это Степан Творогов. Все молчат. Митька-Истребитель зажал рукой лицо. Кузьмовна сморкается, крестится, вытирает глаза. Опечалилась и баба с корзиной. Прикемаривает женщина в справочном бюро. Лишь гражданин с портфелем все так же непоколебимо и устремленно смотрит вдаль — ничто ему не может помешать видеть светлое будущее, да Лиза погружена в чтение журнала «Юность».

Митька-Истребитель (*медленно отнимая руку от лица*). Три «мессера» на одного «лавочкина»!.. И вот, приземлили, с-суки! Сижу я, орел бескрылый, перед вами и опылакиваю свою долю-участь... А не пожелаю я той доли-участи вам, гыграждане! А кыто сколько может! Кыто копеечку, кыто две... (*Почти рыдает, зажмурив глаза, но все и всех видит. Вот побежала по перрону девушка, он ее цап за плащик, да и юбку вместе с плащиком прихватил.*) Нехорошо-о! Нехорошо-о-о! (*Все туже и дальше захватывает плащик и юбку.*)

Девушка молча высвобождается.

Советские дети не потерпят воспитателей-жмотов!

Девушка поскорее бросает серебрушку в консервную банку. И, только заглянув в нее, в банку, Митька с сожалением выпускает подол девушки. В это время воспрянула женщина в справочном бюро и опять забубнила, и опять разобрать возможно только: «Поез отправляцца!..» Гражданин с портфелем поднимается и важно направляется к тоннелю.

(Загородив ему путь.) Ну, как дебет-кредет? Бьет? Он вас или вы его?

Гражданин, не удостоив Митьку ни единым словом, достает миниатюрный кошелек, копается в нем и, опустив в Митькину банку пятак, шествует куда надо.

(Заглянув в банку.) Уж не обсчитается! Выучился на бухгалтеря, харя! Итээр! (Поет.) Итээр, итээр, подтянитесь! Нно!.. Тетя Клава! Тетя Клавочка иде-ет! (Обращаясь к тете Клаве.) А, тетюшеньки мои! А, расхорошеньки! Вчерась в вашем ресторане получка была! Меньше рубля не возьму. Рублик, рублик!

Тетя Клава. Да на уж, на, ирод!

Митька-Истребитель (ерзая на тележке). Повар спит и еле дышит, суп кипит, а он не слышит! Научная тебе теория, тетя Клава, за рублик. Мир на чем стоит? На китах? На слонах? Китов и слонов на колбасу переделало благодарное человечество. На чем ему обратно стоять? Не валиться же ему! Стоит он, тетечка Клавочка, на добротее-е-е! Вот, тетюшенька ты моя, распрехорошенькая...

Кузьмовна (с большим интересом слушает Митьку). Это ты как влил! Это ты в самую точку! На-ко вот пирожок, болезный, с капусткой. Сама пекла.

Митька-Истребитель (откусив сразу половину пирога). В прицеп сто грамм бы...

Кузьмовна. Я те прицеплю! Я те прицеплю!

Митька-Истребитель. Привет певцу родного края! Получка в редакции послезавтра. Дай тогда закурить.

Геннадий дает Митьке закурить и еще ему в карман куртки пару сигарет сует про запас.

Тетя Клава (уже открыв дверь ресторана, горестно качает головой). Вот-вот, изварлыжили его, избаловали, а он изгиляется над обликом своим и нашим...

Митька-Истребитель (Геннадию). Отрази ее! Отрази в газетке как личность, чуждую нашей славной действительности...

Кузьмовна. Да она ж тебе, неумытому, рубель дала! Митька-Истребитель. Ну и че? А если у нее мораль отсталая? Не бороться? Оставлять недовоспитанной?

Кузьмовна (*сраженно*). Слова-то, слова какие выучил, аспид?!

Митька-Истребитель (*наступая на Кузьмовну*). Ты, вот ты! Вся из пережитков состоишь! Вся ими обляпана, как назьмом! Ездил вот на богомолье...

Кузьмовна (*погобравшись*). Откуль знашь?

Митька-Истребитель. Я насквозь вижу! Назад нас тянешь, в пучину! Во тьму!

Кузьмовна. Да что ты, что ты, Христос с тобой! (*Тут же, переборов испуг*.) И ездила! И ездить буду! Слобода!

Митька-Истребитель (*миролюбиво*). Ладно, бабка, не пужайся! Разганул я твою мораль по явным приметам: вся ты ладаном пропахла — р-раз! Лоб об пол разбила, сучок, видать, угодил — два! Крестик новый купила — ты-ри!..

Кузьмовна (*быстро сунула крестик за воротник, пощупала себя за лоб и плюнула*). Эко какой холера! Узре-ел! На-ко вот тебе еще пирожок и грамотку! Шибко хорошая грамотка! Три рубля за нее отвалила...

Лиза (*заложив журнал пальцем*). Ф-фи! Я б за такую глупость и тридцать копеек не дала!

Кузьмовна (*стукнув внучку согнутым перстом в лоб*). А ты молчи, мокрошполка, молчи! У тя еще и трех копеек за душой нету...

Лиза. Как вы выражаетесь, бабуся? Слушать невыносимо!..

Митька-Истребитель (*закатившись*). Скажи, бабка, вот как на духу, скажи: это сколько же ты нашего брата мужиков со свету свела?

Кузьмовна. Не пшытала!

Митька-Истребитель (*тем временем пробегает по грамотке глазами*). «Событие, происшедшее в городе Куйбышеве в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году...» Все! Ша! Во, певец родного края, матерьяльчик! Вам бы в газетку! Нарасхват! Ша! (*Поднимает палец*.) Событие! «Задумала Зоя, работница трубочного завода, устроить вечер с танцами, вопреки протестам благочестивой матери...» Так-так... ла-ла-ла... пропускаю. Во! «Пришли гости: семь девиц и молодых людей, а Зоин Коля не пришел!» А-а, стилига-волосатик! Загулял! А тут трагедь надвигается!

Кузьмовна. Ты пошто балаболишь, варнак?

Митька-Истребитель. Все, все, бабуся! И — я продолжаю... «Зоя сняла с божницы икону — образ святителя Николая-Чудотворца и пошла с ним танцевать...» Ну, в общем-то, чего особенного: тот — Коля и этот — Коля?

Кузьмовна. Кому говорю — не варначь божецкое послание!

Митька-Истребитель. «Вдруг в комнате поднялось невообразимое: шум, вихрь и молниеносный свет! Веселье обратилось в ужас...» А что же вы натворили, безобразники! Осени мене, бабуся, осени — язык каменеет, члены отнимаются...

Кузьмовна торопливо крестит Митьку.

(Делает облегченный вздох.) У-уф! Плачу и рыдаю! Во, певец родного края, как надо писать! Стих! Поэзия! А то намалюете в своей газетке: «Став на трудовую вахту, Дунька Хмырева сшила трое кальсон сверх намеченных обязательств...»

Кузьмовна. Не отвлекайси!

Митька-Истребитель (уже скучно, без интереса, быстро проборматывает грамотку). Бу-бу-бу... (И лишь в конце оживляется.) Во! Квинтэссенция, так сказать, напололам с денатуратом...

Кузьмовна сурово приподнимается.

(Торопится.) «Прошло четыре месяца, окаменение Зои нарушалось криками Зои, приводившими в ужас и трепет дежурных милиционеров. Некоторые милиционеры, от двадцати восьми до тридцати двух лет, поседели...» Н-да, слаба волосом куйбышевская милиция!

Геннадий. Огульное охаивание советской милиции?

Кузьмовна. Вы, варнаки, пошто зубоскалите? За себя не боитесь, дак об людях подумайте!

Митька-Истребитель. Бабуля, не пужай! У меня и так ног нету, ну как со страху еще что отвалится?

Кузьмовна. Не приведи Господи! Нечем тебе совсем жить будет!

Митька-Истребитель. То-то и оно-то...

Баба с корзиной. Люди добрые! Вот я на базаре торгую, дак не окаменею ли тожа?

Все поворачиваются к ней. Женщина из справочного бюро почти вылезла из окошка и батон забыла есть. Лишь Лиза невозмутимо читает журнал «Юность» и время от времени презрительно пожимает плечами, кричит губки.

Кузьмовна. Дорого ль с люду дерешь?

Баба с корзиной. Когда как. По номенклатуре...

Кузьмовна. Чего-о-о?!

Баба с корзиной. Ну, по товару, стал быть. Редиску, скажем, по два гривенника, а помидор, ранний если, и подороже... Да грузин с югу тучей прет! Цену жирный барыга сбивает...

Митька-Истребитель. Стоп! Прекратить базар! Все ушейтесь! Баба, возьми свою бумагу! Пикирую на приезжего...

Из глубины сцены появляется Степан.

А не пож-желаю моей доли-участи! А кыто сколько может...

Степан проходит мимо.

(Цап его за полу полупальто.) У тя совесть есть?

Степан. Как не быть! Отпусти полу-то. *(Вынимает из карманов култышки рук.)* Бери! Бери-бери! Деньги заробленные...

Митька-Истребитель. Ладно, отвали!

Степан. Как знаешь!

Кузьмовна. Ты, Степушка, постыди, постыди этого варнака... С пиисят восьмым едешь-то? Ну и вместе.

Степан уходит на перрон.

(С гордостью всем.) Наш капалушинский. На перекомиссию приезжал. Пензия ему идет, но он еще и охотничает...

Митька-Истребитель. Че-о-о? Без лап-то?! Второе божецкое послание? Туфти-ишь!

Кузьмовна. Это ты туфтишь! А я Степана с эких вот пор знаю! И отца знавала, и мать знаю!

Митька-Истребитель. Ну и молись за них! *(Вытряхивает деньги, банку бросает через плечо и катит к дверям ресторана, напевая дерзко.)* «Любимый город может спать спокойно-о-о...»

Женщина в справочном *(спохватывается, втянула голову обратно в окошко и совсем уж невнятно забормотала).* Поез отправляцца... скоро...

Кузьмовна. Лизка! Лиз! Наш это, пиисят веселый?..

Геннадий *(подхватывая узел Кузьмовны).* Давай, давай, бабуся, поднесу, нам по пути. Вы мне расскажете про охотника-то?

Кузьмовна. Пошто не рассказать? (*Одной рукой крестится, другой грозит Митьке, подзадержавшемуся у дверей ресторана.*) У-у, бес! Возьмуся я, однако, за тебя!

Митька-Истребитель (*свистнув вслед Геннадию*). Не отставай от народа! Торопись озарить боевым словом героя наших дней!.. Ха-ха-ха!

Рявкает электровоз. Кузьмовна, Лиза, Геннадий направляются к выходу.

Кузьмовна (*оглянувшись, ищет глазами Геннадия*). Где-ка ты тама, попутчик? Дорога наша с тобой долгая. Обскажу я тебе всю нашу жизнь, и про Степана... Стало быть, гуляли мы всей Капалушкой в Троицу — наш престольный праздник...

2

Травянистая поляна. Дальше — горы, леса. На косогоре видны дома поселка Капалушка. На пеньках и на траве сидят и лежат люди. Возле разостланной скатерти веселится народ. Самовар уже опрокинут набок. Много пустых бутылок, наспех открытых консервных банок.

В коро... в коро-о-обочке,
В коро... в коро-о-обочке,
В коробочке таракан, таракан... —

трясутся вокруг скатерти и взвизгивают бабенки. Степан и Надя сидят чуть в стороне. У Степана высоко закатаны рукава белой рубашки. Руки у него большие, жилистые. Он хмурится.

Надя (*попевает*).

Про-ел, про-е-ел Дуне,
Про-е-ел, про-о-о-ел Дуне,
Про-ел Дуне сарафан, сарафан...

Феклин (*опережая хор*).

Над са... над са-а-амою...
Над са... над са-а-амою...

Аверьяновна (*толкнув Феклина*). Тьфу, скоромник! Феклин (*ловит ее за руку*). Аверьяновна! Кумушка! Ты голубушка! Чё сердисси? Праздник!! Жена мужа дразнит!.. А Надька-то! Надька-то! Так и ест глазами Степана! Нну, де-евка!

Аверьяновна. Девка и девка.

Феклин. Голодранка! Уборщицей робит, а туда же: фу-ты ну-ты! В тувельках, при часах!

Аверьяновна. Сама заробила. До возрасту в нянь-

как была. Теперь свой хлеб худо-бедно зарабатывает. Боец девка!

Феклин. Э-эх, кума ты, кума! Окрутит она у ты парня! А какая в ей корысть?

Аверьяновна. Тебе бы все корысть! *(Поднимается и уходит следом за компанией.)*

Компания катится с плясом и криком за сцену.

По ру... по русскому,
По ру... по русскому,
По русскому...

Хохот. Гармония крикает, крики, свист. На сцене остаются Степан с Надей, парень с девкой и Феклин.

Феклин *(допивает из чьего-то стакана, утирается и подхватывает припоздло.)* «По рус... по русскому...»

Степан. Дядя Иван!

Феклин. Пийсят лет дядя Иван!

Степан. Если уж седой головы не совестишься, девчат постыдишь...

Феклин озирается на Надю, на девку, которую облапил, заграбастал парень.

Парень *(бормочет)*. Гром меня разрази, если оману тебя...

Девка *(решительно отстраняя парня)*. Сначала распишись, потом челомкайся...

Феклин *(победоносно прихлопнув кепку, пугнул девку охальным движением руки и, расхохотавшись, пошел со сцены, заорав во всю глотку)*.

Ты пошто такая дура,
Себя щупать не даешь?
Если будешь кочевряжиться,
Нешупана уйдешь!

Парень с девкой идут следом за Феклиным. Надя уносит самовар, вернулась, собирает в скатерть снедь, посуду, пустые банки.

Надя. Вот и отгуляли престольный праздник. А насвинячили-то, насвинячили!

Степан. У нас все праздники престольными сделались. На всех пьют до потери разума...

Надя *(подходит к нему, прижимается плечом)*. Свежо делается.

Степан накидывает на ее плечи пиджак, берет ее руки в свои.

Какие у тебя руки. И не по работе добрые-добрые...

Степан. Руки как руки. *(Обнимает Надю).*

Надя. Завтра опять будни. Мне пол в школе мыть, тебе лес корчевать... Зовут меня на шахту работать — перейду... *(Закидывает руки за голову, смотрит вдаль.)* Надоело мне тут — одно и то же, одно и то же... Кругом тайга, дурнина непролазная. Праздник придет — надрываются, матерщинничают, лапатах норуют...

Степан торопливо отдергивает руку, а Надя, зябко поежась, кутается в пиджак.

Степан. Не из одних праздников и там жизнь состоит...

Надя. Смеркается. *(Возвращает Степану пиджак и подает ему обе руки.)* Спокойной ночи тебе, Степан! Побегу я.

Степан *(задержав ее руки в своих)*. И тебе спокойной ночи! *(Пробует поцеловать Надю в щеку. Получается это неловко.)*

Надя, с досадой и насмешкой глянув на него, уходит.

(Хлопнув пиджаком о землю.) Растяпа! *(Уходит.)*

Гаснет свет, слышно кукушку, растревоженный лай собак и одинокий, одичалый какой-то голос Феклина: «А по утру-у она-а просну-у-улась...» Видно, как он шарашится в темноте, возвращаясь домой: «А-а до-о-ма не-ету ни-и-иково. Э-эх, судьба ты, судьба, кобыла крива...»

3

Та же поляна. Где-то горланит петух, рубят дрова. Степан закладывает под пеньки взрывчатку, поджигает шнуры, отходит, приседает. Взрыв, другой, третий.

Степан *(считает)*. Раз, два, три, пять... А где же четвертый? А, чтоб тебе пропасть! Детонаторы дают! Под кресло начальнику шахты бы их!.. *(Ворча, он достает из-под пенька детонатор, досылает его.)*

Вспышка! Щелчок! Степана закрывает желтым дымом. Вскрикнув по-детски испуганно: «Ай!» — он стоит в дыму, качаясь, недоуменно оглядывается. Ноги его, будто обмякнув в коленях, медленно подогнулись, и он рухнул на траву. Сбегаются народ — Сафрон Корнеич, Феклин, Кузьмовна, Загорулько.

Сафрон Корнеич. Э-эх, растяпы! Не проинструктировали парня ладом!

Загорулько *(бросается к Степану, осматривает его)*. Да он полтайги взрывчаткой свел... Яка ще инструкция?!

Феклин. Судьба, робята, судьба — кобыла крива!
Куды завтре увезет — не знаешь...

Кузьмовна. Глаза-то, глаза целы ли?

Загорулько. Глаза-то у порядке. А вот... (*Показывает на руки.*)

Кузьмовна (*захлебнувшись*). Господи! Как же он?

Загорулько. Тыхо! Бинты! Полотенце! И лошады!
Лошадь швыдко!

Сафрон Корнеич и Феклин быстро уходят. Прибегает Лиза.

Кузьмовна (*перехватив внучку*). Не гляди! не гляди
на экую страсть! Ребятишек припадошных родить будешь...

Лиза (*плетясь*). Кровь! Кровь! На траве кровь! (*Сорвалась, побежала за сцену с воплем.*) Те-о-отя Ти-и-ина-а-а!

Кузьмовна (*начинает обматывать руки Степана*).
О Боге, о Боге забыли. Вот он и карает...

Загорулько. Нашла врэмя каркать!

Вбегает Аверьяновна.

Аверьяновна. Степанушко-о-о! Кормиле-ец... (*И погрубленно валится, схватившись за грудь.*)

4

Дерябинская кулига. На ней бело от пушистого лабазника. Посредине толстая черемуха. Лиза выводит тяжело волочащего ноги Степана. Руки Степана толсто замотаны бинтами и полотенцами, промокшими кровью. Полотенца поверху примотаны проволокой. Лиза приваливает Степана к черемухе.

Лиза. Вот так. Вот та-ак... Ты, дядя Степа, посиди в холодке, а я попробую телегу... Я вытащу! Ты не думай, что из города... Я все умею. Вот та-ак.

Но Степана повело, повело в сторону.

Степан. Кружит, кружит голову... И туман, кровяной туман... (*Облизывая губы.*) Водицы бы...

Лиза (*беспомощно оглядываясь вокруг*). Фляжку-то...

Степан. Спекло, Все нутро спекло...

Лиза. Дура я, дура! (*Заметив, что Степан валится на землю, подхватывает его.*) Дядя Степа, не помирай! Дя-а-адя Степа-а-а! Я счас! Я счас! Счас-счас, дядя Степа! Счас, миленький...

Лиза убегает и возвращается с вытянутыми ладонями. Степан открывает глаза и лицом падает в ее ладони. С мокрым лицом отваливается к черемухе. Лиза вытирает его лицо платком.

Степан. Какие же это умные головы нас одних отравили?

Лиза. Люди на сенокосе. Тетю Тину схватило. Надя на смене...

Степан. Лиза, это мы с тобой сейчас на Дерябинской кулиге. Тут вязко кругом, вязко. Телегу не выручить. Придется нам идти... Дай еще водички. Затемнело опять. Туман, опять туман...

На поляне с плетеной корзиной в руке появляется пожилой человек в парусиновом костюме. Он какое-то время оторопело наблюдает за Лизой и Степаном. Потом отбрасывает палку, корзину и бежит вприпрыжку к черемухе.

Незнакомец. Эт-то что такое?

Лиза. Ой!

Не обращая внимания на Лизу, незнакомец — это доктор Цинклер — быстро расстегивает ворот рубахи Степана, умело массирует ему грудь.

Доктор Цинклер. Девочка! Говори быстро, кто вы и откуда?

Лиза. Дядя Степан. Ему взрывчаткой... Из Капалушки едем. А телега-а-а-а...

Доктор Цинклер. Не реветь! Жгуты! Почему не наложены жгуты?

Лиза. Какие жгуты?

Доктор Цинклер. Вот уж воистину из Капалушки! *(Отматывает проволоку.)* Это зачем? Кто догадался?

Лиза. Дорога плохая. Полотенца разматывались. Вот я и...

Доктор Цинклер. Девочка, умеешь ли ты выпрягать лошадь?

Лиза. А зачем?

Доктор Цинклер. Немедленно выпрягай лошадей! *(Рвет полу своего парусинового костюма, наступив на него ногой. Кричит на Лизу.)* Что ты стоишь!

Лиза мчится во весь дух с поляны.

(Затягивает жгуты выше локтей Степана.) Н-ну, молодой человек! Ну, молодой человек! А этим, в Капалушке которые, я пропишу, ох, пропишу горчичники! Девочка?!

Лиза. Здесь я, здесь, дяденька! Лошадь веду-у!

Больничная палата. В ней четыре койки. Четвертая впихнута явно сверх нормы. Против кровати окно, затянутое марлей. В консервной банке растет геранька. Тумбочки меж коек. М и х а л ы ч, стоя среди палаты, представляет ее население.

Михалыч. Та-ак! По солнышку, стало быть, пойдём. (Указывает на мужчину средних лет с подвешенной ногой.) Это будет шофер Казаринов. Каку ты подпись нарушил?

Казаринов. Заповедь: «Не уверен — не обгоняй».

Михалыч. Совершенно правильно! Состоит он в бригаде «ух», что работает с девяти до двух, а остальное время думает, как ей в светлое будущее итить: со своими бабами аль с кондукторшами?

Все смеются. Лишь Степан лежит все так же недвижно.

Казаринов. А! Старая балаболка! Ты своей смертью не помрешь! Тебя самосвалом задавит.

Михалыч (*гойдя до следующей койки*). К этой персоне я уж и не знаю, с какого боку подступиться. Это будет Лазарь Рафаилович. Торговый бог всего городу нашего и району. Им, голубчиком, живы.

Лазарь Рафаилович. Михалыч! Вы же знаете, шо у меня слабые швы...

Михалыч. Молчу, молчу! Борони Бог, помрете! Кхе-кхе-кхе! (*Останавливается возле своей койки*.) Теперича, стало быть, кандидат в депутаты буду я. Кхе-кхе... Зовут Михалычем. Пенсия мне двадцать пять рублей. Четвертая, стало быть, которая расходуется не отходя от прилавка... Кхе-кхе. Старуха зимусь преставилась. Вот... Вот, стало быть, и все. У меня и болесь-то бросовая... пуповая грыжа. Ущемленная, правда. Да все одно не первого сорту. Вон у того же Лазаря Рафаиловича — язва двенадцатиперстной кишки!.. Двенадцатиперстной! У меня и кишки-то такой небось нету. И шариков в крови недостача. А у меня... (*Стучит себя по лбу*.)

Лазарь Рафаилович. Ой, швы ж разойдутся! И прекратите курить в палате! Сколько можно говорить?!

Михалыч. Есть прекратить! (*Прячет сигарку в рукав, гонит дым к окну*.)

Мужской голос (*за окном*). Тпр-р-ру-у-у! «Кра-ас-ную розочку, кр-расную р-розочку я те подар-р-рю-ю-ю!..» Завхоз, прймай дрова!

Женский голос. Вы мне, товарищ Цинклер, раскладку увеличьте, потом калориев требуйте! Я для генералов готовила! И это называется — дрова?! Дрова, да?!

Михалыч (*подсаживается к кровати Степана*). Весело-о-о-лая больница! Да ты, брат, не молчи, не бедуй в одиночку. Скажи, откуль? Ну, коли не охота — не говори... Вот беда дак беда — уродилась во ржи лебеда...

Казаринов. Но хуже нету беды, как ни ржи, ни лебеды...

Михалыч. Поет! Во! Граждане больные, временно нетрудоспособные! Товсь! Ужин носят!

Няня разносит ужин.

Няня (*ставя на тумбочку Михалыча тарелку*). Тебя бы, старого, не кормить, а драть!

Михалыч. Это мне пошто такая льгота?

Няня. Ты по чё утресь в лабораторию затесался?

Михалыч. По чё? По чё?.. Хомуты чинить!

Няня. Хомуты! Спиртик-то из пробирки на хомуты извел?

Михалыч. Э-эх, дура-баба! На хомут деготь надо-бен! Спиртиком я ноги смазал — потеют.

Няня. Ёфу на тебя, на окаянного! (*Собирает посуду. Приостанавливается возле койки Степана, делает знаки Михалычу.*)

Михалыч. Слыш-ко, парень! Поел бы.. Поел бы, а? Крови много потерял. Тебе сейчас питание во как нужно! И в остальном не таись, не терпи. Ежели ее вот, няньки, стесняешься, доверься мне. Я все ладом сварганю. Шито-крыто...

Няня торопливо уходит. Больные укрываются одеялами. Лазарь Рафаилович, тихонько постанывая, жмет к животу красную грелку.

(*Сидит возле койки Степана, украдкой смолит сигарку.*) Тебя как зовут-то? Я ведь не отстану! Я настойчивай! Ох, настойчивай!

Степан (*открыв глаза*). Степаном меня зовут. Из Капалушки я. Меня доктор Цинклер в лесу подобрал. Иди спать, отец.

Михалыч. Заговорил! Молодец! Вот молодец! Утку я те сейчас спворю, утку... Половина болести отляжет сразу. Ты думаешь, это пустяк?

Степан. Иди спать, отец.

Михалыч. Да чё ты — спать, спать! Я третий месяц

туда. Выспался! (*Шарит под одеялом.*) Расслабься, расслабься, милой, расслабься... Да не стыдись ты меня...

Степан (*хатая голову по подушке*). Не могу...

Михалыч. Быват. Быват, милой сын. Сильна мужицка натура, хотя и дура. Покуришь?

Степан. Не курю.

Михалыч. Ат беда! Вовсе нечем тебя утешить. А я подымлю возле тебя. Не боисси дыму-то? И правильно! Табачок — это первоее средство в нашем деле. Табачок, он, ого-го-о-о! Я в войну при госпитале вакуционном санитарил — по годам на позиции не подошел. Повидал я там, Степанушко-о-о... Такого повидал... (*Минуту молчит, потом продолжает, тряхнув головой.*) Привезли моряка. Без рук, без ног... «Самоварами» таких в войну звали. Шутковали, стало быть. Нда-а. Привезли его, а он не ест, не пьет. Выплевывает все. Глазами токо смотрит... Мурашки по коже... Во как смотрит! Врачи-фелшара в сумнение впали: помират живой человек... А я вот с им совладал! Хошь верь, хошь нет — совладал! Свертел сигарку, прижег, в зубы сунул. И он потянул! Плачет и тянет! Плачет и тянет... После ести попросил... Я его с ложки кормил... Нда-а. Вылечился моряк, домой отправлен был.. Жизнь, она, милой, непоборима. Ты спишь? Ну, спи, спи... (*Накрывает Степана одеялом.*) Спи, спи!.. Ляжь камешком, подымись перышком... (*Ковыляет к своей кровати, держась за живот.*) «Красную розочку, красную розочку я те...» И когда эта грызть нагрызется, изгрызется?.. Туды ли, сюды ли... Спит парень! Ну, спи, спи, милой, спи... Утро вечера мудренее. Ох-хо-хо... Ох-хо-хо-хо-о-о, старость и в самом деле не радость.

Шлепает за окном дождь. Храпит в палате Казаринов. Постановивает Лазарь Рафаилович. Вертится на кровати, бормочет Михалыч. Степан со стоном, неловко садится на кровати, затем крадется к окну, подбородком отодвигает банку с геранькой, прижимается к мокрой марле.

Голос Нади (*за окном*). Степа, ты не мучайся. Я здесь. Не мучайся!

Степан остолбенело смотрит перед собой.

Здесь я, здесь.

Степан срывает культиями и зубами марлю. За окном стоит мокрая Надя. Он обхватил ее, прижался к ней.

Надя. Как же это наши дураки-то с девчонкой тебя? Я уж вечером узнала. Отпушила всех... Дома все в поряд-

ке... Ты худого в уме не держи! Мать не пускаю к тебе. Сердце у нее, сам знаешь... Главное, худого-то в уме не держи! Не держи худого-то...

Степан. Руки-то жжет, жжет...

Надя (*гует на бинты, как на детскую «ваву»*). Сонный порошок попроси. Как-то мудрено называется. Попроси, не гордись. Да худого-то в уме не держи... Славный ты мой! Лапушка ты моя! Больно тебе, родненькому, больно...

Степан. Доктор Цинклер набрел на нас с Лизкой... Я бы, может, истек кровью... не маялся бы...

Надя Что ты, что ты! (*Увидев, что Степан засыпает с вытянутыми на подоконник култышками, держит лагони над ним, ловит дождь, выплескивает воду из лагоней.*) Что ты... что ты, Бог с тобою! Как можно? Что ты?! Что ты?!

6

Та же палата. Няня поправляет марлю на окне.

Няня. И кого это леший носил тут? Мух напускают...

Михалыч (*просыпаясь, зеваает*). Физкульт-привет, больные, временно нетрудоспособные! Какие кому сны виделись, докладай!

Казаринов. Мне баба снилась. Голая. Прет на меня, понимаешь! Грудя у ей, как мины!

Михалыч. Чужая баба-то?

Казаринов. Знамо.

Михалыч. К выздоровлению, стало быть! Следующий раз за мину-то хватайся! Обезвреживай!

Лазарь Рафаилович. Михалыч! Разойдутся ж у меня швы...

Няня. Тьфу, старый греховодник! Тьфу, ботало! (*Ухогит.*)

Степан. Отец, можно тебя на минутку?

Михалыч. Сей момент! Сей момент!

Степан. Помоги мне...

Михалыч. С полным моим удовольствием! Ожил! Молоток! Ты всему сам обучисси. Сам! Помяни мое слово! Болят руки-то?

Степан. Болят...

Михалыч. В кистях?

Степан. В кистях.

Михалыч. Это уж, милой, завсегда так... Ноги нету,

допустим, до паху, а она, язви ее, болит в колене... Стало быть, устройство человеческое такое: все, что при ем, при человеке, — все нужное. Вот память человеческая и тоскует по своей телопринадлежности...

Михалыч убрал утку из-под одеяла, свернул сигарку, совсем уж было собрался прикурить, да поглядел на Лазаря Рафаиловича и убрал сигарку за ухо. Казаринов достает книгу из-под матраца, разворачивает.

Казаринов. Вот Степан, книга так, книга! Я те потом прочитаю всю.

Михалыч. Уж воистину всем книгам книга! Про жизнь нашу.

Казаринов. Я думаю, автор этого романа, Абрамов, из нашей деревни либо тайком приезжал, все вызнал и прописал! Тут все про нашу семью. Токо фамилии другие. Мамка наша в войну так же, как у Пряслиных этих, зерна принесла, в чугушке запарила. Мы, шестеро ребятешек, печку обступили, ждем... А тут с обыском! Мы за чугунку! Рев! Содом! Чугунку уронили, с полу хватаем...

Михалыч. Ох, война, война... (*забывшись, закуривает.*) Такие вот Пряслины удержали государство на плечах. Иные надломилась... У иных досе спины болят...

Лазарь Рафаилович. И что вы думаете? Человечество поумнело? Одумалось? Нет, вы почитайте газеты! Поджигатели! Кругом поджигатели!

Казаринов. А я, дурной, думал, в книжках выдумывают все, брешут...

Лазарь Рафаилович. Должен вам заметить, ваша точка зрения на современную литературу отнюдь не безосновательна. Лакировка действительности... имела место...

Появляется няня.

Няня (*затопала на Михалыча*). Кыш на место! Опеть дымишь? Опеть об спирте мечташь?

Михалыч, понарошке испугавшись, семенит к своей койке.

(*Степану.*) Пришли там к тебе. А я не знаю, как быть? Пускать по воскресеньям велено...

Степан. Если можно... Очень прошу.

Казаринов. Пустите!

Лазарь Рафаилович. Любезно вас просим.

Михалыч. У нас в госпитале вовсе посещения запрещались... Но бывали случаи...

Лазарь Рафаилович. Исключения из правил не могут поколебать самих правил!

Няня. А доктор Цинклер?

Михалыч (*хорохорится*). А что доктор? Что доктор?!

Казаринов. Мы сами профессора!

Няня. Болтуны вы у меня, ох болтуны! Ну, семь бед — один ответ. Колефтиф настаиват... Где-ка ты там, девонька? Заходи!

Входит Надя с узелком в руке, озирается.

Надя. Здравствуйте, люди добрые!

Михалыч. Здравствуй, доченька! Проходи, гостьей будешь... (*Казаринову.*) Нишкни! (*Принимается скручивать старые бинты.*)

Казаринов углубляется в книгу. Лазарь Рафаилович занялся грелкой. Надя молчит. Няня, горько вздохнув, собирается уходить.

Няня (*погрозив напоследок Михалычу*). У-у, старый греховодник!

Михалыч (*ей, жестом*). Ноги, понимаешь, потеют и потеют...

Няня. Я те дам! (*Уходит*).

Степан. Это они понарошку, Вообще-то жить друг без дружки не могут...

Надя. Вот я кое-чего тут принесла: земляницы, яичек. Мать яички-то послала.

Степан. Как она?

Надя. Держится. Слава Богу, держится.

Степан. Как же ты ночью-то, по лесу?

Надя. Экая забота?! Всю почти жизнь детей байкала ночами. Чужих. Привычная. Чего бы ты поел?

Степан. Надя!

Надя. Ты не волнуйся, ладно? А то меня прогонят. Доктор Цинклер строгий больно. Из немцев, видать?

Степан. Порядок любит. Распусти нашего брата...

Надя. Лоб и нос вспотели у тебя. (*Вытирает лицо Степана своим платком.*) Ты зачем волнуешься-то?

Степан. Не знаю. Совладать с собой не могу.

Надя. Об худом меньше думай.

Степан. Надя...

Надя. Что?

Степан (*мнется*). Пусть мама сюда не приходит.

Надя. Сделаю. Все сделаю. Спокоен будь только, и еще раз прошу — об худом ни об чем не думай...

Степан. Само думается. И сны все какие-то... страшной страшного...

Голос за окном. Тпр-р-ру-у-у! Завхоз! Где завхоз? Принимай дрова! «Кррасную розочку, кррасную розочку я те по-дар-р-рю-ю!..»

Женский голос. Это дрова? Такими дровами тюрму поджигать!

Надя. Го-осподи! Дал же Бог горло бабе! Ну, я пошла, Степа. Долго не велели.

Степан. Ты уж это... Не каждый день. По лесу... Восемнадцать верст!

Надя. В наши ли годы версты считать?! *(Дотрагивается рукой до щеки Степана. Поднимается, делает знак рукой Михалычу — тот уж тут как тут!)* Я чекенчик принесла. Можно ли?

Михалыч. Нету разговору! *(Прячет чекушку.)*

Самое это мужику пользительное средство...

7

Та же палата. Казаринов уже сидит на кровати. Лазарь Рафаилович все с грелкой на животе. Кровать Михалыча пуста, матрац на ней закатан. Надя связывает пожитки Степана. Степан потерянно стоит среди палаты. Няня плачет, собирая простыни с кровати Степана.

Няня *(загушенным голосом, Hage)*. В темнотерь преставился... Когда глухари петь начинают.

Казаринов. Шумный был, бегучий, а умер тихо. Никого собой не обеспокоил...

Степан. Последнее время винишком где-то разживался... А пить-то ему нельзя было...

Надя опускает голову, теребит узелок.

Няня. Да уж че, на мне грех. Спиртик в лаборатории я позабывала...

Степан *(с горьким, тяжелым вздохом)*. Ну что ж... До свидания, больные, временно нетрудоспособные...

В это время в палату входит Цинклер, сматывает фонендоскоп.

Доктор Цинклер. Ну, Степан Федорович, как договорились... Предплечье не расчленять без моего ведома. Операция эта не очень отлажена... *(Hage.)* Что же, пожелаю вам терпенья, терпенья, терпенья и еще раз терпенья! Стойкости русской женщине не занимать... Н-ну... *(Кладет руки на плечи Степана.)* Помните: в Гремячин-

ске существует не просто доктор Цинклер — сердитый немец, но и сердечно к вам привязанный человек... (*Расстрогался.*) Простите! (*Берет руку Нади, целует.*)

Надя (*вежливо и конфузно отнимает руку*). Ой, да что вы, доктор...

Цинклер стремительно уходит.

Няня (*с простынями в руках, низко кланяется*). Помогай вам Бог! Не осудите, если что не так... (*Махнув рукой, уходит.*)

Казаринов. Рули по торной дороге, Степан!

Лазарь Рафаилович (*прерывистым голосом — он совсем плох*). Мужайтесь, юноша! Вам нужно долго жить.

Степан (*кланяется койке Михалыча*). Прости, отец!..

Надя. Прощай, дяденька Михалыч! Прощайте, люди добрые!.. (*Прижимает платок ко рту, быстро выходит из палаты.*)

Степан, грузно ссутулившись, идет следом за нею.

8

Дерябинская кулига, уже скошенная, со стожком сена посредине. Деловито перекликаются птицы. На поляну выходят Степан и Надя.

Надя держит ботинки в руках.

Степан. Собьешь ноги-то.

Надя. Не-а. Может, попить хочешь?

Степан отрицательно качает головой. В небе раздается гул.

(*Задирает голову, провожает самолет взглядом.*) Пролетел! Высокуще-высокуще! И как у этих летчиков перепонки в ушах не лопаются?

Степан пожимает плечами.

Ой, черемуха! Да ряснущая какая! (*Отбрасывает узелок, нагибает ветку.*) Держи!

Степан смотрит на нее.

Ногой приступи!

Степан наступает.

(*Ломает ветки, напевая.*) «Ряби-ина красная-а, ряби-ина вы-ызре-ела-а. Я у за-але-о-оточки характер-ер вы-ызнала-а...» Все! Отпускай! Садись!

Степан садится. Надя садится рядом и подносит кисточки ягод к губам Степана.

Степан. Не хочу.

Надя. Ну, как хочешь! А я пока не намолочусь — не отступлюсь. Страсть люблю черемуху — уральский кишмиш.

Степан. Молоти. Дело хорошее. *(Сидит, утопив завязанные руки в коленях.)* Так как же мы?

Надя. Фу! Все во рту связало! *(Вытирает губы ладоной.)* Как люди, так и мы.

Степан. Это как понимать?

Надя. Обыкновенно.

Степан. Сказала!

Надя *(вытряхивает платок, набрасывает его на голову)*. Эх, Степан ты, Степан! И чего ты все сторожишься? Чужая я тебе? Чужая?

Степан. Рук у меня нету, Надя!..

Надя. Рук нету! А это чего? *(Показывает свои руки.)* Грабли?! *(Поднимается, берет узелок.)* Да ну тебя! Пошли уж...

Степан. Прости!

Надя *(Положив ему руки на голову)*. Да за что прощать-то? Глупый ты, глупый...

Степан *(Обхватив Надю за колени)*. Дак как же нам быть-то?

Надя *(целует его в маковку, затем в лоб, в лицо, в губы)*. Степанушко!

Степан. Надя!

Медленно гаснет свет.

Стыдно-то как!.. Стыдно!..

Голос Нади. Когда любишь, ничего не стыдно! Ничего...

Голос Степана *(хриплый, полный отчаяния)*. Сты-ы-ыдно... Сты-ы-ыдно...

Медленно возвращается свет. Снова звенят кузнечики в траве, долбит дятел в лесу, тенькает синица за черемухой. Степан лежит вниз лицом, уткнувшись в подобранные под голову руки. Надя выходит из-за черемухи, подбирая волосы. Садится, раскусывает ягоды черемухи и выплевывает, раскусывает и выплевывает.

Надя *(тронув рукой черемуху)*. Вот и поженились!..

Степан. Прости...

Надя. Черемуха повенчала нас... Никому она ничего не скажет... Погрустит, погрустит и лист уронит... И нечем ей сделается шуметь, и грустить нечем...

Степан (*резко вскидывается*). А вот это ты зря! Зря, и все!

Надя. Да это я так! Баба без слез да без фокусов, что конь без овса — не потянет. (*Усмехается*.) Задолго пасет наш брат слезы против вашего брата — мужика. Девичество оплакать, долю бабью слезами встретить, мужика на веки вечные виной угнести... А тут... Чего ж... Никаких правов нету...

Степан. Да неужто я не понимаю, Надея? Да я могу влезть на гору и кричать на всю землю, какая ты есть баба! И человек!

Надя (*приваливается к Степану*). Поговори еще! Поговори маленько этакое же... Мне надо!

Степан. Я воду могу выпить, в которой ты ноги вымоешь... И всякую хреновину сделать!

Надя. Заставь Богу молиться — лоб расшибет! Понесло мужика! Вроде и не пил, а речи как у пьяного! Пошли уж, оратор! Ждут нас. Мама беспокоится.

Степан (*сконфуженно озирается вокруг*). И правда, понесло! Найдет же на человека!

АКТ ВТОРОЙ

9

Комната об одно окно, барачного типа. Направо дверь в кухню. Слева выход из комнаты. Возле него сундук, стол, скамейка. В простенке диван с зеркальцем, накрытый половичком. В углу старый приемник. В другом углу фикус. На сундуке и скамье сидят Аверьяновна, Кузьмовна, Лиза, Митька-Истребитель. Сафрон Корнеич. Сафрон Корнеич что-то подтачивает подпилком.

Сафрон Корнеич. Да, стало быть, Митрей, мы с тобой на одном — Первом Белорусском фронте бились, а вот встренуться не довелось...

Митька-Истребитель. Так я ж, папаша, в воздухе, а ты, прошу пARDону, в болоте белорусском квакал. А сверху, скажу я тебе, папаша, люди похожи на тараканов.

Сафрон Корнеич. Тарака-аны! Вам чекалады и вино, а нам матюки одне! Недаром вы спьяну наших с ихними путали... И ну поливать, ну поливать. (*Обращаясь к женщинам*.) Свои-то безопаснее — не сопротивляются...

Митька-Истребитель (*заерзал на тележке*). Учтите, папаш, я — истребитель! Пехотой занималась все больше штурмовая авиация...

Кузьмовна. Ноне с истребителя пересял. Нашего брата, бабов нонче штурмует!

Митька-Истребитель (самоговольно). Х-хэ! (Закрывает несуществующие усы.) Заходи с хвоста. Тараны!

Кузьмовна. Во-во! Штурмует, стервец! Истинно пилот! И налетат! Фроську-то, буфетчицу-то, помнишь? С самого-то шахтоуправления?

Сафрон Корнеич. А что?

Кузьмовна. Дак истребил ее пилот-то! Истребил, неумытай.

Сафрон Корнеич. Как так?

Кузьмовна. Пусть сам и рассказывает...

Митька-Истребитель (пренебрежительно, с зевком). А! Суета! (Запевает.) «У-уйми-итесь, волнения-а, стра-а-асти...» (Прижмуривает сладко глаза.) Сурье-о-озная была женщина!

Кузьмовна. А мужик у ей того сурезнее!

Митька-Истребитель. Подловил он нас, подловил... в интимной, так сказать, обстановке!.. Беседую я с ней про миры... Вдруг ключик в замочную скважину... Хруп-хруп!..

Кузьмовна. Сохрани и помилуй нас, Господи!

Митька-Истребитель. Дверь отворяется, муж появляется.

Кузьмовна (нетерпеливо). Ну, а ты-то, ты-то?!

Митька-Истребитель. Пришлось мне вспоминать высший пилотаж. Жжжих, на бреющем полете в окошко! Опомнился уж под горой!... Тележки нету. Шею чего-то теснит. Цап-царап: на шее оконная рама!

Все хохочут, кроме Аверьяновны, а Лиза отвернулась.

Кузьмовна. Ты девку у меня не портишь такими разговорчиками! Фроська при буфете состояла. Да-а-а. Мушпыны пьющие кругом, шахтеры — сурезный народ! Муж-то Фроськин в ревность... А этот неумытай на тележке подкатил... Ну и получил! А тот поучил бы бабу, как учили в божецкое время: за волосья б да об печку... Он жа удумал мечь жесто-окою...

Лиза. Мечь?! В наше время — мечь?!

Кузьмовна. Не встревай! На шахте энтый мужик состоял подрывником. И упре всю взрывную приспособленью, и в подполе зарядил!

Лиза. Ой!

Кузьмовна крестится. Сафрон Корнеич трясет головой. Хмурая Аверьяновна слушает и не слушает.

Кузьмовна. Зарядил он бонбу гремучую...

Аверьяновна. Озверел человек от любви... Дом-то казенный?

Кузьмовна. Каба казенный! Сво-ой!

Аверьяновна (*заглядывает в окно, потирает грудь*). Не идут и не идут... Душа изболелась. Не случилось ли чего?

Лиза. Н-ну?

Кузьмовна. Че ну? Нукнуло так, что ни дома, ни буфетчицы! Улетела лавка с товаром в этот, как его? В космос! А пилот у нас в лесу приземлился — сторожем в конторе. Отгусарил, видно...

Сафрон Корнеич. Ой, бабы! Ой, бабы! Мору на вас нету...

Лиза. Варварство какое! За это из комсомола гнать надо! Судить!

Кузьмовна. Суди-и-ить? А ты не гуляй, не гуляй из-за мужа! Суди-ить! Эдак волку нам дай, всех мужиков переведем...

Сафрон Корнеич. А ты, Кузьмовна, и Митрея переврешь и Тарапуньку со Штепселем!

Аверьяновна (*все заглядывает в окно*). Чего же это они так долго-то? (*Набрасывает на голову полушалок*.) Пойду посмотрю... Слухи опять о беглых арестантах... (*Уходит*.)

Кузьмовна. Эт че же? Надька навовсе со Степаном сходится?

Сафрон Корнеич. Почему бы и нет?

Кузьмовна. Че ты в бабьих делах понимаешь?

Бренчишь в кузне молотком — и вся тут тебе музыка и политика!

Сафрон Корнеич. До тебя мне, конечно, куда-а? А Надежда — молодец! Поступает по совести.

Митька-Истребитель. Жалости!

Кузьмовна. Конечно, жалости наши бабы...

Лиза. Не в жалости дело, а в самопожертвовании!..

Кузьмовна. Х-хосподи! И эта туда же! Начиталась книжков, телевизоров насмотрелась... (*Стучит перстом по голове Лизы*.) Жизнь не по книжкам идет, внученька моя, мокрошполка глупая...

Входит Аверьяновна, потирает рукой грудь.

А пушшай-ка Истребитель ишо расскажет, как он в футбол играл...

Аверьяновна. Хватит языками куделю чесать! Ступайте-ка домой... Не привыкать одной горе мыкать...

Сафрон Корнейч. И то правда! Нам от скуки потеха. Пошли-пошли. *(Выталкивает Митьку-Истребителя с тележкой.)*

Кузьмовна. Соседушка, прости нас, грешных. Может, чего надо будет, так ты без стеснения...

Аверьяновна. Спасибо, подружка, спасибо! Одну не оставляете...

Кузьмовна. Помогай Бог.

Лиза. Тетя Тина, может, за чем сбегать?

Аверьяновна *(обняв Лизу за плечи)*. Спасибо, милушка моя, спасибо. Беги, беги...

Кузьмовна и Лиза ушли. Сафрон Корнейч, задержавшись у двери, показывает какую-то железяку.

Сафрон Корнейч. Я тут кое-что маракую, может, дело ему какое приспособим... Да-а. Ну, я пошел. Помогай Бог. *(Уходит.)*

Аверьяновна. Бог-то Бог, да сам не будь плох...

(Прислушалась, испугалась чего-то, ищет место, хватается за сердце, прячется в кухню.)

Входят Степан и Надя.

Степан. Мама!

Аверьяновна *(утирая лицо, спешит из кухни)*. Вот и слава Богу! Явились! А я заждалась. Нету и нету... Лес, тайга... Мало ли... Про беглых опять болтают... *(Прижимается к Наде, целует в лоб Степана, собирает на стол, то убегая в кухню, то появляясь с посудой.)*

Надя помогает Степану раздеться. Он оглядывается по сторонам.

Степан. Фикус, диван...

Надя. Видишь, какая я расторопная...

Степан. Опять ерунду воротишь...

Надя. *(утыкаясь лицом в его плечо)*. Нельзя уж бабе никакой каприз позволить...

Степан. Мама!

Входит Аверьяновна с посудой.

Мама! Это самое... Мы с Надей решили!.. Ну, это самое... Насовсем решили!

Аверьяновна ставит посуду на стол, властным жестом приказывает молодым стать на колени. Степан заупрямился. Надя потянула его. Степан стал было, но тут же поднялся.

Да ну вас!

Аверьяновна. Черти не нашего Бога! *(Крестит их и целует поочередно.)* Убудет вас от благословенья-то?! Совет вам да любовь! А я, пока жива... *(Закрывается концом платка.)*

Степан. Ну-у... Погода суха была... *(Заглядывает в окно, хмурится.)* Феклина лешаки несут, с банкой меду...

Аверьяновна *(утирая лицо, уже с улыбкой)*. Он хоть погорельцу, хоть болезному, хоть молодым — всегда жаует медку на гостинец...

В дверь раздается деликатный стук.

Феклин *(входя)*. Можно?

Аверьяновна. Можно, можно. Чего и стучать-то?

Феклин. Кхы! *(Ставит банку на стол.)* Вот! Штабы жись у молодых сладкая была. Кхы...

Аверьяновна. Спасибо, Иван. К столу милости просим.

Все рассаживаются. Аверьяновна наливает в рюмки водку. Перед Степаном стоит кружка.

(Погняв рюмку.) За молодых! За людей, что в беде нас не оставили!.. *(Смотрит на Надю, чокается с нею.)*

Все выпивают, стараясь не замечать, как неловко подхватывает Степан забинтованными култышками посудину. Лишь Феклин пялит на него глаза и сокрушенно мотает головой.

Феклин. Ох, судьба ты, судьба, — кобыла крива: куды завтре увезет — не знаешь.

Степан. Налей еще, мама!

Аверьяновна наливает.

Теперь за тебя, мама, выпьем. И за тятю. Хоть он и погибнул под Берлином клятым, а все равно что здесь...

Аверьяновна. Спасибо, сынок! Ох, нету товарища Загорульки. В городе на совещании. Он бы уж поздравить забежал! Несмысленной душевности человек!

Феклин, не теряя времени, самостоятельно опрокидывает рюмашку.

Феклин. Душевен, да простоват! Простоват, простоват товарищ Загорулька! Нет в ем силы! *(Изображает силу.)*

Чтобы глянул — и пронзил! Чтобы трепет вокруг и смятение! *(Наливает еще одну рюмку, опоражнивает)*. Вот меня взять. Какой я человек? Так себе, Ванька Феклин, пасешник орсовский. А промежду тем мне большой ум природой даден! *(Еще наливает, опрокидывает)*. У меня фактички пять групп образование, а я ротному писарю сказал — три! Три — и шабаш! Вот старшина выстраивает служивых, велит шаг вперед сделать, у кого образование среднее. Человек пятнадцать вышло. Мало тогда грамотеев было. Ребята надеялись — пошлют их в писаря або в хлеборезку. Старшина — сокол! Обглядел их — и хлоп! Ха-ха-ха! Я, грит, это среднее образование из вас вышибу к едреной матери! *(Закатился)*. Вот ка-ак! А я три группы записал, на три и ума оказываю, потому как глупенькому всегда легче жить. Вот меня, дурачка необразованного, в дезобаню и турнули — гори, дескать, мокни как неполноценный кадр. Работа в бане вонькая, душная, ограничено пригодному самая подходящая. Но... Токо умный человек и в бане под лавку не закатится! *(Выпивает еще, целует гонышко рюмки)*. Ммых! Пито было! Едено! Прачек перещупано-о-о!..

Аверьяновна. Иван, Иван!..

Феклин. Пиисят лет Иван! Што?

Аверьяновна. Языком молотить чего не следует, вот что!

Феклин. Помолчи, баба! Я к чему подвожу? Вот он, Степка, — весь в Федора, в покойничка. Тот, бывало, рельсу перегрызет, но не покорится. Гордай был. И этот гордай. А в его нонешнем положении гордость эту под сапог надобно положить и растереть. *(Показывает, как это надо сделать)*. Расейские простофили последнее отдадут. Жалостливы... Вон в городу Митька-Истребитель каку деньгу загребал! Не в руку токо шло! Пропивал, сукин сын!..

Надя. Хорошему же учишь, дядя Иван!..

Феклин. Помолчи, баба! Ты, Степка, Петру помнишь? Племянника моего.

Степан кивает.

Анженер-путеец! А почему? Меня слушал и вон куда взнялся! И ты меня слушай. Спервоначала оно, конечно, советно...

Надя. Дядя Иван, шел бы ты домой.

Феклин пытается что-то обмыслить. Аверьяновна убирает со стола.

Феклин. Это что же выходит? Ты меня гонишь?

Надя. Не гоню, а...

Феклин *(хлопает по столу)*. Нет, гонишь!

Надя. Глупости ты болтаешь.

Феклин. Моя глупость толще твоей умности, потому как...

Надя. Природой ум тебе большой даден!..

Феклин. Степа-ан! Бабе укорот нужон! С первого дни... *(Грозит Наде пальцем)*. Не в мои ты руки попалась! Я б те ребра-те перешпытал!

Аверьяновна. Иван, Ива-ан! Чё расходился-то? Люди с дороги. Им отдыхать. Пойдем-ко, пойдем. Мне на ферму пора. Провожу тебя, как молодого. *(Надевает на Феклина шапку)*.

Феклин *(пытаясь лапать Аверьяновну)*. Ты ишпо и сама ничего! Мя-а-ахкая!..

Аверьяновна. Тьфу, срамец! Тьфу, блудник! Избаловался в военной-то бане! *(Отпалкивает Феклина)*.

Феклин *(едва удержавшись на ногах)*. Ты! Ты! Не больно пхайся! Я в гробу таких видел.. в этих, как их... *(Не может вспомнить и запекает, притопывая)*. Ах, там, где речка, речка Бирюса! Ах, шумит она, поет она, понимаете, на все голоса-а-а... Что за жизнь! Ни выпить, ни побеседовать... Ну никакого порядочного опчества!.. *(Угарившись о косяк, вываливается на улицу)*.

Надя. Дурак дураком! *(Подходит к Степану, ерошит его волосы)*. Об чем задумался, детина?

10

Та же комната, та же обстановка. Аверьяновна одевается.

Надя *(выходя из кухни)*. Не могу!.. Не могу я видеть, как он мается с этой картошкой! Лопату под гнездо всадит, выворачивать начнет — лопата выпадет... Давай, мама, выкопаем картошку ночью...

Аверьяновна *(задержавшись)*. Охолони, Надежда, охолони. В сторожа на ферму он не ходок. А тут каким-никаким делом занят. Меньше блажь в голову лезет. *(Завязывает полушалок)*. Он ведь, милушка моя, с четырнадцати лет в работе. Ему без труда, как кроту, не выжить...

Надя и Аверьяновна уходят. Появляется Степан с лопатой, бросает ее с бряком об пол, тяжело садится на сундук. Входит Сафрон Корнеич.

Сафрон Корнеич. Здорово ночевали!

Степан. Здравствуй, дядя Сафрон! Принес?

Сафрон Корнеич. Принес, принес. Давай примерять. *(Ремешками привязывает к правой култышке Степана железный крючок.)* Вот! Курок спускать есть чем!

Степан. Гляди ты! Я этот крючок сколько раз отключивал-закрещивал, а ты глянул и... Пантронгаш я высоко подвешу, зубами патроны...

Сафрон Корнеич. Лады. А зубы выпадут, что тогда? Тайга, парень, — сурьезная проверка человеку. *(Закуривает.)* И все равно ишшы дело по натуре. Феклина не слушай. Феклин — кликуша и хват. Семья ж твоя сроду на дармовщину не зарилась. Отец твой — в шахте забойщик, на войне — бронебойщик. На Зееловской высоте под Берлином спит, а память его марать не след... "Славы" его всех трех степеней тут лежат. *(Хлопает по сундуку.)* А ты мни, что они на груди... неугасимо... *(Расчувствовался.)*

Степан. Ты во мне не сомневайся, дядя Сафрон. Я побираться не пойду. Я, если чё, лучше...

Сафрон Корнеич. Чё лучше? Чё? Экой ты какой! Это проще простого... Всяк дурак смиктит. Раз и... прощай, земной базар, здравствуй, Царствие Небесное!.. Думаешь, я на фронте не доходил до такого?.. Э-э... Не раз. Не два. Устанешь от работы, от смертей. «Хоть бы скорей убило», — думаешь. Но перемогнешь себя, снова жить охота, землю свою видеть, жену, детей и Богом и чертом забытую нашу Капалушку, роднее которой нету... Это, Степан, и есть наше царствие. Какое сотворили, в таком и живем. А другого ничего, парень, нету. Тлен и мрак. Многие мои товарищи фронтовые отдали бы и руки, и ноги, чтоб только жить, дышать, солнце видеть... *(Забьлся, окурком ему обожгло пальцы. Бросает окурок под сапог, плюет на пальцы.)* Живой завсегда приспособится к жизни. Вот мертвый уж ничего не может. Стало быть, живой о живом и мыслить должен. Охотничать научишься, и косить, и плотничать... Пойдешь на Горелую гриву, медведя встретишь — обойди, он не для тебя пока... Собаку мою возьмешь, Косматку.

Степан. Дядя Сафрон, как же? Таежное ж поверье!

Сафрон Корнеич. Поверье! Поверье! Кержаки-хитрованы напридумывали. Простачки-мужики напугались... Чё на лопату пялишься?

Степан. Кумекаю.

Сафрон Корнеич. *(берет лопату, вертит).* Тэк-

тэк-тэк! Здесь дырку и сыромятный ремешок. Ниже — дырку еще и ремешок. Побег я! А пока в цель постреляй за огородом. *(Поспешно уходит.)*

Степан надевает на шею патронташ, снимает со стены ружье, уходит. Появляется Надя с ведрами, уносит их за занавеску, в кухню. В комнату крадется Феклин.

Феклин (громко). Есть кто дома живой-то, хозяйева?
Надя (из-за занавески). Есть-есть! Я сейчас.

Феклин выставляет на стол поллитровку, раздевается. Он в новом костюме, в чистой рубашке, в начищенных хромовых сапогах с галошами. Торопливо причесывает волосенки на лысеющей голове. Лицо его беспокойно, многозначительно.

(Появляется из кухни.) Ххо-о-о! Дядя Иван! Да при параде! Да с поллитровкой! Какой такой у тебя праздник?
Феклин. Спроворь-ка капустки.

Надя приносит две тарелки с хлебом и с капустой, одну рюмку.

Ташпы другую!

Надя приносит вторую рюмку, Феклин зубами скусывает железную пробку, выплевывает ее на пол, наливает и показывает пальцем, чтобы Надя приняла. Надя принимает, но не пьет.

(Чокается об ее рюмку, махом выпивает, берет щепоткой капусты, жует.) Ну, вот че! Эти тары-бары раста-бары с бабами разводить не люблю. У меня: раз-раз — и на матрас!..

Надя. Дядя Иван, я ведь тебя сейчас выгоню!

Феклин (торопливо опрокидывает рюмку, машет рукой). Ты погодь, погодь! Ишь какая! Вы-ыгоню! А я, может, не уйду! Я, может, с сурьезным намерением. Переходи ко мне жить!

Надя. Дядя Иван!

Феклин. Дя-а-адя! Какой я тебя дядя? Я те ишшо такого дядю покажу! Турка! Какая твоя житуха? Чё ты видала? Грязь ворочала, в грязи и помрешь! У меня жа...

Надя. При живом-то муже!..

Феклин. Му-уж! Муж твой объелся груш! Калека он! Какая с его прибыль?! Я еще веснусь к тебе приглядывался, да пролопушил!..

На улице слышен выстрел, спустя время другой, третий.

(Поморщился, потревожился и заторопился.) С шахты, с подъемника я тя уволю. Помощником на пасеку оформ-

лю. Дома у меня, сама знаешь, как у дворянина: и тебе гармошка, и тебе патефон... Одних пальтов шесть штук, не шпытая шинели. Сапожки тебе куплю, юбку с молоньей на зад.

Надя. Хватит, жених! Вон тебе Бог, вон тебе... *(Что-то увидела в окно, и тон ее переменился.)* Греха-то не боишься, дядя Иван? Году не прошло, как Христинья умерла...

Феклин. Дурында! Все мне грехи война списала! Я иностранок пробовал, хочешь знать!

Надя. Слаще наших иностраночки-то?

Феклин. Ишшо бы! Ба-а-альшой у них интерес к этому делу, и мастерство на агромадной высоте!

Надя. Блудничал, пока другие воевали, увечились. Христинью-то почему замучил?

Феклин. Я — мужик! Блуду в доме не потерплю!

Надя. Значит, тебе все можно?

Феклин. От веку Богом обязанности распределены.

Надя. Материшься в Бога-то...

Входит Степан, ставит ружье в угол.

Степан. С кем это ты тут?

Надя. Да вон с дядей Иваном. Свататься пришел!

Степан. Сва-ататься?! Мама давно ему от ворот поворот наладила...

Надя. Н-ну, зачем ему старуха? Он — сладкоежка! Иностранок пикорчил...

Степан. Та-а-ак!

Феклин. Врет она, врет!

Степан показывает глазами на поллитровку. Феклин быстро засовывает ее в боковой карман пиджака.

Степан. А ну, кавалер!

Феклин. Погоди! Погоди-и-и, паскудница!

Степан. Тебя выпинать?

Феклин. Я те выпинаяю! Я те выпинаяю! *(Бросается на кухню, возвращается с поленом.)*

Степан. Дрова воруюешь, гад! *(Пинает Феклина, еще, еще.)*

Феклин *(вопит)*. Сведу-у-у! Изуррочу-у-у! Я наговор кержацкий знаю! *(Убежал.)*

Степан. Вот зараза! *(Смотрит на Надю.)* Ты хотела, чтобы я его сам?

Надя. Ага.

Степан (*сагится на сундук*). Да-а, Надея, не вдруг тебя осаврасишь! Ты баба или шибко сильная, или шибко хитрая!..

Надя. Хитрая, хитрая... Иначе нашему брату как? В девчонках надо с хворью таиться. Потом от соблазну убе-речься, после от кобелей отбиваться. Ну, а еще после, коли Бог мужа пошлет, — ублажать его... И сделаешься в конце концов оччень хитрая! (*Убрав посуду, погметает пол.*) Мужик, он как? В первую ночь жену на руках — она его всю жизнь на горбу... Иная тащит, тащит да и... уро-онит!

Степан. Послушать тебя, так страшнее мужика и зве-ря нету.

Надя. А и нету! Вон Феклин-то! Срамник из срамни-ков, но жена чтоб лебедь белая... До войны в помощники на пасеку молодок брал да брюхатил. В войну — над бан-но-прачечной обслугой шефствовал, иностраночек шеру-дил.. А Христинья-страдалица трудармейца на лесозаго-товках пожалела, так мценье ей той же оружьем учинил... Соседи-то, если и слышали, — ни гугу. Как же: мужик жену учит...

Степан. Ты по Феклину всех не равняй!

Надя. Кабы я по нему всех равняла, так давно бы в пруду противопожарном утопилась. (*Отжимает белье, напевает.*)

Ох, я страдала — страдану-ула!

Ох, с места в пруд я сиганула-а!

А милиция: "Куды?! Засорять нельзя пруды!"

Степан (*выкатывает на стол патроны, хохочет.*)

Н-ну, Надея, ты своей смертью не умрешь! Тебя этим... самосвалом тебя задавит...

Надя. Буде болтать-то. В тайгу налаживаешься?

Степан. В тайгу...

Надя. В тайгу... разгонять тоску. На вот. (*Погает Сте-пану зажигалку.*) Отсыреют спички... Тайгу обломаешь. Нагура у тебя...

Степан. Михалыч сказывал — дура!

Надя. Ох, Михалыч, Михалыч! Какие люди-то быва-ют! А мы — когда помрет — только и разглядим... Дрянь, вот она, в глаза и лезет!

Степан, одной куатышкой прижав зажигалку к торцу стола, другой высе-кает огонь. Высекает, гасит, высекает, гасит.

Степан. Да. Надея, ба-а-альшой тебе, промежду прочим, ум природой даден!

Надя. А ты у меня дурак дураком!

11

Дерябинская кулига со стогом посредине и с черемухой. С черемухи облетел лист. Дальше перевалы в белом покрове. За сценой выстрел, другой. Лай собаки. Степан, заросший, с ружьем, шатаясь, выходит на поляну, задирает в небо лицо.

Степан. Бог ли, дьявол ли! Кто там есть? Да помогите же вы мне!

Голос собаки переходит в рыдание. Степан бросается за ней. Выстрел.

(Кричит где-то рядом.) Отдай! Отдай, Косматка!.. (Снова выбегает на поляну. Держит в кульнях куницу, с негоумением и восторгом смотрит на нее. Шепотом.) Добыл! (Громко.) До-о-обы-ыл! Сам! Один! До-о-обы-ы-ыл! До-о-обы-ыл!.. (Приваливается спиной к стогу сена, плачет, замирает, уткнувшись лицом в мех куницы.)

На поляну, озираясь, выходит Хыч. В руках у него нож. Он прячется за черемуху. Степан как уткнулся лицом в куницу, так и сомлеет. Хыч крадется к нему.

А! Кто?

Хыч. Мри, дядя!

Они напряженно смотрят друг на друга.

Курить! Подыхаю, пала...

Степан. Я не курю.

Хыч. И не пьешь?

Степан. И не пью. *(Повременив, уже спокойней.)* Не на что пить-то. Татем таежным не могу... *(Оглядывает Хыча пристальней.)* Убери нож-то. Не из пугливых.

Хыч. Гли, какой храбрец!

Степан. И не храбрец. Мне бояться никого не надо. Я никому зла не сделал. По земле своей вольно хожу.

Хыч. Во фраер, а! Да я...

Степан. Ты вот что. Ты эти словечки для блатных девочек побереги. И не якай. Твоего «я» нету! Нуль! Цифра на спине.

Хыч грозно надвигается.

(Поднимая ружье.) Сядь! У меня хоть дробь в зарядах, но на такого зверя хватит...

Хыч. Да ты што?! Да я, пала, баранину ел, понял?! Копченую, понял?! Семь побегов!

Степан. Это восьмой. Понял. И зовут тебя Хычом.

Хыч. Откуда знаешь? Хотя... Я еще на этапе — а мусора уже икру мечут!..

Степан. Чемпион! Лауреат! Над кем лютуешь-то? У людей еще с войны слезы не высохли. Гитлер-собака сдох, так ты его дело продолжаешь...

Хыч. Н-но, ты!.. Какие слова говоришь, пала? Я терплю, терплю...

Степан. Раз пузыришься, значит, верные слова говорю. Сядь! В мешке хлеб. Достань, поешь и ступай властям сдаваться.

Хыч достает из мешка Степана горбушку, жадно ее рвет и вдруг, свалившись на землю, катается.

Хыч. На свободу хочу-у-у! Глоток свободы хочу-у-у!..

Степан (*качая головой*). Эк изварлыжился человек! Вон она, на башке вся твоя свобода. Каждый побег седьмой помечен. Выходу на магистраль сейчас вашему брату нету. По тайге до холодов рыскаете. Сколько до срока-то осталось?

Хыч. Год!

Степан. Го-од! И ты ушел?

Хыч. Такая моя натура. На Колыме было. Три месяца осталось — оторвался!

Степан. Ну и дура твоя натура! С виду вот ты мужик, но по уму младенец, недоросль, потому как жизнь пробегал да в храброго блатного проиграл.

Хыч. Я жись промотал. Ладно. По ветру ее, вонючку, развеял. Ладно. Но я хоть погужевался! Один раз инкассаторшу с тремя мильенами загрочил!..

Степан. И все вы по банкам да по инкассаторам! Кто же тогда белье с заплатов тянет в Капалушке?

Хыч. И я сымал. Жись моя разнообразно шла.

Степан. Инкассаторшу-то убил?

Хыч. Зачем же? Баба, что стерлядь, все в дело идет, от головы до хвоста...

Степан. Недаром у нас в поселке детей зэками пугают.

Хыч. Ну, а ты-то, ты-то чё в жизни видел? Чё взял от нее?

Степан. Разве человек живет для того, чтобы брать?

Хыч. А то как же?

Степан. Вот я и говорю — недоделок ты.

Хыч. Зато ты переделок! Чего с лапами?

Степан. Оторвало взрывчаткой. Хлеб учусь добывать. Ты вот и отберешь у кого. А мне отбирать нечем.

Хыч (*исподлобья наблюдает, как собирается Степан*). Ты что, взаправду своим трудом прокормиться думаешь?

Степан. На, понюхай! (*Сует Хычу под нос куницу*.) Сам добыл!

Хыч (*погнимается, засовывает ножик за пазуху*). Ясно! (*Времениш, топчется*.) Аухвидерзейн! Чуть я тебя не приголубил, горемыку...

Степан. В другой раз гляди, кабы я тебя не приголубил. Ступай сдаваться!

Хыч. Пошел ты, пала! (*Ушел*.)

Степан хмуро смотрит ему вслед. На поляну выходит Надя, повязанная шалью, в телогрейке, с мешком за плечами. Замечает Степана, привалившегося к стожу, и качает головой.

Надя. Чадушко! Живо-ой!

Степан. Надея! Надя! (*Идет к ней, оглядываясь на лес, в котором исчез Хыч*.) Зачем бродишь по лесу одна? Отчаянная башка! (*Протягивает ей куницу*.) А я вот!.. Добыл! Сам добыл! Понимаешь?

Надя (*не приняв куницу, со стоном приваливается к нему*). Не-ет, с тобой не соскучишься! (*Гладит его по щеке*.) А зарос-то, зарос...

Степан. Молоньей зверек идет. Да все поверху, таежной грядой, таежной грядой... Ну, думаю, если и сегодня не добуду... Все! Ухожу! В сторожа только и гожусь...

Надя. Мне как будто сердце подсказывало — здесь тебя найду...

Степан. Отыщу след, ссекуся. Отыщу — ссекуся... Косматку замучил...

Надя. Черемуха-то... Нас которая повенчала, стоит... И даже ягодок маленько осталось! (*Срывает ягоду, раскусывает*.)

Степан. Ты не смей ходить одна! Надо будет избушку в лесу рубить. Без избушки какой промысел?

Надя. Степ, ты все про охоту да про охоту. А у меня новость тебе!

Степан. Новость? Какая может быть новость в Капалушке?

Надя. Такая! Маленький у нас веснусь...

Степан. Черемушный?!

Надя. Ага.

Степан. Черненький, поди, как цыганенок, будет! Вот это да! *(Сильно прижимает Надю к себе.)*

Надя. Тихо ты, медведь! Задавишь! Со мной надо осторожно теперь...

Степан, отступая на шаг, как бы заново всматривается в Надю.

Степан. Н-ну жизнь! Ах, Михалыч! Ах, умница! Не-поборима жизнь! Все! Иду на неделю белковаты! Сыну шапку! Тебе шапку! Работать буду! Жить! Все одолею!

Надя. Да ты поешь спервоначала! *(Развязывает мешок.)* Бороду сбрей. В баню сходи. Борода у тебя, как у татарина, реденька и красна. А сыну до шапки еще о-о-ой как далеко!

12

Кабинет Загорулько. Старый диван, письменный стол. В углу железная печка. На подоконнике графин с водою. На столе счеты, массивный чернильный прибор, телефон. Над столом ярко горит большая лампочка. На стенах таблицы достижений подсобного хозяйства. За столом сам товарищ Загорулько. За печкой, лежа на боку, смолит табак Митька-Истребитель.

Загорулько. Город? Трэба город! *(Сердито кидает косточки на счетах.)* Шо? После полуночи? *(Бросает трубку.)* Шоб тобі исты давали о пивночи!

Митька-Истребитель. Гляжу я на тебя, товарищ Загорулько, и дивуюсь: танкист, боевой командир — и такой навозной работой занялся!

Загорулько. А ты вон, боевой летаек, истребитель беспощадный, в окно тикав, к Кузьмовне на перевоспитание попав! *(Кидает косточки на счетах, напевая.)* «А н-на тому бо *(косточку кинул)* ци, там жи *(еще косточку)* ве Марычка...» А шо, Кузьмовна з ротой летаков управится?

Митька-Истребитель. Ты чё? Какие тебе в авиации роты? У нас эскадрильи!

Загорулько. Эскадрильи, эскадроны, эскадры, а дэ ж мне взять кадры картоплю копать?

Хлопает входная дверь, скрипит лестница, слышны шаги.

(Насторожившись.) Ось, трудящего черти несут, мабудь пьяного? Вин мне поможе...

В дверях Хыч с топором на сгибе руки, кривит губы. Постояв, направляется к столу Загорулько.

Шшо?.. Шо таке?

Хыч, приподняв топор, медлит, пробует острие пальцем и кладет его перед Загорулько на бумагу.

Хыч. Шютю я! (Поправляет очки, спавшие с одного уха Загорульки.) Ну, чё офонарел? Шютю-у-у!

Загорулько. Вин шуткуе!.. (Кричит.) Сказывсь, бродяга! (Цапает топор.)

В это время подкатившийся сзади Митька-Истребитель дает ребром ладони под колени Хычу. Тот, ойкнув, присел на пол.

Митька-Истребитель (сгреб Хыча за грудки). Трри «мессера» на одного «лавочкина»!.. На кого налетаешь, сморчок! На танкиста с большим сердцем? На безногого пилота?..

Хыч. Да погоди ты, погоди! Задавишь, пала...

Митька-Истребитель. И задаваю! Кто такой — можешь не балакать. Знаю. Амнистированный.

Загорулько (хватает с окна графин, пьет прямо из горла). Сэрце. Сэрце. С госпиталяу сэрце погано, а вино мэни...

Хыч. Ниче, ниче, начальник! Сердцем нече заниматься, сохранить бы грешное тело! (Митьке-Истребителю.) Ну чисто всю пикульку передавил! Дал бы закурить.

Митька-Истребитель. Я те дам, я те дам! И закурить! И выпить! Может, тебе и девочек еще?!

Хыч. А чё, есть?

Загорулько. Такому шкоде тики девочек!

Хыч. Ну дайте закурить-то!

Митька-Истребитель презрительно сует ему скомканную пачку.

Болгарские! Давно не пробовал! (Закуривает, садится на пол, ноги сложил колесом — по-тюремному.) Лаф-фа-а! (Митьке-Истребителю.) Ты чё, сторожем тут? Или шестерить?

Загорулько. Послухай ты, артыст!

Хыч. И слушать не хочу! Начинаю новую сознательную жизнь! Принимай на работу, начальник!

Загорулько. Во, трудяга! Цэй даст стране угля, мелкого и много-много!

Хыч. И дам! Ты не гомони, ты — власть! Ты должен меня трудоустроить и перевоспитать...

Загорулько. Шо ж ты тоди, як Стэнька Разин — с секирою до власти приступаешь?

Хыч. Говорил — шютю!

Митька-Истребитель. Ты у меня пошутишь, харя! Ты у меня...

Хыч. Э-э! Довольно! Потолкуем как фраера. Зачем сюда пришел? Встренул в уреме одного. Без лап. Кто сказал, охотник — без лап! Не поверил бы. Сам видел!.. Хотел я его запороть, лопоть сблочить, ружье забрать, а он меня самого ободрал! Не натурально. А так. Вообще. Осень, понимаешь, холод, а я стою перед им будто голый... И весь я своими геройствами худой-худой... С тех пор и стал я задумчивый... Чё лыбишься, начальник? Думаешь, я не пригоден для осознания ошибок жизни? Заработал я амнистию и — сюда. Если и тут туфта — порубаю все, подожгу Капалушку и сам на кальсонах в общественном сортире повешусь. Раз жись — погань, пусть и смерть погань! Но парень-то безлапый-то не скиксовал! Вот потому я здесь!

Загорулько. Дуже веселый ты, хлопец! А у мэни работа. Летак вон говорит — в навозе да в земле... Мабуть, на шахту? Там гроши хороши...

Хыч. Сказал же! Уж если я с двумя лапами на глазах того парня сорвусь — отрубите мне башку, пале, и на помойку ее выбросьте...

Резко звонит телефон. Загорулько жестом останавливает Хыча, берет трубку, прикладывает к уху.

Загорулько. Шо? Студенты? Добре! Шо, плакат? Який плакат? Ха-ха-ха-ха!

Митрофан Хычов бросает телогрейку в угол, ложится. К нему придвигается Митька-Истребитель. Они, как братья, устраиваются спать.

Хлопцы, студенты на кортоплю прибыли! А в их плакат, ха-ха-ха-ха! «Дорогие товарищи колгоспники, поможем студентам убрать урожай!» Ха-ха-ха-ха! Н-ну, хлопцы! Н-ну, молодцы! *(Увидел, что Хыч и Митька уснули, осекся, прижал палец к губам, покачал головой.)* Спокойной ночи, малыши!

13

Поляна на всполье за Капалушкой, та самая, где Степан взрывал пеньки. Пеньков нет. Штабелек бревен появился. На низкой козлине, вбитой в землю, Хыч с Митькой-Истребителем опиливают кряжи. Степан тешет бревно топором с длинным топорцем. У него черные, лаково блестящие протезы.

Хыч *(протягивая пилу)*. Мене, тебе, нача-альнику! Тебе, мене, нача-альнику...

Митька-Истребитель. Нет, не выдержу я трудового ритму. На гастроль подамся, в Молдавию. Там сейчас вина-а-а-а...

Степан. Была вина да прощена. Так тебя Кузьмовна и отпустила!

Хыч. Во попал так попал, Истребитель! Крепче карцера!

Митька-Истребитель. Она, че доброго, женит меня! Вдовушка вчера с шахты прискакала. Выпили, поговорили. Она плясать: «Ух, ух, люблю двух! Погляжу — одна лежу!..» Намекает.

Хыч. Подруги у ей случаем нету?

Митька-Истребитель. Пошукаем!

Степан. Шабаш! Закуривай, работнички! *(Втыкает топор, смотрит на протезы.)* Да-а, хороши, а все же не свои, казенные руки...

Митька-Истребитель закуривает, дает прикурить Хычу.

Митька-Истребитель. Ну как? Могем?

Степан. Пилите вы подходяще, но придуривайтесь на-выкли.

Хыч. В колонии на лесоповале сей муж *(стучит себя кулаком в грудь)* чудеса трудовой доблести показывал! По пять каш зашибал, потом вором в законе сделался.

Митька-Истребитель. А я в детстве беспризорничал, большой спец по карманной тяге был! Щипнул одного дядю. Он цап меня! Думаю, как обычно, бить будет, а он меня в детдом. Там у нас мастерские были. Я дерево любил. Потом — призыв в летное училище... Э-э-эх! «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вмеесто сердца — пламенный мото-ор!..»

Хыч. Ну вот встренул бы ты того немца, который тебя приземлил. Чё бы сделал?

Митька-Истребитель. Да хрен его знает? Выпили бы, поговорили...

Хыч *(перегразнивая)*. Выпили бы, поговорили... Я б ему, суке, ноги сперва поотрубал, а потом бы выпил и поговорил с им...

Степан. Дак вот бодучей-то корове бог рогов и не дает...

Хыч. А ну вас! Р-романтики! *(Митьке-Истребителю.)* Ты это, насчет подружки-то, не забывай. Кореша все же. Я ей сказочку расскажу... *(Пагает на траву и пове-*

ствуем.) Жил-был и жила-была! Жил-был как прижал жилу-былу, так жила-была едва жива была!

Степан. Ска-азочник! Ты, Митрофан, вон Митретья спроси, как он в футбол играл? Ребятишки по мячу бьют, а он его на кумпол принимает... Стадион потешается. Вратарь! Лев! Пуцай не Яшин, а все лев.

Митька-Истребитель (*напыжившись*). Н-на, пожил, повеселился!

Степан. Из фронтового увечья потеху сотворил...

Хыч. А я из жизни своей — дулю.

Степан. Не было в главную минуту возле вас, ребята, главного человека...

Вдруг принесло, швырнуло горсть желтого листа. Вверху слышен гусиный переклик.

(Прижал лист к щеке, зажмурился. Не открывая глаз.)

Местный гусь пошел. Ворогуйка. Матерый с севера еще не тронулся.

Шелест листа, шелест крыльев, гусиный прощальный переклик.

Смотрите! Дивуйтесь! Экая благодать дадена человеку!.. Вот отработала земля, отдыхать изготавливается, чтобы весной снова рожать прокорм людям, птицам, всякой живности. У земли всякая живая тварь — свое дите, и все равны, ко всем она одинакова, всех бережет от глада, мора, стужи... Сквозит, сквозит холодок по гривам, листвою, листвою идет. Упадет иной листок стерженьком кверху и плывет, как утица, а куда плывет — сам не ведает... В суземье тепло с лета настоялось. Птица боровая туда попадалась. Ночует в лапнике. Корм — вот он! Орех, брусница, клюква, кисленка, где и гонобобель, приморщенная иньем. Гриб с теплого туману пошел в шерсти — волнуха, груздь, боровой рыжик...

Хыч. Ох и блажной же ты, охотник-работник! В колонии ты бы пропал...

Степан. А мне колония ни к чему. Ах, ребята, ребята!.. Жалко мне чего-то... Вас? Себя ли? Тятю ли погибнувшего? Вот вы дивуетесь на меня. А я ведь, ребята, живу как жил. Вот были бы у меня руки, я так же бы жил, только меньше понимал бы. Это как слепому, когда его зрячим сделают, уж лучше ничего нету, как свет глядеть... Вы, ребята, не посчитайте меня чокнутым. Я, когда в лесу бываю, все разговариваю, разговариваю... Про себя, конечно. Тайга не любит человеческого голоса. И глазу чело-

вечьего не любит. Я даже пню и тому говорю: «Стоишь? Не сопрел еще? Ну, стой, стой, хорони елочку — вон она как угрелась меж камней...» Или с речкой: «Чё же озоруеть-то? Я дерево свалил, переправу для себя изладил, а ты ее сорвала, утартала черт те куда...» И всяк мне в лесу брат и сват. (Усмехается.) Наговорюсь с пеньями и кореньями, а дома — шабаш. Даже своей жене об своем хорошем отношении не сумел...

Митька-Истребитель. А неча и слова попусту трать, когда без слов все понятно.

Хыч. Износили, пала, слова-то, как рубаху. Особо — любовь. Любовь? За пайку хлеба, пала!

Степан. Не-ет, Митрофан, не-ет!

Хыч. Че нет-то? Таких баб, как твоя, может, одна и есть.

Степан. Для меня — одна на свете. Где-то есть и для тебя. Да ты не искал. Ты шакалил. Бегал. Хватал. А мир — он, Митрофан, бо-о-ольшой. И каждый человек в нем, как хвоинка в огромной человеческой тайге... Человек в мире, и мир в нем. Вот и найди свою хвоинку, приткнись к ней, прирасти, дай сок и свет дереву жизни... Живой об живом... Я вот об тятэ думаю часто. Хаживал и он тропками здешними. А ныне спит на чужбине темным сном — не видит солнышка яркого, не слышит ручья бегучего, не пьет соку березового... Я ведь, ребята, уж в его возрасте. Нет, старше! Ба-атюшки! Его годы остановились, а мои идут, идут... Все мы за погибнувших живем... А раз так — дорожить жизнью-то надо бы, не поганить ее...

Хыч. Нет, охотник-работник, тебе не в тайгу... Тебе к пацанам надо. Учить их. А где и драть, чтоб не лезли, палы, в тюрюгу по дурости...

Степан. Я им про Фому, а они про Ерему... (Припогнулся, вытянул шею.) Постой, постой, ребята! Это куда же наша Капалушка поднялась? Никак войной на басурман!

Хыч. И полководец впереди! Товарищ Загорулько!

Слышны говор, смех. Загорулько с топором, за ним женщины, мужики с лопатами, носилками, пилами, ломами.

Загорулько. Здравия желаю, товарищ Творогов! Принимай рабсилу!

Степан. А я думал... А я думал, войной на кого...

Загорулько (вращая топором в воздухе). А шо? Який ворог — мы его! Одолеем, бабы?

Женщины (хором). Одолеем, одолеем, Тихон Хомич!
Кузьмовна (показывая на грудь). Мы его этим ору-
дьем рашпыбем!

Хохот.

Загорулько. Разобраться попарно! Приступить к ра-
боте!

Женщины. Речь! Речь, скажи, Тихон Хомич!

Загорулько громоздится на штабелек леса, снимает фуражку, вытирает
подкладкой лицо.

Загорулько. Браты! Як е мы все трудящие подсоб-
ного хозяйства номер семь шахтоуправления номер шесть,
то е наш долг помогать друг другу, як то было у годы
Великой Отечественной войны...

Появляется Феклин; слушает. Степан что-то шепчет на ухо Лизе. Та
убегает.

Товарищ Творогов зачиныв соби хату, а мы помочь по
обычаю народному...

Кузьмовна. Как говорит Тихон Хомич! Как гово-
рит, Аверьяновна. Будто по писаному!

Аверьяновна. Слеза пройма!

Появляются Надя и Лиза. В руках у них чайники. На рожки чайни-
ков надеты кружки. Аверьяновна забирает у Нади один чайник.

Загорулько. Як е я бывший танкист, то хата будэ,
як танка, крэпка! Як моя жинка — тэпла!

Аверьяновна поднесла Кузьмовне, и она одним духом выпила, поцелова-
ла дно кружки, а заодно и товарища Загорулько.

Кузьмовна. Вот! За речи твои складные.

Аверьяновна (подносит с поклоном кружку Загоруль-
ко). Отведай, Тихон Хомич! Уж такие ты слова говорил!
Такие слова...

Загорулько. Слова — шо? Слова — мыкына. (Вы-
пивает, крикает.) Вот пиво — це матэрья! Один танкист —
хлопэц добрэ спивав: «Ох, титка моя, мыла ты Лукэрья!
Сознания вторично, пэрвична матэрья!» (Приплясывая,
выдывает колено.)

А рядом Кузьмовна уж что-то похожее на твист изображает.

Митька-Истребитель (выкатившись на середину,
вскидывает руку). Пр-ривет трудовому нар-роду!..

Кузьмовна. К самому разу Истребитель вылетел! Выпивку на выстрел чует!

Надя и Аверьяновна обносят угощением работников.

Аверьяновна. Кушайте, кушайте, люди добрые!

Феклин (высунулся. *Прежде чем выпить, обратился к Степану*). Суседом будешь, Федорович! А известно: жить надо с суседями, а не сусеками! (*Выпивает и тут же снова подставляет кружку под рожок. Напекающе звякает по чайнику*.) В отца ты пошел, Степка, в отца! Тот, бывало, рельсу перегрызет...

Кузьмовна. Пиво-то, пиво-то како забористо! Поднеси-ка, кума, еще чарку маленьку, с шайку банненьку!

Сафрон Корнеич. В лапу избу! На век чтобы! В крепком доме и жизнь крепкая!

Лиза. Флюгер на крышу! В виде космической ракеты!

Митька-Истребитель. Народ, работай! Я буду подухивать!

Сафрон Корнеич. Печь всему голова!

Лиза. И черемуху. Черемуху под окно!..

Аверьяновна (*перекрывая все голоса*). А что это, товарищи-друзья, такое? Что такое, спрашиваю! Ни в поле, ни в леску с самой войны ни единого голоску! Да что же мы замолкли, люди русские?! Что мы, среди других наций затерялись? В войне иль в труде легкой доли искали? (*Топает ногой*.) На своей земле стоим! Защитили ее кровью великой, оплакали слезой горючей... Мужья наши полегли. Сыны выросли!..

Степан смущенно прячется за Надю.

Горе мы перемогали и перемогнем! Чужого займовать не станем. Своего такого добра хватает. А радость в работе сдобудем! Ну-ко, молодушка Кузьмовна, вспомним нашу весну-красну!..

Кузьмовна (*неожиданно звонко*). «Ка-ак однажды расприкрасный наш колхоз отослал меня дрова пилить в лесхоз! Ну, а я не растеря-а-алася-а, в итээры записалася!»

Вся компания. «Калинка-малинка моя, в итээры записалася!»

Степан (*улыбаясь, берет топор и даже пробует попеть*). «Калинка-малинка моя-а...»

Хыч пронзительно свистит. Сафрон Корнейч накатывает бревно, и они вдвоем со Степаном принимают тесать его. Женщины подхватывают носилки, лопаты. Феклин одиноко и потерянно топчется посреди сцены.

Феклин. Опчество! Гляди ты, опчество!

Хыч всовывает ему в руки ручку пилы, тянет работать. Митька-Истребитель, как бы приняв от Хыча эстафету, свистит и ухает.

Голос Кузьмовны. «Ухватил меня мой муж за волосье, баба хитра — поскорее в голосье! Ка-алинка-малинка моя...»

Занавес медленно закрывается. Песня летит выше, дальше.

ПРОСТИ МЕНЯ



Драма в двух действиях

•

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Миша Ерофеев, 19 лет.

Лида, медсестра, 18 лет.

Смерть.

Мать Лиды.

Агния Власьевна, главврач госпиталя.

Пана, медсестра.

Няня.

Два слепых мальчика.

Афоня Сидоров.

Матрена, жена Афони Сидорова.

Катя

Афоня-младший } дети Сидоровых.

Ваня

Старшина Шестопалов.

Рюрик.

Восточный человек.

Попийвода.

Старичок-философ.

Полковник.

Два солдата-разгильдяя, несколько раненых
больных и санитарок.

Игрок.

Болезьщик.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Полное затемнение. Тишина. Постепенный нарастающий раскат грома, и вместе с грядущим громом во всю мощь, как обвал: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» Отдаляется, гложет песня. На нее наплывает хаос звуков: крики, морзянка, взрывы, свист пуль, вопль мин, удар по железу. Но над всем этим преобладает один какой-то пронзающий все тело, сердце, звук, похожий на звон дисковой пилы, режущей металл. Отчетливей, внятней слышны крики: «Огонь! Огонь! Бей его, падлу! Бей! Огонь и дым! Зависла!.. Мина зависла! Вот зараза! Вот зараза!» Разгорается свет, выявляя койки, палату, посреди которой стоит стол. За столом, возле керосиновой лампы, прикрытой газетным абажуром, сидит девушка в белом халате. Читает. Темнеет квадрат окна. В этом квадрате неровными жилами переплелись ветви дерева. В палате продолжается война: «Огонь! Огонь! При-рицел четыре! Трубка шесть...» Вдруг громко и отчетливо: — «Хочешь жить — копай землю!» — В углу на койке подскакивает огромная фигура в белье.

Девушка (*читавшая газету*). Вы что, Шестопалов? Шестопалов. Ничего, Лида, ничего. Война снится. Все война... Как Афоня?

Лида. Спит пока. Снотворное действует. Но вообще-то...

Шестопалов. Ах ты... Не уберег мужика! Не уберег... И все отделение утробил... Ах ты... Нельзя на войне промахиваться никому, разведчику и подавно. А-а-ах...

Лида. На войне кто не воюет, тот, наверное, и не ошибается.

Шестопалов (*смотрит на нее удивленно*). Так оно... Да вот тут-то, тут-то согласия нет. Я мог, мог... Внимательней, собранней надо быть. А-ах ты... Как там молодежь-то?

Лида. Тоже спят. Вертятся только без конца.

Шестопалов. Воюют. Тоже воюют. Мишка, сибирячок-то, после операции как?

Лида. Все прекрасные слова высказал. Отошел. Спит. (*Встрепенулась, что-то заметив*.) Одну минуточку, товарищ старшина, одну минуточку. (*Вытягивает шею, всматривается*.) Ну так и есть! Только отвлекись, забудься, она уж тут как тут!

В противоположном углу палаты высвечивается койка. Возле койки Миши Ерофеева, облокотившись на спинку, стоит Смерть, и меланхолическая улыбка трогает ее смазливое лицо с накрашенными губами. Смерть одета в черное диковинное платье, подол которого, разделенный на широкие ленты, антрацитно сверкает, по нему искрятся ночные звезды.

Миша. Ты кто?

Смерть. Смерть.

Миша. Чья?

Смерть. Пока не разобралась спросонья.

Подбегает Лида, загоразживает собой больного.

Лида. Пошла отсюда! Пошла вон!

Смерть. Чего-о-о?! Ты, пташка...

Миша. Сказано тебе — катись! Стальит катись колбаской!

Смерть. Грубиянишка! *(Треплет Мишу за щеку.)* При девушке, при милосердной сестре такие выраженья! Эх-хе-хе! Охамеешь с этой солдатней! Ну ладно, покедова! Я, кажется, койкою ошиблась. *(Поет.)* Что-то с памятью моей стало... *(Вздыхает.)* Считаю с вечера, считаю — и ошибусь голов на тыщу. Работы гибель! *(целует пальчики.)* Гудбай, как говорится на одном острове... *(Передвигается от койки к койке, напевая.)* А умирать нам рановато, пусть помрет лучше дома ж-жена!

Миша. Вот распустилась, зараза, за войну! Во облагела!

Лида. Уж распустилась так распустилась! Властвует!

Смерть *(склоняется над Афоней Сигоровым)*. Как ты тут, болезный? Не сподобился еще?

Афоня *(слабо борется со смертью)*. Уйди! Уйди! Креститься начну... Матюгом покрою...

Смерть. Напугал! Я этих матюгов перетерпела-а-а! И в таких-то условиях женщина работай!..

Афоня. Какая ты женщина! Ты — зло!

Смерть. А зло на чём замешено, мужик?

Афоня. Н-ну, на добре.

Смерть. Вот то-то и оно-то! А я — как избавленье от всего.

Афоня. Поди ты! Покрою! Правда, покрою!..

Смерть. Не посмеешь! В последние часы мои клиенты суеверны. Давай-ка поторапливайся! Дюжишь, дюжишь... Другой бы давно околел. Обход мой продолжается. Косьба идет. Большая косьба...

За сценой слышны крики: "Смерть! Смерть!"

Иду, иду! Чего вы орете? Вас много, я одна...

(Исчезает во тьме.)

Лида *(считает пульс у Миши, опускает его здоровую руку на одеяло)*. Ну, как вы?

Миша. Да я-то ничего. Как вы?

Лида. Я тоже ничего.

Миша. Ничего на ничего — и получается ниче.

Лида. Герой! Шутник! Обаддельй от наркоза. Лежи и не дрыгайся. А то она, эта дама, тут поблизости.

Миша. Ниче, значит, нельзя?

Лида. Ниче.

Миша. Ты какую книжку читаешь?

Лида. Интересную. *(Хочет уйти, но задерживается.)* Стихи. Сборник стихов. Тут Пушкин, Блок, Есенин, Тютчев, Ахматова. Читал?

Миша. Не-е, я стихи не люблю. Я больше про разбойников да про пиратов люблю.

Лида. Тоже занятная литература. *(Мнет конец косынки.)* Неужели и это вот не нравится? «Вокруг белым-бело, так чисто, пусто так. Зима? Нет, не зима. Светло, а снега нет. Ах, этот белый цвет, ах, эта чистота... Зачем палаты красят в белый цвет? Припомнилось опять: от крови красный наст, и пламя ран, и горя чернота. О, госпитальный цвет! Разительный контраст жестоким фронтовым двум траурным цветам! Других на свете нет. Покаяться был готов! Победы красный цвет, вей знаменем, гори. Мальчишкой верил я, что в спектре семь цветов. А было на войне три цвета. Только три!»

Миша. Здорово!

Лида. Вот! А то — про пиратов люблю...

Миша. Да стих-то у тебя как-то душевно произносится. Слушал бы и слушал.

На койке заворчался Попийвода, приподнял голову Рюрик. Лида это заметила.

Почитай еще? Поговори!

Лида. Нельзя. Сосед, Попийвода, заворчит.

Миша. Сосед? Да, сосед у меня... А тебя как зовут?

Лида. С этого и начинал бы, как все добрые люди.

Лида. А тебя?

Миша. Мишкой. Ерофеев Мишка.

Лида. Вот мы и познакомились. Спи. На рассвете так хорошо спится...

Миша. Ага, познакомились

Опять в палате появляется Смерть.

Афоня. Сестра! Сестра! Сестреница!

Лида. Я все-таки пошла. Зовут. *(Погладила мимоходом по щеке Мишу.)* Ну, как от нее избавиться? Как отмыться?

Афоня. Сестреница! Тут Смерть! Так и шастает, так и шастает... Отгони ее от койки! Отгони...

Лида. Сейчас! Сейчас! *(Хватает полотенце, машет им.)* Уйди! Уйди! Проклятая! Уйди!

Смерть, ухмыляясь, пятится, отступает в темноту. Афоня успокоенно расслабляется. Лида дает ему попить из мензурки, озирается вокруг, вглядывается в темноту, подходит к столу, склоняется над книгой. За спиной ее светлеет квадрат окна. Жилы дерева становятся темными. Голова Лиды клонится к книге. В палате продолжается война. — редким выкриком, далекой пулеметной очередью, вспышкой ракеты за окном...

Медленно светает.

В палате на одной, на другой койке шевеление. Кряхтя и стелая, усаживается Попийвода, украдкой крестится, Рюрик, еще не поднявшись с койки, лезет под подушку за кисетом. Со стоном просыпается и начинает кашлять Миша. Разом выбрасывает себя из-под одеяла Восточный человек и обращается к Рюрику.

Восточный человек. Оставь, сорок, пожалста!

Продолжает спать и храпеть на всю палату Шестопалов.

Во дает товарищ старшина!

Афоня. Эту физкультуру он, оборони Бог, как любит. Рассвет! Слава Богу, рассвет!

Рюрик. А я разлюбил рассветы. Как рассвет, так снова война, бой. То ли дело сумерки. В сумерках все помыслы чисты, в сумерках все женщины прекрасны...

Восточный человек. Не согласен! Женщина — всегда прекрасный. Асобинна ночью, в саду ли, в агароде...

Шестопалов *(с завыванием зевнул)*. Ы-ых, люблю я поработать, особенно поспать, люблю повеселиться, особенно пожрать. *(Восточному человеку.)* Откуда ты знаешь про женщин?

Восточный человек. Мы, восточные люди, многие тыщи лет живем и кое-что про женщин знаем! Пануша, грозный медсестра с клизмом на нас, как с автоматом! Мне клизма, Мишке клизма, Рюрику клизма. Попийвода уклоняется, все равно клизма. Шестопалов — клизма нет! Пачиму?

Попийвода. Бо усюду блат! *(Полощет во рту, выплевывает в плевательницу.)* Вон який я тяжелый — про-

цедур нема, одна клизма, лекарствив тэж нэбогато, с госпиталя нэ выпускають, вахтеров понаставили! У-у, попки!

Рюрик. Да, ты тяжелый! Кил сто!

Попий вода. Сто двадцать.

Миша. С фунтом! А что я, братцы, во сне видел?!

Рюрик. Войну? Любовь? Детдом родимый? На! *(Полагает Мише докурить.)* Зобни!

Миша *(затянулся)*. Ой-ой-ой, пошло-поехало! *(Изображает, как кружится голова.)*

Рюрик *(отбирает у него окурок)*. Это не от наркоза. От любви!

Миша. От какой любви? Ты чё треплешься?

Рюрик. От обыкновенной. *(Грудью на Мишу.)* Кого хочешь провести? *(Бьет себя в грудь.)* Саратовского мужика? Да у нас в Саратове токо народился, сразу тебе вместо соски в одну руку гармонь, в другую — бутылек и...

Восточный человек. Возми миня Саратов, пожалста!

Миша *(с обожанием глядя на Рюрика)*. Трепло!

Рюрик. Между прочим, варежку широко не разевай! За ней, за сестрицей, один младший лейтенант приударяет!..

Миша. Да лан ты, и откуда ты?!

Рюрик. Сквозь землю на три метра...

Няня *(входит)*. Доброе утро, больные!

Больные *(вразнобой)*. Доброе, доброе, чтоб ему...

Няня дает умыться из таза больным, поливая на руки из банки. Афоню она протирает мокрым полотенцем.

Няня. Во-от, во-от! Все полегче!

Афоня. И то, и то! Мне б счас в баньку, парку бы поддать, венчиком бы тело высветлить...

Няня. Какая тебе баня? Какой венчик?

Афоня. Да уж токо в мечтах.

Няня. А кто не загадывает на будущее, тот и не жилец. Ты надейся, мечтай, на загад спросу нет. *(Оглядывает палату.)* О, милостивцы! Бедность-то, бедность!.. Но все равно, больные, прибирайтесь! Сегодня главврач обход будет делать.

Шестопалов. О-о, это серьезно, братцы! Подтянись!

В палату стремительно вошла Агния Власьева — с седым хохол

ком, в золотых очках, ростиком и видом напоминающая полковника Суворова. За нею — сестра Пана, которая, только войдя в палату, нашла глазами Шестопалова и тут же сурово насупилась. В свите еще Лида и еще одна няня.

Агния Власьевна (*полуоткрыв одеяло на Восточном человеке*). Как у нас тут дела? (*Звонко заводит ему лагонью по спине.*) Молодец! Скоро в строй!

Восточный человек. Вот что такое восточные люди!.. В Левове говорили: па-амрешь, памрешь... В Виннице: кранты! В санпоезде: каша ему не давай, каша даром пропадет! Как так?.. Сколько вина не выпито! Сколько девушек не целовано! Несогласный! Вай, чуть не забыл! Дайте я вас поцикую!

Агния Власьевна. Потом, потом! После обхода. В процедурной. Мы изготавимся. (*Направляется к койке Афоню. Куда делась ее напор и веселость. Она слушает, выстукивает Афоню.*)

Вся палата настороженно притихла.

Афоня. Ну, как оно, доктор? Наверде бы лучше?

Агния Власьевна. Да, да. Только вас, голубчик, переведут в другую палату.

Афоня. В изолятор?

Агния Власьевна. Н-нет, в другую... Там будет покойнее, теплее.

Афоня. Мне и здесь тепло. И ребята мне глянутся. Товарищ старшина-однopolчанин. Спас меня, можно сказать. Молодежь...

Агния Власьевна, пряча глаза отходит от койки Афоню. Он было протянул просительно руку, но всхлипнув, закинул сам себя одеялом с головой. Агния Власьевна, выдвинув ногой табуретку, садится между коек Попийводы и Миши, протирает очки, надевает, сидит, тяжело уронив руки.

Агния Власьевна. Что, Попийвода, все пэчэ?

Попийвода. Пэчэ, доктор, пэчэ. И шо воно?

Агния Власьевна. А если я вас в палату выздоравливающих? В школьный спортзал? Прохладиться?

Попийвода. Да як же ж так? Нэ долечивсь, нэ укрэпывсь? Я ж буду жаловаться, писать в наркомат обороны...

Агния Власьевна. Я велю дать вам бумагу и чернила. (*Мише.*) А где этот негодай, поносивший советскую медицину матерными словами? Где этот архаровец? Дайте мне его!

Миша тянет одеяло на себя. Агния Васильевна не дает.

Не-ет, вы поглядите на него, поглядите! Покажи-ка язык! Язык как язык. Обметан. Покурил?

Миша. Разок и зобнул всего...

Агния Власьева. Зо-обнул! Зачем курил? От наркоза не обалдел? Могу добавить.

Миша. Ну его.

Агния Власьева. Лидочка! Я срочно в девятую палату. Запишите назначения, раздайте лекарства. (Шестопалову.) Жена твоего друга заморила или на фронте отощал? А вам пить надо меньше. (Стремительно уносится из седьмой палаты.)

Пана на ходу сдергивает с койки Афони фанерку с температурной таблицей, грозит Мише пальцем.

Пана. Докуришься! Допрыгаешься! Туда же попадешь!.. (Уходит.)

Лида берет с подноса поставленные няней мензурки, заглядывая в журнал назначений, расставляет их по тумбочкам.

Лида. Пейте на здоровье, крепите оборону... Вам стрептоцидик. Та-ак. Вам — салицилка, аспиринчик... (Поглядя к койке Миши.) А этому архаровцу плетку хорошую, чтоб берег себя.

Миша. Тебя что, не сменили?

Лида. Не сменили. Старшей сестре похоронная с фронта. Слегла...

Миша. Вон оно что! И у вас тут горе.

Лида. Не-ет, у нас только радости...

(Кладет порошки на тумбочку. Няне.) Все. В восьмой палате Пана выполнит назначения.

Няня уходит. Лида присаживается на табурет. Трясет градусник. Сует его Мише под рубаху.

Миша. Так я чё, под наркозом в самом деле крыл?..

Лида. Крыл? Громил! Ниспровергал!.. Вон ваш товарищ не даст соврать.

Рюрик. Х-хо-э-э! Только теперь я окончательно убедился: против сибиряка по мату никто не устоит! Уж на что саратовские молодцы!..

Миша. А чё! Мелкота! Вот у меня дед был, как даст — вороны с неба сыплются! Хотите верьте, хотите нет, в тридцать три колена загибал!..

Рюрик (*пожжав, чтоб Лида отошла*). Дурында! В тридцать три! Она вон возле тебя и так и эдак, родненьким называла, а ты пластаешь...

Лида. Саратовский боец тут одного костылем...

Рюрик. Заглядывают в палату, хохочут. Цирк им! Сестрица как-ак топнет ногой: «Человек в невменяемом состоянии, и смеяться над ним могут только идиоты». Я и отоварил одному костылем по кумполу! Покеда!

Рюрик подмигивает Мише, пристраиваясь на костылях.

Миша. Чё подмаргиваешь? Окривеешь!

Рюрик удаляется из палаты, прихватив за рукав Попийводу и коленкой вытолкнув любопытно вытягивающего шею Восточного человека. Афоня все так же плоско лежит под одеялом. Шестопалов отвернулся лицом к стене.

(*Возвращая Лиге градусник.*) Ребята подначивали меня. Теперь вот условия создают.

Лида. Не переживай. Обычная картина. Ой, температура подпрыгнула.

Миша (*неожиданно для себя погладил руку Лиги*). Как подпрыгнула, так и спрыгнет. А наркоз ты мне давала?

Лида. Я. Говорю же — старшая сестра не вышла. Она прекрасный анестезиолог. Я первый раз. Изнервничалась вся. А ты мучился, бился, рвался, рубашку испластал.

Миша. Сколько раз сосчитал?

Лида. Сто двадцать. (*Шарит в кармане, перебирает порошок.*)

Миша. А первый раз, когда ранили, всего семь раз. Раз — вдох, два — выдох... И готов! (*Пауза. С тоской.*) И вздымет со стола, и понесет, будто звездочку в темную ночь... Летишь и видишь, как гаснешь... Вот так, поди, и умирают люди? А тебе самой-то не приходилось бывать под наркозом?

Лида. Нет, не приходилось. (*Нашла порошок, развернула.*)

Миша. И не надо, и не надо. Ну его!

Лида. Но я представляю. (*Всыпает Мише в готовно подставленный рот порошок, дает запить.*) Я маленькая в станице у бабушки в гостях играла с ребятами, они бросили в меня ворох соломы, навалились... Я задыхаюсь, бьюсь, они не отпускают...

Миша. Во, во! Точно! Хочется рвануться, выкрикнуть удушье...

Лида (*сама себе, тихо*). Ты и рванулся. Чуть-чуть пошевелил пальцем. И крикнул. Шепотом, едва слышно.

Миша. Третье ранение... сказывается.

Лида. Потом, после войны, долго не сможешь заходить в аптеки и больницы — дурно будет делаться от запаха лекарств.

Миша. Дожить еще надо до этого «потом». Ох и порошок! Тьфу! Голимая отравка.

Лида. Ничего, ничего. Может, температуру снимет? (*Щупает лоб Миши.*) А мне тебя жалко было...

Миша. Жалко? С чего бы?

Лида. Лежишь распятый на операционном столе. Рубашка рваная, пульс слабый, жизнь едва в тебе теплится... только пот на лбу... мелкий-мелкий выступает... Я его вытру тампоном — выступит, вытру — выступит... И радуюсь — живой человек, только беспомощный... И вот — ты не смейся, ладно? И вот у меня такое ощущение, что ты мой младенец, ну, мой, совсем мой, мною рожденный... Не смейся, пожалуйста.

Миша. Чё уж я, совсем истукан? Только вот... младенец — и сразу матом.

Лида. Это ж в беспамятстве, когда просыпаться начал. Бывает... Мало хорошего слушать такое, да куда денешься? Работа.

Миша. Лан. Ты, это самое... прости меня.

Лида. Так и быть... Прощаю. Какой спрос с дитя? С условием: не будешь больше лаяться?

Миша. Вот гад буду!

Лида. Ну уж... если гад, тогда, конечно... Ой, идти ведь мне надо!

Миша. Посиди еще маленько.

Лида. Две минуты.

Миша. Пять.

Лида. Хорошо, пять. (*Пауза.*) Ой, до чего я устала! Вот легла бы здесь, на пол на голый, и заснула.

Миша. Ты будешь еще приходить?

Лида. А как же? Я работаю здесь. Учусь в мединституте и работаю, чтобы карточку усиленную получать...

Миша. Не-ет, ко мне, сюда...

Лида. К тебе? А тебе хочется, чтоб я приходила?

Миша. Да!

Лида. Постараюсь! *(Потрепав его по отросшему зубу.)*
А ты постарайся уснуть, ладно? *(Уходит.)*

Шестопалов грузно поворачивается, из недр постели достает красную грелку, отвинчивает пробку, брезгливо выплеснув из мензурки лекарство, наливает в нее из грелки. Выпив три мензурки подряд, Шестопалов утирается, тербит за одеяло соседа.

Шестопалов. Афонь! Афонь! Может, подживишь душу?

Не отзывается Афоня. В палату вкатывается тележка. Няня и Пана берут Афоню вместе с одеялом, перекаладывают на тележку, везут. Возвращаются Попийвода, Восточный человек, Рюрик.

Попийвода *(сторонясь тележки)*. О то ж сотворилась жизнь! Две у ии дороги: у наркомзэм и у наркомздрав, и всего один пэрэкресток...

Шестопалов протягивает Попийводе мензурку.

(Опрятно выпив, утер усы, грузно поник.) Хай живэ той русский мужик Ахвоня.

Рюрик. Щёб не пекло! *(Принимает мензурку от Шестопалова, несет Мише, встревоженно.)* Э! Э! Кореш! Ты чё? Ты чё? Весь горишь?

Миша. Ти-ха! Ша! А то загремлю вслед за Афоней...

Шестопалов *(Попийводе)*. Я Афоню-то на себе... Заползет на меня... Волоку... Сам виноват... недоразведал. Боевому охранению доверился... Там салаги двадцать пятого года, шары на затылке!.. На нейтралке попали в минное заграждение... Хай подняли. Обнаружилось! Фрицы нам и дали! Зачем тащил? Зачем мужика мучил? Зачем все это? *(Трясет, давит грелку.)* Ребята, нету ли у кого? *(Рюрику.)* Чего у вас там?

Рюрик. Да вот, Мишка...

Миша. Ничего, ничего... Я битый, я сдюжу. Только никому ничего...

Няня *(вбегая в палату)*. Все по местам! Шефы!

В палату входят два подростка в пионерских галстуках. У одного мальчика через плечо подвешен аккордеон. Они натываются на стол... Ощупав спинки коек, стол, табуретки, гости отодвигают в сторону стол, становятся посреди палаты.

Первый мальчик. Учащиеся отдельной образцовой школы слепых детей приветствуют героев битв с фашизмом и предлагают им прослушать маленький концерт.

Второй мальчик *(маршируя вместе с ним)*. Мы со-

ветские ребята, очень счастливо живем, а как вырастем большие, всех фашистов перебьем!

Первый мальчик. Будем крепко мы учиться, как границу охранять, а в свободные минуты будем петь, плясать, играть!

Второй мальчик пошел в пляс, но наткнулся на койку Рюрика, чуть не упал.

Рюрик (*поймал его*). Лучше пойте, ребяташки. (*Присаживается на койку Миши, подтыкает под него одеяло.*)

Второй мальчик (*отряхиваясь*). Есть петь! (*Берет переборы на аккордеоне.*) Любимая песня фронтовых бойцов «Медсестра дорогая Анюта!»

Оба (*поют*).

Дул холодный порывистый ветер,
И во фляге застыла вода,
Нашу встречу и тот зимний вечер
Не забыть ни за что, никогда!
Был я ранен, и капля по капле
Кровь горячая стыла в снегу,
Наши близко, но силы иссякли,
И не страшен я больше врагу.
Не сдавайся ты смертушке лютой,
Докажи, что ты парень-герой,
Медсестра, дорогая Анюта,
Подползла, прошептала: "Живой!"

Поийвода плачет, Восточный человек плачет, Рюрик, задрал голову, смотрит в окно. Миша, бессильно роняет руку, сваренно распускается.

Шестопалов (*шоркнув рукавом по лицу*). Парень! Эй, парень! Поди, брат, сюда! (*Лезет рукой под матрас, вынимает массивные часы с цепочкой, сует их погошедшему мальчику.*)

Мальчик (*было взял подарок, но тут же начал отпалкивать руку старшины*). Ой, я думал сахар!

Шестопалов. Бери! Фрицевские. Золотые. Может, тебя за их вылечат. Может, ты вторым Лемешевым станешь. Я их все одно пропью-у-у...

Рюрик (*трясет Мишу*). Кореш! Кореш! Ребята! Мишке худо! Врача! Сестру! Э-эк скребутся... (*Схватил костью, метнулся из палаты.*)

КАРТИНА ВТОРАЯ

Изолятор. Глухая белая комната. Койка, крашенная белым. На койке мечется, рвет на себе бинты М и ш а . На второй койке лежит неподвижно,

оставившись в потолок, Афоня. Среди сцены на стуле сидит Лида, просматривает книгу процедур, что-то записывает в нее, что-то зачеркивает.

Входит Смерть, напевая: «Во лузях, во лузях, во лузях ходила...» Окинув цепким взглядом палату, всплескивает руками.

Смерть. Ох, живучи людишки! *(Пританцовывая вокруг кровати, прогаает лагонью то одного, то другого.)* Во лузях, во лузях головы косила...

Лида. Зачем ты сюда пришла?

Смерть. Ты будто и не знаешь?

Лида. Наглая! Сумасбродная! От крови пьяная...

Смерть. Мое время! Всех передавлю! И до тебя, Милосердые, доберусь!.. Ишь, субчики, в изоляторе укрылись! Борются! Со мной? Ха-ха-ха! Пустое дело, ребята! Я королей, бунтарей-революционеров, инквизиторов, которые страшнее смерти хотели казаться, успокоила. *(Гладит Афию.)* Ух ты, мой роднуля!

Афоня. Уйди! Уйди!

Смерть. Как это «уйди»? *(Делает из пальцев козу.)* Идет козара по большому базару, кого найдет, того забодёт, забодёт.

Лида. Отстань от человека!

Смерть. На тебя его спокинуть? На муки? На страдания? Это ведь жестоко, Милосердые. Эй, товарищ Сидоров! Ты что, со своей Марфой никак расстаться не можешь?

Афоня. Матрена у меня.

Смерть. Матрена, Марфа — не все ли равно? Все на одно лицо.

Афоня. Это для тебя все на одно лицо. Моя Матрена, как ягодка!

Смерть. Эй, Матрена-ягодка! Явись, иначе мужа отобью!

Голос из-за сцены: «Я те отобью! Я т-те...» Вбегает Матрена.

Матрена. Ой, кто это? Зачем ты, Афонюшка, ее приречаешь? Зачем? Она же пустоглазая! Отринь! Отринь! Родимый...

Афоня. Не могу, Матреша. Нет больше сил... Проститься... Милости. Детишек.

Матрена вводит за руки двух мальчиков в рубашках, подпоясанных поясками, обутых в яловые сапоги. Следом за матерью тащится девочка, сосет палец. В руках у детей зеленые березовые ветки.

Ваня! Афоня-младший! И Катя-Катенька! Подойдите, подойдите! Я счас! Счас! Сахарку!.. *(Шарит в постели.)* Ах ты! Вещмешок-то в сеймой палате остался. Ах ты! И Мишутку не пошлешь. Горит парень... Допрыгался после операции... Ах ты!

Матрена. Не напрягайся, кормилец. Они сахару-то и на скус не знают. И неча их сладостями нежить...

Афоня *(пригребая к себе ребят)*. Молодцы мои! Мужики! Катю-то, Катеньку берегите! *(Робко гладит девочку. Она гичится.)* Не знает своего тятю. *(Отдыхивается, замечает по березовой ветке в руках у ребят.)* Дак это чё, неужто троица?

Матрена. Нет, кормилец. Весна. Ранняя. Ребята веток наломали, в крынку их с водой — почки-то и проклюнулись.

Афоня. Парни мои, парни! Любите мать-то. И меня не забывайте. *(Переламывает слезы, глядит на сапоги сынков. Встрепенувшись.)* Ты, может, забыла? Грешен, грешен. Матерьялы-то от властей утаил... Как в колхоз вступали, я старую седелку сдал, верхову спрятал. Сгодилаась... Такие безысносные обутки получились! Сам тачал.

Матрена. Я все помню, кормилец, все.

Афоня *(зажмуривается)*. Мечталось мне на фронте, шибко мечталось, чтоб было у нас десятеро ребят...

Матрена. У-у, бесстыжий!

Афоня. Чтоб парней и девок много. Чтоб в дому шумно, чтоб по всей земле оне жили, в гости приезжали со всех сторон...

Смерть. До чего жадны эти мужики!

Афоня. Пуля, что в меня угодила, скосила и тех, что ты не родила. Сыновей, дочерей, внучат, правнуков, шенгени целые Сидоровых... Летит та пуля, летит!

Смерть. Хватит, хватит. Сейчас ты проклинать меня начнешь. А я костенею от проклятий... Коль хочешь мне услужить...

Афоня. Не-ет, пахарь в услуженье смерти не ходок. Он для жизни рожден. *(Показывает на сыновей.)* Вон оне, мои пахари! Стоят! Неодолимо! И пока под нами дышит земля, нам нет конца! *(Пробует подняться, схватить Смерть за горло.)*

Смерть *(сильным толчком отбрасывает Афоню на койку)*. Ох, уж эти мужики! Зевни только! *(Матрене.)* Все, разлюбезные, все! Через неделю похоронка. Поплачете, поголосите — и в поле, на работу.

Матрена (*Смерти*). Воздастся тебе, проклятая, за муки, за сиротство, за вдовьи слезы...

Смерть. Иди, иди! Меня поэты проклинали, цари, мыслители, полководцы! Что мне твои бабьи причитания? Иди! Детишек не забывай, а то ведь приберу...

Матрена (*обхватив ребятишек, пятится*). Прощай, Афоня! Прощай, мой ненаглядный!..

Афоня. И ты прощай, законная жена! И прости за брань, за пьяный кураж. Ладно хоть не бил. Шибко маются на смертном одре мужики, которые жен бивали.

Смерть. Довольно! Довольно! Еще разжалобите меня! (*Выталкивает Матрену с детьми.*) Уж я ли всякую тварь в сем земном раю не постигла?! Я — край всему! За мною нет ни лжи, ни правды — пустота, блаженство.

Лида. Что смыслишь ты в жизни, холодная, костлявая, без сердца? В жизни сеятеля тем более...

Смерть. Во Милосердье голос подает! Лишь только появилась жизнь из тьмы, из недров, я тут как тут и ну ее давить, корезить, мять, косить! А тут и ты — Милосердье — на голос мрущих. Дитя дитем, но быстро возмужала. На обмане. Все Богом, Богом, все Раем, Раем утешала сирых... Притвора! Лизоблюдка!..

Лида. Чего ты разоралась? Чего стучишь костями? Дай покоя!

Смерть. Покоя? Покой нам только снится!.. Ха-ха-ха! Эй, мужичок! Хочешь ли покоя?

Афоня (*со стоном*). Хочу, чтобы ты отстала или прибрала меня скорее с Богом...

Лида (*рушась на колени*). Пощади ты его, пощади! Без хлебобоба нет жизни!.. Ой, что я говорю? Кому?!

Смерть. Ага! Дошло! Дошло-доехало и до тебя, пустое Милосердье! А я давно свою задачу знаю.

Афоня. Смерть! Смерть!

Смерть. Глупая, послушай! Когда немогогу — меня зовут, тебя — в надежде. Иду, иду, соколик мой! Иду, касатик! (*Направляется к койке Афоня, нервно, вызывающе напевает.*) Афоньку встретила на клубной вечеринке... Л-ля-ля, л-ля, л-ля-ля, ля-ля, ля-ля... Да ты еще живой?! Шутки шутишь? Такое культурное обслуживание: жена, дети, троица... Ловчишь опять! Усмыгнуть метишь! Не выйдет! Я — баба опытная. У меня разводов не бывает... Давай-ка поторащивайся! Кончай вольтить! Что бы ты еще хотел увидеть? Да быстро, быстро, не чегчись!

Афоня. Родину!

Смерть. Это что?

Афоня. Деревня на Алтае... Чистый Исток называется.

Смерть. Чистый! Все-то у вас чистое, светлое... Однако ж быть по-твоему!

Возникает видение родины: голубое небо, зеленая даль, залитая солнцем, лучатся волшебю солнчные блики...

Афоня. Горы! Тайга! Пашня! Деревушка на пригорке. Тропинки детские, стежки гулевые... Родина моя! Как же спокинуть-то тебя? На кого?

Смерть. Еще один блажной! Родина ему нужна! Нужен ли ты родине? С перебитым-то хребтом?

Афоня. Я ей всякий нужон.

Смерть. Святое заблуждение! Рассвет подступает... Успевай, дивуйся. Что там родина, мужик! В слезах, в крови, в бескрайнем горе...

Афоня. Вся в солнце! Небо над нею чистое-чистое! В небе жаворонок трепещется, за деревней кедрачи малахитовые шопчутся...

Смерть. Да ты поэт! Постой-постой! Ты вроде оживаешь?

Афоня. Память моя при мне. Сил бы маленько да в поле, на пашню, на луга — я бы тебя уделал...

Лида. Возьми мое сердце, возьми мою силу, пахарь!

Афоня (*с сожалением*). Милосердью без сердца нельзя. Силенки твои, хоть невеликие, тоже людям нужны. Не дай Бог им еще и тебя лишиться...

Смерть. Довольно болтать! На выход! Без вещей! От барахла у нас свободно...

Афоня. Куда и как мне собираться — знаю! За мной осталось последнее право, умереть достойно. Не базарь, баба! Дай утихнуть.

Смерть. Все, все, Афоня из Чистого Истока! Закрой глаза, сделай выдох. Вдох не надо... Не надо... не надо... Во-от. Достойно и прилично.

Лида. Теперь уйди. Сделала свою черную работу и удались...

Смерть. Ах, Милосердьё, Милосердьё! Я же не артельная, я ж единоличница, и за меня никто не доделает мою работу. Ни сна мне, ни отдыха... тыщу лет... без выходного. (*Треплет волосы Миши.*) Эй-эй, въюнош, чего болит-то?

Миша. Лопата. Кто положил горячую лопату на грудь? Кто?

Смерть. Счас охладисься. *(Прикладывает руку к голове Миши, и он сразу перестает метаться.)* Во-от! Во-от, нет ни боли, ни огня. Блаженство...

Миша *(дернулся)*. Взглянуть! Хоть раз взглянуть!..

Смерть *(Мише)*. Тебе хочется побыть с невестой в последнюю минуту?

Миша. Кому не хочется?

Смерть. Ничего нет проще. *(Стягивает с себя платье.)* Во, цивилизация меня приодела! Из кустарей нагих в царь-девицу оборотила! *(Тело Смерти фосфорически светится.)* Ух ты мой хорошенький, мой желанненький...

Миша. Какая ты холодная...

Смерть. И-и, милай, ты из такого пекла!..

Лида сорвалась с места, хватанула Смерть, бросила с койки так, что Смерть загремела, будто пустое ведро.

Лида. Н-не отдам! Не отдам! Души обоих! Он молод. Он еще ничего в жизни не видел. Люди-и! Агния Власьева! Рюрик! Да где же вы? Миша! Миша! Да очнись же, опомнись! *(Волоком тащит из изолятора Мишу.)* Миленький! Родненький! Очнись, не поддавайся!..

Смерть: Вот тебе и хлипкое созданье! Одурела, сикуха! *(Напялила платье, поглядела вслеп Лиде, озадаченно поцарапала затылок.)* Неужто любовь в самом деле сильнее смерти? *(Уходит, устало, расхлябанно волоча ноги, и отшуда, куда она ушла, из тьмы, из пространств галейных, земных, снова возникает видение рогины и раздается торжественный, эхом повторяемый голос Матрены.)*

Ты прости-прощай навеки,
Муж мой верный, дорогой.
Промеж нас леса и реки,
Неприветный край другой.
Может, так оно и лучше,
Я привычна — за двоих.
Пусть тебя ничто не мучит,
Не тревожит снов твоих.
Знай одно, что счастье было,
Была молодость ключом.
Я тебя не позабыла
Спи. Не думай ни о чем.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Седьмая палата. Попийвода подстригает усы перед зеркалом. Миша лежит на койке, читает книжку. Рюрик с отяжкой лупит картами по носу Восточного человека.

Рюрик. Двенадцать! Тринадцать!

Восточный человек. Вай! Вай! Дай передышка!

Пардон!

Рюрик. Никакого пардону.

Восточный человек. Немцы, фашисты делают передышку на обед, так?

Рюрик. А не мухлой! Не мухлой, азиат лукавый!

Восточный человек. Мы, восточные люди, в любви и в азартных играх не можем не мухлевать.

Рюрик. А плуту — первый кнут! Слышал?

Восточный человек. Луч-че бы пацилуйчик!

Рюрик (*целясь колодой карт*). Счас, счас получишь поцелуйчик.

Попийвода. О то ж шпана. Вона и в аду шпаной остается. (*Уходит.*)

В шинели, надетой на белье, в окно грузно вваливается Шестопалов. Держась за живот, садится на койку Рюрика, трогает «руль» Восточного человека, вынимает грелку из-за пояса.

Шестопалов. Теперь понял, что такое русский дурак?!

Восточный человек. В дурака трудно играть. Может, много пробуем?

Шестопалов. Сей миг! (*Цедит из грелки в мензурку.*)

Восточный человек втягивает воздух носом.

(*Выпивает одну, другую мензурку.*) Идет, идет, милая! И воскресе душа, и возрадухося...

Восточный человек (*трясет за рукав Шестопалова*). Эй, товарищ старшина! Рядовых не забывают, пожалста!

Рюрик выпил и осипел сразу.

Рюрик. Мишке не давай! Он еще слабый. Да и целоваться ему. Отравит.

Восточный человек (*выпил, лупит глаза, наконец, выдохнул*). От эта вина! Штрафникам пить, смерти не бояться, так?

Шестопалов. Я, может, и есть штрафник.

Восточный человек. Суравна хороший человек! Приезжай Азербайджан, так? На станцию Акстафа, так? Наливаю тебе вина, пьешь, без когтей на столб лезишь! Плюешь сверху на людей! Хорошо?

Шестопалов. Куда уж лучше?

Восточный человек. Што ты сидишь? Вина есть. Так? Гость есть. Так? Мы, восточные люди...

Рюрик наклоняется, тянет из-под койки за ремень аккордеон, пробегает по нему пальцами.

Миша (*затягивает тихонько*). Не надейся, рыбак, на погоду...

Подтягивает Рюрик, гудит Шестопалов.

А надейся на парус тугой,
Не надейся на тихую воду —
Острый камень лежит под водой,
Злая буря шаланду качает,
Мать выходит и смотрит в окно,
И любовь, и слезу посылает
На защиту сынка своего!

Поет Шестопалов, забрав в горсть лицо.

Мать родная тебе не изменит,
А изменит туман голубой.

В палату влывает Пана. Ребята скоропалительно прячут мензурки. Шестопалов — грелку.

Пана (*принюхивается*). Боже мой! Чем это прет? Прекратите сейчас же безобразничать!

Восточный человек. Вот спасибо, Пануля! Спасла! Н-ни-никакой пощады! Бьет и бьет младшего брата саратовский мужик. (*Тасует карты.*) Может, мы с тобой сыграем, Пануля, в дурака? Я никого не могу обыграть.

Все это время, пока ребята валяют дурака и идет перепалка, в забывчивости тянет песню Миша и, не отнимая руки от глаз, басит негромко Шестопалов.

Пана. Я вот сыграю! Я вам так сыграю! Пили! Курилы!

Восточный человек. Ну и нух у тебя, Пануля! Тебе бы шпиенов ловить!

Пана. Шпионов?! Я вот вас поймаю, да к главному врачу! А ты, Миша, такой приличный мальчик, — и связался с этими разложившимися типами! Как не стыдно?

Шестопалов (*отнимая руки от лица*). Тебе, Пана, нельзя сердиться! Тебе надо только улыбаться — тогда от тебя свет, а так ты сразу как все бабы.

Пана. Я, между прочим, женщина и есть.

Шестопалов. Знаю. И между прочим, попрошу в укромном месте не попадаться! Могу из-за тебя снова загреметь в штрафную.

Пана. И-интересно! Каким это образом?

Шестопалов. Обыкновенным.

Пана. Все-то вы шутите, товарищ Шестопалов! А у нас ведь работа, служба. Мы на ваши нарушения снисходительно смотрим, потому что трагическая ваша судьба. А вы на молодежь разлагающе действуете. Вот колечко на руке было. Золотое. Может, обручальное. А вы его...

Шестопалов. Кольцо души-девицы... А ну, советская молодежь, взк! Взк-взк из палаты!.. Я в самогонке утопил и за это преступление в немилость Панае угодил...

Рюрик набрасывает на Мишу халат и, приобняв его, уводит из палаты. Восточный человек, ухмыляясь, оглядываясь назад, вываливается из палаты.

Пана. Ой, товарищ Шестопалов, я вас боюсь.

Шестопалов. Это тебя все боятся. Такая грозная медсестра!

Пана. Вы мятежный человек, товарищ Шестопалов!

Шестопалов. Не зови меня, Пана, товарищем, ладно? Что я тебе, комиссар, что ли? Выпью с твоего разрешения.

Пана. Уж что с вами сделаешь! Только мальчикам не давайте.

Шестопалов. А ты меня и в самом деле боишься? Мятежный! А-ах, Пана, Пана! Мятежный — он ищет бури! А я мужик, псковский скобарь. И не бурь, тишины себе и всем хочу. И еще хочу быть чуркой, на которой ты дрова колешь, ковриком, на который утром ступаешь своими теплыми ножками...

Пана. Ой, как нехорошо шутите!.. Мрачно как. Да, я слышала, у вас вся семья.

Шестопалов. Где был дом, семья, растет картошка да репей... А зовут меня Эрнестом. Красиво, правда? Отец, бывший балтийский моряк, в честь Тельмана нарек. Балшой патриот был! И помер от язвы желудка.

Пана. Вот видишь... Такое имя... А горе ни у одних у вас. Что сделаешь? Война.

Шестопалов. Война, Пана, большая война... (Как бы стирая лагонями что-то с лица.) А что, Пана, возьму и не погибну. После войны к вам постучуся?

Пана. Да что вы? Как можно! Мы вдвоем с мамой на семи метрах. Вы у нас все кастрюли опрокинете...

Шестопалов. Скажи, Пана, тебе хочется, чтобы я выжил?

Пана. Да я хоть и комсомолка, пусть с просроченным стажем, всем ранбольным вслед молюсь, чтоб жили...

Шестопалов. У каждого свой Бог. У меня вот Его не стало. Помолись хоть своему Богу за меня. За кастрюли не бойся. Кастрюли — дело наживное. Которую уроню — поднимем, которую разобью — починим. Да не зайду я в дом, не посмею. Я на скамеечке сяду. Буду сидеть, пока ты не позовешь...

Пана. Зачем же сидеть? Дайте телеграмму, я вас встречу, честь честью. Что я, совсем ненормальная, что ли? Нет, лучше вот. (Достает из кармана ключ, привязанный на бантике.) Вот вам ключ. Чего вы испугались? Берите-берите. У нас дома два: у мамы и у меня. Пусть он вам будет талисманом.

Шестопалов. Ну, спасибо!

Пана. За что спасибо-то?

Шестопалов. Да за доверие, что ли. Только вот, Пана, мы, фронтовики, суеверны, дорогу переступать... Если у тебя кто там, на фронте...

Пана. Глупый! Ненаблюдательный! Да я еще девица! Видел возле меня кого-нибудь? Не видел! Теперь и подавно не увидишь! Со школы это. Я все выступала, все чего-то возглавляла, организовывала: собрания, диспуты, суды, советы. В медтехникуме комсорг, здесь профорг. Ко мне никто не пристает, даже блатные. Не урод, не мегера, а вот не пристает...

Шестопалов. Пусть кто попробует!

Пана. Слава Богу, теперь я под защитой! Ой, как мы надолго уединились!..

Возвращаются парни в палату. Рюрик и Восточный человек несут новое обмундирование и ботинки.

Рюрик. Все! Я — по домам! Фартовый игрок в карты (кивает на Восточного человека) и ловко увертывающийся от клизмотона разведчик — довоевывать! Дуй, старшина, расписывайся за манатки!

Шестопалов и Пана уходят.

(Перебирая обмундирование, грустно поглядывает на Мишу.) Ну что, сибирячок-снеговичок? Как тут один с бабами бороться будешь?

Миша. Лан те! Кончай трепаться!

Рюрик. Выпишут по чистой или после победы — чеши ко мне! Все же отец, мать, халупа своя...

Миша. Там видно будет...

Восточный человек. Солнце, тепла, вина, дружбы хочешь, так? Приезжай на станцию Акстафа, братом назову!

Рюрик. Он, скорее всего, здесь задержится...

Миша. Да лан те.

Рюрик. Завяз он тут! Присох. *(Чего-то ищет под койкой и, дурачась, что-то бурчит.)*

Восточный человек. Зачем так шутишь, Рюрик? Нехорошо шутишь! Лучше давай соображать, так? *(Показывает на обмундирование.)*

Рюрик *(Мише)*. Хватит дуться-то! Ну, ляпнул как в лужу... Ты хоть знаешь, где она живет-то?

Миша. На улице Пушкина. Дом с флюгером на крыше...

Рюрик *(подвигая Мише обмундирование)*. Коли с флюгером — найдешь.

Шестопалов *(появляется, зашвыривает в угол обмундирование)*. Снова здорово! Запасной полк. Пересыльный пункт. *(Трясет, болтает грелку.)* Все выжрали! Спикировать на базар еще разок, что ли?

Тем временем Миша нацепляет орден, одевается.

Восточный человек. Я готов, как юный пионер, так?

Шестопалов. Старшина должен заботиться о рядовых, так? Я из тебя знаешь какого бойца сделаю? *(Немешет.)*

Перед ним стоит Миша в новом обмундировании, при орденах, с заглаженными набок волосами.

О-о, Мишка! Ты ли это?

Миша. Ну как, братцы, ничего?

Рюрик. Да что там ничего! Герой! Красавец! Гренадер!

Миша. Нет, правда, братцы?

Восточный человек. К артистке тебе надо!

Шестопалов. Чё ему артистка! Он при таком параде любую буфетчицу свалит.

Миша. Да ну вас!

Рюрик. Ни пуха ни пера!

Восточный человек. Про природу долго не разговаривай. Небо видишь, так? Землю видишь? Все!

Шестопалов (*вытирая Восточному человеку лагерь губы*). Чё ты в природе понимаешь, рыло! Ты, Мишка, жми на слабую струну: мол, сирота, пожалуйть некому...

Миша. Во обормоты! (*Поспешно уходит.*)

Шестопалов. А я двинул другим ходом! (*Набрасывает шинель, лезет в окно.*) Нарушать!

Рюрик. О, Шестопалов! О, мятежный сокол!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Комната об одно окно. В одной половине комнаты таз на табуретке под умывальником, полочка со стаканом для щеток и мыльницей. Далее видна темная дверца печки, деревянная настенная вешалка, диван, этажерка, на которой разрозненно стоят книги, альбомы. Во второй половине комнаты, за полураздернутой занавеской, кровать. На ней спит *Лидя*. *Мать* Лиды надевает пальто, берет сумку, собирается уходить.

Миша (*втискивается, нерешительно*). Здравствуйте!

Мать. Здравствуйте, здравствуйте! Проходите, хвастайте!.. (*Что-то ищет.*)

Миша стягивает шапку, прокашливается. *Мать* нашла кошелек, заглянула в него, направляясь к двери, почти наткнулась на Мишу.

О, Господи! И долго вы еще намерены стоять у порога?

Миша. Не знаю.

Мать. Интересно!

Миша. Вот постою еще, и там видно будет.

Мать. Постой, постой! Да это уж не тот ли гренадер, что вскружил голову моей единственной дочке?

Миша засмутился, запереступал, наладился повернуть обратно, но мать перехватила его.

Нет-нет! Раз уж пришли, раздевайтесь. А я в магазин. Я мигом. Лидя спит после дежурства. Но ей пора вставать. (*Уходит.*)

Миша озирается по сторонам. Не знает, что делать. На цыпочках крадется к кровати Лиды, отодвигает занавеску. Стоит. Затем осторожно протягивает руку, дотрагивается до волос Лиды.

Лида. Ой! Кто это?

Миша. Домовой.

Лида (*натягивает на себя одеяло до подбородка*). Ой, Мишка! (*Хватает его за чуб, бренчит медалями, перебирает пальцами по орденам.*) И правда, Мишка! Да при всех регалиях! Такой представительный!

Миша. Скажешь!

Лида. И голос Мишкин! Значит, не снится! Мишка сам пришел! Нашел! Один! Мишка! Мишка! Слезы, кровь, горе кругом... И вдруг... Мне кажется, я все еще сплю, и просыпаться не хочется... (*Спыхватывается.*) Ой, раскосматилась! Мне ведь одеться надо... Отвернись, Миша. (*Но не может оторвать от него взгляда.*) Отвернись, роденький. Отвернись, лапушка!

Миша стискивает руку Лиды.

Отвернись... Мама!

Миша отпрянул на диванчик, поправил гимнастерку. Лида задернула занавеску, шевелится за нею, одевается.

Миша. Ушла твоя мама в магазин. Зря орала...

Лида. Магазин рядом. Я горластая. Как завизжу, так...

Миша. Во-во! Визжать — это вы все горазды!

Лида (*появляясь из-за занавески*). Ты откуда про все-то знаешь?

Миша. Оттуда!

Лида (*чистит зубы*). Грубиян! А ты в самоволке? Или отпросился?

Миша. Жди! Отпустит ваша любимая Агния!..

Лида (*проходя мимо Миши за занавеску*). Молодчик!

Миша. Кто молодчик-то? Я или Агния Власьевна?

Лида. Ты, конечно! (*Появляется в платьице с кокеткой. Оно ей чуть коротковато. Садится рядом с Мишей. Ждет. Потом прикладывает лапоть к его лбу, щупает пульс*). Ты ничего? Не устал? Голова не кружится? Во рту не сохнет?

Миша. Хорошо быть медиком: нет разговору — щупай человека.

Лида. Щ-щупай!.. Вон в изоляторе перепугал нас. Ну, что будем делать?

Миша. Я почему знаю?

Лида. «Почем, почем»? Бука. *(Тычет Мишу в бок.)*

Он, закатившись, валится на диван.

Мишка, да ты ревнивый.

Миша. Да лан тебе щекотаться-то! *(Берет альбом с этажерки.)*

Лида. Давай рассказывай чего-нибудь.

Миша. Чё рассказывать-то?

Лида. Хоть про медведей. Как их в Сибири ловят?

Миша. А за лапу! У меня дед, бывало, придет в лес, найдет берлогу, возьмет медведя за лапу и говорит: «А ну, пойдём, миленький, пойдём в милицию!» Медведь орет, как пьяный мужик, но следует.

Лида. Ой! Это правда?

Миша. Х-хм. Врать стану! Лид, неужто вот этот голый жизнерадостный ребенок на карточке — ты?!

Лида *(вырывает альбом у Миши из рук и бьет им его по башке)*. Бессовестный!

Миша. Но, но, гвардейцев не бить!

Миша и Лида понарошку начинают бороться. Лида повалила Мишу на диван, колотит его кулачком.

Лида. Вот тебе, вот тебе, вральман!

Миша. Карау-у-ул! Наших бьют! *(Одним маневром переворачивает Лиду и прижимает к спинке дивана.)* Смерти или живота?

Их лица сближаются, они тянутся один к другому губами, но, заслышав предупреждающее покашливание, отпрянули к спинке дивана. Входит мать.

Лида. Мама! А Мишка обманывает меня и балуется!

Мать *(выкладывает хлеб из сумки)*. Это ж основная обязанность мужчин, доченька. *(Вешает пальто. Трещит пальцами.)* Н-ну, чем мы будем потчевать гостя?

Лида. Придумаем чего-нибудь.

Миша. Ничем меня и потчевать не надо. Я сыт. Нас хорошо кормят. На убой. Вон Лида знает...

Мать. Мало ли как вас там кормят, и мало ли что Лида знает! А ну *(она погает Лиде бигончик)*, летом на рынок за молоком! Мы сварим мамалыгу.

Лида. Есть, товарищ начальник. *(Убегает.)*

Мать. Вы ели когда-нибудь мамалыгу?

Миша. Н-нет. Не доводилось.

Мать. Даже не знаете, что такое мамалыга? А раны уже два раза?

Миша. Третий раз.

Мать. Третий? А лет вам сколько?

Миша. Девятнадцать. Двадцатый. Летом двадцать первый пойдет.

Мать. Да-а, нечего сказать, насыщенная молодость! Окопы, госпиталь, окопы...

Миша. Что же делать? Время нам выпало такое... Может, за нами людям будет легче?

Мать. Может быть, может быть... *(Пробует растопить печку — не получается.)* Дрова сырые, погода гнусная, время ужасное...

Миша берет секач, колет какие-то жалкие дощечки на лучинки, подбирает бумажку с пола, рвет на клочки, поджигает. В печке занимается огонь.

Мать и Миша смотрят на огонь.

Девятнадцать лет! В таком возрасте по вечерам, по клубам, танцевать, веселиться.

Миша. У нас танцевать не умеют. У нас пляшут. Вы что-то хотите сказать, так говорите.

Мать *(треща пальцами)*. Не сказать, а спросить. Как бы это поделикатнее?

Миша. А вот ловчить и вилять у нас не любят. Валят напрапалую.

Мать. Напрямую. Это хорошо. Я как-то разучилась со своим бывшим мужем напрямую... Миша... Лидка стала какая-то ненормальная: спит плохо, на меня покрикивает, то хохочет, то молчит... Миша, у вас ничего такого?

Миша. Нет!

Мать. Не сердитесь на меня. Лидка — все, что у меня осталось. Постарайтесь понять. И поберегите ее. Душонка у нее как распашонка... Всяк может отпечатки пальцев оставить...

Миша. Я понимаю.

Мать. Надо было по-другому это сказать, но раз уж прямо велели...

Миша. И правильно. И добро... У вас муж, случаем, не милиционер?

Мать. А как вы догадались?

Миша. Да вы насчет отпечатков пальцев как-то к месту свернули...

Мать. Господи! О чем мы говорим! Миша, не сердитесь на меня, не сердитесь... И у матери ум с сердцем не

всегда в согласии... Издергалась, извелась за войну. Поглупела, видать... Муж-то нас бросил. Мы все прожили... О чем это я опять?... Эх, Миша, Миша! Любовь, мечты, романтика — все это славно, все это прекрасно, да не время... не вовремя... Ну, еще неделя, месяц... Потом что? Разлука, слезы, горе... Положим, любви без этих прелестей не бывает. Положим, вас ранят еще раз и вы вернетесь. Какое у вас образование?

Миша. Семь групп.

Мать. А специальность?

Миша. Солдат.

Мать. Вот видите, вот видите! И Лида еще институт не кончила... Так будьте благоразумны...

Миша. Есть быть благоразумным. *(Направляется к вешалке, пробует надеть бушлат.)* Я и в самом деле до сего дня не думал, как и что у нас... Это как свет после ночи... сам собою пришел — и наступил день... Оказывается, за все надо нести ответственность, расплачиваться муками даже за то, чему еще и названия нету...

Мать *(уткнувшись в плечо Миши лицом)*. Дети вы мои, дети! Простите меня, Миша! Простите, если можете... И Лидке о нашем разговоре не говорите. И не уходите, пожалуйста, не уходите... Лидка звереныш чуткий... А вот и она!

В комнату влетела Лида, ставит бидон, раздевается, падает на диван.

Лида. Ф-фу, мчалась! Автомобиль чей-то своротила! *(Смотрит на Мишу, на мать.)* Что случилось? Вы повздорили?

Мать. Ничего не повздорили. Разговаривали тихо-мирно.

Миша. В основном про мамалыгу. Выяснилось: она все равно как картофельная драчена, только мамалыга варится из кукурузы...

Мать. Представляешь, человек никогда не ел мамалыгу!

Лида. Да! Он медвежатиной всю жизнь питался.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Старый длинный штакетник, за ним тенями проступают силуэты домов. Лида и Миша неторопливо шествуют по улице. Миша курит.

Лида *(палкой трещит по штакетнику, напевая)*. Вред-

ный, вредный сибирячок-снеговичок! Крепкий, крепкий у сибирячка табачок. Саморуб. Складно?

Миша. Поэт!

Лида. Запоминай! Город наш запоминай, меня, песню мою... А то уедешь и забудешь.

Миша. Не забуду.

Лида. Как знать?

Миша. Сказал — не забуду, стальной, не забуду!

Лида. Бу-бу-бу-бу! Какой ты все-таки, Мишка, сердитый, вредный!

Миша. У нас вся родова такая. Медвежатники мы.

Лида. Ты так и не скажешь мне, медвежатник, о чем вы с мамой говорили?

Миша. Так и не скажу.

Лида. Боец! Умеешь хранить тайны! Настоящий боец! А раз настоящий, развлекай меня, как положено на свиданиях.

Миша. Как это «развлекай»? Я те клоун, что ли?

Лида. А мне какое дело? Положено на свиданиях развлекать? Положено. Устав знаешь? Выполняй!

Миша. Не умею. Сказал, не умею!

Лида. Ты все умеешь, только прикидываешься недо-тепой.

Миша. Лан те трепаться!..

Лида. Какое randevu! Какое обхождение!

Миша. Че ты выдумываешь-то? «Развлекай, развлекай»... И развлеку... Хочешь, про Милку расскажу?

Лида. Про какую еще Милку? У тебя и Милка была?

Миша. Во, львица! Во, псих! В детдоме корову так звали.

Лида. А-а, корову! Про корову валяй!

Миша. Ты ручкой-то не махай, не махай! Милка, может, умнее другого человека была, добрее — уж точно!

Лида. Ты чего сердиться-то?

Миша. А ниче! Такая же вот дурында свела Милку со свету...

Лида. Сразу и финал!..

Миша. «Финал, финал»... Говорю тебе, мировая корова была! Доиться, правда не доилась, зато дрова в поленницу складывала.

Лида. Как это?

Миша. Мы научили. Подденет полено на рога, положит в поленницу, отойдет, полюбуется, если поленница

не поглянется — разбежится и р-раз ее рогами! Своротит! Потеха! Один раз мы ее в валенки обули, в комнату завели. Милка — понятливая стерва, крадется, ничего не роняет, не мычит. На кровать положили, платочком повязали, одеялом закрыли...

Лида. Люди добрые! Да как же с вами воспитатели-то?

Миша. Выдержали! Куда им деваться? Вот, слушай. Уложили, значит, Милку и говорим: «Милка! Как заведующая войдет, ты мычи, вскакивай и поднимай шухер!» У Милки с заведующей тоже не контакило. Выдра эта все грозилась ее на котлеты пустить. Мы б самое заведующую скорее в дурдом свели, да под Милкой кровать обрушилась. Милка подумала: шухер начался, давай по дому бегать в платочке, в катанках, все своротила, перебила... Чё бы-ы-ло-о! Чё бы-ы-ло-о!..

Лида. Миша, а Миш? Она по карманам не лазила?

Миша. Не успели выгучить... На котлеты ее всежки пустила выдра!.. Весь детдом ревел, котлеты никто есть не мог... Да и как не реветь? Мороз, дождь, слякоть — Милка всегда с нами. В школу идет — все сумки прет на хребтине, на рогах. Потом по городу ошивается, где хлеба кус сопрет, где веник изжует... К большой перемене обратно. Тут ее все ученики угощают, кто конфеткой, кто пряником — кто чем богат, тот тем и рад. За отстающих Милка шибко переживала. После уроков останется, мычит под окнами: зачем, дескать, мучаете бедных детей? Один раз мычала, мычала да как разбежится, да ка-ак даст — всю раму вынесла! Во какая Милка-то была! А ты про чё подумала? Э-э, одно у вас, у девок, на уме!..

Лида. Та-ак! Первый номер программы исчерпан. Дуй дальше.

Миша. Чё дальше?

Лида. Развлекай.

Миша. Ну-ну, мадам, я уж и не знаю, про что еще врать?

Лида. Врать не надо. Расскажи, о чем с мамой?

Миша. А хочешь анекдот?

Лида. Давай анекдот.

Миша. На фронте, значит, фрицы кричат: «Еван! Еван! Переходи к нам! У нас шестьсот грамм хлеба дают». А наши ему в ответ: «Пошел ты!..» Ну, ты знаешь, куда пошел...

Лида. Смутно догадываюсь.

Миша. Пошел ты, значит, куда-то! У нас кило дают, и то не хватает. Ха-ха-ха! Не смешно, да? У-ух, какая ты! Это не я вредный, это ты вредная! Что же делать-то?

Лида. Читай стихи.

Миша. Стишки? Да я один всего и помню. «Однажды в студеную зимнюю пору...»

Лида. Можешь не трудиться. В школе, лет восемь назад, за чтение этого стиха я отхватила отлично. Говори, несчастный, о чем вы с мамой?

Миша. О-ох! Не зря мы лупили отличников! Все-то они знают, все-то постигли. Хотя постой, врубило! Помню. Жалобный стих помню. Нашему радисту баба в тылу изменила, и он этот стих все декламировал. Сидит у ради, не ест, не пьет, не воюет, все декламирует, декламирует...

Лида. А хитрый же ты, Миш-ка-а!

Миша. У нас вся родова...

Лида. Довольно про родову... Стих давай! Но только не про войну. Войной я во как сыта!

Миша (*прокашливается*). Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно, на время краткое, без траты чувств и сил, я пламенно любил, глубоко и несчастно, безумно я любил... Та-та-та, та-та, безумно я любил...

Лида. Мишка, не придуривайся!

Миша. Ну отбило. Забыл. Та-та-та... Снова врубило! Та-та-та!.. И вся моя душа стремилась к ней любя. Я обожал ее, она ж, смеясь, твердила: «Я не люблю тебя!» Как? Ничё?

Лида. Потрясающе.

Миша. То-то же! Дальше еще переживательней. Я звал забвение, покорный воле рока, бродил с мятущейся и смутною душой, но всюду и везде, преследуя жестоко, она была со мной! Длинный стих-то, где все упомнишь? Конец буду.

Лида. Валяй конец.

Миша. И в редкие часы, когда, людей прощая, я снова их люблю, им отдаю себя, она является и шепчет, по вторяя: «Я не люблю тебя!..»

Лида и Миша стоят притихшие.

Лида (*ложится на грудь Миши щекой*).

И в редкие часы, когда, людей прощая, я снова их люблю... Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник.

Миша торопливо ткнул в воротник Лидино пальто.

Медвежатник ты, медвежатник! Тебе бы со зверьем только якшаться. Ты и целоваться-то не умеешь!

Миша. А ты? Ты все умеешь!

Лида. Нет, Миша, я ничего не умею. Давай учиться сообща.

Они поцеловались и стоят, глядя в ночь. В полутьме, с кайлом и лопатой, в рабочем комбинезоне, в шапке, ковыряется Смерть, что-то ищет, вынюхивает.

(Заметив Смерть.) Опять она тут! *(Пытается утянуть Мишу погальше.)*

Но Миша оставил Лиду, подошел, взял Смерть за воротник, повернул к себе.

Миша. Чего тут ищешь? А пододелась-то! Пододелась... Рядишься! Маскируешься?!

Смерть *(со вздохом)*. Что же делать? Солдатик? Всяк со своей задачей, культурно говоря, — миссией... Дал бы закурить?

Миша протягивает кисет. Смерть уверенно и быстро излаживает сигарку. Миша дает ей прикурить.

(Закашлялась.) Ну и самодрал! Так о чем я? А-а! Научились, понимаешь, людишки обманывать меня, отмаливаться, прятаться. Вот я и крадусь, оборотнем прикидываюсь... Стра-а-тегия, обратно.

Лида. Слов-то, слов каких набралась!

Смерть. В местах не столь отдаленных.

Лида. Устаешь везде-то поспевать?

Смерть. Устаю не устаю, жаловаться некому. Службу несу исправно. Тут вот, недалеко, в развалинах, после бомбежки людишки заваленные жили. Уж так ли сильны, так ли терпеливы!.. Почти месяц, считай... без воздуха... без пищи... капля по капле воду собирали из оторванного водопровода, всю живность подвальную приели. Дюжат. Ждут. Я уж смотрела, смотрела и... пожалела бедняг...

Лида. Пожалела?! Слушать тебя...

Смерть. И послушай! Умнее станешь.

Миша. Шла бы ты...

Смерть. Напрасно вы со мной, вьюноша, отношение портите, напрасно... Я ведь могу и намучить, прежде чем пожалеть...

Миша. Иди, иди!

Смерть заглядывает озабоченно за забор, досасывает окурок, уходит.

Лида. Ушла! Слава Богу, ушла! *(Показывая на небо.)* Вызвездило. Может, там и наша звездочка есть? Хоть самая-самая маленькая...

Миша. Есть, да не про нашу честь!

Лида. Все испортила, костлявая!

Миша. Мне пора уходить. В розыск попаду...

Лида. Да, пора. *(Ежится.)* Давай все-таки загадаем во-он ту звездочку, рядом с ковшиком. Она такая маленькая, голубенькая... звезда, звездочка, звездوشка.

Миша. Давай. Ты чего плачешь-то?

Лида. Не знаю, Миша. Ничего не знаю.

Миша. Забудь об этой заразе. Шляется тут. Нервишки у тебя барахлят.

Лида. Нервишки, Миша, нервишки.

Миша *(прижимает Лиду к себе, гладит по голове)*. Хорошая ты моя!..

Лида. И ты, Миша, хороший мой.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Коридор госпиталя. К белой стене придвинут деревянный диван-скамейка. Двое ранбольных сражаются на диване в «Чапая» — игра в пешки, когда щелчком бьют по пешке и она выбивает строй «противника». Возле сражающихся несколько болельщиков. Среди болельщиков толкается Смерть. По коридору прогуливаются перед сном ранбольные, рядовые в халатах, в одеяльных юбках, офицеры в пижамах.

Болельщик *(возле дивана)*. Сила есть, ума не надо! Ты как бьешь-то?

Игрок. Не лезь! Не твое дело! Так-так-так!

Появляются двое в пижамах. Один старенький, суетливый, другой солидный, с мохнатыми насупленными бровями.

Старичок *(попрыгивая вокруг бровастого)*. И не говорите, и не возражайте, полковник! Нравственность — понятие разностороннее и традиционное. Да, она лежит в сфере сознания, и потому какой уровень сознания, таков уровень нравственных отношений среди людей. Вот, к примеру, есть в Африке племя карибов, в котором мужчины и женщины разговаривают на разных языках.

Полковник. На разных?!

Старичок. Да, да, на разных! И знаете, полный порядок и гармония царят в сем благословенном племени.

Полковник. Это, положим, к понятию нравствен-

ности никакого отношения не имеет. Это, скорее, из области причуд.

Смерть (*Игроку*). Ы-ых, мазила! Не брался бы! Вот что ты лупишь? Куда, зачем? Тут стратегия нужна, стратегия!..

Игрок. Отвали, баба, не мешай!

Старичок (*полковнику*). А что, по-вашему, есть нравственность?

Полковник (*разводит руками*). Боюсь, не объять необъятное... Но что понятие это разностороннее, совершенно с вами согласен. Вот хотя бы они. (*Кивает на играющих в шашки солдат*.) Ранены, биты, еда — чай да каша пища наша, перевязаны стираными бинтами, на палату один халат, пара тапочек, а они такой урок чистоты преподали бы...

Старичок. Вот эти стриженные?

Полковник. Да-с, милостивый государь, эти-с!

Удвляются.

Являются два солдата - разгильдяя, один в белье, другой в шинели.

Первый тянет за грудки второго, прислоняет его к стене.

Первый. Из рта рвешь, гад? Я те пайку отдал? Отдал! Чтоб ты мне шмару зафаловал! А ты?

Второй. А я находчивость проявил. Пайку сховал и сам ко шмаре.

Первый (*плюет на второго*). Кусочник! Арестантская харя! Попадись ты мне на передовой! (*Снова хватает за грудки второго, но в это время появляются старичок с полковником*.)

Полковник вклинивается между разгильдяями.

Полковник. Прекратить! Я кому сказал — прекратить?

Первый. А чё он, гадюка!.. (*Рвется ко второму*.) Я те все одно глаз выбью!

Второй. У глазу хозяин есть! (*Заготовавши, ринулся к дивану*.) Я на очереди! Играю на высадку! За пайку!

Болельщик. За пайку играй в родной тюряге!

Первый (*заметив Смерть*). Х-хо, баба! (*С ходу лапает ее за зад*.) Это чё такое? Одне кости!

Смерть. Ущипни еще раз, мордоворот! Ущипни! Я так тя ущипну!

Игрок. Ребята, да откуда эта баба? Чё она тут базлает, на самом-то деле?

Болельщик. Черт ее знает! Все время меж нас отирается. И наглеет, и наглеет... Ты откуль, в самом деле, взялась?

Смерть. Откуль? Откуль? Не видишь, что ли? *(Топает ногами.)* Лучше не доводите меня до психу! Всех перешелкаю! *(Морщится.)* А накурили-то, накурили! Со всем женщину уважать разучились, оглоеды! *(Увидев полковника и старичка, Смерть приветствует их.)* А-а, старые знакомые! Обманули, обманули вы меня! Нехорошо, нехорошо-о!

Полковник *(глядя вслеп Смерти)*. Я где-то видел эту препротивную особу. Во сне? В бреду ли?

Старичок. И я, знаете ли... И я... Ну, Господь с нею! Так вот, дорогой мой полковник, два этих разгильдяя были вескими контраргументами, и я бы ими воспользовался, ниспровергая вас, если б не знал очаровательную сестричку и молоденького солдатака...

Полковник. Прошу вас, оставим их в покое.

Старичок. Охотно, охотно! Лучше я вас заморской экзотикой буду удивлять.

Оба удаляются.

Появляется Лида. Она что-то или кого-то ищет. Подходит к дивану.

Лида. Больные, вы не видели Мишу?

Болельщик. Какого еще Мишу?

Игрок. Да Мишку Ерофеева. К психам он ушел, к психам, в девятую палату.

Второй игрок. Не мешай играть, сестрица! *(Становится на колени, засучивает рукав.)*

Появляется Пана.

Пана. Кыш, больные! Кыш по палатам! Хватит, хватит, хватит! Спатыньки, спатыньки! *(Пытается отобрать доску с шашками.)*

Больные *(не дают)*. Н-ну, сестрица! Ну-ну, еще одну, последнюю.

Пана. Так и быть, последнюю. *(Как бы только заметив Лиду.)* Лидочка? Ты кого ищешь, Мишу? А он на праздник ушел, на Международный женский день, к шефам на швейную фабрику. Пусть развлечется мальчик, ему днями отправка. Все, все, мальчики! Все! *(Берет под мышку доску и величественно удаляется.)*

Больные *(тащатся следом)*. Сестра! Пана! Панюшенька! Еще одну!..

Лида присаживается на диван, закрыв лицо руками. Является Стари-чок-философ. Замерев в охотничьей стойке, он смотрит на сестру.

Почувствовав его взгляд, Лида отнимает руки от лица.

Старичок. Какое время, миледи?

Лида. Военное!

Старичок. Да что вы говорите?! А я, знаете ли...

Лида. Отбой был?

Старичок. Был, был. Но знаете ли...

Лида. Так какого черта шляетесь? Марш в палату! Расшлялись тут по коридору, по швейным фабрикам! Я вам всем покажу! *(Топает ногой, да так сердито, что Старичок отпрянул.)*

Пока Лида разорялась, появляется Миша — в бушлате, в сапогах. Ухмыляясь, понаблюдая всю сцену и вдруг пошел, пьяно пошатываясь, и грянул: «Ха-ха! Там, за поворотом, гоп-стоп, не вертуйся! Схватили два мазурика и-ий-йо-о-о!» Шествует мимо Лиды.

(Цап его за шкурку.) Стоп, мазурик!

Миша. И кой-то?

Лида. Ты где шляешься, несчастный?

Миша. А-а, это вы, миледи!

Лида. Я те покажу миледи! *(Втягивает носом воздух.)* Да от тебя пахнет духами! Дешевыми, пошлыми! Ты провожал модистку? Признавайся, несчастный!

Миша. Провожал.

Лида. И ты целовался с ней?

Миша. Целовался.

Лида. Сколько?

Миша. Чего сколько?

Лида. Целовался?

Миша. А кто ее знает? Может, час, может, два? Часов-то у меня нету.

Лида. А потом?

Миша. Чего потом?

Лида. Чего было потом? И не лги, не выкручивайся!

Миша. А-а? Потом я вспомнил, что ужин пропадает, и домой рванул.

Лида. Дурак! *(Опускается на диван.)* Я тут ищу его, а он... Все надо мной смеются, кто — к психам ушел, кто куда, а эта ваша Пана-сестрица... Уу-х! Я бы вас всех!.. *(Пластает какую-то бумажку.)*

Миша. Во даешь! Не позавидуешь мужичонке, который тебе достанется!

Лида. Мужик у меня будет один! Ты!

Миша. Н-не, я не согласен!

Лида. Не отвертись!

Миша (*чешет левой рукой затылок, правой заг*). А если сразу развод?

Лида. Разводящий не пришел! Прекрати чесаться, несчастный! Ты пил там?

Миша. А ты дура!

Лида. Конечно, дура! Была бы умная, разве б приста-ла к такому? (*Приваливается к Мише.*) Ты, правда, не целовался?

Миша. Ну, честное слово. Послали нас играть женихов на фабрику. Чё может быть нелепей? Ребята по стенкам жмутся, кто с палкой, кто одноглазый, кто без руки... Одеты в бэу — все с чуждого тела... Напились поскорее и мужики, и девки, чтоб не стесняться. Я маленько выпил и ушел... Думал, тебя дома застану...

Лида. А я подменила дежурную сестру. Тебя ведь днями выпишут. Я и хотела еще побыть с тобой...

Миша. Во как? Ну, все равно, рано или поздно.

Лида (*обнимает Мишу*). А невест, Миша, играть тоже нелегко.

Миша. Ты, что ли, играешь?

Лида. Не обо мне речь... Сдавай старшей сестре амуницию. Праздник кончился, Миша.

Лида и Миша стоят, обнявшись. Из-за кулис выступила С м е р т ь, в старом халате, в белой перепачканной косынке. Словно споткнулась, оставилась, прислушалась и, приложив палец к губам, на цыпочках, неслышно ушла назад.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Седьмая палата. В ней поставлена печка вместо стола, горит электросвет. На койках раненные новички. Они тоже воюют во сне. Из старых остался только Поп и вода. Лида и Миша сидят неподвижно возле горячей печки. У Лиды на коленях папка с историями болезней. На папке мертво покоятся ее руки, Миша молча курит. Докурил сигарку, сунул в подтопок, подшевелил в печке клякою, смотрит на огонь, не вставая с колен.

Миша. Тепло-о! Зимой колели, к весне печку поставили. Пор-р-ря-дочки...

Лида. Легче с углем и дровами стало, вот и поставили, электростанцию восстановили.

Снова умолкли Лида и Миша.

Миша. *(подвигаясь к Лиге с табуреткой)*. Эй, гражданин начальник! Ты спишь?

Лида. Сплю.

Миша. Нельзя ли поспать рядом?

Лида. Нельзя!

Миша. В одном романе я вычитал: «Если женщина говорит «нельзя», стало быть, можно, даже нужно».

Лида. В каком это романе? Я бы тоже почитала.

Миша. Кажись, во французском.

Лида *(не открывая глаз)*. О чем мы говорим в последнюю ночь! Тебя же завтра отправят на пересылку, затем в нестроевую.

Миша. Нет уж, дудки! Рельсы таскать и мыло варить пусть дураков ищут. Я к себе, в часть!

Лида. Снова на передовую? В четвертый раз?

Миша. Привычно! Это кто в тылу окопался, тому в дичь, а мне окромя волос и терять нечего...

Лида *(все не открывая глаз, нащупывает руку Миши, гладит ее)*. Оторвало бы...

Миша. Чё?

Лида *(встряхнулась, открывает глаза)*. Да ничего! Резали, резали, пилили, пилили, чистили, чистили — и рука осталась, и грудь зажила. Ничего не болит? Не беспокоит?

Миша. Вашими молитвами.

Лида. Молитвы наши ни при чём. Силы в тебе много.

Миша. А мне ее много и нужно. Некому меня, детдомовщика, кормить, если калеккой стану. *(Встряхнулся)*. Но я, знаешь, когда захочу, так и банку сворочу!..

Лида. Стоп, военный! На шутки у нас нет времени. Давай поговорим о чём-нибудь серьезном.

Миша. О чём же?

Лида. Разве не о чем? Разве ты ничего мне не хочешь сказать на прощанье? Вдруг тебя убьют?.. Нет!.. Нет!.. *(Лида бьет себя кулаком по рту)*. Нет, Миша! Нет! Сорвалось!..

Миша. Не дамся!

Лида. Опять ты с шутками. А если тебя и в самом деле не станет, что будет со мной?

Миша. Да и откуда мне знать? Меня еще ни разу до смерти не убивало... В изоляторе помер бы, дак ты...

Лида. Больно-то как! Тут больно! *(Берет его руку, прикладывает к груди)*.

Миша. Лан те! Заревем оба, чё хорошего!

Лида. И зареветь нельзя, больных поразбудим... раньше бы хоть помолились. Но мы ж атеисты...

Опять смолкли.

Миш, а Миш! Ты хоть башку-то удалую под всякую пулю не подставляй.

Миша. Лан, не буду. Я их, чуть чего, ротом заглочу! Хам — и нету! Как Рюрик.

Лида. Рюрик! Рюрик! «В футбол буду играть. В футбол...» Легкое все в дырах от осколков, а он — в футбол!..

Миша. Рюрика послушаешь — у них в Саратове сплошь футболисты да гармонисты.

Лида. Оба вы обормоты несчастные!

Миша понарошку проводит пальцем под носом Лиды и вытирает палец о конец косынки.

У-у, противный! *(Бьет Мишу по руке и вдруг в ухо выпаливает.)* Их либе дих!

Миша. Чево-о!

Лида *(выпрямившись)*. Их либе дих, балбес ты этакий! *(Закрывается руками.)*

Миша *(топчется перед нею)*. Я тоже... либе... Тоже их либе... Да ну его, этот немецкий! Я и в школе-то по шпаргалкам... Я еще тогда, когда ты возле меня...

Лида. Так что же ты молчал?!

Миша. Страшно. Слово-то какое! Его только раз в жизни произносить можно. Только... раз...

Лида. У-у, противный! *(Бьет Мишу кулаком по голове, тут же обнимает и утыкается лицом в него.)* Противный! Противный! Противный! И откуда ты свалился на мою голову?

Миша. С верхней полки.

Лида. Кажется, светает! Неужели все? Вот только сказали друг другу — и все? Мишка! Мишка! Что же ты молчишь? Что ты все молчишь?

Миша, боясь заплакать, отворачивается.

Миша, я попрошу тебя. Ты сделаешь для меня...

Миша. Что хочешь.

Лида. Я поставлю тебе температуру...

Миша *(пятится от нее, открещивается руками)*. Ты с ума сошла! Ты чё буровишь-то?

Лида. Ну, поднялась... ну, неожиданно... ну... бывает...

Миша (*трясет Лиду.*) Лидка! Лидка! Опомнись!

Лида. Пусть меня с работы попрут, из института... Но я так хочу побыть с тобой, так хочу!

Миша. Не блажи, Лидка, не блажи! И за что нам такая мука?

Лида. Что будет со мной? С нами? Я хочу, чтобы ты вечно был!..

Миша. Да я же здесь, живой еще...

Лида. Тут! Тут! Тут! (*Тычет себя пальцем в грудь.*)

Миша. Да-а, если тут...

Лида. Нет, нет, это не предчувствие, нет! Просто болит, тут болит.

Миша. Боль проходит. Я много боли перенес в жизни и вон какой жизнерадостный...

Лида. Ты еще можешь шутить!

Миша. У нас вся родова веселая. Вот у меня дед...

Лида. Это который медведя за лапу ловил?

Миша. Чё медведей! Он однажды девку за поскотиной поймал, и стала та девка сразу моей бабкой.

Лида. Вот это дед! Рубака! Не то что некоторые... (*Гладит Мишу ладошкой по лицу.*) Мишка, да у тебя борода?! Мишка-Михей, бородатый дед!

Миша. Тихо ты! Поразбудишь всех! И правда, чё-то просеклось!

С койки поднимается Попийвода, почесываясь, шествует мимо примолкших Лиды и Миши.

Попийвода. Сидымо? А утро? Вот у меня дочка тэж заневестилась! Тэж, мабуть, до утра с парубком милуется... (*Ушел, на ходу разбирая ширинку.*)

Лида. Утро! И в самом деле утро! Как же я завтра на дежурство приду, а тебя нет?

Миша. Ты прости меня, Лидия!

Лида. За что же, Миша?

Миша. Я не знаю, за что, но чувствую себя виноватым...

Возвращается Попийвода, зевая, укладывается в постель. И тут же возникает Смерть, в старой солдатской шинели, в пилотке, в обмотках. Шарится руками по койкам, заглядывает в лица спящих. Увидела оцепеневших в объятиях Лиду и Мишу.

Смерть. Эти еще здесь?! Все не могут разлучиться! Ах, страсти, страсти роковые! Помилуйте, помилуйте минуту-другую, я у печки кости погрею. *(Присаживается за печкой.)* Какая благодать! Вот так бы сидеть вечно в тепле. Так нет, все работа, все сроки поджимают. Выходит срок и этого солдата... А тихо-то как! Эх, кабы не вражда людская, быть может, и я бы отдохнула... Устала я, совсем устала!..

Миша замечает Смерть и заслоняет от нее Лиду.

(Приветливо делает Мише ручкой.) Пора, солдатик, пора!

Миша *(шепотом)*. Дай встретиться еще хоть раз!..

Смерть. А эта встреча неизбежна.

Миша. Нет, не на том, на этом свете!

Смерть. Ах, хитрованы! Вымогатели! Все чего-нибудь да выпрашивают. Не пожалей, солдат! Я вам устрою встречу не из легких...

Миша. Пусть пожалею, пусть! Пусть мука, пусть страдание.

Смерть. Что ж, коли добро не понимаешь. *(Машет рукой, и зади высвечиваются ворота, тускло видны буквы: «Запасный полк».)*

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Возле ворот с винтовкой поплясывает Попийвода. Появляется Лида.

Лида. Попийвода! Товарищ боец! Сторожите, значит?

Попийвода. Пристроився. Так разбегутся ж. Такой народ. Ось бачьте: воинская часть — забор, ворота, часовой, а воны тикают!

Лида *(просительно)*. Мне бы Мишу!

Попийвода. Якого ще Мишу?

Лида. Ерофеева. Вы же знаете, в палате рядом с ним лежали.

Попийвода. У палаты, у палаты!.. Щоб вона сгинула, та палата. Недужного человека в часть! Це як?!

Лида. Я все, что могу, делала и делаю для раненых.

Попийвода. Тебя благодарю, бо доброе дитятко. Но той Агние-змеи!.. Щоб ей шпастя не було! *(Кричит в ворота.)* Рахвеев! Эй, Рахвеев! Пришли тут до тебе!

Появляется Миша.

Миша (*смотрит на нее в упор и вроде бы не узнает*).
Пришла?! (*Медленно, трудно.*) Ты зачем сюда пришла?
Зачем? Чтобы увидеть доходягу? В расшлепанных ботинках,
драного, стриженного. Н-на, смотри! Любуйся! Пока не переобмундировали...

Лида. Миша! Да что ты! Что ты, миленький! Что ты!
Я уйду... уйду... если нужно, уйду. Вот только письмо...
Счас-счас. Я уйду... уйду... (*Шарится в рукаве пальто.*)
Счас-счас...

Миша. Какое письмо? Откуда?

Лида. От Рюрика. Оно третьего дня пришло. Я подумала:
зачем его обратно отсылать? И... и... и вот... принесла...

Миша. Спасибо!

Лида. Мне уходить?

Миша. Да, да, уходи! (*Замечает, как Смерть оттерла Попийвогу от ворот, встала вместо него на посту.*)
Матери привет передай! Прозорливая, умная она у тебя женщина!
И, пожалуйста, не оглядывайся!

Лида. Я боюсь, Миша! Тебя одного боюсь оставить! У тебя в глазах что-то...

Миша (*зажимая лицо руками и становясь так, чтобы Лида не видела Смерти у ворот*). Я прошу тебя, прошу! Ну, что ты хочешь? Чтобы я сказал, что мне плохо без тебя, что на ране открылся свищ, что мне одиноко, голодно, холодно, что предчувствия мучают меня, что сны один кошмарнее другого...

Лида. Я хочу видеть тебя. Хочу с тобой быть! Взять от тебя боли, убавить твои муки, страдать вместе... Миша! Ми-и-иша! Я же люблю тебя, такого люблю еще больше!

Миша. Какого такого?

Лида. Такого вот... неистового и беспомощного. Это я, я отбила тебя у Смерти, воскресила для нас, для жизни совместной, для любви...

Голос Попийводы (*за воротами*). Рахвеев, на построение...

Миша. Мне пора. Через час отправка. Прощай! Пожалуйста, не оглядывайся! Пожалуйста!.. Примета такая...
Прошу тебя...

Миша допятился до ворот. Смерть интимно взяла его под руку и увела. Лида осталась одна. Послушно выполняя наказ Миши, не оборачиваясь, она твердит.

Лида. Не уходи! Не уходи! Побудь еще минуту! Не уходи! Не уходи!

Сужается край света вокруг Лиды. Слышно войну, выкрики команд: «Вперед! Вперед! Перебежками! Р-руби! Залпом пли!» Треск очередей, разрывы, вой мин и тот страшный, все пронзающий звон.

Я хочу побыть с тобой еще хоть день, хоть час, хоть минуту...

Пятно света сужается.

Пусть остановится война на день, на час, на минуту!.. Пусть остановится!..

Нарастает грохот войны. Лиду теснит темнотою. Отступая от нее, Лида рушится на колени возле оркестровой ямы... будто у обрыва, и, воздев руки к небесам, с отчаянием и мольбой взывает.

Пусть остановится война!..

КИНОСЦЕНАРИИ

•

НЕ УБИЙ*

Вдоль морского прибрежного припая медленно, одышливо ползет старый пароход. По левому борту его безбрежное море в холодных взлохмаченных волнах; по правому борту — сверкающий под холодным солнцем голый лед, на который рушатся, накатываются волны.

Берегов не видно ни с той, ни с другой стороны. Безжизненно все вокруг. Лишь пароход, сверху кажущийся букашкой, ползет и ползет, сгрызая, как древесину, волну за волной.

Вдруг от солнца, с ослепляющей стороны неба повалились на пароход самолеты, пластанули по нему пулеметами, сыпанули черные, похожие на поросят, бомбы.

Все это: и пароход, и самолеты, и черные бомбы, зависшие меж ними, — останавливается, замирает, и по остановившемся кадру текут слова: «Этот фильм расскажет об одном из многочисленных эпизодов прошлой, Великой Отечественной войны. Произошло это на северной окраине нашей страны, в Белом море, весной 1942 года».

1

Бредет, скользит на белом насте маршевая рота. Странная, непохожая на роты, посланные на другие фронты. Те, другие, имели хоть какую-то боевую форму, были лучше одеты, лучше обучены военному ремеслу, лучше вооружены и накормлены. Эта рота, ведомая старым, при-

*Написано в соавторстве с Евгением Федоровским.

храмывающим капитаном, в котором, наверное, больше военного железа, чем собственных потрохов, направлялась на замену поредевших североморских заслонов. Там, в бессонных штабах, рассудили здраво: у Печенги фронты уперлись лоб в лоб, и ни с места. Значит, там легче. Значит, выстоят. И больше для видимости заботы, чем для собственного успокоения, отрядили пополнение, одетое кто во что: шинеленку, сменившую не одного хозяина, шубейку, ватник. Пожилые люди, давно смирившиеся с нелегкой своей службой, и совсем молодые, сорванные с родных деревенских печей из самых глухих углов, неблагоприятных, вечно недоедающих северных областей, — шли они по лысой кольской земле.

Одни камни — клыком из снега, да хлесткие стволы кривых полярных березок, да еще что-то чудное, серенькое, вроде чахлой полыньки, кустиками — ягель да ветер, мозглый, весенний, иголками несущийся с далеко шумящего моря.

Андрюшка Булыгин вытягивает тощую шею из широкого шинельного воротника — подними его за ворот — выпадет, таращится на мглистое даже днем, тучистое небо, на голые валуны, то и дело сдвигая каску, спадающую на глаза с шапки, жметя к молчаливому усатому дядьке.

— Тут и пожрать... не разживешься.

Дядька, сердитый, сухой лицом, не достаивает его ответом. Идет и идет.

Андрюшка остановился, как вкопанный, рот его отворился.

— Мотри! Корова с рогами!

Из-за камней, из-за поворота выносятся оленье упряжка — важенки и самец-коренник. Ненец — солдат, с трубкой в зубах, равнодушный и молчаливый, объезжает внезапно застывший строй — все видят на нартах лишь голые пятки мертвого человека, накрытого брезентом.

Грохот боя все ближе, ближе. То и дело роте приходится сбиваться на обочину, уступать место тем, кто выходит из пекла боя.

Рвет мотор шофер, тащит на прицепе танкетку, обгоревшую, с рваной дырой в башне. Танкетка из тех знакомых Андрюшке по кино, по парадам, которые давно сгорели и погибли на других фронтах.

Хлещет отощавших одров возница. Застрыла в колдобине повозка. А в ней раненые. Один замотан бинтами так, что виден только глаз.

— А ну, навались! — кричит капитан.

Андрюшка проявляет неожиданное проворство, тужится из всех сил, толкая повозку, капельки пота заблестели на носу, а глаза, не мигая, смотрят на раненого. Обмотанный бинтами человек хватко вцепился в рукав Андрюшки, стал настойчиво совать ему какой-то предмет. В руках Андрюшки оказалось оружие, неположенное рядовому пехотинцу, — нож с деревянной черной ручкой, в деревянных же ножнах.

Раненые пошли гуще. Кто мог, тот шел, кто не мог, того везли в бричках. Потеплело на сердце, когда встретились с морячками из морского десанта. Морячки шли на отдых и собрались было освистать пеструю пехоту, но старшой гаркнул: «Отставить!» — и они притихли. У Андрюшки глаза запыльхали от зависти при появлении моряков.

— У кого табачок, пехота? — крикнул один из матросов. Андрюшка сорвался с места, отмахнул полу необъятной своей шинели, выхватил из штанов жестяную конфетную баночку.

— Самосад! Курит весь детсад!

Моряки дружно навалились на табачок. Один из них спросил из вежливости:

— Откуда будешь, дружок?

— Да вроде архангельский...

— А что «вроде»?

— Так из-под самого низу.

— С глубинки, значит?

— Ага... И в военкомате — на Северный, говорят... Думал, во флот... — тараторил Андрюшка, обласканный вниманием. — А тут нате вам...

Кто-то протянул котелок с мятой, перезимовавшей под снегом брусничкой.

Андрюшка загреб пригоршню, сунул ягоду в рот, сморщился, съел.

— Подъем!

Андрюшка, хлопая лапами шинели, заторопился в строй.

Разметывая снег, неожиданно выбился на дорогу командирский «виллис», с визгом затормозил. Сидевший рядом с шофером майор вырвал взглядом капитана, нервным кивком подозвал к себе. Тот подбежал, козырнул.

Майор оглядел пополнение.

— Н-н-на-а-а-а... Одного из гренадеров — для сопровождения.

— Какого сопровождения?

— Раненых. Пароходом. До Архангельска. Первый номер — Огородников. Нужен второй.

Капитан что-то посоображал, отыскал глазами Андрюшку.

— Боец Булыгин ко мне!

Андрюшка кинулся к «виллису», вытянулся перед командирами, прижав винтовку к бедру.

— Значит, так! — тоном, не терпящим возражений, заговорил майор, переглянувшись с капитаном и поняв его. — Получишь сухой паек на неделю, и с Огородниковым, на последней полуторке, — майор жестом показал в обратную сторону, туда, где скрылись морячки и куда едут раненые. — Глядишь, еще с мамкой свидишься...

* * *

Мглистая, ветреная ночь.

Волны накатывают на обледенелые сваи.

Покачивается старый, дореволюционной постройки пароход с большим красным крестом на трубе.

Обдаёт студеными брызгами раненых, скорбной чередой движущихся по скользким скрипучим сходням.

Слышатся тяжкие вздохи орудий. Небо то и дело озаряется зловещими сполохами. Раненых спускают с обрыва по вырубленным во льду ступенькам. Одни бредут сами, других несут на носилках. Сколоченные наспех доски сходен пружинят под ногами санитаров.

Старик, капитан парохода, словно кенарь в клетке, прыгает по мостику, тревожно поглядывает в сторону моря, где уже брезжит рассвет.

На причале падает кто-то, вскрикивает от боли. Подбегает сестра:

— Ну, что ты, что ты? Потерпи, потерпи...

Капитан дробит шажками по мостику. Останавливается, смотрит на крышу рубки. Там неясно чернеет силуэт спаренного пулемета:

— Эй, на рубке!

Свешивается голова Андрюшки:

— Чего?

— За небом гляди! Неровен час...

Андрюшка подходит к флегматичному сержанту Огородникову. Сержант выплевывает окурки в черную воду.
— У немца побудка в шесть. Потом завтрак. Так что будет не раньше семи...

Оба смотрят на причал, по которому тянутся раненные.

— Все, капитан! — кричит громко военврач в белом кожаном.

— Сколько? — перегнулся капитан с мостика.

— Четыреста семь, не считая персонала и моряцких душ.

— Эх-хе-хе! — кричит капитан, направляясь к переговорной трубе. — души-то есть, а вот насчет моряцких... — Резко двинул ручку. В пароходе что-то залязгало. Из трубы вывалились клубы густого дыма. Ветер понес дым к берегу. Причал с обрывом скрылся из виду. На мгновение открылись причал и поселок на заснеженном берегу, испятнанном взрывами бомб, и снова исчезли, теперь уже в облаке пара, со свистом рванувшего из недр парохода. Пар отнесло движением за корму. Между ним и причалом завертелась водоворотом черная вода и било о причал крошеным льдом, вертело и толкало по воде дохлых рыбешек.

* * *

По курсу парохода всходило солнце, все явственней и дальше высвечивая ледовое поле, — неровное, торосистое.

— Отстань! Чего прицепилась? — раздался крик на палубе.

Андрюшка и Огородников воспряли ото сна, виновато зашарили руками по пулемету.

Раненый с забинтованной головой, отстраняя сестру, тащится к борту парохода.

— Дай море посмотреть!

— А выпадешь? Отвечай за тебя.

— Я шесть месяцев у этого блевотного моря из боев не выходил и в глаза его не видел! Это ты можешь понять?

— Ну, и смотри пожалуйста! А чего орать-то?

Раненый долго всматривается в морской простор. С моря дует.

Холодно. Неуютно. Поежился раненый, покачал головой.

— Эх, море, море! Алые паруса... Ассоль... Пошли, до-

рогуша, лучше чай пить, и извини меня, ро-ман-ти-ка! В рот пароход, в задницу барж-жа!

— Слыхал? — встрепенулся Огородников.

— Чё?

— Чай дают, вот чё?

— А пулемет?

— Что с ним станется? Ступай. Я подежурю.

Андрюшка скатился вниз по ступенькам, остановился в растерянности: куда ни кинь взгляд — лежали, сидели, стонали, храпели во сне раненые.

Близко от лесенки метался в бреду морячок, вскакивал с лежака, рвал на себе тельняшку, под которой белели бинты.

— Кидай, мать твою!..

— Господи! — прошептал Андрюшка, узнав того морячка, который подарил ему ножик, и невольно напарил его на пояс, сжал пальцами.

Возле моряка на коленях стоял другой моряк, тоже раненый, успокаивал, прижимал к лежаку. Заметил Андрюшку.

— Разведку вспоминает... На пару ходили... Ты, браток, сестру пошукай. Скажи, Чалый психует.

Андрюшка побежал за сестрой, искал ее в кубриках, в кают-компаниях, превращенной в палату, в трюмах. Всюду лежали раненые. Андрюшка запалился, навалился на борт и услышал в небе гул. Поднял голову — там разрозненным табуном шли тяжелые самолеты, тянули вдаль усталые, опорожненные, не обращая вроде бы никакого внимания на углое суденышко, сильно клубящее черным дымом.

* * *

Заруливают на стоянки тяжелые немецкие самолеты. За ними, резко свистя, снижаются истребители прикрытия. Летчики откидывают колпаки фонарей, расстегивают привязные ремни, какое-то время сидят расслабленно, устало, затем легко, почти ухарски выбрасываются из кабин, прыгивают на землю, потягиваются, разминая занемевшие спины. Каждый подмигивает приближающемуся механику, мол, все в порядке.

Флаг-майор Франц Воцебум любовно оглядывает свою, хорошо потрудившуюся стаю летчиков, — все вернулись живые, никто не заблудился, дело сделано.

А тут еще механик сообщает радостную новость:

— Господин, флаг-майор, завтра прилетает смена.

Воцебум завез лапой по плечу механика так, что тот присел. Летчики, смеясь, тянутся за ним в столовую, что-то пересказывая друг другу, показывая стрельбу, падение самолетов, бегущих россыпью в панике и тонущих в море людей.

В столовой — стандартной, с низким, из палубной доски потолком, Воцебум рывкает.

— Майтингер! Куль! Шверин! Бацатко! Райдль!

Те, кого он называет, вскакивают.

— У вас по двадцать пять боевых. Завтра вы улетаете в отпуск.

— Таков приказ рейхсмаршала, детка, — злорадно шепчет один из пилотов молоденькому соседу по столу. — Двадцать пять — и родина! А у тебя — три! Маме с папой придется подождать...

* * *

Андрюшка, наконец, нашел сестру. Она на корме покуривает с раненым матросом, раненую ногу он водрузил на кнехт, сестру же прикрыл полой бушлата, заграбастал рукой — идет интимная беседа.

Андрюшка аж задохнулся от негодования:

— Там Чалый психует, а ты!

Сестра вопросительно смотрит на собеседника, тот с сожалением отпускает ее.

— Чалый — это серьезно.

Андрюшка, сердито стуча ботинками, поднялся на крышу, натянул сидор, надел через плечо винтовку, завязал покрепче уши шапки, чтобы не растерять трюмное тепло.

— Попил чайку-то? — спросил Огородников.

— Попьешь тут, — ворчит Андрюшка.

— Вроде летит, — насторожился Огородников.

Андрюшка прыжком к спарке пулеметов, завертел головой, оглядывает горизонт и небо. И наткнулся на крохотную, но гудящую точку.

Огородников, щурясь, смотрел на эту точку, как бы стоявшую на одном месте, и обреченно проговорил:

— «Рама»! Мать ее!..

— Какая рама?

— Немецкий разведчик... Теперь наведет...

«Рама» по касательной стала падать, приближаясь к пароходу. Андрюшка начал было вертеть пулеметом, но Огородников удержал его.

— Эту суку просто не возьмешь! Бронирована.

«Рама» тормознула, выпустив щитки, и, на небольшой высоте почти зависла над пароходом.

Во все глаза смотрел Андрюшка на воздушное чудище с широкими, как у ворона, крыльями, маленькими моторчиками, которые, продолжаясь двумя тонкими балками, заканчивались широкой же перекладной с рулями высоты.

Но вот взгляд его уперся в то, что висело посреди моторов и крыльев, — в кабину. Нос его поблескивал, как граненый алмаз, и там виднелось черное пятно сидящего человека. А сзади этой кабины, похожей на детскую «зыбку», зияла дыра...

Верзила-штурман двинул к этому люку крупнокалиберный МГ, чтобы изрешетить старое русское корыто. Но у пилота Цаха возникла какая-то мысль.

— Не надо, Мартин, — загадочно проговорил пилот. — Лучше сделай несколько снимков.

Мартин капризно отодвинул и опустил к люку кронштейн с аэрофотоаппаратом, вставил полукруглую коробку кассеты, щелкнул затвором раз, крутнул рукоятку перемотки пленки...

* * *

По-немецки разрозненные крики: «Летят! Летят!»

И, как единый выдох: «Летят!»

Послышался гул тяжелого трехмоторного «юнкерса». Встречающие заволновались.

Когда «юнкерс» подрулил к толпе, распахнулась гофрированная дверь и посыпали на землю пассажиры. Особенно резко стала видна разница между старожилками и новичками. На тех, кто прилетел, были хромовые сапоги, парадные френчи, белые шарфики и фуражки. «Старички» же, включая самого Воцебума, имели довольно затрапезный вид, носили пилотки, кургузые куртки, застегнутые на крючки, войлочные сапоги с молниями.

— Сейчас ты увидишь, Ули, — пробубнил Воцебум Цаху, отыскивая кого-то взглядом среди прибывших, — врожденного летчика. — В нашем училище всегда был первым.

В широком проеме транспортника показывается Хорст Бётгер. Видит Воцебума, радостно бросается к нему, но сдерживает порыв, пытается по-уставному отрапортовать о прибытии.

— Представляться будешь завтра.

— Так вот кому я обязан назначением в Норвегию?!

— догадывается Бётгер.

— Ты думал, о тебе печется ангел? Нет. Старый друг дороже новых двух, — говорят русские, а они говорить умеют. Не дай Бог, воевать научатся так же, как треплют языком... — произнося все это, Воцебум потискал Бётгера и отстранил его от себя, с явным удовольствием оглядывая любимца.

— Позволь представить?

— Ули Цах — пилот «рамы», — вяло пожимает руку Бетгера.

— Между нами, — Воцебум не замечает натянутой улыбки Цаха. — Его зовут «Игрушка Ули».

— По такому случаю... Вы не соскучились по «Боммерлюндеру»? — предлагает Бётгер.

— О-о, я и забыл, как он пахнет! — восклицает Воцебум.

— Так вот, без уставной формалистики, но и без фамильярностей встречались летчики прославленных Люфтваффе.

* * *

В белые полярные ночи окна приходится закрывать темными шторами. Идет хроника. Кино здесь, на северном краю земли, для летчиков — единственное развлечение и единственная связь с миром.

Воцебум поднимается, наклоняясь, выходит в освещенный коридор, читает письмо, медленно складывает его, запихивает в карман куртки, задерживает молнию. Все делает мрачно, заторможенно.

— Я не помешал? — спрашивает появившийся Бётгер.

— Калач — это где?

— Где-то на юге России, в районе Сталинграда.

— Там погиб мой брат. Третий за эту компанию.

— И нашу семью, как тебе известно, не помиловал Бог. — Пытается утешить друга Бётгер.

Воцебум и Бётгер пересекают коридор и оказываются в большом зале кают-компаний. В углу бюст Гитлера, на стенах портреты Геринга, Рихтогофена, Штудента, Удета, Мильха и других асов Люфтваффе.

Летчики останавливаются перед огромной картой мира. В европейской части темной краской залиты все простран-

ства, захваченные Германией к весне 1942 года. Но они все равно кажутся маленькими по сравнению с территориями Урала, Сибири, Дальнего Востока.

— Сколько осталось русских?

Бёттер пожимает плечами:

— Думаю, миллионов сто семьдесят еще...

— Двое против одного немца... — Воцебум опускается на стул, долго-долго смотрит на карту, неожиданно резко скидывает голову. — Нет, такой кусок нам не проглотить!

Бёттер пораженно смотрит на командира. Воцебум спохватывается, трогает Хорста за плечо.

— Ты не слышал этого, Хорст...

Они идут по-за аэродром, видят с горы море. Погода солнечная, пронзительно-чистое небо. Чайки бьются над волнами. В небе кружатся «мессершмитты» и выполняют фигуры высшего пилотажа.

— Фальке — пять! Фальке — пять! — подают команды с аэродромного пункта, и Воцебум берет на ходу микрофон, надевает наушники, — парой со стороны солнца. Ха-ра-шо! Ха-ра-шо, малыши! Иван сверху!левой, боевой! Бочка! Славно, малыши, славно! — Настроение его явно улучшается. Он возвращает микрофон с готовностью подскочившему офицеру.

Пролетают над головой тяжелые бомбардировщики, направляясь в сторону моря. Эскадрилья за эскадрилей.

— Эти с Луостари... Эти — с Хебутхена, — поясняет Воцебум. Бёттер недоуменно смотрит на командира.

— Хочешь спросить, зачем сюда нагнали столько авиации? Смотри! Вон там рудники. Никель. Эти рудники для Круша — единственная жила... Мы должны прикрыть ее с воздуха.

— А здесь? — тычет он вниз кулаком, — идут караваны союзников... «Арадо» и «хейнкели» рвут им хвосты...

Лицо Воцебума наливается кровью:

— Но, главное... главное... Смотри туда!

Бёттер поднимает глаза, смотрит в бинокль, долго смотрит в ту сторону, куда указал Воцебум.

— Там русские, Хорст! Остров Рыбачий.. Полярный... Североморск... Или мы испелим их, потопим в крови, или... — Воцебум бросил руки назад. — А там где-то Сталинград, Хорст. — Петля на нашей шее.

Рулит к своей стоянке «рама».

Мартин с кассетой бежит в фотолабораторию.

Цах идет к командиру и вместе с ним смотрит в небо, любуется маневрами Бётгера на «мессершмитте».

— Видимо, у этого парня золотой папаша! — произносит Цах.

— Коммерциальрат! — мрачно роняет Водебум.

— У вас, баварцев, развито чувство землячества.

— У нас на памятнике старого Згодергее высечено: «Народ, который работает, — живет для своего будущего», Бётгер, — сует он кулак в небо, — работает!

— Неприятности, Франц?

— Нет... Впрочем... — мнется Водебум и вдруг берет себя в руки. — Нет. Ничего. Как дела?

Цах кладет на колено планшет:

— Ничего стоящего. Только вот здесь... Со скоростью в пять узлов тащится в сторону Северодвинска допотопная посудина.

— Ну и черт с ней!

— Как сказать, Франц, — загадочно ухмыляется Цах. — Когда наш народ искал море...

— Ты вспомни еще Карла Великого!

— Я говорю серьезно, Франц! Когда гросс-адмирал Редер был всего лишь корветтен-капитаном, он воспользовался рыбацьей шхуной и на ней из Данцига вывез три миллиона в золотых слитках.

— Ты переутомился, Ули. Какое же золото может быть на русской посудине?

Подходит Мартин, держа в руках мокрые снимки, молча раскладывает на планшетах фотографии парохода, снятого с разных ракурсов.

— Да ведь это санитарный пароход!

— Может, он лишь замаскирован под санитарный? — щурится Цах.

— Я не хочу марать руки, Ули.

— Но ребята наших субмарин топят любой неприятельский корабль, и их не мучает совесть.

— Это их дело. Но я солдат. Я дерусь с противником в открытом бою!

— Ну, допустим, там действительно раненые... Боже! Я представляю их мучения! Прав фюрер! Самое гуманное — как можно скорее убить врага, избавить его от страданий. И потом... Почему бы не натаскать на этой посудине наших новичков?

Этот аргумент производит на командира впечатление. Набывчив по обыкновению голову, Воцебум на карте циркулем прикидывает расстояние, считает по навигационной линейке:

— Ладно. Далеко не уйдет.

— Но с севера идет холодный фронт! В тумане мы потеряем русский пароход.

Воцебум еще колеблется.

— А новичкам придется воевать долго. Ох, как долго... — нажимает Цах. — Пусть они пощиплют пароход, потренируются на бомбометание.

Воцебум подходит к пульту, нажимает кнопку аэродромного радио.

— Инженера и вооруженцев ко мне! Бётгер, Функ, Штоккер — приготовиться к вылету!

* * *

Андрюшка сидит возле спаренного пулемета в «полном боевом» — в валенках, в шинели, с вещмешком за плечами и с винтовкой через плечо — будто собрался сходить на ближайшей пристани. Сидит Андрюшка сторожевым, посматривает на море, играющее под ярким весенним солнцем, на сверкающий лед припая, постукивает валенком о валенок и тихонько, себе под нос напевает: «Катя-Катерина — купеческая дочь, с кем ты прогуляла всю прошлую ночь?..»

На палубе идет обычная жизнь. Прибирается матрос. Вертит старый деревянный штурвал рулевой. Рядом с ним прикемаривает штурман.

Высочила из трюма та же молодая, голенастая сестра — покурить, и сразу возле нее возник матросяга на костыле. Теперь уж разглядел его Андрюшка получше — пожилой, но ухажористый. Отобрал у сестрицы махорочную цыгарку, звякнул массивным портсигаром, в нем, как белые зубы, в ряд папиросы. Курит сестричка. Курит матрос, посмеиваются и, глядя на них, веселеет Андрюшка: «А домой вернулась, ложилась спать, на белу подушку, на белу кровать».

Высочила из кухонной двери тетка в грязной куртке, хлобьсь помой из ведра за борт, и к матросу — тоже стрельнуть папироску.

Матрос и тетку угостил, поднес ей зажигалку с огоньком и... не донес.

С неба, от солнца, бесшумно, один за другим повалились на пароход четыре «мессершмитта».

Андрюшка заверещал:

— Тревога! Воздушная тревога!

Зазвенел колокол громкого боя.

Возле паровой трубы забилось белое облачко. Прерывистые гудки поплыли над водой и льдами.

Андрюшка зачарованно, как мышь на удава, смотрит на «мессершмитты».

Матросы разбегаются по боевым постам. Санитарка выскочила на палубу, ойкнув, зажала уши и юркнула обратно в люк.

Головной «мессершмитт», сверкнув остеклением кабины, перешел в пикирование.

* * *

В кабине Воцебум:

— Сначала из пулеметов, малыши!

* * *

Все кругом грохотало и выло.

Андрюшка кинулся к пулемету, начал поворачивать его, но в это время по палубе прошла очередь крупнокалиберного пулемета и смахнула тетку за борт, только пустое ведро покатило следом и тоже мелькнуло в волнах; разбросала матросиков, у руля уже никого нет, штурвал сам крутится, а штурман и рулевой лежат в луже крови и корчатся. Рулевой ловит штурвал снизу.

Матрос, что угощал сестрицу папироской, скрючился, зажав разорванный бок.

— Раненые же! Раненые на борту! — хрипел он.

Огородников отталкивает Андрюшку от пулемета, в ярости жмет гашетки.

Посыпались на крышу рубки дымящиеся гильзы.

Воцебум наблюдал за пароходом с крутого виража:

— Фальке — шесть! Да они еще стреляют?! На-ха-лы!
А ну, заткни им горло!

* * *

Новая трасса качнула Огородникова. Прижал сержант лоб к затылку пулемета, затих, но рук не расцепил. Пулемет заходится в огне. Андрюшка догадался, что па-

лит Огородников в белый свет, отцепил его, и Огородников упал к его ногам мертвый. Андрюшка пробует стрелять один, но справиться с пулеметом не может.

Быстро носятся тени с крестиками. Не поймать в прицел, никак не поймать, все опаздывает он...

* * *

— Фальке — пять! — командует Воцебум. — Кончайте его! Побаловались — довольно!

* * *

Бётгер четко видит красный крест на палубной надстройке, подводит к кресту перекрестие артприцела на бронестекле, нажимает гашетку бомбосбрасывателя.

Полусотка срывается с бомбодержателя.

Тянет ручку на себя, заваливает «мессершмитт» в вираж, видит в косо переместившемся горизонте, как рванула бомба внутри парохода, и все скрылось в огромном облаке пара.

Ветер отнес пар. Открылся пароход. Накренившись, он быстро уходил носом в море, словно торопился зарыться в воде, спрятаться от самолетов.

«Мессершмитты» ходят кругами над тем местом, где был пароход. Там плавают доски, спасательные круги, санитарные носилки. Редкие фигурки людей барахтаются на волнах. Их добивают из пулеметов. Все пустынной море, все меньше на нем фигурок людей и предметов. «Подчистка» с воздуха заканчивается. Вот вспучило бутром воду, развалило ее, пошел пар — на дне взорвался пароходный котел.

— Все, малыши! Домой! — командует Воцебум.

Самолеты делают разворот, пристраиваются к ведущему. Лишь самолет Бётгера отклонился, заметил что-то шевелящееся возле ледяного припая и начал новый разворот.

* * *

У кромки припая бултыхается Андрюшка, пытается вылезти на лед. Он изрезал руки. На льду видны красные полосы. Солдатик хочет сбросить валенки, сорвать с себя винтовку — не выходит. И тогда он замирает, отдыхается, а, отдышавшись, отстегивает ремень винтовки и

выбрасывает ее на лед. Винтовка покатилась, повернулась к Андриюшке сверкающим штыком. Андриюшка тупо смотрит на штык.

— Ножик!

Держась одной рукой за лед, другой он нащупывает ножны, всаживает нож, держится за него — немного полегче.

Потихоньку, полегоньку втаскивает себя на лед, и на карачках, боязливо отползает от кромки. С него течет вода, руки в крови. Он ошалело смотрит в солнечное небо, не в силах понять, что же произошло?

Робкая, неуверенная улыбка трогает его губы.

Тугой самолетный гул стирает улыбку. Над ним, совсем низко, так, что видны заклепки на крыльях, подпалы и копоть на моторах, пронесся самолет.

Сквозь фонарь, словно с того света, смотрит на Андриюшку Бёттер. Андриюшка — на легчика. На мгновение перекрещиваются их взгляды.

* * *

Бёттер прибавляет газ, тянет ручку на себя, смотрит на счетчик боекомплекта. У левого пулемета счетчик показывал ноль, а у правого — сто.

— Вполне достаточно! — усмехнулся Бёттер и стал прицеливаться в шевелящуюся точку на льду.

Вдруг точка эта стала меньше объемом — русский поднялся на ноги, даже винтовку к ноге приставил. И хотя дрожали ноги, чакали, стучали зубы от холода и страха, он стоял!

Бёттер жмет на гашетку.

Бело-голубая трасса уходит вниз, хлещет по льдине, взвивает ленточку фонтанчиков в черной воде.

* * *

Пули со звоном разбили лед возле ног Андриюшки. Он даже ноги сдвинул плотнее, зажмурился, лицо расколо осколками льда, как бритвенными лезвиями... Но летчик не попал!

Бёттер вырвал машину у самой льдины, рассердился, что допустил ошибку, которая едва не стоила жизни, приказал себе:

— Спокойно, Хорст, спокойно! — посмотрел на счетчик — там значилась цифра пятьдесят. Стрелка бензومت-

ра угрожающе трепетала возле критической отметки. — Ну, хватит играть! — Бёттер снова бросил машину в пике, прицелился и открыл огонь.

* * *

Андрюшка пошел по припаю, причитая:

— Один. Один остался! Четыреста семь человек!.. Четыреста семь душ... Я — четыреста восьмой... Да Огородников, да матросы на пароходе, да сестрички... Господи! Лизка-то все твердит: «В сестры налажусь. В сестры...» А оне вон, сестры-то... где-ка, милы сестре-о-онки? Хорошенькия!.. — и повернулся встречь пикирующему самолету, ткнул мокрой рукавицей в него: — Мало тебе, гад? Мало?

Снова сыпанули пули. Даже льдина, торосом вставшая с осени, раскололась. Но устоял Андрюшка, не упал на лед.

«Мессершмитт» потянул на запад, и Андрюшка, обливаясь дрожащие губы, злорадно вопрошал:

— Ну, чё? Выкусил?!

* * *

В самолете Бёттер проворчал!

— Мазила! Вот бы увидел Воцебум...

Он набрал высоту, облегченно откинулся на спинку сиденья:

— Черт с ним! Сдохнет сегодня же...

— Фальке-пять! Фальке-пять! — услышал Бёттер по радио голос Воцебума.

— Я — фальке-пять.

— Я не вижу тебя.

— Пришлось задержаться.

— Стряслось что?

— Ничего серьезного.

— Тогда догоняй!

— Понял.

* * *

Андрюшка, сидя на глыбе льда, отжал портянки, стянул и выкрутил шинель, гимнастерку, шаровары, потоптался на валенках и выдавил из них лишнюю воду. Надевши все на себя, он развязал мокрый вещмешок и выло-

жил свои запасы — размокшие пачки концентрата, вафельное полотенце, зеркальце, сухари, банку консервов с нерусскими буквами, на которой нарисованы макароны. Ее он сунул в карман шинели. Махорку, смешавшуюся с солью и сахаром, хотел выбросить, но раздумал, завернул в носовой платок. Сложив обратно свое барахлишко, в карманчик вещмешка затолкал масленку с ружейным маслом, подсумок с патронами надел на пояс.

Огляделся.

Солнце клонилось к закату. Над морем назревала красная заря. Подтаявший за день лед настывал, позванивал и сверкал из края в край.

— Ну, живы будем — не помрем! — сказал Андрюшка и двинулся по припаю льда, которому не было ни конца, ни края.

Вечерело. Одинокая фигурка солдата постепенно слилась с сумерками.

* * *

— Ханс, проверь прицел. Трасса проходит левой, — произносит Бётгер, не глядя в глаза механику.

Машинально, хотя это и не принято у летчиков, Бётгер обходит вокруг машины, отворачивается и устало бредет в столовую.

— Что случилось, малыш? — спрашивает Воцебум.

— Уцелел один русский.

— Ты добил его?

— Врал прицел.

Наступила неловкая тишина.

— А я хотел представить тебя к награде. Ты удачно положил бомбу в русскую калошу...

Бётгер потушился, молчит.

Воцебум встал, взял его за локоть, подвел к буфетной стойке. Смазливая официантка-норвежка наполнила рюмки.

— Ты видел на пароходе красный крест? — тихо спросил Бётгер.

— Не только видел, но и знал. Нас навел Цах на эту погань.

— Цах?

— Цах!

— Ты же знаешь, Франц, что по правилам войны расстрел раненых, детей, умышленное уничтожение гражданского населения...

— При чем тут правила?

— Я не хочу мара́ться в крови. В такой крови...

— Мы уже по ноздри... Во всякой... Ладно. — Воцебум достал планшет. — Даже если русский не потеряет направления, до берега ему идти... сто двадцать километров. Он замерзнет. Непременно замерзнет, Бётгер. И, как опять же, говорят русские, — мир праху его. Мы повоюем без него. — Воцебум расхохотался. Бётгер молча поднял рюмку. Выпили. — И все же ты полетишь, Хорст, — закури-вая, сказал Воцебум. — Я не хочу огласки... Если русский еще жив — добьешь. Если мертв — всади в него очередь. Ну, — он проводит по груди ладонью, — для утешения души, что-ли...

— Хорошо. Я добью русского, — сонно проговорил Бётгер.

* * *

Механики подогнали самолет Бётгера под брезентовую теплушку. Там горели прожекторы. Электрическая печь обогривала воздух. Стали копаться в гондолах, где были установлены пулеметы.

— Видно, вляпались наши альбатросы в бяку, — говорил старший механик Ханс своему молчаливому помощнику. — Мой полетит один. — Какой-то русский, пасет его Бог. — Ханс украдчиво перекрестился, — уцелел и его необходимо добить.

Помощник механика выбегает из-под брезента с ведром, в котором горит бензиновая ветошь, затаптывает в снегу огонь.

И сразу холодно становится в небе. Мерцают далекие звезды, перевалками катят облака.

* * *

Андрюшка доел концентрат, ссыпал с полотенца крупинки и крошки, бросил их в рот. Не удержался, вынул банку с макаронами из кармана, потискал ее, даже понюхал, и убрал обратно:

— Идти-то суток трое, а может, и четверо, голова!

Он идет неторопливо, устало. Сзади него, на тонком слое снега, тянется цепочка следов.

— Вот утонул бы, и написали бы: «Пал смертью храбрых», — размышляет вслух Андрюшка — так веселее идти. — Храбрых! Нет! — «Пропал без вести...» он даже остановился, пораженный этой мыслью. — Ах, ты, мать

еловая! И все... И, стало быть, четыреста семь тоже без вести...

Дикой, несправедливой была эта мысль. Как могут пропасть солдаты, которые стояли насмерть в Кольских сопках?! Матрос Чалый, тяжело раненый в разведке? Милая санитарка. Боец или командир, обмотанный бинтами и подаривший Андрюшке нож, который, можно сказать, спас его! Да и как это — «без вести»? Пропал? Сгнил? Провалился сквозь землю? Сдался врагу?!

— Не-ет, надо дойти до своих, снять это «без вести», аннулировать! Единственный свидетель гибели парохода — я! Я расскажу обо всем. Ох, расскажу! Это чё же тако — раненых бьют, а?! Это как же? Где такое правило, а? Закон, чтоб по кресту бомбой? Не-ет, так не пойдет дело! Не пойте-о-от!

* * *

Шел фильм «Индийская гробница», выпущенный немецкой студией «Раух» в 1938 году и потрясший всю Германию. Рассеянно следя за проделками коварного раджи и белого супермена, Воцебум вдруг уперся взглядом в стриженный затылок Бёттера, позвал Хорста в бар, расположенный в фойе.

Здесь летчики пили, играли, танцевали с девушками из вспомогательного батальона.

Воцебум взял бутылку шнапса, рюмки, и они снова ушли в пустовавшую какот-компанию, остановились у карты мира, молча выпили по рюмке и сразу же по второй...

Пьянея, Воцебум пытается внушить Бёттеру:

— Пойми, Хорст... Дело не просто в тех русских, которых мы потопили. Сколько их было? Четыреста? Пятсот? В этой войне счет идет на миллионы. Этих четыреста, допустим, уничтожил ты — один! Но этого мало для Германии. Мало! Вот если эти четыреста еще и пропадут без вести — позор падет на их семьи. Кроме матерей у них есть братья, сестры, дети... Их уже не пошлют в привилегированные части, в офицерские школы, им, братьям, детям, не доверят секретное дело... Русские болезненно подозрительны. Значит, еще тысяча уничтожена... морально!

* * *

Соснул маленько, встал Андрюшка, повеселел. Солнышко! — Закинул за плечи винтовку и пошел.

Идет, молча рассуждает сам с собой, руками разводит, ногой топает. Долго шел, выдохся; приостановился, вспомнил что-то, за пазуху полез, вынул красноармейскую книжку. Размокла книжка, и фото, лежавшее в ней, размокло. Видно только белый платок, кофточку в пятнах и беловолосую голову — ни глаз, ни носа, ни губ.

Загоревал Андрюшка, слезы навернулись на глаза:

— Лизка ты, Лизка! Чё же это с тобой стало-то? — Проморгался на солнце, унесся взглядом вдаль: — Интересно, чё же счас Лизка делает? Мама? Крестная? Колька? Ох, этот Колька! Чтоб ему пусто было!

Голос Андрюшки все тише, тише. Ноги начинают заплетаться. Слышит он, как вдалеке, деревенской компанией поется: «Он хотя и старый, стары-ый, не просто-ой! Купил Кате шляпу, ленту и пальто-о-о».

Вдруг долетел до Андрюшки моторный гул. Не думал, что за ним. Шел да шел. Гул ближе, настойчивей.

Темная точка летела к нему, увеличиваясь в размерах.

— Господи! Помогите устоять! Помогите! Неверующий я, но счас прошу — помогите!

Он зажмурился, а когда размежил веки, сами собой покатались слезы, застывая на холоде. Смаргивая слезы, уставился Андрюшка в небо нахлестанными ветром, красными от конъюнктивита глазами. Долго смотрел, неподвижно. И небо виделось ему красным, брусничного цвета.

И возникло на минуту видение перед Андрюшкой, одно-единственное за всю дорогу: парень в рубахе на выпуск и девка в ситцевом белом платьишке и в белых носочках — собирают бруснику в сосновом бору. Собирали, собирали, под сосну присели, корзины перед собой поставили. Парень как сел, так и сидит, устало и пусто вдаль уставившись. А девка в корзине шарится, ягоды перебирает, сор выбрасывает, а руки ее суетятся, нервность выявляют; ягоды у нее в корзине одна к одной — красно в корзине!

Вот быстрые пальцы выгребли из россыпи ягод кисточку брусники, девушка взяла кисточку стерженьком в зубы и давай баловаться: то поднесет ее к губам парня, то отдернет — такая шустрая девчонка, никак не удастся ему сцапать кисточку за другой конец. Тогда он сделал вид, что надоела ему такая девичья игра, утратил он к ней интерес, и когда девушка чуть забылась, сцапал кисточку зубами, быстро добрался до стерженька, впился губами в ее губы, будто ел не ягоды, а девку, и повалил ее на мох,

завозились под сосной парень с девкой, корзину слягнули — полилась красным потоком брусника, а девка парню по башке кулаком завезла и властно вдаль рукой повелительной указала.

— В сельсовет, — сказала, — сперва распишемся, а потом челомкайся, сколь хошь! А сельсовет свое: «Рано жениться! Рано жениться!»

Стало быть, жениться рано! А воевать? Этакую вот страсть терпеть? — смотрит Андрюшка в небо — один на один с еропланом! Это как? Это не рано, да?! Сами бы попробовали...

Идет дальше, молчит. Замедлил шаги, остановился, подумал, покрутил головой: «Ох, заботы, заботы! И куда от их деться? Ведь эти Опарины! Оне ж этих девок, как орехи шшолкают! Скорлупу выплевывают!.. Ох, доберется до Лизки Колька Опарин! Ох, раскурочит!.. Ох, хрустеть мне скорлупу!.. Не-ет, не допушшу! Иду я, иду! Мотри у меня, Колька! — Побрел, спотыкаясь. — Брел, брел и с тоскою выдохнул: — И пошто я Лизку тогда на бруснике не распечатал, дундук!»

* * *

Бётгер смотрит вниз, видит цепочку следов, пробегает по ней, ловит взглядом фигурку солдата, прикидывает на планшетке, присвистывает:

— Неплохо! Совсем неплохо! Тридцать километров! Так, чего доброго, ты и дойдешь! Нет, не дойдешь! Не дойдешь! — Он припал к прицелу. Трасса пошла по льду, строчкой своей настигла солдата, заплясала вокруг, вот-вот прошьет его, и конец! — Сейчас! Сейчас ты рванешься в сторону, упадешь...

Но русский стоял.

Бётгер заложил крутой вираж, прошелся над русским, заметил завязанную шапку, петлицы на шинели, даже наполовину оторванный козырек шапки. И еще увидел, кажется, шевелящиеся губы и глаза, глаза, направленные встреч ему, — горящие ненавистью и болью.

— Ты еще и ругаешься! — разозлился Бётгер и почти на бредущем заложил опасный вираж, опрокинул самолет, выровнял и ударил со всех пулеметов. Самолет бился, дрожал, харкался пламенем. А русский, подобно камню, стоял на безбрежном поле льда.

Один. Маленький. Ничтожный и несдающийся.

— Дьявол! — скрежетал зубами Бёттер. — Я разрублю тебя! — Он бросил самолет вниз, пошел над самым льдом, сам замер от опасного, зеркально-обманчивого льда, и прошелся так низко над Андрюшкой, что того обдало жаром от выхлопов. — Это опасно! Очень опасно! — прошептал Бёттер. — Успокойся, Хорст! Успокойся!

Он успокоился и снова бросил самолет вниз.

* * *

Андрюшка стеклянными глазами проводил улетающий вдаль «мессершмитт». По лицу градом катился пот. Губы плясали. Из горла с сипом вырывалось одно-единственное слово:

— Мамочка... Мамочка...

* * *

— Это дьявол! Какой-то дьявол! — Бёттер нервно стаскивает перчатки, подходит к столу, за которым летчики играют в карты.

Дружный хохот сотрясает комнату отдыха.

Бросив бильярд, подходят другие летчики, в их числе Ули Цах, благодаря которому дело получило огласку. Да и Воцебум счел за благоразумие не скрывать больше презрения к пилоту Бёттеру. Он вкрадчиво смотрит на пилота, наконец, тихо, сквозь зубы спрашивает:

— Опять врет прицел?

Новый взрыв хохота сотрясает комнату. Смеется и официантка-норвежка, не понимая, чему и над чем смеется. Хохочут девушки из вспомогательного корпуса. Лают сторожевые собаки на аэродроме. Бёттеру кажется, что и они тоже смеются.

— Прекратите ржать! — рывкает Воцебум и уводит Бёттера в класс летной подготовки.

— Объясни, как ты действуешь?

Бёттер подходит к доске, чертит мелом траектории, указывает расстояния, с какого он открывает огонь.

— Захожу... Высота... Жму гашетки... — и в отчаянии швыряет мел. — А ОН стоит!

Воцебум подбирает мел, чертит новую схему, жирной линией показывает трассу, и становится ясно, почему не может попасть летчик из своих пулеметов в такую малую цель:

— Видишь?! Как из пушки по воробью!

— Что же мне делать?

— Попробуй перевернуться! — вдруг предлагает Воцебум. — Вот так! — показывает на доске и на руках. — Тогда ты убьешь русского!

Бёттер в страхе смотрит на схему:

— Но рули будут действовать в обратном порядке?!

— Проиграй на земле!

— Я должен забыть все, чему учился? Разрушить автоматiku действий? Чуть не так, и я...

— Да! — резко, как приговор, произносит Воцебум. — Это сделает далеко не каждый пилот. Но ТЫ должен сделать!

Воцебум резко отворачивается и, помедлив, с силой толкает дверь.

Бёттер остается один. Смотрит на схему.

* * *

Спит Андрюшка, опершись на винтовку. Спит, качаясь на ветру. И снится ему сон. Широкий пойменный плес. Стая белых гусей качается на волнах, невдали от берега. Птицы изредка приподнимаются над водой, взмахивают белыми усталыми крыльями.

Рядом с водой девка в ситцевом платье. Она, приподняв подол, бредет к птицам, зовет их, протягивает к ним руки. Лошади, пасшиеся на лугу, чутко подняли головы, смотрят на реку, на девушку ли? Девушка, с караваем хлеба в руках. Щиплет крошки на воду. Гуси бьют крыльями, летят ближе, ближе, взмывают над девушкой и гудят, как самолеты. Ближе, ближе их гул к спящему Андрюшке и все громче, громче висит гул...

Слепо, недоуменно щурит глаза проснувшийся Андрюшка — снова несется на него «мессершмитт». Андрюшка нехотя распрямляется, затягивает крепче пояс, забрасывает винтовку за плечо, словно собирается уходить на пост из теплого караульного помещения или на какую-то постылую работу.

* * *

— Беги же! Беги! Я пристрелю тебя, как зайца! — кричит Бёттер. Он прижимает машину ко льду. Несутся торосы, разводья, бугры. Страшно. Страшно на этой высоте перевернуть самолет, прицелиться, открыть огонь.

У Бёттера тоже выступает пот на лбу, и он тоже до крови кусает губы. Он пока не решается на смертельный трюк. Он валит машину на крыло, палит, палит, круша лед, торосы. Он носится вверх-вниз, как помешанный, стреляет из всех пулеметов. Пулеметы начинают дымиться и вроде бы дымится ледяной припай, на котором стоит русский.

* * *

Как только смолкает рев самолета, Андрюшка, шатаясь, бессильно опускается в снег. Он потрясен пережитым, гребет снег рукавицей, ест его жадно, потом прижимает ко лбу. Снег тает, течет грязными струями по лицу. Немного отошел, огляделся Андрюшка, и покрывило его губы:

— Ишь ты, какая дорогая сделалась моя жизнь! Сколько изводят на нее бензину и боеприпасов! Ишь ты! Скажи Лизке иль тому же Кольке — не поверят!

* * *

Воцебум насуплен, челюсти сжаты, сквозь стиснутые зубы цедит:

— Вам не кажется странным, что летчик, окончивший школу «А», «Б» и «Ц», поработавший в боевой истребительной эскадре на «Мессершмитте — 110» — лучшим самолете из тех, что летают в небе, с полным боевым комплектом, не может убить одного вшивого солдата?!

Все, включая Бёттера, Функа, Штоккера, насупленно смотрят на него. Верзила Мартин чешет затылок. Цах злобно ухмыляется.

— Пилот Хорст Бёттер! — раздельно произносит Воцебум. — Мы летим прикрывать «юнкерсы» и «дорнье» над Мурманском. А ВЫ, — он делает паузу, вперившись взглядом в своего пилота. — А ВЫ, — громче, чтоб слышали все, чеканит он. — Сегодня! Завтра! Послезавтра! Когда пилоты будут отдыхать, когда умрет вся планета... Вы будете летать. Летать до тех пор, пока не убьете своего русского!

Воцебум круто повернулся и, бухая войлочными сапогами, пошел к выходу, — грузный, здоровый, еще более побагровевший от ярости. Он остановился возле дверей и опять же громко добавил:

— Я не представил вас к награде, хотя вы и разнесли

этот пароходишко с первого захода... И не представляю до тех пор... — Дверь грохнула.

За командиром повалили летчики.

В окне Бётгер видит, как Воцебум идет к самолету, все также грузно бухая сапогами, как он пристегнул парашют и полез в кабину.

Тучи пыли заметались над аэродромом, порулили на взлет «мессершмитты», уставились хищными носами в небо. С черным дымным следом ушла ввысь ракета.

Рева моторами, истребители начали разбег.

* * *

Бётгер ушел к себе, достал бутылку коньяка, налил рюмку, но пить раздумал, бухнулся на кровать.

Так и лежал он с открытыми глазами, закинув ладони за голову, не притронувшись к рюмке до тех пор, пока не стали возвращаться истребители.

По закопченным бокам, по пробоинам на стабилизаторах и крыльях, было видно, что потрепали их изрядно.

* * *

Пришел, наконец, холодный фронт с океана. Как это и бывает на севере, резко изменилась погода. Занялась пурга. Боевые самолеты на привязи, как собаки.

Забивает железный клин, делает из троса петлю Ханс — он крепит самолет своего командира с непонятной ухмылкой на лице. Закончив работу, попытался закурить, сигарету выбило изо рта. Механик, придерживая шапку, посмотрел в небо, где ничего уже не видно и ничего, кроме бури, не слышно.

— Храни Бог всех путников земли в этакую злую ночь — он украдкой побросал крестики на грудь. — И русского безбожника храни! Нескончаемы милости Господни.

* * *

— Вот те раз! — Андрюшка обнаружил, что вся пола шинели распорота пулей. Сунул руку в карман — банка с макаронами тоже разбита. — Попал ведь! Попал, сатана! — Андрюшка торопливо выковыривает из банки клейкую массу, ножом расширяет щель в банке, потом вовсе разрезает банку, языком зализывает жуть.

Рваная жесть от банки валяется на льду, посверкивает зеркальцем на солнце, которое все чаще и чаще ныряет в облака, а вдаль, над морем, набухает тяжёлая снежная туча.

Но Андрюшка не замечает пока перемен в погоде. Он идет довольно споро, слышит девчоночий голос: «Пальто стоит двести, шляпа пийдисят. Пароходы ходят, фонари висят...»

— А что? — рассуждает Андрюшка. — Дело молодое, девичье! И Колька — он известный хлюст! У их, у Опариных, вся семья бедовая!.. Возьмет, скажет Лизке, что я к немцам утек. — Андрюшка даже приостановился от неожиданной мысли, а издали так же звонко да тонко: «Один парус белый, дру-уго-о-ой га-а-алубо-ой, посередке в лодке — это милый мо-о-ой».

— И бери ее голыми руками, потрясенную-то... Не-е, Лизка не поверит! Мы с детства, со школы вместе, и чтоб все это ни за понюх табаку!.. Нет, нет, и нет! — Андрюшка пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, пошевелил всем светлым пухом, обметавшим лицо, и замер.

Туча расплзлась в полнеба. Солнце раз-другой мелькнуло и скрылось. Со стороны моря донесся далекий гул.

— Пурга! — Андрюшка прошептал это слово, а потом и закричал сорванным, простуженным голосом: — Пу-урга-а-а-а-а! Пу-урга-а-а-а! Пурошка!.. — попробовал даже шапку с себя снять-сорвать, но тесемки завязаны. — Ну, чё? — пригрозил он кулаком небу. — Я те дам «без вести!»

* * *

Финские деревянные домики на аэродроме трясутся под ветром. Самолеты завалены снегом по самые кабины. Брешут и воют собаки. Воет ветер. Мелькают фонарные огни. Проекторы бессильны пробить снежную круговерть.

В теплых постелях спят летчики. К стенкам пришпелены семейные фотографии и здесь же журнальные голые бабы. Возле кроватей, на полу, на тумбочках сигареты, стеклянные фляжки из-под вина. Лишь над кроватью Воцебума, плотно и громко храпящего, — голо, и нет никакой выпивки.

Не спит, ворочается Бёттер. Ему мешают храп, лай собак, клаксон машины, на которой рыбак-норвежец при-

возит для столовой мороженую треску. Мало того, что он привез эту свою паршивую треску, он еще вступил в разговор с постовым.

— Не найдется ли закурить? — говорит он ломано.

Все на минуту смолкает. В окне виден дрожащий блик от огонька зажигалки.

— Благодарю! — говорит норвежец. — Метет. О, метет! Сам Бог на стороне русских...

— И Бог, и ветер, и правосудие, — бубнит часовой. — Ты вот что, парень, привез рыбу, так отваливай!

Буксуя и фырча, машина удаляется и гаснет мутный, мегущийся свет фар. Но все шарят, шарят прожектора по аэродрому, и в свете их сухо горят глаза на осунувшемся, закаменевшем лице Бёттера.

* * *

Ветер гуляет над морем, рвет черную воду, хлещет волной о припай, крушит лед. Ветер несет снег из края в край. Ветер валит с ног маленькую фигурку человека, который упорно продвигается вперед — то по голому, выдутому льду, то по колено утопая в заносах.

— Ничего! — твердит себе Андрюшка. — По ветру зато. По ветру скорее дойду. И фриц не прилетит. Ветер, ветер, ты могуч! Ты сгоняешь стаи туч. Плещешь ты, куда захочешь...

Еще круче волны и темней. Нет бела света. Нет неба и земли.

Один человек среди бури. Один-одинешенек! Стоит он опершись на винтовку, а его уже выше колен, уже почти по пояс замело снегом. Он спит стоя. А ветер хлопчет вокруг. А ветер обрадовался жертве. Заносит его выше, выше. Вот уж до подсумка достало...

Страшно, измождено лицо человека. И когда он открывает глаза — в них уже нет ни боли, ни страдания. В этих красных, воспаленных, глубоко запавших глазах — усталость, одна бездонная усталость.

— Мне однако не дойти, — отрешенно роняет Андрюшка и садится в снег.

Задремал, сидя. Издали, едва слышно, ветром донесло и выделило из воя и гула: «Один парус белый, другой голубо-о-ой. Посередке в лодке — это милый мой...»

Тряхнул Андрюшка головой, осмотрелся — ничего не

видать и не слышать. Вот только что кто-то был, убегая и шая, звонко, тонко, озорно пел «Катю-Катерину», — но ничего, кроме снега и воющего ветра нет.

* * *

Андрюшка роет снег руками, прикладом винтовки. Согрелся маленько, нож достал, попробовал от приклада щепу отстругнуть. Не дается приклад.

— Наше дерево! Архангельское! — постукал он по прикладу и снова налег. — Отстрогнулась щепочка. Ее тут же подхватило ветром, потащило. Андрюшка метнулся за щепкой, поймал, обдул и сунул за пазуху, повторяя: — Что ты! Что ты!..

Вот уж почти весь приклад истроган, сложен костерком на вещевом мешке, приколотом штыком, чтобы не унесло. Щепочки прикрыты от снега полотенцем. Посмотрел Андрюшка, подумал и затвором достал из ствола патрон, пошатал зубами пулю, выплюнул на снег, а порохом из гильзы словно присолил щепки. На них из масленки вылил масло, посмотрел на масленку, попробовал лизнуть масло, сплюнул — гадость!

Долго он развязывал шапку. Снял ее. Затрепало, забило снегом слегка отросшие белокурые волосы на «характерной» — вихрем завитой макушке солдата. А пониже волос — тонкая шея с желобком, и в желобок косичка свисает.

Из шапки достал Андрюшка коробок спичек, заключенный в железный чехол. На чехольчике кремль изображен, и звезда на башне видна. Посмотрел Андрюшка на кремль и услышал страшную, неумолимую поступь: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!»

Зажег Андрюшка спичку, сунул под полотенец, отвернулся. Пыхнул порох, и сразу занялось. Хитрый какой Андрюшка! Хитрый и ловкий! Обнял Андрюшка огонь, навалился на него, заслонил собою, греет черные руки, черное лицо, покрытое белесым, как у курчонка, пухом.

— Ах ты, мать еловая! — нежно шепчет огню Андрюшка.

Свистит ветер. Гудит небо. Шумит море. Несется снег. Догорают костерок у ног солдата. Черными пальцами сгреб он черные угольки в кучу, бросил в них маслянистые тряпочки для протирки винтовки, которые у него были. Вынул обоймы из подсумка, сунул в огонь подсумок, плато-

чек из кармана достал, махорку с солью и сахаром в горсть высыпал, зажал в горсти, платочек понюхал, уткнулся в него лицом, переломив себя, тоже бросил в огонек. Занимается, тлеет, корчится платочек, сгорают в огне багровые буковки, криво вышитые на уголке платка: «Люблю сердечно, дарю навечно. Лиза».

Разжал горсть Андрюшка, посмотрел на сырую смесь табака, соли и сахара. Начал жевать. Жует и плачет. Жует и плачет. Молча. И не поймешь: горько ли глотать ему, платок ли Лизкин жалко.

Еще раз подживил Андрюшка костерок — обрезал полы шинели и сжег. А потом сказал рассудительно:

— Посидели, погрелись. Отдохнули. Пора и честь знать!

И проглотили фигурку солдата снежные тучи, и понесли ее вдаль — маленькую, упорную.

* * *

Снова появилось солнце. Боязливо, робко, не доверяя идущей весне, подтаивает снег.

На аэродроме туча народа.

Кто-то вытащил патефон. Льется тирольская песенка. Солдаты батальона аэродромного обслуживания, местные жители, военнопленные откапывают самолеты.

Летчики вытащили шезлонги, вытянули ноги, выставили лица вновь явленному солнцу. Выбритый, лоснящийся, но так же непримиримо строгий Воцебум говорит:

— Надеюсь, Бёттер, вы не забыли мой приказ?

— Не забыл, — погасшим голосом отзывается Бёттер.

Воцебуму не понравился усталый, подавленный вид пилота. Он решил его ободрить:

— Я думаю, Хорст, он околел, этот русский. Наверняка околел! Найти его мертвого. Он не просто единственный свидетель. Он... — Воцебум не находит слов, а только сжимает кулак.

Бёттер косится вправо, влево, видит угрюмые лица пилотов. Они уже не хохочут.

— Ты — немец, Хорст! — неожиданно взрывается Воцебум. — Тебе дозволено все!

Бёттер вскакивает и убегает в дом.

* * *

Снежно, солнечно в мире. Успокаивающееся море все еще бьет волнами в припай, крошит льдины. Почти на

километр по припаю губасто намерзла вода. Вмерзли в лед спасательные круги, пояса, детские игрушки, костыли, противогазы, кожаный протез...

А далеко-далеко от кромки припая, у небольшой полыньи, сидит с винтовкой наготове Андрюшка, ждет тюленя.

Ждал, ждал, разморился под солнцем, задремал... А в это время тюлень-то и всплыл, смотрит на человека, удивленно таращит глаза. Андрюшка очнулся, уставился на тюленя, и тоже ничего не понял.

— Ты чё? — сказал он.

Тюлень кувырк — только его и видели! Андрюшка аж подскочил от досады, бросил винтовку, давай себя бить кулаками по башке. — Олух! Олух Царя Небесного!

Идет Андрюшка дальше и все ругает себя:

— Это ж надо! А? В роте мясо было!..

Насторожился, заметил вдали новую полынью. А в полынье-то, в полынье, как в детсадовском бассейне, кувырывается целое тюленьё стадо!

Упал Андрюшка на брюхо, пополз. Прополз маленько, слышит вдали звук — ровно шмель гудит.

— Опять! Господи! — Андрюшка сел, огляделся, вскочил и тяжело, одышливо побежал к свежему снежному намету.

* * *

В кабине Бёттера поигрывает близкое солнце, дробится в плексике, алмазно вспыхивает на кончиках пулеметных стволов. Полон боезапас. Полны баки. Хорошо идет машина. И Бёттер, глянув в зеркально отливающую приборную панель, найдя себя вполне красивым, приосанился и запел любимую песенку Шуберта — у него довольно приятный баритон: «А не для речки, а не для моста, а-а-а-а» — начал ему видаться детский хор, школа, учитель-дирижер, лысенький, умиленный слаженным хором и Шубертом... Но Бёттер не дает себе отвлекаться. Он обрывает песню, встревоженно смотрит вниз.

— Где же наш русский?

Самолет мечется по небу. Снижается, набирает высоту. Вот пошел вниз быстро-быстро — черные точки, много точек, но они мгновенно исчезли, будто их ветром сдуло.

— Проклятые тюлени!

«Мессершмитт» берет направление от моря, от кромки припая, где вмерзли в лед спасательные круги и костыли, как бы зависает над черной меткой костра, делает разворот, проходит совсем низко над заснеженным припаем. Видны явные остатки костерка. Из сугроба, рыхло обтаявшего под солнцем, торчат обоймы с патронами. Штык торчит в огарке вещмешка, сверкает гранями.

— Он добыл огонь! — на лице Бёттера суеверный ужас.

Самолет на бреющем. Ага, вот и следы! Явные! Самолет тропит, словно охотник, неумолимо идет к цели. Вдруг следы оборвались. Ничего не стало.

Бётгер зашел еще раз и начал бешено, осатанело стрелять куда попало, саданул и по белому бугру, выбил ворох снега. «Мессершмитт» кружился долго, стрелял беспмятно до того, что закружились стрелки счетчиков, показывающих расход боекомплекта, — он дострелялся до полей и остервенело бросил самолет на обратный курс.

И с высоты не заметил, как растекалось на белом бугре кровавое пятно...

* * *

Андрюшка выпростался из сугроба. Сел. Недоверчиво прислушался. На спине его топорщится разорванная шинель. В снегу красное пятно. Морщась, поднялся. Из-под шинели на снег, на валенки частит красная капель. Андрюшка разрывает зубами индивидуальный пакет, сам себе пеняет:

— Говорил — не ложися! Мать еловая! Говорил — что камень стой! Во-от... — Он засунул под рубаху пакет, затянул пальцами и зубами узелок бинта. — Кожу только и сброснул. Если б впрямую вдарил — я б и не дрыгнулся!.. — И даже хохотнул нервно. — А кожа чё? Кожа нарастет... до свадьбы...

Андрюшка посмотрел на снег — кровь. Посмотрел на руки — кровь. Стал тереть их снегом, а издали, как на испорченной пластинке повторялось: «Катя-Катерина...» И звон в ушах, звон, будто в сенокос в лугах кузнечики заливаются. И краснеть стало вокруг. Краснеет и гудит. Самолет чудится. И в глазах пропеллеры кружатся. Много пропеллеров. И все налетают они сзади, сзади.

Одиноко, слепо бредет по обтаявшему снегу и льду Андрюшка. Шатает его, качает. Он часто останавливается, зажимает от солнца глаза рукавицами. Оторвал почти

с мясом козырек шапки, навесил его на самые глаза. Шлепает по мокрому, в мокрых валенках. Ничего он уже не слышит: ни себя, ни «Кати-Катерины», только кровавой шум в ушах да звон, да все налетают, налетают сзади пропеллеры, сплетаются, рубят друг дружку.

* * *

— Русский исчез? Это невероятно! — Весело злится Цах. — Может, вы... Может... он с крылами? Может, воспарил, как ангел?!

Некоторое время Бётгер в замешательстве молчит. В чем угодно можно обвинить его, только не во лжи!

Летчики отчужденно смотрят на него. Они и в мыслях не могли допустить, что произойдет через секунду. У них, как у всех немцев, выработано уважение к порядку. Они вовремя завтракают, обедают, ужинают, ложатся спать, выполняют свою работу. Они знают, что офицер не имеет права ударить офицера, не говоря уж о том, что фельдфебель Бётгер, которому присвоят офицерское звание лишь через определенное количество боевых вылетов в боевом полку, может ударить Цаха, дослужившегося до капитанского чина, — и поэтому в первую минуту как бы оцепенели.

Произошло из ряда вон выходящее! Бётгер сгреб ухмыляющегося Цаха, как-то неловко, по-бабьи свалил его на пол, начал драть, колотить, взвизгивая, брызгая слюной. Полетели стулья, зашатались картины с портретами германских асов. Катаясь по полу, Цах с Бётгером ударились в дощатую тумбу, на которой красовался бюст Гитлера из черного шведского гранита. Бюст зашатался и грохнулся на пол. Молодой летчик-ас — зажмурился в ужасе, ожидая немедленного краха. Механик Ханс прикрыл ухмылку грязной рукавицей. Остальные летчики с азартом следили за дракой. Лишь Мартин не выдержал, завопил:

— Ули! В пах его, в пах!

В кают-компанию врывается Воцебум.

— Отставить! — вопит он, но дерущиеся не слышат крика.

Летчики скопом бросаются на них, повисают на руках, расталкивают по углам.

— Что случилось?! — я спрашиваю!

Цах бьется в истерике.

— Предатель! Предатель! Баварская свинья!
Вперед выступает Штоккер, тот, что прилетел вместе с Функом и Бётгером:

— Господин, флаг-майор. — Бётгер, как старшему, доложил Цаху, что не нашел русского...

— Дальше?

— Цах... — замялся Штоккер.

— Что Цах?

— Цах выразил сомнение в искренности Бётгера...

— Бог мой! — выдохнул Воцебум.

Нависла тяжелая тишина. У Воцебума нервно задержалась щека:

— Дисциплина, повиновение, усердие... до сих пор были нашими идеалами. — Он рванул воротник, будто куртка душила его. — Нацизм пришел, чтобы спасти нас, оживить, подчинить строгой дисциплине, сделать счастливыми!.. Хорст! Хорст! Тебя я... Ты пойдешь под суд! Но прежде найдешь русского и раздавишь его!

* * *

Возле широкого снежного тая Андрюшка присел, помочил лоб, черпнув воды, маленько попил из ладошки и тупо уставился в светлую воду, где отразились белые облака.

Бегут, летят они куда-то. Торопятся по своим делам. Только Андрюшка никуда не торопится. Он устал, обесилел. Он опустил на корточки, повис на винтовке, воткнув ее штыком в лед. Все! Конец...

Стих самолетный гул. Не кружатся пропеллеры, не слышно «Катю-Катерину». Все отдалилось. Мир онемел. Только звон, звон. Кровь звенит в ушах.

Разбудил Андрюшку тихий вскрик. «Кри-э-э!» — он тяжело и нехотя открыл глаза. — На крайке тая сидела чайка, поджав лапу.

«Кри-э-э!» — повторила чайка и запрыгала к человеку. Чайка была или казалась Андрюшке розовой.

— Говорят, розовая чайка — к счастью... К счастью так к счастью, — устало и равнодушно проговорил Андрюшка и выстрелил в чайку.

Чайка подпрыгнула, но не перестала двигаться к нему. Андрюшка со зла выстрелил еще раз — и опять не попал.

Чайка больше не двигалась к нему. Она сидела и горестно смотрела на человека.

Андрюшка вынул обойму — в ней торчали два патрона. Он похлопал себя по карманам и вспомнил: там, у костерка остались обоймы. На миг всплыл в памяти горящий костерок, тлеющий платочек с буквами: «Люблю сердечно...»

Андрюшка стал целиться в чайку лежа. Целился долго, тщательно. Как учили в военном лагере. Затаив дыхание, спустил курок.

Разбрызгивая воду, побежал по таю, схватил еще хлопающуюся чайку, разорвал лапы, жадно, по-звериному впился в горячее птичье нутро.

Рот его в крови и в перьях. Он отбросил кости и перья, вытер о шинель руки и пошел. Отошел, подумал, вернулся. Тщательно собрал со льда кости птицы, голову, крылья, даже кровь соскреб с подтаявшего льда, запихал все это в карман, и только тогда зашагал не оглядываясь.

* * *

Напряженно горит вечерняя заря. Солнце льет прощальный свет. Снова лезут, подминая друг друга, черные тучи — к ненастью.

Бётгер молча садится в кабину, пристегивает привязанные ремни, долго смотрит на приборную доску, как бы не понимая, что перед ним, или прощаясь с чем-то или с кем-то. Очнувшись, он захлопывает фонарь кабины, запускает двигатели, раздвигает руки, жестом приказывая механику Хансу убрать от шасси тормозные колодки.

Воцебум, Цах, Функ, Штоккер, и все остальные летчики молчаливой толпой провожают самолет. Что-то покаянное, собачье в их взглядах. Штоккер поднял руку, хотел отсалютовать вслед машине, но тут же досадливо отмахнулся и пошел от компании в сторону.

Одинокий самолет поднимает тучу пыли и снега. Грязное облако взвивается к небу, сливается с тучами на горизонте, замечает зарю.

Воцебум, глядя вслед «мессершмитгу», задумчиво произносит:

— Если мы победим, все, что сделано нами, будет квалифицироваться как доблесть. Но если проиграем... даже свой народ не помянет нас добрым словом, и дети будут стыдиться наших могил...

* * *

— Слышу! — откликается Андрюшка и останавливается.

И перед нами нет мальчика-солдата, нет прежнего Андрюшки Булыгина. Перед нами взрослый, зрелый, даже пожилой боец, все с тем же черным лицом и красными глазами, все с тем же пушком на щеках, в той шапке-полусуконке с оторванным козырьком. Но как глубок и сух его взгляд, проникший в страшные, непостижимые глубины смысла жизни и смерти, как отвердело лицо, как устало-спокоен его голос.

— Они не пропадут без вести. Никто в России не пропадет без вести. А ты убей! Убей! Если можешь. — Спокойно и строго молвил боец, глядя прямо в морду налетающему самолету. Мгновение — и они: человек и машина — столкнутся. — Убей! Или отвяжись! — Андрюшка резко загоняет в ствол изуродованной винтовки последний патрон.

«Мессершмитт» брызжет огнем. Стонет и крошится лед. Звенит, кричит металл.

Человек вскинул к плечу винтовку с истроганным прикладом, подождал, когда над ним снова появится обнаженное, грязно-серое брюхо самолета, и с упреждением, словно по утке, выстрелил.

* * *

Бётгер, увидев дымок выстрела, затрясся от бешенства: — Он еще стреляет! — и бросил машину в вираж. Косо и неуклюже пошла она над ледяным полем.

* * *

Андрей посмотрел на переломившееся ложе винтовки, бросил ее в сторону, расправил кудую шинель и пошел вперед.

Он шел на последнем пределе сил, но старался не давать себе шататься, ставил ноги прямо, вроде бы даже и притопывал сердито, так что под совсем раскисшими валенками шлепала сырость. А «мессершмитт» вертелся над ним черным, усталым вороном, бил из одного, из двух, из трех пулеметов. Пулеметы перегрелись, дымили, давали большой разнос, уменьшали точность стрельбы. Было в этой стрельбе уже что-то просто надоедное, бесполезное.

— Не могу-у-у! — Бёттер в иступлении заколотил себя кулаком по лбу, двинул секторы газа, толкнул педаль, рванул вверх: — Не могу-у-у-у! Я посажу машину! Я раздавлю его! Руками!

Тоненькой струйкой, словно кровь, потянулось из маслорадиатора одного из моторов самолета черное масло.

Бёттер бросил взгляд на моторы, увидел, что падает давление масла и обеспокоенно потянул ручку на себя. Мотор чихнул раз-другой. Машина начала терять высоту.

Бёттер затравленно посмотрел на планшет — до аэродрома на одном моторе не дотянуть. Осторожно манипулируя управлением и газом, работая триммерами, он пытается бороться за жизнь самолета. Но двигатель начинает сдавать. Его трясет. Трясет сильнее и сильнее. Трясет так, что на приборной доске или под ногами в кабине что-то дребезжит. Трясет, трясет, трясет так, что мотор вот-вот сорвется с опорной рамы.

— Он пробил маслофильтр! Единственным выстрелом! Бог мой! — шепчут побелевшие губы пилота.

А за кадром голос постового: «За русских все: и Бог, и ветер, и правосудие...»

Правый мотор заклинило. На одном «Мессершмитт-110» — лететь не может. Самолет быстро проваливается вниз, почти падает.

Бёттер сбрасывает фонарь, отстегивает ремни, вываливается из кабины.

Далеко, уже в море, в синем весеннем море, катящем груды волн, рухнул самолет, выбив громадный ворох воды. Воронка закружилась среди волн, сбила их плавный ход, но ненадолго. Воронку стерло волнами, они сомкнулись и покатались к припаю, к земле, осиянные праздничным весенним солнцем.

* * *

С голубого весеннего неба белой луговой ромашкой падал парашют.

От берега, реденько подернутого невысоким северным лесом, спешил советский пограничный патруль в морской форме. Собаки рвались вперед и катили за собой матросов.

Клубя снег и самолетно гудя, неслись аэросани.

Бёттер коснулся ногами льда, погасил парашют, выбрался из лямок.

Близко, оглушительно и страшно лаяли собаки, приближался гул аэросаней.

Бёттер не выдержал, и побежал к морю, туда, где рухнул и исчез в волнах его самолет.

— Стой! Стой, тебе говорят! — донеслось до него.

Лай собак. Крики. Треск и шум аэросаней. Страшно преследование. Страшно, когда ты беззащитен, когда за тобой гонятся, на тебя охотятся.

Бёттер бежал, задыхаясь, хрипя, соскальзывая на выдутом льду. Но вот он обреченно остановился, расстегнул кобуру.

— Не балуй, Фриц! Не балуй! — кричат пограничники.

Бёттер медленно оттянул предохранитель пистолета, развел молнию на груди и сунул ствол под меховую куртку. Пистолет дернулся, из куртки выбило дым и шерсть. Бёттер повалился на лед.

Его приподняли моряки-пограничники. Моряк с санитарной сумкой что-то влил ему в рот, потом прямо через комбинезон воткнул иглу и выдавил из шприца жидкость, развернул бинт.

Бёттер открыл глаза, увидел неподалеку беснующихся пограничных собак — лаяли они беззвучно, и все уплывало от него, отдалялось в беззвучность.

— Дорт... Дорт руссиш... — еще набрался сил вымолвить летчик, подняв даже руку, чтоб указать направление, но рука мертво упала на лед. Пограничники везут на лыжах закутанный в плащ-палатку труп Бёттера. Вдоль побережья мчатся аэросани, окутанные снежной пылью.

* * *

Андрей услышал сзади гул приближающегося мотора, но не обернулся, не остановился. Он знал, что если остановится, то упадет. Он и шел, наклонившись вперед, чтоб неслось его... Сзади него трепало ветром розовые перышки, валялся клюв от съеденной головы чайки и трубочки обгрызанных по суставам косточек.

— Опять ты? — шептал он уже в бреду, с трудом двигая онемевшими губами. — Я дойду. Ты меня не убьешь... Не убье-о-о-ошь...

Издали, чуть слышно, но все же пробиваясь сквозь моторный гул, долетела до его уха "Катя-Катерина..."

Машина не двигалась, летела на него, вот-вот задавит.

— Ну, чё тебе еще, чё? — Андрей обернулся и увидел мчащиеся на него азросани. Белым гусем поднялась над головой, над землею машина, закружилась, и в глазах солдата замелькали пропеллеры. Они рубили гусей, клубили перо, секли звезды, похожие на ту звезду, что оттиснута на чайке, бежали по розовому снегу, и все бились, бились пропеллеры о звезду, высекая из нее искры, наполняя небо и землю колокольным железным звоном.

И море, море покатилося навстречу неударжимыми волнами, смыло Андрея, уронило на розовый снег, по которому навстречу бежала-спешила розовая чайка.

— Братцы! Братцы! — выкидывал руку уже в беспмятстве встречь машине русский солдат, и бросал себя к ней вперед, полз, срывая ногти с обмороженных пальцев об лед, ибо идти уже не мог. — Братцы...

* * *

Краеведческий музей. Заснеженный английский танк во дворе, отбитый у интервентов в годы гражданской войны, якоря на парапете, старинные часы над входом. Во дворе видны музейные пушки, старые суденышки.

В зале стайка школьников скучно слушает рассказ экскурсовода. Ребятишки подталкивают друг дружку, бабуются. Один незаметно надел на себя пробитую каску, надул щеки. Все прыснули.

— Прекратици, дзеци! — призвала к порядку школьников экскурсовод. — Прошу быць внимацельными, не шалиць.

В застекленной витрине, вместе с немецкими автоматами, пистолетами, касками, орденами, висит повседневная куртка летчика, сбитого во время войны. На подкладке бирочка владельца куртки: «Хорст Бётгер».

Возле витрины стоит пожилой, весь белый-белый человек. На пиджаке его медаль «За победу над Германией». За руку он держит девочку лет двенадцати.

С большим трудом в этом пожилом человеке с единственной медалью можно узнать Андрюшку — Андрея Артемьевича Булыгина.

Подопешдая с ребятишками экскурсовод, по-хозяйски решительно отстранила рукой от витрины Булыгина с девочкой, и громко возвестила:

— Всем внимание! Всем! Это будет особенно инце-

ресно «красным следопытам». Герой до сих пор неизвещен...

Булыгин и девочка выходят из музея. Идут мимо памятника Петру Первому, облакачиваются на гранитный парапет набережной.

Река сломала лед. Медленно и покойно плывут по ней льдины. В природе весенняя, звонкая тишина.

А на старого солдата Булыгина со всех сторон летит самолетный гул, рубят пулеметы.

— Дедушка! Дедушка! — трясет девочка за рукав Булыгина.

— Чё?

— Ты б рассказал...

Посерьезнело, омрачилось лицо старого солдата. Страшнее и ближе загудели самолеты, закружились, заохали бомбы, запели пули над его головой.

— У меня, внученька, сил не хватит... снова-то пережить... — Помолчал, глядя на идущие по реке льдины. — Да и сбил-то я его нечаянно...

Они смотрят на тихий, мирный ледоход. За ними старый мирный город. Над ними весеннее, голубое-голубое небо. Как тогда, в сорок втором, и в этом небе гудят самолеты. Вот мчится юркий «ЯК-40», снижается за городом на посадку, исчезает за домами.

Девочка наклонилась, потерлась щекой о натруженную руку деда, лежащую на гранитном парапете.

ТРЕЩИНА

На экране буквы, как бы отлитые на постаменте, древние, твердые: — *Если мир расколется, трещина пройдет прежде всего по сердцу поэта.*

ГЁТЕ.

И следом — бегущие буквы: — *А я думаю, что если мир расколется, трещина пройдет прежде всего по судьбам детей.*

ВИКТОР АСТАФЬЕВ.

И все время, пока будут идти на экране кадры города Краесветска и его окрестностей, по всем этим кадрам — недвижно, будто из щепочек сложенное и гвоздями к экрану прибитое, будет стоять слово — «Трещина».

Издаലെка, словно бы с неба видимый, плывет городишко, примерзший к берегу. Над ним густо стоят дымы, много дымов над крышами, один, самый высокий дым поднимается из железной трубы, стоящей среди высоких желтых сугробов — это опилки, и такие же сугробы видны в лесотундре, они широко дымятся, курятся. Возле сугробов копошатся какие-то тени людей, едва различимые от дыма и морозного пара.

Видно дом, другой, бараки, сурово насупившийся магазин в сугробах, на магазине трубой радио и из него несетя голос Лемешева — «Слышит ли, девица, сердце твое, лютое горюшко, горе мое...» Подвода с бочкой на санях. Собаки, запряженные в самодельные нарты. Оле-

ни возле дома, на котором вывеска «Крайпросветшкола», деревянные двухэтажные строения с перекошенными окнами — школа № 7, школа № 2; дома, дома, стандартные, сплошь с «фартуками» на окнах, заметенные до крыш, снова железная труба и основание ее, уходящее в сугробы. Под сугробами, в кочегарке, человек кавказского происхождения с надетым на голое тело фартуком, в подшитых валенках, сваливает с наклоненной тачки в топку котла опилки и сверху их бросает чурбаки; хлопает рукавицей об рукавицу, пьет из рожка чайника, и все время голосом зурны ведет что-то однозвучно, не слыша себя.

И снова царствующая над плоской местностью железная труба с дымом, снова трюхающая уже с пустой бочкой лошадка.

Улицы по-прежнему пустынно.

И вдруг обрывается голос Лемешева, и над местностью, над домами и дымами слышится бодрый голос: «Внимание! Внимание! Передаем сводку погоды. Сегодня, 26 марта 1939 года в 6 часов утра температура воздуха в городе Краесветске — минус 48 градусов...»

— Ур-р-ра-а-а-а! — вдруг разносится детский вопль.

На окраине города, в сугробах, возникает еще одно приземистое деревянное здание. На нем — черным по белой, залепленной снегом доске писано: «...ский детдом». Это из него несется боевое «Ура!» и одно за другим загораются окна.

Клич «Ура!» нарастает и ширится. Видны раззявленные рты, только одни рты с одиноко торчащим зубом, а то и вовсе без зубов; пасти полные зубов — редки.

— Ж-живе-о-ом! Мир-рово!.. В школу не ходить!.. Ур-р-ра-а-а!

Радио на стене, едва пробиваясь сквозь рев и гвалт, верещит: «...Активированный день, активированный день...»

Парень со сросшимися на переносице бровями, темный лицом и взглядом, курит, лежа поверх постели в ватных брюках и в загнутых серых валенках:

— Кому активированный, а кому...

Еще одно здание на окраине города, почти не видное из-за плотного высокого забора, осененного рядами колючей проволоки, за которой — сплюснутый железными абажурами свет частых электролампочек. Из ворот этого здания строем, по-четверо, идут и идут люди, кашляя, выбрасывая пар закутанными тряпьем лицами. Возле них вертятся собаки, лают, тоже выбрасывая пар из заин-

девелых морд. За поводки их тормозят, сдерживают люди с винтовками, в полушубках и шлемах, с трипичными звездами на лбах.

И над этим, черно растянувшимся строем, вливающимся в улицы городка, а затем — в проходные ворота лесобиржи, несется многоголосое ребячье: «Ур-р-ра-а-а!».

И видно уже, что перевозбужденные ребяташки валтузят друг друга подушками, прыгают с кровати на кровать, подбрасывают вверх тетради, запикивают под кровати школьные сумки...

Радость царит над городом Краесветском, окутанным все более густеющим морозным паром, сквозь который все бредут и бредут темные люди, и поглощают их арочные ворота, на которых виден резанный из дерева портрет Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, а ниже, сквозь налиший снег, — «Выполн... ую... п... летку...»*

«Большевик Заполярья» — газетка с мутной фотографией на лицевой стороне и с крупным, почти во всю полосу, словом: «Рапортуем!» Рядом с газетой календарь, скелотые квитанции и накладные. Стакан с недопитым чаем, очки с чиненой оправой и трещиной на одном стекле, карманные часы с цепочкой, лампа, прикрытая вафельным полотенцем с ляписным штампом на углу. Сюда отдаленно доносится ребячье «Ура!». Рука тянется к выключателю на стене, щелкает. Загорается верхний свет.

На кровати, заправленной казенным бельем и одеялом, шевелится заведующий Краесветским детским домом Валериан Иванович Репнин. Он прислушивается к крикам, смотрит на часы, зеваает, покачивает головой, берет с лампы полотенце, тычет ладонями в рукомойник, прибитый к углувику возле двери, вытирается...

За дверью — топот, шум.

— М-да... — хмыкает Репнин и подкручивает колесико репродуктора над столом.

— «...хановским трудом ответили рамщики шестой пилорамы на призыв партии...»

— У-ух, блин, холодина!..

Юркий мальчишка по кличке Попик, с которого ниже

* *Примечание:* Прообразом Краесветска является город Игарка; старые районы в нем хорошо сохранились, поэтому всю натуру и ряд интерьеров можно снять практически без достроек.

колен спали трикотажные кальсоны, подобрал их, подтянул почти до груди и пронзительно свистнул.

— Конча-а-ай ночевать, шкеты!

Сиреневые исподники, пока он свистел, снова опали. Зажав их в кулак, Попик зашнырял меж коек, сбрасывая одеяла, подушки:

— Канальи!.. Дежурному не подчиняться?! Запор-р-рю! Встать, канальи!.. Вста-а-ать! Немытое р-рыло! Крю-у-у-хэм!..

— Подъе-о-ом! — понеслось по детдому. В двери забарабанили, загудел горн.

В четвертой комнате кто-то зачистил из-под одеяла:

— Бери ложку, бери бак, кто не хочет, топай так! — и шнул Попика.

От дежурного отбивались как могли и чем могли. В дверь сунулся малый с горном, выдул безобразный звук. В него полетели валенки, подушки. А он выпалил звонко и складно:

— Пароход идет-плывет, дым за ним волочится... до чего же жизнь худа, а... — тут он опять дунул в горн и зашелся в судорогах: — ...все хочется!

— Чего, чего хочется?

— Пожрать! — ощерился горнист.

Малышок и Мишка-бельмастый, смирившись с участью, повскакивали с кроватей и принялись вместе с Попиком зорить постельные гнезда.

— Вста-а-ать!.. Запор-р-рю-у-у!..

— Ф-ф-фу-у!.. — уработавшийся Попик плюхнулся задом на койку и обвел взглядом комнату. Под одеялами на двух кроватях никто не шевелился. — Спя-я-ят, блин!.. — Попик сбросил одеяло с Толи Мазова, вытащил из-под его головы подушку. На пол упала книга — «Капкан» Ефима Пермитина и еще одна — «Человек-амфибия», со страшной картинкой на обложке. Спит Толя. Вытащили из-под него матрац. Спит. На голых досках!.. Гамозом сгребли, посадили Толю на холодный пол. Он сонно сказал:

— Задрыги!.. — и скрючился на полу, подтянув колени к подбородку.

— Во, хмырь-богатырь! — поразился Попик. — Вста-а-ать! — и затопал босыми ногами. — Запор-р-рю!..

— Волоки его! За ноги!.. — предложил Глобус.

— Спиной по полу!

— Воды на его! — посоветовал Паралитик, жилец из соседней комнаты. — Альбо велосипед поставить! Сразу

вздыбает!.. — Стуча костылем, он подошел к курящему Деменкову и потянулся за окурком.

Борька Клин-голова с готовностью рванул из тетрадки лист, распластал его на дольки и стал всовывать их между пальцами Толиных ног.

— И Воробей спит... — прохрипел Паралитик. — Опять ему привилегия?.. — Он чиркнул спичкой и поднес ее к Толиным пальцам.

Попик сбросил одеяло с Гошки Воробьева.

Гвалт разом оборвался, будто отсекли его топором. Остановилась рука со спичкой...

Гошка был мертв.

Он лежал, затискав в кулаки трикотажную рубашу, оголив впалый живот; глаза его были чуть приоткрыты, рот тоже. Лицо с желтой и тонкой кожей, сморщенное у рта и глаз, жалко и радостно чему-то улыбалось...

Тряхнул обожженными пальцами Паралитик, Попик попятился, бросил одеяло на Гошку и рванул к двери. За ним дернули ребята, стиснулись в двери, заорали:

— Воробе-е-ей!.. Го-ошка-а!..

— У-умер!..

И эхом — по детскому дому:

— Умер... Умер!.. Умер!!

Взвизгнули в своих комнатах девочки.

Дом колыхнуло, тряхнуло, дернуло судорогой. Заухало, застучало, забегало.

И разом обсекло шум. Повисла тишина. На кухне стучал нож, в умывальнике брякнул сосок, бухнула гиря в дверь. И все. Мертво. Оцепенело.

Толя Мазов, чумной со сна и трудного пробуждения, выскочил в коридор и, ничего не понимая, крутил головой и приплясывал на холодном полу.

— Чё случилось?.. Чё?..

— Го-ошка! — высунулась откуда-то Маруська Черепанова. — Гош... Гош-ка...

— Умер? — Толя бросился было к двери своей комнаты, но у порога остановился, ударившись взглядом о неподвижного Гошку, едва прикрытого скомканным одеялом.

Тетя Уля, детдомовская повариха, прошла сквозь толпу растерянных ребятешек, склонилась над Гошкой и прищипнула ему глаза.

— Отмучился, горюн, — вздохнула она со скорбью и тут же стала соображать, прикидывать работу, какую надо

было сделать для покойника; детдомовская паника уже не касалась ее дел, как что-то малое по сравнению со смертью.

— Матерьялу... — тихо шевелились ее губы, — тапочки новы... наволочка...

Валериан Иванович вошел в комнату, постоял возле Гошки, опустив голову, надел очки, потом снял их и сунул в кармашек блузы. Сказал как бы сам себе:

— Не дотянул ты, Воробьев, до парохода... не дотянул...

Тихо-тихо вошла испуганная воспитательница Маргарита Савельевна, к Гошке подойти побоялась, застыла у косяка.

Тетя Уля всхлипнула по бабьей привычке, Валериан Иванович сжал ее локоть.

— Не надо, Ульяна Трофимовна, не надо, чтоб ребята видели слезы... — и опять зачем-то надел очки. — Будьте здесь... Я пойду звонить...

Он еще постоял, не зная, что сделать и что сказать.

— Идите к ребятам, — помогла ему тетя Уля. — А здесь дело бабье... — и коротко вздохнула. — Родить, хоронить да ранетых оплакивать — наша доля... Господи, прости раба Твоо мало, новопреставленного... Душа его невинная... Где нет ни болезни, ни стонов... Ишшо чего не забыть бы? — опять зашептали ее губы, — Кумачу на гроб... ленты... веночек...

Валериан Иванович вышел и притворил за собой дверь.

Радио на коридорной стене бодро, как ни в чем не бывало, извещало:

— ...Штурмуя новые невиданные высоты, трудящиеся страны советов...

Чья-то рука сердито выдернула из розетки шнур репродуктора.

Стало тихо. Валериан Иванович оглядел ребят и сказал глухо:

— В нашем доме несчастье... Нужно всем одеться, привести в порядок постели, прибрать в комнатах... Несчастье — это удел взрослых... Я хочу сказать — дело взрослых, — поправился Репнин и умолк. Так нелепы были его слова. Но куда деваться? Надо было что-то делать. — Друзья мои... — как будто сизнова начал Валериан Иванович и опять рассердился на себя: «Что я говорю? Зачем так-то?..» — и сказал резко: — Словом, всем завтракать и

отправляться в школу. Воробьева отвезут в городской морг и похоронят. Думаю, так лучше... считаю...

— Н-нет! — крикнул кто-то в толпе и ребят вдруг прорвало, все разом закричали, одна девочка закатилась в истерику.

К Валериану Ивановичу подпрыгал Паралитик и зама- хал костылем:

— Не дади-и-им!.. Гошку резать не дади-им!

— Не надо в морг!..

— Не дадим!

— А-а-а-ы-ы!..

Валериан Иванович оторопело смотрел на ребят и не узнавал их. Здесь уже не было Сашек, Борек, Мишек, Толек, Машек, Зинок... — было одно осатанелое лицо с раззявленными ртами, лицо человека, пережившего когда-то страшное потрясение, сделавшее его сиротой, искалечившее его. На этом лице — морщины, шрамы, косо- глазие, порочность... уродство Паралитика... Малышок при- жимает пальцы к кривым губам. Маруська Черепанова набычилась, ее черные глаза помутились. Зина Кондако- ва заплась в сухих рыданиях. Перед глазами детей — то пьяный человек с топором, то нож, то ружье... Страшный насильник рвет на девочке платье... Мальчишка норовит уползти под кровать, прижаться к стене; ему мешает пыль- ный чемодан, мешает корзина с пустыми бутылками... Удар, вопль — и хлынула, все затопляя, красная кровь, и пове- ло, искривило лицо ребенка, он забился в припадке. Кор- зина упала, покатались бутылка, окрашиваясь в крови. Снова Зина Кондакова, снова огромные глаза ее и в них — отражение рук с грязными, желтыми от курица ногтями; лапа рванула на ней ветхое платице, царапнула спину — тощую, всю из косточек... И выл, подняв морду к небу, охотничий пес...

Мечется на костыле Паралитик, человек без имени, без фамилии. Его догоняют на лошади, хлещут бичом, он падает на пыльную дорогу, его пинают сапогами, ботин- ками, грязными босыми ногами — бабы, мужики... пина- ют до тех пор, пока он не затихает, скрючившись в пыли. Из-за пазухи парнишки достают серую крошку хлеба...

— Не дади-и-им!..

— В ро-от вас...

— Пор-режем!..

Валериан Иванович сжался, ожидая, что его ударят. Но никто его не ударил.

И как только поутихли плач, ругань, крики, Валериан Иванович произнес, насколько мог спокойнее:

— Будет так, как вы хотите...

И побрел в свою комнату. Сутулый, он словно бы еще больше огруз и тяжело шаркал подшитыми валенками. Возле двери он обернулся, взглядом нашел Маргариту Савельевну.

А войдя в комнату, привычно достал из письменного стола порошок, вытряс его в рот и запил остатками вчерашнего чая.

— Маргарита Савельевна, — обратился он к воспитательнице, беззвучно появившейся у косяка, — Сегодня ребята в школу не пойдут. Пусть делают все, что считают нужным делать, не мешайте им.

Он посмотрел на лицо воспитательницы, на ее руки, молитвенно прижатые к груди, вздохнул и уже больше сам для себя, чем для нее, прибавил:

— Есть вещи, в которых дети мудрее нас с вами... — он дотронулся двумя пальцами до бледной переносицы, будто поправил очки, хотя очков не было. — Я понимаю, вам... После вашей избы-читальни народов Севера... Трудно в детдоме... — выпрямился и закончил: — все!..

Гошку Воробьева накрыли чистой простыней...

На окраине города, в лесотундре, меж озерин, — унылое кладбище. Ребята палят костер, оттаивают каменную мерзлоту.

Девочки ломают в лесу пихтовые лапки...

А в детдоме — непривычно тихая жизнь.

Ребята почему-то решили, что покойнику полагается быть в пустой комнате, вытащили все кровати, тумбочки, стулья и сложили их в конце коридора. Девочки принесли зеркало, Зина Кондакова занавесила его черным; попутно накрыли лыжными штанами строгий портрет знаменитого педагога, чтобы посторонний не глазел на Гошку.

Сняли с Гошки мерку старым матерчатым сантиметром.

Собрали полуразбитые балалайки, мандолины...

— А? — спросил Толя Мазов у Маргариты Савельевны.

— Да-да! — быстро согласилась воспитательница. — Я

и ноты могу принести... марш Шопена. У меня с прежней работы остались... Я домой сбегаяю... — и стала быстро одеваться, радуясь, что хоть на время может убежать из этого дома.

Валериан Иванович тоже выслушал Толю.

— Гоша еще ребенок, — сказал он, — понимаешь? Да и хоронят с духовым оркестром, а не с балалайками...

— Может, тогда стихи прочитать или песню спеть? — внес Толя новое предложение. — Молитвы же читают над покойниками...

Кастелянша, она же и завхоз, Екатерина Федоровна села шить Гошке новые штаны и рубашу из сатина. Вид у нее домовитый, простой: волосы шишом на затылке. Она как-то смешно держит иголку, оттопырив мизинец, а говор у нее грустно-умиротворяющий, размягчает девочек, обступивших ее.

— Шить на покойников надо руками, а не на машинке... В тихое место отправляется человек, и провожать его надо тихо, без громких речей и пьянок...

Зина Кондакова накатала из печи углей в паровой утюг, помахала им на крыльце, распалая жар, и стала гладить для Гошки пионерский галстук.

Сашка Батулин написал на дощечке: «Воробьев Георгий Юрьевич, — подумал и поставил даты: 1926—1939 г.»

— Да-а... не верили... думали — одыбают, — сказал Попик и почесал голову. — Не-е, когда все нутро отбитое, — тут тепло надо, солнце и питание калорийное: фрукты, овощи...

При свече сидели ребята, кто на подоконнике, кто на голом полу, откинувшись спиной к стене.

— Дядю бы того сюда... который хряпнул Гошку на брусчатку, — сказал Мишка-бельмастый.

— Мы бы ему спели — «Ах вы, сени, мои сени!» — усмехнулся Борька Клино-голова.

— Спели бы... — скривил губы Деменков и сердито выплюнул окурочек на пол. За ним сразу бросилось несколько шкетов. Но окурочком овладел Попик.

— Зря мы Гошку с магистрали увезли, — сказал он, затыгиваясь. — Там солнце раньше выходит... А на солнце все оживает: и трава, и лес, и человеки... Да-а, я вон, было дело, совсем доходил на вокзалишках, дуба дал бы, да попал на один поезд — в собачий ящик залез!.. И привез меня поезд в Крым! А там — солнца-а! А народу!.. С ходу два

скачка сделал — нашамался, во-о! Спал после этого сутки, в какой-то клумбе... — цветы!.. Разморило меня... купаться надо, а в чем? Трусов-то нету. Баба одна, курортница, сушить на яблоню трусы повесила. Я снял их. Розовые были, с кружевами зачем-то. Накупался... загнал трусы и опять нашамался... Лафа! — Попик прервался вдруг, поглядел на тускло белеющую простыню и непривычным для него тоном заключил: — без солнца мы никуда.

— И без водки, — опять скривился в усмешке Деменков.

Заполярное кладбище... — без ограды, без церкви, без сторожей и страшных сказок. Оно рассыпалось по мокрому снегу в жалком березнячке, на котором и белой-то коры нет, одни черные заплаты по стволам; среди кособоких елочек, пихт, у которых лап-то живых — одна-две. Разномастные кресты и пирамидки с деревянными или жестяными звездами стоят, отшатнувшись назад, как от зуботычин, или сунувшись надписью к земле, которую и землей-то назвать трудно; доски и перекладыны торчат из снега, бугорки могил просели, обнажая желтую, как мыло, мерзлоту.

Вот и Гошкина могила. На чуть высоком месте — хоть немножко посуше, хоть немножко поближе к солнцу. Головешки и угли от костра отброшены в сторону, у кромки могилы — отвал мокрой комковатой глины в прожилках инея, в тусклых проблесках мерзлоты.

На этот отвал и поставили тяжелый, неуклюжий гроб.

Попик скатился в яму: там уже скопилась болотная вода, и он принялся вычерпывать ее шапкой. За Попиком прыгнул Толя Мазов — шапки пошли по конвейеру.

Валериан Иванович сказал:

— Прощайтесь, ребята, с другом...

Ребята наморщили лбы, насушили брови... — поняли, что сейчас наступило самое главное. Потоптались, не зная, что и как делать.

Первым нашелся Попик. Он бойко растолкал ребят, наклонился к Гошке, поцеловал его в глаз:

— Прощай, наш боевой друг и соратник! Мы не забудем тебя! — сказал он и секунду помедлил. — Мир праху твоему...

Прикрывая рукой вечно улыбающийся рот, подошел к гробу Малышок... Наклонилась к Гошке Зина Кондакова... Толя Мазов хмурился, сжимал в руках мокрую шап-

ку — держался из последних сил, сглатывал воздух, а воздух, видно, твердел в горле. С любопытством глядела из-за спин Маруся Черепанова. Мальчишка из первого класса, еще не понимая горя, стоял по команде «смирно»... Девочка, тоже первоклассница, взяла палец в рот и забылась...

Проковылял к Гошке Паралитик. Костыль застрял в глине и он никак не мог его выдернуть. Тогда он бросил костыль, подпрыгал на одной ноге к гробу, упал на бок и боднул Гошку подбородком. И долго не мог подняться без костыля. Ребята помогли ему, и он разозлился, оттолкнул их.

Смотреть на все это было уже невозможно. Валериан Иванович отошел в сторону, сел на упавший нетесаный крест, закрыл глаза рукой.

Его закачало, закачало и плавно понесло в полузабытьи... — к другим снегам, к другим крестам и могилам, страшным в своей обнаженности и простоте.

Это были даже и не кресты вовсе, а неошкуранные колья с топорным затесом на конце и с номером на этом затесе... Снега были белыми, бесконечными...

Над ними летал лай собак, россыпь выстрелов.

Валериан Иванович стоял в тесной группе замерзших, заледенелых людей, перед баракком из толстых брусьев.

На скрипучее крыльцо вышел молоденький парень в кожанке, перетянутой ремнем с португеей, оглядел людей долгим, раздумчивым взглядом и сказал:

— Кто будет хорошо работать, того в чистом белье похороним... И рассмеялся собственной шутке.

Толя Мазов тронул Репнина за плечо.

— Валериан Иванович, вам пора...

— Что пора? Ах, да-да...

Галоши вязли в размешанной глине, снимались с ботинок. Валериан Иванович с трудом добрался до растворенной могилы, встал на колени у гроба, поправил галстук на мертвом мальчишке, загладил ему на бок светлорусые волосы... И поцеловал его в наморщенный лоб долгим родительским поцелуем.

— Ребята, — заговорил он сдавленным голосом, — когда вы станете взрослыми и у вас будут дети — любите их! Любите!.. Любимые дети не бывают сиротами. Не надо сирот!.. Не надо... — и, чувствуя, что вот-вот разрыдается и что делать этого ни в коем случае нельзя, Валериан Ива-

нович резко поднялся из холодной грязи и хрипло приказал: — Крышку! — и опять отошел в сторону.

Ждавшие от Валериана Ивановича большой и горячей речи, ребята разочарованно накрыли гроб крышкой. Тут оказалось, что они забыли молоток, стали перепираться:

— Попик, ты чем думал, падла?

— Все — Попик, все-о Попик!..

Деменков достал из кармана кастет, приладил его в кулаке и, встав так, чтобы кастет не был виден Валериану Ивановичу, заколотил им гвозди.

— Веревку тоже забыли...

— Обратнo Попик виноват, да?

— Да ладно вам, чё хай поднимаете?

Попик, Толя и Мишка-бельмастый проворно соскочили в яму, чтобы принять домовину и поставить ее на дно могилы. Но домовина была широкая, могила узкая...

Притиснуло ребят к ребристой стене могилы, и ни они, ни те ребята, которые были наверху, ни даже Валериан Иванович не знали, что теперь делать, топтались вокруг могилы, месили глину.

На лесозаводе запел гудок — сипло, протяжно...

Поплыл над городом Краесветском.

Достиг окраин.

И завис над пригорком горького кладбища. Возле могилы с низким холмиком одинокой кучкой стояли одинокие ребяткишки. И среди них грузно горбился пожилой человек.

Тихо бродил в холодной ночи ветер, ощупывал доски высокого забора — будто щели искал, постанывал, натываясь на колючую проволоку, густо натянутую поверх забора...

«Уважаемый гражданин начальник, — просительно говорила ночь, — в вашу местность, где мы строимся, вернули из Краесветска двух беженцев. Они познобились и лежали в больнице вместе с парнишкой по фамилии Мазов, по имени Анатолий, по отчеству Светозарович...»

Подрагивала на ветру проволока. Искрылся иней в свете прожектора.

«...Все сходится с моим сыном, — голос заволновался, заторопился, словно боялся, что его пресекут и он не успеет сказать главное, — и возраст тоже сходится. Сын был маленький, когда меня изолировали. Всю мою родню

сослали в Краесветск, и что с ними — неизвестно, может, поумерли, а сын выжил и попал в приют? Уж очень все сходится... Вот почему беспокою вас письмом. Может, с сыном мы никогда не свидимся, но хоть бы знать, что живой он...»

Завыл в тундре, под морозным небом волк, голос его подхватил сторожевой пес, перекликнулись другие собаки...

И опять все стихло.

«...Сообщите, Христа ради, гражданин начальник. Очень уж я переживаю. Я не убегу отсюда. Пусть бы только сын был живой да человеком бы стал. Извиняюсь за беспокойство. С низким поклоном — Мазов Светозар Семенович».

Письмо было написано на полоске бумаги, снятой с банки от сгущенного молока. Конверт — из оберточной бумаги...

Горела лампа, освещая стол, конверт и письмо.

Валериан Иванович лежал на кровати, закинув руки за голову. Отросшая за день щетина темнила его лицо, седловинка очков въелась в хмурую переносицу.

— М-да...

Он тяжело и громоздко потянулся к столу, взял письмо и стал внимательно его перечитывать.

И снова смутный город в смутном тумане, и снова строй, шевелящийся в мороке, матерки конвойных, лай собак, кашель, хряск щепья и льда под мерзлой обувью, густой пар над безликой толпой, пар, идущий из тряпья, залепившего лица людей...

...Где-то раз-другой прорежутся в этом тряпье светлые страдающие глаза, и обозначится в морозном пару фигура крупного прибранного мужика в полушубке, перепоясанном деревенской опояской.

Попик под хай и улюлюканье вылил на круглую свою башку шайку воды и выдохнул из себя жар парилки.

— У-уф, блин! — и, надев на голову шайку, подался в моечное отделение, а на зад у него забегала кошка за мышкой — наколки.

Баня шумела, плескалась, мылась, парилась.

— Значит, «крю-ю-гэм! Ар-рестовать сук-кина сына!» — Ступинский рассмеялся, дергая молодыми еще усами и

привычно пряча в них щербатый, проваленный рот. — Ох, ребяташки, ребяташки!.. Дают они вам жару? Честно...

— Еще как! — смиренно, по-доброму прогудел Валериан Иванович.

У кранов с водою — колготня. Попик пустил в Толю Мазова струю. Тот подпрыгнул и погнался за Попиком. Паралитик из полутьмы, сверкая глазами, прогавкал:

— Вы, пады, мыться сюда пришли или шухер наводить?

— Шу-у-хер!

— Не так-то просто воспитывать детей без кнута и Боженьки, — сказал Валериан Иванович.

Толя окатился из таза, промыл по-деревенски бережно лицо из-под крана и принялся тереть спину Паралитику, косясь на его живописно расписанное тело, — только на больной ноге, откинутой на лавку, словно бы и телу не принадлежащей, не было наколок, а остальное — все в сердцах, проткнутых кинжалами, в якорях, птицах, надписях. Вот и на спине, от лопатки до лопатки проступило: «Люблю я родину, но странною любовью... И еще лахудру Соньку».

Деменков, по-мужицки прикрыв промежность веником, лежит, отдыхается, а на груди у него с одной стороны профиль Сталина, с другой — что-то похожее на Калинина, с бородкой, и в две строчки стих: «Дедушка Калинин, в рот меня..., отпусти на волю, не буду воровать». В конце первой строчки налип банный лист.

— Ро-о-обя-а! — слышится восторженный вопль: — Глобус синичку в горсть зажал и теребит...

— Гло-обус! Выпусти синичку!

— Га-а-а!..

Набатный гром тазов.

Хлестались вениками Мишка-бельмастый и Борька Клин-голова. Вытряхивал воду из уха скривившийся Малышок.

— Пошоркай спину!.. — Деменков протянул Толе намыленную вехотку и лег на лавку, животом вниз.

А на спине — одинокий гроб, собака у гроба... И надпись: «И необмытого меня под лай собачий похоронят».

— Да-а... не так-то просто!..

Валериан Иванович оглядел комнату «мэра города».

Железная кровать, заправленная байковым одеялом, доска с книжками, висящая на проволоке, почти пустой посудный шкаф с вырезанным на дверцах сердечком.

— Живу, как на вокзале... Уж извините! — сказал Ступинский.

Телефон на стене. В простенке между окнами — карта мира. Умывальник в углу, заплесканная газета, на полочке мыльница с кисточкой, флакон тройного одеколона.

— Жениться надо, устраиваться... да все некогда.

Стоя на коленях перед плитой, Ступинский нащепал от полена лучины, сунул ее в вялый огонь. В комнату повалил дым.

— Вот еще — дымить стала. Кирпич, что ли, в трубу упал?

Валериан Иванович надел очки и подошел к фотографии, прислоненной к книгам: на ней стояли, сидели, лежали на боку курсанты в буденовках и галифе.

— Скажите... только прямо: зачем вам понадобилась вся эта возня со мной? — спросил он. — Ну, мое вызволение... оттуда... — он стянул с носа очки и показал ими себе за спину. — Назначение на должность заведующего детдомом, хлопоты о гражданстве... В благородство играете?

— Нет, Валериан Иванович, — Ступинский закрыл печь и приоткрыл поддувало, — играть мне недосуг. Не хватает в Заполярье кадров... образованных кадров, — уточнил он, — вот и приходится... недорезанных буржуев привлекать... — Он улыбнулся, повел усом и чихнул от дыма.

— Салфет вашей милости! — церемонно сказал Репнин. — Как говорит у нас один шкет...

И тут же, как бы в ответ Репнину, повело, повело, курносый нос Попика... Он жажнул, потер ноздри и сказал, ласково улыбаясь:

— Салфет вашей милости! Здравия Юрию Михалычу!..

Затрещал телефон.

— Слушаю!.. Да... жду...

Ступинский вздохнул и, прижимая трубку к плечу подбородком, достал хлеб с полки.

— Сплю мало, оттого и крепко. Вот и наладили мне эту трещотку, — пояснил он. — Мертвого разбудит!.. Да! Ступинский...

Пузырилась в пайке вода, бьющая из широкого кра-на, мелькали горячие веники. И проступала сквозь мыль-ную пену надпись: «Дедушка Калинин...»

Ступинский поморщился и расправил плечи:

— Да, доверяю! — сказал он твердо. — Отвечать буду я! Да. Что будет? Совхоз будет! Ну, какой?.. Зверсовхоз... или овощной. Да нет, не фантазия! Этой весной уже посадим картофель... свой картофель, понимаете? Кто вывел? Агроном, женщина из Ленинграда. А это уж ваше дело!.. Нет, не отменю! Не отменю!.. Нет!

Положив трубку, Ступинский стал судорожно разми-нать папиросу, порвал ее пальцами, достал из пачки дру-гую.

— Деятели! — поморщился он, прикуривая. — Распор-яжаются все громко и охотно! — он сердито ткнул паль-цем в телефон. — А вот специалистов дают только на заво-ды и в порт — откуда идет реальная прибыль. А в школы, в клубы, в газету — шиш! Молодая интеллигенция... — Что с нее взять? Скороспелка она и есть скороспелка...

— Поспешность нужна при ловле блох, а вы употре-били ее... — Валериан Иванович замаялся, ища подходя-щее, необходимое слово.

— На усекновение Российской интеллигенции — хо-тите сказать? — подсобил ему Ступинский.

Вехотка прошла по профилю вождя, продрала его, покрыла пеной...

— Может быть, вы в чем-то и правы... — раздумчиво сказал Ступинский и опять враждебно глянул на теле-фон. — Как у нас обошлись со старой русской интелли-генцией, вы, наверное, судите по себе... на примере своей судьбы?..

— Вы что, на откровенность меня вызываете? — спро-сил Репнин и пожал плечами. — Все, что думаю, я привык высказывать кому угодно и где угодно.

— Кому угодно и где угодно — не надо: не то время, — сказал Ступинский.

Из лесотундры в Краесветск двигаются подводы, груженные ящиками, мешками... Облепив подводы, держась за оглобли, за отводины саней, едва ползут по глубокому снегу и охранники, и заключенные. Кто-то приостановился, постоял, качаясь, поглядел на проступающую в тумане трубу с дымом, опал на колени, скорчился на полознице — никто даже и не оглянулся.

— Мы стараемся... — Ступинский накрыл стол чистой, шуршащей газетой и разгладил сгибы, — по мере сил стараемся помогать людям, спасать их!.. Да, спасать... — здесь, куда их погибать сослали.. кое-что удастся... А если иначе... у соседей могучая стройка накрылась, погибла... Остатки контингента этапом двигаются к нам — через тундру, тайгу... А руководство поарестовало и постреляло друг дружку, проявляя большевистскую принципиальность...

Два стакана с блюдами, початая банка стуженного молока, тарелка с хлебом...

— Вы, надеюсь, заметили, что у нас тут люди живут, работают, учатся, отдыхают — вместе. А ведь все это не само собой получилось. И не сразу. Мне в первую зиму... начальник стройки, старый коммунист — по сопатке въехал! Кобурой я любил пошуршать по молодости лет... — Ступинский погладил усы. — Хороша была оплеуха! До сих пор забыть ее не смею. И слов его: «Оборони Бог, дойти нам тут до грудков!»

Дощатая дверь. На ней крупно написано — «Касса», и замочек на двери.

Попик по-песью пошевелил носом, втянул воздух ноздрями.

— Ой, где-то чем-то пахнет, — и шевельнул ушами. — Грошами пахнет, блин буду!.. Ну просто воняет грошами...

На двери, ниже слова «касса», прилеплена бумажка, на ней корявые, торопливые слова: «Уехала за вениками».

— ...Мы сумели избежать разлада... — Ступинский начал разливать чай, — но приходит пора призывать в армию ребят, которые выросли в Краесветске, и что будет, если там им припомнят отцов и дедов?

— Этого допустить нельзя! — сказал Валериан Ивано-

вич и покосился на баночную наклейку: на такой же наклейке было написано письмо Светозара Мазова...

К билетной кассе приблизились Паралитик, Попик... Деменков наблюдал за ними со стороны.

Попик обнюхал, как собачонка, замочек, повертел его нежно двумя пальчиками:

— Система замочка: гроши были ваши, стали наши! — вкусно чихнул и опять поздравил себя великосветским манером: — Салфет вашей милости, Юрий Михалыч!

Валериан Иванович бросил в стакан кусочек сахару, задумчиво стал помешивать ложечкой:

— Ребята должны верить в мир, в котором они живут... И ценить доброе слово — хлеб...

— Портются, блин!.. Портются гроши!.. — ныл Попик.

— Я ведь тоже многому научился у детей, привязался к ним, — тихо, доверчиво сказал Валериан Иванович, — и мне хотелось бы без тревоги думать о их будущем...

...Желтоватые глаза Паралитика с трещинками зрачков расширились, как у кота в темноте.

— Косим! — прошипел он, и костыль его застучал, будто каблук полководца. — В шухер! Клин — в одевалку, развлекай публику! Гвоздь!..

— Простите меня за некоторую афористичность... — продолжал свою мысль Репнин. — Великий поэт сказал: «Если мир расколется — трещина прежде всего пройдет по душе поэта»...

Щелкнул слабый замочек...

— А я думаю: прежде всего трещина пройдет по судьбам детей... — сказал Валериан Иванович.

— Трещин этих!.. — Ступинский зажал голову руками.

Плавню, без скрипа, открылась дверца кассы...

— Прозрел, как говорится, через беды... — сказал Репнин.

Чья-то рука сгребла деньги — раз, другой...

На дне выдвижной столешницы осталась мелочь.

— Для развода, — буркнул Паралитик.

— Да... — задумчиво сказал Ступинский. — Если мир расколется...

Дужка замка беззвучно скользнула в пробой.

Замок защелкнулся...

Заводская труба.

Под нею, чуть в стороне, в снежных сугробах, в опилках и лесоотходах — люк.

Мужик в подпоясанном полушубке, с обмороженным лицом, на котором как-то по-особенному тоскливо и ясно светятся чистые серые глаза, беременем таскает лесоотходы, бросает их в люк, затем совковой лопатой туда же гребет опилки.

В кочегарке, что-то бесконечно напевая, мечется возле открытых топок мужик с голой спиной, в фартуке и в рукавицах. В кочегарке тепло и уютно. В углу, на сколоченных двух досках, положенных на клетку дров, — что-то похожее на стол; виден огромный чайник, пачка с сахаром, полбулки хлеба, соль в жестяной банке, печеные картофелины.

— Э-эй! — стучит лопатой по железной крышке Ибрагим. — Одихай будим... кушыт...

... Они сидят на поленьях, глядя на огонь в топках, беседуют.

— Я не подох там только потому, что мне надо сынишку найти... ради него... его Толькой... Толей крестили...

— Туля один на свете?

— Один... мой...

— Много Туля... русский имя... трудно искат...

— Трудно. Но я найду. Верю... я Богу молюсь...

— Бога нит... Цара ни нада... Качигарка праживем!..

Как тваиво фамилия, Ибрагим праслушал...

— Мазов. Я — Светозар Мазов.

— Мазов... Мазов... уши слышат... ум нет... по голова прикладом били на этапе... сапсим галава пуста стал!.. Мазов?.. Мазов?..

Кирпичный завод. Сушильное отделение.

Полати и клетки для просушки кирпича приспособлены под нары, и на них навалом — старики, старухи, ребятишки, узлы, ведра, — шевелится, пищит, дымится, иско-

дит паром помещение, в конце которого остывают кладки кирпичей.

А из-за остывших клеток, весело покрикивая: «А-а, по-старони-ы-мся!», «ножку отдаваю!», «жми, Фома, деревня близко!» — катят груженные тачки полуголые мужики и бабы.

За самодельными занавесками из мешковины и ситчика, а где и открыто, идет жизнь. У бабы с отрешенным лицом сосет грудь тощий младенец; другая баба что-то несет на доске, третья — починяется, две бабы ищутся, старик режет табак... И здесь же два паренька чистят мелкую рыбешку...

Порют, шьют, строгают, играют в карты, сколачивают доски...

Поджав ноги, сидят на нарах два мужика и между ними на газете «Большевик Заполярья» — четушка, кусок рыбы, обломок хлеба. Подняв палец, один толкует другому:

— Нет, если политицки рассуждать...

А рядом чубатый парень растягивает гармонь: «Не болел-ла бы хру-удь, ни ст-радала б душа-а».

Кто-то бубунит:

— И ежели ты, курва, ишшо раз пойдешь к Степке, ты меня знаш...

— Баю-баюшки, баю, не садися на краю... — поет баба, отняв от груди ребенка.

В темном углу чьи-то скрюченные темные руки скоблят картофелину, суют в кровящий зев:

— Ешь!.. Ешь!.. Ты последний в роду Мазовых... тебе надо выжить... род наш... Сибирь наша... — ножик замирает и со стуком падает на пол.

К нему бросается паренек кавказского вида. В нем едва узнается Ибрагим. Подбрав ножик и картошку, он начинает готовить жижицу и совать в рот малышу:

— Куший! Куший, Туля! Куший, дарагой... дедушка будит помират... пся дедушка канчался...

— Травушка-муравушка... — шепчут губы старика, — травушка-муравушка... род наш... Сибирь наша... медуни-и-ичка-а...

...Ворота сушильного отделения распахнуты. На мороз, под звезды, вытаскивают умерших за ночь. Баба, что кормила грудью мальчика, теперь несет его под грудью, прихватив концом шали; дети на тачке везут покойницу; несут старика Мазова, костлявого, могучего, в старом поскон-

ном белье; с его шеи свисает на гайтане медный нательный крест.

Опустили на доски старика.

Ночь. Сияние в одной стороне неба гаснет, гаснет...

— Да-а, целая эпоха ушла с этим стариком, — говорит Ступинский, стоящий возле покойников. — Хоть кто-то остался у Мазовых?

— Малчек Туля, малчек, — откликается Ибрагим. — Сапсем один малчек...

— Давайте его сюда! — приказывает Ступинский.

Комната «мэра города».

Ступинский курит. Валериан Иванович смотрит на огонь, разгорающийся в печи.

— Ну и как он там, мой крестник? — улыбаясь, спрашивает Ступинский.

— Как все. Живет, хлеб жует, кровь воспитателям и учителям портит... как все. Н-ну, разрешите мне откланяться.

В детдоме опять хлопали двери, бухтели голоса...

Толя Мазов закрыл лицо книжкой «Блеск и нищета куртизанок» и с тревогой прислушался.

— Шарь! Шарь!.. Испугал бабу мудям!.. Она весь видала!.. — неслось из комнаты, где жил Паралитик.

— Галифом перетряси да нам по рюмке поднеси...

Стучал костыль. Играло радио: «Много девушек есть в коллективе, но ведь влюбишься только в одну...»

В комнату, беззаботно пиная «жошку», вплыл Борька Клин-голова.

— Пять мильенов, пятьсот тысяч! — подвел он итог и устало сел на кровать.

— «Можно быть комсомольцем ретивым и вздыхать всю весну на луну...»

В дверях появился начальник милиции со своим огромным, как лось, сотрудником.

— Здорово живем! — сказал он бодро и, отшагнув в сторону, пропустил вперед осунувшегося, с темным лицом Валериана Ивановича. За ним подтащилась и замерла у двери со строго поджатыми губами тетя Уля, пробурчала себе под нос:

— Мало, что мужиков... За дитев принялись — ничё не щадят: ни Бога, ни людей...

Начальник милиции обернулся. Тетя Уля смолкла, но глаз не отвела, креститься стала.

Поднялись с кровати жильцы четвертой комнаты, стали потягиваться. Попик зевнул со сладким стоном и утер губы.

— Ребята, — безнадежным голосом произнес Валериан Иванович, — из кассы бани пропали деньги. Кроме вас в это время там никого не было...

В комнату протиснулся Паралитик, встал за спиной милиционера. Валериан Иванович повел взглядом по лицам ребят: Деменков, Попик, Малышок, Толя Мазов, Борька Клин-голова, Мишка-бельмастый...

— Анатолий... — взгляд Репнина вернулся к Толе, — ты не знаешь, кто взял деньги?

В комнате струной натянулась тишина. Слышно стало, как работает на протоке лесотаска, скрежеща крючьями, как стучат на кухне ножи дежурных, как хрустит костыль под налегшим на него Паралитиком; даже скрип ремней на начальнике стал слышен...

И тут в тишину ворвался веселый голос Попика:

— Сообразил кто-то! А я рядом был, рядом с грошами — и не дотумкал! Поел бы конфеток, покурил папиросочек!.. Фартит же, блин, людям!..

— Помолчи, Попов, — оборвал его Валериан Иванович, и уже безо всякой надежды еще раз спросил у Толи: — так, значит, ты не знаешь?..

— Не знаю.

— М-да... корсары! хранители тайн! — грустно съязвил Валериан Иванович и громче добавил: — сейчас здесь будет произведен обыск! — в голосе его проскользнул металл, и сам он подчеркнуто выпрямился. — Разумеется, с вашего позволения...

— Пожалуйста! Хоть сто пудов! — откликнулся Попик, с готовностью развязывая наволочку на подушке.

Деменков молча выворотил карманы и ушел в коридор курить. Малышок заулыбался. Толя прижался спиной к подоконнику. Тетя Уля выудила папиросу из фартука, захрустела спичечным коробком.

— Я за тебя буду распарывать матрац?! — взъерошился на Толю Валериан Иванович, и тот подскочил к своей кровати, зашебаршил соломой...

Заведующий еще надеялся, что кого-нибудь прорвет и ребята сознаются или выдадут чем-нибудь себя, но вмес-

то этого начался спектакль. Зачинателем его был Борька Клин-голова, чемпион по «жошке».

— Все на нас вали! Все-о-о!.. — с гневом и обидой завел он. — Мы люди брошенные! Мы люди безродные! Жаловаться нам некому... В школе, чуть-что, на нас жмут!.. В кинухе не появляйся!.. Нигде нам ходу нет! Воры! Шпана! Такое наше звание...

— А какое б ты званье еще хотел? — рыкнул на него сдерживающийся до сих пор начальник милиции.

Как раз это и нужно было. Борька Клин-голова оскорбленно обратился к «публике», закупорившей вход в комнату, и отыскал глазами тетю Улю, нервно дымящую папирской.

— Видали, какое обращение?! Матрацы шерудят!.. В штанах у меня еще не смотрели... Во! — Клин-голова мгновенно скинул штаны. Девчонки брызнули от двери, а Борька, поворачиваясь к начальнику милиции то задом, то передом, истерически кричал: — Н-на! Ищи! Н-на, щупай!..

— За людев не считают! — поддержал его Паралитик.

— Где чё стырят — все на нас! — пробубнил Мишка-бельмастый.

— Не имеете права — без прокурорской бумажки! — Попик вырвал из рук милиционера матрац, захлопнул ногой тумбочку.

— Права не для них писаны!

— Я-а-ави-и-илися-а-а!..

— Достоинство наше попирают! — бил себя в грудь Борька Клин-голова.

— В школу не пойдем, раз так!

— Лягавку спалим!

— Голодовку объявим, как большевики в кине! — неистовствовал Попик.

— Может, она сама, эта баба, денежки тиснула, под нашу марку!..

— Чё она зимой по веники ходит? — выступила вперед тетя Уля. — Веники, между прочим, летом ломают, в Петров день!

— Факт, сама!

Борька Клин-голова уже с отчаянием бился о спинку кровати:

— Утоплю-у-ушь от такой жизни!..

Валериан Иванович поднял штаны Борьки, хлестнул его ими по голым ягодицам и швырнул в лицо:

— Надень, паясник!

Валериана Ивановича трясло.

Клин-голова перестал рыдать и принялся натягивать штаны, позвякивая пряжкой ремня.

Не стал ждать конца обыска заведующий, стремительно пошел из комнаты. В дверях перед ним расступились любопытные. Тетя Уля опасливо спряталась за ребятишек и сигарку притушила. Следом отправился начальник милиции.

— Брысь! — для порядка цыкнул он на ребят.

— Ладно, ладно, не пыли! — понеслось ему вслед.

— Шароваристый больно!

— Футы-нуты, ножки гнуты и дугою галихве! — прошелся Попик, делая ноги колесом.

— Денежки у своей жены поищи, в районе пупа!

— Га-а-а-а!..

Милиционер обезоруженно озирался. Не зная, какие меры принять, он строго погрозил пальцем.

— Ох, шпана! — прогудел похожий на лося сотрудник. — Вас не в советский детдом надо, вас — в КПЗ!

— А что это — КПЗ? — спросил Малышок.

— Это Красноярский пивной завод! — сказал Борька Клин-голова и стал расправлять мех на своей неразлучной «жошке».

— Я почти уверен, что деньги у наших, — удрученно сказал Репнин. — Нужно время...

— Почти — это и есть почти. Ноль! — начальник милиции сдернул с вешалки шинель и стал одеваться. — Тут меня еще одна штукенция смущает: кассирша почему-то не сдала в положенный срок выручку. Факт подозрительный. Поэтому кассирша пока останется... — он кивнул на дверь: — в Красноярском пивном заводе. А вы примете ее детей. Дома у нее никого...

— Как? — уставился на милиционера Репнин. — Да куда она денется? Дети же...

Начальник поморщился:

— Ну, это не вашего ума дело. Сами с усами!.. — и, смягчившись, отвел глаза: — не все вам равно, сто или сто две человеко-единицы... — улыбнулся, чтоб понятно было: шутит, — будут здесь шаромыжничать?

— Да нет, не все равно, — возразил Валериан Иванович.

Но начальник милиции уже надел шапку и с досадой поглядывал на замешкавшегося спутника.

Валериан Иванович подавил вздох и спросил глухо:

— Когда прийти?

— Сегодня уже поздно...

— Значит, завтра. Всего хорошего! — холодно сказал Валериан Иванович и забарабанил по столу пальцами: — две человеко-единицы... две человеко-единицы... чертовщина какая-то!

Женька Шорников накиннул на плечи телогрейку, умял на голове шапку с растопыренными ушами и направился к выходу, — в его классе уроки закончились.

В раздевалке галдели, кидались шапками, скомканными шарфами, проверяли карманы — не слямзили ли чего за время уроков?

Из дверного проема, кряхтя и гогоча, выползла в коридор группа сцепившейся малышни: тут играли в веселую и мучительную чехарду.

За другой дверью Женька увидел Зину Кондакову, — узнал ее по красивой, чистой косе. Она стояла возле белого от мороза окна, одна в пустом классе, и плакала.

— Чё тюнишь? — спросил Женька, пытаясь заглянуть ей в лицо.

Зина отстранила его мягким жестом, шагнула к своей парте и стала быстро собирать книжки.

— Чего ты? — Женька сел на соседнюю парту.

Зина спрятала в мешочек чернильницу-непроливашку, затянула его жгутиком. Губы ее опять затряслись.

В дверь сунулась Маруська Черепанова — человек все знающий и все видящий. Она поманила Женьку и, стрельнув по сторонам ушлыми глазками, сообщила с придыханием:

— Ей про нехорошее говорили. Парнишка один начал, другие тоже взялись...

— Который? — взъерошился Женька.

Маруська хотела улизнуть, но Женька успел ее спалить.

— Показывай!

— Вы его бить будете?

— Говори, выдра! — он тряхнул Маруську так, что она глаза закатила. — Кто?

— Тама...

Женька помчался за Маруської на второй этаж.

— Вот он, — показала Маруська на лобастого парня, грызущего кедровые орешки и сплевывающего шелуху в

тяжелый кулак. — Гляди, Женька, у него отец грузчик городского обозу. Си-и-ильнай!.. Телегу с конем подымат...

— Положили мы на этого грузчика... вместе с конем! — Женька задергал головой, зыряка, выискивая своих. Заметил Мишку-бельмастого, поманил. — Фрей один к Зинке приставал, — сказал он сквозь зубы.

Мишка стрельнул оловянным глазом, прыгнул по лестнице вниз.

Женька подошел к лобастому парню.

— Отойдем, потолковать надо...

Парень смерил Женьку взглядом, каким смотрят на мелюзгу, и, не переставая грызть орешки, пошел вразвалочку, напевая:

— «Ну что ж, потолкуем, коли надо, ну, кому какое дело, коли надо!..»

Возле лестницы он вытряс шелуху в урну, поклонился в нее, съехал по брусу вниз и, сощурился, спросил у Женьки:

— Да об чем толковище будет?

— О проблемах соцреализма!..

Женька смазал лобастому по морде. Замахнулся еще, но тот стрел его за грудки, скрутил под телогрейкой рубашку и потащил его под лестницу, повторяя:

— Счас!.. Счас!.. Будет тебе проблема — и соцреализма, и марксизма-коммунизма...

Женька вертелся, не давая затолкнуть себя под лестницу.

Но тут затопало, налетело, опрокинуло их обоих в подлестничную тьму, где хранились старые плакаты, ведра уборщиц, древки от знамен, метлы, и веники. Звон ведра, треск, бряканье. Маруся Черепанова вертелась возле лестницы и будто считалочку повторяла:

— Так его! Так его!.. Не трепись...

— Не бейте его, ребяточки! Миленькие, не бейте! — подбежала трясущаяся Зина Кондакова.

Возник директор школы, сунулся под лестницу. Его там не распознали, тарабахнули ведром по голове. Он не отступил, дальше полез. Добавили древком знамени. Выдрал он все же парня, толкнул в коридор:

— Беги!.. — и набросился на взъерошенных, трясущихся детдомовцев. — Зверье! Изверги! Навязались на мою голову!.. — а сам трогал себя за темя и смотрел на пальцы, на которых была кровь. — За что вы его?

— За дело! Не ори! — окрысился Женька Шорников.
— Т-т-ты!.. Т-ты как?.. — заикаясь, взвился директор. — Да ты!.. — и, круто осадив себя, ушагал в учительскую.

Сторожиха забрэнчала звонком, заканчивая перемену. Ребята стали расходиться, рассасываться по классам. Женька Шорников, бледный, вызверившийся, поискал глазами кого-то, увидел Толю Мазова, кивнул ему.

— Господи! — сокрушалась сторожиха. — Скотину шелудивую так не лупят.. а оне.. свою брата! Советского учащего!..

В ее руке еще раз звякнул колокольчик.

Женька и Толя шли по городу, молча шли, отходили от драки. Женька подобрал на дороге окурок, достал обломок коробка, спичку, чиркнул, прикурил.

— Ты помнишь, как я пришел в детдом? — спросил он, глубоко заглывая в себя дым.

— Как не помнить? Ведь я — старожил..

— Новенький! Новенький!..

Сгрудились, столпились детдомовцы.

Новенький, в белых кучерявых патлах, высывающихся из-под боевой кубанки, на которой еще белело пятно от звезды, стянул с шеи шарф, снял кубанку...

— Ангели, небесны ангели! — тетя Уля тронула своими сухими, узловатыми пальцами льняные кудри. — Такие волосья — стричь.

— А вши? — скрипуче спросил Паралитик.

...И вот новенький уже в комнате, — ушастый, ангело-подобный, с небесно-голубыми глазами; лицо бледное, на скулах заостренное... и волосы у него пострижены не под «ноль», а просто сняты до «санитарных норм».

— Ну, чего ты стоишь? — сказал Толя Мазов. — В ногах правды нет... вот твоя койка.

Новенький осторожно садится.

— Звать?..

— Женька... Шорников...

— Шарапник? Скокарь? Лошкарь? Щипач? — подступает к нему Попик.

— Щипач... — уныло говорит Женька.

— Да ну-у-у?.. — недоверчиво щурится Попик.

— Вот... — Женька разжимает руку. На его ладони — «жошка» Бори Клинь-головы.

...Женька Шорников и Толя Мазов вдвоем.

— Могут чаю в постель налить... велосипед поставить. Кнопку под простыню насыпать... — говорит Толя и подозрительно смотрит на Женькину руку, сжатую в кулак. — Чё в руке-то? — И бегло ощупывает свои карманы. — Чё стырил?..

— Да не-е... — Женька разжимает руку и показывает Толе гильзу от винтовочного патрона.

— Где взял?

Женька бледнеет и опять зажимает гильзу в крепкий кулак.

— Хочешь, покажу?.. — говорит он тихо.

... И вот они уже за городом, — миновали кирпичный завод, поднялись вверх по речке с настывшим на камнях ледком, с примороженно торчащей осокой...

За недалеким поворотом, в неглубокой балочке, поверху и с боков обросшей кустами карликовой березы и голубичником, на мшистом берегу с выпершими вверх камнями, лежат люди, — лежат разбросанно, в разных позах, большей частью в телогрейках, кто в бахилах, кто в рабочих ботинках, а есть и в спецодежных сапогах и брюках. У иных еще видны древесные стружки в волосах и на шапках. Иные трупы уже подернуло плесенью. Среди них — одна женщина, в спецодежде, в белом платке, молодая женщина. Из-под спецухи на шее алеет красная косынка. Рядом — мужчина лежит на боку, круглая кепка с козырьком-навесом, с кнопкой в середине — упала, обнажив желтую плешь. Галстук на нем модно повязан, конец галстук вмерз в лужицу между камнями. Почти над балкой, в неистовой позе — видно, рвался куда-то, бежал, хватаясь за кусты, и так, с зажатым в руке кустом, со смятыми в кулаке листьями — лежит человек в военной форме, разутый, с выдранными из петлиц кубарями.

— Мой папка... — слышится почти бесстрастный, вялый голос Женьки Шорникова.

Толю колотит. Он стоит оцепенелый, с выдавленными ужасом глазами. Зубы у него клацкают. А Женька шарится в траве возле речки, выбирает гильзы.

— А говорили — стрельбище... — голос у Толи рвется, задыхается, — ворошиловских стрелков... тут... готовят...

— Готовят... — кривится Женька.

— Чё ж... чё ж...

— Не хоронят?.. А кому тогда работать? Хоронить в мерзлоту — ого-го-о-о...

— Чё ж... чё ж...

— С ними будет?.. Песцы, волки, лисы съедят за зиму, совы и мыши подчистят. А кости — половодье унесет...

— Но там же... — Толя протягивает руку в сторону города.

— Воду берут?.. И берут. И пьют... — Женька продолжает рыться в траве. Нашел гильзу, очищает ее, обдувает.

Возле трупов Толя замечает топанину, пока еще негустую — лисью, песцовую... — видит, что некоторые трупы уже тронуты, их начали грызть и растаскивать. Его схватывает судорога. Он бежит к речке, зажав рот...

— Ну, чё ты? Чё ты? — придерживает его Женька. — Мне дак привычно. Стрельбище... Все в городе делают вид, что стрельбище... А ты не знал?

Толя мотает головой, плещет в лицо ледяную воду, утирается рукавом.

— За что же их?

— За разное... Эти вон — план на лесопилке провалили... может, кто пароход или баржу на мель посадил... За вредительство, словом. Есть за апор... апортунистические разговоры... Папка расстреливать отказался... его кубанка... — Женька тронул свою голову.

— Давай хоть отца похороним?..

— Нельзя. Тут ничего трогать нельзя. Нельзя здесь бывать. Попугают — нам хана!

— Да ты чё? Мы ж... дети...

— Папка говорил, когда идет всенародная борьба с врагами народа и революции — никому пощады быть не может.

Чуть пожурчивает застывающая речушка, напуганно топорщится примороженная трава; мягкий, праздничный снег начинает медленно падать с неба, прикрывая убиенных, в том числе и молодую женщину, в смертельном порыве схватившуюся за красную косынку на горле.

Две маленькие фигурки бредут под тихим, все сгущающимся снегом. Журчит пустынно и покинуто речка. Покорная, широкая тундра уходит под снег.

Среди этого пространства — зябко, настороженно, кучкою разномастных домов жметя к краю земли городишко. Одинокий дом на окраине... Одинокая первая льдинка плывет и кружится по темной, пустынной реке, уходящей в бесконечность...

— А Зинку помнишь? — спрашивает Женька Шорников.

— Я же сказал тебе — старожил...

...Валериан Иванович едва успел обопнутья, снять га-лоши, чтоб не наследить в комнате талым снегом, — на стене длинно и заполошно затрещал телефон.

— Да-да... — Валериан Иванович покивал головой, потер глаза и спросил устало: — из-за чего дрались? — и выкрикнул с раздражением: — ну хорошо, хорошо — из-за кого? — и сник, опустив плечи. — Из-за Зины?..

Повесил трубку на крюк.

Громко и сухо щелкнуло.

— Мод-модо! — гортанно кричал каюр, — мод-модо!..

К детдому с крутым разворотом подкатила оленья упряжка. На нарте были плотно увязаны ремнями корзины, узлы, сундук кованный, корыто. Сбоку лепился каюр с хореом — эвенк в закуржевелем возле лица сокуе, в бакарях.

— Где начальник? Давай начальник!..

К эвенку потянулись ребята, рубившие дрова у сарая. Подошел и Валериан Иванович.

Эвенк высунул темную руку в прорезь между пришитой рукавицей и рукавом, поздоровался и зачмокал губами:

— Беда, начальник! Большой беда, бойе!.. — и стянул с нарты запорошенную снегом оленью шкуру. Под ней, меж узлов, хоронилась девочка-подросток, закутанная в большую черную шаль. Она испуганно глянула на Валериана Ивановича, на ребят... — глазами, в которых стоял крик.

— Ребенок тепло веде, бойе, — сказал эвенк, показывая на дверь.

Валериан Иванович вынул девочку из узлов и на руках понес в дом. Она не сопротивлялась. Только в глазах ее увеличился крик, расширил выдавил зрачки.

— Ну что ты, что ты, детка?.. — прижал к себе девочку Валериан Иванович. — Бояться не надо...

Девочка рыбиной забилась в его руках, вырвалась и побежала по коридору, молча и неуклюже. В раздевалке она залезла в угол и затравленно, слепо уставилась перед собой.

— Не надо трогать ее, — сказал ребятам эвенк, оттирая их собою от девочки. — Играть бегайте, учиться бегайте... — и грустно, почти с мольбой попросил: — бегайте, бойе!..

— Ульяна Трофимовна, — позвал поварику Репнин и показал на девочку, — препоручаю вам...

Девочка глубже запряталась в угол, холодный страх все еще колотил ее. Она не различала лиц, не видела тетю Улю...

Ее глаза наполнял огромный пьяный мужик.

Он тяжело завис над нею, смял ладонью ее кричащий рот и рванул у ворота платице, с треском сдирая его с плеча и со спины...

Все гудело, свистело, плакало...

Выл охотничий пес.

Потом мужик откинулся к стенке, передвинул себя на лавке к столу и круто опрокинул над кружкой захлебывающуюся бутылку.

Другой мужик поскреб пальцами потную шею, облизал губы и стал пьяно рвать пуговицы на штанах.

И опять лицо девочки накрыла черная лапа.

... А потом эти мужики лежали на грязном полу, в луже, связанные по рукам и ногам; в их морды повпивались рыбы кости, они мычали, дергались. Эвенки, плача в голос, схватив мужиков за волосы, неловко били их в пьяные морды, пинали.

В дверь ворвалось белое облако холода.

Вошел милиционер с обмороженными щеками и гаркнул:

— Пр-р-рекрати-ить!

Валериан Иванович молчал, потрясенный рассказом эвенка. Тот чмокал губами, качал головой:

— Какой худой людя живет! Зачем такой людя живет?..

— Да есть ли предел человеческой мерзости?! — вдруг закричал Валериан Иванович, нелепо воздев к потолку сжатые кулаки, качаясь на стуле, хватаясь за стол.

Эвенк от неожиданности попятился к двери. В комнату ворвалась тетя Уля и бросилась к аптечке.

— Господи! — кричал Валериан Иванович. — Господи!.. За что же детей-то? За что-о-о?..

Его косо повело в бок, он уронил стул, сдвинул тумбочку с книгами и грузно начал оседать на пол, но поймался за кровать. Дышал тяжело и хрипло. Тетя Уля капала в стакан капли. Эвенк стучал зубами, шепча заклятья:

— Хэвэки Бэлэкым!.. Харги Наса!.. Хэвэки Бэлэкым...

Тетя Уля увела его на кухню.

Возле печки звенк стянул через голову сокуй, снял шапку из пыжика и оказался небольшим косолапым парнем. Потирая руки, он потянулся к горячему чаю.

— Как живой ты тут, баба?

— Лучше всех живу, — махнула рукой тетя Уля, — да никто не завидует...

Вошел пепельно-серый Валериан Иванович, задержался у косяка.

— Ульяна Трофимовна, — сказал он тихо, — позовите ко мне старших ребят и девочек. — И подошел к звенку. — Простите меня.

— Ничева, бойе, ничева, — сочувственно закивал звенк, попивая чай из блюдца. — Сэрсэ слабый, беда большой... — И, вспомнив о чем-то, натягивая на ходу сокуй, засеменял к выходу.

Вернулся он с тяжелым мешком из-под соли, со стуком поставил его возле печки.

Пришли ребята, среди них Толя Мазов.

— Анатолий... — все так же тихо сказал Валериан Иванович, — и все вы, ребята, слушайте меня внимательно. Среди нас нет более несчастного человека, чем та девочка, которую привезли сегодня. Она будет жить у нас. Пока у Ульяны Трофимовны, потом перейдет в комнату. И если я узнаю какую-нибудь пакость, я... Я не отвечаю за себя... вам понятно?..

Грохотом, сотрясшим кухню, оборвало разговор. Это звенк вывалил на пол из мешка крупных мерзлых чиров.

— Тебе, начальник, — сказал он с нарочитой бойкостью. Подумал и попросил несмело: — жалея девочку, бойе...

Строй подконвойных на лесобирже.

Бугор распределяет людей по работам. Строй распадается. Начальник конвоя тычет пальцем в Светозара Мазова.

— Пойдешь опять кочегарить!.. — И напевает: — «Ты вахту не кончил, не смеешь броса-ать, начальник тобою доволэн...» Ибрагимка-то...

Кочегарка.

Ибрагим сидит возле открытой топки, пламя освещает его лицо, отсветы мечутся по темной утробе помещения.

Ибрагим все так же поет что-то однотонное, будто оса зудит.

— Начальнику привет! — сваливается вниз, гремя ло-

патою, Светозар Мазов и даже пытается спеть: «Ты вахту не кончил...» — а сам просительно смотрит на Ибрагима, ловит его взгляд...

Ибрагим, пошуровав длинным шупом и опять глядя в огонь, говорит:

— Туля Мазов — твой сын.

— О-ой! — Светозар роняет лопату и медленно оседает на дрова. — Ибрагим... ты... ты... это точно?

— Точна, точно... слюшай...

Повторяется сцена на кирпичном заводе, увиденная как бы глазами Ибрагима...

— ...Туля бывает здесь, качигарку... — завершает свой рассказ Ибрагим.

— Как бывает? Когда?

— Ретка бывает... сапсем ретка...

— Ибрагим, я пойду в детдом... Я...

— Нэльзя! — говорит Ибрагим и швыряет в топку несколько крупных поленьев. — Сапсим нэльзя...

— Почему, Ибрагим?..

— Нэужели ты нэ понимаэш?

Светозар, зажав голову руками, кивает, кивает... — понимаю, мол, все понимаю... И вдруг выстывает:

— Ну хоть одним глазком!..

— Канвой хватится, беда. Карсыр тебе...

— Хоть издали... — просит Мазов.

Ибрагим снимает рукавицы... И вдруг резко, со шмяком, бросает их на пол, себе под ноги.

— Заптра!.. — говорит он.

Из детского дома, кто кубарем, кто как, валяются с крыльца ребятишки, барахтаются в снегу, катаются с крыши дома в сугробы, устраивают потасовки, кучу малу. Визг, хохот...

А в дощатом сарае, припав к тесинам, смотрит, смотрит в щель Светозар Мазов.

— Дети! Дети!.. — слышится голос Маргариты Савельевны. — Строиться!.. Мы идем в театр!

— Ур-р-ра-а-а!

— И песню, дети!..

За углом, передавая друг другу бычок, быстро докуривают папиросу ребята постарше...

Угрюмо побрел куда-то Деменков, откинул кого-то с дороги.

— «Все выше, и выше, и выше! — звенит Борька Клиноголова и братва дружно подхватывает: — и вот уж колени видать...»

— Дети! — пугается Маргарита Савельевна.

— «Еще бы немножко повыше, — заливается Борька, и дружный хор рывкает: — открылась бы вся благодать!»

Мазов вытирает ладонью глаза... Стонет...

И опять приникает к щели.

* * *

Валериан Иванович взял со стола директора школы пятак, поставил его на ребро, крутнул щелчком и тут же пристукнул пальцами.

— Чего вы от меня хотите? — спросил он.

— Как чего? Это же безобразие!

— Что — безобразие?

— Драка, вот что! Вы должны сказать этим, своим...

— Сказать, что за подлость не надо бить? Нет, увольте! По моим, временем утвержденным понятиям, за подлость надо бить всегда и всех.

— Н-ну, знаете, Валериан Иванович, — развел руками директор, — рассуждения ваши благородны, но вот сейчас прибегут родители того гаденыша, и что я им скажу?

— То и скажите: гаденыша били за подлость. Это, может быть, непедагогично, но я, как известно, не педагог.

— Да бросьте вы эту вечную свою песню! Я — педагог, директор, а вон — шишка на черепе: ваши огрели ведром... — Он прижал к голове пятак и уже мирно буркнул: — кормите их здорово, вот они и звереют. Так что же я должен сказать родителям?

— Не знаю. Меня занимает другое: что я стану делать с Зиной? У нас есть... почти бандиты, и те оказались деликатней ваших учеников. Она вот школу возьмет и бросит. Что делать? Переводить в другую? На отшибе от наших ей еще хуже будет. Здесь оставлять? А если еще сыщется такой же? Что делать, спрашиваю я вас? Дома — кража... — Валериан Иванович потянул за цепочку и вынул из нагрудного кармана часы. — Мне нужно идти в милицию за детьми кассирши, расписку писать... — он вытер платком потный лоб и, сбавив тон, рассудительно добавил: — Ничего! Славно проучили гаденыша. Запомнит!..

— Э-э! — махнул рукой директор. — Я ему — стрижено, а он — брито. Я ему — брито, а он... Нельзя же так в самом-то деле! Вы хоть поговорите с ними, взгрейте...

— Разрешите откланяться? — Валериан Иванович поднялся со стула.

— Кланяйтесь... — директор потер пятаком шишку на голове. — Логика у вас какая-то... — он поискал сравнение и отмахнулся: — А никакой логики! Неразбериха! Анархизм педагогический... Всего доброго!

Оставшись один, директор щелкнул пятак вверх, хапнул его в кулак, подумал, загадывая: орел или решка? Разжал пальцы. Поморщился...

В четвертой комнате веселились.

Дружно, не стовариваясь, ребята разделились на голоса и подголоски и «взухивали» песню:

— На полочке лежа-а-ал чемоданчик,
На полочке лежа-а-ал чемоданчик,
На полочке лежа...
На полочке стоя...
На полочке стоя-а-ал чемода-а-анчик!

Валериан Иванович приоткрыл дверь и незаметно вошел в комнату. Тугой волной ударило в него запахом водки и табака, резануло так, что хоть нос зажимай.

Запевал Борька Клин-голова:

— Гражданка, уберите чемода-а-анчик!
— Гражданка, уберите чемода-а-анчик!
— Гражданка, уברי...
— Гражданка, чемода...
— Гражданка, уберите чемода-а-анчик!

Пели здорово. Паралитик, раскачиваясь, дирижировал костылем.

— А то я его вы-ыброшу в око-ошко!
— А то я его вы-ыброшу в око-ошко!
— А то я его вы...
— А то я его бро...
— А то я его вы-ыброшу в око-ошко!

— Где вы взяли деньги на водку? — громко спросил Валериан Иванович, вклинившись в песню. Хор недовольно смолк. Один Малышок, увлекшись, тихонько повторял: «А я его вы... А я его бро...»

Сунув костыль под мышку, Паралитик прошелся по комнате и весело подмигнул компании:

— Деньги-то? На водку-то? Шли, шли, шли — и кошелек нашли!..

— Пофартило! — восторженно поддакнул Попик и обвел ребят хмельным взглядом. — Купил, нашел, едва ушел!.. Хотел отдать, да не могли догнать!

Сдержанный смешок прокатился по комнате. Паралитик философски закатил глаза, собираясь пуститься в рассуждения, но Борька Клин-голова опередил его:

— Робятё, робятё, где вы деньги беретё? Вы, наверно, ребятё, по карманам шаритё?

Чувствовалось, что ребята с тайной радостью ждут скандала. Но Валериан Иванович не доставил им этой радости.

— Если я еще хоть раз замечу в доме пьяных, ты будешь в три шеи вытурен отсюда! — бесцеремонно объявил он Паралитику. — Ясно?

— А почему я? — изумился Паралитик, нагоняя на себя возмущение.

Но Валериан Иванович не слушал его.

— Попов! — сказал он Попику. — Отправляйся колоть дрова! И ты, артист, тоже! — указал он на Борьку. — Остальным прибраться, проветрить... — он подошел к окну и открыл форточку. — Мазов! Зайди ко мне, нужен...

Веселье было разрушено. Вслед Валериану Ивановичу Паралитик с вызовом пролаял:

— Гад я буду, не забуду этот паровоз!.. Тот, который чи-чи-чи-чи... чимодан увез!..

Валериан Иванович вернулся, недобро глянул на Паралитика, развалившегося на кровати, и вдруг рывкнул:

— Вста-а-ать!

Паралитик, стукнув костылем, подпрыгнул и, повинуясь жесту заведующего, мелко-мелко зачастил костылем, и только в коридоре опаматовался:

— Раскома-андовался!.. Шибко испугались!.. Ко-онт-ра!.. — и побрел к бильярду.

А Валериан Иванович зашел к поварихе.

— Ульяна Трофимовна, сейчас к вам придут два пельника, заставьте их колоть дрова до самого вечера. Те листовые чурки, которые с прошлого года валяются. И чтоб не отлынивали!

— У меня не больно отлынят, — заверила его тетя Уля. — Ишь ведь сопляки! Выпили на грош — на рушь ломаются!

— Вы об этом особенно не шумите...

— Да чего шуметь-то? Весь дом знает. Затаились и ждут потехи. В старое время — вожжами бы их!

Валериан Иванович открыл кастрюлю с компотом, поскреб в ней половником, набирая побольше урюка, и перелил компот в два стакана.

— Анатолий! — позвал он Мазова, который собрался было сгонять с Паралитиком партию на бильярде: растопыренными пальцами сгонял шары в угольник. — Я, кажется, просил тебя зайти!

Толя разогнал по столу шары, они застучали, падая на пол через широкие лузы, и нехотя, руки в брюки, побрел к Валериану Ивановичу.

— Проходи! — Репнин осторожно, чтобы не расплескать компот, локтем открыл перед Толей дверь своей комнаты, и Толя увидел в ней двух детей — мальчика и девочку, сидящих рядышком на стульях. Девочка болтала ногами в больших растоптанных валенках и крошила зубами печенинку. Мальчик держал печенье в руке, и оно размякло в отпотевшей ладони.

— Вот... — Валериан Иванович встал рядом с детьми. — Аркадий... Наталья... Это дети той женщины, кассирши, у которой вы украли деньги на пропой...

Аркашка удивленно посмотрел на Репнина, перевел взгляд на Толю, и лицо его вспыхнуло. Он опустил глаза, а сестра его все так же беззаботно болтала ногами и доедала печенинку.

Толя стоял, как на суде, — руки по швам. Валериан Иванович был туча тучей.

— Дети временно будут жить у нас, — жестко и медленно сказал он, давая время уяснить смысл его слов. — М-да... Поживут до тех пор, пока не сыщутся деньги. — И уже совершенно буднично, деловито заключил: — они еще очень малы, им нужен присмотр, ты будешь им за шефа.

— В-вы! — захлебнулся от разом вспыхнувшей ярости Толя. — Ну вы и... смеетесь, да? — Толя выскочил из комнаты, свирепо саданув дверь.

В коридоре он налетел на Борьку; уже одетый и подпоясанный, с топором в руке, тот шел к выходу и подпывал свою неразлучную «жошку». Толя поймал ее и пнул так, что она ударилась в потолок и упала на бильярдный стол. Тут же он дал пинка подвернувшемуся мальчишке, тот горестно загундосил:

— Я Маргарите Савельевне скажу-у...

Толя выскочил на крыльцо.

— Изнежились, заразы! — ругнулся он сквозь зубы. — Тронуть нельзя!..

Вечерело.

Солнце затуманилось у горизонта, поубавило свету. Возле проруби, на скользкой дороге стояла санная водовозка. Кряжистый мужичок привычно махал ведерным черпаком, плеская воду в бочку.

Толю знобило.

Он смотрел на холодную воду, стекающую с ведра, на угрюмую, рыжую, силло дышащую лошаденку, и его тянуло на кашель.

Прошли по льду подконвойные эски, усталые, молчаливые.

Среди эзков — мужик в подпоясанном полушубке, коренастый, сильный, идущий чуть отдельно от строя. Взгляды Толи и мужика перекрестилась и Толя радостно прошептал:

— Дя-аденька! Живой!..

...По реке тянется караван. Его хлещет штормовым ветром. Караван пытается укрыться за мыс, в протоку. Тревожно и часто басит теплоход, дымя натужным черным дымом. Причальные пароходики «Москва» и «Молоков», пыхтя паром, пытаются отжать от каменного мыса навалившуюся на него баржу.

За мысом, в затишье, ребяташки с удочками — таскают рыбешку; малыши гоняются за прыгающими рыбками, катаются по камешнику, визжат радостно. А над ними, на верхотуре мыса, желто-красные баки с горючими материалами и большие плакаты: «Не курить!», «Не бросать окурков!», «Бойся врага-поджигателя!», «Враг не дремлет!»

Тяжелую, пузатую баржу наваливает, наваливает на камень мыса. Вот она затрещала, накренилась, хрустнула брусьями. Шкипер начал сбрасывать манатки в воду, и туда же, вместе с винтовками, начали прыгать охранники. В переломанную баржу хлынула вода и в ней забарахтались, закричали люди. Навстречу потоку устремились, отгалкивая друг дружку, мужчины и среди них Светозар Мазов. Он кого-то тащит за ворот к прорану в барже. Баржа еще раз хрустнула, переломилась. Заплавали мешки, смыло в воду круги, лодку, дрова, деревянный туалет. За все за это хватались утопающие, навалились на лодку. Лодка опрокинулась, накрыла людей.

Двое, держась за брус, гребут к берегу. Там, на мели, уже барахтаются люди, скребутся от воды подальше.

Детдомовские и городские ребятишки помогают людям...

— Назад!.. Сто-ой!.. Назад!..

С кручи с винтовками наперевес катятся два мужика и баба с наганом — охранники склада горючего.

— Кому сказано — назад! — орет баба и начинает панически палить из нагана.

— Нельзя! Назад!.. Здесь горючее!.. Нефтеба-а-аза-а! — вопит стрелок и, вскинув винтовку, стреляет.

Поднявшийся уж было из воды крупный мужик падает. Мимо него и через него лезут обезумевшие люди. И шумит, грохочет вода, выкидывая на берег мешки, бочки, ломает лодку в щель, хрустит досками туалет, — и крики, крики. Волна катает, бьет подстреленного человека и из него облаком вымывает кровь, окрашивая песочный приплеск.

— А-а-а!.. — косорото закричал Малышок и закатился в припадке.

— Господи! Господи!.. Да есть ли ты?.. — орет Светозар Мазов. На сером гайтане треплется, бьется об его могучую грудь оловянный крест. И в эту же грудь тычет наганом баба:

— Ни шагу! Нефтебаза!.. Спалите!.. Контра! Вражья сила!

И вдруг, схватив наган, Светозар вывернул его из бабьей руки и им же плашмя ударил бабу.

— А-а-а! — взревела баба. — Соппротивление! Вооруженно!.. И затрещали выстрелы.

Светозар Мазов попятился, выронил наган и спиной опрокинулся на камни.

Но в это время мокрый, черный, размахивая на «вохру» костью, двинулся вперед Паралитик. Завопил истошно:

— Стреляй, сука! Стр-р-реляй!.. — и рванул на груди рубашонку.

И все ребятишки, большие и малые, детдомовские и городские, и среди них Маруська Черепанова, сомкнуто поперли на «вохру».

— Стреляйте!.. Стреляйте!..

И «вохра» попятилась перед осатаневшими ребятишками, трусливо и бестолково стала тыкать винтовки туда-

сюда. Прикрытые ребятами, плыли, барахтались, лезли на камни обезумевшие люди.

Сверху мыса, паля из нагана, бежал Ступинский, за ним патрули с винтовками.

— Пр-р-рекратить стрелять!..

Вдали угромом, часто, коротко, как с того света, басил, надрывался теплоход.

И бесновался ветер, и по волнам бросало переломанную баржу, и из нутра ее все вымывало мешки, людей, бочки, деревянную парашу... На дощатых нарах, прижав к себе ребенка, плыла молодая баба, повторяя:

— Господи, спаси и помилуй!.. Заступница, Мать, Пресвятая Богородица!.. Смилуйся!..

Толя побрел к лесозаводу. Зашел под арку. Долго стоял, наблюдая, как взлетает и опускается пилорама, распарывающая бревна, подъезжающие к ней на транспортере, как доится в несколько струй бревно и растет внизу сдобная, желтая груда опилок...

Во дворе лесобиржи сбивался строй. От пилорам, от штабелей и лесотасок брели люди. Из кочегарки вышел, отряхивая с брюк опилки, Светозар Мазов. Только вышел строй за ворота, как Толя сбежал вниз по трапу, даже на заднице проехался, и нырнул во чрево кочегарки.

— Привет солнечному Капкасу!

— А-а, Туля! — улыбнулся Ибрагим. — Как живешь, дарагуй?

— Здравствуй, дядя Ибрагим! — сказал Толя и стянул с головы шапку.

— Садысь кату. У миня здесь Капкас! Кушить хочишь? Хлеб есть, сахар есть... — он громыхнул створками железного шкафчика. — Вот! Куший. Кипяток берем. Павар-р-рачивам эта гайка, и вада гар-р-рачий — пажалста!

Ибрагим подал Толе дышашую паром кружку. Толя поставил ее на колено, подложив под доньшко шапку.

— Ты шту улыбаешься? — спросил Ибрагим. — Веселый сон видел? Сладкий праник кушил?

— Я арестантиков видел... И среди них дяденьку из тех, что на нефтебазе... живой остался.

— А-а... Балшой дяденька? Палушубке?

— Ага. Ты как догадался?

— Дагадливый патамушта. Ты куший, куший! Што редка ходишь? Я тебя тоскую.

— А еще по ком? — подмигнул Толя.

— Ишшо про Капкас.

— Кавка-аз... мы по географии проходили.

— Шту география? Шту география? — задумчиво протянул Ибрагим и уставился в топку, на бушующий огонь. — Шту можит знат география про Капкас? Ты куший, куший...

— А это верно, дядя Ибрагим, будто на Кавказе все ходят с кинжалами и режут кого попадая?

Ибрагим ответил не сразу, постоял, подгреб лопатой сор к котлу.

На Капказ есть закон: — без нужды кынжал не вынимай, без чести не вкладывай.

Делает завалку дров, снимает рукавички, пьет из чайника.

— Капказ, Туля, как и везде, кто режит, кто землю пашит, кукурузу убираит, овцы пасет. У меня кынжал нэ был, суравна сказали — резал, и одному брат — одну сторону, меня, отсы, мать — другу сторону... Ты сказал — нефтебаза. Кто там резыл? Чем резыл? Несчастный ссыльный танул, а их из бинтопка. Психа! Ты куший, куший... Я тебе серсем привет даю... — Ибрагим приложил руки к груди, но тут же смешался. — У меня весела — огонь! Много огонь, правда?

— Правда. На огонь глядишь — и думать хочется...

— Да, Туля, думат. Я многа думую. Капкас думую, отсы, мать... Ты о чем?

— Я... — Толя закусил губу и уставился на огонь.

Огонь трещал, пожирая толстые поленья, хрипло дышала тяга, валил и свистел пар из кранов котлов, пульсировала красная стрелка на приборе давления.

* * *

...Снова строй. Снова та же утомленная колонна с хрустом под ногами, с кашлем, хрипом, лаем собак и бодрыми криками:

— А-а, поторопись!.. Производство горит! Пятилетку — в четыре года! Обгоним капиталиста! Он в штиблетах, мы в валенках...

В кочегарке на дровах ссутулились, тяжело молчат Валериан Иванович и Светозар Мазов. Ибрагим по-осиному ноет, изредка подкачивает воду за деревянную ручку, смотрит на прибор.

— Предчувствие вас не обмануло... не обмануло, Светозар Яковлевич. Но я прошу вас, настаиваю, никогда больше не напоминать о себе... Так будет лучше. Никогда. Ради вашего же сына. Вы меня поняли?

Светозар Мазов ниже и ниже клонит голову, беспрестанно, припадочно ее дергая.

— За что? За что нас?... — он сдергивает с головы шапку и закрывает ею лицо. — В чем мы виноваты? В чем?..

Валериан Иванович кладет тяжелую пухлую руку на плечо Мазова:

— Мужайтесь, Светозар Яковлевич. Мужайтесь и дейтесь...

— В люк! Быстр-ра! — командует Ибрагим. — Час комендантской проверки.

И Валериан Иванович неуклюже карабкается вверх по покатоному дощатому желобу. Из-под его ног плывут, разрыхляясь, опилки впережку со снегом...

И все так же, закрывшись шапкой, горбится на дровах Светозар Мазов, качаясь из стороны в сторону и тихо воя.

...Ибрагим стоял с открытым ртом — ровно бы захлебнулся дымом. И вдруг стукнул об пол лопатой и затопал ногами, заметался по кочегарке.

— Ах, разбуйнык! Бэз кынжал рэзал человека!.. Дети где? Тебе шту директор говорил? Деньги отдайте милысю. Отдайте жизн таму женщина... — Ибрагим воздел руки к небу. — Мало им слез? Мало им горя?..

Ибрагим очнулся, стал швырять в печь дрова.

— Ты забыл? Кирпичный завод забыл? Дети малые... Старики... Цынга! Слезы! Горе... как дед твой?.. Сапсем все забыл? — Ибрагим умолк, отвернулся и с трудом молвил: — Беги! Дамой беги! Голова не теряй! — он сердито нахлобучил шапку на голову Толи. — Беги!

Толя выскочил из кочегарки.

Детдом уже спал.

Толя осторожно пробрался в свою комнату. Ему почудилось, что в ней стало как будто теснее. Он осмотрелся и обнаружил рядом со своей кроватью еще кровать. Подошел ближе. На кровати под одним одеялом лежали мальчик и девочка.

Светила луна, тускло обозначая переплеты рам, спинки кроватей, и отгоняя тьму от лиц спящих.

Толя приподнял одеяло, пощупал простыню под ребятишками — мокра под ними не было — не успела братва подлить в постель чаю.

— Чего тебе? — грозно спросил мальчишка, поднимая голову и загораживая собою сестренку. Значит, он еще не спал и спать, видимо, не собирался.

— Ничего. Спи давай. Все спят, и ты спи, не бойся.

— А я и не боюсь.

— Тебя как звать?

— Аркашкой.

— А-а, да... Валериан Иванович ведь говорил. А меня Толькой зовут. Спи давай. И не бойся...

Мальчик затих. По окну шуршало, подрагивали рамы. Начиналась пурга.

Толя стал раздеваться.

Женька Шорников простонал во сне, бормотнул что-то, как косач на току, поднялся и, держась за кровать, не открывая глаз, нащупал ногами валенки и зашлепал к двери.

— Вы зачем украли у мамы деньги? — опять приподнялся мальчишка.

— Н-ну, ты! — прошипел на него Толя.

За окном все шорохтело, подвывало, посвистывало...

Обжигая босые ноги об холодный пол, Толя просеменил к кровати Малышка и прикоснулся к его руке. Малышок спал, улыбаясь узкой прорезью рта. Рука его была спокойна.

Возвратился Женька, юркнул в постель, скульнул от холода и свернулся, натягивая одеяло на ухо.

Зажав голову руками, сидел Толя на кровати Малышка...

Ему неодолимо хотелось заорать, разбудить всех...

Но орать он не мог, не имел права, а сам по себе никто не просыпался и ни о чем его не спрашивал, не сочувствовал ему.

Толя схватил штаны, стал натягивать их, с досады не попадая ногой в штанину.

— Спят!.. Хоть провались, сдохни... — спят! — С тихим клетотом прохохотал: — Это мне, падле, не спится! Мне больше всех надо!..

Он рывком надел штаны, рубаху, пимы...

И прокрался в коридор.

Никого.

Блестит мытый пол, качаются на нем темные кресты от рам, забыто блестят шарики на бильярде.

Бьется открытая форточка.

Толя приподнялся, закрыл форточку, но все равно слышно было, как воет ветер, скрипит дом, качается лампочка над входом. Одинок дом в ночи, холоден и бездушен.

Где-то тихо мяукнула кошка. Толя на слух определил дверь — где? В девичьей комнате. Фыркнул:

— Спят, задрыги!.. — и приоткрыл дверь на малую щелочку. — Кыс-кыс-кыс!..

Он хотел погладить кошку, пошептаться с нею, но кошка в детдоме пуганая, прыжком ушла на кухню, откуда доносился стук алюминиевых мисок: не спалось, видно, тете Уле, а сидеть без дела она не умела.

Надо идти.

Толя на цыпочках прокрался в раздевалку — лестница на чердак была здесь, за рядами вешалок.

Он приподнял крышку и проскользнул в темную, дышащую холодом дыру. Зажег спичку, но ее тут же погасил сквозняк.

Перешагивая через балки и разную рухлядь, скопившуюся на чердаке, почти на ощупь, Толя подобрался к знакомой трубе. Опять зажег спичку и засек нужный ему кирпич. Ощупал его пальцами...

Но прежде чем вынуть этот кирпич и достать деньги, Толя присел на холодную слегу возле слухового окна и задумался, сторбился...

Долго сидел.

Перестало свистеть и колотить досками. Сквозь оседающие тучи стало видно край льдистого неба. С северной стороны оно замерцало, ожило, высветилось, как киноэкран, лучистым нервным светом очертило дальний, холодный и скрытный, как сон, горизонт.

Но даже северное сияние не было Толе в радость.

Он поднялся, вынул кирпич, опустил его к ногам и вытянул за бечевку сверток. Стряхнул с него пыль и сажу, засунул за пазуху. Кирпич вставил на место. Сам отряхнулся, постоял, успокаиваясь.

Прошмыгнул в уборную и при свете мерклой лампочки стал считать деньги.

Пересчитал. Еще раз пересчитал... И уронил руки: быстро же разлетелись денежки!

В уборной у Толи была своя заначка — под плитингом, в углу, где хранились причиндалы уборщицы и стоял ящик с хлоркой. Он отогнул плитинг и сунул под него сверток. Плитинг, спружинив, щелкнул; Толя стукнул по нему ногой, подгрел в угол комья серой хлорки и придвинул ящик.

В дверь уборной торкнулись и постучали. Толя быстро расстегнул штаны и, придерживая их, откинул крючок. За дверью стоял Валериан Иванович.

— Ты чего, Анатолий? Закрываешься... ночь ведь... — внимательно всматриваясь в лицо Толи, спросил он.

— Живот... что-то... — Толя отвел глаза, но тут же скорчился, заспешил к очку.

Решник притворил дверь и ушел к себе.

Толя затянул ремешок и на цыпочках прокрался в умывальник.

Все он делал как-то автоматически, точно, строго. Стараясь не брнчать увесистым соском, с мылом вымыл руки.

Тетя Уля все еще возилась на кухне, курила и кашляла. Через оконце, ведущее к мойке, она заметила Толю. И он ее заметил, остановился и вдруг сказал, глядя на дымящую папиросу:

— Дайте покурить...

— Я вот тебе дам! Так дам, что своих не узнаешь!..

— Пожалуйста, тетя Уля...

Повариха пригляделась к нему, за подол рубахи ввернула его к себе на кухню, двинула ногой табуретку и достала из кармана фартука пачку дешевеньких папирос.

— На! Кури!.. Скорее сдохнешь! — ругалась она приглушенным голосом. — Знали бы да ведали отец да мать-покойница, по какой ты дорожке пойдешь!.. Последние крошки ему отдавали, лелеяли его... выкормили, вырастили, сукина сына!..

Толя курил и горбился, как старик, возле поддувала плиты. От табака во рту сделалось горько, кружило голову и подташнивало, но он не бросал папиросу и не уходил из кухни. Ему очень хотелось слушать и слушать ругань тети Ули, и хорошо бы еще, чтоб стукнула она его чем-нибудь по башке, так стукнула, чтоб вылетела боль из этой чутунно-тяжелой башки.

В школе была большая перемена — как всегда шумная, пыльная, с чехардой, с чичером, беготней. Попик даже вверх ногами, на руках, ходил по коридору.

Ребята с гвалтом наседали на буфет, расхватывали бутерброды с раскисшим омулем.

В раздевалке играли в «орлянку», расплачивались «горячими» — слюнявили пальцы и били ими по кистевому суставу проигравшего.

Зина Кондакова переплетала ослабевшую косу и задумчиво повторяла: «Есть в осени первоначальной... короткая, но дивная пора... Весь день стоит как бы хрустальный... И лучезарны вечера...».

Химик по кличке Изжога вел в учительскую несчастного курильщика и повторял со сладострастием:

— Окурочек не бросать, не броса-ать!..

Курильщик и не бросал, он его в горсти таил и за спиной Изжоги успевал дернуть раз-другой.

Зыркала острыми глазками любопытная Маруся Черепанова, чуяла в воздухе что-то таинственное.

— Дэр фрюлинг, дэр фрюлинг, трим-трам, тара-ра-рам!.. — Женька Шорников спустился со второго этажа и юркнул под лестницу, в закуток, где недавно били «гаденыша». — Чего звал?

Толя стоял в полутьме возле старых, еще новогодних и мартовских лозунгов, линиялых и драных.

— Дело есть, — сказал он сухо. — Где бельмастый? Клин? Глобус? Батурка?.. Малышка не надо.

— Сейчас придут... — Женька заметил Маруську, гаркнул свирепо: — Цыть! Кончай вынюхивать!.. — и опять запел: — Дэр фрюлинг, дэр фрюлинг... немку сейчас доконали! — сообщил он Толе. Пришпилили стипок на спинку стула и дуем по-наглому. Хорошо дело шло. Но эта цыпочка — Нэлли Цехина... И до звонка-то ноль целых, хрен десятых осталось... А она... тоже не выучила! Ну, отличница, мухлевать не умеет!.. тык, мык... фрю... хрю... Немка говорит: «Вы почему все время смотрите на мой сад? Что у меня там — стих?» — Сказала и догадалась! Ну, зарыдала... И всем — «зэр шлехт»... — Женька выглянул в коридор, поискал глазами ребят и вернулся под лестницу. — А на литературе тоже хай был, из-за «Му-му». Я говорю: «Зря Герасим по сопатке барыне не съездил», — а учителька... — Женька затормозил рассказ.

Подошли ребята.

— Кто проболтается — зубы выбью! — сказал Толя без всяких предисловий и мрачно помолчал. — Я перепрятал деньги из трубы... — и, подождав, пока дойдет до

ребят эта новость, продолжил: — осталось триста восемьдесят рублей. Надо восемьсот. Покумекайте, где взять остальные? И не трепаться — еще раз говорю!

Женька захлопал глазами, Мишка-бельмастый очнулся от постоянного полусна, Глобус башку свою поцарапал, Малышок (он все-таки пришел) попытался убрать с лица улыбку.

— Тебя зарежут, Толька! — произнес обреченно Женька Шорников. — Против Паралитика, да? Против Деменкова? Лучше отнести деньги обратно. Отнеси, ну их...

— А ребяташки? Аркашка с Наташкой?

Задумались ребята. Натужливо сомкнул расплзающиеся губы Малышок; Мишка-бельмастый поутрюмел еще больше; Сашка Батурин в забывчивости заиграл было ногтями на зубах, но тут же спохватился.

— Так чего? — обратился Толя к Мишке-бельмастому.

— Не знаю — чего... — отозвался Мишка. — Надо их домой... ребяташек...

— Я Деменкова боюсь, — признался Малышок. — И Паралитика боюсь. Они чего захотят, то и сделают.

— Ну, ты! — вспыхнул Толя и, скривив рот, передразнил: — «Захотят, захотят...». Завеньгал!

Малышок прикрылся ладонью.

Стараясь поправить неловкость. Толя потряс его за плечо и сказал бодро:

— Нас-то — целый дом!

— Толька, ты не злись, ладно? — просительно заговорил Глобус. — Я, может, неправильно скажу... Но надо отнести остаток в милицию, чтоб кассиршу выпустили. А остальные потом. Может, возьмем где...

— Где? — спросил Толя жестко, отменяя тоном своим и взглядом всякие «может» и «как-нибудь». — Я спрашиваю — где?

— Я хотел, как лучше. Мне тоже жалко...

Вдали задребезжал звонок, коридоры стали пустеть.

— На урок надо, — подал голос Женька. — У нас химия...

— Мне тоже надо! — грубо обрезал Толя. — Я тоже учащийся, должен вам заметить...

— Изжога в класс пошел... — Женька аж затанцевал на месте, — напишет, падла, записку Варьянычу.

— Дуйте! — разрешил Толя. — А я в порт пойду, пощу, где подработать. Но вы тоже — шевелите мозгами!

Изжога доставал из шкафа и выставлял на стол химические препараты, пробирки, колбы.

— Можно, Терентий Афанасьевич? — жалостно спросил Малышок, на щелочку приоткрыв дверь.

Химик выдержал паузу.

— Накурились?

— Не-е... хоть понюхайте... дыхнуть?

— Марш на место! — сказал Изжога и фыркнул: — этого мне еще не хватало — обнюхивать вас!..

В одной из колб он обнаружил жидкость коричневого цвета, удивленно взболтнул ее, осторожно понюхал...

И гневно уставился на класс.

Улицы замело белым снегом.

И крыши замело.

Лишь на взгорках видны были продутые ветром, темные проталины, да над карнизами обломанными клыками висели сосульки.

Возле кухонной двери стояла водовозка. Кряжистый мужичок черпал из бочки и выливал воду в тети Улины ведра. Детдомовские ребятишки вертелись возле коня, заглядывали ему в зубы, гадали:

— Акусит...

— Да не-е.. смирный.

— Игренька... Игренька...

Бойкий парнишка шапкой сбивал сосульки.

Возле дома Толю остановила Маруся Черепанова.

— Толька! У Паралитика ножик! Во-острый!.. — и исчезла, прямо-таки на глазах сгинула, как будто нечистая сила вынырнула из болота и снова в хлябь провалилась, а слова «ножик вострый» оставила.

Дверь перед Толей открыл Паралитик, — отжал ее костылем и подождал, пока Толя обметет голиком снег с катанок.

— Потолкуем!.. — и пошел впереди Толи, дергая усохшей ногой и стуча блямбой на костыле.

Бухнула об дверь гиря, заскрипела ржавая проволока.

В четвертой комнате полно народу. И ни одной девочки. Сунулась, было, Маруся Черепанова, но на нее рыкнули, пенделя дали. Хорошо хоть в пальто была — не больно.

Деменков стоял, прислонясь спиной к печке-голландке, с виду скучный, безразличный ко всему. Его-то первого и отыскал глазами Толя.

Паралитик плотно закрыл створки двери, одну укрепил крючками, а в ручку другой вогнал ножку стула.

— Аркашку и Наташку выпустите! Малы!.. — Толя бросил пальто на койку, толкнул в бок Мишку-бельмастого. — Подвинься! — и добавил, оглядывая ребят: — и вообще, у кого гайка слаба...

— Когда кузнец кует, пусть лягушка лапу не сует! — солидно заметил Борька Клин-голова, теребя свою «жошку».

Толя закинул ногу на ногу.

Детей выпустили. Опять заперли дверь.

— Н-ну-с! — обняв руками колено и чуть покачиваясь, обратился к Паралитику Толя. — Так о чем же мы потолкуем?

Это было неожиданно. Все думали: испугается Толька, начнет пятиться или полезет в драку. И невдомек было ребятам, что все слова Толи и его вальяжность были как раз со страху, и сам он еще не совсем сознавал, что делал.

Костыль застучал от двери и ткнул блямбой в грудь Толи.

— Ты взял деньги?

— Я взял деньги.

— А-а-ах! — как вздох, пронеслось по комнате. И опять все замерло.

— Т-ты з-знаешь, что деньги к-колхозные? — Паралитик надавил костылем. Он начал заикаться — худой признак: напускает на себя бешенство или в самом деле начинает беситься? Вот сейчас и началось самое страшное. Сейчас-то труднее всего удержаться в характере.

Толя удержался.

— Деньги касанули зря! Почти половину — ему! — Толя мотнул головой в сторону Деменкова. — Это колхоз по-вашему? Колхоз?

Паралитик изо всей силы пхнул костылем. В стену влип Толька.

— Деньги на кон, отец дьякон!

Но Толя тоже был не из таковских, тоже имел детдомовский нюх. Он чутко ухватил — гнев Паралитика еще не в полном накале и с ним еще можно «толковать», а там — будь что будет...

Толя коротким ударом отшиб костыль. Паралитик качнулся, боком упал на ребят, сидящих на койке, и съехал на пол. Толя отпнул костыль в сторону.

— Деньги не отдам! На куски режьте — не отдам! —

крикнул он. — Эти деньги — нам забава!.. А ребяташки? Чтоб — как мы?.. Как Гошка?..

Деменков отлепился от печки, прошел по комнате, ногой двинул костыль к Паралитику.

Паралитик поднялся.

— Т-ты, ур-родина!.. — шагнул к нему Толя. — Думаешь, всех поработили?! А вот этого не хочешь? — потряс он рукой ниже пояса.

Паралитик схватил его пальцами за лицо, впился ногтями. И Толя увидел перед собой его мерцающие, как в стылом тумане, глаза с узкими зрачками.

Толя вырвался.

Опять ахнула комната. Раздался треск, звон...

За дверью послышался девчоночий визг, топот.

Паралитик — внизу. Толя затылком бухнул его об пол и нажал костылем на горло:

— В тебе... духу... меньше, чем... в моей... пшику! — цедил он с придыхом. — Да я ж тя... одной рукой!..

— Отпусти калеку задрипанного! — крикнул Женька Шорников, отдирая Толю от Паралитика. — Отпусти! Задушишь!..

Подлетели ребята, расцепили дерущихся.

Деменков стоял у стены, не шевелился. Он только подобрался весь, как перед прыжком, да глаза его освинцовели.

— Нож! — послышалось вдруг.

И Мишка-бельмастый прыжком перегородил путь Паралитику.

— Драться начистую!

Толю держали. Он рвался к Паралитику.

— Да я его... вместе с ножом!.. Пусты! Пусты, говорю! Чувырлы боитесь? Неделка боитесь?!

На нем треснула и снялась рубаха. Он оттолкнул Мишку.

Паралитик выдернул руку с коротким сапожным ножом. Но кто-то выбил костыль и Паралитик опять повалился на бок. Толя сверху нырнул на него и напоролся бы на нож, но кованый ботинок Деменкова прижал к полу сухую желтую руку Паралитика.

— Ш-шя! — послышался грозный окрик. — Чего хай подняли? Начистую так начистую. Но — молча!

И раскатились ребята по комнате.

И сразу стало в ней два лагеря.

У дверей — Деменков, Паралитик, еще два-три немых рыла.

К Толе придвинулись Мишка-бельмастый, Женька Шорников, Глобус, Сашка Батурин.

Попик почему-то сел на тумбочку и по-восточному сложил ноги. И Малышок улыбался в отдалении.

Толя слизывал с губ кровь, глотал ее, забывая сплюнуть, и все поправляя, поправляя волосы, которых не было: стрижен он был, как и все старшие, под «нолевку».

На тонких губах Паралитика дрожали слезы, рубаша на нем тоже была распластана, он пытался заправить ее в штаны.

Дверь трещала, зыбалась — кто-то ломился в комнату.

— Гроши! — протянул властную руку Деменков, и его черные, затяжелевшие глаза закатились под густые брови.

— Н-на! — харкнул кровью Толя.

— Гроши! — повторил Деменков, стряхивая плевок с ладони. Дверь прогибалась, ее взламывали.

— Н-на! — снова харкнул Толя и чуть не попал Деменкову в лицо.

Деменков глухо зарычал, метнулся, сцапал Толю за горло; тот всхрапнул и повалился спиной на тумбочку. Тумбочка упала, и Толя упал. Посыпались на пол книжки, чернила, карандаш, ручка.

Уже задыхаясь, хрипя, Толя крутнулся, нащупал ручку с пером «Союз» и воткнул ее во что-то мягкое — раз, другой!..

Деменков вскрикнул, разжал каменные пальцы:

— Начистую, с-сука! Начистую!..

Толя отскочил за тумбочку и передавленным голосом выкрикнул:

— Не будет по-вашему! Не бу...

— Ш-шя! Хохотальник порву!

— Тут тебе не тюрьма!

— Ш-шя!..

Р-раз! — Толя грохнулся через кровать, головой об пол. Взлетел над ним ботинок с подковой. Толя сграбастал этот ботинок, заломил Деменкову ногу — и они покатались по полу. Деменков добирался до Толиного горла, подтягивал его к себе, руки его скользили по телу, мокрому от крови. Толя пинался, грыз его, бил головой.

Возник костыль, мелькнул перед Толиным лицом и опять улетел. Паралитика сбили.

Деменкова ударили сверху увесистым поленом. Он вскочил, слепо бросился на ребят.

— Ребята!.. Откройте, ребята! — кричал за дверью Валериан Иванович.

Но уж никто ничего не слышал.

— Угроблю! Всех угроблю!.. — хрипел Деменков, и от него с разбитыми лицами отлетали ребятишки. Паралитик, разбрызгивая кровь, колотился головой об стену.

В ход пошли железные прутья из кроватей. Кто-то сунул прут Толе в руку, и Толя пошел на Деменкова. Но тот перехватил взмах и они опять покатались по полу.

В это время в комнату ударило холодом и снегом. Это Зина Кондакова вынесла подрамы, влезла в окно, промчалась к двери и вырвала стул из дверной ручки. Вбежал Репнин.

— Ребята, вы что?! Деменков! Мазов!.. Что вы делаете?!

— Пош-ш-шел ты-ы!..

Репнин поймал Деменкова и с неожиданной силой швырнул его из комнаты так, что тот загремел коваными ботинками и грохнулся в коридоре об бильярд.

— Р-разойдись! — с офицерским зыком рявкнул Репнин и стал выкидывать из комнаты ребят.

Толя пытался подняться с пола. Паралитик бился рядом с ним, хватался за стену.

— Косарь! Дайте косарь!.. — дико выл он. — Пор-р-режу-у-у!..

Все население дома столпилось у двери четвертой комнаты.

Малышня, взвинченная дракой, ловила слухи, гадала, заедалась друг на дружку.

— Только зарезали!!

— Да не-е, Глобуса!

— Трепись больше!

— Чё ты? Чё ты?..

— Тыришься, да?

— Получишь, гад буду!..

Толю подняли с пола. Лица его не видать, на голове все склеилось. Он шел, нащупывая впереди себя рукой дорогу, и от тяжелых вздохов и вскрипов во рту у него булькала кровь. Перед ним оторопело и почтительно раступались. Зина Кондакова, Маруська Черепанова и еще две девочки повели Толю в умывальник.

— Что же это такое? Что же это?.. — вздрагивая, твер-

дила Зина. — За что они тебя? Гады! Людоеды! — и умывала его торопливо, неловко. За рукава ей полилась красная вода, и она с отчаянием закричала: — не останавливается! Врача надо! Умрет!..

— М-м-м... Не-е... — мотал головой Толя и, захлебываясь, кашлял. — Кх-м, кх-х-х... м-м-м...

— Это они его за деньги какие-то, — сказала Марусяка Черепанова.

Привели в умывальник и Паралитика. И опять они с яростью бросились друг на друга, и опять их пришлось растаскивать.

Маргарита Савельевна сунула Паралитика под струю воды и стала выговаривать ему, как малому дитяти:

— Как же это вы? Разве так можно? Вы инвалид... Беречься надо...

Возле крыльца черпал пригоршней снег Деменков и жрал его красным-красным ртом.

Марусяка Черепанова вынесла Толе рубаху. Тетя Уля натягивала рубаху на Паралитика.

— Во, супостаты! Во, разбойники!..

Толя стряхнул с рук красную воду, закинул голову, чтобы остановить кровь.

— М-м-м-мы-ы...

В умывальник зашел Валериан Иванович.

— Ну, господа хорошие! Н-ну, гренадеры-воины!.. Вы меня доконаете!..

В четвертой комнате потерянно, ровно во сне, бродил улыбающийся Малышок, подбирая стекла, книжки, карандаши. Девчонки испуганно помогали ему — ставили на место кровати, тумбочки. Выбитое стекло заложили забрызганной кровью подушкой.

— Ульяна Трофимовна, где Деменков? — спросил Репнин повариху.

— А холера его знает? И чего вы его не турнете, бандюгу-каторжанца? Перевоспитать надеетесь?.. Как же!..

— Ульяна Трофимовна, на всякий случай уберите топоры, спрячьте...

— Господи, спаси! — повариха засеменила к подсобке. — Где-ка взялась на нас напасть эта? Жили тихо-мирно, так на тебе!..

В комнату провели Толю. Он виновато улыбался разбитыми толстыми губами, глаза его были полны слез. Тетя Уля покачала головой, провожая его взглядом. Толя при-

лег на кровать, накрылся с головой одеялом, и не шевелился, плакал, видно.

Марусяка принесла еще одно одеяло, набросила на Толю и положила на тумбочку новую наволочку.

— У кастелянши выманила... — важно сообщила она.

— Т-с-с!.. Ш-ш-ш... — зашикали на нее девочки.

Сапожным ножом, отнятым у Паралитика, Женька Шорников кроил фанеру, подгоняя ее под размер выбитого окна.

— Ох, тошно мне, тошно-о-охонько!.. — горестно вздохнула Марусяка Черепанова. — Грехи наши тяжкие... Как жить? — и развела руками, копируя тетю Улю.

И опять мертво светилось: блуждало по комнате сияние. И улыбался Малышок, блуждая в своем таинственном сне.

Толя не спал.

На его хмуро сдвинутые брови опрокидывалась, ломаясь, баржа, падал мертвый дед на холодные доски, доносились крики, стучал, метался костыль, сверкал ножик... Хряск, треск, скрежет — хаос видений и звуков.

Вдруг все отлетело, послышался скрип двери, шорох, тихие шаги по дощатому полу. Непонятная сила заставила разодрать глаза.

Возле кровати, оттененная заоконным светом стояла высокая девочка с мягкой косой, лежащей на белой рубашке. Девочка сжимала рукой разрез рубашки на груди и неотрывно глядела на Толю — воздушная, тихо освещенная. Перед Толей мелькнуло видение — Василиса Прекрасная из кино, добрая Василиса, вся в белом, только почему-то ногами все время перебирает.

Девочка наклонилась и он ощутил ее дыхание. Замершее сердце вдруг колотнулось раз-другой и опять остановилось.

— Толик, ты живой? — спросила девочка и коснулась теплыми губами его щеки, ровно бы для того, чтобы убедиться, живой ли он? Толю опалило жаром и он отозвался быстрым шепотом:

— Живой. Ты чего не спишь?

— Я о тебе беспокоюсь, — призналась девочка и, всхлипнув, отвернулась. — Ты мне как брат... даже может, еще лучше...

Толя потрогал ладонью лицо, прикрыл губы.

— Не переживай... я выдюжу... — и потеснился к стене.

Девочка робко села на край кровати.

— Толик, не сердись на меня. Я вот что скажу: попроси денежки детдомовские у Валериана Ивановича и отдай... ну, туда отдай... — Зина махнула рукой за окно, в сторону города, и рубашка разошлась на ее груди. Она быстро прихватила ее пальцами и заторопилась: — мы все, девочки, решили копить деньги, кому дают на гостинцы, вот... и все отдавать тебе. А ты казенные покроешь... вот. Ты не сердись. Это Маруська Черепанова нам сказала. Ты на нее не сердись?

— Я надаю ей... не погляжу, что она — клоп, — сказал Толя. — А денежки нужны большие. Копить вам придется до старости... — Толя нагнулся с кровати и поглядел на Зинины ноги с поджатыми от холода пальцами. — Простудишь ноги-то. Беги спи.

— Холодно, — согласилась Зина, но не торопилась уходить, и, не зная, о чем еще сказать, начала: — холодно опять стало. Вроде, весна пришла, а вот снова... снова зима вернулась...

Толя погладил ее руку, дескать, можешь не мучиться, не придумывать слова.

— Если тебе ничего не надо, так я пойду... Надень верхнюю рубаху-то... и наволочку, — кивнула она на тумбочку. — Это Маруська принесла...

Толя чуть-чуть сдвинул ее руку и почувствовал, что ее рука вспотела, но сама она вся дрожит.

— Ты чего? — приподнялся он.

Зина не ответила, выпростала пальцы и попятилась к двери, подняв руки и ровно бы загораживаясь ими.

— Нет-нет... я побегу. Я замерзла. Я побегу. Ноги застыли... ноги... — частила она, будто Толя не отпускал ее, удерживал. И она все пятилась, пятилась, голос ее лиял, и зубы постукивали. Еще секунду постояв в проеме двери, она выскользнула неслышной ящеркой и притворила створку.

Толя слышал ее стихающие босые шаги, легкий скрип двери в девчоночьей комнате и даже чуть звякнувшую кровать за стенкой — как раз напротив его кровати, — слышал, хотя понимал, что слышать этого он не мог, стенка все-таки толстая, штукатуренная.

Зина лежала, сжимая себя в кулачок, и ей через стенку тоже слышалась Толина боль. Она вытянула из-под

серого одеяла свою тонкую ладонь и тихо, тепло прислонила ее к стенке...

И какая-то сила потянула навстречу ее руке Толину руку.

Так и замерли две взволнованные руки, будто коснувшись одна другой.

Конец первой серии

ВТОРАЯ СЕРИЯ

Ибрагим шурует кочергой в котле, морщится от жары и с дикой хрипловатостью напевает свою шутивную песню: «Вот мчится тройка, адын лошад, нэ по дороге, по столбам...»

Обернувшись на мерзлые шаги, он взгляделся в полумрак и выпрямился, гневно сверкнув глазами.

— Хту тебя бил, Туля?!

В его голосе слышался кинжальный звон.

— Это ты про ряшку мою? — беспечно отозвался Толя.
— Я об столб ее своротил! Сдохнуть можно!.. Катался на лыжах, с берега на протоку — и бемс об столб!

— Какой столб на протоку? Нэт там столб!

— Да не телеграфный, у лесотаски...

— Зачем катаишь лесотаски? Там лед долбят. Там майна, проруб... апасна! Ух, нэт радители, ремни дра! Кушить хочешь?

— Хочу, дядя Ибрагим.

— Сэйчас! — Ибрагим вытянул из огня кочергу. — Хлеб есть, сахар...

Толя подставил кружку под кран.

— Эт-тот гайка павар-р-рачиваем, и-и-и... «А-а, кала-колчек атарвалса, звени дуга, как хочешь сам...».

— Денги как? — наладив нехитрую еду, спросил Ибрагим, утирая грудь и лицо тряпицей.

Толя подул в кружку.

— Мало денег осталось...

— Ух! — Ибрагим кинул тряпку на вентиль, двинул

притвор котла, тяжелую чугунную дверцу. — Канпет жрали! Папирос курили! Вина, можит, пили?!

— Пили, — Толя склонил голову.

— Вот! — Ибрагим хлопнул рукавицами, будто выстрелил. — Капкас — разбуйнык!.. Ты — разбуйнык! Кынжал нэт, суравна разбуйнык!..

Он распахнул топку и стал бухать в нее дрова так, что в кочегарку шибануло искрами и дымом. Потом попил воды из горла закопченного чайника и, немного успокоившись, сказал:

— У миня дэнги нэт. Послал дэнги. Вернулся Капкас маи брат, дом строит. Я приеду родина — буду жить этом доме. Началник... Ступинский... сказал: хлопотат будит за Акбар Ахмед Оглы Ахмедова... И, — тыкая себя в грудь, — можит, освободят?.. — Ибрагим вздохнул. — Хлеб, сахар — пажалста. Дэнги нэт... — Последние слова он проговорил совсем уж виновато.

— Ладно, дядя Ибрагим, не горюй! Придумаем что-нибудь.

— Ни гаруй! Придумаим! — заворчал Ибрагим и постукал согнутым пальцем по лбу Толи. — Шту хорошего можит придумат такая башка?!

— Дрова возить будем! — бодро отозвался Толя. — В драмтеатр. Там сдуру обрадовались весне — и фукнули все дрова: раздали артистам. Теперь восемнадцать рубликов платят за кубометр. — Толя поднял на Ибрагима глаза. — Нарту бы нам...

— Найдем нарта, — сказал Ибрагим, подумав. — Пила, топор я точу... Ах, Туля, Туля!.. Школа как идет?

— Ничего.

— Ничава — пустая места!

— Хорошо! — Толя встал. — Спасибо, дядя Ибрагим!

— Шту спасиба?! О девочка с малчик думай! — Ибрагим покопался в кармане и достал мятый рубль. — Вот! Больше нэту... Канпет им покупай...

И вернулся к топке.

Толя опять задержался у пилорамы, дождался, пока пилы прорежут бревно и отвалят от него пшеничные ломти горбылей. Любил он этот звенящий шум, струи опилок, шершавые плахи в золотых прожилках... — часами стоял бы и смотрел, не будь так холодно.

Метель раздурелась.

Закрываясь пальтишком от снега, Толя пятился спи-

ной к ветру, пока не заметил цветастую рекламу кино, прибитую гвоздями к углу магазина.

Афишу забросало снегом. Виден был лишь большой печальный глаз да изящная рука в белой манжете, высушенная из-под черного рукава. Толя осторожно обмел рукавицей снег с рекламы и увидел человека со скрипкой. За скрипачом птицей парила женщина в белом платье, длинном и легком. Запрокинув голову, она пела что-то очень веселое, рот ее, полный красивых и ровных зубов, смеялся во всю ширь, глаза были подернуты хмельным забытьем, но в то же время они все видели, эти веселые и лукавые глаза...

Толя плотнее запахнул пальтишко, надвинул шапку до глаз и быстро пошел на улицу Смидовича к просторному и стильному кинотеатру «Коммунар».

Борясь с искушением, он потерялся у кассы, достал рубль, расправил его, разгладил. Потом быстро свернул и засунул глубоко в рукавицу.

Мимо проходили разные люди, отряхивали шапки, воротники, совали контролерше билеты и шагали дальше, туда, где со стены смотрел на них героический Арсен, где в обнимку шли Орлова и Столяров, дико мчались на диких конях басмачи из кинофильма «Тринадцать», тот же Столяров выручал Василису Прекрасную, а матрос Артем грозно спрашивал: «А ну, кто еще хочет Петроград?!»

Но Толя видел лишь скрипача, который даже из-за спины контролерши, из-за мокрых шапок зрителей отыскал печальными глазами мальчишку и звал, прямо-таки притягивал к себе взглядом.

Толя и не заметил, как двинулся к нему навстречу.

— Ты куда, шпана чернорылая?!

Контролерша толкнула мальчишку в грудь. Не ожидавший толчка, Толя поскользнулся на раскатанных валенках и упал.

— Зачем же так-то? — попенял контролерше гражданин в меховых унтах, должно быть, летчик, мимоходом подняв Толю.

— Работать мешают, толкуются тут, прошмыгнуть норовят, — буркнула контролерша, отрывая билет, и уже примирительно обратилась к Толе: — Уходи, уходи. Ишь, морда-то вся в синяках! В кармане небось поймали? Так в народе и шныряете, жулье! — и нажала кнопку за косяком.

Прозвенел звонок. Сердце у Толи торкнулось в грудь,

как в стену, и сжалось. Ему нужно было в кино именно вот сегодня, сейчас!.. Непонятная сила влекла его к скрипачу...

Контролерша вторично нажала кнопку, выглянула за дверь и, не обнаружив зрителей, убрала стул, собираясь уходить.

«Все! — резануло Толю. — Неужели все?!»

И он торопливо, захлебываясь, залепетал:

— Тетечка! Миленькая! Пустите, ради Христа! Я в сторонке сяду, никому не буду мешать... Пустите, тетенька!..

— Без билета?

— Куплю! Вот у меня... рубль! Смотрите!.. Пустите, а? Я... Я всем ребятам скажу, чтоб не бузили в кино, не портили вам кровь.

— Я тебе русским языком сказала?

— Тетенька!..

Сзади раздались торопливые шаги и контролерша рукой отстранила Толю.

Мимо него, в фетровых ботах, пробежала дамочка. За нею шел благодушный, улыбчивый человек — выпил, должно быть, маленько, вот и улыбался. Подав билет, зажатый между двух пальцев, он внезапно спросил у Толи:

— А что, братец, рыжики в Греции растут?

Толя засмутился, прикрыл разбитое лицо рукавицей.

— Не знаю, дяденька артист.

— Ха! А ты откуда меня знаешь, братец?

— Постановку смотрел. Вы Скапена изображали...

— Ха! Да ты памятлив зело, братец!

— Мне в кино охота... — Толя прижал руки к груди.

— Так впустите же молодого человека! — обратился артист к контролерше. — Сделайте его счастливым. Это так легко! — и хлопнул Толю перчаткой по плечу.

— Ну уж, ладно уж, если с вами уж, — заулыбалась контролерша и дала третий звонок.

Толя юркнул впереди артиста в темный зал и присел на первое свободное место с боку ряда, чтобы, упаси Бог, не помешать взрослым.

Экран замерцал, как бы прилаживаясь и нащупывая людей в зале, и озарился музыкой.

Музыка была — как глаза скрипача: зовущая, грустная. В ней не гремели барабаны, не брякали тарелки. В ней пели скрипки, журчала вода, шумел дождь, шел белый снег. Потом музыка завихрилась веселостью и раздольем. Но веселость была такая, что от нее щипало глаза.

Обо всем на свете забыл Толя.

Слишком много теснилось в его душе, спшибалось, болелось, кричало, звало, плакало... — и никто не знал об этом, даже сам Толя не знал, а вот музыкант каким-то чудом догадался и для Толиной души написал музыку. И она крутила перед Толей всю его короткую, мучительную жизнь, приближая к глазам то далекое лицо дяденьки, в которого стреляли при крушении баржи и которого он недавно встретил; то дымчатую даль с плывущей в ней лодкой, и мальчика в лодке, играющего с водою; то дядю Ибрагима, немо поющего песню; то пилу, кроющую бревно; то ледоход на реке и косяки птиц над нею.

Возникло вдруг лицо Зины Кондаковой, взгляд какой-то странный, напуганный. Она словно окно распахнула — и ворвался голос с экрана, и штраусовский нежный вальс все перемешал, и все закружилось: то Зина Кондакова с толстой косой на рубашке, то Милица Корьюс, размахивающая широкополой шляпой... и все выплывала, выплывала лодка, и чья-то сильная рука перебрасывала шест; щелкал шест наконечником о донные камни и наплывал издали молодой мужик с этим шестом и... что за день, что за чертовщина! — похож он был на того дяденьку, которого заслонял собой Толя... И, вытянув перед собой руки, бродил по детдомовскому коридору улыбающийся Малышок, босой, в голубых кальсониках, в просторной белой рубашке, — шел по коридору, выплывал на белое от снега крыльцо, и Толя бежал за ним с пальтишком, и накидывал его на холодные плечи Малышка. А Валериан Иванович нес на руках девочку. Отчаливал, переполненный плачущим людом, гудящий пароход. На нем узлы, сундуки, ошметья, недетский визг, но и не плач.

Не крики несутся с того парохода, а полные чарующего чувства слова и музыка: «О прошлом тоскуя, ты вспомни о нашей весне, о, как вас люблю я, в то утро сказали вы мне...»

Идет драка, поножовщина; ботинок наступает на руку с сапожным ножом, на стену лепится, ползет окровавленный Паралитик. Красная снежная жижа, на ней расстрелянные люди... темный, кашляющий строй зэков, лают собаки... Лодка плывет, плывет... и на ней дяденька — красивый, белозубый... Пляшет дождь рядом с лодкой, взбивая пузыри, плещет в лицо веселому дяденьке, а тот поет экранном голосом: «О-о, как вас любил я...». И молнии, молнии — стрелами вонзаются в густые, гибкие за-

росли дождя, небо рвет в клочья синим огнем. Грохочет так, что белые рыбки-ельцы вылетают из раскрошенной воды и ворохом опадают в лодку и подпрыгивают в ней...

Бодро, под дождь, звучит уже «Турецкий марш» Штрауса.

...И закрутилась пластинка, и запел патефон: «А-ах ты, но-оченька, ночка темная...».

Поздний час. Свет настольной лампы приглушен казенным полотенцем. Валериан Иванович горбатится, сидя на кровати, упершись локтями в колени и склонив глухое ко всему, кроме музыки, ухо к пластинке: «Я-а то-о-от, которому внимала ты в полуночной тишине-е-е...»

Он не замечает Толю, чем-то потрясенного.

— Это правда, что вы — царский офицер?

Брови Валериана Ивановича медленно сходятся к переносице, от которой накапывает на лоб мертвенная бледность.

Патефонная игла съезжает к центру: «Я — враг небес, я — зло природы...»

— Да, я действительно служил в старой армии, — говорит Валериан Иванович и поправляется: — воевал... сначала с немцами, а потом...

— С русскими?

Валериан Иванович сутулится, чмокает вытянутыми губами.

— Не все офицеры вешали и пороли людей шомполами... между ними, как и между прочими людьми... — Он смотрит на Толю издали, но как бы в упор. — Я не воевал с русскими. Вот разве что с вами — воюю... — пробует он пошутить, но шутка выходит какой-то строгой. — Сядь!.. — Он подходит к окну и зашторивает его. — Мне уже задавали этот вопрос... в одном кабинете... Горластый, малообразованный хват. Он часто хватался за револьвер... А я был сравнительно молод, хотел красивой смерти, героизмовал... Я ему сказал то же, что и тебе могу сказать: «Да, я — русский офицер! И горжусь, что служил Отечеству так, как велела мне честь и совесть русского офицера! Между прочим, среди них были Лермонтов, Пржевальский, Раевский, Суворов, Кутузов, Лев Толстой... Когда-нибудь ты разберешься в этом, потом, когда вырастешь... А сейчас — оставь меня, пожалуйста...» — И Валериан Иванович тяжело, как от боли, закрывает глаза.

Наплывают кадры «Большого вальса». Старый Штраус, старая Польшди, старый король... и на всю Венскую площадь, на скопившийся народ, воскресая, наплывает поющая Милица Корьюс:

«О прошлом тоскуя,
Ты вспомни о нашей весне:
— О, как вас люблю я! —
В то утро сказали вы мне!..»

Толя заткнул рукавицей рот и захлебнулся слезами умиления, счастья, горя и радости...

И публика во тьме тоже зашмыгала носами, утиралась платками, шапками, перчатками.

Вспыхнул свет, и зрители двинулись к выходу. Те, что шли поближе к последнему ряду, невольно обращали внимание на мальчишку, сидящего на боковом месте. Он горько плакал, размазывая рукавицей слезы по избитому лицу, темному от синяков.

Артист драмтеатра мимоходом, весело, по-свойски хлопнул мальчика перчаткой по плечу.

— Э-э, молодой человек! Если на заре туманной юности искусительница вбила вас в тоску, то что же будет потом?

Люди кругом заулыбались.

— И чего вы?.. Чего вы... фасоните?! — задушенным голосом крикнул Толя и, расталкивая толпу, выскочил из кинотеатра.

На дворе мело-завивало, свету белого не видеть.

Люди растворились в пурге. Снова стало пустынно. Лишь гуляли по городу тучи снега, окончательно хороня замороженную весну.

На протоке лед. Из него торчат сваи, бревна, щетина древесных отбросов. Китами лежат вымороженные плоты и лодки. Краснеют бакены с пустыми, безглазыми фонарями. Баркасы на берегу опрокинуты кверху дном.

Возле лесотаски дымится вода, тянет из промоин сырым холодом и жутью. Обледенелые бревна нехотя ползут вверх на скрежещущих крючьях, скрипит натужная цепь, и среди темных фигур, с багром в руке — мужик в полушубке.

Толя пошел навстречу ветру, хлещущему в лицо, а в вихре ветра, в тумане снега, в непроглядном небе, прерываясь, то высоко, то низко, все звучит и звучит прекрасный вальс Штрауса.

— Курить не найдется, а? — слышался хриплый, простуженный голос.

И Толя увидел неопределенного возраста, в латаных ватных штанах, в затертом бушлате, в шапке с ушами из крысиных шкурок, мужика. Подбородок у него был прихвачен обледенелым от дыхания, серым полотенцем.

Здесь, в устье протоки, заключенные вымораживали баржи: поддалбливали пешнями лед и забирались под брюхо барж, чтоб проконопатить их, подлатать.

Горели костры. Ветер растаскивал пламя, стелил его по снегу, как красные тряпки, настилал на снегу черные половики сажи. Толкались, потанцовывая вокруг костра толсто и одинаково одетые люди, палкой помешивали смолу в котле. В отдалении, у другого костра, грелись стрелки.

— Хлопец! Курить нету? — повторил свой вопрос мужик и улыбнулся стылými губами. Лицо с помороженной, шелушащейся кожей, плохо умытое, колючее от щетины, усталое и покорное.

— Нету, дяденька.

— Поищи, родимый... может, где в карманах, в швах... пусть хоть с крошками. Один разок бы зобнуть...

Толя снял рукавицы и стал шарить в карманах.

— Нету...

— Ах ты, беда! — сник мужик, но тут же вновь оживился надеждой. — Мы здесь завтра будем работать... И еще... уведи папиросок у папочки!

— Я детдомовский...

— А-а! — потеплел глазами мужик и тон его сразу изменился, сделался родственней. — Ну, свой брат-Кондрат-детдомовец-то достанет!.. Хоть бычков...

— На место! — крикнул один из стрелков, и мужик проворно сиганул к своему костру.

Толя помаячил ему: завтра, мол... и проверил рукавицу: там ли рубль?

Но стрелок и на него прикрикнул:

— Давай, давай отсюда!

Толя отшагнул немного и опять оглянулся. Там, у другого костра, в грубо подшитых валенках, все в том же знакомом полушубке, уже протертом и местами прожженным, подпоясанном расхлестанной на концах холщевинной-опояской, горбилась знакомая фигура, шевеля подошвой валенка головешки, отводя их в сторону от лужи, натаившей во льду.

— Ишь, чё надумали, деяги какие!.. — тетя Уля отмахнула от себя дым, кашлянула утробно и, сдвинув сковородником кружок на плите, бросила в огонь окурков. — По отдельности им кормиться, с отдельных блюдов!.. — Она сорвала крышку с кастрюли и вторглась в нее поварешкой. — Ходют, бродют, а я вертисся тут, жарься!.. Будь мои дети, дала бы я им...

— И тем не ме...

— Березовой каши дала бы!..

— И тем не менее, — выждав, пока пройдет у поварихи запах, вклинил свой голос Валериан Иванович, — я прошу вас кормить их раньше других. Там — дело серьезное... — Валериан Иванович прижал палец к губам.

— Да знаю, знаю! Нарту откуда-то притартали, дерьмом, извиняюсь, полозья намазали — для скольжения! Рабо-отнички! Драть некому!..

На кухне сидела Наташка с большим красным бантом в соломенных волосах, — долбила гирькой косточки из компота, хрустела ядрышками. Она прижилась возле тети Ули и чувствовала себя здесь под надежным крылом. Рядом с нею на столе лежало несколько конфеток — петушков на палочках.

Валериан Иванович подсел к Наташе, взял красного петушка, повертел им.

— Это нам Толя принес, — сказала Наташка.

— Толя? — криво усмехнулся Валериан Иванович. — Какая добрая душа! Чего не сосешь-то?

Девочка потупилась.

— Она Аркашку ждет, братца, — пояснила тетя Уля.

Валериан Иванович пристально посмотрел на Наташку, неуклюже потрепал ее по банту и, шаркая, удалился из кухни...

— Все выше, и выше, и выше!.. И вот уж коленки вида-ать!.. — пел Женька Шорников, удачно сбежавший с уроков.

— Не охальничай! — осадил его тетя Уля. — Дите тут...

Женька смолк и остаток пути в четвертую комнату прошел на осторожных цыпочках, не то придуриваясь, не то в самом деле чего-то испугавшись.

А вокруг бильярда ходил Паралитик, мешал играть малышне. Губы у него спеклись, лицо запало, кости вы-

ступили по лицу, левый глаз был красным от лопнувшего сосуда.

— Гляди, сопля, как мастер игр-р-рат! — и вместо кия бил по шару костью.

Двое мальчишек сидели под бильярдом. Они уже откукарекали свое, но вылезти не решались, да и Паралитик кричал им время от времени:

— Петь!

И приходилось снова драть горло:

— Еще бы немножко повы-ыше, открылась бы вся благодать!

— Хорошо! Еще давай! Про пионерскую дружбу!.. — Паралитик скатил все шары к борту и начал ногтем загонять шары в разбитую лузу.

А под бильярдом тонко вели:

— Близится эра славных годов, клич пионера: «Всегда будь готов!»

Паралитик задирижировал костью и потребовал:

— Громче!

Но тут же чуть не свалился с ног. Это Толя Мазов двинул его плечом:

— А н-ну, хмырь болотный! Выпусти ребятишек!

Ребята сперва на карачках, потом во все лопатки стриганули из-под бильярда. Один герой оглянулся, остановился и погрозил Паралитику кулаком:

— Погоди, гнида! Подростем, последнюю ногу тебе отломим...

Из кухни вышел Валериан Иванович, глянул в их сторону, и парни вмиг стали миролюбивы, даже приветливы друг к другу.

— Слыхал? — поинтересовался Толя у Паралитика. — А пока — цыть с глаз, чувырло, пока я тебя не доделал!

— Кто? — сверкнул красным глазом Паралитик и, покосившись на Валериана Ивановича, улыбнулся.

— Я!..

— Ты?

— Я!

— Отойдем в сторону, шибздик! — прошипел Паралитик, по-блатному пришепетывая. — Толковище будет...

Не заметив ничего опасного, Валериан Иванович скрылся в своей комнате, и тут же Толя саданул Паралитика по плечу:

— Толкови-ище!? Лечиться шел бы!.. — и не спеша двинулся в умывальник.

Ребятишки — следом. Меж ними зашныряла Маруся Черепанова, мелькнуло взволнованное лицо Зины Кондаковой.

— Ты, лягаш! — сказал Паралитик, будто не замечая столпившихся возле двери ребят, но так, чтобы им было слышно. — Перышко по тебе скучает!

— А чё это — перышко-то? — издеваясь, спросил Толя.

— Перышко? — растерялся Паралитик. — Перышко-рондо! — многозначительно сощурился он.

— А-а, — снова с издевкой протянул Толя. — Я рондом не пишу, я — «Союзом»! Погляди Деменкову... Сюда вот! — Толя хлопнул себя по заду.

Ребятня у двери прыснула.

Паралитик аж подпрыгнул на костыле.

— Живешь до парохода, лягаш! Понял? Нас — в исправилку. Мы тебя — к маме. Понял?

— Ты, моща из святой обители! Будешь на ребят тыриться — и до парохода не доживешь! Задаваю! Припухни, как мышь в норке!

— П-п-сых! — покатилаь снова ребятня.

Паралитик оскалился.

Толя стал демонстративно мыть руки, насвистывая: «Клич пионера — «Всегда будь готов!»

Лиственница хрустнула, как костяная, и упала в снег, искрошив черные сучья.

— Зар-раза! — Женька Шорников смерил ее взглядом и устало сел на свежий пень. — Это сколько же мы ее пилили? — и, остужая разгоревшееся нутро, стал жадно хапать ртом снег.

— Да-а!.. — вздохнул Толя. — Ни шиша не умеем! Воровать только... снег не жри! Разогрелся.. Рабо-отнички!.. — Он поднял топор, отхаркнулся в снег и стал сердито обрубать сучья.

Мишка-бельмастый и Глобус взялись за пилу.

Мимо них с лаем и воем промчалась собачья упряжка. Коренниками шли разномастные и беспородные шавки, за ними — крупные лохматые псы. Хозяин благодушно лежал на нарте и ни во что не встревал, курил себе сигарку и пускал дым по ветру.

— Может, собак наловить? — предложил Женька Шорников, завистливым взглядом провожая упряжку.

У баржи орудовали пешнями люди. Продолбленная ими

майна курилась студеным парком. По обе ее стороны лежали горы синего толстого льда.

Возле котла со смолой никого не было, и костер под ним уже сник, подернулся пеплом. Но стрелки сидели возле своего огня, в полглаза смотрели, в полуха слушали — они знали, что никто от них не убежит: некуда бежать отсюда.

Травили анекдоты.

— Вернулся, значит, муж из командировки, — говорил молодой стрелок пожилому, — ну, к бабе, значит... расположился. А тут стук в дверь. — Ой, муж! — закричала баба. И этот мужик хват в окошко! Упал в сугроб!.. Посидел, полупил глазами: — Муж?! А я кто?!

Пожилой стрелок заколыхался от смеха.

— Н-ну, кур-рва!.. — и вытер глаза рукавицей.

— Можно к вашему огоньку? — спросил Толя, подтягивая к костру тяжелую нарту. — Погреть косточки...

— Садитесь... — Пожилой стрелок кивнул на бревно. — Умаялись?

— Есть маленько... — Толя достал пачку «Ракеты» и небрежно щелкнул по ней. — Закурите?

Молодой стрелок, с клешнястыми руками, молча потянулся за папиросой, второй, должно быть, старший, потому что у него был наган, упрекнул ребят:

— Молокососы, а туда же!.. — Но папиросу взял.

— Мы не курим, — сказал Толя. — Это мы для форса! Берите, берите, — заметив нерешительность молодого стрелка, заторопился он.

Стрелок поглядел на старшего. Тот поморщился вроде бы от пахнувшего на него дыма и ничего не сказал. Стрелок сунул пачку «Ракеты» в карман полушубка.

В это время к костру подскочил тот, вчерашний, коренастый мужик в затертом бушлате и, преданно глядя на стрелка с кобурой, нарочито бойко спросил, будто отдал рапорт:

— Перекурить разрешите, гражданин начальник!

Стрелок с наганом неторопливо пошевелил валенком головню в костре и нехотя кивнул.

— Пер-р-реку-у-ур! — заблажил на всю протоку зэк и подмигнул Толе: дескать, мы тебя ждем...

— Можно отнести им закурить, гражданин начальник, попросил Толя.

Тот снова пошевелил головню, снова поморщился вроде бы от дыма и лениво разжал губы:

— Один. Остальные — на месте!

И Толя поспешил к барже.

Люди уже грудились вокруг ожившего, подправленного огня, будто заклиная духов, тянули к нему руки. Они не спрашивали насчет курева, деликатно ждали, жадными глазами прошупывая карманы мальчишки. Толя не стал томить курильщиков, скорее вынул табак. Среди зэков, но как бы отдельно, сидел прибранный человек в полушубке.

— Есть махорочка, есть! Курите, пожалуйста! Вот... бумага курительная, во-от...

— Бугру, — шепнул ему на ухо мужик в бушлате и повел глазами на зэка в полушубке.

Толя протянул ему пачку махорки, бумажки пачку, глаза их встретились.

— Дров добавьте в костер, дров!

— Да-да, — разом поддержало несколько голосов. — Пусть корешок погрееется.

Больше эти люди ничем не могли отблагодарить Толю за добро. Он, счастливый тем, что смог им услужить и что среди этих людей ему не так уж страшно, как думалось прежде, возразил:

— Да не надо. Мне тепло... — И осекся, утих, не отрывая взгляда от бугра...

Вперемежку пошло: ломающаяся баржа, волны, дяденька, выворачивающий из руки военной бабы наган... замах, удар... выстрел в него... медленное падение на приплесок...

Курят, кашляют зэки, утирают драными рукавицами и рукавами слезящиеся от дыма глаза. Толя сидит на чурбаке и украдкой поглядывает на бригадира... — что-то еще мерещится ему: лодка на реке, мужик с шестом, молодой, чубатый, совсем не похожий на этого угрюмого, темного лицом человека.

Пошла по кругу жаркая головешка, люди прикуривали от нее, завертывая по второй сигарке.

— Я ж говорил — принесет! — похваливал Толю коренастый, обращаясь к бригадиру и жадно зобая. — Наша кость — подзаборщина! — и хлопнул Толю по коленке.

— Ну, как вы живете-то хоть? — спросил бригадир, теплея взглядом.

— Хорошо живем. Учимся. Ну, учимся — кто как.. ничего в общем...

— С питаньишком-то как?

— Ну как? Кашу дают, и суп, и компот... какао дают.

— Какаву? В детдоме — какаву?!

— А что?

— Заливаешь, парень! Если б какавом кормили, не ездили бы в лес за дровами... — не согласился рябой, в глубоких оспинах заключенный.

— Да мы не себе возим.

— А кому же? Гражданину начальнику? Ступинскому, небось?

— Ступинскому привезут! — отрезал бригадир.

— Дело надо одно провернуть, — промямлил Толя.

К огню сунулся узконосый парень небольшого роста, сильнее других обмороженный, запаршивевший, в издырявленной от огня одежке.

— А это... девчонки-то... как? С вами живут или...

— С нами. С кем же им жить?

Глаза у парня замаслились и он сунулся чуть ли не в самый костер.

— Спите, поди, вместе? Фити-мити, а?

— Вместе? Почему вместе? Мы в отдельных комнатах... — Толю внезапно обожгло стыдом. — Да вы что? — поднялся он от костра. — Мы ж как родные! Мы ж...

— Ушейся! — тихо, но властно сказал парню бригадир и бросил докуренную до пальцев сигарку.

— Да я ж... шуткую... — заюлил узконосый. — Я...

— Ушейся! — повторил бригадир.

Чей-то удар выбил урку из круга. Мелькнули изожженные подошвы валенок с торчащими из запятников санными стельками. Подметая этими стельками снег, парень скрылся за баржей.

Разговор разладился.

Да и стрелки поднялись, заметив непорядок.

Женька Шорников стал сигнальщик: кончай, мол.

— Я пойду, дяденьки, до свидания, — сказал Толя.

— Лучше — прощай, мрачно, с далеко упрятанной горечью сказал мужик в бушлате, надевая рукавицы, затягивая полотенце на шее.

— Держи хвост дудкой! — посоветовал Толе парень с выбитыми передними зубами, с курносом, когда-то, должно быть, озорным лицом.

— Вы... — начал Толя, глядя на бригадира.

— Н-но, вы, любители костра и солнца!.. — направился к ним старший стрелок, — пятилетку в четыре года я за вас буду...

— Дай Бог здоровья! — пробасил бригадир и, глубоко вздохнув, направился к барже.

— Разобрать инструменты! — крикнул он и обернулся к стрелку. — Не надрывайся, начальник, не порти нервов... норму дневную сделаем... — и, глядя вдаль, на удаляющуюся нарту, добавил утрюмо и тихо: — и пятилетку в четыре года сделаем... Но скорее всего — она нас...

— Легкого возу! — сказал он вослед почти уже скрывшимся парнишкам.

И словно услышав его, Толя оглянулся, увидел одинокую фигуру бригадира... И поплыла по реке лодка... и в ней мужик с веслом... и молнии, молнии, и дождь — отвесный, стеной стоящий дождь, раскрошивший все вокруг, и пузыри, пузыри... — лопаются, плывут, вертятся...

Все это немо, беззвучно... И вдруг — словно соединились оборванные провода: Тара-ра-ра-рай-там-пам... Вальс! Вальс Штрауса.

Под звуки его бьют смертным боем урку разъяренные ээки.

Яркая лампа. Она под жеваной жестяной шляпой, покачиваясь, вырывала из сумерек задворки театра: куски сгнивших декораций, кучи золы на снегу, штабеля бревен, темные фигуры людей.

Здесь шла работа. Шабашники рубили «макаронник» — отходы с лесозавода, пилили листовые кряжи на метровые чурки, раскалывали их колунами и клиньями.

Внутри театра взлаивали голоса, а труба пела: «Наш паровоз вперед летит...» — там шел спектакль.

— Вахлаки!.. — как бы продолжая трубный глас, протянул Попик, невесть откуда появившийся возле театра. — Сколько дров кругом, а они горбятя! Э-эх! — Попик решительно перекатил кряж из соседнего штабеля к унылой грудке ребячьих бревнышек. — Так вам до гроба хватит! А тут р-раз — и готово! Что нам стоит, дом построить — только печку заложить! — и покатил другое бревно. — Помоги-ка! — подключил он к работе Женьку Шорникова.

Тяжело дыша, протащилась к театру песья упряжка с нагруженной нарткой, остановилась возле дальних штабелей; хозяин стал развязывать на нарте веревку.

Толя поймал Попика за рукав.

— Ты чего сюда пришел? Кто тебя просил?

— Х-хэ, ухарь какой! Год возить будут, и год твои бед-

ные дети кантоваться будут у нас, да? А маманя ихняя за решеткой страдать, да?

— Тебе какое дело?

— Денежки все тырили, а? Все? — нажал Попик на Толю. — прожирали и пропивали все? Говори!

— Ну, все...

— Тогда ты чего один в патриеты прешь? Я тоже, блин, патриет! И такого, как ты, командира, я знать забыл! — с этими словами Попик подхватил бревешко, катнул его и выпятил глаза на Мишку-бельмастого и Глобуса. — Чего ждете? По щучьему велению — ждете? Ух, блин, народец! Каша в роте мерзнет!..

Была в Попике неотразимая привязчивость, был натиск, и если он что затевал — устоять перед ним было невозможно.

Мишка и Глобус стали резво раскатывать чужой, уже принятый к распиловке штабель.

— Зырь! Если что — свистнешь! — сказал Попик Толе и тем самым тоже вовлек его в общую работу.

— Все! — буркнул Толя. — Бобик сдох! Засышемся!.. — и его потную спину заскреб холодок. Он оттащил нарту в сторону, собрал веревку, мотая ее с кисти на локоть, посмотрел на скрипучую лампочку. Подошел к шабашникам.

Тупо били их колуны, раз за разом отскакивая от мерзлых чурок, но каждым своим тычком углубляя и углубляя скрытый разлом, пока не уставало дерево, не слабело внутри и чуть ли не само собой с треском раздиралось на две половины.

Шатался свет. Качалась лампочка.

Попик привел завхоза — добродушного дядю в новой борчатке и в музыкально поскрипывающих бурках.

— Так где же ваши дрова, молодые люди? — спросил он, доставая рулетку и вытягивая из нее блестящий метр.

— Вот эти! — пнул валенком Попик.

— Значит, эти?.. — завхоз обошел штабель. — Тэ-э-экс!..

— Дровишки — будь здоров! — тараторил Попик. — Будь здоров и не кашляй! Первый сорт! Из лесу, вестимо... отец, слышишь, рубит, а я отвожу... — припомнил он стих.

— Минуточку внимания! — улыбочиво обратился к ребятам завхоз. — Прошу сюда! Всех!

Ребята осторожно подошли. Толя остался в стороне, возле нарты.

Завхоз достал из-за уха карандаш и постучал им по торцу верхнего бревна.

— Прошу прочесть! — сказал он с пафосом. — Какая тут буква?

— Хэ, — сказал Глобус, почесав под шапкой потную голову.

— Прошу взглянуть на нижние бревна! — гнул свою мысль завхоз. — Прочли?

— Ну-у... — уныло пробурчали ребята.

Попик всплеснул руками:

— Ну, «хэ», ну «жэ» — не один ли хрен?! Дровишки из лесу... вестимо... принимай и гони монету!

— Монету? — святым глазом уставился на ребят завхоз. — А что обозначают эти «хэ» и «жэ» — вы поняли? Тэ-экс!.. Ближе к делу: «хэ» — это значит «хреновые работники». Поясню: все шабашники, которые кормятся у театра, уволены с честных советских предприятий за прогулы, нерадение и прочие разгильдяйства. Отсюда и гриф — «хэ». А ваш гриф — «жэ». Вы — детдомовцы, значит, жулики. Дошло?

Первым хватанул от штабеля Попик, за ним Мишка-бельмастый, Женька, Глобус. Толя замешкался: на нарте была пила и топор — бросать нельзя. Он схватил постромки, дернул нарту. Завхоз достал его фетровой буркой — больно достал, с радостью. И еще целился пнуть.

— Чтоб духу вашего... чтоб следочка!.. Ш-шакалы! — кричал он.

Толя нарту не бросил. Его голову начало захлестывать мутной волной, слепое бешенство накатывало пеленой на глаза. Завхоз отдалился, сделался бесплотным, красная раковина его рта шевелилась беззвучно.

— Пни! Еще пни! — цедил Толя сквозь зубы, нащупывая на нарте топор, с ненавистью глядя на завхоза и деля к нему шаг. — Пни, курва! Пни!..

— Но-но-но-но!.. Не очень-то! — завхоз попятился, грозя Толе карандашом, быстро сунул его за ухо. И замелькали его шикарные бурки к служебному входу театра, исчезли в нем.

— Во, блин! Хитрый так хитрый! — возник из-за сугроба Попик. — Во, нарвались!..

— Заткнись! — замахнулся Толя. Его трясло.

— Чё ты? Чё ты? — попятился Попик. — Бешеный! Я ж помочь хотел! Э-эх, блин... — простонал он, — надо ж было лампочки сперва кокнуть, а потом уж ферта этого звать! Не попухли бы...

— Заткнись, тебе говорят! — еще пуще озлился Толя. — Пока я тебе сопатку не расквасил! — и впрягся в постромки, будто нарочно опутал себя веревкой, чтоб не яриться...

— У сопатки хозяин есть! — вяло огрызнулся Попик.

Больше он не тараторил, не похохатывал, а о чем-то сердито думал.

— Будьте готовы! — выкрикивал звонкий голос в красном уголке детдома.

И ему отвечали нестройным хором:

— Всегда готовы!..

— Дружнее, дружнее!.. Еще раз! В борьбе за дело Ленина-Сталина...

В детдоме шла подготовка к Первомаю. Из школы пришла пионервожатая со своим штабом, чтобы подогреть энтузиазм, выявить ребячью инициативу, направить ее на верный путь. Она попросила Маргариту Савельевну спрятать бильярдные шары, организовала группу художников с Сашей Батуриным во главе, — они стали бойко размешивать в воде зубной порошок, расстилать возле осиротевшего бильярда полосы красной материи.

— ...Будьте готовы!

— Всегда готовы!

— Молодцы! Теперь — песня! Маргарита Савельевна!..

В столовой громко запел патефон и, вторя ему, сводный хор заорал с упоением:

— Нас утро встречает прохладой,

Нас ветром встречает река...

Дирижировала Маргарита Савельевна. Наконец-то она ворвалась в родную стихию, была очень возбуждена и бесстрашна.

— Любимая, что ж ты не рада

Веселому пенью гудка?!

Наташка сидела возле патефона и точила иголки, а ее брат крутился возле узкоплечного проектора, стоящего пока в углу на табурете.

— Так! Повторим! Вот это... — Маргарита Савельевна

перебрасывала на пластинке мембрану, ждала, пока игла доберется до нужного места, и взмахивала руками:

— Не спи, вставай, кудрявая...

Презрев общественное мнение и пиная «жошку», мимо красного уголка прошел Борька Клин-голова. За ним тащились счетчики.

— Зуб! — сказал Борька.

— Дергай! — откликнулись счетчики.

И Борька так «дернул», что заглушил пионерский хор.

— Чичер драть! Чичер Клину! Чичер!.. — заорала, забегала шпана по коридору и стала хрюпать кулаками по спине, по загривку Борьки...

Ребята скатились с крутой горы, затормозили пятками, чтоб не влететь под ноги встречному коню, — это чуть-чуть расслабило их и они веселей налегли на постромки. А Попик вальяжно развалился на нарте, покуривая бычок.

— Эй, барин! Не утомился? — спросил его Женька Шорников. Попик чихнул.

— Салфет вашей милости, Юрий Михалыч! — как всегда, церемонно поздравил себя Попик и, выплюнув бычок, сказал решительно: — достану я вам гроши! Лягавый буду!.. Сколько там осталось?

Толя замялся.

— Я ж не спрашиваю, куда ты их заховал, псих! — вспылил Попик. — Откуда знать Юрию Михалычу, сколько надо грошей? — говорил он так, будто денег у него спрятана целая куча; осталось только отсчитать, сколько надо, и развязаться со всей этой канителью.

Толя опасливо молчал. А ребята ждали его слова.

— Я продавал кого? — опять вспылил Попик. — Продавал?

— Осталось триста восемьдесят, — сказал Толя.

Попик закатил глаза и свистнул:

— Как вода деньги текут! — Потом подумал вслух: — послезавтра выходной... Так?

— Ну-у...

— Завтра вы едете по дрова. Для понту. Так?

— Ну-у...

— А в выходной — гроши как из ружья! Блин буду!

— Не божись... и не говори «гоп»...

— Раз Юрий Михалыч сказал... — Попик поторопил

ребят: — Н-ну, трогай, Саврасушка, трогай, натягивай крепче гужи! — и подтолкнул нарту валенком. — Заяц трепаться не любит! Мод-модо!..

Нарта раскатилась, ребята выскочили из постромок, повалились на нарту. Попик снял шапку и заорал залихватски:

— Ого-го-о-о-о!.. Ой ты, гой еси, супу гуще подноси!..

Нарта пошла боком, врезалась полозом в целик, опрокинулась на бок и Попик, мелькнув валенками, ухнул в снег. Скребется, отплеывается, и круглая его мордаха сверкает зубами, излучает радость жизни, довольство собой и всем на свете.

Мargarита Савельевна привычным махом набросила на стол кумачовую скатерть и по-хозяйски разгладила на ней складки. Тетя Уля принесла графин с зеленой водой, настоящей на хвое, и стакан на блюдечке.

Ребята примолкли, не понимая, что за торжество предстоит. Они настроились на «шкодный» фильм: сдвинули в ряды столовские табуретки, натянули на стену простыню, ощупали ее лучом из проектора, выставляя кадр...

Столовая — битком. Валериан Иванович в строгом костюме с аккуратно повязанным галстуком. Встал за красный стол, помолчал важно, в кулак откашлялся.

— Прошу сюда! — обратился он к Паралитику и показал на табуретку рядом с собой.

По столовой прошел гул изумления, все зашикали друг на друга; ребята, которые увильнули с собрания и терлись в коридоре, стали заглядывать в зал, тесниться в проеме дверей.

— Чё? — Паралитик зыркнул по сторонам и сузил глаза. — Не пойду! — и плотнее уселся на скамье.

Но Валериан Иванович уже хорошо знал его натуру и, сняв очки, усмехнулся:

— Боишься?

Паралитик малость повременил, тоже усмехнулся, криво, вызывающе. Пригладил ладонью короткие волосы, хотел застегнуть пуговку на рубашке, но опомнился, поцарапал ногтями грудь и застыл в надменном ожидании. Потом решительно встал и, стукнув блямбой на костыле, пересел за стол.

— Ребята! — сказал Валериан Иванович, показывая на Паралитика очками. — Этому человеку через пять дней, как раз первого мая, исполнится шестнадцать лет. Я гово-

рю — человеку, потому что ни имени, ни фамилии своей он не знает и ходит под какой-то случайной фамилией и с кличкой... А человек должен иметь имя. Так я говорю?

— Та-ак!

У Паралитика отвалилась челюсть, он пошевелился на табуретке и уронил костыль.

— Последняя фамилия этого человека — Подкобылин. Столовая раскололась от смеха.

— А имя — Игорь.

Новый взрыв хохота, но уже тише, неловчее.

— Скажи нам, Игорь, какие еще у тебя имена и фамилии? — спросил Валериан Иванович.

Ребята перестали хохотать.

В дверь просунулись запаленные Толя, Попик, Мишка-бельмастый, Женька, Глобус... — наострили слух, пытаясь понять происходящее. Они только что поставили в дровяник нарту, были еще одеты, лишь шапки сняли с потных голов и распахнули пальтишки.

Паралитик поднял костыль, встал и недоверчиво, изподоба посмотрел на Валериана Ивановича — не покупает ли? Но Репнин ждал, по-доброму поощряя его кивками. Паралитик кашлянул и проскрипел:

— Поднарный была фамилия... это потому, что я, должно, под нарами родился...

Какой-то придурок хохотнул и тут же огреб затрепичу. Тетя Уля, облокотившись на раздаточное окно, курила, глубоко задумавшись о чем-то своем. К ней жалась Наташка. Маргарита Савельевна прижала руки к груди и жалостно смотрела на Паралитика. Вжала в плечи свою аккуратную головку девочка-штабистка...

— И еще была... — уже со злым вызовом выкрикнул Паралитик, — еще была фамилия — Курощупов! Кур я как-то у дяди одного метанул... И еще была — Слабобрющенко. Выкидыш. И еще была...

Валериан Иванович взял Паралитика за руку.

— Довольно, довольно... — и усадил его обратно на табурет. Паралитика трясло.

В столовой — тишина и ожидание.

— Вот видите, — с тихой грустью сказал Репнин. — А ведь ему скоро паспорт получать, жизнь начинать самостоятельную и честную... — он оглядел ребят. — Как быть?

— А надо придумать ему фамилию! — сказала Маруся Черепанова.

— Правильно! — загадели ребята. — Дело говоришь, Машка!

И посыпалось:

— Иванов!

— Костылев!

— Анкудинов!

— Первомайский!..

Валериан Иванович остановил ребят и обратился к Паралитику:

— А может, ты сам уже придумал?

— Не-е, я не умею придумывать...

— Чашкин! — опять закричали ребята. — Ложкин!

Кастрюлин! Хмырев! Енисеев — в честь нашей реки...

— Рудзутак! — осторожно выкрикнул кто-то. — В честь парохода...

— Нету уже Рудзутака! Переименовали! — поджала строгие губы штабистка.

— Тогда — Косиор!

— Тоже переименовали!..

Валериан Иванович сверкнул очками и опять хотел остановить поток предложений, но в это время подняла руку Маргарита Савельевна.

— Поскольку обсуждаемый нами товарищ паспорт будет получать в городе Краесветске, то есть как бы вторично родится здесь на свет, как человек, как настоящий уже человек и советский гражданин, я бы лично предложила ему фамилию — Краесветский. Это соответствует.

— Ур-р-р-а-а! — закричали ребята.

— Мирово!

— Ай да мы, спасибо нам!

— А имя? Имя?..

Валериан Иванович поднял руку, подождал тишины.

— Имя пусть сам выберет. Если захочет остаться Игорем — ну что ж? Игорь — древнее русское имя... Был даже князь...

Шум, гам, возня... — говорить дальше не было смысла. Валериан Иванович пожал и крепко тряхнул руку Паралитика.

Народ взбудоражился.

— Решено и подписано! Б-бля!.. — Борька Клин-голова подышал в кулак и хряпнул им, как печатью по столу.

— Кино давай!

— «Дубровского»...

— «Джюльбарса»!

— Сто раз видели...

Паралитик незаметно исчез из столовки.

А к Толе подошла возбужденная девочка-штабистка и затараторила:

— Мазов! Как тебе не стыдно?! Ты ж запеваала!.. У нас концерт на носу... Вожатая велела...

— Скажи своей вожатой, что у меня будет еще тот концерт! Сыграют мне: «Ах, вы, сени, мои сени!..» — и Толя потряс пальцами возле правого бока.

— На балалайке? — спросила девочка.

— На ребрах!.. Иди, смотри кино! Такого ты еще не видывала! — и Толя подтолкнул ее в темный зал столовой.

И правда, на экране творилось черт-те что: собака Джульбарс не со скалы прыгала, а на скалу — задом; басмач гнался за пограничником, пятясь спиной, конь скакал хвостом вперед...

Ребягня хохотала.

Как всегда незаметно, будто из воды, разом возникла Маруська Черепанова и поманила Толю пальцем. Он нехотя наклонился.

— То-о-олька!.. — зашептала ему Маруська. — А Паралитик в уборной лает!

— Ты опять?!

— Честное пионерское, лает! Вот те крест!

Толя побежал в уборную — не хватил ли припадок парня, разобьется. Да и деньги там, в заначке. Подергал дверь — закрючено. Стал дергать сильнее. А потом прижал ухо к щели. Услышал постук костыля и сдавленный, мокрый кашель, плач, похожий на лошадиные всхлипы.

— А ну, шагом арш — кино смотреть! — погнал он Маруську. — Кому сказано?

Поймал за рубаху мальчишку, который, стиснув зубы, бежал в уборную.

— Потерпишь!.. Или вон... не застынешь! — и вытолкнул мальчишку на улицу. И встал спиной к двери уборной, насупился.

Попик разжал кулак...

В его руке было всего несколько мятых рублей.

— Вот все! — уныло сказал он и, уцелив окурок в снегу, поднял его, прикурил и пошел от ворот рынка. Ребята за ним — срамота, а не рынок! В Крыму, на хитрой толкучке у мечети... и то...

Они остановились у коновязи, возле которой ели сено лошади и стояли покорные олени. У нарты лежала белая

лайка, ее передняя лапа была заткнута за ошейник — чтоб не убежала собака.

— Две наколки сделал, — сказал Попик, — партманет взял, а в ем серебрушки... третью наколку не могу, третья — меченая. Всегда, блин, попадаюсь на ней. — Попик цыркнул слюной. — Попадусь, кто вас, патриетов, выручит?..

Ребята сникли. Попик задумался.

Лайка скульнула, неловко встала и замотала хвостом. Подошел благодушный, слегка выпивший эвенк, бросил на нарту котомку, выпростал из ошейника собачью лапу.

Попик погладил оленю рога.

— Друг! — неожиданно обратился он к эвенку. — Подбрось до универсама!

Олень закашлял.

И помчалась упряжка по улице городка и, забыв всякое горе и заботы, Попик опять замотал шапкой над круглой своей башкой и заорал:

— Мод-модо-о-о!..

...В центре города уже вывешивали портреты, гирлянды лампочек, флаги. На крыше универсама пел черный раструб: «Много девушек есть в коллективе, но ведь влюбился только в одну...». Монтеры, позвякивая когтями, лазали на столбы, стучали молотками.

Олени умчались за город, в лесотундру, оставив ребят в узкой щели между бараками.

— Ты не ходи, — сказал Попик Толе, видя его хмурость и напряженность. — С тобой вечно завалишься. Злосчастный ты, блин, что ли?

Толя хотел возразить, но Попика поддержал Женька Шорников.

— Правда, не ходи с нами, — просипел он. — Если... в случае, попадемся: ты останешься, сообразишь чего-нибудь насчет той бабы...

Понять его сип было трудно.

— Будь возле «коммунара», — приказал Попик, — если хочешь внести свой вклад в общее дело. Молися за Юрия Михалыча, чтоб не дрогнула, блин, его рука!

— Трепло! — сказал Толя.

Женька взял Попика за шапку, наклонился к нему:

— Ты бедных не тронь! Тырь у богатых!..

Попик прочистил ухо пальцем.

— Знаю! Тоже кое-что по литературе проходил... — заметив, что прохожий бросил папиросный бычок, Попик поднял его, докурил до картонки и щелкнул в сугроб.

— Хиллем!

В тамбуре он походя, но четко проверил двойные двери, пружины на них. Покривился, но ребятам ничего не сказал. И вошел внутрь универмага.

Народу здесь было много — и покупателей, и любителей поглазеть.

В честь праздника тряхнули склады, добавили товаров, кое-что подбросили с материка — и это оживило торговлю.

Попик походил из отдела в отдел, скучно следя за покупателями, читая ценники, ощупывая товары... даже галстук приложил к груди, и глянулся в зеркало.

Он ждал и искал.

А неподалеку от школы, швыряя носом, рылся в сугробе мальчонка лет девяти. Руки его были в чернилах.

— Кто?! — остановился возле него Толя.

— А тебе-е-то чего-о-о?

— Говори, кто?

— Хмырь один... Я б ему всю маску растворожи-и-ил, да мамка задаст баню! Она говорит — нам, спецпереселенцам, смиренно жить полагается... А у хмыря отец летчиком лета-ат!..

— Зайцев? — спросил Толя, чувствуя, как забродила в нем кровь, зазудились руки.

— Ну-у-у...

— Чего еще не нашел?

— Карандаш. Мамка отдере-о-от...

Толя взялся помогать малому, разгребал снег валенком.

— Хоть домой теперича не ходи-и-и, — плакал малый. — Имя чё карандаш? Имя ераплан не жа-алко-о-о!..

Толя вдруг поднялся с колен и ринулся в школу.

— Не трога-а-ай! — взревел малый, бросаясь следом. — А-а-а-а!..

Попик уже «закрючил» одну даму. Она была в беличьей дошке, с шикарным кожаным ридикюлем и с золотыми серьгами в ушах. На пальце у нее был перстень с клюквиной.

Дама долго, с пристрастием оглядывала еще одну беличью дошку, встряхивала ее, оглаживала...

— Не надо-о-о!.. — орал мальчонка.

Попик обернулся и двумя пальцами вытер нос. Женька Шорников расстегнул свою обшарпанную телогрейку,

заглянул под полу. Потрогал наскоро пришитый карман. Подтянулся к Попику и Мишка-бельмастый. Глобус встал у двери.

— Не надо-о-о! — захлебывался слезами малый, цепляясь за Толю. Тот отлягнул его ногой и малый полетел со школьного крыльца. — Попаде-о-от из-за него-о-о! Зачем сказа-а-ал?

Толя влетел на второй этаж и у первого встречного спросил, где Зайцев? Ему показали на раздевалку...

Дама еще раз встряхнула шубу, подула — мех развалился глубоко, обнажив нежный подпушек.

В раздевалке лопались вешалки: задастый парень в вельветке с молнией брал в охапку три-четыре пальтишка, наваливался на них — и пальтишки сползали на пол...

Толя цепко схватил парня за вельветку, притянул к себе. С румяного, сытого, видать, никогда не битого лица с вызовом смотрели на него два глаза. Парень улыбался. И Толя расщелкнул, изо всей силы ударил головой об это улыбающееся лицо, услышал, как хрустнуло что-то; парень, запутавшись ногами в валяющемся пальто, упал на спину и взвизгнул с поросычьим ужасом...

— Я беру! — сказала дама и щелкнула замком ридикуля. — Заверните!..

В коридоре распахнулась дверь учительской, из нее выметнулся бдительный Изжога.

Но Толя уже был на улице. Там он схватил мальчонку за руку и умчал его за собой.

Дама отсчитывала деньги и жевала лиственничную серу. Ее суетные когтистые пальцы проворно перебирали, щупали, складывали деньги в стопку. В углу ее крапешных губ выступала пена, и всякий раз, как заканчивалась сотня, она слизывала эту рыжую от губной помады пену и с прищелком давила зубами серу.

— Двести тридцать... двести пятьдесят... триста...

Щелк!

Мишка-бельмастый встал за спиной покупательницы, готовый сделать ей «ласточку». Достал медяки и тоже стал считать, перебирая их на ладони.

— Триста семьдесят пять... четыреста...

Щелк!

— Четыреста десять... четыреста двадцать...

Все, больше не надо!

Мишка-бельмастый взглянул на Попика, но тот уныло разглядывал коричневое полупальто, которое примеряли рядом.

— Четыреста пятьдесят... Четыреста семьдесят...

И в этот миг денег не стало! Будто корова их языком слизнула!..

Дама так и осталась с занесенной рукой, в которой краснела тридцатка.

А деньги ее — все четыреста семьдесят — нырнули под телогрейку Женьки Шорникова. Застегивая пуговицы, он засвистел мотивчик пионерской песни и с видом праздного гуляки подался к выходу.

Все шло по плану.

Дама взвизгнула, как дисковая пила, метнулась за Попиком и тут же кувыркнулась вверх ногами: Мишка устроил-таки ей «ласточку». И еще заорал на нее, что она рассыпала ему деньги, стал собирать медяки, мешая даме подняться.

Так! Попик уходит в другой конец универмага, к запасному выходу.

Женька уже у двери. Вот она, скоба. Вот она...

А-а-ах! Все!

Тяжелая дверь поддала ему под зад и выбросила из магазина.

Визг, крики, топот... — все осталось позади, за дверью. Женька пересек улицу, пролез в щель между бараками, спрятался за поленницу и только тут вытер со лба испарину.

Из магазина в запасный выход выметнулся Попик и бросился в другую сторону, уводя за собой преследователей, впереди которых, удачно распахнув шубу, колыхая грудью, мчалась дама...

Откуда-то взялся милиционер, засвистел, заметался.

Но Попик мелькнул среди сугробов и будто в снег зарылся, как горностай, сгинул.

Женька прокрался меж дровяников и заборов на улице Смидовича. С Толей они встретились под афишей «Семеро смелых», и деньги перекочевали в Толин карман.

Сразу возвращаться с деньгами домой было боязно, а торчать на улице холодно, и Толя решил отсидеться в кино...

В комнате, лежа поверх одеяла, спал Деменков.

Мальшок неслышно подошел к нему, взгляделся в его мятое лицо, послушал хриплое дыхание, поморщился и щелкнул себя по горлу — хорош, мол... Мишка-бельмастый осторожно, чтобы не громыхнуть, запер дверь сту-

лом, Малышок остался возле Деменкова — на всякий случай.

Толя нахохленно сел на кровать.

— Ну, ты чё, патриет? — Попик дал ему шелобан. — Не лови мух ноздрями, работа сделана чисто!

— Зачем лишние деньги взял?

— А я на харю той мымыры накинул полсотенную! — хохотнул Попик. — Противная харя у ей, блин!

Толя, не вставая, вытянул из кармана деньги, отделил от пачки тридцатку и два червонца и протянул их Попику.

— Твои. Бери!..

И задержал деньги в руке, будто взвесил пачку. Глянул на Деменкова.

— Спит! И не чуёт, что на нем мильтон ночует...

Зудящая приятность была в том, чтоб вот так открыто, даже нахально, держать деньги перед Деменковым, пусть спящим, пьяным, но все равно опасным... — держать деньги и даже шелестеть ими над его мордой, и презирать его, наглеца, тварь тупую.

— Всё! — сказал Толя.

И ребята поняли его.

Женька нервно забегал глазами, просипел:

— Я тоже — всё! Завязал!..

Малышок кивнул и потер пальцами улыбающийся рот. Мишка-бельмастый ничего не сказал. Все знали: если его не втягивать в «дело», сроду ничего не возьмет, но за других готов страдать. Глобус чесал голову... Попик захихикал, тоже башку свою круглую поцарапал:

— А я не знаю... гад буду — не знаю! — и перевел щекотливый разговор на другое. — Кто в милицию пойдёт... с грошами?

— Я и Мишка, — ответил Толя. — Женьке нельзя...

Женька разинул рот и противно хрипнул:

— Пашему-у?

— Мне тоже нельзя, — сказал Попик с сожалением, — меня там знают. Вам хуже будет, если пойду. — Он еще поскреб голову и посочувствовал: — ох, блин, и дадут вам! Выдавать вы никого не можете... Значит, дадут! Но Бог терпел и нам велел! Юрия Михальча вон как лущевали!.. И ничё — здоровый, жизнерадостный ребенок!.. — и подмигнул бесовски.

Деменков шевельнулся, пфыкнул губами.

Ребят не затолкнули, скорее, запнули в холодную полутемную комнатку. За ними злобно заскрежетало железо, дежурный поднял в коридоре оброненную детдомовскую шапку, просунул ее сквозь оконце в двери, швырнул на пол.

Щелкнул замок.

Заворочался спящий в углу комнатки пьяный бродяга, рыкнул что-то недружелюбное:

— Во-во!.. Я и грю: тосуй, давай, а она... — безнадежно махнул рукой, открыл один глаз и хихикнул: — детки в клетке! Пятью пять — скоко будет? Очко будет!.. Сортир-ное... — и, слабо махнув рукой, снова отошел ко сну.

— Ну, как ты, Мишка? — Толя поднялся и сел на сыром гниющем полу.

— Я?.. Я-то ничего... Как ты?

— Ништяк...

В коридоре послышался звон железа, шум, крики...

— Т-ты, попка! Убер-р-ри р-р-руки!.. Я таких видал и едал!.. Я таких — сыр-рыми!.. — Ругань ушла в глубь помещения. — Убер-ри подобру!..

— Вот и понесли крест, — сказал Толя с грустным смешком. — Так пишется в благородных книгах.

— Я думал, хуже будет...

— Я тоже, — Толя, морщась, потрогал ребра, понажимал на них пальцами. — Надо было мне одному идти. Все равно не поверили, что мы вдвоем украли...

Над дверью тускло горела лампочка в железном решетчатом колпаке. Толя первый раз в жизни видел свет, упрятанный за решетку, поежился.

Вдруг он услышал, как ворохнулся и зашмыгал носом Мишка-бельмастый. Он никогда не видел и не слышал, чтоб Мишка плакал. Испугался:

— Ты чего, Мишка? Отшибли чего-нибудь? Отшибли?..

Мишка плакал, отвернувшись, закрыв лицо руками. И Толя каким-то уже недетским умом дошел: ни утешать, ни расспрашивать Мишку сейчас нельзя. Он откинулся к стене и стал смотреть на печальный свет за решеткой. А потом неловко обнял друга, и Мишка, истинный, закаленный детдомовец, не сбросил руку Толи, а тоже обнял его.

— У меня... бельмо... — глухо, как бы самому себе, сказал Мишка. — И вот меня всегда толкают, бьют шибчей, чем других... отчего это, Толька?

— Не знаю, Мишка, не знаю... так, видно, устроено у

людей: красивое все любят, балуют красивых-то, а если с бельмом... или еще чё... — ненавидят...

Мишка утерся, содрогнулся от далекого, уже закаты-вающегося всхлипа и сказал:

— А меня мать с отцом все равно любили. Я плохо их помню, но любили, знаю...

— Так родители же!..

— Да-а... начальник-то!.. «У них родителей нету, так ты всыпь им, как отец!» — Мишка потер глаза. — Папа! Своим деткам, небось...

«Костыльника покрываете, мерзавцы! Деменкова-бандита спасаете, сопляки!» — похоже передразнил начальника милиции Толя, — покрыли бы мы их штукой одной, если бы...

— Ладно, Толька, ну их подальше... Давай лучше про родителей еще поговорим...

— Да я их тоже почти не помню, — сказал Толя. — Мать еще в деревне померла. Отец, не знаю, жив ли?.. Последним прадед умер. Сто лет ему было.

— Н-н-ну-у?

— Ага. Так говорили.

— Сто лет!.. Во натерпелся, поди...

— Не знаю. Как нас привезли сюда, на Север, он уже не разговаривал, молчал все. Молчал... Потом оцинжал... один раз — как закричит!.. Матюгнулся и умер... — Толя вздохнул. — А бельмо тебе, Мишка, вылечат. Будь спок! Я в книжке читал — даже стеклянные глаза вставляют...

— Да я ничего, привык. Конечно, без бельма лучше бы... Мне командиром охота быть, пограничником. А кто меня такого в командиры возьмет? Э-эх, скорей бы уж вырасти! Я на любую операцию соглашусь...

Опять лязгнул замок, заскрипела решетка.

Заворочался пьяный.

Ребята теснее прижались друг к другу.

— Волга-реченька глубока,
И в ней не видно берега-а,
Мил уе-ха-ал, не верне-о-отся,
Знать, любо-овь не дорога-а-а...

Пели вполголоса, чтоб не тревожить дом.

Барахлали подстанция или ветер где-то трепал провода: спираль в лампочке то коротко вспыхивала, то зыбко тлела, то совсем угасала... На кухне жгли керосиновую лампу — с нею было надежней, да и уютней в ночи-то.

Дежурные девочки чистили картошку. Булькала вода в тазу.

Тетя Уля, шлепая ситом в ладонях, просеивала муку для пирожков и тихонько вела: «Мил уе-е-еха-а-ал...»

Тихо лежали шары на бильярде. Молчало радио.

В дверь постучали.

Валериан Иванович зашевелился. Зазвенела пружинами кровать, заговорила всеми своими железками.

Женька Шорников и Малышок приникли к дверной щели и в один голос доложили:

— Варьян Ваньч, все в порядке!

— Что в порядке? — хрипло спросил Репнин.

— Отнесли деньги... Толька с Мишкой...

— А-а... Ну хорошо, хорошо... Бегите спать!

Женька и Малышок отошли от двери. А потом, подомашнему, прямо в подштанниках, заглянули на кухню, выхватили из таза по горсти картофеля и скрылись в четвертой комнате.

Валериан Иванович встревоженно сел на кровати...

Женщина шла быстро, утопала в снежных заносах, шла, напряженно дыша, будто не шла, а пахала землю. Лицо у женщины было тощее, с темными обводами у выгоревших глаз, одежда мятая, чулок вообще не было — затерялись, видно, в тюремной кладовке.

Злым рывком распахнула она дверь в комнату Валериана Ивановича.

— Вы заведующий?.. Репнин?.. — спросила она так, будто выбросила из себя эти слова.

— Да. — Валериан Иванович подтянулся со стула. — А вы?..

Впрочем, он сразу догадался, кто эта женщина.

В столовую вбежала Маруся Черепанова и с придыхом выкрикнула:

— Аркашка! Наташка!.. Идите к Варьянычу!

Замер красный бант в соломенных волосах. Брякнула об стол ложка.

— Да пускай поедят. Куда спешить-то? — захлопотала тетя Уля, придвигая к ребятишкам сразу несколько стаканов компота.

— Не пожар, поди... — и стала быстро оглаживать их, поправила воротник, бант, ляпочки на плечах.

Валериан Иванович унижался, сдерживался, чтобы и самому не вспыхнуть, не разорваться, чтоб ребятам не навредить.

А женщина кричала, будто в упор стреляла ему по глазам: — — Ворье плодите!.. Судить их всех!..

— Как это — всех? — моргал глазами Валериан Иванович.

— А так! Вот тех, двоих, которые деньги в милицию принесли, арестовать, вздрючить их хорошенько — они и об остальных расскажут! А нет — в трудовую колонию!..

— Мы уж тут сами разберемся, голубушка...

— Как же, разберетесь! Заодно с ними небось...

— Не со всеми...

— Вот-вот! Я и говорю — одна шайка-лейка!..

Тетя Уля привела в комнату детей.

Прошла по коридору Маруся Черепанова, дежурная по детскому дому, потрясла колокольцем над бильярдным столом.

— Мертвый ча-ас! — и раскатала шары. Позвенела над шашечной доской, собрала шашки в столбик. Малыши стали разбредаться по комнатам, но старшие не расходились, ждали.

Мargarита Савельевна охапкой пронесла в комнату Репнина верхнюю одежду детей, Аркашкин портфель, Наташкину тряпичную куклу, шитую девочками.

Толя стоял, прислонившись спиной к стене, и тоже ждал. Лицо его будто постарело за эти дни, глаза воспалились, горячими сделались, а тело расслабилось, устало.

Наконец, женщина вышла, вытирая концом полушалка глаза, и вывела за руку Наташку. Аркашка, весь красный, шел следом, потупившись, терзая в руках шапку. Наташка, заметив Толю, бросилась к нему, обхватила его руками и, заглядывая снизу вверх, счастливо сообщила:

— А к нам мама пришла!

Сердце у Толи растроганно дрогнуло и тут же летучий холодок коснулся его. Через силу он улыбнулся девочке, потрепал яркий бант на ее голове. Женщина резко отдернула девочку к себе, сорвала бант, будто сорный мак, швырнула его к ногам ребят. Заглянула в портфелишко, вышвырнула оттуда пенал, казенные карандаши, и куклу за ногу выхватила, шмякнула ее об пол.

Наташка захныкала.

Женщина хлопнула ее пониже спины, подняла на руки, прижала к груди, а к боку — Аркашку. Загораживая детей собою, точно курица-парунья, она пятилась к двери и кричала отрывисто, словно с отяжкой, наотмашь, хлестала по лицам:

— Шакалы! Шпана! Воры! Сволочь!

Дверь взвизгнула. Тяжелая гиря подскочила вверх, бухнула в ободверину, скрипуче повторила: "Сволочь!" — и закачалась на проволоке.

В растерянной тишине только и слышалось это ржавое, тягучее поскрипывание.

По замарелому стеклу протекла торопливая тень женщины с ребенком на руках, и следом — узенькая тень мальчика.

Ребят будто ветром размело.

Толя остался один.

Он шагнул к окну, уперся лбом в холодное стекло, все в ребрах льда, и так стоял, весь обвиснув. Стекло приятно холодило лоб. В голове не было никаких мыслей, а внутри, там, где полагается быть душе, была пустота. Будто вместе с женщиной и с ее детьми ушло все живое и остались только усталость да скорбное сожаление неизвестно о чем. И далекий-далекий звук — музыка скрипок. В ней — тоска и прощание. Уходил, уходил от пристани белый парход...

Слез не было. Не плакалось. Но хорошо было бы завыть и треснутья башкой об раму!..

— Ну, что, Анатолий, тяжело? — услышал он возле плеча и вздрогнул.

Лопнули далекие струны, взвизгнул и скрючился звук.

Толя хотел закричать на Валериана Ивановича. Но закричать не мог. Перед ним стоял в помятых шароварах, в покоробленных кожаных сандалиях без ремешков пожилой человек с горячим чайником в руке. В голосе его как будто была строгость, но в глазах, небольших глазах за стеклами очков со светлой трещинкой — участие.

— И почему ты не в постели? «Мертвый час» все-таки...

Толя упорно молчал, и в этом молчании чувствовался закипающий вызов.

— Законы для всех одни. И пока живешь здесь... — Валериан Иванович замялся: — м-да!..

Толя спиной чувствовал, как заведующий отошел, потоптался у двери и опять вернулся:

— Где вы взяли деньги? — спросил он тихо, с горечью. И сердито остановил Толю: — не лги мне, что вы их заработали! С работы вас вышибли... с треском!

Толя побледнел и насутился.

— Не встревали бы вы в наши дела... — проговорил он едва слышно.

— Вот те раз! — удивленно хмыкнул Валериан Иванович и угрюмо спросил: — в чьи же дела мне встревать? В тети Улины?

Толя ничего не ответил.

— Значит, в тети Улины... — с обидой подтвердил Валериан Иванович. — И еще в банно-прачечные... разрешаешь? Ничего, широкое поле деятельности...

— Валериан Иванович, — Толя посмотрел прямо на Репнина. — Я, может, никого так не уважал, как вас... — Такого признания, да еще от Мазова, да еще в такой момент, Репнин никак не ожидал. — Потому что хоть вы и офицер были царский, но к ребятам относитесь хорошо, по-строному относитесь, но жалеете их. Вот...

Толя перевел дух.

Валериан Иванович молчал, склонив голову, ждал, не двигался... И понял, что это все, что больше Толя ничего не скажет, и не надо больше ничего от него требовать, не надо еще и еще раз бить по больному месту.

— М-да... вот и жизнь началась, — сказал он.

— Что?

— Жизнь. Она начинается, когда человек начинает задумываться над поступками... — Репнин поморщился и переложил горячий чайник в другую руку. — Проще сказать не умею.

— Не надо прощ... — сказал Толя задумчиво. — Валериан Иванович, вы врать не умеете... скажите, в наш город приходил этап заключенных?

— Да, кажется... Да-да, приходил. Из Заполярья... А, собственно, что тебе-то?

— Мне-то? Да так, ничего... отца я во сне видел. Нехорошо видел... вдруг, думаю...

Валериан Иванович потутился, снова переложил чайник из руки в руку.

— М-да... — Он отошел к своей двери. — Вот я и говорю: начавши задумываться над поступками, человек начинает отвечать за них... Может, зайдешь? Чаю бы попили...

— Валериан Иванович, а ведь вы что-то скрываете? Репнин замялся, потоптался у двери.

— Да идите вы, ради Бога, и отвяжитесь от меня. Все! Репнин коленом открыл дверь и, высоко держа чайник, шевеля пальцами на его горячей ручке, вошел в комнату.

Зазимок сдавал. Дорога снова расквасилась. Дул ветер, тугой, широкий, растянув в полнеба заводские дымы. Он подталкивал Толю в спину, щекотно шевелился за воротником пальтишка, из которого Толя так быстро и незаметно вырос.

Толя шел к кладбищу. Шел один, и все, что было в его душе, нес с собой. Живые люди растревожили его, и он шел покаяться мертвому Гошке Воробьеву, покаяться и за себя, и за людей.

Взойдя на пригорок, Толя обернулся и посмотрел на свой дом, зарытый в сугробы. Дом уже успел по-стариковски ссутулиться, поклониться коньком земле, окна его были жарки от солнца.

А с другой стороны, со стороны красного солнца, шел по дороге человек в распахнутом полупальто, в шапке, сдвинутой на затылок, из-под которой выбивалась синевато-черная челка.

— Дядя Ибрагим!..

Холодное предчувствие коснулось сердца Толи, но когда Ибрагим приблизился, сделалось заметно его сияющее лицо, глаза с бешеным блеском.

— Туля! Туля! — еще издали закричал Ибрагим и, подскочив к парнишке, поднял его на руки, закружил, затискал. — Капкас! Родину!.. Начальник Ступинский хлопотал!.. Москва, Кремл писал! Спасал Акбар Мамед Оглы Мамедова!.. Туля! Я умру, а? Умру, а?..

— Дядя Ибрагим! — вдруг закричал Толя и, привалившись к кочегару, разрыдался. Горячее чувство благодарности охватило его оттого, что в минуту самой большой радости этот человек вспомнил о нем.

Ибрагим тоже плакал и успокаивал мальчишку.

— Шту ты?! Шту ты?! Капкас приезжай! Родину мою!.. Брат будиш! Сын будиш!.. Отцом вместе приезжай!.. — Ибрагим вдруг осекся, начал шмыгать носищем, вытирать перчаткой глаза, прятать их.

— Дядя Ибрагим, мой отец жив?

Ибрагим потыкал валенком в снег, высморкался.

— Дядя Ибрагим!..

— Жив твой отцы, жив, но пока тебе видать его нельзя... пока...

— А я уже его видел!.. Нашел!.. Э-эх вы-ы!.. Дяди!.. — Толя отвернулся, проговорил в пространство. — Знали бы вы, как жить без родителей, так не мухлевали бы... Иди уж, иди, дядя Ибрагим. Я рад за тебя... И ты... И ты за меня порадуешься...

Сероватый, уже подтаявший и осевший снег.

Такого же цвета и сиротская могила с чуть завалившейся пирамидкой, увенчанной красной фанерной звездочкой. «Воробьев Георгий Юрьевич. 1926—1939 г.» — написано на пирамидке криво, но отчетливо.

Толя стянул за ухо шапку и погрузился в какую-то необъятную, пространственную тишину. Будто сквозь снег, сквозь мерзлую землю провалился... И только издали доносило: тук-тук, тук-тук, тук-тук! — это дятел невозмутимо работал на старом черном кресте, долбил дерево, время от времени поворачивая зоркую пеструю головку, поглядывая на человека, замершего над снежным холмиком.

...Бил по гвоздю кастет Деменкова...

Толя поискал глазами, увидел дятла, вяло улыбнулся, вздохнул. Дятел слетел с креста, пересел в отдалении на пеструю березу. Толе почудилось движение — там, где на пригорке горсткой грудились небольшие обшарпанные елки. Шевельнулась лапка, другая, треснул сучок. И вот из-за елки высунулась сперва серенькая вязаная шапочка с заячьим хвостом на маковке, потом лицо с красной "фигушкой".

— Манька! Ты чё тут делаешь?

Таиться больше не было смысла и Маруся Черепанова быстро сообразила, как ей быть, хлопнула в ладоши и развела руками.

— Ой, как тут интересно написано!

— Чё написано?

Маруся приблизилась к еловому кресту со свежим затесом на перекладине и прочла так, чтоб услышал Толя:

— Спи спокойно, друг Гаврила, Теперя торопиться тебе больше некуда... — Чё пишут, чё пишут!.. Умора!

Толя, проваливаясь меж корней и кочек, подошел к Маруське, встал рядом.

— ...Торопиться тебе больше некуда, — повторила Маруся. И дочитала: — Вербованные плотники Кирилл и Кузьма, да еще бригадир Захар Кокоулин.

По глиняному, коряво оглаженному лопатой холмику были рассыпаны крупно наципаные кусочки ржаного хлеба, рыжели клочья луковой шелухи. Возле креста сто-

ял мутный граненый стакан, на треть наполненный спиртом. Бутылка валялась в темном снегу среди сырых головешек.

— Ты зачем сюда явилась? — тихо спросил Толя, не отрывая взгляда от елового креста.

Маруся сразу же полезла под пальто, за пазуху, и достала Толин серый шарфик.

— В коридоре нашла, — сказала Маруся. — Голошейм ходишь. Захвораешь, дак будешь знать!..

— Шарф я оставил на вешалке...

Девочка шоркнула рукой по своему красному носику, пошмыгала, подумала и быстро нашла:

— А меня Зинка послала. Погляди, грит. Он чумовой, грит, и всяко может быть, грит...

— Манька, ты опять врешь! Сама поперлась?

— Ну, сама, сама! — быстро согласилась Маруся и тут же, не совладав с собой, ошарашила Толю еще одной новостью.

— А тебе Зинка письмо пишет, вот!

— К... к-какое письмо? — оторопел Толя. — Что ты опять буровишь? Н-ну, хлопуща!..

— И не хлопуща, и не хлопуща! — Маруся укусила запястье правой руки и пробормотала заклятье: — «Вам не услышать, нам не сказать!» — а чтобы клятва была как можно крепче, для верности куснула руку еще раз. И подвела черту: — Провалиться мне на этом месте!

Но тайна жгла Марусяку, томила, распирала ее. Толя знал: главное сейчас — ни о чем с ней не разговаривать, делать лицо недоверчивым и сердитым... И Маруся дрогнет!

— Жара стала какая! — девчонка растегнула верхнюю пуговицу пальтишка и сдвинула на лоб шапочку.

— Дышать нечем! — поддержал ее Толя. Он взял ее за руку и, строго хмурясь, повел за собой с кладбища.

— Вот ты не веришь!.. А я все-все видела! — Маруся обогнала Толю и, пятясь, скользя на тропе, пошла перед ним. Голос ее стал осторожным, таинственным. — Зинка сперва написала: «Дорогой Анатолий!»... А потом ходила, ходила, карандаш кусала, кусала... и листик порвала...

Толя не отозвался. Он вдруг как-то странно напрягся и замедлил шаг. Взгляд его засквозил мимо Марусяки и наткнулся на какую-то опасную преграду.

— Потом написала: «Уважаемый Толя»... и зачеркнула. А после написала... — голос Марусяки сел до полу-

шепота, черные ягодки ее глаз перестали моргать. — «Родной Толя!» Вот!

Толя остановился, по-прежнему настороженно глядя мимо Марульки.

— Честное пионерское! — поклялась девчонка. — Вот те крест!

Пальтишко у Марульки расстегнулось, шапка съехала на ухо, вся она растрепалась. Толя медленно застегнул на Марульке пальто, грубовато поправил на голове шапку.

— Беда мне с вами... Беги-ка скорей домой! — и опять глянул на тропу, мимо Марульки.

— Как не беда? — покорно согласилась девчонка и вдруг переняла странный взгляд Толи, услышала размеренный, совсем уже близкий хруст снега.

Хруст сделался резче, взвизгнуло под подошвой.

Марулька обернулась и увидела кованые ботинки Деменкова.

Сперва ботинки, а потом его самого.

Перегородил Деменков дорогу, заступил тропу, совсем рядом сопит, смотрит из-под темных бровей.

Глаза пьяные, злобные...

Он сунул руку в карман, вынул кастет, сжал его и двинулся на Толю.

Марулька крестом раскинула руки и закричала истошно: — А-а-а-а!..

Вдали заревел гудок — широко, протяжно, басисто, будто все небо загудело над городом.

— А-а-а-а!.. — кричала Марулька, и голос ее несся в небо вместе с гудком.

Толя отпрыгнул в сторону, вывернул из снега старый крест тот самый, который недавно обрабатывал дятел, поднял его над головой.

Они стояли — глаза в глаза. Деменков с кастетом, Толя с крестом.

А между ними — слабые руки Марульки Черепановой — тоже крестом...

— Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!.. Ой, не знаю дальше, не знаю... Валериваны-ыч!.. Господи, помилуй!..

...Оставим же эту сцену в крайнем ее напряжении. Пусть все остановится вокруг, и крик о помощи, один только крик над городом, крик над рекой, над лесом, детский крик, мольба о помощи — понесется по всему поднебесному миру.

ИЗ ТИХОГО СВЕТА



Попытка исповеди



Душа хотела б быть звездой.

Ф. Тютчев

Березы на пашне тихи, ветви до земли, все недвижно, исполнено великой печали, слышно, как прорастает травой горе из сердца, как шевелится в нем кровь, но нет отклика из земли, одно лишь тихое горе, одна лишь печаль...

Тут были наши пашни.

Какое-то совпадение, высшее веление, или уж и в самом деле Божий промысел, но за полтора года над этой могилой в наше, родительское присутствие ни разу не дул дикий ветер, не шумели ветви деревьев, не дрогнула ни одна травинка...

Винится природа перед моим ребенком? Наша ли, теперь уже вечная вина распространилась на все вокруг, но ни воя, ни скрипа, ни шороха. Тишина над могилой, какой и надобно здесь быть...

Когда-то здесь были наши, деревенские пашни. Сперва они были шахматовскими, стало быть принадлежали Шахматовым, большой разветвленно-широкой по деревне фамилии. Все пашни у нас пофамильные — Фокинский улус, Шахматовская заимка, Бетехтинский улус, Бобровская, Сидоровская заимки. Наша, Потылицынская заимка располагалась на Усть-Мане. Однажды сюда, в устье реки Маны, нагрянули «захватчики» новых времен, пролетарьи под названием сплавщики и заняли реку, землю, исполосовали канавами берега и огороды, закопали в них деревянные «мертвяки», прицепили к ним тросы и удавками поймали на те стальные тросы тяжелую деревянную

гавань, она держала сплавленный лес. На лесу том оцети-ненно-стесненном, плотно и надсадно сгрудившимся, выдавившим бревна, так и эдак с утра до вечера звучало: «О-ой да еще разок», — это из спертого леса, с обмелевшей воды люди баграми вытаскивали бревна и истыканные, во рваном корье отправляли плыть из Маны в Енисей и далее по ниточке бон на деревообделочное предприятие, под погрузку в вагоны, на раскряжовку, распиловку, на брусья, на доски.

Тогда еще тайга была большой и близкой, тогда мне еще казалось, что зря загородили реку и удерживают лес — плыла бы...

Тогда мне еще нравилось жить в бараке, пусть и с клопами, зато в нем поют и пляшут каждый день, нравилось рвать беременем белые ромашки на заброшенных, гусеницами тракторов искореженных пашнях, нравилось ходить в столовую и смотреть жужжащее кино...

Но хлеб негде стало сеять, картошки в огороде не хватало, после тридцать третьего, голодного года, нам дали надел в исходе Манской гривы, в заглушье Шахматовской заимки. Полоса была у самой дороги, вокруг нее горбились кучи камней, задранных кореньев, переломанных кустов. Чищенкой это звалось, и в Чищенке так ярко цвели цветы, в особенности саранки...

Мне было тогда десять лет. Четыре года назад погибла моя мама. Годы, годы и годы минули. И вот здесь, возле той заросшей полосы, где я выгребал из углей печеную картошку и, обжигая нутро, черня рот, нос и всю мордашу, уплетал эту рассыпчатую благодать, эту вкуснотищу, эту вечную забаву и спасение русских детей, здесь возникло кладбище.

И вот я стою здесь над могилой своего дитя, и со мною вместе стоит внук-сирота. Ему тоже десять лет. А кругом лес. Полосами и рошицами разбрелись по бывшим крестьянским полям березы. Вольно им тут. Просторно. Почва благодатна. Семейно растут березы, по пяти, где и по шести из одного корня. Пучком. Развесистым, пестрым, спокойным.

И не шумят. При мне еще ни разу не шумнули. Спасибо, березы! Спасибо, родненькие! Кланяюсь вам и подножию вашему скромному.

Там, у вашего подножия, меж живых ваших корней, очень близко и так далеко, что никогда уже не достанешь, покоится моя дочь. Она была девочкой, и девушкой, и

женщиной, и матерью, но я схоронил ее в сердце малым дитем. И помню ее малым дитем, тем, что, усыпляя на руках, прижимал к груди, тем, что теребила меня за волосы и дула в ухо, тем, что сделала первые шаткие шаги и доверчиво упала в мои протянутые руки, тем, что испеченная красной болезнью с горьким недоумением смотрела на меня страдающими глазами, ожидая от меня помощи и облегчения, от меня и от матери, все остальные далеко, все остальные уже забыли ее.

Господи! Да, что это такое?! Нельзя так, невозможно, недопустимо, чтобы родители переживали своих детей!..

А ветры бывают. И дожди. И снег. Даже буря была.

Я пришел на могилу один. Портрет в деревянной рамке, прислоненный ко временной пирамидке, был сронен ветром вниз ее лицом, могила и оградка завалены ломаными сучками и листьями. Как птичьи лапки были сломанные веточки берез. Я поднял голову. Березы не шевелились. Ни единым листом, и все так же грустно и покорно висели темные ниточки в узелках, а по ним листья, листья...

Я так и не узнал, где была та давняя полоса с картошкой, но почему-то думаю и верю — здесь она была, где спит беспробудно мое дите, где спать мне, моим близким — она, нет, раньше нее сюда указали путь моя тетка и дядя мой. Но ведь кто-то ж указал сделать здесь кладбище, не там вон и не вон там, а здесь, на нашей старой полосе или близ ее?..

Кто-то указал...

Когда-то я пожаловался тетке на вологодское кладбище — могилы мелкие, глина мокрая, комками, и тетка сказала, что все равно кому-то земля эта родная, значит, самая близкая, и, смеясь, добавила: «Вот у нас закопают, так закопают — не убежишь!»

Не убежишь! Глубоко у нас закапывают. Черная щель, как пропасть, летит в нее человек в нарядном домике, летит и конца полета не видно.

Дите мое доставлено сюда на самолете и летело оно не в щель, в большую яму летело, в железном неуклюжем ящике. И за это, за яму, за железный ящик — вина. За все, за все вина. И никак они, эти вины, не убывают, наоборот к старости все прибавляются, прибавляются.

Господи! Не прощай Ты меня. Не надо! Ее прости и жизнь ее нескладную ни в ком, но прежде всего в ее детях не повторяй! Если можешь. Пощади душу ее, вложи

или вставь, как там у Тебя на небесах делается? — в птицу перелетную, пусть она улетит далеко, далеко, отдохнет там от этой страны, распущенной жизни, воя и стонов, слез и пустословия, но возвращается сюда к нам с матерью веснами — успокоенная.

Она, как и я, рождения весеннего...

Как тяжело и как необычайно светло стоять и сидеть под этими, семейно растущими березами! Какая простота, какая естественность, какое ощущение вечности!

Только что читал газеты, слушал радио, смотрел телевизор, звонили мне по телефону — и все об одном и том же, об одном и том же — как люди поедом едят друг дружку, как полнятся ненавистью и стоят с кольями и перьями по заугольям, чтоб оглоушить кого колом по голове, кому глаз пером выколоть, кого ядовитым словом отравить. Так могут себя вести только бессмертные существа. Смертные, старые люди должны вести себя спокойно, умиротворенно, должны приутоавливать себя к вечному сну. Слово-то какое — приутоавливать! Забыли его в злобе и суете.

Из Выборга пишет мне старая женщина: «Перевешать бы всех вас, писателей!» — чья-то мать, чья-то бабушка, книжки читает.

С нами и в самом деле надо что-то сделать, как-то всех нас наказать за то, что мы так паскудно писали, говорили, так озлобили человека, исказили его сознание.

Ведь не родилась же она с помутненным от злобы разумом...

Я бы просил, где и у кого можно, на всех наших газетах и журналах рядом с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» — писать: «И избави нас от лукавого!»

Это он, он, лукавый, завел нас в такие дебри, откуда не выбраться, и в теснотище в духоте этих дебрей мы рвем друг на друге рубахи, царапаемся, добираемся уже и до глотки, скоро хрящи под пальцами захрустят. И не только «у них», у врагов наших. У многих, если не у всех, захрустят хрящи, затрещат кости.

Порой кажется, уже никого словом не унять, молитвой не очистить. Устало слово. От нас устало. А мы устали от слов. От всех и всяких. Много их изведено...

Сюда, под березы эти родные, к свежему бутру земли всех бы собрать. И помолчать здесь. Ах какие тут перемены в сердце совершаются, какой быстрый возврат к себе,

к тому, каким ты задуман Создателем и взращен природой.

Ни Бог, ни природа не виноваты, что ты стал тем, чем ты стал. Ищи в себе виноватого, тогда не будет виноватых вокруг. Уверни тлеющий фитиль, погаси зло в себе, и оно погаснет в других, только так, только так и не иначе, — это самый легкий, но и самый сложный путь к людскому примирению.

И открой в себе память! Навстречу тому открой, что хочется тебе вспомнить, и забудь то, что хотелось бы забыть.

Ну, начнем. Я со своего места, ты со своего — повернем ключик и...

Угол серого подопрелого амбара, далее темные стайки с кучами навоза, выкинутого зимой, на навозе густой, вольный, дурашливо веселый бурьян, в бурьяне особняком плотно стоит и утарно воняет темнолистый конопляник, похожий на какое-то диковинное, нездешнее растение, и жалица, прореженная кое-где вроде бы робким-робким, сиреневым пустырником, но все же потеснившим жалицу сибирскую, с резным листом и в яростных колючках. Наглая, плотно стоящая, дружно себя обороняющая от всего живого, к ней недружелюбного, — оккупант и оккупант — только так, чужим словом и должно заклеить такое свирепое растение.

И угол амбара, в заглушь преющие стены стаяк с выбитыми стеклами и налипнувшим на грубые рамки сухим назьмом со сладко на нем уснувшими желтыми мухами, вся задворная глушь в каком-то исходном свете, в истаивающем тепле.

Никого за амбаром нет, а вроде и есть кто-то, и этот кто-то, сдается мне, — я, одетый в холщевую рубаху до пят, голыми пятками впаявшийся в тлелый, пыльный на-зем. Я — настороженный парнишка, чего-то чувствующий, с чем-то вроде бы расстающийся, еще в малых летах. Где-то близко и в то же время далеко недвижимый, беззвучный лес, по горам и за ним, за лесом, чудится пространство земное и небесное, далее еще что-то, чего никак не достать глазами, слухом, но что ощущается воображением, ощущается отраженно, как этот солнечный блеклый свет, это слабое дуновение тепла, хотя самого солнца на небе нет, и теплу вроде бы идти неоткуда.

Но где-то что-то есть? Живое. Во плоти. Нет, скорее расплывчатое, неслышимое, но все же чем-то ощущаемое.

Чем?

И что это, что так тревожит меня, особенно во сне?

И меня ли только?

Двухэтажный деревянный дом. Казенный. С перекошенными рамами, крашенными густой бордовой краской, двери, крашенные в тот же цвет, распахнуты. От двух дверей два крыльца с вынесенными вперед стенками. Сверху на бревенчатые выносы набиты доски с уже вышарканной задом краской. Доски крыльца служили людям вместо скамеек, и на скамейках этих в летнюю пору любили посидеть мужики, покурить табаку. Пойдет человек в галошах на босу ногу в общественный туалет, один на четыре барака, он о восьми или десяти дырках, в тегрейке, накинута на исподнее, в шапчонке, мятой кепке, кто и голоухим. На обратном пути непременно присядет на крыльцо, задумчиво глядя на реку, вдаль, скрутит сигарку. К нему молча подсаживается другой, третий облепившийся жилец барака, в домах-то, даже двухподъездных, туалеты свои, непродуваемые, на висячие замки запирающиеся.

И снова бледный свет или отражение света, неслышное тепло или отражение тепла, слабое его парение. В окнах красными мушками обвешан ванька-мокрый, осыпается бутон герани, но два других уже многоперстно набухли, расперты плотью.

Должно быть, это в Игарке. Только там я видел такие дома из бруса, с перекошенными рамами, с вынесенными бревнами крыльца, и только там, в Заполярье, бывает это слабое, ласково-печальное тепло при бледном желтоватом свете. И мне видится: я сижу между двумя молчаливыми мужиками, с похмелья хрипло и мокро кашляющими, отплевывающими горькое мокро за стенку крыльца, на смиРНую и бледную заполярную траву. Сажу, молчу среди незнакомых мужиков, и они меня не прогоняют, но и курить не предлагают. В ту пору детям еще ни курить, ни пить не давали, а вот за грязное слово по затылку вмазывали.

Посидел, помолчал, поднялся, ушел. Мужики молча смотрели мне вслед...

Еще лет тридцать назад в одной из своих ранних повестей я вопил «голосом» главного героя повести: «Не надо! Сирот!» — тогда я ходил в Нижнюю Курью, что под Пермью, в детдом, в котором заведующей работала женщина более 30 лет и вся уже растворилась в этом детдоме, в

этих несчастных детей — своих детей, иного дома у нее не было. Попутно вспомнилось, что наиболее преданные сиротам и сиротскому делу бывают одинокие люди. Имеющие детей, даже очень умные, даже очень образованные люди страдают одной существенной слабостью — своих детей они все равно любят больше, чем воспитанников, и советские детдомовские начальники во множестве доказали это на деле — обворовывая «этих», во благо «тех».

Когда я ходил в Нижнекурьянский детский дом, там было 35 процентов детей, имеющих родителей, и это считалось бедствием, сейчас в детдомах, переименованных, не без хитрости и лукавства, в школы-интернаты, детей, имеющих родителей, от 70 до 90 процентов, и как же это заведение, где живут дети, преданные и пропитые родителями, прикажете называть — приют? Детдом? Но не получается, приюты и детдома ведь для сирот. А эти бедные дети кто? К какому сословию их приписывать? В какое заведение их определять?

«В стране миллион сирот» — из доклада Альберта Лиханова, ведающего Детским фондом, произнесенного на съезде депутатов десять лет назад. Но эта цифра весьма и весьма относительная — столько же, если не больше, детей брошенных и неучтенных — в Туве пастух с пастушкой напились араки, в гости потянуло, сели на лошадок своих ловконьких и уехали в гости за пятьдесят верст к соседу и так там загуляли, что забыли о шестерых своих детях. Брошенные, холодные, голодные дети постепенно принимали мучительную смерть. Когда вернулись отец с матерью, обезумевшая от пьянства мать попинала замерзшие трупы и, не найдя среди них ни одного мягкого, сказала едва живому мужику, ползающему на полу среди мертвых детей, ищущему место, где бы приткнуться отдохнуть, с хохотом сказала: «Ссяс печку натошим, барана сварим и съедем, новых ребенков делать будем, эти слабые попались, какие из них пастухи? Какие кочевники...»

Когда пошли в кошару за бараном, увидели их только половину, уже уставших орать, — без воды и пищи большая часть баранов сдохла. Редчайший случай в природе — травоядные животные занимались каннибальством, живые пожирали мертвых.

В уссурийскую тайгу подались бич с бичихой «за саморостом», заготавливать дикие травы, ягоды, семена, оставив пятерых детей в избе, чтоб те не разбежались, сде-

лали в избе загородь из досок и замкнули жилище — дети грызли загородь, уподобившись колхозному скоту; во многих наших передовых хозяйствах, с марта месяца переходящих на «деревянную пищу», там каннибальство — дело привычное. В одном из вологодских колхозов голодные свиньи затоптали и съели свинарку, — говорили, вместе со звездой героя, свинарка возвращалась с пьянки при полном параде.

Этот случай Александр Яшин рассказал земляку — Владимиру Тендрякову, и тот написал повесть «Поденка — век короткий», где дело кончается пожаром на свинарнике, в коем погибает и героиня-свинарка. Может, тогдашняя цензура сработала, но скорее самоцензура. Яшин, неподкупный, много перестрадавший за свою землю человек, не при мне одном, при многих земляках и гостях в гостинице «Москва», за столом в номере психозно кричал на Тендрякова, называл его «сволочью». Тендряков, еще больше окостенев лицом, тоже впал в бешенство, топал и орал на Яшина. Все кончилось тем, что Тендрякова спровадили домой; Яшин, уже смертельно больной, да ни он и ни мы еще не знали об этом, добавил маленько, уткнулся в тумбочку лицом и уснул на скомканной салфетке, которая серела, намокала от слез, стекающих по его усам, он и во сне не мог успокоиться — все мы притихли, посидели и на цыпочках разошлись. Утром нашли на тумбочке записку: «Дорогие ребята! Простите меня, дурака. Саша».

Совсем недавно, все на той же вологодской земле, в городе Череповце молодая женщина выбросилась из окна, с девятого этажа — ну выбросилась и выбросилась, этим нас уже не удивишь, но беда и потрясение в том, что перед тем как выброситься самой, женщина в это же окно выкинула своих детей, двух мальчиков — двух и четырех лет от роду.

Нет, нет — не надо! Не на-аадо!

Сумасшедшие и шизики так не поступают. Они, в особенности женщины, и «в крайности» остаются преданными детям «зверьями». Так могла поступить только до самого страшного отчаяния доведенная мать, не умея устроить себя в жизни, не приученная спасать и спасаться, не желающая бросать на кого-то и подбрасывать кому-либо своих детей. Только отчаянно любящая мать могла так поступить. Так и рвется с языка: «И правильно сделала! Чем к миллионам обездоленных, несчастных детей добавлять еще и этих, лучше убить их...»

Но все в сердце и под сердцем протестует и болит: «Н-не на-аадо! Н-не на-адо!» И снова думаешь о Боге. Где Ты? Куда Ты смотришь? Почему Ты этукую чудовищность допускаешь? Испытываешь? Караешь?

Но не так же, не так же сурово, Господи! А то ведь уже дела Господа и палача становятся неразличимы и неразделимы, разве что палач виновных казнит, Господь же в назидание нам невинных выбирает, да все страшной их наказывает, и толпами, толпами.

Что, Страшный Суд уже начался? Идет? Так извести об этом, Господи, дай возможность перед гибелью покаяться в грехах наших тяжких.

А что такое грех? Что такое покаяние? Для кого-то мой грех и не грех вовсе, а жизни награда, для кого-то покаяние мое — кривляние, юродство. Более всего нынешних людей бесит смирение, склонность как раз к покаянию и исповедальности. Вот если пуля на пулю, кулак на кулак, зуб за зуб — это понятно, это привычно и будит силу ответную, злую. А память, смирение и успокоение не для этого тревожного мира.

Что же, что же там дальше-то?

Изгиб лесной речки, свалившиеся в воду подмытые кусты, темные, мокрые, в пятнах рыжих грибков по сырой коре, и задавленная черной моросью гниющего кустарника, втиснутая под навес корней и пластушин земли, зеленеет и бледно цветет смородина. Под кустом смородины, в промытом камешнике, сплошь застелив дно, лежат полуразвалившиеся, в лохматой, изорванной коже, пустоглазые ельцы или хариусы, и на мертвых рыбах темной рябью червяки-ручейники. Вцепились, всосались в рыхлые, полуистлевые тела мягкостного хариуса, уже переели напополам, выточили глаза, пучком влезли в круглые глазницы.

Водохранилище с тухлой водой непригодно для зимней стоянки светловодной рыбе и, после того, как подперло реки и речки, рыба стала оставаться в мелководной речке на зиму. Несколько зим сходило, но вот настала переменчивая зима, то морозы, то сырая хлябь, наледью покрыло речку, придавило лед ко дну, перемерзла на перекатах речка, схватило сверху и внизу плеса за горло. Неумолимо двигался, намерзал, оседал ко дну лед, выжимая воду наверх, и чем он ее больше выжимал, тем толще и непроницаемое становился тяжелый покров. Рыбки задыхались, опрокидывались вверх брюхом, судорожно дер-

гали ртами, хватали воду яркими жабрами. Обессиленные тела их несло под этот бережок, набивало в бороздку, и не осталось в ямке ни одной живой души.

С берега под лед вкопалась бесовски-ловкая норка, таскала дармовую добычу. Но вода поднялась по норе вверх, забила ее мерзлой пробкой, недостижимой сделалась добыча.

Когда промыло весною лед, обтаяли берега, поднялось мутное половодье, по речке несло и кружило, будто палый лист, мертвых рыбок и забивало ими такие вот промоины, забоки, уловца.

Но так было и веки назад, кто-то погибал, кто-то спасался, кто-то и вовсе исчезал навсегда.

Но я-то, я-то там как? Рыбой был и задышался, что ли? Речкой ли вешней, веселой и свободной ото льда, зверушкой ли, озабоченной семейными делами и мимоходом заглянувшей в омуток? Может, уже человеком я там был, содрогнувшимся от догадки о неминуемой смерти? О червях, которые вопьются в мое брненное тело?

И еще, и еще, видения, предметы, дома, люди, реки, дороги, горы, леса, дальние страны, в которых я тогда еще не бывал. Кетадоккия, например, древняя восточная страна, сплошь покрытая выветренными скалами причудливейших форм и расцветок, и пещеры, пещеры в этих горах, в скалистых высях — там обитали древние люди, но когда показывали Кетадоккию по телевизору, все мне было там не внове, все это я видел во сне или за сном, в каком-то другом чувстве или явлении. Но я там жил, был и тоскую по той стране, хотя даже близ Турции, на востоке которой располагалась когда-то Кетадоккия, вживе не появлялся. Все не по порядку, все в разное время, необязательно праздное, явь и вымысел в одной куче, возникающие, иногда на ходу, в людской толпе, среди работы, среди сна, в самолете, на лодке.

Чаще возле огня. Ночной порою. В глухой тайге. Огонь и тайга сближают человека с миром бывшим и сегодняшним. В ночной тайге начинаешь понимать, что все уже было до тебя и ты был, вот память твоя содрогнулась и утихла — боишься спугнуть приблизившуюся к тебе тайну. Да, да, одиноко уютно тебе в ночной тайге, возле живого огня. Но отчего ж боязно-то?

Скользнет, вспыхнет видение, приостановится в памяти и тут же булькнет в бездонный омут времени и про-

странства. И лишь потом ты догадаешься, это булькнуло в речке, может, камешек, может, еловая шишка.

Но есть и такое, что, вроде болезни, не уходит, оно все время, как наваждение, как призрак, тень, отголосок, отсвет — как и сказать, не найдусь.

...Москву накрыл циклон со снеговертью, с бухающим по крыше ветром, с той мразью, когда свет белый не мил, да и нету его, свету белого, мокро в небе и бездушно, мокро, серо вокруг, на земле пленка снега, тонкая пленка кисельно-блеклого, вроде бы неживого и никому, даже самому снегу и ветру не нужного покрова.

Все тело болит в такую погоду, в голове звенит, будто в пустой колокольне. Особенно почему-то тяжела такая погода в Москве, в ее каменной утробе, совсем чужой, совсем равнодушной в такую погоду, начинаешь думать: сколько же умерло и умирает в эту погоду, все и всех давящую, безотрадную пору людей в этом городе, сколько задыхается в каменных стенах от больных легких, от спазмов сердца, зовет и не может дозваться помощи.

Где-то на окраине этого бездушного города дни и ночи масляно курится жирным дымом крематорий. К нему покорная очередь, стиснутая горем и недоумением.

Съехавшиеся на учебу в Москву вчерашние мужики и солдаты, алчущие мудрых знаний, разгоняли тоску, давили ее самым легкодоступным способом, разбившись на кружки, беспробудно пили в запущенных полухолостяцких комнатах и не ездили на занятия.

Надо тащиться в центр Москвы. Тяжело. Неохота. Кто-то из курсантов после двухдневного отсутствия проскрипел ныне ставшую расхожей фразу насчет того, что умножающий знания, умножает скорбь, и мы остались в общежитии и на третий день.

Снег уже вытряхивало над Москвой из необъемных мохнатых «мешков», просто дул ветер из серой, мозглой пустоты в серую мозглую пустоту, и оттого, что в нем, в ветре, уже ничего не тащилось, не кружилось и все, что должно быть принесено, выброшено, сорвано, отброшено, он оторвал, выбросил, вытряс, ветер выл голодно, пустынно, выбрасывал всю свою силу и злость просто так, от дикого разгула и необузданности, давя сознание людей, сминая их больные кости и слабые тела для того, чтобы памятовали, что есть сильнее, злее и неистовее их силы...

Я не выдержал тупой, безотрадной жизни, возлияний,

не заглушающих боль в костях, даже не притупляющих сосущего чувства одиночества, пошел на улицу, на ветер.

В том месте, где было наше общежитие, сплошь стояли современные многоэтажные дома, тоже большей частью студенческие общежития. Возле них всегда ходил туда-сюда, толкался, смеялся и шумел народ. И вот — ни одной живой души. Только ветер, уставший, хлябающий от собственной злости меж домов властвует по земле и в городе, клонит долу стволы, рвет на посаженных нами кленах папухами смерзшиеся семена.

Я пошел вдоль общежитий, меж шумящими, устало качающимися, молодыми деревцами и голыми стенами домов с одинаковыми окнами, дверьми и подъездами. Из подъезда соседнего дома с бидоном в руке вышла девочка, в нерешительности остановилась на крыльце, схватившись за вязаную шапочку, боясь ступить из заветрия в беснующееся, воющее, свистящее пространство.

Наконец девочка шагнула, будто с тонущего корабля за борт, все так же держась за шапочку и жмурясь от ветра. Пальтишко на ней было воробьиного цвета и покроя, тоненькое, с затянутым, завязанным в узел на животе пояском. Там ее не поддувало, но сильно хватануло за грудь, и девочка той рукой, в которой был бидон, попыталась зажать у горла пальтишко, прикрыть грудь перьями бортов, тоже похожими на короткие воробьиные крылышки. Из пальтишка девочка выросла, оно не захватывалось у горла и, сделав резкое движение, девочка сбросила крышку с бидона. Ее, эту бедную белую крышку, вдруг подхватило ветром, поставило колесиком на ребро и быстро покатило по мокрому асфальту. Я как раз поравнялся с девочкой и бросился вслед за крышкой, пытаюсь ее поймать, но никак мне этого не удавалось сделать — крышка вертелась, подпрыгивала, ускользала в сторону, шаталась, готовая вот-вот упасть, она снова и снова выправлялась на ребро, с веселым звоном, с бесшабашной удалью, катилась и катилась, с бульвара на улицу, где, поднимая вороха мутной воды из неровно накатанного асфальта, двигались грязные машины.

Долго, словно живая, играла с нами веселая крышка бидона, и мы с девочкой, захлебываясь ветром и смехом, гонялись за ней. Я уж начал подумывать — не плюхнуться ли брюхом на крышку и придавить ее, будто живую птаху, заграбастать и отдать девочке. Бог с ним, с пальто и с брюками. Вычищу. Зато настроение мое разом луч-

шилось, все недомогания, внутренняя отупелость пополам с раздражительностью, куда-то улётучились, опустились на дно души, хорошо мне разом сделалось, хотелось озоровать, будто мальчишке, прыгать, гоняться за чем-нибудь и за кем-нибудь. Но крышка приостановилась на скаку, завертелась волчком и опрокинулась вверх конусом, на котором крутилась белая бомбочка с желтым пятнышком. Желтое пятнышко при ближайшем рассмотрении оказалось цыпушкой. «Все! — как бы говорила своим смиренным видом крышка. — Задачу я свою выполнила. Развеселила тебя и девочку. Но устала. Сдаюсь».

Я поднял крышку с асфальта, непроизвольно шоркнул ее доньшком о пальто, чтоб стереть со дна крышки грязное мокро, и, все еще улыбаясь во весь рот, с бряком водворил хулиганистую крышку на место, водворил и первый раз взглянул на девочку, глянул и чуть не отшатнулся: смутная тревога начала проникать в меня, сдавливая нутро, и хотя я все еще улыбался, но это уже была тень улыбки. Девочка — бледное, долговязое и большеглазое дитя большого города, смеявшаяся звонко, во весь свой большой и свежий рот, вдруг встревожилась, и ее заалевшие губы стали сворачиваться, закрываться, словно чуткий цветок на ночь, но до конца не закрылись. В полуоткрытом рту девочки светились два передних крупных белых зуба, будто лепестками украшая алый рот, во взгляде и дальше, за взглядом, за занавесью ресниц, накатывал на зрачки, расширяя глаза во весь размах, страх. Ни с чем не сравнимый детский ужас, смятение ли, ошарашенность...

Я где-то видел эту девочку, нет, не здесь, не в Москве, не во дни и годы ученья, нет, я знал ее очень давно, видел в каком-то другом месте, в тихом, слабом, недвижно-лампадном свете, овеванную еле ощутимым, реющим теплом. Но девочке лет восемь-девять, мне — за сорок, я никогда не жил в Москве, тем более на ее окраине, на так называемом Бутырском хуторе, и нигде и никогда не мог ни видеть, ни знать эту девочку. И все же: я видел ее давно, давно и всегда знал ее. Всю жизнь. Быть может, с младенчества. Она была не просто девочка, она была мне близка и родна. Я любил ее какой-то странной, отдаленной и до того невероятной, душу тревожащей любовью, что никому, даже самому себе, не смел в этом признаться, и любил я ее не блудной, не скрытной и грешной любовью. Какое-то бестелесное, на нежность похожее ощущение размягчало и успокаивало мое сердце.

Девочка всегда была во мне и со мной, как тень моя, как моя душа, которую я лишь ощущаю, но не знаю — что она, где она, какая?

Девочка приближалась ко мне, делалась явственно-осязаемой, тогда, когда тускнел вокруг меня этот свет, отдалялся этот мир, и высвечивалось, оживало что-то другое, потустороннее, всегда покойное, всегда в каком-то отдаленном слабом сиянии, какое рисуют за крыльями ангелов, летающих по небу. Во время болезней, в госпитальном бреде, в беспамятстве, непременно возникала девочка, неслышно приближалась, была рядом, ничего не говорила, не протягивала рук, она просто присутствовала, просто смотрела и помогала мне дышать, переносить страдания, подвигала к выздоровлению. Я всегда боялся вспугнуть ее криком, громким стоном, пристальным взглядом, неловким движением. Она была бесконечно далека от меня и в то же время осязуемо растворена во мне, во всем, что было вокруг, ласково реющее тепло всегда было с нею, оно живительно веяло на меня, утишало жар, растворяло смертный морок, и я воскресал, возвращался к этой жизни, в этот мир. Девочка оставалась где-то там, за гранью моего прошлого сознания, однако вместе с нею не исчезала тоска по ней...

Но если я вовсе не видел, не знал московскую девочку, она тем более не могла меня видеть и знать. Я родился почти на сорок лет раньше ее, жил в другом месте, другой жизнью и помыслами. Это так естественно. И, тем не менее, я видел по смятенному взгляду девочки, что ее посетило, повергло почти в ужас какое-то знакомое и непонятное видение — она тоже узнала меня, узнала не как встречного, как еще одного дяденьку на улице, она узнала во мне кого-то, кто постоянно был в ней, восставал и присутствовал в ее жизни, в минуты помутнения ее разума, детского горя и слез, своим присутствием отделял ее от этого мира, полного тревог и обид, погружал в беспредельную тишину, в тот бледный, все успокаивающий свет, в то полупустынное, бесконечное пространство, где реет слабое, но волшебное тепло воображения и воскресительной нежности.

В безмятежные дни жизни моей мы не являлись друг другу, но были где-то рядом, готовые возникнуть по зову не сердца, нет, а чего-то совсем нам неведомого и умом нашим еще не постигнутого.

Девочка начала отступать, прижимая бидон за подня-

тую дужку к груди, как бы загораясь им. Сперва она просто пятилась, затем засемила бочком, все не спуская с меня серых, до крика расширенных глаз, сделавшихся по-взрослому глубокими, как бы высветленными тем дальним, всевластным светом, и такая бездонная память, такое давнее страдание виделось в глубине их, что я содрогнулся от какой-то, тоже неведомой мне мысли или вины: «Что ты? Что ты?».

И я, и она — все понимали! Все! Я хотел успокоить девочку, объяснить и отгять от себя вину, но делать этого не надо было. Ни я, ни она объяснить ничего не могли. Нам было тоскливо, тревожно расставаться, и все же мы должны были расстаться. С каждым шагом, отдаляющим нас друг от друга, слабело во мне напряжение, уступая место тревоге и сожалению о чем-то.

Я хотел было окликнуть девочку, и она остановилась бы, замерла. Но я не смел этого сделать, да и не было во мне сил и способов это сделать. Природа, нас народившая, не наделила ни меня, ни девочку ответными возможностями, ответной силой, мы могли быть вместе лишь в давней памяти нашей, в какой-то заземной, занебесной среде, созданной, быть может, все той же памятью, или тем, что превыше и дальше нашего ограниченного сознания. За ним, там, где-то выше, дальше, что лишь подсознанием, мощным порывом гения, гениальным чувством, колдовским наитием, обрекающим его на неведомые простым смертным страсти и муки, на тоску и жгучую жажду прекрасного, к которому дано ему приблизиться, почти осязаемо почувствовать, узреть гармонию жизни и мира, может, и крушение их, осязание полета к распаду и неизбежному концу.

Всегда у гения в стихах, в песнях, на полотнах присутствует другой, едва угадываемый мир со спящей на холме прекрасной Венерой, виден еще один, дальний, запредельный, но в земное обращенный, будто бы к нам приближенный мир, освещенный едва-едва, что-то неотгаданно в себе таящий. Поэты и гениальные живописцы, музыканты никогда не кричат, не визжат, не переключают красок, говорят негромко в присутствии сотворенной ими спящей Венеры, не шевелятся, не гомонят, не кашляют даже, когда звучит великая музыка, они хотят смирения и прозорливости для того, чтобы мы увидели иль хотя бы почувствовали тот второй, нами неугаданный мир и свет.

...Страх за вышнюю красоту, страх за тот, художни-

ком почувствованный и воссозданный мир, который подсознательно живет в нас, рождает уважение к гению и ненависть за то, что ему было дано приблизиться к *СВОЕЙ ДЕВОЧКЕ*, осязать *ЕЕ*, получать тепло нежности и силу вдохновения.

Упрощение искусства и слова есть упрощение чувств, отупение человеческого разума, потускнение вышней памяти, поэтому, только поэтому исчезло подлинное искусство и слово. Человек, отдалившись от *СВОЕЙ ДЕВОЧКИ*, отделился от себя, от того, кем он был и мог быть. Отсутствие памяти делает человека обыкновенным смертным, а не разумным существом, которому почти доступно было таинство мироздания, его тревожило ночное небо, манили звезды дальним светом, в сердце его рождалось чувство всеобъемлющей любви и жажда постижения загадки его и мира, его окружающего.

Человек, который жует, испражняется, справляет необходимую для своего существования работу, человек, который ничего уже не ищет и не чувствует, «кто-то слышал мое обмиранье, сердца не слышит никто», — никому и даже самому себе не интересен, да и не нужен. Пошатается он по земле, съест и выпьет положенное, переработает съеденное и уйдет туда, откуда пришел, в землю, и станет землею. И это его справедливый удел его лошади, собаки, коровы, оленя, змеи, льва, кролика. Лишенный памяти, оставляет *ДЕВОЧКУ* одну, лишает света; за ним, как и за животным, смыкается бесчувственная тьма: никто и ничего не мучается, никто ничего не ждет, ничем не тревожится, не сгорает в страстях, не возвышается вдохновением до горних высот.

Вместе с последним вздохом умирает все. Даже надежды.

Девочка побежала мелко-мелко, перебирая резиновыми, бледно-розовыми сапожками с аляповатыми цветочками на голенищах, побежала, как бы не веря, что за нею не погонятся, не схватят, не остановят ее. Но была какая-то над нею власть, которая заставила ее в последний раз оглянуться, перед тем как завернуть за угол дома. И она оглянулась, на мгновение замерла, но тут же со всех ног бросилась куда глаза глядят. Ветер ударил ей в спину, покотил по скользкому тротуару, вколотил в каменный коридор города.

«Ангел мой! Ангел мой!» — услышал я себя.

Годы ли берет свое, стеклянеет ли память, выросла ли

и ушла из этого земного мира **ТА ДЕВОЧКА**, однако памяти моей она уже часто делается неподвластной, я мучаюсь и не могу вспомнить что-то, так мне необходимое, нет во мне сил воскресить в себе девочку, страну Кетадокию — мою прошлую обитель и пристанище, мне не хватает доброго далекого света, недвижимого тепла, из которого рождаются тихие молитвы и та, все утишающая благодать, которые бывают лишь в церквях, особенно в древних, деревянных, едва освещенных, где явственно присутствует, реет чей-то дух и слабое, во все времена года, во все дни бедствий и тревог нашей жизни, успокоительное, ласково реющее, животворительное, святое свечение, вроде бы исходящее не от солнца, а от какого-то, неведомого никому, никем никогда не открытого источника, он вроде бы и открываться не должен, он в тебе и вне тебя, он есть ты, твое продолжение во всем, что подвластно твоему разуму, чувствам и взгляду.

Вот я и назвал слово! Вот я и приблизился к своей отгадке, но все равно мне боязно открывать его, сделать доступно осязаемым, обыденным, страшно захватить его, упростить и опростить. Быть может, это то самое, что люди называют упрощенно и грубо — дух мой?!

И что там он, этот дух? Что он значит? Как его и кто объяснит? На что он хоть похож-то? А похож он на мою маму, еще на маленькую, восьмилетнюю, которую я, конечно же, в этом возрасте не видел, не знал, и видеть, и знать не мог, но какая-то, во мне присутствующая память подсказывала ее облик, и когда однажды, уже пожилым человеком, я увидел маму на фотокарточке, снятую еще девочкой, то нисколько и ничему не удивился — именно такой я всегда знал и видел маму. И **ТА ДЕВОЧКА** похожа на мою дочку, умершую в сорок шестом году в совсем младенческом возрасте, и поднимись она на ноги, подрасти — была бы точно такой, какой я ее знаю и вижу; и на вторую дочь, умершую уже взрослой, но помнится-то она тоже маленькой, такую маленькую жальче, а память — услужливый инструмент; и та девочка, лет трех-четырех, в желтой гуцульской безрукавке, расшитой по грудке веселыми цветными нитками, что лежала на дороге вместе с побитыми цивильными жителями, с беспомощно, недоуменно открытым в последнем крике ртом, в последнем всплеске ужаса и памяти, быть может, той памяти, что древнее и глубже нас и нашей сегодняшней, земной памяти. В летчике, неумолимо валившем на нее, на ребенка,

тяжелую страшную машину, она узнала его, продолжателя ее памяти, и он узнал ее, продолжательницу его памяти, но презирающий все, даже собственную память, отученный уважать и помнить то, что его породило, он не отнял пальцев со спусков пулеметов и выкосил народ на дороге, застрелил беловолосую девочку в гуцульской безрукавке, с шелковистыми, веером по дороге рассыпавшимися волосами. На них, на детские, чистые волосы, на красивую, как у взрослой пани головку, не наезжали машины, не наступали обувью ни отступающие чужеземные солдаты, ни наступающие москаля.

Но летчик-фашист не пощадил ребенка, убил свою память, как обреченный висельник выбил сам из-под себя опору, а девочка, даже убитая, насмерть сваленная пулями в грязь и кровь войны, лежала чистая, с ангельским, светлым ликом, с успокоенно закрытыми глазами, и только рот, темно и страшно раскрытый рот кричал в небеса, в земные пространства, взывая к милости: «Что вы делаете, люди? Зачем убиваете меня? Вы убьете вместе со мною себя!..»

Все девочки: убитые, обиженные, сироты, больные, обездоленные — похожи на мою мать и, значит, на того, кто родил и любил меня и кто назначил мне свою любовь, передал или перенес в меня свою память и, поскольку ей, моей маме, тоже кто-то оставил, передал свою память, и далее, до того, кто был, тоже была любовь и память, значит, нет у нее начала и нет конца, если только не обрывать ее насильственно, не истреблять злобно — у доброй памяти доброе начало. Стоит она, эта преемственная память, или держится только добром и любовью, и если побеждает зло, память и любовь исчезают совсем, и тогда просторно на земле злу, ибо оно укореняется и прорастает только там, где исчезает добро, где нет жива духа, ни того, что мы называем святым, ни того, что в нас, с нами, что земно и постоянно, что испытует, тревожит, поддерживает и исцеляет нас во дни мучений и бед.

...Угол каменной стены. К замшелым камням приник кипарис. Везде и всюду прямой, гордый, неприступно мрачный, тут он изогнулся стволом, впаялся ветвями в щели камней, бледный, гнутый, едва живой, он существует, отшатнувшись от проезжей дороги, его задевают колесами телег, мимоходом ломают на нем ветки, мальчишки пробуют острия ножей на его стволе, но он живет напряженной стойкой жизнью, и только ночью перестают дро-

жать его изуродованные ветви и начинают вкрадчиво, ладанно пахнуть...

...Розовый березник в заснеженном косогоре...

...Одиноко под парусами удаляющийся в безбрежном океане корабль...

...Старое кладбище, заброшенное в лесу, и среди всех упавших крестов и памятников стоит один фигурный лиственничный крест, серо-темный от ветров и выкипешшей смолы, стоит в наклон, как бы сопротивляясь ветру, не понимая бедствия...

...Мохнатая и пестрая, как шмель, лошадь, склонившая заиндевелую голову над прорубью, заглядевшаяся в глубь чистой, голубой воды, что-то там увидевшая и угадывшая...

...И молодая лошадь, белая, холеная, с умными карими глазами, приплясывающая на нарядном поводке, среди трека конезавода, засыпанного опилками, как бы в страхе, на самом деле кокетливо, чтоб видно было всю ее стать и красоту, шарахающаяся, всплывающая на дыбы, и все время взгляд в сторону гостей, и в глубине его печальная усмешка: «Я старше, я умнее вас, и потому моя судьба проще вашей и достойней, а несчастья мои только от вас и от подчинения вам. Я буду вечно, вы — не знаю...»

...Чум, высвеченный от земли очагом, в меховой зыбке, из блюда, грязной рукой ребенок достает крошки, крошенные в красное вино, и горстями заталкивает их в рот; на земле, сложив ноги калачиком, сидит молодая женщина с распущенными толстыми волосами, раскачивается и пьяно поет-завывает...

...Четыре белогрудые ласточки-дита, засохшие в гнездышке, мать, вылетевшая с чердака за кормом, не вернулась к гнезду, в деревне много брошенных людьми голодных свирепых кошек...

...Улыбка в уголке рта задушенного поэта — Рубцова, чуть презрительная и хитрая-хитрая, будто сказать хочет покойник: «Живите. А я отмучался...»

...Одинокая маленькая женщина на пустом и неуютном перроне, покрытом тонким пластиком снега, похожим на бумагу, сплошь изорванную темными следами, — моя жена, куда-то опять меня провожающая.

...Внучка, со сведенными еще в горсть, красненькими лапками-ручками, с неуклюже большими, красными следами ног, с закрытыми глазами, слепленными белой пленкой, и беззубым, страдальчески открытым, по-птичьи кер-

кающим зевом — мой первый на нее взгляд и первая тревога — что с нею будет? Что ждет ее в этой жизни, на этой земле?..

...И обязательно, всю жизнь, — удаляющийся по пустынной дороге, одинокий, тоскливый путник. Кто это и куда он удаляется? Лицом к закату, к сгущающейся тьме...

Я знаю кто.

...И реже, все реже, в совсем слабом, в совсем блеклом отсвете не девочка, нет, но тень ее или уже отсвет...

Но хоть и так, хоть устало, ослабленно, а все же работает моя память и жив мой дух, который могучей, древнее меня, значит, мне еще ощущать, жить, чувствовать, до конца дней постигать Великую загадку и тем самым заполнять смыслом свою жизнь, свое в этом миру присутствие. И само существование мира, Земли и наше в нем и на нем существование не есть ли таинственный дар, нечто волеизъявление или распространение жива духа, вечно витающего в мироздании и не переставшего быть с кончиной нашей, ибо сама вера в жизнь, ощущение ее неотгаданности и есть бесконечность, бессмертие наше, стало быть, и всего, что подвластно нашему воображению и чувству, быть может, тому чувству, которое присутствует в нас, но еще никем оно не открыто, не отгадано и нет конца работе мысли, границ воображению, пределов чувству.

Землю можно разрушить, цивилизацию и жизнь истребить, сотворив самое грандиозное самоубийство в мироздании, но останется дух наш, будет витать в безмерности времен, пространств, искать приюта на какой-нибудь живой планете, в чьей-то живой душе.

И однажды, мне лишь известная, мне лишь назначенная, моим воображением и памятью созданная, явится тихо, из тихого доброго света ДЕВОЧКА и протянет мне руку.

1961, 1975, 1992, 1997

КОММЕНТАРИИ

13-й том сборный — сборный, во многом «нечаянный». Он планировался мной, как том, вмещающий в себя незаконченные произведения, варианты, отрывки и даже стихи и песни, написанные «по случаю» — для кино, для пьес, или просто от накатившей блажи.

Плохих стихов и убогоньких песен пишется и без моих творений многовато, поэтому я легко обошелся без них, сложнее оказалось дело с прозой.

Когда-то, точнее в 1987 году, я начал военный роман-трилогию и, как часто случается у «стихийного» автора, начал с причуд — почему-то настрочил черновик третьей книги и лишь спустя немалые годы, приступил вплотную к написанию пугавшей меня сложностью и многими неодолимостями трилогии. Хватило меня лишь на две книги: «Чертова яма» и «Плацдарм» — том 10-й. Сама работа над первыми книгами романа, осмысление, переваривание материала и текущей жизни совершенно увели меня от третьей книги — и в сторону, и в глубину, и в ширь. Замысел обрастал какими-то невероятными подробностями, поворотами сюжета и даже авантурными, приключенческими изысками — материал, накопившийся во мне, подминал меня, виделась мне книга огромная, круто заваренная и... непосильная.

Я давно уже работаю в литературе и научился все же кой-чему, пусть и немногому — хотя бы соизмерять свои возможности. Я уже не на всякую гору пойду, иную и обойду.

Я не стал писать третью книгу романа, — может быть, со временем, если силы и время позволят, набросаю отдельные, наиболее выношенные куски, завершающие судьбы некоторых, мне симпатичных персонажей романа. Рукопись же я «пустил в дело»,

— на основании ее или на заведенном тесте, испек две повести: «Так хочется жить» и «Обертон» — 11-й том. Остальную же, довольно еще объемную писанину решил пустить в 13-й том, в виде варианта.

Начал читать рукопись, что-то поправил, что-то вписал и увлекся — говорю же, «стихийный» автор! И вошел в продолжительную, изнуряющую работу, делая повесть «Веселый солдат». Это давнее название сохранилось еще от первоначального замысла и еще кое-что сохранилось, но в очень малом количестве и качестве — всю повесть пришлось писать почти заново.

Таким образом, опять же «нечаянно», — получился цикл из трех повестей. Гора с плеч. По моим силам и возможностям — завершена огромная работа: «моя война», мною написана, никто за меня писать, подновлять и подкрашивать войну, думаю, не будет и в будущем, здоровым, память не утратившим сочинителям продолжать лукавую кривду о войне — совесть и «наша правда» не позволят. Самые бессовестные книги о «героической войне и доблестной победе», — уже сотворены; наберется их эшелон. Читать их уже никто не читает — ложь не только набилась оскомину у советского читателя, она отвратила его от «военной тематики», прежде всего молодежь.

Грядет новое поколение людей, которые уже с дистанции лет, осмыслив самое грандиозное, самое кровавое событие двадцатого века, каким была война 1941—1945 годов, пользуясь накопленной памятью и архивами, а так же опытом доподлинной документалистики, которой остается от нас очень мало, и книгами тех авторов, что тпчились честно рассказать «свою правду» о войне, — их в русской литературе тоже совсем мало: десяток-полтора — создадут литературу достойную страшного, мир сотрясающего и переворотившего события, каким была прошлая мировая война. Тешу себя надеждой, что и мои книги о войне пригодятся незачумленным писателям в предстоящей им грандиозной работе, которую мы на исходе нашей жизни едва лишь начали.

Если они, те потомки, не осмыслят и не осознают прошлого, у них не будет будущего. У порога их жизни всегда будут стоять, как стояли на пороге нашей жизни, авантюристы, подобные фашистам и коммунистам, готовые запутать их, заморочить им голову и повести за собой стадом на бойню за светлое будущее и за «жизненное пространство».

Ради того, чтобы упредить наших внуков и правнуков, не дать им себя обмануть и погубить, горбились все мы, литераторы военного поколения, в том числе и я, автор своей военной прозы. Она выстрадана мной не за столом, а всей моей жизнью и кровью, пролитой на войне, которой, будь наш народ побдитель-

ней и поумней, могло и не быть, и жил бы русский народ нормальной человеческой жизнью, а не боролись бы мы постоянно и героически за выживание.

Влезая в 13-й, как мне думалось, «легкий» том, я все время создавал себе трудности.

Затеял восстановить до сих пор с кастрациями печатающийся рассказ «Ловля пескарей в Грузии», как накатил к этому времени юбилей журнала «Наш современник», где сей скандальный рассказ в свое время печатался. Появились юбилейные статьи, поздравления разных авторов, нынешних и бывших членов редколлегии журнала, в том числе и мои. Напечатаны были воспоминания бывшего главного редактора, Сергея Васильевича Викулова. Воспоминания хвастливые и шибко предвзятые. Очень меня задело за живое этой, дурно писаной мемуарой. Захотелось мне рассказать хотя бы о том, что связано с рассказом «Ловля пескарей в Грузии».

Подбор отрывков из разных, в прошлые годы писанных повестей и рассказов, мне показался любопытным, и давно в столе лежавшая рукопись — «Попытка исповеди» тоже.

Две пьесы и два сценария, писанные в разные годы, наверное, представят тоже для кого-то интерес. В 12-м томе — публицистики — я уже рассказал, с какими причудами появилась на сцене пьеса «Черемуха». Не без причуд явилась зрителю и пьеса «Прости меня».

В Вологде, где я в ту пору жил, завершалось строительство ТЮЗа. Нужна была пьеса, желательно «своего» автора, и решено было открывать театр моей пьесой. На ходу, на скаку, весело, часто нервно, порой психозно шли репетиции под стук отбойных и прочих молотков. Привычным, советским авралом, неслышанным напором, сверхтворческим усилием к премьере театр подготовили, подколотили, подкрасили. И ничего! На ура прошла в новом театре премьера.

Слух о вологодской театральной победе докатился до Москвы, гости пожаловали, да все с творческими наклонностями, теоретически подкованные, иные и с высокими должностями. И дело кончилось тем, что спектаклю по пьесе ««Прости меня» присудили Государственную премию РСФСР, режиссеру-постановщику и двум исполнителям главных ролей медали лауреатов повесили. Чем их тут же и испортили. Режиссер с радости запил. Лауреаты стали считать себя наивеличайшими артистами современности. А спектакль шел с аншлагом не только в Вологодском ТЮЗе, но и в Москве, и в Ленинграде и еще в каких-то городах, уж и не вспомню.

По сценарию «Не убий» режиссером Сиренко поставлен фильм «Дважды рожденный». Он шел на экранах и по телевиде-

нию. Фильм, на мой взгляд посредственный, хотя по материалу, заложенному в сценарии, можно было сделать киношедевр, в чем легко убедиться, прочитав сценарий. Только для этого сценария режиссеру надо родиться. По этому же сценарию режиссером Леонидом Белявским был поставлен спектакль в красноярском театре имени Пушкина. Спектакль оказался довольно дерзким по замыслу и сохранился в репертуаре театра несколько сезонов.

Что касается сценария «Трещина» — он уже десяток лет таскается по столам киностудий. Не находится денег на постановку этого, довольно громоздкого и многолюдного сценария.

Ну и Бог с ним. Дождусь фильма — хорошо, не дождусь — тоже не горе. Вон их сколько, хороших и плохих фильмов по экрану катается, а жизнь идет сама по себе, и люди лучше не становятся, ни от книг, ни от спектаклей, ни от фильмов.

Спасай их Бог, людей-то, человек-то.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ. Повесть	5
ВАРИАНТЫ	
Ловля пескарей в Грузии. Рассказ без сокращений и с послесловием	245
Стародуб. Повесть (вариант)	337
ОТРЫВКИ	
Дым над избой. Начало незаконченного рассказа	411
Шторм. Из повести "Кража"	418
О товарище Сталине. Из повести "Зрячий посох"	421
"Через повешение..." Из рассказа "Ясным ли днем"	425
Пересылка. Из повести "Звездопад"	440
Из памяти занозу не вынешь. Из повести "Веселый солдат"	446
Женитьба. Из повести "Веселый солдат"	448
Об одиночестве. Из романа "Прокляты и убиты"	452
Мне сон приснился... Из романа "Прокляты и убиты"	453
Разговор. Из романа "Прокляты и убиты"	454
Новый взводный и стихи. Из романа "Прокляты и убиты"	455
Горячая работа. Из романа "Прокляты и убиты"	457
Странность. Из романа "Прокляты и убиты"	458
День победы. Из повести "Так хочется жить"	459
Смена глаза. Из романа "Прокляты и убиты"	465
Встреча. Из романа "Прокляты и убиты"	470
Прощание с отчимом. Из романа "Прокляты и убиты"	472
Последняя песня. Из романа "Прокляты и убиты"	476
Молитва о хлебе. Из романа "Прокляты и убиты"	479
ПЬЕСЫ	
Черемуха. Драма в двух актах	483

Прости меня. Драма в двух действиях	528
КИНОСЦЕНАРИИ	
Не убий. Написано в соавторстве с Евгением Федоровским	573
Трещина	613
ИЗ ТИХОГО СВЕТА. Попытка исповеди	707
Комментарии	729

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том тринадцатый

Художественное оформление

А. Озеревской, А. Яковлева

Редакторы

А. Ф. Гремицкая, Г. И. Сысова

Художественный редактор

Е. В. Корнеева

Технический редактор

Н. Н. Шабли

Корректоры

А. Ф. Пантелеева, Л. С. Павленко, В. Н. Ключина

Оператор компьютерной верстки

Л. С. Васьковская

ЛР № 010162 от 03.06.97

**Подписано в печать 27.07.98. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная №1.
Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 38.64. Уч.-изд. л. 39.58.
Тираж 10 000. С-008. Заказ 72.**

**Отпечатано на производственно-издательском комбинате
«ОФСЕТ».
660049, Красноярск, ул. Республики, 51**





